

3 ЛЕОНИД ЛЕОНОВ



# ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

# ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ШЕСТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

ЛЕОНИД  
ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

# ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 3

ЗАПИСЬ НА БЕРЕСТЕ  
Поэма

ПОВЕСТИ

СОТЬ  
Роман

СКУТАРЕВСКИЙ  
Роман

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

**ТЕРРА**  **ТЕРРА**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО | PUBLISHING HOUSE

**КНИГОВЕЖ**™  
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)  
Л47

*Внешнее оформление художника*  
А. БАЛАШОВОЙ

**Леонов Л.**

Л47 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3: Запись на бересте: Поэма; Повести; Соть: Роман; Скутаревский: Роман. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 816 с.

ISBN 978-5-4224-0732-3 (т. 3)

ISBN 978-5-4224-0729-3

Леонид Максимович Леонов (1899–1994) — русский советский писатель, прозаик, драматург, публицист. Творчество Леонида Леонова пронизано глубокими раздумьями о судьбах русского народа, искренней любовью к своей Родине. Произведения его переведены на все основные языки мира и многократно переизданы. В данное собрание вошли самые значимые работы из литературного наследия Л. М. Леонова. Помимо них, каждый том включает в себя тексты, неизвестные широкому читателю.

В третий том вошли поэма «Запись на бересте», повести и романы «Соть» и «Скутаревский».

Книга рассчитана на массового читателя.

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84(2Рос=Рус)**

ISBN 978-5-4224-0732-3 (т. 3)  
ISBN 978-5-4224-0729-3

© З. Прилепин, состав, примечания, 2013  
© Л. Леонов, наследники, 2013  
© Книжный Клуб Книговек, 2013

# ЗАПИСЬ НА БЕРЕСТЕ

ПОЭМА



1

Вот я запишу про счастье,  
которое казалось близким,  
но улетело птицей,  
и больше счастья нет.

И я записал, как умею,  
слова о недавней встрече  
размером случайным и шатким  
на белой простой бересте.

История моя все та же,  
о какую разбивают сердце  
поэты и глухонемые,  
мудрые и глупцы.

Она кратка, моя повесть,  
с начала и до крайней точки,  
за которой умер пришелец  
и родился лесной человек.

2

Когда листаешь страницы,  
спокойный и равнодушный,  
кажется дымным и чадным  
любой из вчерашних дней.



В те дни и весенние ветры  
жалили подобно змеям,  
порохом пахли глухо  
даже полевые цветы.

Мне и теперь непонятно,  
чему улыбались дети,  
когда так бурно и страшно  
вскипала отцовская кровь.

Знаю, что смысл обреченности  
в этом непониманье.  
Но, может быть, это и лучше —  
не понимать до конца?

### 3

Сергей — мой старый приятель,  
с которым учились вместе,  
а Павел — поэт немножко,  
мечтатель и полусвятой.

Из города, где ежечасно  
свирепей становилось время,  
на Север, еще не красный,  
мы сговорились бежать.

А тут еще весна случилась,  
мутная, горькая, сырая,  
у меня отняли друга,  
а у Павла — отца.

А зачем, кому они нужны,  
истине или человеку —  
под суровым, обожженным небом  
красные, небыстрые ручьи?

Когда же мы пришли на Север,  
нас послали на фронт, а на фронте  
думали спасать Россию  
штыками чужих солдат.

И мы бежали оттуда  
в бескрайнюю, мертвую тундру,  
болотами шли до Тоймы,  
а в Тойме свернули в лес.

Мы несли с собою винтовки,  
Топоры, котелки и пули.  
Не про нас ли в какой-то книжке  
уже придуман рассказ?

А когда миновала неделя,  
я сказал своим на ночлеге:  
«Здесь, по-моему, гораздо лучше —  
и тише, и умней».

Если люди тебя обманут,  
и тебе среди них не будет места,  
приходи бездорожною ночью  
в эту глухую дебрь.

Она не прогоняет проходящих,  
не выдает ни тайны, ни крика,  
не насмехается,  
молчит.

Тогда — это было под утро —  
кричал коростель в канаве,  
а в небе как будто розы  
горстями рассыпал май.

Мы шли и молчали, а Павел  
вдруг сказал и засмеялся тихо:  
«Весна, и любовь, и розы...  
Глядите, глухарь на току».

6

На веселой, зеленой поляне,  
в глубинах темного бора,  
поставили мы наш домик,  
простой и в четыре окна.

Тогда зацвели рябины,  
брусника таилась в топях,  
а на опушках белела  
земляника прозрачным цветком.

Вверху были солнце и птицы,  
и не было нам тесно с ними,  
хватало и неба и леса,  
не то, что с людьми в городах.

Мы встретили однажды лося:  
он не бежал, а слушал.  
Я промаху не дал ни разу:  
вечером был костер.

7

Целыми днями блуждал я,  
разыскивая пищу.  
Зоркими, как у птицы,  
стали серые мои глаза.

Сергей оставался по дому,  
а Павел уходил с зарею  
к голубой полутьме перелесков  
рвать фиалки, которые цвели.

Сергей — это наша Марфа,  
которая заботилась о многом.  
А Павел — это Мария,  
избравшая лучшую часть.

Я же познакомился с каждой  
неприметной даже лощинкой  
и узнал, что ночью ветер гуще,  
а перепел кричит к дождю.

## 8

И когда выходили патроны,  
мы бросили вольный жребий,  
кому отправляться завтра же  
в недолгий, но неясный путь.

А о том, что разрывалось этим  
наше милое лесное братство,  
и о том, что солнце шло на убыль,  
не подумал тогда никто.

В зеленых высях кукушка  
крикнула и улетела.  
Плыли сумерки. Над самым ухом  
жалобно звенел комар.

«Нет патронов — не будет мяса.  
А без мяса — плохое дело».  
Так решили мы на совете,  
и жребий пал на меня.

## 9

Как случилось — рассказывать долго  
а чужому и непонятно,  
что принес я не порох, не пули,  
а женщину с собой привел.

Я встретил ее случайно,  
она казалась несчастной,  
звали ее Еленой,  
я полюбил ее.

И сказал ей: «В лесу, за тундрой,  
глушь и лоси, комары и болота.  
Мы недавно там живем. Трое.  
Остальные — Павел и Сергей.

Если я тебе не противен,  
Имя Андрей не противно,  
то пойдем туда со мною вместе».  
Она ответила — да.

## 10

Елена была красива.  
Сергей себя за ус подергал,  
а безусый Павел смутился  
и мигом умчался в бор.

Она подружилась со всеми,  
пела песни и варила мясо,  
а ночью была моей женою.  
Потом недели прошли.

Однажды я проснулся в полночь,  
и не было со мной Елены.  
Я надел сапоги и вышел,  
сонный, хмурый, злой.

Белый пар стелился по бору.  
Я шел, а душа кричала.  
Молчали березы и ели,  
они умеют молчать.

Обнявшись, она сидела с Павлом,  
и Павел целовал ей руки,  
и, кажется, стихи о встречах  
с поцелуями мешали они.

Летние ночи прозрачны,  
а слова Елены были тихи,  
а небо было розово и тонко.  
Я спрятался и молчал.

«Ты единственный и любимый.  
Ну, какой ты поэт? Ты глупый,  
как тихая ряска на болоте.  
И в глазах твоих — печаль.

И Андрей — он тоже прекрасный,  
но такой молчаливый, умный.  
С ним всегда и скучно и страшно,  
а тебя я люблю, люблю...»

Дальше я не слушал. Я увидел,  
что подобно поздней бруснике  
горели губы Елены.  
Мох был не стоптан, а смят.

Тогда я не стал таиться.  
Я пошел и принес винтовки,  
положил одну перед Павлом  
и сказал ему так:

«В какой-то из двух Америк  
есть обычай славной охоты.  
Если двое поспорят насмерть,  
то уходят в леса и поля...

И оттуда, зоркие как волки,  
приближаясь лукавыми путями,  
сходятся, подстерегая  
меткой пулей своего врага».

13

Я и Павел — мы решили так же,  
речи были коротки и скупы.  
Волк, когда выходит на добычу,  
Так же дышит ровно и легко.

Я пересчитал свои патроны,  
поровну их разделил, сказавши:  
«Целься лучше, Павел».  
Тут Елена, испугавшись, убежала в дом.

Он молчал и улыбался, Павел.  
Нагибаясь и беря винтовку,  
он ответил мне, но я не слушал:  
«Если ты убьешь меня, — прости».

Он пошел на юг, а я на север.  
Там, где бор переходил неспешно  
в дикую, колючую щетину,  
я присел на мох и закурил.

14

Целый день я шел остерегаясь,  
чутким ухом карауля шорох;  
держат на прицел винтовку  
не уставала рука.

К вечеру засинела опушка.  
Я увидел на поляне Павла,  
и была, как ковер, та поляна  
вышита желтыми цветами.

На траве валялась винтовка,  
и сам он стоял возле,  
так спокойно, как стоит дерево,  
вишня, например, — в цвету.

А я ему целил в спину,  
в кожаную потертую куртку.  
Как его сразу не убили  
красные мои глаза?

15

Боровые ветры, что ломают,  
как солому, вековые сосны,  
не разгонят даже на мгновенье  
темных чар твоих, любовный чад.

Всю ту ночь я пробродил по бору.  
Все мне было красным: зелень, птицы,  
крики сов и самый мрак болотный...  
Все мне было красным, как кумач.

А когда я пришел обратно,  
дом был пуст, дверь была настезь.  
На столе белела записка:  
«Мы уходим к людям. Сергей».

Пели птицы, вставало утро,  
но уже багровые розы  
отцветающего июля  
осыпались на облака.

16

Я — высокий, сухой и сильный —  
перед этим домом запустелым скакал,  
в клубок сжимался,  
делал прыжки, кричал.



Потому что припомнил Павла,  
как лежит он на желтой поляне  
и разорванные паутинки лета  
протянулись по его лицу.

Значит, Сергей был ближе,  
Значит, он стал милее,  
чем убитый мечтатель  
Павел или убийца Андрей...

В этот день распуганные птицы  
не кричали над моею крышей.  
А вечером варил я мясо  
и сидел у костра один.

ПОВЕСТИ



# БЕЛАЯ НОЧЬ

## I

Огромная розовая лужа стоит на въезде в Няндорск; она спит, потому что утро. В неверном, опрокинутом виде отразились в ней смешное, растрепистое облако и косматая придорожная ветла, — вот так же, розово и зыбко, явь отражается в снах. Белая ночь тает, ржавой позолотой расцветчивает тундру день... все еще длится прохладная тишина, насыщенная тонким комариным звоном. Но вот конь ступает в воду, проваливается в черную жижу колесо, и скрипит ось, мутится ил, и меркнет розовое очарование лужи.

— Э, расступается, никак, земля? — спросонок бормочет Кручинкин и с неохотой открывает глаза.

Телега проходит по воде, холодок сочится сквозь сермягу. Кручинкину кажется, что утро серо и ветер дует с севера. Сердце его спокойно: вокруг обступила тундра, знакомая, как свой дом. «Эка, край неиссячный!..» Он снова едет, усыпляемый поплескиванием молока в бидоне; он дремлет и улыбается удавшейся хитрости — уехать из дому в тот самый день, когда жене родить. Должно быть, так улыбается большая глупая рыба, идя в вершу.

Он так до самого конца и не понял, что в городе нехорошо. У заставы его разбудил патруль, и офицер, натуго затянутый в походные ремни, был печален и пронзительно вежлив. Потом на постоялом дворе, где всегда он оставлял подводу, отправляясь с молоком по знакомым домам, напрасно пугали его знакомцы рассказами и про красных партизан, прорвавшихся на Пундож, и про знаменитого бандита, уловленного в позапрошлую ночь, и про английского полковника, которого застрелил

накануне сумасшедший гимназист. Жевал свою баранку Кручинкин и посмеивался занятому предположению, что, пожалуй, и жена и овца разродятся в один и тот же день. Он слушал и зевал, потому что бандит не состоял ему ни в родне, ни в свойственниках, а военный англичанин, должно, и впрямь заслуживал постигшей его неприятности.

Глаза этот мужик имел хитрецкие, на щеках его редкая, как в плохой урожай, произрастала соломка, а усы торчали врассыпную... сразу видно было, что хозяин их — веселый, безопасный человек. И верно: кроме своего мужицкого дела, не разумел Кручинкин ничего. Потому лишь и не поразил его ни привязной аэростат, маячивший над городом, как нудное напоминание, не привлекли вниманья и черные флаги, еще с ночи развешенные по улицам. В душе он даже посмеивался над пустым обычаем людишек тратить добротную ткань на свои печали; безучастный свидетель грозных лет, он явственно видел, что вот и высохли вдовьи слезы, и подросшие сиротки водку хлещут, а потраченного коленкору не вернуть...

Кроме того, застал он серые афишки на заборах; словами торжественными, как шелест склоняемых знамен, горожане призывались в них к скорби об утрате английского испытанного друга России. И еще там же, в немногих пунктах, отрывистых, как щелк взводимого курка, сообщались жителям правила поведения, сочиненные новым комендантом Пальчиковым. Безвестность этого нового няндорского господина пугала больше, чем даже мертвый английский полковник, незримо требовавший себе отмщения и жертвы. Мутные клейстерные слезы выступили из-под афишек, а Кручинкин ехал и думал: «Эки драхмы висят!»

Самой природе, видно, отныне вменялась в обязанность грусть. Зелень полиняла, светило затмилось, а ветер поволок с севера караваны облаков. В опустелых улицах стало тревожно и пыльно, собаки сидели на цепях, а дети точно вымерли. «К вечеру надоть поспеть домой. Получу вот только деньги с толстого доктора — и домой. Соску еще купить наказала повитуха... И хлынет к ночи буря, а я уж дома сына стану нянчить, хи-хи!» — так рассу-

ждал Кручинкин, проезжая мимо знакомого церковного двора. Сухое дерево стояло там, полное галок, сидевших в нем, как в огромной плетухе. Метнулась, точно шавка под ноги, мыслишка, что галки, пожалуй, не к добру, но тут отвлек его вниманье смешной человек с бадейкой. Он сутуло бежал по обезлюдевшему проспекту, изредка приплюскиваясь к заборам, и всякий раз после того оставался квадратный бумажный следок.

— Эй, отдохни, жулябина... весь город заследил! — вдогонку покричал ему Кручинкин, но тот лишь молча погрозил ему бумажным свертком и пропал.

Кручинкин завернул на Мшаник.

Черный флаг, как укрощенный змей, качался на воротах и все норовил лизнуть его в лицо, но мужик схитрил, изогнулся и, гремя бидоном, скользнул во двор, — он всегда так гремел, давая знать о себе заранее. Дверь к толстому доктору стояла отпертой, но и этому последнему предостережению как-то не внял Кручинкин. В прихожей, куда из кухни падал скудный свет, он осторожно поставил на пол свою ношу и ждал, но никто не выходил к нему навстречу — ни сам, ни его свояченица, точно никто не нуждался более в знаменитом его молоке. Тогда он принялся, — в доме пахло солдатским, пахло бедой, а на подзеркальнике, в соседстве с черной докторской шляпой, лежала офицерская фуражка; ее немигающая белая кокарда в упор наблюдала Кручинкина.

— Ну-ну, чего уставилась... — суеверно махнул он в ее сторону, думая, чтоб не сглазила.

Он замигал виновато, завертелся и, лишь увидев человека, спрятанного за дверью, облегченно вздохнул. Но человек был солдатом, в руках он держал военное ружье, бедой пахло именно от солдата. Из его аляповато раскинутых скул сквозила родная, мужицкая сметливость, только безмолвствовала она, закованная в английскую шинель и военные обмотки.

— Ишь куды поставили-то тебя... — оторопело молвил Кручинкин и, вдруг решась, бережно коснулся солдатовой руки; теплота человека повеселила его: человек был живой, значит — друг Кручинкину. Тогда он заликовал и завертелся, на радостях давая волю языку. — Стоишь, чудодей?.. а безжизненно стоишь, без искорки.

Я и сам семь лет у царя в гостях отшагал... и ранили меня, милчок, в эко место, что и довериться совестно. Уж располагал — всему роду пропадать, а ноне, глянь, сына жду! — Он пел сразу всеми голосами птичьими, и по тому, как восторженно морщилось у него переносье, всякий мог видеть, что ему очень это нравится — жить. — И как рожу я сына, слеплю себе домик новый и по всему саду крыжовнику насажу... Эх, милчок, много заморских плодов я в военные годы отведал, а краше крыжовника не нашел в свете ягоды!

Его заведомая хитрость с головой выдавала его волнение, а солдат все молчал, уставясь в свою солдатскую неизвестность.

— Да, милчок, кто к чему прикован. Ты вот прикован стоять, а я ходить прикован, а иных, станет время, без отдышки летать прикуют. Порхай, скажут, жулябина, а то и ползать не станешь!.. Все мы на сладкую цепь прикованы и неволю свою больше жисти возлюбили. — Он все ждал толстого доктора, который расплатится с ним и отпустит, но время шло, хваленое красноречие мужика иссякало, а барин все не шел.

Тишина беды дальше стала так невыносима, что Кручинкин упал бы духом, если бы не нарушил ее докторский голос, такой ровный, точно читал по книге, такой глухой, точно доктор произносил слова в стакан, тесно прижатый ко рту.

— Мой мальчик застрелил его за то, что тот пристал к его невесте. Так сделали бы и вы, поручик, на его месте! Кроме того, мой мальчик...

— Ваш мальчик глуп, — перебил его другой голос, резкий и неприятный.

— Не раздражайтесь, поручик, а рассудите без истерик. Англичане ведут с нами скверную игру... игра с болваном, поручик! Они вооружают на наших окраинах всех, кому дорого имя России, а потом уходят... или уйдут!.. а оставшихся смоеет красная волна. В прежние времена это каралось по тысяча четыреста пятьдесят четвертой статье... поинтересуйтесь! А мы орем «ура» на собственных похоронах... — Он задохнулся, и какая-то мебель яростно поскрипела вокруг него. — Приятнее, разумеется, быть кнутом палача, чем спиной жертвы...

— Я все-таки расстреляю вашего идиотского гимназиста, — очень сдержанно откликнулся другой.

...Со смятенным сердцем Кручинкин внимал разговору за портьеркой, и вдруг, точно мраком его осенило, догадался он, что флаги, пожалуй, не для красоты, и к слезам бумажки на заборах, что солдат поставлен тут не для забавы, а для уловления всяких сокровенных преступников, подобных ему, Кручинкину. Бормоча что-то про забытый внизу лестницы сыр, он робко взялся за скобку двери, и тотчас же солдат заученно и лениво отпихнул его назад, лишая последней надежды.

— О, сердитый какой... — подивился Кручинкин, понимая, что отныне уже не принадлежит самому себе, но закону. Именно закон отражался скукой и равнодушием в лице солдата. И оттого, что иного выхода отсюда не стало, он осторожно раздвинул бахрому портьерки и заглянул в комнату.

За круглым, со свисшей скатертью столом сидел сам толстый доктор, весь в табачном дыму. Он курил и безотрывно глядел на каланчу с перебитым шпилем и в тундру за окном, где пятнисто, седые и рыжие, мешались мхи. Там накрапывало. Другой, в форме старшего английского сержанта, деловито потрошил докторские книги и слегка улыбался; в ту минуту он как раз достал оттуда аккуратную пачку николаевских билетов. К нему шла эта снисходительная улыбка; он был очень приятный, какой-то наливной весь, и кажется, если б проткнуть его булавкой, оттуда брызнула бы розовая тугая струйка сгущенного молока. В третьем, сидевшем к двери боком, Кручинкин сразу признал начальника. Молодой и высокий, он как-то противоестественно прямо сидел в кресле, выпуклым затылком упираясь в резную спинку, такую вычурную, что казалась курчавой. Машинально, в такт недобрым мыслям, он ударял кулаком по локотнику, и бархат шипел, пылил, лохматился, и вот уже языками взвивалась пакля из непоправимой раны. И хотя все в нем, от гладких офицерских сапог до великолепного пробора, вопило о некоем самодовольном благополучии, Кручинкин видел, что поручик скоро умрет.

Это и был Пальчиков, новый господин Няндорска, и Кручинкина неотвратимо повлекло к этому громадно-



му начальнику, который мог умереть до того, как успеет распорядиться его, кручинкинской, участью. Трепеща, он просунул голову в щель портьерки и, памятуя, что начальство любит веселых, улыбнулся проникновенно и сладостно, ото всей души и во всю рожу; потом, волоча впереди себя бидон с молоком, как доказательство безвредности своей, он смело сделал первый шаг.

Скосив в его сторону впалые, неживого цвета глаза, поручик дико взирал на приближение Кручинкина, — так он был затравлен событиями предыдущих дней. А тот все двигался, сам восхищаясь доблестью своей, не сводя глаз с просторного поручикова лба, в котором сосредоточилась теперь, как в темнице, участь его дома, его крыжовника и всего рода его, — шел, им обоим показалось — вечность, мысленно шикая на шумливые свои сапоги; шел, улыбаясь все страшней и ласковей, шел сказать суровому начальнику, что солдат его обидел зря, что товар его дозволен свыше, что он чтит всех полковников в мире и единственно грешную страсть питает лишь к крыжовнику, потому что краше нет на свете ягоды... и еще, — если податлив окажется начальник на дружелюбную беседу, — что не следует зря портить ножичком такой красивенький стульчик.

Он шел, а поручик все бился в кресле, как при галлюцинации, и помраченная мысль текла из его неподвижных и белых, как две кокарды, глаз.

— Кручинкин мое фамилие... — весь вытягиваясь и замирая, подобно птице на току, начал Кручинкин и не кончил.

Пальчиков выгнулся, сжался, как в удушье, и выпустил на пол звонкое лезвие из кулака. То, что по всем основаниям представлялось перочинным ножичком, оказалось просто пилкой для ногтей. Но, прежде чем кто-нибудь уловить успел, что именно случилось, Пальчиков со всего маха оттолкнул мужика ногами.

Все это случилось так быстро и нелепо, что никто не сумел предотвратить событие, ни даже сам Кручинкин, с прежнею блаженною улыбкой оказавшийся на полу. Белая, с легкой синцой лужа ползла к его ногам; в ней отражались часть окна и тяжкие, подкованные железом ботинки сержанта. Водя пальцем по своему расплеснуто-

му богатству, Кручинкин ошалело соображал, что соску купить теперь станет не на что, что напрасно, пожалуй, он покинул жену в ее трудный родильный час... Какое-то время они все оставались на своих местах.

Вертя головой в тесном воротнике, точно ему только жарко стало, а не стыдно происшедшего, Пальчиков первую минуту хотел броситься подымать мужика, но раздумал. Кручинкин явно был цел и невредим. Поручик отвернулся, — какой-то палец, тайного недуга или провидения, неотступно давил ему в затылок.

— Вот видите, доктор... — начал он, конфузясь недавнего испуга.

— Вижу, — как-то бессмысленно отвечивал тот.

## II

Он ударил Кручинкина именно потому, что испугался его лица. За время Гражданской войны он привык не доверять улыбкам, за которыми скрываются самые неожиданные людские намерения. Кроме того, как все неизлечимо больные, он во всем подозревал худшее, и, уж такова была его удача, он редко ошибался. Никто не ведал названия его недуга, но, когда он сам небрежно определял его как переутомление, он лгал. В этом тошном месиве вина и скуки он один из немногих вел трезвую и размеренную жизнь; приятели бежали его подчеркнутого аскетизма, а он любил жизнь больше и с большими основаниями, чем любой из них. Он и недуг-то свой принял как издевку той самой жизни, которую боготворил.

То случилось в великую войну, — Пальчиков был юнцом, носил на груди иконку — благословение матери. Тогда еще кипели патриотические страсти, не разбавленные покуда ни предательством, ни разочарованием, и ему тоже захотелось стать героем. На зыбком влечении этом он вырастил юношеское свое мирозерцание; покинув политехникум, он на войне искал встреч с гибелью, чтоб, насмеявшись над ней, ее позором укрепить свою собственную волю. Судьба подарила ему эту возможность: конная разведка, в которой участвовал и пра-

порщик, наткнулась на газовую волну. Отряд ускакал, а кобыла Пальчикова застряла копытом в мостовине. В лихую эту минуту, когда уже гаснул мир, Пальчиков и открыл под мостом неприятельского телефониста; тот пристально наблюдал прапорщикову суматоху, прикрытый резиновой харей со слюдяными глазами — противогазом. Произошла беззвучная и беспримерная схватка; кусаясь и скрежеща, прапорщик отнимал эту спасительную резиновую харю, и скоро уже сквозь захватанную пальцами слюду ее он увидел искаженное лицо врага. В тишине смерти плелся он домой, и музыка переутомления сладостно гремела в его ушах. Мир разверзся перед ним, обнажая свои красоты, именно тем и обольстительные, что были им собственноручно вырваны у смерти. А через установленные сроки на его растрескавшихся губах явились первые язвы.

Втайне от товарищей он старательно заделывал дырки, которые проедала в нем скверная его болезнь, и временами это ему удавалось; только сам как-то отяжелел и на ноги, и на любовный порыв, и на дружескую попойку. Уходила испакощенная юность, ненужной стала девушка, в чистоту которой тем приятней было верить, что она предназначалась для него одного, он разучился играть на виолончели, и даже бином Ньютона становился для него мудростью недостижимой. Дичая и грубея, он дрался за идеи, менявшиеся как дни в календаре. Потом страна шатнулась, сместились политические координаты, подобно паровозу из мрака явился Няндорск, и Пальчиков уже на нем помчался навстречу своему злему жребию.

Няндорск!.. Никогда прежде не засорил он памяти полупотченным этим городишкой. Но, как невеста украшает себя в преддверье жениха, эта непорочная российская щель превратилась в Няндорск блистающий, с кабаками и штабами, с иностранными комендантами и женщинами, одно появление которых на улицах будило в няндорских дикобразах вождение и ужас. Впрочем, практические англичане предпочитали визгливых офицерских жен и мечтательных няндорских поповен; протоиерей Иван Градусов, коему за многосемейность и название дали — **Восемь Девоч**, грустно шутил, что девственницы

теперь попадают только при крещении. Волшебством века гриб зацвел пестро и ядовито, и выпал один страшный день, когда про Няндорск узнал весь мир.

Значение Няндорска возрастало по мере приближения фронта: белые отступали, открывая проход к морю. Англичане сердились, грозились уйти, но не уставали давать мундиры, галеты, какие-то нелепые пушки, почти единорогов, оставшихся от бурской войны, а на духовную потребу — ром. Взамен они требовали безусловного подчинения, прославленной русской храбрости и, наконец, известное количество леса с местных лесопилок. Ликование шло повальное, и, хотя впоследствии многие утверждали, что без разрешительного английского штампея воспрещалось даже жену любить, медовый месяц протекал благополучно. Она жадно веселилась, эта снежная Африка, и музыке военных оркестров нестройно вторили ропот фронта и глухой арктический буран. Вдруг гриб зачервивел, поползла генеральская заваль, не годная ни на какую затычку, и Пальчиков гневно преклонялся перед почтенными сединами этих воскресших теней. Все чаще нападала хандра на поручика, все неотвязней давил незримый перст в затылок, все настойчивей мытарил призрак великой России, которую, как печать и бремя, положил в сердце своем.

Когда веселого ротмистра Краге выгнали из контрразведки за нерадивость, — это случилось после скандала с английским полковником, — его место занял Пальчиков, командир **Волчьей сотни**. Так желали в штабе фронта, где Пальчиков имел доброжелателей, но повышение не порадовало молодого офицера. Цинической беспечности к новому ремеслу он и за год работы не успел бы приобрести, а пользоваться готовою моралью веселого ротмистра означало для него степень крайнего падения. «России нужно приказать, чтобы она просветлела. Для этого следует учредить институт чиновников, которые должны ездить по всей стране и давать всем подряд в морду без объяснения причин» — такова была приблизительная установка Краге, которая со времени военных неудач у белых вызывала в сферах достаточное сочувствие.

После ночи пьяных проводов Пальчикова, на которых лишь сам виновник торжества сидел трезвый и урю-

мый, он ездил отказываться от назначения, ссылаясь на неопытность в делах **секретной психологии** и на недобрую боль в затылке; он просил о переводе на фронт, но высокое начальство посмеялось его доводам и не одобрило поручиковой скромности.

— Пустяки, голубчик... Холодный душ снаружи, горячительное внутрь, и вы станете как молодой бог. Дело ваше простое: ловите прохвостов и вешайте, вешайте их, голубчик. Укрепляйтесь на малом, и когда-нибудь мы вас сделаем всероссийским комендантом... Прямая дорога в историю-с!

Пальчикова коробил гаерский тон начальства.

— Тот гимназист уже арестован, ваше превосходительство.

— Да, кстати... мы имеем секретное предписание от английского командования насчет сугубых репрессий. Это по поводу убитого полковника... Вы уж распорядитесь там, голубчик!

— На какое количество вы рассчитывали, ваше превосходительство?.. — сухо осведомился поручик.

— Ну, десяток там, два десятка... я не знаю, — с видимой досадой нахмурилось начальство.

— Я не располагаю таким количеством арестованных, — двигая затекшими пальцами в сапоге, сообщил поручик.

Начальство явно сердилось:

— Надо найти... Что-о? Надо найти, говорю. Разве в России люди перевелись, черт возьми! — Оно смутилось пристального взора Пальчикова. — Ничего не поделаешь, голубчик. Россия плодovitа, но в ней не растут, к сожалению, английские полковники... — Начальство улыбочато поюлило глазами, как бы показывая, что принуждено заискивать даже в подчиненном. — Наше дело подневольное, мы на харчах у **них**, мы не гимназисты, мы военные...

— Африка мы или не Африка, ваше превосходительство? — сдержанно спросил Пальчиков.

— Э, батенька, британцу везде Африка! — откровенно кряхтело начальство.

Ему, по-видимому, нелегко давались такие признания. Начальство неожиданно хлопнуло носом, и вдрут

подчиненный с негодованием увидел, как прозрачная слеза выкатилась из начальственного глаза на сверкающий лак стола.

Тогда Пальчиков нагнулся к пресс-папье и очень вежливо промакнул этот горький залог начальнического расположения и искренности. Удерживаемый бешенством, он продолжал стоять, высокий и жесткий, как шпицрутен, и все глядел, все глядел, не отрываясь, на дрожащую склерозную руку начальства.

— Трупы прикажете доставить в английское командование? — спросил он наконец, с лицом, серым, как оберточная бумага.

Начальство дрогнуло и опустило глаза.

— Вашей мне вас, что ли, гнать, поручик?..

...Ему не стоило особого труда побороть в себе приступ, как ему показалось тогда, малодушия, но, когда он пришел на следующее утро в дом частного поверенного Фидунова, где помещалась контрразведка, — принимать наследие веселого ротмистра, — его объял вдруг брезгливый холод. На столах, чинно разложенные Флягиным, караулили его папки о подозрительных няндорцах, живых и мертвых; там заключалась вся подноготная грязь городка, оскорбительная помесь вымыслов и правды, худшей, чем клевета. Пальчиков едва успел перелистать одну из них, когда начались какие-то необыкновенные явления. Приводили на допрос пленных, еле стоявших от изнурения; из штаба звонили о квартире для японского военного атташе, который нарочно приехал полюбопытствовать о российской сумятице; приходили подпрапорщики из артиллерийской школы с просьбой о крепких напитках для выпускной попойки, а в довершение всего тюремная охрана отказалась есть пайковое лимонное варенье, от которого якобы у нее опухали языки, и потребовали родного, малинового... Во времена веселого ротмистра все это стало обычным явлением, но Краге умел потрафить всем, и близкие к нему утверждали, что даже на допрашиваемых уединенно он производил иногда неплохое впечатление. Полагаясь на разум и врученную свыше власть, Пальчиков разогнал этот клуб и посадил новых, за что и возненавидели его сразу, как по сговору, потому что никто кругом уже не верил в нача-

тое дело. Первые дни должности ошеломили его, и хотя внешне он оставался прежним щеголем, письмоводитель Флягин видел, что Пальчиков уже одряхлел, выветрился и падает неудержимо к ногам судьбы.

Все утро этого второго дня занял обыск у толстого доктора, которого он втайне уважал за его воловью непреклонность в принципах; конечно, у доктора ничего преступного не нашли, но когда подручный по обыску стал извлекать из переплетов припрятанные кредитки, Пальчиков обиженно морщился, точно это он сам верил в реставрацию. Еще больше, чем Кручинкина, ему стало стыдно доктора, который весь как-то съезжился и помельчал; не дождавшись конца, он уехал прямо в штаб фронта, где ему сообщили о возможной эвакуации Няндорска. Только к вечеру он попал к себе в управление и на столе нашел письменное подтверждение приказа о репрессиях. Потирая ноющий затылок, он все вчитывался в казенную бумагу, дивясь подлему могуществу языка, способного и требованию убийств сообщить изящную деловитость.

Тут-то и начиналось испытание поручиковой находчивости. Всех доморощенных няндорских бунтовщиков уже истребил веселый ротмистр, а новые не объявлялись, да и неоткуда было. Фабрик в Няндорске не существовало, а жило тут полуторговое, тихходное племя, безымённая людская трава. «В России живут преимущественно ктитора!» — вспомнил он сентенцию Краге и насильственно усмехнулся. «Ктитора!.. паршивый городок, не сумевший породить ни одного большевика или иного какого именитого злодея. Ктитора!.. да где же люди-то в России?» Мысль его подозрительно шарахнулась туда, за линию фронта, откуда надвигалась на него огнедышащая новь, грозя уничтожением и мукой. Нечаянно он вспомнил самого себя, с красной тряпочкой на кокарде, и это обозлило его. «Да, сперва Радищевы, Новиковы, Чаадаевы... эти домодельные свободоискатели и подстрекалы, эти проклятые жернова на шее русской интеллигенции... Двести лет в голоде душевном бились о вековую стену, двести лет у нас ни дня не пустовал эшафот. Ха, они взошли теперь, багровые дрожжи девятнадцатого века, она пришла, эта свобода, самовластная хозяйка, беспощадная, как хлеб. Радуйтесь, дьяволы...»

Он длинно выругался и, перейдя к окну, долго стоял там. Густой слой пыли покоился на подоконнике, и на бриджах его отпечатались две серых полосы.

Поручик глядел в окно.

Дождик не удался: далеко в тундре опускался на ночлег кудлатый, петушиного цвета, шар. Звонили ко всенощной, и на малую минутку это давало обманчивое успокоение. Но перед самым окном — обсажен березкой, обведен струганой загородкой — силуэтно торчал ненавистный дом. Пальчиков знал: под этой зеленой крышей живет баба Анисья Крытых, живет и живет, трава при большой дороге, милостью ветра да прохожих людей. К ней ходят офицеры за хмельными сладостями и молодайки за судьбой; она варит знаменитую брагу и разводит кур. Как раз крупный белый петух пел у калитки, но, как ни вытягивал он шею, его не было слышно: все покрывал густой вечерний благовест. Теперь он уже утрашал, этот поповский грохот, как бы чугунным одеялом накрывая Няндорск, — оно дрожало, и все дрожало под ним. Из-за кустов ломаной струйкой вился дымок: наверно, Анисья варит варенье — крутое, морошковое. В праздники, близ полдня, она выходит за ворота посидеть на табурете, который выносит с собой. На ней тогда черное, апельсинными дольками, платье, и в волосах гребень с фольгой. Она сидит неподвижно и пышно, как молодая сова, лушит тыквенное семя, запасенное от прежних лет, и именно тогда зорким вниманием своим она болезненно раздражает молодого человека.

Порой род безумия овладевает им... и вот ему мнится: лишь для того, чтоб дать ей одной, бабе Анисье, незабываемый спектакль, собрались сюда все эти одичалые и разномастные люди. Она сидит, неподкупный судья и неусыпный свидетель, а перед ней маршируют ряды сытых заморских войск, плетутся пленные красноармейцы, парадируют бритые, в клетчатых юбках, шотландцы, шествуют невиданные оркестры, и капельмейстеры выше поднимают свои нарядные булавы в стремление отличиться перед Анисьей; едут пушки, бредут попы с хоругвями, острыми, как секиры над плахой, качаются в седлах неслыханные полководцы... весь старый мир со всем его дурацким скарбом притащился в Няндорск ради одной



Анисьи! И она довольна, ей нравится вся эта напыщенная комедия войны. Когда солнечный петух замрет на своем нашесте — горизонте, она унесет свою табуретку и, завернув фольговый гребень в носовой платок, сядет пить чай с морошковым вареньем. Провидя будущее, она спокойна, как Сивилла. Ее сон крепок, сундуки объемисты, здоровье чудовищно. Она знает: гриб отцветет, обмякнет, останки пожрет червь и разотрет сапог, и, может быть, прежде чем изойдет морошковое варенье, прежняя скука оденет неудачную столицу.

— ...вот Анисью-то и шлепнуть в честь английского полковника! — вслух и с ожесточением произнес Пальчиков, но ему не стало весело, как Краге, когда тот тешил друзей своими армейскими афоризмами.

Он упруго повернулся на каблуках и увидел Флягина. Прислонясь к притолоке, он жевал что-то, и вся его румяная старческая харя принимала в этом участие.

— Что ты жуешь? — враждебно спросил поручик, но тот уже успел выплюнуть.

Флягин шагнул к нему навстречу.

— Эх, покомарить бы вам, господин поручик! — вздыхая, произнес письмоводитель; он служил здесь давно и видел многое. Пальчиков молчал, и Флягин поощренно затормошился. — Скучаете вы... и прыщик, гляньте сами, вскочил от отсутствия женщины. Доверились бы, уж постараюсь...

— Не уважаешь ты меня, Флягин, — брезгливо сказал поручик.

Флягин принял это как дальнейшее позволение:

— Мать не уважает, она любит! — И он даже пожевал что-то оставшееся за щекой. — Высохнете вы у нас, господин поручик: я уж скольких перевидал. Быки ломались... Рази ж это легко — заграничной рукой да собственного брата тятать. — Поручик сощуренными глазами изучал осмелевшего Флягина, и тому неудобно стало скрываться долее. — Давешнего мужичка привели, в засаду попал... отпустить его?

— Подоконники вымыть завтра! — мельком приказал поручик, отряхивая пыль с бриджей.

— С молоком он ездит, его все знают... — недобро щурясь, настаивал Флягин.

— Я тебе не Краге... я стрелять стану! — загремел Пальчиков, и все вокруг смолкло, а Флягин как-то незаметно всочился в дверь.

Вслед за тем Пальчиков оделся и, на ходу пристегивая кобуру, вышел в канцелярию. Разговоры разом стихли, и одни только размашисто стучали фидуновские часы на стене. На лавке, возле изразцовой печи, в которой малиново пылал вечер, он увидел Кручинкина. Та самая Россия, комендантом которой собирался быть, сидела перед ним, моля нищими, бестолковыми глазами.

— Лошадку бы мне попоить. Лошадка у меня не поена, — кланяясь, сказала Россия.

— Убрать этого растрепая! — мимоходом бросил поручик и вышел на улицу. Лютое мечтание его сменилось вдруг ненавистью, непосильной для одного человека. «Э, кажется, в должность вхожу!.. а впрочем, покома-рить, покомарить надо...» — мелькнули соображения, и холуйское флягинское слово уже не раздражало. Именно с этим намерением он пересекал площадь, направляясь к проспекту, где находилось гарнизонное собрание.

Косые лучи вечера падали в Няндорск. По густейшей пыли беззвучно проехал водовоз и тотчас скрылся за поворотом. Два облака в небе, лиловых и длинных, лучами расходились от заката; похоже было на то, будто мертвый полковник, погружаясь в вечность, простирает в последний раз над городом свои незрячие руки... Теперь навстречу ему, путаясь в полах кавалерийской шинели, шел новый господин Няндорска, мимоходом сбивая стеклом колючие головки с татарника. Где-то в отдалении, не мешая тишине, мычала корова, и дробной струйкой доносилась учебная стрельба. В этот час Няндорск был поистине великолепен своей тишиной обреченности...

Впрочем, все это было неточно и неверно, как круги по воде, под которыми иная скрывается пучина.

### III

— А, возлюбленный соперник мой! — неискренне закричал Краге, едва Пальчиков появился в дверях. — Одного тебя и не хватало на нашей ладони... — Если

он пытался сострить на фамилии гостя, то на этот раз у него сорвалось: их и без того было пятеро. Однако пятый этот, помощник английского коменданта, свершив все должное, спал в углу на диванчике и мог поэтому в счет не идти. — Вот и славно, будем делать ночь сообща! — В этом месте все как-то неопределенно погудели, что означало удовольствие видеть Пальчикова.

Неизвестно, всех ли одинаково порадовал приход поручика, сдержанность которого и подозрительность всегда угнетали. Оттого-то Краге так сразу и решил, что вечер потерян. Все же он задернул шторы, сшитые из военных английских одеял, зажег свечи, потребовал еще вина и кофе, и в прокуренной этой комнате с провинциальным граммофоном в углу и с красотками в пышных рамах сразу стало уютней и умней. Потом он повернулся в сторону поручика и досадливо поморщился; тот стоял у большого зеркала, разглаживал пробор, охорашивался и делал это с таким спокойствием, что никто не заподозрил бы его в пренебрежении к друзьям.

— Ладно, всех уж пленил! — посмеялся Краге, заранее наливая вино и придвигая к столу порожнее место. Он действительно выглядел весельчаком, неунывающий ротмистр; стриженные усы молодили его многоопытное лицо, на голове пенился густой и темный каракуль, походку же он имел такую, что правдоподобною казалась шутка, будто уже одним мужественным видом своим он лишает девиц невинности. — Ну, как в новой должности?.. все воюешь? Смотри, завязнешь ты, брат, как гвоздь в тесине. А меня вот собираются смотрителем на кладбище сделать... — Кажется, он шутил. — Читали, читали на заборах сочинение твое!

Пальчиков вежливо обходил стол, здоровался со всеми.

— Празднуете скорую сдачу Няндорска, господа? — приветливо сказал он, и, хотя это даже и в устах Пальчикова звучало шуткой, всем стало как-то не по себе. — Я, кажется, прервал беседу вашу?.. продолжайте, прошу вас.

Он вовсе не нуждался ни в ответе, ни в позволении, но Ситников, молодой и незамысловатый генерал из северодвинских пароходчиков, никак не смог отказать себе в удовольствии пообщаться с притягательным поручиком.

— Что ты, мы так рады! Капитан, понимаешь ли, кое-какие случаи из жизни рассказывал... — Он дружелюбно хлопнул Пальчикова по колену, и ему, видимо, лестно было, что тот не воспротивился его фамильярной ласке. — А то историей сватовства своего поделился, так, веришь ли, у Мишки от хохота подтяжки лопнули! — Он и сам похотел восторженным фальцетом, а Мишка, прапорщик с ушами вислыми и мягкими, как губы, басовито прибавил что-то про высокое качество подтяжек.

Ни от кого не было секретом, что он заискивает в Пальчикове, этот простоватый малый с генеральскими погонами. Да и в самом деле, — все, о чем мечталось ему в долгие часы ночной вахты на отцовских пароходах, все было достигнуто, и ныне одно огорчало его: что высокий чин еще не давал ему права на дружбу этого повелительного офицера. Деда его, беломорские капитаны, в Норвегу на малых шкунешках хаживали, а сам он сохранил от предков лишь приземистый рост, прозрачные, цвета рассветной волны, глаза да еще лютую храбрость, доставившую ему почесть и славу местного пехотного героя. Деда — дедами, а внук не стеснялся носить очень странную прическу винтом, отчаянный фортель какого-то знакомого парикмахера; кроме того, он приобрел вредную привычку гулять по городу, опираясь на обнаженную шашку... оттого-то и создавалось впечатление, что ограбили своего потомка могучие деда.

— Рассказывайте, капитан, прошу вас, — повторил Пальчиков, чувствуя неловкость за тишину, которую принес с собою.

— Да ведь при тебе неудобно, ты ведь аскет, дева непорочная! — придумал Краге, но поперхнулся и смолк под пристальным взглядом Пальчикова.

Он не боялся его, но у ротмистра вошло в привычку избегать неприятностей, мешающих веселью в жизни; все, однако, посмотрели на него с недоумением. Чтоб поправиться, он вернулся к какому-то разговору, бывшему у него с Ситниковым до поручикова появления. Разговор шел, видимо, об устройении человеков на земле. По словам Краге выходило, что стоит только переделать тюрьмы в театры, и сразу расцветет благодарное чело-

вечество, как подсолнечник в огороде. А так как полны тюрьмы, то полезно истребить сперва заключенных во имя всемирного счастья, а там уже и переделывать, декорируя освобождающиеся помещения зеленью и флагами. Сентенция его, которую он собирался посмешить, пришлась некстати, засмеялся один только Пальчиков, и это было всего обидней.

— Я всегда подозревал у тебя красные мысли! — съязвил он при этом.

Краге чертыхнулся, махнул рукой и сдался:

— Что-то не в ударе я нынче... Вали уж ты, Егоров.

Так звали рассказчика; то был штабс-капитан, с калмыковатым лицом, из сереньких, и без особого труда угадывалось, что дальше своего чина он не пойдет. С самого прихода Пальчикова он все время незаметно петушился под этакого забияку и наглеца, стараясь делать это в противовес заискиваньям Ситникова. Упрашивали его недолго, но, приступая к повествованию, он несколько раз с заносчивым достоинством покосился на Пальчикова.

— Философия губит молодых людей, — сказал он и браво тряхнул бритой головой. — Трата времени, и волос от нее падает. Но случаются камуфлеты, господа, когда только она способна утешить душевное отчаяние молодого человека. Так случилось и со мной, когда я заболел триппером в Вологде в прошлом году. Дело произошло нижеследующим образом...

— Это уже уморительно! — вставил прапорщик Мишка, располагаясь попросторней. — Я ее тоже, матушку, недолюбиваю.

...Последние два года Пальчиков не пил, но вот ему понравился янтарный цвет ликера, он посмотрел его на свет и отхлебнул ради любопытства. Теплый ветер подул ему в грудь, он задохнулся, зажмурился и налил еще. Ему понравился этот веселящий гной, да и совет флягинский пришелся кстати: именно теперь следовало отдохнуть от мысли, что Няндорск под ударом, что не сегодня-завтра новые хозяева войдут в убогий этот дом, где штабс Егоров потешает друзей своих, уже обреченных на гибель. Он выпил еще и, жмурясь на свечу, забавлялся, как на ресницах его, радужно и непокойно, играет отраженный свет.

Он слышал:

— ...уже отправляться на фронт. А тут иду с покупками по Петровке, подходит дамочка в вуальке, с девочкой, какой никто больше тринадцати годков... с половиной не мог бы дать. И сразу: «Не угодно ли, говорит, прапорщику развлечься?...» Словом, понимаэ? Меня так и кинуло сразу в краску, а потом, — все равно, думаю, убьют. Перед смертью-то и грешить! Эх, рискнем десяткой за такую диковинку... Дамочка поняла. «Вы ступайте с ней, говорит, а если плакать станет, вы не верьте: это у нее прием такой». Эге, значит, опытная! «А вы-то, спрашиваю, на лавочке посидите?» — «Нет, отвечает, я домой пойду. Она адрес знает...» Взял я ее за ручку, повел. — Егоров вопросительно взглянул на Пальчикова, но тот все еще изучал свет на ресницах. — Ну, пришли, посадил я ее на диванчик и виноградцу сунул, чтоб жевала...

— Тонкий подход! — одобрил прапорщик, покрываясь пятнами; каждое отражало какой-нибудь порок, пятен было множество.

Отодвинувшись с креслом поодаль от стола, Пальчиков затуманенным взором наблюдал случайных собутыльников. Внимание его поразила одна какая-то общая черта, роднившая все эти лица, почти сходство. Он долго мучился над отгадкой, а когда понял, ему стало как-то холодно и любопытно в этой тесной компании пирующих мертвецов. Он перевел глаза на Краге и испытал новый приступ удивления. Слегка припав к столу, ротмистр задумчиво поглаживал стакан, и в напряженных его глазах застыл острый блеск стекла. Наедине со своими мыслями он переставал быть весельчаком, но этот невоенный, с круглой спиной, почти уродливый Краге был ему во сто крат приятнее того, которого все любили. Удовольствие становилось невыносимым... Пальчиков закрыл глаза и знал твердо, что если взглянет — увидит черную дырку в крутом ротмистровом лбу. Он заволновался и привстал.

— Придвиньте мне содовую, ротмистр, — в замешательстве произнес он.

— Пожа, пожа, я вас катаю... — пошевелился мертвый рот Краге; никто не примечал поручиковых странностей.

Егоров рассказывал:

— Вдруг она плакать... тетя, дескать, обещала прийти, а все нету. Ревет и ножками в дверь колотит, понимаэ? Позволь, думаю, тут уж не прием! Надел я ремешки свои обратно, спросил, где живет, повел ее...

— Опять за ручку? — завистливо спросил толстый прапорщик.

— Да, конечно... трамваи там, автомобили летят! Привела: дом большой, в плитках, швейцар, как господь бог, в окошечко глядит, а на двери дощечка врачебная. Отпирает нам милый такой толстячок с бородкой, шпак в сюртучке, а в галстук змейка золотая, понимаэ? Я девчонку вперед пихнул, сам рапортую: вот, дескать, какое досадное недоразумение... Он мне: «Пардон-пардон, одну минутку», — а сам, двери не закрыв, прыг вовнутрь. И тут слышу треск и крик, как бы по мордасам лупцевание, кроме того — посуда. Я все стою, закручиваю усы, смерть курить хочется, а папиросы в номере забыл. Вдруг выносит он мне за самый кончик пятерку, сам мешок мешком, челюсть дрожит, как канарейка. «Получите, говорит, но ручки вам за это одолжение пожимать не стану, не ждите!» Ну, я и пошел...

— Пятерку-то, значит, придержал все-таки? Это у них подстроено, и девчонка в компании была заодно! — уверенно объяснил Ситников, радуясь, как ребенок, проницательности своей. — А ты бы сразу в полицию!

Егоров не ожидал такого оборота:

— Да нет же... ведь он по растерянности! Сука-то эта мачехой была и к покойной жене толстячка своего ревновала. Ясно, и решила пакость покойнице устроить через падчерицу... понимаэ?

— Ну, ей-богу, это прямо Жюль Верн какой-то! — восхитился прапорщик Мишка.

— Дайте же кончить, господа! — искусно взмолился Егоров, заранее предугадывая успех истории своей. — И вот, в прошлом году шагаю я по Вологде, а навстречу мне этакий пончик катится, совершенный цветок, прелесть... и хватает меня за рукав. «Вы, говорит, наверно, забыли меня, а я вас всегда помню...» — «Рад стараться, отвечаю, мадам, но, пардон-пардон, тороплюсь по службе». А сам думаю: непременно сейчас кислотой по ошиб-

ке плеснет. «Да нет, говорит, а вы вспомните, как и где вы меня виноградом угощали!..» Тут точно кожу с меня сняли и перчиком посыпали. Она, представьте, та самая девчурочка моя! Но выросла, конечно, расцвела и уже вдова на третьем месяце! «А мы, говорит, сюда переехали, в бабушкин дом... и папа здесь! Заходите...» — Егоров почесал подбородок. — Тут-то я и налетел на него, голубчика. И занятнее всего, что у папы ее лечился впоследствии... Прелестный, надо сознаться, врач, старичок такой!

Он замолк, предоставляя слушателям аплодировать.

— Не особенно весело на этот раз, — заметил вскользь Краге. — Про такие вещи молчат, а когда вспомнится ненароком, так водку для забвения пьют... Понял, милый человек?

— Да и конец-то, наверно, присочинил, мошенник! — смягчая неловкость, подмигнул Ситников. — Присочинил ведь, кайся!

Пожимая плечами, поигрывая темляком, Егоров отшучивался. Он и сам жалел, что сподлил из жадности угодить приятелям; стыд тем более мучил его, что на деле он целыми вечерами просиживал у этой самой Наташеньки, изнывая от бестелесной любви... Потом наступило безразличие; завтра, так же как и в тот памятный день, он отправляется на фронт, и что-то подсказывало ему, что на этот раз его убьют наверняка. Кусая усы, он отошел в угол и завел граммофон; сразу стало шумно и толкотливо, ожили красотки на картинах, и заворочался спящий англичанин, едва в тягостной тишине раздалось сиплые вступительные звоны **Корневильских колоколов**. Прапорщик меланхолически подзванивал им ножом по стаканам.

— А не порезвиться ли нам еще? — бахвалясь конфузom своим, спросил Егоров. — Можно барышень Градусовых позвать... Я бы черкнул им записочку, а? Британца разбудим, танцы соорудим... — Немолодой и невеселый, он играл обтянутыми коленками, весь выгибаясь в своем напускном озорстве.

Откуда-то снизу, где находилась общая зала, донеслась музыка и отрывочный плеск нерусской песни; заглушая граммофон, она прошла между друзей, нудная, как напоминание, и снова притаилась где-то в стенах.



— Скажите, капитан, из какой семьи вы происходите? — неожиданно и через всю комнату спросил поручик.

Капитана застал врасплох вопрос поручика.

— Дорогой друг, к чему это? — барственно поморщился Егоров, но почему-то, на ощупь протянув руку, остановил граммофон.

— Я вам объясню потом, — очень тихо и ласково отозвался Пальчиков.

Мгновенье Егоров раздумывал, сивый ус его брюзгливо опустился:

— Если хотите... мой отец был мастер в депо. Ну, просто слесарь... да, — с неожиданным вызовом и нажимом на слове признался он.

— Он был богат?.. владел поместьями? — продолжал Пальчиков свой допрос.

Егоров прищурился.

— Что это, служебная любознательность? — запальчиво напал он, но поручик улыбался так успокоительно, что Егоров не посмел обидеть его молчанием. — Вы же знаете, как живут слесаря. И, кроме того, я двенадцати лет ушел из дому, сам работал и учился... Ну, теперь ваша очередь объяснять.

Пальчиков слегка наклонил голову, как бы в знак почтения к трудностям капитанова детства.

— Я объясню. Видите, мы сидим за этим столом, возможно, в последний раз. Сохраняйте спокойствие, господа: красными взята Шеньга!.. — Он отпил из стакана, и все тревожно переглянулись. — Мне кажется, что в последний час свой каждый обязан знать, за что он отдает свою жизнь... Мне интересно, каковы ваши цели, капитан?

— Пардон, не понимаю... — насильственно ухмыльнулся Егоров.

— Я и объясняю... Возьмем прапорщика. Он знает, что отвоевывает свое лентяйское право кушать и хохотать на скабрзные истории...

— Это метко, а? — хихикнул толстый Мишка, спокойно ворочаясь.

— У Краге это наследственное, — отчетливо продолжал поручик. — Война — его труд. Все его деды были военные и кого-нибудь убивали: тут голос крови. Отнимите

у него это паскудное, в общем-то, занятие, и он сопьется... Ситников дерется потому, что большевики отберут у него пароходы. Но ведь у вас нету ничего, вам наплевать на идеалы прапорщика или имущество этого милого военачальника. Вас убьют свои же, верьте слову. Какое же право вы имеете драться против большевиков?..

Все более наливалось краской растерянности и тревоги капитаново лицо.

— Я дерусь потому, — тяжело и торжественно, как в присяге, произнес он, поднимая руку над головой, — потому, что жида отняли русское золото. Как золото отыдем, так война кончится...

Все в этом месте снисходительно улыбнулись на капитанову прямоу.

— Согласитесь, дружок, — сказал Пальчиков просто, — что с такой программой нельзя воевать. На той стороне русских больше, чем у нас англичан. Вы поднатужьтесь, милый, подумайте... а то ведь солдаты смеяться станут!

— Я, может быть, и дурак... — задыхаясь и вытирая испарину, ответил Егоров, — но я делаю то, что велят мне совесть и бог... — Он смолк и стоял одиноко, как на расстреле, и никто не смел прийти к нему на помощь перед лицом иронического поручика. — Да, именно совесть и бог....

— Он даже и в бога верует! Фу, какая роскошная жисть... — решив примкнуть к сильнейшему, снова хихикнул прапорщик и немедленно осекся.

Подняв кулаки над головой, капитан шатко двинулся к прапорщику; однако, не дойдя двух шагов, он остановился и стоял с закрытыми глазами.

— Молчать! — гаркнул он, как в строю, но крик его одинаково походил и на всхлип; вслед за тем он медленно пошел к двери. Делая знаки, чтобы все молчали, Краге обеспокоенно поспешил за ним.

Ситников едва успел спустить граммофон в углу, как тот вернулся.

— Ну, вот, и рассказывать стало некому. Смутил парня... И день-то выбрал, чертила! — упрекнул он Пальчикова. — Ведь он именинник нынче, на именины ты попал...

— Кстати, он очень познакомится с тобой искал... — укоризненно прибавил и Ситников.

Они видели, что именины Егорова для него пустяки, не заслуживающие даже обсуждения, и ждали каких-нибудь оправданий. Поручик медленно обвел их глазами; ему хотелось внушить им, что с падением Няндорска начинается новая эра в существовании страны, где им уже не будет места; хотел сказать, что красным уже дан приказ взять город до двадцатого числа, потому что валандаться далее на этом комарином фронте и впрямь бессмысленно... но он взглянул в тусклые глаза тучного Мишки, в квадратное сердитое лицо Краге, на парикмахерский завиток Ситникова и понял, что поражение этих людей принесет стране меньший вред, чем их победа.

— Простите, господа, я испортил вам вечер. Но я вообще не компанейский человек!.. — Он подошел к окну и раздвинул штору. Таинственно курясь, белая ночь вступила в комнату. По безлюдным улицам протянулись слабые и длинные тени строений. Тишина ночи пленяла, как наваждение, но окно в нижнем этаже было раскрыто, и оттуда бестолково неслась английская песня «Тиррегагу». Должно быть, в этом унывном мычанье и выражалась завоевательская тоска по родине. — Белая ночь, господа... вот в чем дело! — дрогнувшим голосом произнес Пальчиков, но никто не уловил скрытого смысла его замечания.

И он уже собирался покинуть комнату, когда прапорщик Мишка предложил отправиться всей компанией к Анисье Крытых мириться и гулять. Из его слов получалось, что в укромном этом месте даже огонь с водой можно помирить. Пальчиков прислушался и, решив не увертываться от волны, которая его захлестывала, изменил намеренье.

— Кстати, там наверняка и Егорова найдем. Больше ему идти некуда, — сообразил Ситников. — Эй, инглишмен, каман к Анисье! — Тот безнадежно открыл глаза, но дальше своих зрачков, кажется, не видел ничего.

В настроениях крайне прохладных и подавленных они спустились в раздевалку.

— Эх, маркиз... — сказал Краге поручику при выходе на улицу, — не удивлюсь, если и застрелился теперь Его-

ров. Он такой, — он, если горлышко у графина отбито, так и остатки о пристенок бьет. Жить ты не умешь! Брал бы пример с меня: до сорока двух лет дожил и со всеми во всем согласен... Вот как надо жить!

#### IV

В темной прихожей у Анисьи пахло квасом и монастырем; это привлекало и настраивало на особый полудомашний лад. Все пятеро толпились в сенях в ожидании хозяйки; при этом прапорщик Мишка наступил на что-то ногой, и в темноте зашипело. Он испуганно отдернул ногу, потерял равновесие и почти повалился на Пальчикова.

— Что у вас там? — осведомился поручик.

Присев на корточки, толстый Мишка шарил руками по полу:

— Тряпка... наверно, мокрая тряпка, господин поручик. Я на нее наступил!

— Она вас укусила? — с холодком спросил поручик и, не дожидаясь ответа от посрамленного Мишки, первым открыл дверь в Анисьино обиталище.

Его ударил свет большой керосиновой лампы, подвешенной к потолку и украшенной абажуром из зеленой пропускной бумаги. Волчий тулуп, криво распятый над окном, защищал Анисьиных гостей от уличного любопытства надежнее, чем армия филодендронов, франциссей и столетника, которым мещане лечатся от чахотки. Еще стоял тут комод красной фанеры, а на комодe, сквозь вязаную белую накидку, виднелась колода замусоленных карт. С наивным достоинством соблюдался этот дом, и, хотя он был попросту питейным заведением, на столе висел лубок — **Демон в водке и табаке.**

Егорова тут не было, но зато какие-то два молодых человека — один из них военный — сидели тут, и, войдя, Пальчиков услышал, как один советовал другому не мешать эфир с кокаином. Узнав Пальчикова, они быстро поднялись и с поклоном удалились в соседний чуланчик, где и пропали на всю ночь. Вслед за Пальчиковым вошли и остальные, сопровождаемые самой хозяйкой. Тут-то Пальчиков и разглядел ее.

В этой умной и упругой бабе было что-то от анисового яблока: одинаковые неприхотливость, цвет и, наверно, вкусовая кислинка. Вряд ли она когда-нибудь обольщала, но раз познавшему ее трудно было бы сбежать от нее на волю. Нестарая, она ухитрилась три раза побывать замужем, — три серебряных кольца, воспоминания о покойниках, втесную ютились на ее пальце. Наверное, незавидная доля была у этих трех Анисьиных супругов, которых она в разное время держала, как петухов, при своем хозяйстве.

Пальчиков поймал на себе ее совиный, изучающий глаз, и тотчас же она отвернулась идти за хваленными своими дарами. Скоро на столе явился плечистый кувшин-самохвал, глиняные кружки и уйма всяких квашений и маринадов, распускавших вокруг себя цветистые запахи — то лесной прели, когда пора вылезать петрову кресту, то свежего укропа или копытня, то меда и хмеля, то самого июньского ветра, когда лишь зацветает дрок на лугах. На всем, что она ставила на стол, лежал отпечаток заботливости и умения: звездчатая морковь и рядки брусники, алой, как тетеревиная бровь, украшали шинкованную капусту, а гриб даже и в свирепом отваре сохранял свой первобытный лесной цвет... Обдернув камчатную скатерть, она присела на укладку, простеленную чистым половиком, и молча наблюдала гостей, готовая к услуге и пахнувшая травами.

Никто не знал ее секретов, она варила брагу по стародадовским заветам, и, право, слава ее была заслуженна. Дразня и не насыщая, оно вливалось прямо в душу, это колдовское снадобье, и стоило глотнуть его разок, чтоб навсегда остаться подверженным темной Анисьиной власти. В пропадающем городе, где всякое мечтание упиралось в грозные думы о завтрашнем дне, Анисья обладала могуществом не меньшим, чем Пальчиков.

За виночерпия трудился прапорщик Мишка, но еще прежде, чем он успел убагодворить всех, явился Егоров с двумя сестрами Градусовыми.

— Так и знал, что вы здесь. А я вот зазнобин своих приволок... — пошумел он, и незаметно было, чтоб он собирался ударить о пристенок свой обезгорленный графин. Барышни жеманились, согласные на все, лишь бы

развлечь свои топки девичьи будни. — Катя-Лена, садись за хозяйку! — Катей звали младшую.

Сестер Градусовых капитан рассадил так, что Катя оказалась рядом с Пальчиковым; его попытка проявить незлопамятность к обидчику своему еще больше раздражила поручика. При каждом ее движении до Пальчикова доносился тошный женский запах, которого не могли отбить ни табак, ни душистое мыло.

— А я вас знаю... — сразу призналась она, хохоча и сверкая жемчужной россыпью зубов. — Знаете, тот гимназист, который полковника застрелил... это он из-за меня его застрелил! Его тоже расстреляют, Женю... да? — Ее забавляло приключение с английским полковником. — А, знаете, вы совсем не страшный...

— Мерси, душечка, — скривился весь Пальчиков, вспомнив приказ о репрессиях. — А скажите, душечка, вы часто моетесь?

Она не поняла, высоко задрала брови и кокетливо толкнула поручика.

— Ленка, — громко сказала она сестре, — а он за мной уже ухаживает! — Лишь после милого этого хвастовства она улыбнулась и поручику. — Ну конечно, моемся... Только, знаете, зимой как-то холодно, а летом некогда...

— Чем же вы летом-то заняты? — издевался поручик, как в чаду соображая, что весь его нынешний день, полный ссор и столкновений, походит на предсмертную судорогу.

— А летом мы **воздухи** вышиваем с сестрой. Знаете, при богослужении платки такие. Мы обещания дали с сестрой по сотне вышить, но только сейчас золота такого нет... — Она была все же недурна, и явная глупость ее сходила за очаровательное легкомыслие. — А я сегодня без корсета! — совершенно неожиданно призналась она.

— Ай, как нехорошо... — с ненавистью сказал Пальчиков.

— А я всегда, когда в плохом настроении, то без корсета...

— Занятно! — И, наклонясь к ней, сразу подавшейся в его сторону, он шепнул ей несколько слов, более оскорбительных, чем пошлых. — Ладно? — вслух спросил он.

Она певуче смеялась, — и ничем ее было не пронять.

— Нахал, нахал... — И закрывала кружкой лицо. — Но милый, милый нахал! — Разумеется, она боялась утратить такого редкостного поклонника.

Пальчиков стал смотреть на тулуп, что было ему приятнее. Он думал о времени и людях, людские судьбы представлялись ему как бы волокнами, висящими где-то в отвлеченном пространстве. Вдоль них опускается плоскость — время, и жалкие проекции их, точки на плоскости, лихо мечутся по ней потому, что именно так изогнулась их кривая. «Предназначенность?» — спросил он себя, и оттого, что ответ определял одно очень важное его решение, он не ответил. Его удовлетворили средние его формулы, — что время есть только ощущение умирания, а жизнь есть кипение остывающего вещества. Однако эта философия предназначенности и была философией обреченности... Он перевел глаза на Краге и почувствовал, что тот думает о нем. И верно: ротмистр поднял глаза на поручика и стал решительно отодвигать от себя посуду, точно готовился к побоищу.

— Вот вы давеча ошельмовали нашего общего друга, поручик, показав, что вы умный, а он дурак...

— Опять все то же самое, — взмолился Егоров.

— Позволь, ты, что ль, один здесь дурак?! — нетерпеливо осадил его Краге. — Вот я и спрашиваю... разве вы, Пальчиков, не хотите работать, а хотите непременно жить на счет тех, которые уже привыкли работать?.. Нам также любопытно, за что ратует начальник няндорской контрразведки! — Он торжественно умолк.

Все еще думая о своем, поручик рассеянно глядел на руки Ситникова, брошенные на столе, и находил, что именно руки могут порою рассказать о человеке больше, нежели любой его словесный портрет. На мизинце у Ситникова был отпущен холеный и сверкающий ноготь, а на остальных — из-под коротких, полушаровой формы ногтей — просвечивали каемки голубого траура. Вдруг Ситников спрятал руки, и лишь тогда Пальчиков вспомнил о Краге, который терпеливо ждал.

— Имя России вас удовлетворит, ротмистр?

— Простите, вы о чем, собственно, толкуете?.. О той кавасии, которая постыдна была, или о той, которая будет?

— Я говорю о России, — угрожающе прищурился Пальчиков, чувствуя на себе упорный Анисьин взгляд.

— Так ведь ее ж нету, вашей России, да, пожалуй, и не было совсем. Эй, помолчите, девушки!.. — прикрикнул он на сестер, которые слишком расшалились с толстым Мишкой. — Играли вы в детстве в казаков-разбойников, поручик? Есть такая уличная детская игра.

— Простите, я рос не на улице, — огрызнулся Пальчиков.

— Но я и не хотел заподозрить ваших родителей в низком происхождении, — снисходительно кивнул Краге. — Игра эта весьма походит на высокий тот предмет, о котором речь. И если бы мне предложили: желаете, мол, чтобы еще на двести лет затянулась эта катавасия...

— Я имел в виду Россию не для вас, а для народа, — уже с трудом отражал тот удары Краге.

— Да в народе смеются про это, поручик! Я двадцать три года в армии, и я ни разу не слышал, чтобы солдаты говорили между собой о России... Россию черт сочинил, когда еще он служил в херувимах, вот что-с!

— Пустяшный разговор! — кинул Пальчиков, зная наперед все, что скажет Краге. — Что вам нужно от меня, ротмистр?.. драться хотите, так я не прочь. Ночь еще не на исходе, свидетели есть... Мы еще успеем наделать дырок друг в друге.

Краге взбешенно поглядел на Пальчикова, побарабанил по столу и сдержал себя.

— Нужно иметь великую, непогрешимую идею, чтоб вести себя так, как вы, поручик! — сказал он напоследок.

Наступило молчание, барышни перестали пудрить носы.

Раскидистый филодендрон сидел в кадке — позади Пальчикова; ему не приходилось бороться ни за еду, ни за место, — он рос жирно и похабно, благословляя свою неволю. Один из его лапчатых листьев свисал над самой головой поручика, который, к слову сказать, еще несколько раз поймал на себе пристальный, ведовский Анисьин взгляд. Охваченный вдруг самыми обжигающими образами, — и тут ему представилось, что она парится с ним в жаркой до озноба русской бане, — он машиналь-



но протянул руку и, оторвав краешек листа, вплотную прижал к губам. Теперь он не сомневался, что совет флягинский **покомарить** касался именно Анисьи. Влажный холодок листа слегка отзывал землю.

— Ты цветов не трожь, — сказал мягкий Анисьин голос, и Пальчиков увидел ее возле себя. — Ты допивай свое в жизни, а цветы не трожь. Цветы не воюют...

— Как она на него глаз-то наложила, — развеселился прапорщик, который был, кроме того что пошляк, вдобавок и миротворец. — Вот и поженим, а? Чем не пара!..

Ему невдомек было, какая тут происходила игра, а игра происходила крупная. Один и тот же шальной вихрь в один сноп споясал Пальчикова с Анисьей, и его уже не раздражало, что ставят вместе их имена. Анисья знала это и, рожденная на радость, радовалась; она одна теперь была здесь, в этой комнате, остальные лишь присутствовали.

— Почему же ты знаешь, сова, что я допиваю? А может, только начинаю пить... — нашелся Пальчиков, заливаясь краской.

— Я все знаю, совы-то по сто лет живут. Когда сове делать неча, она судьбу пытается, — сказала Анисья, и глаза ее призывали сильнее слов.

— Помилуйте, так ведь она гадать умеет! — вспомнил толстый Мишка, и тотчас все захотели взглянуть в будущее свое, но она медлила, пока сам Пальчиков не попросил ее о том же.

Взяв карты, с комода, она села с Пальчиковым рядом, так что колени их соприкасались; потом, сдвинув посуду, она вынула из колоды пикового короля, и хотя она колдовала молча, все догадались, что пиковый — это Краге.

— Веселье тебе, офицер! — развела она плечами, смешивая и растасовывая карты заново. — Богато живешь, вино и дружба к тебе отовсюду... — Она все кидала карты на стол и вдруг горделиво подняла бровь. — ...А потом застрелят тебя, господин хороший, как собаку.

Уже никому не приходило в голову принять ее прорицание за шутку.

— Врешь, баба! — хрипло сказал Краге, втягивая голову в плечи. — Гадай еще... я не хочу умирать, — и сде-

лал бессильный жест рукой, точно пытался стереть уже написанное.

— Больше некуда, — усмехнулась баба. — Поди покричи на них, на карты, может, и испугаются... — Она еще много раз полукругами раскидывала колоду.

Так она обошла всех; потешила поповен намеком на замужество, порадовала прапорщика предсказанием карьеры, Ситникову наобещала крест, и непонятно было, какой крест она имела в виду.

— Теперь тебе, — взглянула она на Пальчикова, и открытое ее лицо осенила еще не ласка, но уже обещание ее. Все молча глядели, как происходило это добывание будущего, как в чернофигурной рамке поместился червонный валет, а вправо упал пиковый туз, а влево легла крестовая дама. Она раскинула карты еще раз, и пиковый туз, неотступно, как коршун, кружил над поручиком, но дама уже не приближалась.

— Вишь, — без воодушевления сказала она, — встретились, погляделись и разошлись.

— Крестовая-то — это ты, что ли? — перевалась через стол, спросил Ситников.

— Крестовая — это я, — сказала она и отставила ногу под столом. Она еще несколько раз, заметно волнуясь, спрашивала у карт о Пальчикове, но вдруг смешала карты и встала из-за стола. — Не стану гадать!

Прежняя, непроницаемая, она удалилась на свое место, и тогда в сенях раздался топот ног, внезапно стихший за самой дверью. Кто-то, стоя там, шумно переводил дыхание. Таился в этом происшествии какой-то черный замысел...

— Входи, дьявол! — заорал Ситников, ножнами ударя в пол.

Дверь открывалась медленно, потом показался бледный Флягин, он делал немые знаки своему патрону, вызывая его в сени. Здесь он доложил, что начальника несколько раз вызывали из штаба фронта, сердились и грозили словами, которые сам он, Флягин, не смеет и произнести. «Настойчивые!» — подумал поручик, догадавшись, что дело шло все о той же несчастной десятке.

— Я приду скоро, ступай. И потом, чтоб подоконники были вымыты! — почему-то с раздражением вспомнил он.

Одолеваемый бессвязными мыслями — и прежде всего тем, как догадался прибежать именно сюда Флягин, — он стоял во мраке, и ему представлялось, как огромная крестовая дама приходит к нему ночью в контрразведку. Из чуланчика доносился сдавленный шепот: «Ты к Нине Павловне сходи на ночку!» — «Да ведь она ж старая, противно». — «Дурак, она за ночь-то по пять грамм дает!» Пальчиков со всего размаху стукнул в дверь ногой, и там смолкли, точно юркнули в подполье. «Гноятся, а еще не мертвые...» Он вернулся в комнату за шинелью и фуражкой.

— Я принужден покинуть вас... спешное дело, господа! — Он избегал глядеть на Анисью, точно она могла удержать его от неминуемого. — Прощай, сова! — усмехнулся он напоследок и рывком затворил дверь.

...Все еще гостевала белая ночь в Няндорске. Под ее укрытием, прильнув к оконной щели, поглядывали в Анисьин дом три какие-то фигуры. То были местные жители, которые не пропускали случая узнать настроение временных няндорских хозяев. «Они встречали нас Крестным ходом, они англичанам вопили «Welcome!»<sup>1</sup>, они и красных встретят красными флагами... Вот она широта души...» Он с отвращением прошел мимо этих трех микробов паники, застигнутых на месте; проводив поручика рачьими глазами, они тотчас растворились в бесплотной дымке ночи.

Начинался рассвет; на Севере это означает, что диск, перекочевав по горизонту, снова всплывает в голубые призрачные небеса, а вещи снова дают тень. Из окон заspanные выглядывали хари, силясь угадать, что означает в общей цепи событий ночная прогулка няндорского господина.

У гарнизонного собрания он догнал англичанина, того самого помощника коменданта, который спал на диванчике в углу. Проспавшись, он совершал утренний моцион и, видимо, рад был поболтать с кем-нибудь в этот предрассветный час. Некоторое время они шли рядом.

— Do you like our white nights?<sup>2</sup> — спросил из вежливости Пальчиков, применяясь к не вполне устойчивой походке англичанина.

---

<sup>1</sup> Добро пожаловать! (англ.)

<sup>2</sup> Как вам нравятся наши белые ночи? (англ.)

После выпивок тот всегда пребывал в состоянии крайнего благодушия.

— I like everything in Russia, — тряхнул тот угловатыми плечами и поскалил зубы. — Russia means plenty of timber, of grain and a lot of jolly girls...<sup>1</sup>

— And what do you say of Russian culture?<sup>2</sup> — спросил хмуро поручик.

— Well you have got to keep your eyes open. Russians always try to set fire to the world, spiritually I mean, for the sake of some higher aim. Well, but all these chaps, prophets and reformers, whatever they say about the happiness of mankind they don't really care a damn<sup>3</sup>, — свысока процедил англичанин.

«Так... поджигатели, значит, очень хорошо», — подумал Пальчиков и промолчал оплеуху. Впрочем, англичанин и сам догадался, что и в Африке обижаются; видимо, для того, чтоб смягчить заминку в разговоре, он покопался в бумажнике и достал оттуда скоробленную от близости тела фотографию какой-то девицы.

— This is the girl I am engaged to!..<sup>4</sup> — сказал он не без мечтательности, дыша винным перегаром в самый лоб Пальчикова. — Ви тож имеее одна? — почему-то приспичило ему спросить по-русски.

— Нет, я не имею ни одной... — сухо поклонился Пальчиков. Он смотрел на длинный нос английской девицы, на ее тощие губы, похожие на шрам, и думал, что девица эта, наверно, стервоза, и когда выйдет замуж, то они станут пить вместе.

— Good bye!<sup>5</sup> — сказал поручик и покинул гостеприимный перекресток, где они обменивались этими приятными речами.

На телеграфном столбе сидела ворона и, глядя на отливающий золотом купол собора, оглушительно кричала:

---

<sup>1</sup> Мне все в России нравится. Россия — это много леса зерна и много хороших девочек... (англ.)

<sup>2</sup> А что вы скажете о русской культуре? (англ.)

<sup>3</sup> О, тут надо глядеть да глядеть. Русские всегда старались поджечь мир во имя какой-нибудь высшей цели. А впрочем, все эти ребята, пророки и реформаторы, что бы они ни болтали о счастье человечества, в конечном счете им на него наплевать (англ.).

<sup>4</sup> С этой девушкой я обручен!.. (англ.)

<sup>5</sup> До свидания! (англ.)

агава, агавы... Она замолкла, когда приблизился неравномерный звон поручиковых шпор: был особый военный шик в том, чтобы одна шпора волочилась по земле...

И вдруг он понял, что идет в тюрьму.

## V

Тюрьмы в Няндорске так и не удосужились построить. Бунтовщиков и опасных мечтателей не заводилось, так как в счастливом этом городке все были довольны своею участью, а воров крепко поучали при поимке и оставляли в канаве на милость божию. Едва же столицей стал Няндорск, и новые у него объявились потребности, под тюрьму передали местную богадельню. К тому сроку прежние старики перемерли, а новые разумно скрывались по своим норкам, и оттого никому не доставило ущерба это диковинное превращение... Расплюснутое строение окружили проволокой в два кола, койки списали местному лазарету, а в окна вставили решетки работы местного кузнеца Тяпина. Старовер и богомол, он всем изделиям своим придавал благообразный облик: решетки вышли изрядные, с лилейными шипами, как в церковном окне.

Угловую плоскую комнату, из окон которой можно было наблюдать громоздкие цветистые, как пасхальная крашенка, закаты, отвели под смертников. В самом начале деятельности веселого ротмистра здесь бывало полно и шумно, но иссякли запасы подозрительных няндорцев, и как ни шарили по домам тайные и добровольные агенты Пальчикова, все бедней становились их уловы. И правда: любой из горожан мог служить примером благонадежности при всякой власти; все владели собственностью, но малюсенькой, все ходили в храм, но лишь потому, что театров в городе не имелось, и пока дело не касалось медяков в кармане, все единодушно поддерживали любую власть. В вечер, когда в эту комнату, оранжево разлинованную закатом, попал Кручинкин, здесь находились всего четверо. То были: гимназист, красный матрос, осужденный скорее за дерзость, чем за преступное свое звание, какой-то необъяснимый хлюст в техни-

ческой фуражке, — причем, когда распахивалось пальто, на нем оказывались длинные дамские панталоны, — и, наконец, Стенька с Вилёмы, утерявший тут свою грозную репутацию неуловимого. Все они догадывались о предстоящем и потому ничем не прикрывали друг от друга истинных сущностей своих.

Стеньке, дородному и пегому парню с насмешливым взглядом, было здесь привольней всего. Он восседал на единственной табуретке, и, даже когда покидал ее размять ноги, никто не смел хотя бы и временно занять ее. Посвистывая, еще лише вскидывая бровь, которая дугой перебегала в длинную прядь волос за ухо, он подходил к разбитому окну и смачно затягивался из папироски, которую ему протягивал сквозь решетку часовой; того, должно быть, пленяло предсмертное Стенькино молодечество. Действительно, было в его статной фигуре такое, что так и подсказывало, дескать: «У нас, на Вилёме, все такие!»

Иногда к нему, как к самому спокойному из всех, подходил отвратный хлюст в фуражке и, юля всем телом, спрашивал:

— Простите, что отрываю вас от вашего почтенного раздумья. Как вы думаете, на ваш глазомер, кокнул меня? — Он разнообразил вопросы, но смысл их всегда оставался один и тот же.

— Непременно, гражданин! — У Стеньки был перешиблен нос, и он слегка гнусавил.

Ему не хотелось делать секрета из своего прискорбного знания, и гимназист всякий раз умоляюще взглядывал на Стеньку, если улавливал его недвусмысленный ответ. Тогда он торопливо одергивал свою вышитую, с форменными пуговицами, рубашку и старался отыскать хотя бы в мыслях спасительную лазейку. Ему представлялось, что удастся бежать, и, хоть кругом лежала голая тундра, непроходимый спасительный лес вырастал в его разбудораженном воображении. В лесу он поведет дикарскую жизнь, станет жить в дупле и питаться дичью, ловить которую силками он большой искусник. Но много лет спустя, все такой же молодой и красивый, он выходит из своего убежища в мир, и толпы большевиков, этих простодушных людей с кинжалами в руках и ногах, при-

ветствуют его, качают, плачут, а ему и стыдно и страшно, — вдруг узнают, что полковника-то он застрелил просто из страха, что Катя Градусова сочтет его трусом...

Кручинкин спит, и грандиозные сапоги его спят возле, в богатырском раздумье уткнув руки в боки: так отражается это в бессонном гимназистовом глазу. Храп его заразителен и такой тоненький, будто все спрашивает о чем-то, о такой ерунде, что и отвечать совестно. Гимназист закрывает глаза, и образы иные наплывают к нему из тюремных сумерек. Наверно, как всегда бывает при казнях, к нему пришлют священника с крестом — хитрягу и дельца. Он сядет возле и заговорит длинно и тоскливо, как на уроках Закона Божьего, а потом даст целовать крест. А Женья вцепится и не будет отпускать, потому что в тот холодный металл уже всочится вся его последняя надежда... А священник, конечно, рассердится и скажет: «Да отпустите же мой крест, молодой человек!..» Камера просторна, как пустой спичечный коробок; из разбитого окна бодрый холодок бежит к ногам, ночь светла, как день осенний; на стене горит лампа во исполнение английского закона.

Кручинкин спит, и продолговатые богадельные клопы семейственно жуют его, но ничто не может прервать его обольстительного сна. Малые струйки его сопенья сливаются в гулливую, половодную реку, усы его качаются, как колос в бурю, он храпит, точно перегрызает тяпинское изделие, и с минуту все враждебно прислушиваются к его ненасытному гуденью. Не разбудить его — он спал бы век, все не утоляясь чудесными виденьями крыжовника.

— Кончай свой храп, оглушил совсем! — мрачно сказал матрос, готовясь вторично ткнуть его ногой в бок. — Нашел время для сна, моржовина!

Все еще лентясь открыть глаза, Кручинкин шарил сапоги и виновато улыбался:

— А сам-то, думаешь, не спишь? Все мы спим, как листья на дереву. И ты спишь, милчок, и сон видишь, будто в тюрьме сидишь...

— Э, лучше проснуться, чем такой паршивый сон досматривать! — прошумел Стенька от окна, и не понять было, о каком пробуждении он говорил.

Чихая от запахов, которые оставались здесь еще и от прежних постояльцев, Кручинкин раскрыл глаза и догадался, что ночь на исходе, что скоро залотошат в своих ящиках петухи и пора станет возвращаться домой, к сыну, не покидала его тайная уверенность, что за ночь отойдет у начальника сердце, и все кончится очень хорошо.

— Продаешь, что ли? — спросил матрос про сапоги, которые Кручинкин хозяйственно прощупывал, томясь без дела.

— Купи, у меня нога крупная! — молвил тот, и матрос счел это за позволение присесть на сермягу.

— Мне не нужно. В земле и без сапог в самый раз!

— О, никак, надоело в сапогах-то?

Матрос понял, что имеет дело с хитрецом:

— Дурачок аль прикидываешься? — подмигнул кручинкинский собеседник. — Думаешь, дурак, так и помилуют? Нечего, брат, прятаться. Полковника-то кто угрохал?.. я тебя сам видел! — Кручинкинские усы шевелились, как бы исследуя, откуда шло недоброе слово. — То-то, моли своего бога, чтоб большевики пришли скорей!

Но хоть и глухим уродился мужик на совет чужой и беду людскую, тут уразумел, что моряк этот человек опасный, и на корабле его из тюрьмы не уплывешь. Быстрехонько схватив сермягу с полу, он отошел от зла в сторонку и долго прохаживался по камере взад и вперед, прежде чем оказался возле Стеньки. Тот стоял у окна, держась обеими руками за решетку и не сводя глаз с пустой улицы; зайдя чуть сбоку, Кручинкин заглянул туда же.

В слабых лучах восхода бестелесно желтели березы в палисаднике напротив, и еще видно было, как поднимали над городком дозорную колбасу. Потом по улице неспешно, как в прогулке, прошла женщина, повязанная платком; на щеку из-под платка выбивался клин темных волос. Она возвратилась, прошла еще раз и остановилась у окна, где ждал ее Стенька.

Должно быть, заранее на этот час была условлена у них разлука. Стенька сопел, а та не плакала, знающая все вперед, привыкшая к мысли о расплате. Она стояла



с покорными руками, воровская жена, и вдовый облик ее был неотделим от образа белой ночи, проходящей по няндорским пространствам. Вдруг багровая волна, подымаясь снизу, залила Стенькино лицо; оно распухло, исказилось, и рот его, развороченный страданием, мучительно метался в нем. Он крепко держался за решетку, точно какой-то вихрь, набежав сзади, мог продавить его сквозь лилейные эти шипы; так прошла минута. Стенька прощался с миром и со всем, что было ему дорого в нем. Потом багровость отлила, и краска, серая, как небеленый саван, одела безразличное лицо. Он махнул рукой и отвернулся. Прощание кончилось.

Рискуя получить смертный удар от вора, Кручинкин сунулся к окну, но увидел только спину женщины, которая удалялась.

— Стыдись... куда заглядываешь! — сказал Стенька расслабленно и не ударил, даже не отпихнул.

Уже отбуянила в нем душа, и все бывшие с ним приняли это как недобрый признак и начало их общего конца. Как только что окно, сейчас дверь сделалась самым значительным местом в камере: оттуда придут. Каждый шорох или даже слабое скольжение вещи стало привлекать настороженное внимание осужденных. Никто не двигался. Входило солнце. Легкий рисунок окна отпечатлелся на полу. В тишине полз еле слышный безостановочный всхлип: это плакал хлюст в фуражке, плакал без всякого оживления, плакал о мерзости своей, доставлявшей ему радость.

— Эй... наизнанку выверну! — сквозь зубы крикнул на него матрос, и с этой минуты к нему перешла власть в камере.

Тогда — он запоминался навеки — раздался звон шпор, и одна дребезжаще призывкивала при каждом шаге. Потом, точно крался вор, в скважине осторожно простучал ключ, но почему-то все подумали, что к ним ведут нового временного сожителя по камере.

— Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая... — умышленно громко пошутил матрос, но он ошибся.

Впалыми глазами шаря перед собой, вошел Пальчиков; следом за ним конвойный солдат внес на цыпочках стул и поставил у стены. Дверь закрылась, но замок не

прозвучал никак. Медленно, точно соблюдая ритуал, поручик сел на стул и глядел на матроса, пока тот не зашевелился.

— Ежели в гости пришел, так в тюрьму за этим не ходят. И потом: сам на стуле расселся, гад, а мы, ровно поленья, по полу... — сказал матрос, подходя ближе.

— Садитесь, если вы устали, — сказал поручик, приподымаясь.

Отступив, матрос размышлял о странном этом поведении.

— Скоро нас кончат?

— А вам очень хочется? — поднял брови поручик.

— За тем и шел! — резко сказал матрос. Он внимательно приглядывался к Пальчикову. — Ты из Волчьей сотни?.. Ну, я так и знал. Это твой отряд Кодшу обходил?

— Мой, — сказал поручик.

— Собачья публика... Зачем же было мост-то подрывать! Ты уж людей коси, а мост, кто б ни победил, все равно заново надо строить. Эх, грамотные!.. Ну, гад, кончат-то нас скоро?

Пальчиков заговорил лишь через минуту, когда потребность в прямом ответе уменьшилась.

— Скажите... — он помялся, — гражданин, у вас найдено письмо из Вятской губернии... за хлеб благодарят... это от жены?

— Нет, сестра, — сказал матрос, — а что?

— Хорошая у тебя сестра.

— Ну, это не твое дело. Ну-ка, дай папироску, раз пришел. Твое дело хозяйское... — Он, видимо, хотел поскорее закончить бесцельный разговор.

— Я не курю, — ответил поручик. Однако он поискал в кармане и неспешно достал деньги. — Если хочешь курить, возьми деньги и сходи к Анисье... знаешь, это угол Вознесенского и Соборной. Купи себе папирос... для всех купи. Возьми с собой вон того парня, он все знает... — Он указал на Стеньку, окаменело стоявшего у стены и уже как бы простреленного.

Матрос зорко оглядел поручика, но он ошибался, полагая, что понял его намерение.

— Нет, голубок, — сказал он твердо, и темные жилы разбежались по лбу, — отсюда нас только силой выведут!

Пальчиков молчал, и оттого, что он равнодушно принял отказ матроса, того посетила последняя и верная догадка.

— Давай деньги! — тихо сказал он. — А там нас пропустят? — кивнул он на дверь. — Эй, пойдём, воряга. Ну, спасибо тебе... за папироски! — очень просто сказал он, толкая впереди себя перетрусившего Стеньку; Пальчиков не обернулся.

Очевидно, часовые уже имели распоряжение поручика. Скоро мимо окна прошли двое: Стенька все оглядывался, а матрос шел тихо, чуть опустив голову. Они не разговаривали, и, хотя шли по ровному месту, было в ногах ощущение, точно спускались с горы.

— Слушай... — сказал Пальчиков гимназисту, проследив их уход глазами, — иди навести отца. И не беги по улице, а то стрелять будут...

— Потом прикажете вернуться сюда? — взволнованно шупая пряжку ремня, спросил гимназист:

— Дурак, — брезгливо кинул поручик, и ему стало скучно. Гимназист торопливо собирал вещи с пола — шинель и берестяник, которым снабдили его дома в последнюю дорогу. — Оставьте вещи здесь. Надо же соображать иногда... — резко прибавил Пальчиков и почти в лицо отпихнул его, когда тот послушно кинулся к его руке.

Он все же побежал по улице, этот глупый малый, и в окно видно было, как из подворотни выскочила собачонка и облаяла его, а он, все забыв, с искаженным лицом отпрыкивался от нее ногами.

— Иди со мной, — сказал потом Пальчиков мужику и вышел в дверь первым.

В камере оставался теперь один лишь хлюст в фуражке, которому предстояло пойти в обмен на английского полковника. Нервно и суетливо, как гиена в клетке, он бегал по камере и мучительно искал в самом себе доказательств, что уже сошел с ума.

## VI

Прибавлялось солнца в улицах, шумели долгожданные петухи, и стаи галок кружили над ненавистной Пальчикову каланчой. Слегка пророзовев, отплывали дальше

в безбрежные степи неба облака. Приступало утро, и у Пальчикова рождалось такое ощущение, точно он захватывает день, ему уже не принадлежащий.

Два квартала Кручинкин бессловесно бежал за поручиком.

— Ты не беги, а то я ровно песик за тобой... — попросил Кручинкин, — не поспеваю!

— Ты издалека? — замедляя шаг, спросил поручик.

— А из села Горы я! — восторженно отозвался тот, радуясь вопросу, как милости: почти затекал от долгого молчания его непоседливый язык. — Из села Горы я, лешишки вокруг... опять же море шибко гремучее. Многие дачники наезжают молоко наше пить, за полагаушку гривенник, дарма даем. Приедет — в иголку его проденешь, а к отъезду рожка-то уж как фонарь светится! — Он заглотнул побольше воздуха для дальнейших описаний родных красот. — А то надысь кит в реку-то к нам заплыл, заплыл да и обмелел, обмелел да и обмяк весь, ровно студень на солнышке... Так, веришь ли, два часа мы в него палили, шуму что навели... всех и гагар-то распугали. Всяко били, еле прикончили!..

— Зачем же вы его так? — Пальчиков представил себе, как десять хозяйственных мужичков, подобных Кручинкину, толкуются на спине кита, пластуя и деля дар великого моря.

— А что ж, в трактир, что ль, его весть, раз заплыл? — встрепенулся Кручинкин, и в руках его скользнуло что-то от жаворонка, когда взвивается он над полем. — В киту сало есть, полезно, когда горло заболит, сапоги его тоже любят. Англичана торговали, деньги давали, а мы его на ром да на резиновые сапоги... Гляньте, мол, кит-то каков, первый сорт кит, такая жулябина... на всю Англию вам хватит!

— Продали? — Пальчиков прислушивался, точно к голосу из иного мира, уже покинутого им.

— А то как же... Три дня мы того кита пропивали, а потом колышками щекотаться зачали. У нас это только в радости! На Петров день двенадцать человек положили, а на Казанскую, бог даст, еще того более положим. Англичана всё в аппараты сыпали на память... Главное дело, если кровь при пробитии головы вытекает, это

хорошо. Ставь его на ноги, и снова годный боец. Вот народ, сказывают, мельчат, а я думаю, как губернию, скажем, на губернию ежегодно напускать, так и народ бы от развития крепше стал...

Уже надоела Пальчикову кручинкинская болтовня.

— Ты ступай... ступай, куда тебе надо, — попробовал он отвязаться от неотвязчивого, но тогда оказалось, что при обыске Флягин отобрал у Кручинкина паспорт и все пропуска с английскими печатями. — Приходи завтра, завтра и получишь... — Но Кручинкин не отставал, дорожа бумагами больше жизни. Впрочем, теперь он следовал за поручиком на достаточном расстоянии.

У окна местной газетенки Пальчиков остановился подвязать шпору, звяканье которой вдруг показалось ему непристойным. Заспанный человек вывешивал в окне новую военную сводку; там сообщалось, что под Нюкшей красные немного потеснили белые части, что отступление носит лишь стратегический характер, что настроение частей остается бодрым и непоколебимым... Она была особенно крупна на этот раз, доза успокоительного вздора. Пальчикова потянуло к дому частного поверенного Фидунова, к себе на квартиру, в одиночество.

Часовой у крыльца отчетливо сделал на караул, но поручику безразлично стало, крепка ли дисциплина в его собственной охране; однако он задержался. Ему никогда не нравилось смуглое, не северное лицо солдата, про которого он знал, что тот был председателем батальонного комитета депутатов в первую революцию.

— Никто не приходил ко мне? — ни к чему спросил он.

— Никак нет, господин поручик, — выпалил солдат, помнивший муштру веселого ротмистра.

— Ты с удовольствием приколол бы меня, — колюче посмеялся поручик. — Но ты обожди, всему свое время.

— Точно так... — как-то не по-военному ответил солдат и смутился.

Мимо спящего Флягина поручик прошел к себе и скинул шинель на спинку стула. В памяти все вертелся навязчивый отрывок из **Корневильских колоколов**. Поковыривая в зубах, поручик подошел к карте, сплошь исколотой флажками, и внимательно осмотрел ее. Под Нюкшей, которая на карте походила на мушиное пятнышко,

красные флажки густо выбились клином, и в неуловимой петле их одиноко торчал белый флажок Няндорска. Поручик вытащил белый и вколол на его место красный флажок, самый ближний с запада. Странное облегчение, точно демобилизовался вдруг и волен стал занять любое место в жизни, испытал он тогда: больше не за что стало драться. В ту минуту загудел полевой телефон на столе.

— Да, — сказал поручик, беря трубку, — это я. Не орите, а говорите толком, — заметил он, хотя и понимал, что по ту сторону провода волновалось высокое начальство. — Эвакуация?.. Да у меня уж все готово. Нет, никаких бумаг. Нет, никаких арестованных... — Он откинул трубку, подумал и достал из ящика стола револьвер, подарок штаба, когда еще был командиром Волчьей сотни. Потом он снова взялся за трубку. — ...Да, нас прервали, ваше превосходительство! Что? А вы топните на них ножкой, ваше превосходительство! А у вас есть билет на пароход? Бросьте угрозы: и вы не казак, и я не разбойник. Покойной ночи... — Он не дослушал грозного начальственного внушения и бросил трубку.

Кончалась белая ночь; неистовые розовые светопады за окном слепили. Поручик закрыл глаза и мысленно наспех проследил свою жизнь; так листают альбом выцветших фотографий, на которых изображены смешные и старомодные покойники... Как на параде, истекая вышнею благодатью, перед ним проходила империя, и впереди ее почему-то шли мохнатоголовые гренадеры, которых в солнечный день однажды Пальчиков ребенком видел из окна; потом двигались металлической лентой кирасиры, и медные орлы их готовы были лететь и когтить врагов династии и самодержавия... Потом краски посерели, и в серое вмешалась кровь... Раненые ковыляли на обрубках, и убитые шли смеющимися рядами, подмигивая империи, вставшей на костыли. Пальчиков перевернул сразу несколько страниц этого богатого и пышного альбома и на последней, жалкой его странице увидел прапорщика Мишку, Ситникова, Краге и себя.

В забытии он не слышал, как Флягин, ругаясь, искал кручинкинские документы, как благодарил Кручинкин и все звал его вместе с начальником к себе, в преславное

село Горы, пить знаменитое молочко. Он очнулся, когда кто-то, ступая босыми ногами, — наверно, баба, — вошел в канцелярию; потом раздался плеск воды и грохот переставляемого ведра. «Подоконники пришла мыть во исполнение вчерашнего приказа», — как бы сквозь туман догадался поручик. Приглушенная возня за дверью еще раз отвлекла его от раздумий о самом себе.

— ...и не стыдно на старости-то лет! — сказала тихо баба, а Флягин шикал на нее, и видимо, ничто не было ему стыдно на старости лет.

«Комарь, раскомаривай ее!» — хотелось крикнуть поручику, но одолевала дремота... А уже приближался день; он входил одновременно всюду, множественный и всемогущий; он будил мысль и оживлял вещи. Неожиданно скрипнул и как бы покашлял стул в простенке, слегка в непонятном ветерке качнулась занавеска, а в канцелярии поспешно пробили часы. Это напомнило поручику о времени, и он уже знал, что конец няндорской эпопеи начнется с его собственной гибели. Никогда он не видел своего револьвера с дула и потому не узнал его, — черный Анисьин глазок наблюдал за ним и тут; потом он стал двоиться, разъезжаться, и наступило одно мгновение, когда он совсем походил на пикового туза...

А Кручинкин, зайдя на постоялый двор, поил коня и кормил его щедро, прежде чем собрался в обратный путь. И опять, торопливо едучи через весь город, минуя заставы да патрули, он пугливым глазом соглядатая наблюдал пустые улицы, в которых еще болтались невеселые флаги и грозились афишки поручика Пальчикова. Лишь теперь осмыслив злое их значенье, он гнал своего конягу и не щадил кнута. В душе он уже простил чудаков, проморозивших его целую ночь в тюремной богадельне, и если не забыл еще своего забавного приключения, то лишь потому, что все почесывались клопные укусы.

И опять он переезжал знакомую лужу близ городской заставы, но на этот раз была она синяя, точно бросили в нее горсть ализарину. И опять кряхтела подвода, утопая в грязи, а лошаденка так выбивалась из сил, что казалось, вот-вот перервется ее жидкий позвоночник. И опять пошла дорога, а при дороге мох-деряба, да брусника, да сиха голубая, да клюква, да редкая подорожная сосна.

Здесь он чувял себя хозяином, и никакая сила, кроме сна, не настигла бы его тут. Так он и ехал по пылям большой дороги, дремля и улыбаясь; должно быть, так же улыбается большая глупая рыба, уходя из верши.

Домой он приехал задолго до полдня и не прежде вошел в избу, чем распряг конька и втащил телегу под укрытье. В доме непривычный стоял ребячий рев, и Кручинкин, заслышав, тотчас сдернул с себя шапку. Еще не взглянув на жену, не помолясь в угол, не поклонясь соседке, хлопотавшей вкруг печи, он на цыпочках, как к огромному начальнику жизни, приблизился к корзине, подвешенной на веревках возле окна. Обернутый в старую, выстиранную материну юбку, мальчишка слюнявился материнским молоком и голосисто оповещал мир о своем появлении на свет.

— ...а иные орать прикованы! — продолжал он обрывок какой-то мысли. Толстая щечка ребенка так и влекла к себе его узластый и грязный палец. Но тут лоб его наморщился, и колюче распрямилась солома на щеках. — Эх, а соску-то тебе я и забыл купить! — с огорчением вскричал он, и похоже было на то, что он только одного себя считал виновником неисполненного обещания...

1927—1928



# ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

## I

Городишечка наш захудалый, а жители все дураки. Не сады и рощи, как сказано в географиях, а неизъяснимая пустыня простирается на нашем месте. Молча мы рождаемся и умираем в ней, воистину подобные тем колючим уродам, которые населяют заправдашные пустыни. Только желание оправдаться перед людьми толкает меня на это повествование. Дом мой пуст, как карман гуляки, который взял у меня мою девочку; в окошке моем снег. Я уже теперь ничего не боюсь — ни бога, ни милицейского, ни гнева умов передовых, ни иронического смешка Василья Прокопьяча, перед которым я еще недавно благоговел до самозабвения и почти до ненависти.

Исключением из помянутого правила был только он один, Василий Прокопьяч Пустыннов, да и тот не нашего сада лист, а занесло его к нам с иного дерева и ветром иной судьбы. Шло Катюше двенадцатое лето, как перестали мы ходить за водой к Неплюевым, а пошли к Пустынновым: колодезь у нас один на всю Советскую улицу. Неуютный, с комодом схожий домик неплюевский откупили Пустынновы в собственность, своелично подновили его, а позади дома развели пасеку и удивительный огород. Старик Пустыннов уделял этому увлечению всю свою старость, и природа щедро вознаградила его за это. Щеки его были румяны, а взор жив и резв, голос звучен, а мысль быстра и иронична. Оба его сына, Андрей и Яков, победно несли в мир незапятнанное пустынновское имя, когда ладную эту семью постигли чрезвычайные бедствия.

Он мудро любил жизнь, этот полнокровный и счастливый человек, радуясь всякому ее проявлению. Бес-

порочно пройдя сквозь строй своих шестидесяти лет, он имел право на любовь своих детей и уважение вощанцев. Причин благоговению нашему перед ним было столько же, сколько было и достоинств в нем; только поистине недалекий человек мог бы обладать столькими качествами. Причина была не в том, что человек этот в годы первой революции совместно с неким Петром Годлевским застрелил нашего губернатора; и не в том была она, что, следуя порыву сердца, Василий Прокопъич удочерил Лизу Годлевскую после того, как повесили ее отца. Будучи ему братским другом в жизни, Василий Прокопъич возжелал сохранить с ним прежние узы и по смерти уже через Лизу. Причина была проще — в том, что Пустынный был действительно благородным человеком. И если сочтется кое-где у меня темная струйка намека — это нечистая моя зависть, хотя не кому иному в Вощанске, а именно мне, подарил он свою поэтическую, почти небесную дружбу.

Оправдание ли мне, что и сам я ношу в себе за это лютую муку? Когда великая дрянь обрушилась на бедного друга моего, я, наперекор разуму, выискивал в нем еще не отмеченные миром доблести, я свирепо боролся с самим собой за добрую славу его имени, я делал глупости, я терзался, я страдал... и все оттого, что возлюбил этого человеческого человека, которого искал всю жизнь... и наконец нашел, и, поклоняясь, воззавидовал, и, не насытись восторгом моим, возненавидел. Зрячими глазами оглядываясь на безумие, опорочившее мою старость, я верю в него и при свете той скверны, которую накрепко запираю от людей в сердце моем.

Еще утром того злосчастливого дня мы сидели с ним на терраске, за кваском, на который Анна Ефимовна великой слыла мастерицей. Тлели бересклеты в саду, и стрекотал, на удивленье мне, запоздалый кузнечик: ударили заморозки по утрам. Осенний покой стоял над вощанской округой; я молчал, а Василий Прокопъич, держа бинокль у глаз, привычно оглядывал обширные наши горизонты. Стоял на горбу пустынный домик.

— Гляди, Ахамазиков, — сказал мне этот нестареющий юноша, указывая в безветренную даль, — гляди, как совершенно все это. Люди тщетно ищут вместилищ

красоты, а она разлита вокруг нас, смешана с воздухом, которым дышим.

Будучи иного склада в мыслях, я не разделял его восхищения перед сладчайшей скукой вошанской природы. Все же я взял бинокль с его колен и посмотрел в указанном направлении. Шла там туча, вещая конец бабьего лета, да поил свою клячонку на реке мужик, знакомый мне до зевоты и первый жулик у себя, в Подгорной слободе. Я протер бинокль, но мирозерцание мое не изменилось.

— Картошку-то пора вам копать, я свою всю выбрал, — постарался я отвлечься в сторону.

— Вот Яков приедет, тогда уж с ним, — откликнулся Василий Прокопич и снова предался размышлениям. — Гляди... Лошадь хочет пить, и каждое ребро в ней полно этой жажды. А хомутишко-то старый-престарый... А облако-то!.. которому так и хочется распасться над землей. Земля! — Силовая старческая нежность прозвучала в его голосе. — Сколько она познала, сколькими топтана, а какая еще... девическая земля. Стар, седьмой десяток двинулся мне с Покрова, а ведь только вчера начал жить. И все мне дорого, Ахамазиков: дранчатая крыша у соседа, петух... пропел, трава мерзлая, пар от воды...

— Благословенна ваша старость, Василий Прокопич, — почтительно сказал я, стыдясь его света. — Завидую и сам хочу такой же.

По затуманенным его глазам я понял, что следует его оставить одного. У калитки я оглянулся: он все покачивал головой от переполнявшего его чувства, тяжело расставив ноги; таким я запомнил его навсегда. А через несколько часов приехал, вернее — пришел, Яков; денег у Пустынновых хватало на жизнь в обрез. Всей семьей пили они в комнатах чай, когда я забежал к ним по мелочному поводу. Тугим баском рассказывал Яков о себе и своих успехах, а больше всего — о гидростанции, которую хотя бы в проектах собирался подарить своему народу. В мире он шел напролом, и все ему давалось легко и безболезненно, ибо никакая затрата сил не страшила его перед лицом великой цели. Неущемленная младость делала привлекательным его курносое лицо, разброшенные скулы и бугристый лоб, упорный, как таран, которым бьют в ворота

осажденного города; я подметил, как Лиза несколько раз обласкала его умным своим взором. Заинтересовавшись, я присел в уголку.

Старик Пустыннов был в расположении, по-видимому, продолжать утреннюю нашу беседу.

— Чудесен мир, Яков, — сказал он, взглядываясь в лицо сына.

— Кое-что перестроить в нем — невредная выйдет штука, — сдержанно улыбался сын. — Железной рукой прополоть надо это сорное поле.

Тогда улыбнулся и отец.

— Вам, молодежи, все бы это ископать, разворошить, распланировать, чтобы не заблудиться в этих делянках красот и тайн. Это-то и славно, Яков. Идите, ройте, бейтесь... не бежите своего огня. Страдания не бойтесь... огонь не только светит, он и жжет.

— Страданье — недуг, его лечить надо. И вылечим, — снисходительно молвил Яков, и улыбку его как бы сдуло ветром, который незримо бился в него.

Василий Прокопич казался смущенным.

— Я и сам молод был, — кричал: бей становых, дави стражников... от юного огня кричал, Яков. Но и старость мою славлю, и возврата не хочу...

То было старческим отклонением от линии спора, и старик сам понял это. Все деликатно промолчали конфузную эту минуту, и тогда Яков, как бы мимоходом, передал печальное известие об Андрее. Он не скрывал ничего, гнев его был нещаден, хотя и справедлив; к породе мелких гадилов причислял он Андрея, которому надоело глотать архивную пыль, который отравился зловонной этой пылью... Никто не возразил в защиту позорного Андреева деяния; недоброго отчуждения исполнена была сумеречная та минута.

— Неделю назад прибежал в общежитие ко мне, — сухо рассказал Яков, — пьяный, охрипший, весь дрожит... — «Святого подлеца, кричит, раскрыл...» — и все махал какую-то бумажкой.

Он со злостью принялся разламывать яблоко, пахучий плод пустынновского сада.

— Может, и не пьяный? — робко спросила Анна Ефимовна, мать, и я не узнал звучного ее голоса.

Яков не ответил ей, ибо в это мгновенье Василий Прокопъич и выронил из рук свой стакан. Доселе не смею забыть ни злой тишины, объявшей вдруг пустынное благополучие, ни случайного взгляда Василья Прокопъича, пойманного мною. Тоска о сыновней беде и моление о пощаде читались в нем. Мне стало жутко, но я не мог уйти: ноги мои отказывались служить мне. Вернее, я боялся хоть шорохом выдать воровское мое присутствие. Впрочем, я лгу: то было любопытство узнать сокровенную правду о людях, которых положил я примером своей жизни.

— Ничего, ничего, Василек... — твердила Анна Ефимовна, вместе с Лизой ползая на коленях у стола и собирая осколки. — Битая посуда к счастью!

— Стар, стар становится твой Василек,— подавленно шептал Василий Прокопъич. — Разум мыслей, а руки стакана удержать не могут... — И вдруг, придерживав голову жены, значительно поцеловал ее в темя.

Не прощаясь, я бежал домой. Всем было ведомо, что в четыре приходит со службы Катюша, и на моей обязанности лежит приготовить ей еду. Но вот уже готов был обед, и лапша перекипела, а Катюша все не шла. Я составил кастрюлю с керосинки и, присев к окну, бездельно вглядывался в сумерки. Я увидел удивительные вещи: на пустынноском крыльце появился Василий Прокопъич, без картуза и в одной толстовской рубашке. Сойдя со ступенек, он двинулся безвестно куда. А лил чертов дождик, хлябь и зыбь пожирали утреннее благообразие, великое свинство начиналось в Воцанске. Потом появилась и Анна Ефимовна, с плачем призывавшая Василия Прокопъича вернуться, но тот не отвечал. Тут пришла, промокшая вся и грустная, милая моя Катюша, и, когда я снова подскочил к окну, непогодная темень шумела в стекла.

Присев на сундук, который служит мне кроватью, Катюша рассеянно смотрела на угол стола, где лежала краюха хлеба с воткнутым в нее ножом; вдруг она подняла бровь и усмехнулась. Я посмотрел туда же — кроме помянутого, не увидел ничего... Всякому дочь его красавица, но даже и этой простительной ложью не оскорблю я памяти ее. Хорош в ее лице был только рот, беспомощ-

ный и до слез мне милый, рот матери ее, да еще брови. Чуть подкинутые с краев, они как бы крикнуть хотели миру что-то, чего не умел выразить словами незрелый ум. Проклятому гуляке и захотелось прочесть тайну Катюшиных бровей, и он, прочтя, ужель не посмеялся над детским смыслом прочитанного? В характере Катюшином пугали странности, а служила она машинисткой в милиции: ни разу не поведала она мне своих мечтаний, хотя я и был ей самым близким; подруг у нее не было, никто никогда не искушал ее любовным признанием, она жила одна. Четыре года назад, в день совершеннолетия, подарил я ей бутылочку духов, дешевых и со смешным названием — «Весна»; так и стояла бутылочка нераспечатанной. Горюя от сознания девического ее одиночества, я пробовал самолично приглашать к себе молодых людей из союза совторгслужащих, даже выпивал с ними и слушал прыщавые их анекдоты, даже посмеивался им. Долгое время Катюша терпела мои попытки развлечь ее молодость, пока не посетила меня глупая затея свести ее хотя с Раздеришиным. Тогда ласково, но наотрез она запретила мне мои старания вовсе, и я окончательно примирился с мыслью, что так и минует она вековушкой жизненные свои сроки.

Разогревая ей обед, я поделился с ней скудным знанием моим об Андрее. Она выслушала меня с холодком, не прерывая ни вопросом, ни восклицанием, пока я не повторил Андреевой оценки, сделанной его братом, Яковом Васильевичем. Тут она резко попросила меня прекратить мою болтовню, и в голосе ее прорвалась повелительность внезапно осознавшей себя женщины. Я растерялся: Катюша отходила от меня без сожаления и, может быть, со скрытой радостью. Я с горечью видел, что терял прямую цель своего существования, но потеря эта была предвестьем еще большей утраты. Отвернувшись к окну, я ждал, что Катюша обнимет меня, но она сидела недвижна и далека от мысли об отце. Из оконного стекла глядел в меня пухлый, скучный человек — я сам, но я знал, что это заглядывает ко мне будущее мое одиночество.

— Я не хочу есть. Туши свою керосинку, она воняет, — бросила мне сзади Катюша, и я порадовался за нее,

потому что, когда младость теряет свою жестоковатинку, она стареет. Все же мне стало очень больно, что вот уже никому в целом свете не нужна убогая моя котлетка.

Я вышел в сени запереть на ночь дверь; свежий воздух и кусок звездного неба выманили меня наружу. То был обман: туча еще стояла в небе, и только из глубокого провала глядели в меня четыре холодных звезды: одна из них была моя. Ни лай вощанской собачни, ни обычная песня пьяных не бередили тишины, и необыкновенность эта настораживала. Еще не знал я, какой вал и когда нахлынет на меня, но я знал точно, что он идет, неизбежный и последний, как вспышка фитиля, когда он тонет в жидком стеарине. Самый страх этот был мне сладостен. Я прислушался, но ничто в Вощанске не разубеждало меня. В комнату я вернулся трезвым и великодушным: мысль о звездах умеряет страдание и глушит боль. Присев к Катюше, я попытался обнять ее, она посмотрела с изумлением, руки мои, устыдясь неискренности, сами упали вниз.

С тревожной радостью удостоверился я, что сильный желанный человек вошел в Катюшину судьбу; черная тень его возлегла отныне на ее лице. Выпрямясь, я внимал вещим голосам моих предчувствий. Билась муха в потолок, и трещало пламя в керосине. Именно эта минута и была вступительной к вощанской суматохе, в которой погибло столько душевных порывов и репутаций.

## II

Служа в губернии в должности столь же ответственной, сколь и ненужной, Андрей Васильевич Пустынов работал над документами губернского охранного отделения, готовя обстоятельное исследование этого института самодержавия. Уже готова была к печати книга, как вдруг, за месяц до ее окончания, вернувшись ночью навеселе, чего прежде никогда с ним не бывало, он сжег в печке весь свой труд, на который затратил полтора года. Скука в тот год стояла столь умопомрачительная, что обывательские круги даже желали войны с Англией. Этим объясняется быстрота, с

которой распространились коварные слухи, будто, копаясь в архивном мусоре, Андрей Васильевич отыскал документ, который, ежели его опубликовать, вызовет в губернии скандал самый невероятный. Тому верили и не верили, но ни от кого не было секретом, что некое лицо свыше в уединенной беседе требовало у молодого Пустыннова пресловутый документ. Андрей Васильевич сдал тогда лицу весь свой материал, но никаких важных бумаг, равно как и дома, при одновременном обыске, там не оказалось. Печально покачав головой, лицо отпустило Андрея Васильевича на волю, не учинив ему никакого утеснения из внимания к заслугам его отца, нашего Василья Прокопьяча.

Вслед за тем Андрей Васильевич запил и в пагубном занятии своем достиг известного совершенства, но я оставляю на совести самого Якова Васильевича сообщение, будто в общежитие к нему Андрей притащился уже на четвереньках. Во всяком случае, злодеяние уже произошло, и волну слухов остановить стало нечем. Стало известно, что Андрей Васильевич кутит не один, а с ним компания каких-то стрекулистов, среди которых затесалась и женщина. Впоследствии я узнал, что зовут ее Налькой, что она открыто живет с Андреем и на его деньги. Тут-то и уместно помянуть, что свихнувшийся пустынновский первенец гулял не на свои, а на те казенные средства, которые имел по службе в своем распоряжении. Гульбу свою, пока не раскрылась трехтысячная растрата, он производил на виду у всех и с показным дебоширством.

Спокойная пора миновала, и некоторая часть губернии запылала лютым человеческим пожаром. Шепотком передавали, что, заявившись однажды на местный завод в сопровождении всей своей оравы на выборы, он ударил по лицу заместителя директора, некоего Суковкина, после чего удалился, извинившись перед рабочими за нарушенный порядок дня. Все ждали, что тут и произойдет посрамление молодого человека, ибо Суковкин, безуданно и во всяком месте твердивший о разных высоких и неприятных обывательскому сердцу материях, не мог пропустить безнаказанно публичного своего ущемления. Однако произошло в высшей степени обратное. Суковкин вдруг пропал, испарился, как яйцо в руке



фокусника, сгинул с поспешностью, непристойной для заметного человека, даже не сдав дел по заводу. Предполагали, что и тут замешаны липкие казенные денюжки, но отчетность при проверке оказалась в порядке, а в кассе даже на четыре копейки больше, чем следовало. Слухи продолжали плодиться, начиналось стихийное брожение умов, и среди нахалов, смевших выражать вслух всякие вольнодумные догадки, нашелся один, который объяснял всеобщий ералаш роковым недугом солнца. Тут новая упала на наши головы новость: Суковкин приехал к нам, в Вощанск, и поселился у Василья Прокопьяча, положительно сев ему на шею. Это был невеселый, плотный и с приподнятой бровью человек, украшенный вдобавок усами, толстыми, в толщину руки.

До головокружения раздумывал я над этой загадкой, очевидная нелепость становилась повседневным явлением. Вот уже полнедели жил Суковкин у Пустынниковых, давясь слюною от безделья, шутил шутками, стыдными и для пропойного огородника, заставлял Анну Ефимовну бегать ему за квасом и, единственный из всех, смел задевать Якова, не боясь получить за это в филейную, как говорится, часть. К этому времени в Вощанск прибыл и Андрей Васильевич и поселился у маляра на Чудиловом обрыве. Маляр этот, Николай Егорыч, уже в земном, прозаическом качестве друг мой, передавал, что стрекулисты проводили время в беспробудном пьянстве и пении песен, свирепо оглашавших это самое пустынное в Вощанске место. Поздним вечером, сидя однажды якобы в пивной в тоске и хмеле, созвал Андрей Васильевич к себе за стол разных темных людей, сидевших по углам в безглагольном оцепенении, и тут сразу оказалось, что все они, как и он, растратчики, все уже пропили и теперь с безразличием ждут любого конца. С тех пор они блудили вместе с Андреем, ибо всех их одинаковая ждала впереди судьба. В Вощанске к их ораве присоединился сам Полуект Раздеришин. Молодой купец нашего времени, обнищавший последыш знаменитого и зубатого рода, лопаухий сын покойного Ивана Парамоньча, мецената и скандалиста, он тоже имел склонность к несбыточным мечтаниям, которые разорили его и вгоняли в запой.

— Правильный человек, — сказал мне маляр про Андрея, — а вот бабешка у него суший дьявол.

Видимо, эта женщина и оболестила Андрея тайным сокровищем, которое такие женщины несут в себе сквозь мир. Видимо, и маляра, который бражничал в общей компании, коснулось тлетворное ее очарование. Опозоренный дважды, Андрей приехал скрываться в Воцанске, и я полагал, что он не посмеет показаться на глаза отцу. Каково же было мое удивление, когда услышал, что Андрей не раз уже приходил к отцу и всякий раз ему отвечали, что отец спит. Мне понравилось, что он имеет честность прийти с покаянием к отцу, но мне одинаково пришлось по душе и то, что отец его не принял. Тому причиной, разумеется, была пустынныйская гордыня, ужаленная Андреевым проступком, а нет недуга страшней покаленной гордыни. Поэтому-то и ужаснулся я, когда и к Катюше прикоснулся в судороге своей Андрей Пустыннов.

В памятный вечер первой моей размолвки с дочерью на нее, возвращавшуюся со службы, напали хулиганы. Несдобровать бы бедной моей Катюше, не случись поблизости Андрей со своей оравой. По-видимому, он провожал затем Катюшу, рассказывая про себя всякие романтические истории, и, уж конечно, воровство свое выставлял в трагическом свете, а Катюша внимала открытым сердцем. Ведь он не знал, что никто дотоле никогда не провожал ее, не проявлял к ней ничего большего, чем равнодушие... Мысли мои мешались и мутнели от ненависти, когда я думал о нем, должно быть, так поступил бы я сам, будь я на месте Андрея.

Вдруг бешенство мое свалилось с меня, как шелуха, я радовался и смеялся моему внезапному решению. Уже представлялось мне, как я предложу ему свой нехитрый план и Андрей со слезами благодарности ухватится за него: я нес ему спасение не только от позора. Еще в до-революционное время удалось мне всякими самоутеснениями скопить две тысячи рублей на черный день. В этих сбережениях — золотых монетах и ценных изделиях — заключены были лишения моей семьи, мой труд, мои думы о Катюшином замужестве, мои надежды, мои пороки, моя душа. Даже в голодные годы не тронул я их,

хотя неоднократно с тоской поглядывал в темный угол чулана, где были они спрятаны. Ныне на эти деньги порешил я купить Андрея Васильевича для девочки моей и, в случае удачи, продать свой дом, за который могли дать целую тысячу. Катюша была бы ему хорошей женой и матерью многочисленных детей, — качество, достойное во все времена. Для своего собственного существования я имел редкое и доходное ремесло: в трудную минуту обучился я делать из сургуча кораллы, которые в голодные годы имели большой сбыт у мужиков.

Так, в ликовании и с полной верой в беспромахность своей затеи, я переходил улицу, перепрыгивая грязь со следами многострадального мужицкого колеса. Шел я к Пустынновым поздравить Лизу с днем рождения, а покуда в упоении придумывал слова, которыми завтра потрясу гуляку. В особенности занимал меня образ мухи, лежащей под пыльным тюремным сукном, причем никому на свете нет дела, какая муха томится там. Почти с грацией взбежал я по мокрым ступенькам и уже намеревался перешагнуть порог пустынновского кабинета, служившего одновременно и спальней, но вовремя остановился возле медогонки, предупрежденный необычным тоном происходившей там беседы.

— ...но ведь он же оскорбил тебя, отец! — взволнованно выговаривал Яков. — Его даже Андрей бил...

— Ну, уж и оскорбил, — не своим голосом сутил старик Пустыннов. — Семен пошутил, а ты уж и всерьез. Извинись, извинись перед Семеном... Уважение к старикам украшает младость.

— Молокосос, молокосос... — однозвучно, как в барабан, твердил Суковкин и отстукивал ногой, к еще большему воспламенению Якова.

В настроении несколько пониженном я обежал дом, намереваясь войти с террасы, но и тут было занято. Встав за уголком, с недоумением внимал я происходившей между Раздеришиным и Лизой беседе. Лиза гладила платье, до меня донесся чад духового утюга.

— Да у вас и денег-то нет таких, — смеялась она.

— Я не на вексель собираюсь вас купить, — глухо вторил Раздеришин. — Следует в вашем положении понимать благодетеля... дело ясное: грохнул Андрей Ва-

сильевич денежки оземь, и поглотила земля. Крышка молодому человеку, а сыновняя могила на отце лежит. Ужли ж не пожалеете Василья Прокопьяча, благодетеля своего?

— А вы убеждения мои знаете, Раздеришин?

— Убеждения при таком казусе следует посолить и в чулан положить, для сохранности. Да и при чем тут убеждения! Может, замуж-то за меня выйдя, вы мне глаза на мир откроете, и я помру на баррикаде... — Голос Полуектова скрежетал обидой, и я представил на мгновение зловещий цвет его ушей.

Сватовство Раздеришина явно нарушало собственный мой план. Я ловко пристроился на выступе деревянной обшивки, прячась от измороси, но задел локтем желоб, и в ту же минуту меня окликнули с террасы. Оставался еще третий, кухонный, вход в дом, и я, уже в гораздо меньшей бодрости, втиснулся туда. Анна Ефимовна чистила картошку... вернее, просто сидела над чищеной картошкой, сутулая и седая, остановясь взглядом на какой-то точке, пожиравшей ее внимание. Всегда насмешливо-улыбчивая, тут показалась она мне достойной хоть и собачьей жалости. Мутным взглядом матери, скорбящей о блудном сыне, она указала мне на табуретку.

— В третью дверь суюсь, а везде занято, — шутиливо начал я, избегая ее насильственной улыбки. — Дом-то ваш как часы стал: везде колесики, зубчики, пружинки. Своенравный какой господин, Суковкин-то этот!

— В рабах живем, Ахамазиков, — сурово сказала старуха. Я сделал вид, что не поверил ей, похохотал, подхлестывая молчание шуточками, от которых и сам обливался мурашками стыда. Лишь беспечная моя болтовня и держала ее в забытьи; остановиться — тотчас же она взглянула бы на меня и поняла бы гаерство моего оскорбительного сочувствия. Уже минуты три дикобразил я, изнемогая от созерцания этого монумента материнской горести, как вдруг в кухню вошел сам Василий Прокопьяч. При виде меня он что-то вспомнил, смутился и как-то заюлил, а кончил тем, что торжественно пригласил меня в кабинет для секретной беседы. В подозрениях и тревоге я последовал за ним.

### III

Лишь потому называлась кабинетом проходная эта комната, что стоял здесь рабочий стол, а вообще-то была пустынный спальня. Две деревянные кровати, столярный опыт самого Василья Прокопьяча, стояли в углу, пара полотенец висела над ними... да и все здесь было попарное: старики честно делили и огорчения и блага жизни пополам. На столике, сделанном из старого ящика и покрытом салфеточкой, лежала раскрытая Библия. Пока хозяин ходил за стульями, я заглянул: Василий Прокопьяч читал об отце отцов земных, Ное. На видном месте, против кроватей, висел фотографический портрет мужчины, увеличение с маленькой карточки. Перекошенное, расплывчатое, как видение, с выпуклыми глазами лицо мужчины было ужасно, хотя фотограф и пытался смягчить его усиками. Но и сквозь искажение это я увидел в нем знакомые Лизины черты и смятенно догадался, что это и есть Петр Годлевский. Значит, так нужно было Пустыннову, чтоб беспрестанно, днем и ночью, глядел в него повешенный его друг. — Известно ли тебе, Ахамазиков, — приступил Василий Прокопьяч, внося стулья, — что не все у нас благополучно?

— Помилуйте, откуда же мне... — осмотрительно вильнул я.

— Андрей растратил три тысячи рублей.

— Андрей Васильевич прохвосты, — сочувственно осудил я.

— Не спеши... Не сердись на дружескую правду, но ты глуп, Ахамазиков. Нет, не обижайся, я высоко ценю твое сердце! — придержал он меня за колено, заметив мое движение. — Андрей честный, он у меня славный, он не вор, Яшка врет. Яшка думает, что жизнь можно пристращать параграфом. Нет, жизнь стоит на земле, темной и... не девической.

С трепетом я видел, что Василий Прокопьяч пьян, он задыхался, глаза его были выпучены, как у Петра Годлевского на стене.

— Вам бы водички глотнуть, — осторожно посоветовал я.

— Да, я выпил, Ахамазиков. Но ты свой, у тебя сердце. У кого сердце, тот мне не страшен... а винцо-то приятное, я не знал, все как-то шиверт-навыверт стало. Хм, какой у тебя нос маленький, даже плакать хочется... Знаешь, кто я есть, Ахамазиков? Я — Ной... — шепотом признался он.

— Какой же вы Ной, вы просто Василий Прокопич! — с каторжным лицом пошутил я.

— погоди!.. Андрей — это разум и совесть мои. Если б ты знал, как они блудят, когда нарушена их девственность. Ты думаешь, в Андрее бес?.. В него Петр вселился, да-да! — Он ткнул пальцем в направлении портрета. — Это Петр пришел за мной.

— На вашем месте снял бы я портретик. Этаким и аппетит отобьет, — посоветовал я.

— Пускай, пускай висит... Вот верчусь, а сказать все не умею. Но в книге есть место: «...и увидели наготу отца, и прикрыли его». Слушай, ведь хоть рогожкой, да прикрыли его! А мой не смог... да и чем прикроешь, чем? Ты слышал, он над книгой работал, а потом сжег ее. Он самого себя растратил...

— Мм... и большая книга? — беззвучно поинтересовался я, не сразу овладевая пошатнувшейся мыслью. — Притопнуть бы вам на него. Ведь отец вы, имеете высокое право.

— Нельзя... Сын, безумная вещь — сын. Ты сам знаешь, у тебя дочь. Кстати, как ее здоровье? — странно спросил он, и я, разумеется, не ответил ему.

Все его вступление было нарочное, он сознавался загадками, ключа к которым не давал. Он старался разжалобить меня образом вощанского Ноя, но я вовремя уразумел это.

— Нужно мне покрыть Андрееву кражу. Я сам поеду и буду просить, чтоб приняли проклятые эти деньги, но сперва нужно достать их. Слушай, Раздеришин сватается к Лизе... выродку угодно именно Лизой утолить свое мечтание. Он просил меня переговорить с нею и в случае успеха обещал деньги... но мне совестно употреблять во зло Лизино уважение. Понимаешь, я никогда... никогда еще не занимался сводничеством. До этого я еще не дошел. Кстати, почему это я зову тебя на ты, а ты меня

на вы... надо нам по-равному, по-справедливому. — Он заикнулся и сорвался на хрип: — Спаси меня... от этой пучины, Ахамазиков!

— Каким же это образом? — отстранил я его искательные руки.

— Я слышал, у тебя есть сбережения...

— Какие же у меня деньги? — как и он, не глядя в глаза, защищался я. — Вот пятнадцатого получит Катюша жалованье, рублей десять смогу уделить. А такой суммы... да вы просто обижаете меня подозрениями такими.

— Я отдам... — настаивал Пустыннов. — Живого человека спасешь... это почетное, а не обидное предложение.

— Если вы не оставите этого разговора, я уйду, Василий Прокопъич!

Он замолчал, и даже в сумерках видел я на его лице багрец великого конфуза.

— Яблочко хочешь? — спросил он, беря его с подоконника.

— Коричное? — с достоинством осведомился я.

— Нет, анис.

— От аниса у меня десны болят.

Я и сам поверил, что у меня нет таких денег. Я встал и отошел, а Василий Прокопъич все сидел, одержимый душевной лихорадкой. Я снова разглядывал черты Годлевского, но ничего не соображал, точно и сам я напился. Мне даже померещилось, что Годлевский мне подмигивает. Я с отвращением отвернулся, а тут пришла Анна Ефимовна приглашать нас к чаю. Обрадованный избавлению от нравственной моей пытки, я поспешил выйти из комнаты. Однако дьявол мелкодушия приклеил меня к полу тотчас же за ситцевой портъеркой.

— Выпил, Василек? — спросила старуха, и мне показалось, что она обняла его. — Ничего, надо жить, надо нести.

— Рыбу на базаре тухлую продали! — Неуклюжая ложь его прозвучала трогательнее нежности.

Все уже ждали нас за столом, а среди них в лучшем своем платье сидела и Катюша. Слева от нее сопел Полукт, пятнистое его лицо говорило о неудаче сватовства. Справа грыз яблоко Яков, лицо его тоже не предвещало

ничего доброго. Суковкин выглядел хмурым, много ел варенья, а чаще брался за бутылку с наливкой, и всякий раз звону ее о рюмку сопутствовало тревожное кряхтение Анны Ефимовны: руки его дрожали. И только Лиза, певунья и виновница нынешнего торжества, наполняла весельем натянутую тишину вечера.

— Ну, не старься теперь, Лизутка,— сказал ей Василий Прокопъич, глядя по голове рукой, отеческой и нежной, которую Лиза тут же поцеловала, тронутая благодарностью. — Живи весело, Яшке не верь, за Раздеришина не выходи.

— Напрасно людей не цените,— озлобленно откликнулся Раздеришин. — Мамаша за тятеньку шла, и в глаза его не видавши. «Не пойду, говорит, может — балбеска какой». — «Ничего, отвечают, мы тебе его сюртук покажем». И вышла...

— За сюртук? — засмеялась Лиза, и все улыбнулись ей.

— За папашу,— криво усмехнулся Раздеришин. — Рано шутить мною начали, Василий Прокопъич. Конечно, я вам не тятенька. Ивана-то Парамоныча не посмели бы шпынять. Тятенька гневался — деревья сохли, огонь в лампах тухнул. Пискарева выбралил — помер Пискарев!

— Будь ты наконец самоличным человеком, Полуект, — укорял насмешливо Пустыннов, протрезвев как-то уж слишком скоро. — Стыдись, а еще церковный староста...

Раздеришину, однако, было не до шуток. Злость еще пуще глупила неумное его лицо; по скромному разумению моему, оно умнело, лишь когда Полуект считал рубль копейками. Явная надвигалась гроза, а тут еще разговор перешел на спутницу Андреева паденья, Нальку. Дама эта еще недавно, оказалось, изучала этику и эстетику на каком-то литературном факультете, а потом вышла замуж за инженера и приехала к нам в губернию. Взбунтовавшись со скуки, сошлась она с каким-то молодцом, и сразу растратился молодец, а когда того расстреляли, покатила вместе с Андреем к вощанским омутам. Я запомнил все эти секретцы, стакан мой так и остался нетронутым. Катюша низко склонилась над столом и, судя по ее румянцу, тоже не проронила ни слова из слышан-



ного. Впервые я заметил, что при стечении обстоятельств может и хорошеть бедная моя Катюша.

Василий Прокопич припустил фитиля в лампе, и тотчас поднялись шутки, тяжесть рассеивалась. Молчали только Суковкин, Яков, Катюша, Анна Ефимовна, Раздеришин... Я смущен: значит, молчали все, кроме меня? Значит, один мой смешок штопором вился во всеобщей тишине? Доселе не ведаю причин тогдашнего моего ликования. Вдруг я смолк, оскорбленный шурким Катюшиным взглядом, полным недоброго внимания ко мне, отцу ее и спутнику жизни. Не за то ли она и презирала меня, что в голове своей я уже таил верный план ее счастья! Я оборвался сразу, и все озадаченно на меня посмотрели. Слякоть глядела в окна, шла ночь, бежать из-под нее было некуда. Кажется, кричала сова... На завтра Полуект приглашал всех на торжество воздвижения креста после храмового ремонта.

— В церковь-то уже не приглашаю безбожников, а на квартиру закусить пожалуйста, — сказал он, между прочим. Присутствие Василья Прокопича должно было придать раздеришинскому обеду еще большую торжественность.

Тогда-то и угораздило хозяина снова пуститься в надоедные свои рассуждения.

— Э, Полуект... разве мир прекрасен станет, если включить в него возможность бога? Без н е г о мир крепче, человек разумней, и величественна та равнина, на которой беснуется, свергает кумиров, падает вместе с ними, чтоб снова возникать на земле, — человек. Он мучается, мозг его перерастает его средства к цели. Это-то и хорошо, невыстраданное — некрепкое. Горе делает людей бесстыдными, а счастье — пошлыми: осветляет одно страданье. Тогда мир тебе как новорожденный, ты сам новорожденный в мире... — Анна Ефимовна стесненно улыбалась, а Яков вышел из комнаты вместе с Лизой, демонстративно пожимая плечами. — Да, ничего не было в мире до меня, я открыл его заново, это солнце и землю... Смейтесь, абрикосовое дерево рубить легко и приятно... руби меня смехом, Яшка!

Давно пора было остановить это сумбурное истечение старческого разума, но никто не смел. Непопра-

вимое уже случилось, и я вижу провидение в том, что Яков за минуту перед тем покинул комнату. Суковкин вдруг зашевелился; я глядел в его лицо, и мое собственное начинало перенимать его выражение. Из-под приподнятой брови торчал круглый, незрячий глаз, — то была сама скука. Она глядела в стену, и сквозь нее, сквозь деревья и ночную мглу за стеной она уставилась в мир! Мертвенно блестело маслянистое его лицо, углы рта оползли вниз.

— Теперь спой ты... абрикосовое дерево. Нагнал тоску... — тягуче приказал Суковкин; если бы загорелся воздух вокруг нас, это было бы менее примечательно. — Пой, смеяться хочу, — капризно повторил пустынный нахлебник.

— Так и смейся, коли приспичило, деспот, — шевельнулась Анна Ефимовна.

— Смешного ничего не осталось в мире. Пой!..

— В такую минуту, Семен... Ведь я тоже человек! — с поблекшим взором молвил Пустыннов.

— Ты... ты человек? Ты... — закричал Суковкин, замахиваясь локтями, и глаза его грозили вылиться на стол. Он не досказал, а лишь поморщился. — Пой!

— Спой ему, Василек, — спокойно сказала Анна Ефимовна, но пальцы ее суетились по скатерти, точно пытались убежать. И тогда, отведя руки от лица, Василий Прокопъич запел.

Я видел, как скука топтала живую душу, я слышал ее скрип: она скрипит, как разминаемая кожа. Пустыннов не обладал ни слухом, ни голосом, но пел он старательно про серенького козлика и, помнится, даже сделал в одном месте руладку. Суковкин мстил за Андреево оскорбление неслыханным унижением отца. Недвижные, мы внимали глухому дребезгу пустынного голоса. Раздеришин щупал ухо себе, сгибал его пополам, и оно просвечивало красным. В эту минуту и засмеялась убогая моя Катюша. Немыслимо, чтоб из всего происшествия она восприняла только комичность пустынного экзерсиса; чрезмерную ее чувствительность я даже порицал порою... Но вот она смеялась, всласть и громко, глядя в самый рот Василя Прокопъича. И вдруг все поняли, что именно смех был спасительным выходом из положения. Мы засмея-

лись как по команде, и я видел, что даже отрывистому лаю Раздеришина обрадовался Василий Прокопъич как райской музыке.

— Семен, звук не пролезает! — обращая дело в шутку, пожаловался Василий Прокопъич, но тот все глядел в стену. Усы на нем торчали, как на парикмахерском манекене, жидкая скука истекала из его глаз. Смех наш оборвался сам собою, и тогда, распахнув дверь с террасы, вбежала Лиза, а следом озабоченно вошел Яков.

— Андрей идет! — крикнула она в смятенье.

В раскрытую дверь врвался ветер, задувая закоптившую лампу; к ногам полз холод. Во мраке сада действительно кричала сова...

#### IV

С террасы, топоча, входили люди, много людей, и заученно остановились две шеренги, образуя как бы галерею масок человеческого падения. Охваченных предчувствием еще большей беды, никого из нас не поразила фантастичность стрекулистского появления. Все они были разукрашены — кто маскарадным бантиком, кто бумажным цветком, а некоторые — расписаны сажей и мелом под чертей, но с дурацким неправдоподобием; у одного, неказистого, но самого молодого, торчали сквозь шляпу деревянные рожки, а позади непотребного балахона болтался мочальный хвост: я пожалел его загубленную юность. Однако все мы глядели мимо них, в шумливый мрак ночного сада, откуда должен был явиться Андрей. Василий Прокопъич сделал слабую попытку подняться, но в ту же минуту, спокойный и трезвый, быстро вошел Андрей. Анна Ефимовна шагнула ему навстречу, словно стремилась защитить старика от нападения, хотя за спинкой пустынного стула, немирный и каменный, стоял Яков. Улыбка Андрея остановила ее на полпути.

— Анд... Андрю... — простонала она, но смешалась и отступила.

— Не узнаешь, мать? — сдергивая шляпу с себя, спросил Андрей.

— Не узнаю, Андрюшечка.

Все еще держа улыбку на жестких своих губах, Андрей остановился посреди комнаты. То был сильной и иронической рукой склепанный человек, отцовского роста и примет; короткие штопаные брючки стрекулиста не делали его смешным, маскарад его был маскарадом крайнего разочарования. Гордый лоб, нависший над глазами, при иных условиях мог бы угрожать мещанскому благолепию нашего городка, но Воцанск-то и отравил мужественную его смелость. Впрочем, и отравленный насмерть, он мог еще смертельно покорять. Беглый взор его столкнулся с тусклым взором Суковкина, и Андрей, мне почудилось, даже кивнул ему. Затем Андрей решительно подошел к отцу и пытался взять его руку.

— Не дам, не дам... — шептал Василий Прокопич, уже выкручивая свою руку из Андреевой.

— Я поцеловать хочу твою руку, отец! — молвил сын, но улыбка его явно противоречила высказанному намерению. — Да ты дрожишь весь!

— Холодно, Андрюша, холодно... стар, — бормотал Пустыннов.

— Так тебе холодно? — приподымая бровь, спросил Андрей.

— Не бей меня! — вскричал старик.

Тогда Яков вышел из-за стула.

— Поосторожней с отцом, Андрей, — сказал он и отпихнул брата в грудь.

С раскрытыми ртами ожидали мы продолжения их ссоры, но ничего не произошло. Повинуясь окрику брата, Андрей опустил на стул, стоявший поодаль, и вот заговорил. Сбивчивой его речи не помню я целиком, но не забыл, что темные намеки копошились в нем, подобно молниям во чреве тучи.

— Бойтесь блудного сына?.. Гав, съем! — Он захохотал, все время, впрочем, посматривая на нас. — Ты прав, покорный сын, следует вести себя прилично даже и с отцом. А все-таки скучный ты человек, Яков!

— А ты... увеселительный, — через силу отозвался тот.

— Мне уже надоело увеселять!.. Странно, что за вещами, к которым привыкнешь, которые оживляешь собственным теплом, всегда прячутся иные смыслы. Берешь

палку, простую палку, мать, и она жалит, жалит, как змея. Вот и мне так же... привык к этому дому, здесь гостил на каникулах... и все представлялось мне: в зимний вечер сидишь ты с отцом у лампы, тишина... а я вот там, где теперь сидит околоточный Суковкин, пью молоко. Ты всегда пичкала меня молоком, мама, помнишь?.. Это немножко чувствительно, но ведь и рождаемся мы не сразу подлецами...

— Негодяи всегда разговорчивы, — из жалости к Катюше сказал я, но он не рассердился.

— Да, ночь застала меня в дороге. Но ты молчи, ты только мышь в обширном подполье мира... Мама, дай мне молока, в той синей кружке! — вдруг попросил он и ждал с ужасными глазами, пока Анна Ефимовна не протянула ему просимого. — Вот, вот и у молока вкус не такой, а горький...

— Небось, погребом пахнет, — робко заметила мать.

— Нет, не говори... меняется даже вкус молока! — Он отпил еще глоток и бережно, с померкшими глазами, оставил кружку на стол. — Не следует привыкать к вещам, которых польза только в том, что они украшают мир.

Значительность его прихода уничтожалась тягостной его болтовней, и опять видел я в этом положительное его сходство с Васильем Прокопичем.

— Освободи нас от присутствия твоего и твоей шайки, Андрей, — холодно вступила Лиза. — Нынче день моего рожденья, а я не звала тебя.

— Мы с тобой детьми играли вместе, Лизутка.

— Стыжусь этого, — резко бросила Лиза.

Густой стыд облек Андреево лицо, а я втихомолку наблюдал Катюшу. Она еле сидела на месте, щеки ее прекрасно пылали, она жила, точно скандал был ее стихией. И я осудил ее именно в ту минуту, когда причудливая расцветала в ее сердце любовь... не к Андрею ли, который так одерзел от собственного своего позорища, что уж ничем стало его не ущекотать.

— Сердишься, что я привел сюда этот паноптикум, Лиза? Это все милые люди, кавалеры... взятки и растраты, такие же, как и я. Им, как и мне, все равно теперь, — понимаешь меня?.. Стрекулисты, назовись! — гаркнул он вдруг, весь темнея.

— Жеребков, — басовито представился первый в левой Шеренге.

— Крамалеев, — проскрипел второй, которого я пожалел.

— Фуников, — поэтически вздохнул третий.

— Граф Фаддей Шишкин, — сознался четвертый.

— Маркиз Карпелан, — пятый.

— Барон Балтазар Стутенгейм! — длинно просмеялся шестой.

— Фараон Петесухис... — голодным голосом промычал седьмой.

— Зовите меня просто Мосеич, — вежливо молвил последний, самый старый и с кисточкой на картузе, дернув себя за староверскую бородку. Затем, выступив впереди шеренги, он приятно поклонился нашему собранию.

Было ясно, что все это придумано нарочно, мутным похмельным воображением; Яков качал головой от негодования, Лиза презрительно кривила губы, а Катюша опять смеялась невеселой этой шутовщине.

— Их у меня одиннадцать было, но трех уже выловили, — поддержанный Катюшиным смехом, оправился Андрей. — Хм, пирог. Не хочу пирога... Хм, Раздеришин? Не хочу Раздеришина!.. Слушай, Полуект, а Налька опять спрашивала про тебя: где, говорит, купец с трещиной?.. Закрылся где-нибудь ухом, говорю, и сидит... — Он намекнул на размеры раздеришинских ушей.

Бледностью бешенства наливался Раздеришин, а Андрей все не унимался. Он не боялся врагов и уже не щадил никого. Мы принимали его болтовню как насилие, и внезапно он сам понял это. Сконфуженный, с обвисшими руками, он повернул к выходу. Пороховой замысел его появления пропал впустую, но я видел зато, как вытянулась вся вослед уходящим Катюша, затем встала и, как зачарованная, пошла за стрекулистами. Все глазели на меня, а я дурацки улыбался, пока стрекулист Мосеич не притворил за собою дверь.

— Ты слишком добр к Андрею, отец, — строго проговорил Яков по их уходе, но Василий Прокопъич не откликался, покрытый трупной бледностью; мы поспешили разойтись. Уже не надеясь поймать Катюшу на улице

и предупредить несчастье, я еще задержался у Пустынных из сочувствия родительскому горю. Очутившись же за воротами, я побежал. Было часов около девяти, а мне казалось — близ полуночи. После происшедшего я мог ожидать от Андрея какой угодно пакости с Катюшей. Дома Катюши не было; ее кровать была несмята, и поверх одеяла валялось ее чиновничье платье, в котором она ходила на службу. Тогда я помчался к маляру на обрыв, разъяренное воображение подсказывало мне ужасные картины Катюшина обольщения: уже давало знать себя мое одиночество. Мертвый туман, плотный — хоть ножом его резать на куски — окутал Вощанск; на нем были нарисованы черные, диковинные деревья...

Запыхавшись, я остановился, когда уже замигали мне сквозь туман смутные огоньки маляровых окон. Всею грудью вдыхая мгlistый воздух ночи, я поднял голову и увидел звезду. Она пристально наблюдала меня, притягивая мои чувства и взоры; бежать мне из-под нее было некуда. Я узнал ее, мою звезду, я узнал все про нее. Она была огромна и дряхла; был тускл ее свет, как пламя огарка. Ее существование становилось ненужным. Трагически увядая во мраке, она жаждала соединиться с другой звездой, вся мудрость которой заключалась в ее молодом полете по предназначенной высокими законами орбите. Она караулила ее по-паучьи посреди своего одиночества, чтоб слиться, поглотить синий ее свет, похитить ее младость, заразиться прекрасной ее стремительностью... Перевея дух, я двинулся дальше и знаю, что бежал не для Катюши, а во исполнение воли моей звезды, пути которой должен был я повторить в малом моем отражении.

В тридцати всего шагах от Чудилова обрыва стояла малярова усадьба. Скулила по-собачьи темная обрывная пустота. Еще отец Николая Егорыча, маляр и неустрашимый в отношении любой высоты человек, стяжал себе эту усадьбу. Сын его продолжал отцовское дело, но страшные напали на маляра беды: утонули жена и дочь, которую та бросилась спасать, разбился с колокольни брат... Тогда Николай Егорыч с остервенением предался гульбе, почему он так гостеприимно и приютил у себя Андрееву компанию. Усадьба поветшала, всегда бушевал над ней обрывной ветер, рвал дранчатую крышу, под-

грызал столбы; от славного когда-то огорода осталась неогороженная щербатая десятина, заросшая лопухом и жалостная, как самая малярова судьба. Единственное, что поддерживал из всех сил Николай Егорыч, была баня. Скосившаяся и припертая кольями, она еще могла порадовать паром знатока. Пробегая мимо бани и удивясь свету в окнах, я слегка прильнул к запотевшему окошку и в смятенье отшатнулся.

Я увидел спину... никаким стихом не описать ее. Это была спина женщины, которую я не знал и уже любил. Лампа висела на ближней ко мне стене и оттого не мешала мне видеть черной внутренности бани. Губы мои дрожали, ноги подкашивались. Спина была молода, нежна и безыменна, как молодая звезда. По ней замедленно текла вода, розовая и сверкающая. Круглые мышцы переливались под кожей, ведя свою таинственную игру. Чудо приходило в вощанскую пустыню, и я дикарски распластался перед ним на земле. На протяжении пятидесяти моих лет я видел только спину покойницы жены, обычную, семейную и плоскую,— на нее можно было поставить стакан чаю или, разлиновав на квадратики, играть в шашки. Я понял, что, кроме вощанской жизни, есть и другая, полная чудес и потрясений. В груди моей стояло мычание... Вдруг я перестал видеть: стекло запотело от моего дыхания.

Мне стало холодно и неудобно, я оглянулся, почерепашьи втягивая голову в плечи. Позади, в двух шагах, стоял Андрей. Я не слышал его приближения, но понял, что уже не первую минуту он наблюдает меня. Все вокруг нас было безмолвно и пустынно. Я воровски оглянулся на окно; оно померкло, Налька ушла одеваться.

— Нравится? — спросил он, кивая на окно.

— Ничего себе... — вздрогнул я, не пытаясь оправдывать непристойное зрелище старика, подглядывающего за новой Сусанной.

— Вас Катюша давеча искала,— строго сказал он и не двинулся, пока я не отошел на дорогу. Лицо мое было неприлично, как подмышка, невыносимо болело лицо мое. Я шел, как пьяный, страдая от позора первой моей вылазки в мир. Несколько раз я вглядывался в небо, как бы испрашивая совета, но не увидел там моей звезды.



Однако всю дорогу я напевал какую-то пошлятину, вознаграждая себя за перенесенное издевательство. Вытирая тряпкой ноги, я уже испытывал бурную приятность. Помнится, что я поцеловал Катюшу на ночь с небывалой легкостью: я стал находить вкус в отпращивании отеческих обязанностей...

## V

Я поцеловал ее уже спящую, но подозреваю, что она только притворялась; втайне я был даже признателен ей за это, ибо еще чуял на лице своем следы недавнего переживания. Какая-то перемена в Катюшиной комнате остановила мое внимание, перемена обонятельная: в комнате пахло духами. Это и тронуло, и порадовало меня: незнакомый со свойствами духов, я все опасался, что они прокиснут от долгого стоянья на окне. Катюша не окликнула меня, уходящего, но выражение ее бровей было уже иное.

Мне снилось чудачество, будто я извозчик. Будто я купил петуха и приношу во двор, а лошадь и говорит: «Опять привели мой корм есть», — да так сердито. Никогда не удивляешься во снах, что звери могут разговаривать. Даже и во сне было мне весело и приятно. Я проснулся от холода, с меня сполз тулуп, которым я укрылся с вечера. Я встал со своего сундука, и была, помнится, ленивая мысль — затопить печку. Внимание мое, однако, отвлеклось непонятными шорохами, кто-то ходил в сенях. Спросонья все мне представляло в преувеличениях, но вор уже направлялся прямо в комнату Катюши. Вдруг смешная догадка разметала мои подозрения: конечно, это Андрей шел к Катюше на любовное свидание. Именно здесь, под боком у спящего отца, было удобнее всего расположиться на удовольствие: никакой отец, даже глупец в отношении секретов своего ребенка, не побегит разглашать по городу, что дочка его — девица на испорченном ходу, как говорят в Воцанске. Прикрывая рот ладошкой, я трясся от смеха: такому вору я был только благодарен, ибо в расчеты мои существенным козырем входила и Налька. Все еще смеясь, я приник к трещинке в газетах, которыми оклеены дощатые мои стены, и уви-

дел Катюшу, но она была одна... Дерево за окном запошилось снегом, и в комнате ее стояла сизая, ледяная светлынь.

Старенький пуховый платок, память матери, укрывал угловатые Катюшины плечи, ее улыбка была обращена вовнутрь. В руках она держала тряпичный сверток, перевязанный веревочкой. Раздумье ее происходило от незнания, куда ей засунуть его. Сперва я не постигал ничего, кроме сознания, что присутствую при великой Катюшиной тайне. Потом, когда она уже спрятала сверток в ворох грязного белья под кроватью, я догадался, что она самовольно взяла из чулана мои сбережения. В конце концов все обходилось благополучно: Катюша лишь предупредила мой собственный план в отношении к Андрею, и уж, ясное дело, Катюшины действия в этом смысле были бы успешнее моих.

Взволнованный, я повалился на свой покатый сундук; сон совсем покинул меня. В памяти бежали записи Катюшина детства. Вспоминалось, как девочкой, лежа в кровати, она страшилась высунуть руку из-под одеяла во мрак комнаты, потому что мимо кровати якобы, чуть поблескивая, беспрерывно ходят длинные ножи. Тогда я еще имел смелость доказывать моей девочке, что в мире нет ничего, кроме зримого глазом. Закрыв глаза, ежась под одеяльцем: «Папа, я дорогуша?» — спрашивала она. «Дорогуша!» — «Нет, ты тоненьким голоском скажи», — просила она. Мой ответ уже не заставлял ее по эту сторону бытия. Теперь та же самая девочка ukrала мои деньги, чтоб спасти человека, которого помышляла иметь любовником.

Не страшила меня такая подмена. Каждый день загораются новые солнца, а старые тухнут бесследно: горевать ли о старых, если мир вчетверо возмещает мне мою утрату! Всею душой я торопил приход Катюшина счастья, в котором она почерпнет силы для свершения своей роли на земле. Въедливый запах духов изнурял меня: перегородки комнат не доходят у меня до самого потолка. Я заснул на час и проснулся, когда рассветно серели окна. Мужики ехали на базар, и на первом снегу волнующе цвели их скрипучие оранжевые полущубки. К полудню потеплело, улицы полиняли, старожилы предсказывали дождли-

вые ветры. День выпал пасмурный, суетливый, события усеяли его так тесно, как воробьи — телеграфные провода. После Катюшина ухода я поспешил удостовериться в моем ночном наблюдении, но свертка под кроватью не оказалось, он лежал по-прежнему в чулане. Мне некогда было подумать, было ли то следствием ее раскаянья: пора было спешить на Полуектово торжество.

Публики набралось много, посреди старушечьей завали попадались и степенные мужики, которые имели, впрочем, такое же пристрастие к церковному благочестию, как и к хорошо начищенным сапогам. Приехал архиерей Феогност — руина, доживавшая у нас в Воцанске свою бесцветную старость. По окончании обедни Николай Егорыч с двухпудовым крестом в руках полез на колокольню, и все мы стали свидетелями цеховой его доблести, подкрепленной, по слухам, бутылкой казенного вина. Покачиваясь на лесах от сильнейшего ветра, он водрузил крест и прокричал из своей головокружительной высоты:

— Ваше преосвященство, животворящий крест на месте. Святому кресту святиться, а вашему преосвященству бескончинно священствовать. — Мужики внизу хозяйственно выразили свое одобрение, а маляр продолжал: — Гражданин церковный староста, святой крест на месте. Ему стоять, а тебе долги веки здраву быть. — Слова эти относились непосредственно к Полуекту, который самодовольно покачивался внизу. Тогда и кольнуло меня предчувствие, что нынешний день закончится не безразлично для будущего воцанского летописца. Слухи о раздеришинском запое подтверждались воочию. — Честные прихожане, крест на месте, а вам многая лета, — заключил маляр.

Народ расходился. Намереваясь заглянуть домой, я первым выбежал из храмовой ограды и тут вторично в жизни увидел эту женщину. Уверенно раскидывая ноги, напряженные, как тетива, готовая послать стрелу, тысячи стрел... она направлялась прямо ко мне, на бугор. Ее колени упруго бились в полы пальто, чудовищно пестрого на фоне серенького воцанского денька. Мне стало стыдно, как юноше, когда приближается к нему грех, но я остался стоять. Приятно было глядеть, как легко и про-

сто несет она себя ко мне. Подойдя, она спросила о доме, где обитает Раздеришин; я молчал, весь жар схлынул с моих щек. Я искал в ее лице черт прославленного ее распутства и не находил, она не поняла моего томления.

— Вы знаете меня? — равнодушно спросила она.

— Я вас в баньке видел, — сказал я, с ненавистью глядя в ее лицо, полное розового света.

Она рассмеялась моей неуклюжей дерзости, я смятенно преклонил голову. О, как я восчувствовал теперь сладкую боль вот такой неловкости! Она приказала мне проводить ее, и я суетливо помчался впереди, вызывая изумление во всех встречных. Мы проходили самое красивое в Вошанске место, — гора, обставленная древними монастырями, и я принялся объяснять ей путаную их историю. Беспамятно болтал я что-то о духовной красоте творцов всех этих шатровых, луковичных и иных куполов, которые не пережили ни своей страны, ни своей эпохи и уступили место людям трезвым, грубым и сильным.

— Пустяки, российский гражданин с песенкой вынесет все, чего не вынесет его Россия, — рассеянно бросила она, а я остановился сообразить ее слова в отношении к моим собственным. Мы стояли возле самого Раздеришинского дома.

— Мы вовсе не такие мученики или подлецы, как мы себе представляем. Наделил нас творец калечинкой ровень со всеми народами, — возразил я, но она лишь засмеялась и стала подниматься по лестнице.

Когда я вошел, гости были уже в сборе, и посреди, в кресле и лицом к двери, сидел Полуект. Оттопыренные уши его рдели, и весь вид его был таков, точно у него прорвался чирей. В золоченой раме против него висел дикобразный человек с царской медалью на шее и с расчесанной надвое бородой; подобно жабрам, торчала она из высоких воротничков. Это и был обожествленный Полуектом тятенька его, Иван Парамонич, скандальную славу которого тщился перебить его бесталанный и безнадежный сынок. Между гостей хлопотал и покрикивал домовый управитель, старичок, свидетель возвышения и падения рода, от мелкой торговли крестьянским холстом — через богатейшую

мануфактуру Ивана Парамоныча — к ситцевой лавчущке нынешнего Полуекта.

Ждали архиерея, а тот все не ехал, и Полуект злился, косясь на нас мелким, вурдалачьим своим глазком. А уже было известно, что хозяин пригласил на вечер Андреевых стрекулистов, чтоб потешить владыку: начало не предвещало добра. Стрекулистов держали некормленными в чулане, чтоб стали злей и податливей на любую архиерейскую прихоть. Стол был накрыт на пятнадцать персон, а греко-римская фигура мужского пола и в натуральную величину — каприз покойного Ивана Парамоныча — была завешена простынью. Вдруг в окне проскрипел архиерейский экипаж... Я потому останавливаюсь на мелочах, что без них непонятен удар, который я кладу в середину своего повествования.

В комнату всунулся мелковатенький попок, один из спутников святейшего гостя. «Принимайте владыку, — шепнул он и, прикинув к дверной щели, сообщил нам все подробности архиерейского приближения. — Уже по ступенькам поднимаются... коридорчиком... за половичок зацепились... отцепились. Пожалуйте, ваше преосвященство!» И попок изогнулся перед еще не зримым архиереем.

Сперва протискался протодиакон, потом монах ввел архиерея. Опухший от двухлетнего тюремного сидения, старик этот за весь обед не проговорил ни слова: за него вел беседу протодиакон, мужчина с таким цветным лицом, что неловко было смотреть. Благословив паству по настоянию диакона, владыка столь потерянно стоял посреди, что вызвал у некоторых смех. Вдруг его глаза задвигались.

— Владыка интересуется, кто это? — пробасил диакон, указуя пальцем на хохочущую Нальку.

— Дама-с! — сдавленно отозвался хозяин. — Молодежь...

— Женщина, святой владыка!.. А это? — сунул он перстом в простенок между фигурой и маляром.

— Идол... древний, — глупо ухмыльнулся Полуект.

— Владыка не про это. Кто вот он?

— Маляр-с! — гаркнул усердно Николай Егорыч, и негнувшийся его пиджак скрипнул при этом. — Крест nonetheless вставлял.

— Не ори, не пугай владыку... — строго молвил диакон. — Приблизься. Владыка интересуется, падать не доводилось вам?

— Ни разу-с! — виновато пожался Николай Егорыч. — И даже... в солдатах не был.

— Похвально. Владыка любит труд...

— ...чужой! — при общем смехе заключила Лиза. Пожалуй, тут и следовало бы увозить архиерея от греха, но попок затянул предтрапезную молитву, и гости принялись усаживаться за стол.

— Не печальтесь, хозяин, сие проходит мимо нас. Птенцы... я и сам был птенцом, — говорил диакон, наливая себе первую. — Ну, первоначальная для сварения в желудке, винцо полирует кровь. Удивительно, пью все белое, а нос все краснеет!

— А владыка красное пьет, а нос все белеет, — резвилась Лиза в сообществе таких же юных гостей.

— Уймите, хозяин! — нахмурился монах.

Настроение падало; тишину нарушал лишь ожесточенный скрип ножей: гусь попался сухожильный, и многие имели силы на его одоление.

— Владыка интересуется, — снова приступил диакон, постукивая ножом о скатерть и обращаясь к Нальке, — венчались вы с Андреем Васильевичем или же просто так?

— Просто так! — блеснула глазами Налька.

— Просто так, владыко... — насмешливо доложил диакон, входя во вкус своей допросной роли. — Что же потянуло вас бросить супруга, который, как известно, инженер и шишка... и связаться с вором?

— Качества! — сказала Налька и показала язык попку, который захихикал не сравнимо ни с чем.

— Какие ж такие качества? — с достоинством продолжал диакон, вытягивая ноги под столом.

— Мужские! — злостно кинула Налька. — А вы для себя об этом интересуетесь или для владыки?

Со вступлением разговора в скользкие эти дебри владыкины глаза заматались в подбровных ямках. Монах мрачнел, а диакона разъяряла беседа со знаменитой соблазнительницей. Тогда-то Полуект и приказал своему архитриклину ввести стрекулистов. Я улыбнулся Нальке,

она с иронией взглянула на меня. И вдруг я почувствовал, что маскарад стрекулистов во много крат слабей по смехотворности наших собственных вощанских харь. Хари сидели за столом, и на себе я чувал тоже харю, приклеенную на всю жизнь. Улыбкой я старался сдвинуть ее с лица, но ничего не выходило: харя сидела крепко, харя оплывала, харя не повиновалась мне... а Налька все глядела на меня. Я готов был рвать ногтями, срезать бритвой, срывать всячески мою харю, мое земное естество, мое гнусное мясо, готовое в лучшую мою минуту истечь сукровицей, глупую клетку, в которой томилась моя неистраченная душа... Тем временем управитель пугливо докладывал Полуекту, что стрекулисты распили на голодный желудок целую бутылку наливки, найденную ими в чулане. Полуект серел в цвет обоев и побряхтывал, а стрекулисты уже вошли. Их было семеро, восьмого арестовали в минувшую ночь; они шатко встали вдоль порога. Взоры их были незрячие, а лица светились синевой. Я с ужасом видел, что, кроме того молодого и еще не утерявшего стыда, все они были уже полупокойники.

— Преосвященнейший владыко,— сказал Полуект. — Не пугайтесь! Это стрекулисты, продувной народ! Очень смешно и совершенно безопасно. Они казенные деньги промотали... так что им **все равно** теперь. Специально исполняют фантазии.

— Занимательно,— прогудел протодиакон.

— ...и поучительно! — закончил Полуект. — Стрекулисты, назовись!

Однако эффекта не последовало, и все засмеялись уже над самим Полуектом, который со звериным лицом подскочил к самому крайнему, почему-то забинтованному, стрекулисту, бешено схватил его за плечи.

— Этто... бунт? — прошипел он в самое ухо стрекулиста. — Назовись!

— Мамакин... — тускло, как на расстреле, ответил тот.

— Врешь, врешь... Он врет, ваше преосвященство, это барон Балтазар, уверяю вас! — отчаянно вертелся Полуект и чуть не плакал. — Что, что у тебя с мурлетом?

— Упал.

— Да ты пьян, шельма?

— Ты сам пьян! — без выражения и при общем веселии молвил стрекулист.

— Слабого человека обездолить нетрудно... — подержал его другой.

Неотвратно надвигалась катастрофа, а тут еще упала простыня с фигуры, что вызвало новый прилив неуместного гоготания. Диакон спешил доесть рыбу, попок хрипел, как стенные часы, а владыки и вовсе не существовало от страха. И тогда-то произошел натуральный бунт стрекулистов. Внезапно поняв, что им действительно дозволено все перед лицом ужасной кары, они стали нахально рассаживаться посреди нас. Проходя мимо владыки, один из них пошатнулся и растопыренными пальцами уперся в самое темя охнувшего архиерея.

— Извиняюсь... в глазах зигзаги, — объяснил он.

— Вставайте, отцы, — с достоинством сказал монах, как мешок приподымая владыку. — Вставайте, бесовское радение началось.

Даже не помолясь по окончании трапезы, священные гости быстро пошли к двери; владыка не сопротивлялся воле своих поводырей. Подобно параличному, сидел Раздеришин в своем высоком кресле, уставясь на портрет отца, который бесстрастно взирал на мамоево это побоище. Несчастье отняло у него дар речи и соображения, один лишь мизинец на руке бился о бархатный локотник кресла. И все же это еще не было концом приключения...

— Стыдно, молодой человек, — с порога возгласил попок, отталкивая плачущего управителя. — Архиерея в блудильный дом приглашаете. За уши драть мало!

Земля вошанская колебалась под нами, веяло мглой посреди нас, а во мгле сидели стрекулисты и пожирали раздеришинские яства. Их царствие настало теперь, а мы, стоявшие вокруг стола, развлекали их своими испуганными харями. Вдруг Полуект скакнул к двери:

— Я тебя на горбу своем сквозь грозу несу, а ты... Ты за копейку в церкви станцуешь! Фу, высокого давления масштаб. Мой дом — блудильный? Тятенька в нем Феофилакта принимал, вице-губернатора самолично бил за этим столом... Э, да и какой я купец! Тятенька для архиерея быка жарил, сто человек певчих, фейверк... а у меня



гусь сухожильный... — В крайнем остоленении и слезах он простер руки к портрету: — Восстань, тятенька, и опровергни хулителей моих!! Хор, играй! — еще крикнул он куда-то в стену, но молчала стена. — Молчит хор, нету у Полуекта хора, ничего нет... ограбили!

— Вот у Ивана Парамоныча, действительно, хор был! — подзудил Василий Прокопич со стороны.

— ...скучно мне, скучно, граждане! — плакался Раздеришин. — Для чего живем, у каких стен плачем, какую скуку питаем собою!.. В окаянстве живем, а свет где? Хха, прыгни, а ангелы поддержат тя. Попробуй, прыгни... Чуда жажду!

— Все в мире есть чудо, надо только глаза иметь, — с потемневшим лицом вставил Пустыннов.

— Век наш темный, век смутный, все может стать, — поддакнул и Суковкин.

В крайний предел душевной горячки вошел Полуект Раздеришин. Уже взять бы его да нести в чулан на отдохновение, но невозможно было остановить руками маховое колесо. То была граната, начиненная вырождением и наследственным алкоголизмом. Из его остановившихся глаз выглядывал, один поверх другого, весь раздеришинский род, с сумасшедшими тетками и пропойными дядьками, злые качества которых совокупились в их последыше. Не было покуда среди них одного лишь Ивана Парамоныча, но вот выпрямился мягкий Полуектов позвончик, судорога пробежала по длинным его рукам, а глаз приобрел свирепую устойчивость: сам Иван Парамонович Раздеришин сошел в сына своего посрамить хулителей рода.

— Чуда!.. стрекулисты, вам все равно... вижу, как вы мертвые лежите, семеро в ряд. Излазьте мне землю, выцарапайте чудо... самое махонькое, приволоките его сюда. Тыщу даю за чудо! — Всеобщий испуг был ему ответом. — Две даю... — с великой властью произнес он, и родитель его беззвучно хохотал из его глаз над опущенными головами. — Три... кто сделает?

Тогда, отрывая от себя жалобные руки жены и не сводя глаз с Полуекта, Василий Прокопич приподнялся с места.

— Я сделаю, — тихо сказал он.

— В каком смысле имеете намерение?.. — не сразу прищурился Раздеришин.

— А вот прыгнуть... Я и прыгну с Чудилова обрыва.

— При свидетелях сказано. Платим! — зло крикнул Раздеришин. — Лизавета Петровна, спасайте благодетеля!

— Я не пойду за вас, Раздеришин, — сказала она и пошла к выходу из духоты, и никто не осудил ее за то, что, молодая, она не принесла себя в жертву старому.

Дальнейшее не уместилось в переполненном нашем сознании. Образ многосаженного Чудилова обрыва стоял перед нами, мы даже слышали непрерывный свист его и лай. Ни от кого не было тайной, что весь этот преступный спор Пустыннов затеял с целью покрыть растрату сына, а Полуект — чтоб отомстить за постоянные издевательства. По условию, Василий Прокопьяч имел право прыгать в шубе и валенках. — В полном молчании мы разбирали нашу одежду и выходили на улицу. Ко мне, уже одетому, подошла Налька и просила принести сумочку, забытую вверху за столом. Я согласился неохотно, она заплатила мне ласкательной улыбкой. Посреди стрекулистского разгрома, в прежнем кресле и с поджатыми ногами, опустошенно сидел Полуект, широко расставленными глазами взирая на портрет отца. Я взял сумочку и, прижимая ее к груди, бесшумно спустился вниз. Но я не застал там Нальки, она не дождалась меня, и я не особенно бранил ее за это: сама судьба гнала меня вторично к маляру на обрыв.

...На улице стоял туман, из которого вылезала пожарная каланча.

## VI

Дивлюсь спокойствию, с которым описываю первые приступы своей беды; дивлюсь, что ничего не забыл, дивлюсь моей беспечности, с которой я входил в Катюшину комнату. Я напугал ее; она что-то прятала под кроватью и смутилась при моем появлении. По-видимому, она снова решила воспользоваться моими деньгами. Я поцеловал ее в лоб и даже похлопал по плечу, потешаясь над ее смущением и поощряя к новым свершениям

на том же пути. Она подозрительно оглядела меня, а мне хотелось одного: скорее накормить ее и отправиться к маляру на обрыв. Налькину сумочку я тайком вынул из кармана и положил на подоконник, прикрыв бумагой. Когда я вернулся с погреба, куда ходил за молоком для Катюши, я застал ее за рассматриваньем этой небывалой в Вощанске вещи. Это была заграничная сумочка, мелко расшитая бисерными розанами, тонкий багрец которых охлаждала прохладная, бисерная же, листва. Катюша наклонялась к вещи, не смея или не желая коснуться ее, и я перепугался при мысли, что Катюша может принять эту вещь за мой подарок ей самой. Она стояла спиной ко мне, схожая с летучей мышью; мне стало жаль ее, я обнял узкие ее плечи, одновременно прибирая искусительную вещь.

— Какая красивая... — сказала Катюша.

— Это вещь Андреевой любовницы, — в упор сказал я, но она встретила мои слова безразлично, точно я лгал. Она недоумевала, как эта вещь попала ко мне, а мне было унизительно оправдываться перед нею. Впрочем, я все-таки заговорил, и раздраженные мои показания кончились тем, что я смущенно усталился в пол.

— Я не спрашиваю тебя ни о чем, отец, — спокойно заявила она тогда.

Она видела, что я не прежний. Звезда моя взошла надо мной, и кактус зацвел среди вощанской ночи. Мне показалось, что она презирает меня и мое право на жизнь и радость. Я остервенел и уже не выбирал слов, кричал и брызгался, хуля Андрея и присных его. Я кричал, что не желаю умирать, не желаю никому уступать свое место, хочу любить и быть любимым, хочу гладить рукой женскую спину, хочу всего, чего смеет хотеть живой человек. Ни одним словом не попыталась она утихомирить мой душевный ералаш и, пожимая плечами, ушла к себе в комнату. Некоторое время я еще сидел, борясь с темным моим гневом, потом вдруг сорвался и, на ходу одеваясь, ринулся в дверь. Доныне звучит в ушах у меня Катюшин смех над увлечением... кем! Теперь он стал глуше и грустнее, мне легко нести его сквозь остаток закатных дней моих, а тогда до безумия расцарапывал мне слух. Ошалев от боли, я несся по каким-то неизвестным мне проулкам,

направляясь к маляру. Застывшие в вечернем свете высоты были цвета топленого молока в омшанике...

Трижды права была ты, незабвенная Катюша. Чего искал я в этом доме, куда стучался с таким нетерпением? Любви ответной? Ужели дерзал я отбить женщину у Андрея Пустыннова, хоть и подлеца во многих отношениях, но героя по вощанским масштабам, — отбить Нальку и подкинуть Катюшу? Не ведаю, чего искал я там... но тянется к солнцу кактус не только из тайного стремления вонзить в него отравленные свои колючки. Впервые в жизни я любил без кавычек, диктуемых возрастом и положением моим... На низком подобии тахты, сооруженном из плах и войлока, сидела с ногами Налька: у окна, лицом к обрыву, стоял Андрей. Они торопливо оглядывались на меня: пугливым ожиданием совсем иных гостей были наполнены их тогдашние часы.

— Сумочку принес, — объяснил я свой приход, краснея, как мальчишка.

— Спасибо, дай сюда.

Не обращая на меня внимания, они продолжали свою отрывистую беседу, из которой я понял, что разговор шел о деньгах — уже не на покрытие растраты, а на самое существование. Не будучи в курсе многих обстоятельств, Налька советовала пойти к отцу. Тут-то я и сообщил им о возникшей между Васильем Прокопьевичем и Раздеришиным сделке. Ироническим смехом встретил Андрей мое сообщение.

— Налька уже говорила мне... Пустяки! Отец не пойдет на такое дело. Отец — трус.

— Он страдает, Андрей Васильевич, — обиженно заметил я.

— Он страдалец по преимуществу... по профессии, — глумился он над отцом. — Такой не прыгнет!

— Василий Прокопьевич поспорил с Полуектом на три тысячи, — сделал я нажим на сумме Андреевой растраты.

Он вздрогнул и задумался.

— Тогда, пожалуй, и прыгнет... — В лице его, впрочем, не приметить было огорчения; вскоре он покинул нас.

Столбнячно сидел я, раскаленный добела и держа влажные руки на коленях. Налька была в красных, отороченных мехом туфлях; волосы ее ореольно светились

на фоне окна, в ушах качались широкие кольца, силуэт ее мне казался розовым. Я старался не глядеть на нее, она была прекрасна, как само искушение, предназначенное к моей гибели... и вот я уже болел этим искушением — самому истратить деньги, которые еще утром великодушно предоставлял Катюше.

— Адов холод у вас тут, — сказала она, поджимая ноги под себя. — Дай мне шаль с табуретки...

Ночное видение наяву мутило мне разум. Харя моя покрылась испариной. Я исполнил ее повеление, нарочно замедляя движение и тем самым останавливая время. Она посмотрела на меня с любопытством.

— Укради... — глухо шепнула она.

— Чего-с?

— Это у меня восклицание такое. Что с вашим лицом?

— Лицо как лицо! — дернулся я, щупая себе лицо. — Приятное лицо.

— Как тебя зовут? — Она осознала свою власть надо мной.

— Ахамазиков.

— Чем ты занимаешься?

— Говорящим бюстом служу в балагане! — грубо усмехнулся я.

— Я тебе нравлюсь?

— А я?..

— Ты мне меньше.

— Почему же вы заинтересовались... этим?

— Нужны деньги.

— Много?

— Четыре.

— А четвертая куда же?

— Хочу увезти его куда-нибудь. Он совсем болен...

— Нету у меня таких денег, — тихо сказал я, вставая и переходя к окну.

— Укради... — глухо шепнула она.

Я обернулся:

— Что это... бесстыдство?

— Любовь.

— В Воцанске нет таких денег... и, кроме того, я честный человек.

— Глупости. У меня дядюшка был тоже честный слуга отечеству, а подошел случай украсть, и украл.

— Ко мне еще не подступил такой случай...

— А если подступит?

— Не подступит. Стар я и немощен... — Сам не ведаю, почему сказались эти слова, когда весь я полон был обратного, но я вежливо поклонился в этом месте и пошел к двери.

...Всю ночь я не спал, даже не раздевался. Не удавалась мне моя любовь, хотя куда это не было отчаяньем. Необоримая усталость валила меня с ног, но даже дрема не посетила моей подушки. В мыслях моих я кощунственно владел уже многим, но все не мог насытиться, ибо ненасытна мысль. Жена, перед памятью которой я благоговел, представлялась мне чудищем, пожравшим мою младость и ушедшим вновь в злой свой мрак. Решение самому воспользоваться моими деньгами укрепилось во мне. Я думал: Андрей все равно не полюбит Катюшу, — не было в ней таких качеств, за которые люди обратного пола дырявят друг друга или бросаются со скалы. Я знал Катюшу, потому что знал себя и ее мать. Все мое внимание было обращено вовнутрь, где было суматошно и пестро, точно настраивали праздничный оркестр.

— Ты не спишь?

Она вошла ко мне неслышно; она присела ко мне на сундук, и — такова была ее тогдашняя потребность — обняла меня. Я сидел с закрытыми глазами, пытаюсь установить внутри себя порядок и понять причины, приманившие ко мне прежнюю мою Катюшу. Ясно, она пришла ко мне сознаться в самовольно взятых деньгах... сознаться, но не возратить их. Я еще не понимал, что жажда поделиться с кем-нибудь своим счастьем толкала ее на эту неумелую ласку. Она была в одной рубашке и не замечала того, ибо приходила, как та давняя девочка, которую украло у меня время, а теперь крал ненавистный мне человек. Живая Катюшина теплота текла в меня, и мне мерещилось, что другая женщина, желанная, посетила мои сумерки. Муть шла на меня, и я страшился показать дочери мои глаза... но я честно вынес эту пытку огнем и лаской.

— Никогда... никогда не останавливай в себе порыва. Если стучится в сердце счастье, не испытывай его ни

временем, ни размышлением. Счастье мстит жестоко, — бормотал я ей.

— Ты любишь ее, папа? — спросила она, поняв мои слова как признание.

Готовая заплакать, она смеялась, она гладила меня по голове, она сочувствовала моему несчастью, под которым, подобно гусенице, извивалась моя суть... Я оттолкнул ее и вышел наружу. Была пуста отстоявшаяся тишина; капли измороси висели в ней. Все спало. В расвете мутно блестели грязи. Улицу переходила кошка, неся на низких ногах круглое брюхо. Я позвал ее, но она испугалась и, невзвидя света, понеслась по грязям точно так же, как помчался и я менее чем через сутки. Без снов и прорывов в моем забытии я продремал ночь. Катюша уже ушла на службу. Проснулся я от стука маляра, который изредка любил заходить ко мне потолковать о политике. Пока я готовил чай, он сообщил мне ужасную новость: ночью, когда пришли за тремя стрекулистами, один из них кинулся с обрыва и разбился насмерть; их арестовывали по мере поступления сведений в прокуратуру. Холодок прошел по мне, едва я вспомнил про Василья Прокопьяча. Когда он ушел, я отправился на огород подвязать на зиму смородину. Прежде чем я успел наделать достаточное количество соломенных жгутов, сзади обхватила меня Катюша. Короток осенний денек в Вошанске...

Она была весела, ибо уже решила на многое; ее приподнятое настроение рассеяло и мой собственный стыд за ночное происшествие. Хохоча и обнявшись, как прежде, мы вернулись в дом, и никогда мне не было так легко в отношениях с дочерью. Вплоть до вечера, поталкивая друг друга и подмигивая, мы резвились, как молодые котята на весенней траве. Веселого сумасшествия гений одарил нас в тот вечер радостью.

— Катюша, — спрашивал я, притягивая ее лицо к себе — где же твои веснушки? Я так любил твои веснушки...

— Глупый, веснушки — весной.

— Так разве не весна теперь?

— Осень... но весна!

В окне уже стояла непролазная темень; опять она будила во мне непоборотые влечения.

— Мне нужно сходить по делу, — глухо сказал я тогда. — Ты ложись, ложись спать, а я пойду...

Она хитро улыбнулась мне и, грозя пальцем, проводила меня до крыльца.

## VII

Меня тотчас оглушило и чуть не повалило ветром, беспорядочно и мощно струившимся над Воцанском. Это походило на великое осеннее переселение ветров. Они шли буйными ордами на новые кочевья; я слышал скрип незримых колес, гоготанье скота и ленивые посвисты пастухов. Я вглядывался и не видел ничего, потому что и сам я был для них существом невидимым. Они шли сквозь меня, а я — сквозь них. Раскинутыми лапами, стеной и крича, цеплялись деревья за ускользящий воздух. Сгибаясь и рукавом прикрывая дыхание, держась подветренной стороны домов, я заспешил к маляру. Жуть ночных улиц повышала мое подхлестнутое настроение. Никакие ветры не могли остановить меня или повернуть вспять. В дверь малярова домишка я стучал громко, похозяйски, ибо имел мне одному известную власть над этими людьми: я разумею мои деньги. Я входил деловито, как бы имея на лице надпись: «Вот и я... довольны ли вы все, что это я?» Ослепленный, я остановился на пороге.

— ...еще один! — вскричал откуда-то из глубины Андрей, прежде чем я увидел его.

Шла лихая гульба у маляра, и я не узнал маляровой лачуги. Было светло, как от тысячи спрятанных ламп, как в сновидении, и только тут я понял, что означает, когда делается «все равно». Меня вовлекли в происходившее действие, и вскоре я догнал всех их, а кое в чем и перегнал. Еще не оглушенным рассудком я сознавал, что становлюсь стрекулистом, и посвящение свое принимал с удовольствием. Я вошел Ахамазиковым, но уже «графом Цукатовым» при общих аплодисментах присел я на тахту по эту сторону Нальки. По ту сторону свинцовым мешком сидел Полуект Раздеришин, мрачно наблюдавший течение пиршества, точно то были его похороны. Сегодня угощал он сам: ему надоело запойное его одиночество.



Мутнеющими глазами я обвел это зрелище, уже последнее в вощанской комедии. Разряженные домашними средствами, стрекулисты прыгали, чертогонили, тряся паклевыми бородами и стуча деревянными копытами. В углу граф Фаддей Шишкин объяснял осовелому маляру, как следует по-кавалерийски рубить собаку: подкинуть и ждать визга. Барон Стутенгейм братался с Жеребьяковым, который только что обидел его неуместным действием. Фараон Петесухис лихо играл на гармонии, доставшейся маляру от покойного брата. То был сплошной апокалипсис человеческого отчаяния... Тут властным окриком Андрей остановил эту кутерьму. Неспешно достав из кармана какую-то бумажку, он согнул ее призмой и поставил на стол. Стрекулист Карпелан подбежал заглянуть, но Андрей свирепо оттолкнул его в грудь, и тот упал куда-то за дверь; в тот вечер он не действовал более.

— Я созвал вас, господа, затем... — начал он словами страшного произведения и подымаясь как бы на ходулях, — чтоб показать, как надо жечь секретную бумагу. Когда весь мир протягивает руки овладеть твоей тайной, надо поставить ее вот так и... дай спички, Балтазар!.. зажечь сверху. При таком способе не бывает ни дыма, ни копоти, а только потепление в воздухе...

Бумага горела ровно, и как зачарованные взирали мы на этот спокойный костер, где незримо миру сгорала и моя Катюша. Сморщенная колонка пепла росла и клонилась на сторону; Андрей ударил по ней ладонью, и черная копоть порхнула по сторонам. Потом снова начался разгул, а я, пропустив одну траурную минутку, решительно придвинулся к Нальке, к самому ее уху, так что витки ее волос щекотали мне лицо. Многих из приводимых ниже слов я не говорил, не смел произнести, но они живут во мне, и я верю, что они были сказаны.

— ...все это творится во имя ваше. Ветром разогнало хлябь большого моря и скинуло вас сюда. Осень — пора ветров, а Вощанск — дно жизни, которая бушует там, вверху... И ветром унесет вас в безвестность! По рачьему этому дну полвека ползал я, таская на себе тяжелую раковину... она выросла, ее не сбросить. Я поднимал голову и видел, как играют наверху зеленые струи. Тогда я до-

гадывался, что это и есть цвет воцанского солнца, смешной, бутылочный цвет. Через тысячу лет найдет мою скорлупу новый человек и скажет со смехом: «Экие чудачки обитали эту землю!» Ведь он не знает, что и я любил. Благословляю гибель вашу, люблю и буду любить, когда, повинувшись высокому закону, страшная и распученная, вы снова всплывете на поверхность мира...

Она не смеялась над моею правдой, оскорбленным взглядом она глядела мне куда-то в горло.

— Чего смотрите? — улыбнулся я, потирая рукой горло.

— Странно... если твою голову приклеить к шее теменем, вышел бы вполне исправный человек! — Вдруг мгlistый ветер прошел по ее лицу, и я увидел у ней глаза Суковкина. — Пляши, Цукатов, — сказала она, указывая на середину комнаты, сразу опустевшую.

— Не умею... — озираясь на тишину, простонал я.

— Пляши, велю... — повторила она, вся подаваясь вперед и высоко занося брови.

Не помню, каким колдовским образом очутился на мне тот тесный глиняный горшок, но я плясал с горшком на голове, когда случилось это. Топотом моих ног заглушался высокий, неживой хохот стрекулистов. Цветные колеса катились сквозь мое сознание, и в каждом стояло по Налькину лицу. Уже и не смотрели на меня, а я все еще притопывал среди объявшего меня молчания...

— Папа!.. — вдруг крикнул кто-то Катюшиным голосом. Я обернулся к двери, я увидел Катюшу... Она стояла страшно, держа украденный сверток в руках. Вся темень позорища моего кинулась мне в голову.

— Вон, воровка!.. — завопил я, шагнув ей навстречу. Хари закачались надо мною, все это было как сплошной демонский фортель... и дальше я не помню ничего.

...Я очнулся от воды, которую обильно лил мне на голову Мосеич; за поведение меня выкинули наружу. Горшка на мне уже не было, но какой-то обруч еще теснил мне мысль. С полминуты лежал я с открытыми глазами, а стрекулист все держал надо мной протрезвительный ковш.

— Довольно, — сказал я. — Ну-ка, подыми меня, я пойду домой. Где Катюша?

— Ушла, — сказал стрекулист.

Я поднялся и сел на каком-то бревне; ноги подкашивались подо мной.

— А домой-то я, пожалуй, не пойду теперь... не-зачем.

— Посидим тут.

— Очень нехорош я был?

— Да чего уж хуже. Подвыпил ты, Цукатов!

Я опустил голову, мучила меня злейшая отрыжка.

— Много ты растратил-то? — пришло мне в голову спросить.

— Сто с четвертаком.

— Ну, и что же?

— Да ничего.

— Почему же ты так?

— Дочь у меня повесилась.

Минутным молчанием мы почтили память самоубийцы.

— Ничего не могу придумать тебе в утешение, — сказал я, вставая. — Пойду пройдуся.

— Погуляй, — напутствовал меня Мосеич.

Мысли мои кружились вокруг меня, как хоровод, и ни одну я не умел поймать. Почему-то я очень долго шел, прежде чем оказался на обрыве. Остановясь на краю, я глядел в расстилавшуюся предо мною ночь. Звезда моя стояла впереди, как покорная собака. Ветер ворчал в бездне подо мною. В далекой, непрозрачной глубине, где таяли звезды, вспухало зарево: осенью вкруг Воцанска горят деревни. Зарево было маленькое, беда далекая, чужая. Вдруг я увидел человека, который шел по краю обрыва, останавливаясь и вглядываясь за его искусительный край.

— Эй ты, Андрей? — спросил он меня, ибо кому, как не Андрею, было стоять над таким обрывом в такую ночь.

— Нет, это я, Василий Прокопъич.

— Что ты тут делаешь?

— Созерцаю одиночество огня.

— А я, брат, готовлюсь... — смешливо, в тон мне, признался он, запахиваясь от ветра в брезентовый свой плащ. — Хворост сбирал и все кидал его туда.

— Зачем?

— А прыгать-то! Покарябаюсь немножко, а цел останусь. Одним ударом деньги-то какие зашибу... — Он дрожал, но я испытывал смертельное равнодушие к этому человеку, которого взлелеял в сердце своем. — Ты за меня не бойся. Я, знаешь, полено сверху, отсюда, пробовал кидать. Ничего, лежит... упадет и лежит.

— Постой, — остановил я его. — Как же тебе отсюда видно, лежит оно или нет?

— А я вниз сбегу по тропочке, посмотрю... лежит. Я ведь хитрый!

— Ты хитряга, Вася, ты просто прелесть... я тебя люблю. Но ты меня берегись, вот я у тебя жену отобью!

— Ты пьян, Ахамазиков...

— Цукатов! — поправил я. — Слушай, а ведь Полуект-то не заплатит тебе...

— Заплатит! Отец его покупал вещи мертвые, а я продаю живую.

— Кому же он тогда платить-то будет?

— Андрею.

— Андрей не возьмет!

— Не смеет не взять.

Я ненавидел этого возлюбленного мною человека именно за то, что он вызывал во мне жалость.

— Слушай... — сказал я, весь трепеща, — а ты сам... присутствовал при казни?

Он пошатнулся, но сделал вид, что не расслышал моего оскорбления, а я не порешился повторить.

— Прах, прах этот люблю, жизнь люблю... Смешно, Ахамазиков, вчера полтора часа просидел на стуле, любуясь на закат!

— А прыгать-то собираешься — от жизни бежишь?

— Перед Андрюшей оправдаться хочу.

— Ага, значит, есть вещи, которых не следует переживать. Слушай... а Яков знает? Ты Якову не говори.

— Нет, Якову не надо. Яков будет жить, Яков будет инженером...

— ...Яков будет инженером! — важно повторил я.

— Яшка умный, но чудак. Он думает, что дворцы да башни дадут воздвигать... Сарай да собашники заставят строить!

— Нужны и собашники человеку.

— Нет, ты погоди, ты темный, ты самоучка, Ахамазиков...

— Цукатов! — поправил я.

— ...ты не знаешь ничего, а обо всем предпочитаешь догадываться. Мир пропитан тайной. Природа любит тайну, холит и нежит ее...

— Тайна персицкого двора... — захохотал я, представив себе его в тюрбане.

— Да, много есть рогатин на темного зверя, а первый зверь — душа... и никакие клетки не страшны ей. Построят машины, которыми станут доить мир, как корову...

— Ну, всего не выдоишь. Эка махина! — кивнул я на мрак с нахлобученной на него звездной короной.

— ...а душа останется та же, что и в начале дней. И все-таки горжусь Яшкой, Ахамазиков. Благословляю тебя, Яшка!.. И над сараем твоим пройдут люди, сильные, не подлые люди, не мы... пройдут и скажут: «Сыми шапку, здесь человек трудился!..» Но Андрей — старший мой, а кто... кто скажет через тысячу лет: «Сыми шапку, здесь страдал человек!..» А?.. думаешь, не скажут?.. Потомки, я презираю вас! — Он покачался: положительно, тянула его в себя предстоящая пучина.

— Спать хочется, — зевнул я ему в самое лицо. — А насчет того, что скажут они через тысячу лет, я вернее знаю: посмеются, Василий Прокосьич! Прощай, милый...

Я завернул за угол пригорода; пахнувший в меня с какого-то сеновала тучный и горький запах выбил из головы моей память об этой встрече. В настроении воистину цукатовском я плелся куда-то, стараясь осмыслить и связать воцанские события в одну формулу. Однако соображение мое было шатко, да и все вещи на пути моем пытались сшибить меня с ног своим спрятанным смыслом, о котором третьего дня философствовал Андрей. Ветряная шумиха заносила странные образы в меня, и я тотчас же переносил их на реальное место в бытии. Так, вдруг увидел я за деревом человека и его собаку; они глядели в иную сторону, но явно подкарауливали меня. Они растаяли прежде, чем я замахнулся на них палкой. Я увидел также огромную серую личность, образованную куском овина и разлохмаченной соломенной кровлей; она уставилась куда-то сквозь меня, но я погрозил ей

пальцем, и личность, струсив, растаяла в ничто. Мелкая дрянь пронырливо катилась под ноги мне, я наступал на нее ногой, и она притворялась будто бы с дерева опавшим листом. Я шел напролом, не боясь ничего: плевать мне было на Воцанск и его ночные страхи...

Калитка оказалась незапертой, а дверь раскрытой. Настороженно я вошел, чтобы не разбудить Катюшу. Густой, непрозрачный запах пролитых духов стоял в домике, и вдруг я струсил. Коленки мои подогнулись, глаза запрыгали в орбитах, и прежде всего омертвел мой нос. Страшный образ висящей посреди комнаты Катюши ошеломил мое воображение. Я не смел отворить дверь в ее комнату, чтоб удостовериться, но я знал об этом всем существом моим. Я метался по темной комнате в поисках ножа... нож пропал, нож спрятался, как сокрылись и спички. Тогда я обессиленно прислонился к печке, пальцы мои прилипли к ледяным изразцам. Тишина терзала мой слух... Мокрый и грязный, спотыкаясь и падая, я побежал по улице. Стенания мои топтал ветер. Какие-то черные, нескладные кибитки шли по мне, окруженные скотом и непонятными людьми... я сходил с ума, и никто меня не поднял, пока я снова не пришел в себя. Тогда спокойно я вернулся в дом. Все внутри меня было строго, почти сурово. Я не замечал ни холода, ни удушающей волны духов. Я отворил дверь к Катюше, я вошел. Комната была благополучна и пуста, но это не облегчило мне моего душевного груза.

Тело мое болело, как от побоев. Я нашел спички и зажег лампу, потом затопил печь и сел на кровать ждать Катюшу. Я ждал терпеливо, Катюша не шла. За три часа я увидел и осмыслил многое. Две мелочи меня раздражали: трещинка на абажуре и репа на окне. Абажур я повернул другой стороной, а репу съел. Катюша не приходила. В комнате был разгром: одеяло валялось на полу, ящики комода были выдвинуты. Тогда воспоминанье о свертке с деньгами упало на меня; я искал его везде, но свертка не было. Катюши не было, ничего не было. Лишь тут я понял, что Катюша, семя мое и радость, навсегда ушла от меня. И первое, что я сделал... я накрепко вытер тряпкой лужицу духов на полу. Самому мне представлялось это так: со спутниками по воцанской пустыне проходит

Андрей и палкой сбивает с кактусов дурацкие их головы. Так замахнулся он и на меня и выбил мутный сок из-под колючек... но живучи дети вощанской пустыни.

## VIII

Утром я еще раз, на всякий случай, вошел к Катюше. Кровать ее была пуста, и комната уже выглядела нежилою. Делать мне было нечего, кипятить чайник для одного не хотелось; хлебнув холодного чая, я пошел на огород перекапывать малинник. За мной прибежала Лиза с вестью о новом несчастье, которое почему-то совсем не тронуло меня: ночью Василья Прокопьяча разбил удар.

— Где это случилось? — спросил я сразу.

— На обрыве у маляра... — заплакала Лиза.

— Не убивайтесь, милая девочка, — утешал я ее, догадавшись, что дождался все-таки сына в ту ночь Пустыннов. — Гоните грусть взашей, молодым грустить не о чем.

— Жалко мне, жалко мне их... и скучно, скучно с ними, — созналась она, вдруг ощутив доверие ко мне. Она была так взволнована, что не спросила о Катюше, а длилось только еще раннее утро.

Пусто и серо выглядел пустынный дом, как и бессонные лица его обитателей. Только проскользнул мимо нас, пряча лицо, Суковкин с тазом, а в тазу гремел лед. Он делал вид, будто в суматохе не заметил меня. В комнате сидели Яков с матерью; две совы глядели из ее глаз, а нос был красноват, и я подумал, уж не выпивала ли старушка с горя. Анна Ефимовна уговаривала сына скорее уезжать из Вощанска, и тот как-то слишком поспешно и охотно соглашался, ибо приступала ему якобы пора начинать его дипломную работу. Уши его горели, однако, понятным смущением.

— Ну, как? — спросил я про Василья Прокопьяча.

— Лежит, — деревянно ответила та.

— Говорить-то может он?

— Мычит... по глазам разбираю. «Жена, спрашивает, ведь я никому не должен?» Никому, говорю, лежи... со всеми расплатился.

— Можно к нему?

— Погоди... Андрей у него.

Я бесстрастно подивился присутствию Андрея, которого уже почитал в бегстве с Катюшею, и даже подумал сперва, не искушает ли меня мое ухо... Потом я трезво представил себе, как недвижно лежит в соседней комнате Василий Прокопич и двое смотрят в него со стороны: живой — Андрей и мертвый — Петр Годлевский. Яков курил, а Лиза сидела возле Анны Ефимовны, обняв ее за плечи. Я прислушался к их разговору.

— Анна Ефимовна, похожа я на папу?

— Вылитая,— качнула упрямой головой старуха, и я усмехнулся ее выдержке.

— Он умирал в больнице, да?

— В больнице. Доктора говорят: «Резать надо». Разрезали, а рак-то уж во все стороны расползся, нити пустил...

Лиза грустно улыбалась; она знала, что отца ее повесили царские слуги, она гордилась этим... Сухую ложь старухи Пустынновой она, по светлости своей, принимала за стремление оберечь девушку от сокрушительности знания об отце. На моих глазах Лиза крепко и душевно поцеловала старуху, и та не воспротивилась ей. Раза три за это время пробежал мимо нас Суковкин то со льдом для хозяина, то по собственному почину, обнося нас чаем. Поставленный на свое место, он положительно мог быть полезным человеком в домашнем быту; вся его фигура выражала готовность услужить. Яков жестоко засмеялся, когда тот подбежал и к нему с своим подносом; ожесточенный собственным горем, засмеялся и я. Тогда-то на пороге и появился Андрей. На охудевшем лице его лежали как бы трупные пятна, но то был румянец. Повидимому, он ничего не соображал, ибо вовсе незачем ему было подходить ко мне...

— Тише, Цукатов,— сказал он мне вполслуха. — Провокатор умирает.

Я преклонил голову перед его ужасной болью. Андрей знал все, и растрата его была судорогой, которую причинило ему несчастное его знание. Он стоял, и никто не заговаривал с ним,— Анна Ефимовна от усталости, а Яков потому, что был уверен, будто отец собирался прыгать с



обрыва по его, Андрееву, уговору. Не останавливаемый никем, Андрей Васильевич вышел в дверь без шапки и пальто, а лил дождь. Придя в себя, я кинулся за ним и догнал его на улице, дома через три от пустынного.

— Катюша?.. Куда ты девал мою Катюшу? — бормотал я, цепляясь за карманы злодея, но он дико посмотрел на меня, и я выпустил мою жертву, ошпаренный новой догадкой.

Разумеется, Катюша ушла с тем молодым и неказистым парнем, которого я пожалел в самом начале этой суматохи; разумеется, он больше подходил к Катюше, нежели Андрей... Долго еще я стоял, топчась на дожде и потерянно следя за удаляющимся Андреем. Вспухали пузыри на лужах, ползли грязи, ноги мои смертно стыли, — я пошел домой. Все мне было видно вперед и назад с одинаковой ясностью. Есть мне не хотелось, и я мог варить мой обед когда угодно, не боясь доставить кому-либо неудобство. Свобода моя не пугала меня... Вольную в своей судьбе и счастье, я не осуждал Катюшу, но тайком все надеялся, что вот она вернется, — великодушная к слабости старика. День кончался, и я в утомлении закрыл глаза, а когда открыл их — начинался следующий день. Я проспал сидя.

Вечером потянуло меня на обрыв. Одевшись потеплей, ибо некому было заботиться обо мне, я снова вышел в мир. Неузнаваемо переменялся он за дни нравственного моего беспомощия: в мире не доставало Катюши. У маляра я застал Раздеришина, который торговался с ним о покраске решетки на могиле отца.

— Больно дорого хватаешь, почтенный. Эка невидаль, забор покрасить маляру. Ты дырок-то не закрашивай, ты только самую решетку крась... — без воодушевления выговаривал Полуект, пряча от меня опухшее лицо.

— Дырки... чего ж их красить! — вторил маляр, мешая какие-то краски. — Вот мумией и покрашу.

— Неблагодарно, пожалуй, мумией-то... да и сохнет долго!

— А мы ее с сиберлетом... голая мумия тоже не годится.

— Что ж это такое сиберлет? — спросил я.

— Порошок такой.

Вскоре Полуект ушел.

— Все, что ли, уехали? — между прочим, осведомился я.

— Ветром намело, ветром и смело. Слышал, ночью-то?.. Крест-то на колокольне ветром опрокинуло, с корнем вывернуло. Придется завтра сызнава лезть.

— Ничто на таком ветру не устоит, — ответствовал я. Знал, по-видимому, Николай Егорыч и о Катюшином бегстве.

— Поступай-ка ко мне в службу, замазку тереть. Буду я тебе платить шесть гривен в день, сапоги мои... — Была мне целительна грубоватая ласка маляра. — Наш труд веселый! Антенну надясь связывал у секретаря, бурей порвало, стриж в меня на высоте ткнулся... рванулся с испугу и в воздухе споткнулся. Видал ты, как птицы спотыкаются?

...На обратном пути зашел я в малярову баню, могилу моей последней вспышки и колыбель. Ледяной сыростью дохнули в меня черные стены, а посреди стояло приставленное к лавке деревянное корыто. Посмеявшись и потрогав вещи, еще недавно столь чудесные, я пошел по дороге. Теперь я вправе был издеваться над прошлым и будущим, но настоящее издевалось надо мной. Потом время вступило в свою должность. Полагается осенью ждать зимы, а зимой — весны.

В иную жизнь, к успехам и победам, уехали Яков с Лизой, порывая пуповины с Воцанском, и я сам, в числе прочих, махал им платком; свадьба их была мне похоронами, да и не одному мне... Василий Прокопич выздоравливал, хотя и не мог уже с прежним рвением предаваться огородной страсти. Чаще сидел он на террасе с закутанными ногами, схожий с пиковым королем из растерянной колоды, и уже я развлекал его своею философией. Снег выпал в этом году ранний, Воцанск помолодел, раны закрылись: восхитительна наша зимняя пустыня. Ничто теперь не будоражило уединенной нашей дружбы, бремя которой я нес безропотно. Никогда не заговаривал я с ним об этой воцанской комедии, посмеяться над которой я призываю ныне все истинно передовые умы...

## САРАНЧА

Маронов зевал: томила нудная расслабленность после многих суток бездельного вагонного сидения. Да и встретил его мелкий северный дождик, неотступный, как судьба, — такой же провожал и из Мурманска... Ему было холодно и скучно тут, на берегу Аму, под угревой консервных ящиков и керосиновых бидонов. А он-то, чудак, поверил в розовое и призрачное цветение тамариска, которое началось еще от Карши.

На предпоследнем полустанке он съел кебаб и теперь украдкой от спутников сковыривал с десен застылый стеариновый жир. Их было немного — бородачи в чалмах и тельпеках, женщины и дети; у них следовало ему поучиться азиатскому терпению, с каким они ждали запоздалой переправы. Они сидели недвижно, в особенности ближняя к Маронову женщина. Ветер обжимал красным платьем ее острые, почти девичьи, коленки. Она была молода и еще не привыкла к нарядной тяжести соммока; замужем она была недавно, и муж дремал возле, этакой немолодой туркменский Иван, с запухшими в трахоме глазами. Как и все, она сидела прямо на земле, важно и печально созерцая пестрый хурджум перед собою, точно в нем заключалось все прошлое ее народа и будущее ее самой. Ничто не отвлекало ее: ни единоборство ветра и могучей птицы, застрявшей на середине реки, ни внезапный из облачной расщелины луч остывлого закатного света.

— А у нас, под Тулой, суше... — неожиданно крикнул Маронов, — хоть и не пустыня.

Ему хотелось этим возгласом пошевелить ее, взглянуть в глаза туркменки, но он увидел лицо ее мужа. Оно было насмешливо и бесстрастно, а брови его были длинные и черны, как локоны его папахи.

Так и сидели, чужие. Ветер размел облачную гряду на западе, и вечер сделался кровав, как жертвоприношение. Бесплотный красный сок разбрызгался по небу, и тут на мгновенье Маронову почудилось, что Аму стала походить на ржавый меч, который извечно струится в пересохшее сердце Каракумов. Но понесло холодом, и Мароновым снова овладела зевота. Нет, зря сюда переправлялся на древних гупсарах Александр; ему следовало устремиться дальше, на Север, где нашлись бы и печи, и звериные шкуры. Видно, ввали справочники и друзья, которых уже закидывал сюда партийный жребий. А он-то, чудак, ждал сразу томительных и жгучих оболещений, которыми издали пугает европейца и смертельно манит Орта-Азия.

По младости, он не участвовал в священной драке, которою открылась его эпоха. Он поздно созрел для жизни, когда революция уже укрепилась, а ему еще хотелось осязать неизгнившего врага, ударять и самому принимать сокрушительные удары. Ему сказали тогда: «Вот Азия, дерись...» — и он поехал, уже в одиночку... Но где она? За весь путь от самой Бухары она проглянула лишь в вялой пестроте узбекских халатов да в жестком взгляде туркменского мужика. Да и Аму вовсе не та, которую обещал ему Клим. Просто глиняный великан моется где-то там, в отрогах Гиндукуша, и вот они возлегли на мароновском пути, бегучие желтые помои... Маронов имел достаточно времени для негодования: переправа подошла только ночью. Из недр речного мрака явилась деревянная развалина, скорбная ровесница помянутого Александра; подобно купающемуся кабаненку, буянил и фыркал на ней нефтяной фтордон.

В полночь Маронов крепко верил, что на коленях его навсегда останутся синяки, — так усердно прижимал он их к подбородку, пытаясь согреться. Ему снился он сам, его непостижимые странствия по земле, снился покинутый недавно океан и на берегу его давешняя туркменка; в ее пугливые веки, где затаились две звезды, уже всочилась мужняя трахома... Она не видит, и напрасно Маронов показывает ей ледяную пустыню, напрасно гладит робкие колени чужой жены, — она не слышит его прикосновений. Для своих лет он был на редкость решителен, этот Маронов!.. А к полудню, когда зной опустился на

городок, он забыл, как замерзал под брезентовым пальтишком, и клял приятеля, сманившего его в это пекло, на азиатскую работу; забыл все, кроме сна. Зной наступил незаметно, в тот затянувшийся час, пока он пожирал коричневые пирожки, начиненные горохом и перцем; зной начался с неукротимой изжоги, и только получасом позже принялся стыдливо потеть несколько приплюснутый мароновский нос.

Уже не тянуло отыскивать по жаре прокуренные те коридоры, куда все равно должна была привести путевка. После перенесенного в снегах и наедине с голодными собаками он заслужил свое право на целые груды этих свирепых пирожков, на бочки кок-чая, обжигающего несравненного напитка. Он требовал, чтоб раскрылось наконец то, что вчера было лишь прищурено: он завоевал свое право на зрелище, и все старались так, точно знали, что за ними наблюдает человек, доказавший миру свое мужество. Чайхана выходила на базар, и Маронов, не отрывая губ от пиалы, видел все те цветные лоскутья, из которых хаотически сшит был азиатский день.

...все старались, точно заводные. Гражданин скоблил ножиком голову другого гражданина: подобная дегтю, кровь текла по лезвию, и оба в увлечении не примечали. «Привычка... а вот на Севере свечи едят!» — лениво вспомнил Маронов и заново наполнил кок-чаем опустевшую пиалу. Пожилой туркмен, наверно, самый тощий на всем пространстве от Каспия до Аму, продавал коврик, у которого одна половина была трижды тусклее другой. «...Пока ткала, у мастерицы убили жениха!» — сочувственно решил Маронов и еще раз вкусил от пирожка. Под деревом, в кругу редких зрителей, пел бахши, и лоснящееся дерево дутара невпопад вторило ему. Он пел, всяко качая свою кудлатую папаху, то закидывая голову так, что через горло его можно было бы увидеть самое сердце, откуда исходил стонущий звук, то совсем наклоняясь к пыли, словно и муравья призывал в свидетели искренности своей и знания. «У туркмен нет танцев, — вспомнил Маронов, мысленно листая последнее Климово письмо, — потому что танцуют самые руки их, инструменты и папахи. Вот он, танец для себя, который вы ищете, слепые, ученые черти!..» Его радовала пестро-

та впечатлений, точно вот распахнулся ящик перед ним с волшебными игрушками; его даже смешила легкость, с какой он распутывал старинные азиатские загадки.

Словом, когда он покидал чайхану, внутренности его почти дымились, в голове как бы играли на оглушительной ребячьей трубе, и было стократ приятней вина это непреходящее обалденье. Азия была найдена! Мировое колесо, по заключению Маронова, вертелось вполне исправно. Безграничный океан материи слабо колыхался, и на голубой его волне убогостроенно покачивался душевный поплавок Маронова. Ничто не предвещало близости того дня, когда, во исполнение мароновских мечтаний, враг множественный и явный подступит к воротам советской Азии; когда слепящее великолепие это поблекнет и засмердит; когда в действие вступят вагоны мышьяка, грохот железных щитов, чусары и безумие.

И цепь событий, в которой последним звеном было его второе рождение, начиналась, кажется, со встречи с терья-кешем, курильщиком опиума.

На пороге чайханы к Маронову пристал унылый останок человека. Заслоня проход впалой, безжизненной грудью, он молил о подачке, и было в том упорстве нечто, заставлявшее пристальнее взглянуть в его собачьи покорные глаза. Застигнутый врасплох, Маронов с брезгливой неловкостью шарил у себя по карманам... и вот тогда-то пришла в движение неподвижная дотоле цепь.

— Так-так, поощряй курение опиума в социалистической стране! — произнес знакомый голос позади.

Маронов испытал удивление, подобное легкому солнечному удару: после того, что случилось между братом Яковом и Идой, он не ждал от Мазеля этой легкой шутиливой приветливости. Мазель знал Мароновых еще по вузу; они вместе поступали на агрономический факультет, но старший и неусидчивый Яков перебежал в музыкальный техникум, а потом раскидала их центробежная сила великой стройки. В особенности Мазель дружил с Яковом: тем сильнее было охлаждение, когда слишком усложнились их личные счета. Как-то слишком скоро они без сожаления примирились с возможностью гибели друг друга. Вдобавок, незадолго до отъезда на Север кто-то написал Якову о не совсем геройской смерти

Мазеля, застигнутого басмачами ночью в песках, причем перечислялись количество ран и обстоятельства этого нападения. Пером приятеля водило, по-видимому, скорее стремление порадовать, чем правда... Ибо вот Мазель стоял возле в знакомой синей косоворотке, и в распахнутом вороте, на обгорелом треугольнике кожи сияли созвездия его знаменитых веснушек.

— Давно в Дюшакли?

— Вчера, Шмель, вчера.

— Надолго?

— Не знаю, Шмель, не знаю. Меня Клим совратил.

— Ты опоздал. Его перекинули в Казахстан... и потом у Климаскучища. Если захочешь, я перетяну тебя к себе. У меня округ как на ладони, у меня весь хлопок. А хлопок — это уже ситец, а ситец — разве это не хлеб?

Петр прищурился.

— Я подумаю... Это, говорят, советский Каир. Ну, я и поехал сдуру!

Мазель не понял его иронии.

— Да, здесь вредное солнце. — Подвигал плечами и прибавил, как бы извиняясь: — На юге всегда бывает жарко!

Азиатский торг был в полном разгаре. Никто в отдельности не кричал о своем товаре, как подобало бы купцам, но трудно было в этой сутолоке вести даже и не задушевный разговор. Звон чайханной посуды, лязг безменов, полдневный вопль ишаков, шелест ссыпаемого риса и, наконец, зычные призывы базарного глашатая, который машистой походкой и с пророческим посохом обходил разноплеменную эту толпу, — все слилось в упругий, именно шмелиный гуд. Мазель происходил из крохотного местечка под Одессой, имя его было Шмуль, но товарищи прозвали Шмелем, — отсюда и заскользнул этот образ в мароновское сознание.

— Откуда?..

Маронов еле отскочил от глашатая, борода которого на солнце отливала зеленым.

— С Новой Земли, Шмель... и прямо сюда.

Тот недоверчиво прищелкнул языком:

— Опять шестиэтажная какая-нибудь авантюра!

— Шмель, ты знаешь меня? Я ищу драки. И потом — где есть земля, там должны быть и люди!

— Робинзоны! — усмехнулся снова Мазель на мароновское мальчишество. — А Яков, значит, вконец забросил музыку?

— Нет, у нас там был граммофон.

Мазель внимательно взглянул на Петра; ему почудилась издевка, порожденная какой-то сверхчеловеческой усталостью, но скуластое, полузырянское лицо Маронова улыбалось, и озоровато щурились зоркие знакомые глаза. Она слепила в этот час, неистовая азиатская палитра.

— ...и долго вы там?

— Три года, Шмель.

— Это, наверно, очень интересно?

— Как тебе сказать... Я понял, почему человек боится тюрьмы. Трудней всего переносить свое собственное общество. Тогда он постигает цену себе и может подсчитать, много ли накопила его душа. Оттого-то он и стремится к объединению с себе подобными...

Маронов смутился тихой Мазелевой улыбкой и не договорил. Чтобы объяснить, он хотел приступить наконец к своему невероятному повествованию, но Мазель перебил его:

— Постой... ты не спешишь? Зайдем ко мне. Я в отпуску и сегодня гуляю последний день. Дело в том, что жена моя не раз вспоминала... — Он подошел ближе и, глядя в самые губы Маронова, прибавил твердо: — ...о вас. Ей, наверно, будет очень интересно послушать ваши приключения.

Петр вопросительно пожевал свои губы; он по подсказкам знал обстоятельства, в силу которых Яков поехал с ним на Новую Землю, и потому ему был не особенно ясен этот душевный оборот Мазеля.

— Хорошо. Но только пойдем по солнечной стороне. Я приехал греться, Шмель. Веди меня в самую Азию, в самое пекло веди. Иззяб я в этой чертовой тундре...

— На Севере, должно быть, холодно, — тихо вставил Мазель.

— Вот именно... ты всегда прав, Шмель, тебе нельзя возражать! Знаешь, бывали часы, когда мы дрожали так, что тряслась посуда на полках. Мы не разбирали слов друг у друга, мы мычали. Ты смеешься?



— Нет, Петр, я не смешлив.

Тесный дворик, обсаженный тутовником, заливало солнце. Огромная, размером с комод, собака дремала в тени глиняного дувала. Черные мухи вились над ней. Мазель свистнул ей, и та, не просыпаясь, вильнула хвостом. Потом он спросил, остановясь как бы за тем, чтоб приласкать собаку; Маронов не видел его наклоненного лица.

— Кстати, я хотел спросить... Яков приехал вместе с тобой?

— Нет, Яков умер год назад. Цинга пополам с тоской!

Мазель кашлянул и продолжал гладить собаку.

— Разве не было лекарств?

— Нет, мы пили отвар сосны... Это все равно что при оспе мазать йодом ножки кровати.

— Мне жаль Якова, — сказал Мазель просто.

— Не горюй, Шмель, будь искренен!

— Мне очень жаль Якова, — повторил Шмель, поворачиваясь лицом к Маронову.

Больше они не обменялись ни одним словом о Якове, ни в тот день, ни в один из последующих. Открытую дверь, кроме собаки, сторожила кривая усатая швабра. В сенях на кирпичном полу стояла непросохшая лужа и пахло мыльной пеной. Комнату делила повешенная наспех простыня; жена Мазеля одевалась за нею. Из-под простыни видны были ее голые до колен ноги, стоявшие на скомканном и мокром полотенце. Петр почти с испугом вспомнил вчерашнюю туркменку: это лишало его той уверенности, которая потребна была для предстоящего разговора.

— Тебе звонил Акиамов, — сказала женщина, узнав шаги мужа. — Он просил тебя зайти.

Мазель подошел к самой простыне:

— Ида... — голос его звучал виновато, — не волнуясь. Приехал младший Маронов и привез дурную новость: полгода назад умер Яков.

— Год, — деловитым баском поправил Петр.

— ...год? Да, извини, год.

Никто не отозвался на известие, но Петр видел, как черный целлулоидный гребешок упал по ту сторону про-

стыни. Ни муж, ни жена его не поднимали. Потом женщина сказала глухо:

— Я сейчас оденусь. — И даже простыня не колыхнулась.

Петр стоял у окна. Он был юн и соответственными эмоциями начинен до отказа; все эти пустячные детали представлялись ему бесконечно значительными. Он обернулся к окну и изобразил на лице достоинство печального вестника... В город вступал караван, длинный и пыльный — наверное, из Афганистана. На ишаке, болтая ногами в опорках, ехал караван-баши. Лицо его не выражало ничего; может быть, он мысленно пел. Разнозвучно, качаясь на облыселых верблюжьих шеях, плакали и кричали колокольцы. Все звуки в городе умерли, и только эти осколки древнейшей человеческой мелодии волновались и цвели; их можно было насчитать две октавы. Маронов глазами проследил поводыря, пока тот не скрылся за величественной глиняной кулисой. Ему показалось, что он уже слышал однажды эту музыку, не то в выветрившемся детском сновиденье, не то... Ему некогда было вспоминать: наступала минута, для которой он примчался в Среднюю Азию. Кроме того, усилилась пыль, поднимаемая тысячами верблюжьих ног, и Маронов спокойно закрыл окно.

Потом, когда он оглянулся на хозяина, того уже не было в комнате.

— Он пошел к Акиамову. Это председатель исполкома. Ну, садитесь. Вы брат Якова? А не похожи... — и качнула головой.

— Я много моложе его. Шмель хороший парень! — сказал Петр.

— Хотите сказать — догадливый? — подсказала женщина без всякого упрека. — Что же, вы встретили его случайно?

— Не совсем.

— Значит, имеете прямые поручения?

— Нет, — солгал он.

Она подумала.

— Ага, любопытно. Ну, вы сделали довольно большой путь.

— Да, это даже по глобусу три с половиной вершка. Сказать правду, мне интересно было взглянуть на женщину, из-за которой Яков метнулся на Новую Землю.

— Но ведь вы также поехали с ним. У вас были похожие обстоятельства?

Маронов как будто даже обиделся и потупился: такой уже выработался у него рефлекс — при обидах опускать глаза.

— Я был здоров, искал драки и ишу. Республика пошлет меня завтра на Мадагаскар — и я буду счастлив.

Женщина улыбнулась на многословную приподнятость младшего Маронова: как все-таки они не были похожи друг на друга, братья!

— Скажите, Яков умер... сам? — она не волновалась, произнося это имя.

— Нет, от цинги. Видите? — Он приоткрыл десны, и отраженное солнце щедро блеснуло в золоте его зубов. — Одного товара рублей на триста!

Она уже привыкла к мароновскому стилю.

— Да... ведь это началось у него давно, еще в те годы, когда люди вообще бывали склонны заболеть тифами, ненавистями, несбыточными любовями...

— Пустяки. Яков был достаточно трезвый человек. Вы знаете тот случай, когда он попал в деникинскую контрразведку?

— Да, я читала. — Она пристально поглядела на Маронова и решила, что единственное сходство с Яковом — в том резком жесте, которым оба как бы подсекали произнесенные слова.

Она спросила, только чтоб скрыть маленькое свое смущенье:

— Как все это случилось?

— Сколько у вас есть времени... слушать?

— Куда же мне идти с мокрой головой!..

— Хорошо. Я поехал туда по контракту... За три дня Яков пришел ко мне ночью и попросил взять с собой. Я посидел с ним двадцать минут и понял, что ему это действительно необходимо... — Маронов бессознательно коснулся пальцами редковатых усиков, оставленных на верхней губе, и сконфуженно отдернул руку. — Он ночевал у меня, а наутро мы подписывали с ним какую-то

бумагу со множеством пунктов. Нам давали полтораста собак, ружья, бочку масла, тулупы, консервы, бинокль, разборную избу, метеорологическую станцию, керосин, аспирин и ящик апельсинов.

— А книги?

— Я взял с собой много чистой бумаги. У меня были особые намерения на этот счет. Я хотел написать знаменитую книгу, содержания которой я пока не знал.

— Нет, я спросила про Якова.

— У него не было никаких вещей, кроме одеяла. У него был полосатый плед, под которым он спал... вы, конечно, помните его? — Она покачала головой и простила ему его дерзкую, стремительную юность. — Когда пароход отходил, оставив нас на берегу, мы завели граммофон и сели на голых новоземельских камнях: нам казалось, что так смешнее. Был четверг, шел снег. Собаки выли, мужчины были пьяны.

— С вами были и женщины? — быстро спросила Мазель.

— С нами был один самоед из-под Мезени, величайший трус земного шара. Он боялся всего и, когда встречал человека в тундре, за версту обходил его. Он действовал у нас за кухарку. Мы звали его Марией. Напившись водки, он начинал суеверно плакать; тогда он трусил даже своей тени и жался к стене, чтобы убавить ее размеры.

— Ну!..

— На пароходе зазвонили к обеду, и мы на берегу стали тоже готовить себе пищу островитян. Граммофон играл что-то из Шуберта, — так сказал Яков. Он очень любил это, даже во хмелю. Снежинки крутились на черном граммофонном блине. Яков смотрел на них, поглаживал подбородок и молчал. Когда мы с Марией кончили варку, пластинки уже не было. Я не отыскал ее и потом; подозреваю, что брат закинул ее в море. Так он простился с миром. Кстати, с этим пароходом он послал вам свое последнее письмо. Вы получили его?..

— ...но не прочла.

— Это ваше право... ладно! Тогда мы начали жить, то есть немножко рисковать, — давить песцов силками, собирать гагачий пух для республики, изучать направление льдов и ветров и записывать все это в довольно толстую

книгу; там были еще графы для температуры почвы, для количества влаги в водомере и для... да, для воздушного давления этих свинцовых небес. Сказать правду, нужно иметь хорошую волю, чтобы три года подряд иметь своим собеседником только самого себя: Яков, как вы знаете, был неразговорчив! К слову сказать, барометр всегда показывал меньше, чем было у него на душе... Постепенно мы подружились с братом. Он был неплохой, но довольно порывистый человек: сила его была нестойкая сила. Шмель — не то: у него и маленькая, но неиссякаемая, как струйка в водопроводе... Мы поняли, что Новая Земля никогда не станет Старой; там жить закаленным в разного рода испытаниях, а не тоскующим горожанам. Скалы были усеяны гнездами гагар; мы по очереди спускали друг друга на отвесе и шарили по их гнездам... Потом снега повалили исправнее, и однажды, возвращаясь домой, мы увидели двух белых медведей. Они вышли к нам чуть не в обнимку, равные, как братья, спокойные. Я выстрелил по ним дважды, но они, по счастью, не заметили. Слушайте, мои слова тают от этой жары, холод их пропадает. Чтобы понять хорошо, надо своими глазами видеть тот ледяной океан, расплеснутый, как отчаяние, небеса, залитые пылающим фуксином, и, наконец, ночь, достаточную, чтобы сойти с ума... — Он сдержался от какого-то резкого суждения и тыльной частью ладони вытер испарину со лба. — У вас еще не просохли волосы?

— Нет, но откройте окно. От пыли в Азии не укроешься. Стало душно.

Петр кивнул головой; всё двигались в окне азиатские, голова в голову, корабли, связанные шерстяными веревками, подобные воспоминаниям. Густейшая пыль придавала странную замшевость этому видению.

— ...ладно, мы жили неплохо, я не имею претензий к своим хозяевам. Богатства наши копились... мужья европейнок заплатят великолепными машинами за наши удивительные меха. Даже когда нам бывало скверно, мы не забывали про эти машины... Так шло, но через год и четыре месяца у собак началась горлянка... Кажется, так там называется собачий дифтерит. Мы растерялись; их умерло сразу семьдесят пять, а мы их знали всех по именам. Тогда самоед сказал: «Собаки

дохнут, и мы все докуримся, как сигарки...» Мы накричали на него, как никогда, потому что, в сущности, кричали на самих себя. Мы дали ему побольше водки, и, пока он пил, а воздух тоненько свистел у него в ноздрях, мы отправились, как обычно, в обход расставленных капканов и силков. Все они были пусты, а в одном чудом оказалась птица. Была какая-то необыкновенная розовость в мире, мороз доходил до сорока восьми. Когда мы вернулись, продрогшие и успокоенные, самоеда не было, а печь стояла нетопленной; у Марии была женская душа, Мария боялась умереть. Она сбегала и увезла с собой многое из наших припасов, наш порох, наши лекарства. Мы замечали и раньше, что Мария зашивала таблетки аспирина и каскары в ладанку и носила на шее как амулет, — и правда, она никогда не болела. Мы смеялись, — теперь он мог снабдить амулетами целое племя, — но смех не доставил нам утешенья. Он увез все это на последних собаках в окончательную неизвестность и гибель, потому что никаких поселков вблизи нас не было. Вот тогда-то и наступила ночь. Собственно, она пришла ровно за месяц до того, как началась другая, полярная, шестимесячная. Знаете, это очень сильное испытание. Мы пережили их две; третью я проводил уже один... Мы затопили печь, поели из оставшегося и посидели молча; потом я пошел на метеостанцию записать погоду. — Маронов заметил вопросительный блеск в глазах женщины и догадался. — За все время он только раз произнес ваше имя. У него уже не было зубов, оно вышло, как «Иза». Но я услышал о вас еще раньше, — когда он доказывал необходимость своего отъезда куда-нибудь на чертовы кулички. Тогда-то мне и захотелось поглядеть на вас. Не сердитесь на меня, я думал, что вы моложе...

Концами пальцев она растерянно провела по глазам.

— Да, я постарела. Наше поколение не знало юности. Вы, Маронов, исключение. Много работы!

— Много работы, — повторил Петр. — Ну, волосы ваши высохли. Подробности той ночи я опускаю... — Он хотел подчеркнуть и не сумел только выразить, что все, происходящее не при дневном свете, освещается светом изнутри и оттого всегда крайне субъективно. А ему имен-

но хотелось по возможности центрифугировать новоземельский факт.

Мазель не ответила. Пряди черных, чуть курчавых волос рассыпались по ее шее и загорелым, несколько полным плечам: женщина старела. Маронов взглянул на нее, и ему почему-то захотелось пить. Тощая рука высунулась из рукава и, гомерически распухая в суставах, схватила свое собственное отражение в стекле. Потом рисунок рук и головы расплоснулся, графин наклонился, и жидкость полилась в стакан. Маронов пил жадно, заглатывая воздух вместе с водою. Вероятнее всего, то была попытка заглушить вулканическое действие азиатских пирожков. Графин опустел, и отражения приняли прежние, привычные глазу размеры.

— Теперь говорите вы. Почему вы ушли от Якова?

— Перестала любить, как это говорится.

— Это происходит так быстро?

— Вы юны, Маронов, и вам еще предстоит объехать дюжину житейских Мадагаскаров. Наше поколение живет для другого... мне стыдно объяснять, ведь вы же грамотны! Мы избегаем произносить самое это слово не потому, что огрубели, а потому, что слово это — слабость. Поэтому, если мне потребуется, я просто сойду с Акиановым, с Зудиным, с вами... без всяких терзаний и сердечных прободений. Ну, кажется, я совсем запоздаю на работу! — И, даже не извинившись, ушла за простыню.

Петр встал и дерзко поклонился.

— Располагайте мною, когда угодно.

И опять простыня не колыхнулась.

Все еще тянулся караван в окне; верблюды шагают еще ленивей, чем тягучее азиатское время. И опять Маронов слушал громоздкий плач колокольцев и деревянных иссохших бубенцов. Вдруг он вспомнил: он услышал его впервые, когда, шатаясь от истощения, кружил за голубым песком, попавшим в силок. Надо было убить зверя ударом сапога в нос, чтобы не испортить драгоценного меха, но даже и на то, чтобы вытащить ногу из снега, не хватало силы. Это была та же самая ранящая мелодия, но тогда она цветными кругами выделялась через уши и глаза... и вот, обойдя громадные пространства, она новой щемящей тревогой возвращалась в Маронова. Он не

бежал от судьбы: сам он сказал про себя, что вколочен в Азию, как гвоздь, и не существовало в мире клещей, чтобы вырвать его с избранного места. И когда из-за последнего верблюда показался бегущий к нему человек, Петр снова почувствовал себя заряженным аккумулятором.

Он не ошибся: судьба бежала именно к нему.

— Маронов? — крикнул тот и уперся в подоконник руками, чтобы перевести дыхание. — Товарищ Мазель просил вас немедленно прийти в исполком, к Акимову!

— Что случилось? — вздрогнул Петр и даже сам не заметил, каким именно способом он сразу оказался по ту сторону окна. — Что, наконец... война!..

— Нет, телефонограмма! — И потащил Маронова за локоть.

Петр не сопротивлялся. Вдруг стало так, словно никогда в жизни не существовало Якова Маронова и его необыкновенных приключений на Баренцевом море. Ежеминутно в сердце страны вливалась новая кровь, а старая, отжитая, без сожаленья выплескивалась наземь...

Память о брате была первой вещью, которую, вместо балласта, выкинул Петр, устремляясь в новые рейсы.

Безымённый пограничник с поста Сусатан-Куё увидел бурое, на фоне неба, облако возле самого полдня. Оно равномерно и быстро поднималось из-за плешивых холмов, которые со всех сторон обступают горизонты Сусатана. Оно багровело, показалось ему, по мере приближения, и потом враз, как по сговору, завыли две красноармейские собаки. Стало темно, как в сумерки. На потускневшее небо, опустившееся до высоты двух деревьев, пограничник взирал очумело, ибо под Дюшакли его перекинули с Сахалина, где никогда не случалось такого. Вдруг по козырьку его вскользь ударило что-то, и легкий этот удар почти ошеломил воображение пограничника. Он поднял это с травы. Оно было розово и чуть желтовато в надкрыльях; оно имело усы, как у кузнечика, но чуть короче; лапки были желтые, с черной жесткой бахромкой; они двигались и жестко щекотали огрубелые красноармейские руки... Он разглядывал это долго и со всех сторон, а оно все жило и копошилось, а туча неслась, нарастая и темнея цветом, распространяя шелест



и гнетущую тревогу. Самый свет затмевался, и скоро в зрительном сознании пограничника не осталось ничего, кроме этого розового существа, которое явно умирало на его ладони. Затем, точно пробудясь, он гадливо вытер руку о траву и произнес ту самую фразу, которую два часа спустя кинул и начпогранотряда Зудин в кабинете Акиамова.

— Черт знает, какая пакость!

Акиамов был огромен, желт и волосат; это его деды старозаветными клычками отбивались на Геок-Тепе от искусных скобелевских пушек. Предисполкома читал донесение из района и подчеркивал каждое слово толстым красным карандашом. Так, пламенея, бумага намекала ему на необходимость своевременного отвода подкулачников из аулсоветов ввиду предстоящей перевыборной кампании. Он хмурился. Туркмения тех лет имела столько фронтов, сколько было месяцев в году; он хмурился потому, что Мазель уже полчаса терзал его слух историей батрака Хош-Гельды. Он хмурился, но обычная усмешка сочилась из его туркменских глаз, медленных и чуть закошенных назад.

— ...и никто не знает, где у него разум. Он всю жизнь ел отбросы и только в праздник — унаш, лапшу с верблюжьим молоком и красным перцем. Зимами он гонял хозяйские косяки на колодец Халли-Мерген. Товарищи, а? Веснами он уходил на удой скота без жратвы и кибитки. Он носил свой тулуп, пока от него не остался один клочок шерсти, в котором не удержится и вошь. И вот Хош-Гельды в Совете. И бай зовет в гости Хош-Гельды. И тот приходит и ест вонючую шурпу из прошлогоднего мяса и уже забыл про все обиды. Я говорю ему: «Сакали, он тебя сносил, как тулуп, в котором мерзнул еще и твой отец». Я говорю...

Его рассказа о забывчивом батраке хватило бы на час, ибо тот происходил из Кендерли, где находились главные хлопковые плантации Мазеля. Акиамов продолжал дырять бумагу, а Зудин, самоотверженно борясь с зевотой, перебирал пограничные сводки, только что полученные с нарочным. Вдруг худое и белесое лицо его сморщилось и, когда распрямилось, уже не было прежним. Если бы не бланк высокого учреждения, начальник

погранотряда решил бы, что красноармеец от жары и скуки высидел такую чепуху, но начальник умел читать своих бойцов, как книгу, и знал заранее, что поместится в любых обстоятельствах на той или иной странице. Сусатанский пограничник был родом из-под Шенкурска, где не рождаются шуточные и улыбочные люди; кроме того, он был известен как отменный мастер кавалерийской рубки. Обычно он ударял в левую ключицу врага, и скошенная часть легко, как по смазке, сползала наземь. И вот начальник Зудин решил, что пограничник смутился — или не оказалось налицо вражеской ключицы, или пришлось впустую его добрый сабельный удар.

— Читай, Берды! — озабоченно сказал Зудин, расстилая сводку перед Акиамовым.

— «В ваш район из Афгании летит розовая туча», — прочел предисполкома, а Мазель так и остался сидеть со ртом, раскрытым на полуфразе. Акиамов посмотрел на обороте, но там не было ничего, кроме жирного отпечатка чьего-то чернильного неосторожного пальца. — Красиво пишет, сукин сын... но почему розовая?

— Ты не понимаешь, Берды?

— Замечательно интересно. Что я, факир? — Может быть, он пугался произнести это ответственное слово, которое через неделю нарушило привычный ход вещей и всколыхнуло всю Туркмению.

Зудин объяснил. По должности своей он понимал все тайны вещественного мира, и уж тем более необыкновенную сусатанскую сводку; доблесть красноармейского красноречия заключалась в его краткости. Акиамов отложил карандаш. Очередные дела сами собою отодвигались назад, а впереди все одинаково чували величайшую из драк и несравненную людскую сутолоку. В минуту этого сосредоточенного молчания и вошел Маронов. Он четко поздоровался с порога, ему не ответили, а Зудин по-военному подозрительно пощупал его коротким взглядом и снова спрятал глаза, — так в ножны прячут боевую шашку.

Мазель спросил сразу, пряча под шуткой свою тревогу:

— Петр, вот что... ты занимался когда-нибудь энтомологией?

— В детстве собирал жуков. На них клев хороший по осени... — засмеялся Маронов, не догадываясь ни о чем.

— Уже да, хорошо!.. и потом, ты ведь был на агрономическом. Товарищи, это и есть Маронов, о котором я давеча поминал. Он ужасно иззяб там, на Шпицбергене... так, кажется? Товарищи, я поеду туда сам, а со мной Маронов. Хочешь ехать в пекло, Петр? Зудин заготовит пропуска...

Маронов недоуменно молчал, и втайне Мазель был очень доволен его молчанием.

— Видите ли, ужасная бедность в людях. Нет людей... — сказал Зудин и неопределенно махнул на окно, за которым кишмя кишел базар. — На весь округ пять агрономов, и один из них безвыходный алкоголик...

— Но я, так сказать, не полный агроном! — предупредил Маронов.

— Это не важно. Высидели же вы три года на этом, как его... Шпицбергене?

— Да, Шпицбергене, — торопливо подтвердил Мазель.

— И потом, — продолжал Зудин, уставляясь в мароновское переносье, — кажется, я встречал вашего брата в Ташкенте в девятнадцатом году, при осиповском восстании. Самые приятные впечатления. Он такой маленький, с бородкой?

— Ну, уж ты, сердцевед? — дернулся Мазель. — Что ты за ним ухаживаешь! Петр не член партии, но это наш человек! Яков же даже и усов не носил, а южнее Урала не выезжал. Словом, он вот о чем, Маронов: хочется тебе погреться? Есть такое теплое местечко на земле, Кендерли, вот мы и пошлем тебя туда. Кстати, там только что убили нашего уполномоченного... Не бойся, всего лишь по пьяному делу убили.

Петр сказал с возможной четкостью:

— Да...

Тогда никто еще не предполагал, что через две недели Маронова все равно захлестнула бы мобилизация. Ни один человек в стране, включая и дюшаклинских старожиллов, не мог предсказать размеров предстоящего бедствия.

Пауза длилась долго. Вдруг Мазель вскочил, поочередно устремляя палец в каждого, кто находился в эту минуту в акиамовском кабинете:

— ...а египетский хлопок, что будет с моим хлопком? Ведь Сусатан — это сорок километров. А мои пересадочные опыты? А урюк, а тут, а миндаль?.. — Прокричав все это и не встретив видимой поддержки, он несколько сконфуженно сел на прежнее место.

Разумеется, Мазель не напрасно пугал и шпори́л себя и других. Правда, до Сусатан-Кую было пятьдесят семь километров. Сусатан-Кую лежал на самой границе. Сусатан-Кую — значит «колодец, который продал воду». Названию этому нельзя было отказать в живописности: границей местечка служил глубокий безводный арык. В этой омертвелой жиле скрыто бегали ящерицы и росла нелюдимая бурьянистая трава. Именно здесь кончался богатейший Дюшаклинский оазис, а дальше простиралась диковатая страна Афгания — по слову давешнего пограничника, — откуда время от времени налетали лихие колтоманские шайки и жгучие, пыльные ветры. Первые несли на себе новехонькие одиннадцатизарядные винтовки: они рыскали по пустыне, они вспарывали породистых маток в погоне за каракульчой, они били из-за углов советскую пограничную стражу и, нападаая, кричали: «Бас, дави!» — откуда и прозвание басмачей. Вторые несли в своей утробе засуху, зной и томительную, всепроникающую пыль; они выпивали дехканские арыки, они вылизывали скудную туркменскую воду, они норовили прорваться вглубь, в самое сердце Каракумов. И если не останавливали их встречные ветры или слабые дымчатые отроги Кугитанга, черные вихри гуляли тогда по пескам, и вся пустыня завивалась в космы, как каракулевая шапка. Тогда и географический контур Туркмении, издали похожий на каракульчовую шкурку с оторванными лапками, получал себе могущественное оправданье.

Теперь из недр Афгании, доро́гой ветров и басмачей, выступила саранча.

Мазель в сопровождении Маронова выехал из Дюшакли только шестнадцатого мая и, найдя свой хлопок в превосходном здравии и целости, соблазнился проехать кстати и те двадцать два километра, которые отделяли Кендерли от Сусатан-Кую. Они ехали верхом вдоль знаменитого оросительного канала, ветерки продували свежестью палящий зной, и Мазель всю дорогу повествовал

Маронову о воде. Нет, он был все-таки не без диковинки человек; говоря о воде, которая однажды заторопится в пески, он заметно добрел; упоминая имя Карабая, делателя боссагинской воды и угрюмого мечтателя, он благоговейно подмигивал; касаясь Транскаракумского канала, который пока не был проведен даже и на бумаге, он становился невыносимо великодушен. Он имел карманную книжечку, в которой аккуратнейше расписывал самые мельчайшие дольки своего дня, но вместе с тем верил этот Шмель, что непременно настанет день, когда, уже седые, они поедут вдвоем с Карабаем в лодке по пустыне, и на берегах будут стоять чудесные сады, всегда раскрытые настежь для Карабая и его безвестного спутника. Следует отметить, что помянутые сады он мыслил все-таки вперемежку с хлопком.

— Орта-Азия, Петр, это очень много! — пел он, не обращая внимание на улыбки Маронова. — Взгляни на эту величественную громаду и сообрази, на какую мелочь разменяла бы ее прежняя история, кабы не мы... — и обводил рукой пространства пустыни, подступавшей к самому каналу. — Но пробуждение это требует умного хирургического вмешательства. И пусть это будет Транскаракумский канал. И пусть здесь будут ловить рыбу, в этих песках. И пусть здесь родится необыкновенная прохлада. Это будет тоже часть прямой, ведущей к социализму. А что — ты слышишь? — водой уже пахнет!

— Засадят вас, чудаков, за ваши необузданные и к тому же беспланные мечтанья, — смеялся Петр над его упоением.

— Пустяки... три года за Транскаракумский канал, ибо примут во внимание беспорочность и пролетарское происхождение. О, мы! — Вместе с тем он чрезвычайно пожимался, ибо не был привычен к верховой езде; лошадь его чуть не заступала распушенных поводьев и дважды обрывалась в арык, глянцевитый от водного изобилия.

В Сусатане цвела джуда; ее могучий аромат был сильнее пыли. Красноармейцы играли в городки, сытые кони храпели в стойлах. И все это благолепие было лишь искусной маскировкой беды, которая, обманув фланги, ударила фронтальной атакой в лоб республики. Того же

числа, в час чрезмерного Мазелева торжества, огромная туча саранчи перелетала границу под Кушкой и, минуя станцию Сары-Язы́, входила в южные Каракумы. Часом позже другая летная стая ворвалась в безоблачное небо Сурназли, за четыреста от Кушки километров. Двигаясь без перерыва, она двое суток закрывала плывучее эрсаринское солнце. Ночь заставила ее опуститься на ночлег где пришлось — расположась в полях и на деревьях, кроме самого селения. Стояло полное безветрие.

Все население, включая стариков и детей, вышло в поля с фонарями, у кого были, с коптилками и всякой гремучей домашней утварью. Стоя у межи, они били в тазы и ведра, махали палками, толклись на месте, крутили детские трещотки, пытаясь распугать упавшую с неба беду, но этот оглушительный грохот более пугал их самих и скот их, нежели нежданную гостью. Насекомые слепо прыгали из-под ног дехкан, вползали на халаты, жирной грязью налипали к подошвам, и вдруг раздался визгучий крик. Кричал какой-то старик, забравшийся в самую гущу джугары с чугунным котлом, чемгой, в которую остервенело ударял канкыром; кричал он, закрывая лицо руками от облепившей его саранчи. Вопль его был тонкий и пронзительный, он заглушал даже ревучую музыку той ночи, все замолкло, и только тихое победительное царпанье потревоженной твари наполняло тишину. Попытка дехкан была напрасна. Гость сидел прочно: миллионоголовый, он летел издалека, он устал, он хотел спать и не собирался уходить несатым от хозяйского стола. Но на рассвете, обезобразив Сурназли, розовая в восходившем солнце стая улетела; согласно сводке чрезвычайного уполномоченного по борьбе с саранчой, чусара, она ушла в направлении на Хакан-Кул, Дзерген и дальше, в песчаную неизвестность северо-востока. Сводка не содержала новостей: путь летучего вторжения не был прослежен до конца, а Узбекистан пока еще не получал афганского подарка.

Одна за другой в пески уходили разведки; в первые же дни тревоги их было отправлено семнадцать. Они плелись по зыбучим бескрайним пространствам, переваливая с бархана на бархан, и следы их тотчас же срастались позади. Саранчи не было. Разведки вторглись на

сто километров вглубь, доходили на севере до самого Аджи, видели девственные саксаульные рощи, ящериц и сусликов в них, неуловимых и проворных, как галлюцинация, — саранчи не видели. Пустыня пронизывала их ночным холодом, опаляла полуденным зноем, пыталась жаждой, вода их иссыкла или протухла, а лица растрескались и напоминали камни, много полежавшие в очаге. Саранча исчезла. По карте они находились в расположении Дукер-Кую, но колодца этого и воды его не оказалось на месте, потому что Дукер — значит «плевок», а плевков мог и высохнуть. Лишь на обратном пути, усталые и виноватые, они нашли двадцать четыре гектара со свежотложенными кубышками. Разведчики с жадностью собирали из-под осыпей, из-под кустов и корней дохлые образчики врага, начальники обмерили зараженное пространство и неохотно повернули вспять.

Их ждали с нетерпением, а они пришли почти с голыми руками.

— Разрешите вам научно представить эту дрянь, — докладывал один энтомолог местного происхождения, потроша на бумажке мертвое насекомое перед дюшаклинскими властями. — Переднеспинка, обратите внимание, имеет характерный коричневый тон, переходящий на боковых лопастях в серо-желтый. Вся поверхность, знаете, да-да, в неправильных точечных морщинках и круглых бугорках. Всем видно? Длина тела пятьдесят семь миллиметров, задних бедер — двадцать шесть, усиков — семнадцать, а число члеников на усиках... простите, одну минуточку! — Он наклонился с лупой и пинцетом, не обращая внимание на злые лица дюшаклинских властей. — Число члеников ровно двадцать восемь! Итак, судя по крупности тела, это несомненная, знаете, самка, да-да. Экземпляр был найден уткнувшимся головой вниз. Обратите, кстати, внимание на зубчатые края мандибул...

— Хм, мандибул?.. — переспросил тихо Акиамов, а руки его, большие и синие, как конина, слегка двигались. — Замечательно интересно...

— Погоди, Берды, — прервал другой туркмен, председатель той части пустыни, которая доходила в Дюшаклинский округ. — Сколько поколений в лето?

— Простите, я не кончил, знаете, да-да... — скривился энтомолог. — Теперь произвожу вскрытие брюшной полости. Очень характерны потемнение нижней части брюшка и общая его дряблость. К моменту смерти жировое тело исчезло, полость наполнилась... что-с?.. э, темно-коричневой жидкостью. Кубышка яичек оказалась неотложенной, и самые яички недозрели, полагаю, знаете, да-да, эпидемия эта того же характера, которую наблюдал Гаррель у мексиканской саранчи и приписывал патогенному действию, знаете, да-да, коккобасиллу с акридором.

Это соответствовало правде; афганские купцы рассказывали накануне, что громадная стая прилетела из Ширама в Андхой и дохла на пути, — под каждым деревом ее набирали мешка по два. Совпадение это дразнило слабой надеждой, что дело обойдется как-нибудь без вмешательства властей.

— Интересно, — заговорил Акиамов, уже назначенный из Ашхабада окружным чусаром. — А нельзя твоего этого... акридора искусственно развести, скажем, в бутылках... И потом машинкой прыскать его на воздух?

— Науке это не известно, — твердо ответил энтомолог; как презирал он тогда всех этих грубых практиков, не вникавших в романтику дела и требовавших немедленного результата.

— Ну хорошо, а как его фамилия? — еще спросил окрчусар, шевеля карандашом шуршащие остатки особи, присохшие к бумаге.

— Это... вы про латинское название? Точного названия не имеется.

Все замолчали, ибо не знали, о чем можно было еще спросить его неприступную науку.

— Ну, а тоска по родине у ней есть, у саранчи? — искательным голосом спросил Мазель.

Энтомолог, — а он действительно был из захудалых самородков, — выпятил губу:

— Простите, я вас не понимаю.

— Эх... ну, например, я! Из-под Одессы я. Тут я уже прыгаю шесть лет, привык, а все тянет меня туда, назад, где, так сказать, папа и мама. Я и рассчитываю так: ну, съест она тысячу гектаров, даже две... — лоб Мазеля вне-



запно вспотел, — три, черт вас возьми, три!.. а потом соскучится по родине и опять домой, нах хаузе, а?

Энтомолог благосклонно улыбнулся:

— Науке это не известно.

Акиамов медлительно шарил на подоконнике свой картуз.

— А что же, собственно, известно вашей науке? — спросил тихо Зудин, выстукивая пальцами в стол, а лицо его говорило: «Ты ешь советский хлеб, так подгоняй же свою слюнявую клячу!»

— Во всяком случае, обязательные постановления власти о минимуме уважения к науке ей известны! — И, блеснув глазами, оскорбленно стал рассовывать по карманам свой несложный инструмент, для лупы же у него имелся замшевый мешочек.

Туман первоначального смущения не рассеивался. Туркменский народ знал мароккскую перелетную саранчу, что шла из сухих ашхабадских предгорий и глинистых полупустынь; в двадцать седьмом ее разбили почти одновременно с бандами Джунаид-хана. Он знал богарного пруса, который временами стихийно возникал в Голодной степи, на солонцах и в зарослях тугая; этот пожирал ровно столько, чтобы вывести свое отвратительное поколение и умереть. Народ слышал даже про эпиляхну, озимую совку, паутинистого клещика — грабителей хлопчатника, виноградников и бахчей, но никто еще не переживал такой, почти библейской напасти.

Наивные догадки, что Гератская провинция задержит основную лавину саранчи, не оправдались. Саранча врвалась в пределы Туркмении изовсюду; она садилась уже в прикультурной полосе; ее измеряли количеством суток пролета и километрами посадки. Декане бездействовали, уверенные, что беда не всползет на их высокие дувалы, пока черные пятна саранчовой проказы не покрыли их житниц и не оголились плодовые деревья. Во многих местах муллы и ишаны устраивали эпические жертвоприношения на пораженных полях и жертвенной кровью кропили эти неисцелимые раны: саранча охотно пожирала даровое их угощение. Тогда первобытный страх понудил людей попросту распугивать там и сям осевшую смерть; насекомые треску-

че поднимались и уже в рассеянном виде опускались на соседние поля, а всетуркменская беда не убывала. И один только спокойно спал в эти тревожные ночи — сусатанский пограничник!

Борьба велась пока впустую, и когда полторы недели спустя в штабе у Акиамова, как назывался теперь его исполкомский кабинет, состоялся доклад профессора, приехавшего в числе других из всесоюзного центра, — установилось гнетущее затишье. Зудин в тот раз сидел возле председателя окружной комиссии; он сказал своему соседу:

— Темно, Абдуразыков, ой, темно! Ровно в валяный сапог смотришь!

А тот хоть и не понял сравнения, ответил так:

— Кундогды, Зудын.

Совещание началось поздно. В ожидании начала пили воду и просматривали горы саранчовых сводок, валявшихся на столе для всеобщего обозрения. Стояла гомерическая жара; все как приклеились к стульям, так и не шевелились. Профессор пришел сам, откуда-то из задней, неожиданной двери. Он был в пиджаке и сапогах, которые легонько поскрипывали, — это последнее обстоятельство почему-то подействовало на всех крайне успокоительно. Многим даже показалось, что профессор не дурак выпить, и это также давало уверенность, что гость не просто мимоезжий турист, не бесплотный рыцарь некоей отвлеченной дисциплины, а приехал прежде всего драться и работать. Он сел за стол и начал с того, что снял с себя пиджак и бережно повесил его на спинку стула.

— Вас не шокирует? — покосился он на Иду Мазель и так приподнял бровь, что глаз его стал совсем круглым, как копейка. — У меня, видите, немножко астма, и я не привык к высоким температурам.

— Да вы снимите, товарищ, и воротничок, — предупредительно вставил Зудин и чуть ли не протягивал руки, чтоб помочь.

— Нет, зачем же? Тут все-таки не баня!

Он начал с биологического очерка о странствующей саранче. Голос профессора звучал несколько глухо, вначале трудно было предположить, что путное можно сы-

грать на этом разбитом деревянном инструменте. Но вот из горла его вырвались резкие, незнакомые звуки; кадык его, острый и в пупырышках, похожий на грудку оципанного цыпленка, выпрыгнул и спрятался в воротник; он назвал прежде всего имя этого множественного врага, покушавшегося в конечном итоге на все политические завоевания пооктябрьской Туркмении. Это была шистоцерка грегариа... Ее родиной считаются тропические саванны Судана, откуда она разносит свои губительные кубышки и на Пиренейский полуостров, и на Балеары, и на Азорские острова. Ее маршруты не изучены, но из Египта широким кольцом, через море и самый Синай, она проникает в Палестину и Сирию. Древний инстинкт, в сочетании с ветром и погодой, ведет ее в Индию из песчаных пустынь Синда и Раджпутана. Ее кормят также равнины Белуджистана и Персии. Иногда, негаданная, как чума, она приходит с Солимановых гор. Порою возвращается и делает кольца, как бы обманывая свою будущую жертву; ее дороги запутаннее, чем хитрые маршруты басмачей или торговые пути доисламских караванов...

Лектор торопился разбросать вокруг себя эти шелестящие географические имена, в которые, как в бумагу, была завернута правда о шистоцерке, но каждое имя имело свой отдельный смысл и цвет, для каждого находился свой особый звук на его голосовом ксилофоне.

— Ее жизненный инстинкт страшен, она множится, почти как парамеции... медленнее, но грознее их! В год она может дать до четырех генераций. Самка в состоянии отложить за лето девять кубышек, и в каждой количество яиц колеблется от восьмидесяти до ста. На квадратном метре может быть отложено до полутора тысяч кубышек. Таким образом, гектар зараженной площади в идеальных условиях даст нам... — Он иронически покосился в сторону Мазеля, который торопливо, ломая карандаш, украдкой от всех подсчитывал искомое количество особей. — Сколько у вас получается? — спросил докладчик.

— Сто двадцать миллионов штук с гектара, — вспыхнув, прохрипел Мазель.

— Мне некогда проверять, но это близко к истине. Так было в районах Нишапура и Хафа во время противосаранчовой советской экспедиции в Персию, в двадцать

сеньмом. Кстати, если вас не особенно утруднит, курите себе в кулак и не дуйте мне в физиономию. Благодарю вас! — И продолжал кидать слова и цифры, обнажавшие лицо неведомого врага. — Кубышка странствующей саранчи — это удлинённая до восьми сантиметров кучка склеенных между собой яичек. Вылупившись из яйца, насекомое через шесть недель уже летит, гонимое свирепой жадной размножения. Саранча может лететь на высоте в полторы тысячи метров; попутный ветер ей нравится. Она летит, сжирая все, и ей всегда мало. Наука делит период от рождения до окрыления на пять возрастов. Вылупившись, она уже ползет. Саранчуки четвертого возраста движутся со скоростью шесть метров в минуту. Я просмотрел тут сводки из южных Каракумов; она приползет к вам, товарищи, через неделю, а первый возраст — самый уязвимый: не пропустите сроков, товарищи! Россия почти не знала этого африканского вида саранчи. Только в канун Мировой войны наблюдались незначительные залеты шистцерки, теперь же мы имеем дело...

Он говорил еще много, и обещала быть бесконечной одуряющая музыка его деревянных молоточков. Акимов сидел, как гора; в выпуклом зрачке его застыло светился накрахмаленный воротничок профессора. Мазель все чинил карандаш, и работа его успешно близилась к концу, так как от карандаша оставалось не больше полувершка. Дюшаклинский энтомолог покачивал головой, как бы выражая этим свое посильное несогласие. Абдуразыков делал странные вещи: бессознательно он зацеплял ногтями волос из уха и неслышно выдергивал его; возможно, что он не чувствовал боли. И вдруг Зудин перебил докладчика несравненно тоненьким и заискивающим голоском.

— Ну... а бить ее можно, товарищ?

— Полагается, но летную не трогайте.

— Так она ж хлопок жрет!.. — закричал Мазель, потрясая пачкой сводок. — Читайте, нате, читайте, гражданин: «Уничтожено шестьдесят гектаров хлопчатника...», «Уничтожен весь клеверник...», «Откладывают кубышки на стыке Каракумов и Сухры-Кула...», «Уничтожено двадцать восемь гектаров хлопчатника...». Нет-с, мы ее будем бить... как вообще привыкли... ненавижу! —

И губы его вдруг, такие ребяческие, что всем стало неловко за товарища, затряслись от гнева.

Профессор сочувственно смотрел на Мазеля и, слегка подымая бровь на него, едва не погрозил пальцем; он хотел прибавить, что и он тоже был молодым, но не сказал этого по тем же причинам, по которым отказался снять удушавший его воротничок.

— Летную не трогайте, молодой человек. Она рассеется на еще большие пространства, и борьба утруднится во много раз. Берегите силы до поры!.. — Он стал надевать пиджак; лоб его еще лоснился, но от духоты отворили дверь, и теперь он страшился простудиться, ибо давно вышел из Мазелева возраста. Он уже кончил, ему оставалось только перечислить те немногочисленные способы борьбы с саранчой, которые изобрел он сам и — через него — знала их наука.

Наступила чрезвычайно томительная тишина. Окно было открыто. Под потолком, вокруг лампочки, не прикрытой ничем, бесшумно порхала всякая насекомая гадь, налетевшая на свет. Их было много, разнообразие сказочно, как выдумка природы, а уродливость причудлива и беспредельна: тут были крылачи, усачи, ногачи, брюхачи... Акиамов, глядя на них рассеянно, дивился, чего только можно накрутить из тягучего ночного мрака, стоявшего за окном. Вдруг что-то длинное и несообразно крупное в сравнении с остальным впорхнуло в окно. Не садясь никуда, оно сделало три или четыре, в разных плоскостях, круга и так же спокойно вылетело на волю. Это и была шистоцерка грегаиа; и, может быть, нарочно подосланная особь совершала дерзкий разведочный визит в штаб своего смертельного врага. Ее видели все тридцать с лишком человек, переполнявших тесную, коридорного покроя, акиамовскую комнатку, но так и не понял никто, что видит то самое, о чем шел разговор. Не догадался и Акиамов, ибо, вдруг поднявшись, он снисходительно потрепал по плечу дюшаклинского энтомолога, ставшего совсем домашним и смирным после доклада профессора, и сказал вслух:

— Э, бычок! Твоя наука знает меньше, чем его наука.

...В ту же ночь Маронов, который оставался на всякий случай в Кендерли, получил телеграмму от пре-

зидиума исполкома: «Мобилизованы, округ объявлен неблагополучным, оставайтесь чусаром Кендерли, телеграфьте десятидневки борьбы. Акиамов». Так в суматохе тревожного того дня родилось это куцее, непростительное слово — «телеграфьте».

Туркмения наспех перестраивала свои ряды.

В эти недели все было о саранче — разговоры, мысли, плакаты, газеты, и даже самые люди — для нее. В округах почти сами собой возникали боевые дружины — комсомольцев, студентов, девушек; созданные лишь сегодня, они уже завтра боевыми единицами отправлялись на места, размеченные штабом верховного чусара. В разведку уходили самолеты, не виданные в этой части пустыни, кажется, с самых бухарских битв. В столице республики мобилизовался полк Осоавиахима, и оружием его были машинки для распыления ядов, лопаты, кирки, опрыскиватели. Требовался военный опыт в этом новом деле; начальником эшелона был назначен краснознаменный командир. Полк отправлялся в неизвестность лишений, в составе поезда находился рабкооп. Полк уходил в случайности, каких не повторялось со времен интервенции, — эшелон грузился с музыкой. Проводы отличались знаменательной краткостью; даже присяжные столичные говоруны благоразумно безмолвствовали в этот вечер, а он был насыщен полдневной истомой, и напрасно в последний раз на отъезжающих в пустыню дышал холодом снежный Копет-Даг. Темнело, молчание угнетало. Тогда зажгли свет, и заиграли военные оркестры, распространяя трепетный зноб гражданского возбуждения. Медь исходила треском; круглые толстые жуки запорхали вокруг электрических шаров полустанка; кое-кто видел, как в играющую трубу, в самый звук, провалился один из этих летучих туркменских скарабеев и сумасшедше, почти искалеченный, вылетел оттуда...

Эшелон торопился. Теперь сплошная саранча летела по всей границе от Боссаги до Фирюзы, неся на Туркмению взрывчатое свое семя. На конец мая площадь заражения в Каракумах исчислялась диковинной цифрой в десять тысяч гектаров. Досужие математики подсчитали, что вся Средняя Азия не смогла бы накормить много-

миллиардную ораву, которая должна была упасть на нее через месяц. В песках уже отрождалась пешая молодежь; она пока держалась барханных сопок, поедая тамариск, джужгун и саксаул, но передние уже начинали ползти на колкие астрагальные поля, отделявшие пустыню от прикультурной полосы. Их влекло стихийное чутье оазисов, и, судя по началу, неделя эта была предисловием смерти. Даже на безжизненных межаульных тропах, ведомых лишь басмачам, они ухитрялись оставлять широкие, расплывчатые язвы. Они тащились, забывая своею дохлой массой открытые колодцы на караванных путях, перешагивая или пожирая самих себя и как бы издеваясь над своей собственной беззащитностью. Это был неумолимый закон согласного множества, повторенный тысячекратным эхом пустыни. Они шли, и мелкие паразитные мухи вились над ними. Они шли, а позади оставалась ободранная, обугленная, загаженная земля, ее гнусный скелет, ее вонючая шкура, ее стыдное исподнее лицо... И на нем, печальнее могильных камней, торчали обглоданные стержни деревьев.

Есть черный дрозд в Туркмении, его зовут майна; он пожирает саранчуков. Через несколько суток он уже не ел, а только лупил в голову ползучую беду, подчиняясь таинственному инстинкту птичьей ненависти. Время от времени он с распушенными крыльями бросался в воду, чтоб смыть с себя липкий сок своих жертв, и снова вступал в ожесточенную драку. Но вот майна исчез, майна бежал ночью: до самого конца туркменского лета никто больше не видал дезертира. Итак, дехканам приходилось защищаться самим, но дехкане бездействовали. Пользуясь первоначальным испугом, муллы сеяли смятение по аулам.

Они спрашивали:

— Вот летит саранча. Что написано у нее на крыле?

Они отвечали сами, ибо никто, кроме них, не понимал небесного писанья:

— Гостя бога и — смерть за смерть. Не убивайте летящих! Пророк сказал: «Может быть, вы чувствуете отвращение к чему-нибудь, а оно оказывается для вас благом!»

Они спрашивали:

— Вот летит саранча. Что потом?

Они отвечали сами и с поспешностью, потому что быстрое слово труднее уловить чужому уху, на котором лежит отсвет зеленого околыша; но многие пограничники, в особенности из местного населения, понимали полуродной язык Туркмении.

— Потом придут мыши. Потом набегут кабаны. Потом ворвется сам Баче-Сакао и заберет все. Так велит бог.

Иногда они приводили для пушного устрашения строки из Корана:

— Дом насилия будет разрушен, хотя бы он был домом Милосердного; кровь злодея будет испита, хотя бы она текла из сердца Милосердного.

Никто не разумел, кощунство ли отчаянья или мудрость злобы копошится в их расслабленных устах, тем зловещей перед лицом такого бедствия звучало имя Милосердного.

Население бездействовало, людей на местах не хватало, а способы борьбы были еще не проверены. В Джанаязы́ поджигали керосиновые тряпки и, подобно огненному неводу, волокли их на веревках через самую гущу наступающего косяка ползучей саранчи, кулиги. Надо надеяться, пошутил кто-то, что зрелище таких костров, по крайней мере, портит настроение насекомым. В Сахár-Камаклы пытались применять опрыскивание горючими смесями; ночами осатанелых людей чрезвычайно тешили длинные струи жидкого пламени и прыжки пылающих саранчуков, но до Баку было далеко, а зараженные поля, казалось, не имели края. В Маматани саранчу заливали кипятком, в Карамелаке ее укатывали шоссейными катками, в Хамарли просто топтали ногами. В Хатыб-Куле к районному чусару явился неизвестный беглый кустарь не местного происхождения, бежавший, по его словам, от фининспектора, и предложил за одну бутылку водки передать секрет поголовного уничтожения саранчи. Чусар тосковал от бессилия, чусар решил на потрату, и тогда забулдыга посоветовал мобилизовать мушиные листы по всему Союзу республик и, предварительно замочив их на плоских блюдечках, выставить перед самыми кулигами. Как ни странно, сумасбродная эта идея имела свой определенный успех. Чусар испробовал приманку из парижской зелени, патоки и извести.



Саранча отменно дохла, пока имелись припасы, а другого способа забулдыга изобрести не успел: его настиг все-таки московский фининспектор.

Сводки, продолжавшие поступать в штаб чусара, содержали мало утешительных известий... Оазисы Туркмении почти сплошь расположены по ее границам; зараженные места заливались на карте жидким акварельным кармином; к началу июня вся Туркмения оделась в яркое розовое кольцо.

Самые сводки в особенности интересны были тем, что отражали личность того или иного корреспондента.

«Из Каракумов. Саранчовая. Медленно движется, желтая и большая, жрет все на пути по фронту в четырнадцать километров».

«Из Сурназли. Саранчовая. Копия ГПУ. Уничтожено тридцать процентов хлопчатника. Десятый раз требую патуку, лопаты, парижскую зелень. Близится линька во второй возраст».

«Из Аликадыма. Саранчовая. Седьмые сутки движется саранча среднего роста и чуть постарше».

«Из Аджи. Саранчовая. Прилетела. Плотность тридцать пять на квадратметр. Наблюдается весьма энергичное спариванье».

«Из Серахса. Саранчовая. Осела на площади в шестьдесят три квадратных километра. Закладывает кубышки. Ждем, что будет дальше».

«Из Каяклы. Саранчовая, вне очереди. Настоящим доношу, что здесь заражено восемь тысяч гектаров, а плотность отложения две тысячи на метр. Ведем точный учет. Выпускаем стенгазету «Красный саранчист». Чувствуется недостаток в канцелярских принадлежностях».

«Из Пулихатуна. Саранчовая... Уничтожено посевов тысяча пятьсот гектаров. Разбросанность кулиг и политическая контрагитация ишанов очень усложняют борьбу».

«Из Хакан-Кул. Саранчовая. Идет — конца нет. Посевов больше нет. Припасы все вышли. На отряд осталось три рубля. Ест даже веревки и кошмы. В клубе коммунальников съела занавески. Имеются больные. Предлагаю бросить воинские части».

«Застава Ишхак. Саранчовая. Шесть тридцать утра произошел пролет крупной стаи северо-восточном на-

правлении. Летела с Андхоя четыре часа тридцать две с половиной минуты. Окраска бурая».

«Из Мюлк-Тепе. Саранчовая. Все покрыто саранчой. Кажется, она спит».

И последняя была от Маронова:

«Кендерли. На вверенном мне участке саранчи нет».

Так судьба обходила Маронова.

Установилось ленивое благополучие. В низких кендерлийских предгорьях щедро доцветали тюльпаны. Вечерами, едва прохлада, красные эти долины чем-то болезненно напоминали сумрачные скалы Новой Земли, облитые такою же, но только осенней ползучей пестрядью. Он бродил много, до одури в ногах, часовой еще не осажженной крепости, и зачастую это доставляло ему скрытое удовлетворение, как при посещении места, где гибели однажды удалось противопоставить мужество. Часто, усевшись на вершине, он безотрывно глядел на скудное афганское многохолмие, за которым лежала непостижимая родина детских снов — Индия. Так сиживал он до луны, до шакального воя и думал, что Ида Мазель, о которой он помнил каждый день, стала стареть именно с того часа, как ушла от Якова. Однажды он понял, что человеку его склада вредно оставаться подолгу наедине с собою. Маронов пошел к людям.

Вправо, на отлогой, слабо волнистой равнине помещалось становище джемшидов; кто знает, каким ветром закинуло их сюда из-под Кушки! Тут богато произрастало азиатское подобие тульского медвежьего уха и ползали черепахи. К Маронову приходили ребята из аула с огромными букетами тюльпанов, дети, но уже в белых чалмах — соллах — и такие же медлительные, как их отцы. Один из них искусно напевал что-то по-фарсидски, а другой, постарше, подражал голосом дутару и даже помахивал рукой над букетом, воображая струны, которых не было. Так и играл на одних тюльпанах, и когда его горловая, взводистая песня бывала закончена, букет изнашивался вконец. С безделья Маронов начал даже как будто полнеть.

Бреясь, иногда он издевался над собою тоном Якова:

— Теперь ты скоро женишься, Петро́, возлюбишь тишину, как я, и осядешь на землю со своим потомством, чтоб уж не подняться никогда!

Однако он успел провести кое-где канавы вокруг Кендерли и даже сколотил рабочий отряд на всякий случай, но деятельность его в значительной мере затруднялась незнанием языка. Однажды он собрал митинг и больше часа распространялся о том важном, что грозило всей трудящейся массе страны. Шестьсот туркменских папах, раскинутых там и сям под гигантскими купами тута и рачи, слегка покачивались в знойных дуновеньях. Глубокое бесстрашие тысячи мужицких глаз бесследно поглощало его задор, его взрыв, его волю. Никто не пожелал высказаться по затронутым вопросам, не противоречил никто. Кендерлийский оазис был из богатых; тут созревал великолепный хлопок, каракуль, шерсть, а по коврам Кендерли мог тягаться даже с Пендэ, родиной знаменитых ковров и не менее прославленной язвы. Новая власть не успела еще пресечь влияния мулл и баев, советовавших выжидательно молчать во всех случаях советской жизни.

Маронов сердился.

— Ашир, они глухие? — кивнул он на свою безмолвную аудиторию, как будто ожидавшую от него еще добавочных каких-нибудь развлечений.

— Они не понимают твоего языка! — уклончиво отвечал предаулсовета, поковыривая палкой истрескавшуюся землю.

Кричали ишаки, и откуда-то приходил надоедный, почти птичий писк кыджака, туркменской скрипицы с желтым, как у фаланги, брюшком; Мазель показывал ее Маронову по дороге в Сусатан. Вдруг один, ближайший из дехкан, высокий и моложе других, посреди речи придвинулся к Маронову.

— Дайте мне тут пройти домой, — сказал он четко, властно и по-русски.

Маронов пристально взглянул в его лицо, но в нем отражалась нерушимая, торжественная лень — и ни озорства в глазах, ни злорадства об удавшемся намеке. Он прошел мимо, поодвинув на брови свой плоский тельпек, и даже не оглянулся на внезапно замолкшего Маронова.

...Тем разительней была перемена. Утром раз — Маронов еще спал, умаявшись с канавами накануне, — к

нему ворвался этот самый хитряга в плоском тельпеке. Он бежал и кричал еще на улице; все селение было уже на ногах. И по его искательным рукам, больше чем по лицу, Маронов понял, что судьба повернулась наконец к незадачливому чусару из Кендерли.

— Эй, доган, не спи... — Он теребил его, а туркменские слова затейливо путались с русскими; должно быть, гостя бога посетила и его бедняцкое поле, на котором зрел хлеб его семьи. — Чигиртка... Эй, доган, делай, делай!

Быстро, насколько мог, ибо парень тормозил его и мешал, Маронов натянул на ноги свои тесные сапоги и вскинул халат Ашира, чтоб бежать вместе с парнем за аул; оттуда вплоть до самой пустыни простирались обарыченные пространства. Все поле, насколько хватало взгляда, двигалось, и на скатах арыков, где мельканье хитиновых панцирей сливалось в прерывистый блеск, переливалась как бы живая волна. Маронов вздрогнул и бесстрашно вошел в поле, а парень остался позади в ожидании, что вот этот приезжий произнесет свои заклятья — и скверный, затянувшийся сон сгинет, а утро снова будет прекрасным, как в первые сутки творенья. Забыв про него, Маронов пугалом стоял посреди кулиги в оцепененье, подобно тому, какое уже испытал однажды сусатанский пограничник. Насекомые, не замедляя хода, всползали на него, и, будь он ростом в километр, они одинаково добрались бы до его макушки. Так одну часть материи гнала крутая сила племенного расселения, а другую — удерживала на месте озлобленная воля.

Маронову была знакома безнадежность тысячеверстных снегов; он ходил на медведей и далеко во льды... Но там внимание сосредоточивалось в себе самом, а здесь оно расплывалось безрезультатно; доводило почти до иступленья это жадное и необъятное множество в серой саранчовой униформе. Привыкнув по обязанности каждый день примечать погоду, он так и не запомнил — светило ли солнце в то утро, дул ли ветер; память сохранила лишь зудящий трепет кожи — прикосновенье ползучей гады. Нет, испытание шистоцеркой было сильнее испытания Новой Землей! Он смахнул с себя шевелящуюся, хрусткую, как парча, пелену и нашел силы воротиться шагом назад.

Парень казался разочарованным.

Наступал, согласно профессорским предсказаниям, саранчук первого возраста, только что отродившийся в песках. Кулига шла крайне разреженной, на метр их приходилось не больше полусотни, это было, по существу, лишь авангардом тех полчищ, которые готовились выступить на штурм Кендерли, и, кроме того, накануне их сильно побило задувание песков, обычное в пустыне. Весь тот день, лишь с двухчасовой передышкой на полдневную жару, когда на шистоцерку нападает тепловое угнетение, работал мароновский отряд. Глубокие канавы, защищавшие хлопок Мазеля, к ночи были наполнены доверху. Их закидали песком, притоптали и уже при фонарях рыли вторую цепь окопов; к рассвету успели сделать треть того, что было сделано за полторы предыдущих недели. К удаче Маронова, шествие кулиги близ полудня совсем прекратилось, — кулига растаяла, не докатившись даже до канала и только слабая вонь из засыпанного рва напоминала об этой призрачной победе.

Маронов извещал окружного чусара:

«Кендерли. Саранчовая. Атака первого возраста отбита. Необходимо усиление отряда».

Акиамов отвечал:

«Ждите батальон Осоавиахима. Шлите трехдневки борьбы».

Маронов обозлился; самолетные разведки, принятые на юго-запад от Дюшакли, приносили унылые сведения, — разве не были они известны Акиамову? Чего же медлил он? Южные Каракумы оказались сплошь заражены кубышками; о том же самом сообщал и профессор в сапогах, который, несмотря на свою астму, целыми неделями шнырял по пустыне, вынюхивая что-то из барханов; он много помог делу, это была какая-то неукротимая саранчовая смерть в сапогах-самоходах; может быть, он старался доказать республике необходимость своей науки? При установленном стремлении всех прямокрылых к северо-востоку Дюшаклинский оазис в самом недалеком будущем становился плацдармом неслыханных сражений с шистоцеркой; в случае поражения под удар становилась вся правобережная

часть Узбекистана. Все новые кулиги вступали в эту неравную игру; их головы, пятнистые и скрюченные, как лапа бухарского эмира на плакатах, уже поднимались над Аджии, а хвосты их еще терялись в Афганистане. У сусатанского пограничника выработался особый лаконичный стиль: летит, жрет, спаривается, дохнет, линяет, отрождается. Возрасты перепутались, и это также замедляло борьбу, ибо различие их соответственно меняло оружие республики. Первый возраст требовал опылителей, последующие — канав и железных барьеров, а летная — отравленной приманки. Практика выработала точнейший рецепт смерти — жмыховая мука, мышьяковисто-кислый натр, вода.

Штаб верховного чусара начал стягивать силы под Кендерли, когда Маронову уже и злиться надоело. Акиамов замыслил превентивное наступление в пески. Главный удар предполагалось вести клином от Кендерли на Сухры-Кул, с расчетом взять отродившиеся кулиги в кольцо и очистить треугольник пространства, образованный этими двумя пунктами и горько-соленым колодцем Ельгин-Кую. В развитие этого плана во всех крупных приречных центрах спешно создавались материальные базы, но пополнялись они туго. Все, присылаемое от главного штаба, мгновенно рассасывалось по районам, и создание сколько-нибудь устойчивого запаса оказывалось невозможным. По смете Маронова и расчетам неугомонного профессора, который к этому времени уже сменил сапоги на легкие спортивные туфли, для наступления требовался минимум в тысячу триста человек, четырнадцать тонн мышьяку, двенадцать тысяч кольев и шесть тысяч железных щитов, посредством которых шистоцерка загонялась в ловчие траншеи. Высшая власть бронировала за Акиамовым свыше четырех тысяч листов оцинкованного железа. Акиамов упирался на своей цифре, и телеграммы его стали походить на постукивание кулаком по столу; тогда, несмотря на протесты местных коммунальных хозяйств, объявлена была мобилизация всего вообще листового железа в Туркмении.

Не хватало ни жмыховой муки, ни ядов; республика не обладала достаточным запасом мышьяка, чтоб умер-

твить все прямокрылое население пустыни. Чтобы истребить десятки миллиардов саранчуков, следовало прежде всего накормить каждого из них до смертного отвала. С севера, из всесоюзного центра, спешили эшелоны всякого добра... но Акиамову доставалась лишь пропорциональная значению Дюшакли часть их. Все это отодвигало срок выступления, и, несмотря на испытанную партийную выдержку, Акиамов, одновременно с телеграммой Маронову о расширении его полномочий, уведомил верховного чусара, что из-за отсутствия людей и материалов не отвечает за возможность и размеры поражения. Ответом было решение мобилизовать горожан, ибо и саранча не медлила...

Потолщение мароновских щек катастрофически затормозилось, и дело даже пошло в том же темпе на убыль. Яков, будь он жив, опять узнал бы в Петре того яростного охотника в самоедском совике и пимах, который делил с ним скудный хлеб и новоземельскую участь. Не дожидаясь часа, пока орава сама нахлынет на его твердыни, Маронов разбил свой район на участки по две тысячи гектаров, придал каждому отряду по инструктору и распорядился о дне выступления. В течение оставшихся полусуток, как и в настоящей войне, было предписано отдохнуть, приготовить снаряжение, которое нужно было еще получить с баз, привести в порядок себя и инструменты, выздороветь — кто был болен, и оставшееся время употребить на то, чтоб хорошенько выспаться перед боем. В мароновском отряде имелся один с фамилией Пукесов, тот самый, который ликвидировал саранчу в Каяклы изданием стенгазеты, — как раз за это и перевели его к Маронову под начало. Лишенный возможности проявить свою бурную индивидуальность на административном поприще, он, однако, не терял почвы под ногами, и однажды целая очередь кендерлийских дехкан выстроилась на цыпочках перед крохотным окошечком домика, где Пукесов спал с одной из приезжих бабешек. Пукесов не оробел перед скандалом, он уважал свою личную жизнь и готов был в любое время пострадать за нее. Всякое случалось в эти упрощенные и шумные дни! Маронов замолчал тогда эту историю и лишь секретно попросил Акиамова не

присылать ему более женского персонала ввиду особых условий противосаранчовой работы. Теперь, в самый канун выступленья, Маронов вызвал к себе Пукесова, состоявшего инструктором одного из отрядов.

— Ну, как ваша тетка? — спросил он, осматривая шикарную бороду Пукесова, выросшую чудесным веером под самым подбородком. — Всё лунные ванны с ней принимаете?

Пукесов повел глазами; он отличался особой вихлявой красотой; он почитывал Фрейда и, по слухам, будучи в отпуску, ставил себе голос, чтобы нравиться девушкам и начальству.

— Никакой тетки и не было, — изысканно возмутился он. — А если бы и была какая замневеста, то это отнюдь... Как-никак мы живем один раз. — Он не испугался маронового лица и нахально прибавил: — Лично я не верю в загробную жизнь.

— Ну, знаешь туркменскую поговорку: если двое скажут, что ты пьян, — ложись в постель, — улыбался Маронов. — Так вот, велю тебе: завтра в шесть пойдешь в Каракумы. Участок твой на тридцать километров к югу от Сухры-Кула. Езжай и орудуй во всю мощь твоей силы и красоты!

Пукесов мигнул, как бы говоря: ладно, крути, от беспартийного слышу!

— Знаете, главное дело и бабцо-то пустяшное. — Он не прочь был, видимо, сообщить имя и адрес своей партнерши; еще недавно он не удивился бы такому же предложеньицу от своего подчиненного. Но начальство молчало, и Пукесов разумно свернул в сторону. — Кстати... я хотел поговорить с вами, товарищ Маронов. В учрежденье, когда выделяли меня на саранчу, говорили — правда, довольно смутно — о командировочных и сверхурочных. Я просил бы вас, товарищ Маронов, подтвердить мою работу у вас в отряде... там накопилось уже достаточно.

— Вы удивительно аккуратны, ничего не забудете, — сквозь зубы и багровея сказал чусар и подумал, что если он сейчас же, немедленно не плюнет Пукесову в физиономию, то ему придется каяться весь век. Губы его скривились.



— Вы не идете завтра в Каракумы, товарищ Пукесов. Двадцать суток ареста.

Тот уходил почти веселым; имея точное представление о Каракумах этого времени года, он под арест отправился как-то уж слишком незамедлительно; он просто обожал сейчас казенную, воображаемую, кстати, решетку, из-за которой не вправе была его вырвать никакая общественная повинность.

Так, с применения пятидесят шестой статьи Уголовного кодекса, началась та деятельность Маронова, за которую он получил прозвище неистового чусара, — аляли Маронов.

Он прогадал все-таки, гражданин Пукесов. Маронов раскаялся в своей жестокости, и на рассвете, разбудив арестанта, красноармеец вручил ему, потрясенному, лопату и флягу: Пукесов отправился в пески рядовым рабочим отряда. Еще в большей степени, нежели яды и железо, ощущалась нехватка в героях и статистах для этой трагической эпопеи. Огромная протяженность саранчового фронта требовала целых полков, а республика располагала лишь полудобровольческими ротами. Самые условия момента вызвали к жизни те чрезвычайные меры, которые не применялись со времен гражданской схватки, и только они помогли Туркмении защитить свой труд и насущный хлеб.

Вслед за шестидесятипроцентной мобилизацией областных профсоюзов на фронт были кинуты безработные и торговцы; большинство этих последних немедленно объявилось кишечными больными, но Акиамов пригрозил, что будет вставлять им желудочный зонд для проверки, и это психологическое лекарство излечивало самые застарелые колиты в кратчайший срок. Рынки опустели, со складов сняли сторожей, но и красть было некому. Верховный чусар, наделенный соответственной властью, разрешил призвать и учительство. Словом, к середине лета в противосаранчовой армии так или иначе находились все — кроме милиции, уголовного розыска, смены рабочих на электростанции и еще боенских рабочих; могучий невод мобилизации не пощадил даже аптек. Пограничные части с самого начала кампании вели всю разведывательную

работу по расположению и передвижению саранчи, но все чаще теперь к комбригу Туркменской поступали телеграфные просьбы выделить то сорок, то вдвое красноармейцев на ликвидацию прорывов. Рабочий день удлинился на два часа, отпуска были приостановлены, в исполкомах велись дежурства круглые сутки, и никто не удивился бы в тот месяц декрету, что и черная туркменская ночь отменяется отныне.

Не щадя себя, Маронов не щадил и людей, лишь бы заткнуть вовремя эту саранчовую хлябь. Бойцы отправлялись в зной с двухведерными бочонками, которые рассыхались тотчас же по опустошению; Маронов взял на учет все бурдюки в округе и уже протягивал руку за глиняными кувшинами дехкан. Даже и во сне слышался ему этот хриплый шепот живых: «Воды, Маронов, воды, дьявол...» Он добился у Акимова позволения обязать каждое дехканское хозяйство доставить ему по фунту выкопанных из земли кубышек. Сверх того, в кооперативах, где сразу удесятилось количество товарных соблазнов, была объявлена покупка кубышек по четвертаку за килограмм. Их жгли на глинистом пустыре, обычном туркменском такыре, и при удачном ветре далеко в пустыне стелился густой смрад горящего саранчового жира. Маронов, не зарывая кубышек, надеялся этим удушьем хоть немного задержать кулиги, уже подступившие к кендерлийским горизонтам... Он шел на все и не боялся, что его сместят за превышение полномочий: всякий на его месте, менее неистовый, попал бы под суд за бездействие власти.

На Кендерли глядела вся республика, это был саранчовый Верден того года. Маронов непрерывно находился в разъездах и ночевал почти в седле; он ездил и подвергал мобилизации все, что попадало в поле его зрения. Стоял верблюд, и в прохладной его тени, как в тени дерева, сидел человек и уплетал лепешки. То был джерчи — туркменский коробейник; он вез с собой незатейливый товар пустыни — керосин, финики, курагу, нас-каяды и пиалы, которые не успел распродать из-за саранчи. Маронов складывал его сокровища под навес, а самого усылал с лопатой и с собственным верблюдом

туда же, откуда тот возвращался. И еще там, случилось, проезжал непостижимый человек в плюшевых штанах, которыми он производил на всех неизгладимое впечатление.

— Кто вы? — строго спросил чусар, просматривая неопределенный документ с печатью рабиса.

— Я?.. Артист.

— Что вы делаете? — шурился чусар.

— Кто, я?.. Финская и греческая пирамида с имитацией огней, а также световой баланс с кипящим самоваром на лбу. Я, так сказать, единственный в этом роде!

— Меня распирает любопытство, — сказал чусар, надписывая что-то на бумаге. — Я никогда не видел баланса с кипящим самоваром. Вы не кишечный больной?

— Я?.. н-нет, — сказала жертва, озираясь и уже без прежнего достоинства.

— Как вы относитесь к Советской власти?

— Кто, я?.. Разумеется, хорошо.

— ...а к саранче?

— Я?.. Разумеется, плохо.

— Другого я не ожидал от вас. Артисты, знаете, всегда шли впереди. Мы живем в век героев, не правда ли?.. Сегодня в четыре вы пойдете к колодцу... вам скажут его название потом. Сегодня у нас вторник? Значит, летный возраст имаго наступит только дней через пять. Вы вполне успеете. И потом, очень прошу обратить внимание, сколько занимает времени этот процесс последней линьки перед окрылением. Мне сообщили — три четверти часа, но это невероятно. Ей же надо перевернуться, расправить крылья... Мне казалось, минимум — часа два-три. Итак, успеха, товарищ!

— Я буду жаловаться!.. — неожиданно заорал человек в плюшевых штанах.

— Вас посылают не диких ослов укрощать, а просто рыть ловчие канавы. К тому же личная моя просьба насчет научных наблюдений совсем не обязательна.

— Да... но я же не солдат, а артист! — смутилась жертва.

— Я и сам в душе артист, но это почти неизлечимо. Не надо ссориться людям, столь близким по склонностям, — жестко улыбнулся Маронов и вдруг рывкнул: — Стыдитесь, гражданин, ступайте!.. там не убивают!

Он был зол, он был даже яростен в этот день, Маронов; втайне он несколько пугался обстановки, в которую попал. Помимо сил явных, стихии и людей, вокруг него действовали незримые политические силы. То дехкане, на убеждение которых он тратил недели, оказывались размагниченными в сутки; то таинственная рука снимала цветные флажки, которыми он размечал зараженные или отравленные пространства; то, хотя и в малых количествах, пропадал яд, предназначенный на шистоцерку... Когда в соседнем кишлаке при весьма загадочных обстоятельствах умер больной дехканин, тот самый, который в памятный день приезда встретился Маронову на берегу Аму, чусар нарочно поехал туда на вскрытие; он знал наверняка, что встретит и его юную жену. Вскрытие происходило в ковровой мастерской; на станок уложили доски, но получился наклон, тело сползло, а врач торопился. Маронов удалил из мастерской всех, кроме голосившей кучки родных, которых сюда пригнало, по-видимому, более любопытство, чем горе.

— ...отравление мышьяковистым натром. Характерное изъязвление стенок желудка, — тихо сказал врач.

— Но они кричат, что он умер от порошков, выданных с вашего медпункта! — повысил голос Маронов.

— Чего вы сердитесь? — устало пожал тот плечами. — Мышьяк был примешан в порошки... тут и догадываться не о чем! Я уже смотрел эти порошки, товарищ.

Острая догадка вошла Маронову в разум; обернувшись, он внимательно поглядел на молодую жену покойного, стоявшую позади и кричавшую больше всех; он не сводил с нее глаз, и неискусные слезы ее мгновенно высохли, а следом за нею умолкли и остальные. Видимо, родне известно было кое-что в этой истории. Сейчас молодая была особенно хороша, точно выхваченная из сказок Шехерезады. При всем различии характеров и обстоятельств, Маронову казалось, что через глаза этой вдовы он различает какие-то скрытые черты Иды Мазель. Он смотрел на туркменку до тех пор, пока не задрожали ее колени и не появилась ее царственная краса; виноватая краска проступила в смуглой коже ее щек и лба... Но почему же ей понадобилось свалить смерть мужа на советские

лекарства? И вдруг ему в память пришли рассказы Мазеля о классовой борьбе, на которые он усмехался раньше с недоверием беспартийного. Он вспомнил собственный свой опыт в Кендерли, при мобилизации ишаков для противосаранчового транспорта, когда его встречали выстрелами в байских воротах, и гадливо усмехнулся неуклюжей хитрости, которою обходил его враг.

Он возвращался шагом и все дивился, как не надоумилось байство отравить колодцы пастухов, — бочки с ядом зачастую стояли открытыми; он возвращался шагом и только поэтому опоздал к скандалу, который в его отсутствие разразился в Кендерли. Улицу запрудила толпа, молчаливая и настороженная, а в центре ее кричал что-то невысокий коренастый красноармеец, туркмен-теке, один из присланных сюда по разверстке. Чусар слез с лошади и протискался в людскую гущу, тотчас сомкнувшуюся за ним. Было нетрудно догадаться: в руке красноармейца еще дрожала змееподобно ременная камча; а на земле, хныкая и закрыв лицо руками, сидел старый кендерлийский мулла. Заслышав нового человека, он приоткрыл свое круглое и рябое, как, наверно, у Евы в старости, лицо и осторожно подвинулся, давая место чусару.

— За что ты ударил старика? — спросил Маронов и тотчас с укором подумал, что **такого** вопроса и при таких обстоятельствах не задал бы партиец.

Тот страдальчески взглянул на него красными и выпученными от трехдневной бессонницы глазами; он устал до такой степени, что уже не мог сопротивляться чувству гнева и мщения; он устал так, что даже и его красноармейская сила поколебалась. Он возвращался из Каракумов спать, а этот...

— ...он говорит — у нее на крыльях молитва богу, я грамотный, я читал книги. Я убил ее тысячу тысяч и не видел. Где, где она?.. — и, оторвав второе крыло у насекомого, которое еще двигалось в его судорожном кулаке, кинул в воздух над головой муллы. — Он сказал: «Не надо, не надо убивать». Он сказал: «Нет за это прощенья!» Пусть он не говорит так, пусть... — Дальше он кричал уже по-туркменски, и никто даже взглядом не вступился за неудачного и поверженного агитатора.

— Успокойся, Мамед, — сказал Маронов, дружески касаясь его руки. — Ты очень устал, тебе надо много спать. Пойдем, товарищ!

Он уложил его у себя. Тот заснул еще сидя, не раздеваясь; потом повалился навзничь с откинутой головой, совсем как брат Яков, но когда уже перестал быть и братом и Яковым. Только камча, свисавшая с Мамедовой руки, время от времени шуршала бредовым шепотом о циновку. Маронов вышел убрать свою кобылу. Улица была пуста, задувал **афганец**. Скуля и раскачиваясь, все ещё указывал рукой в сторону Афганистана промахнувшийся служитель бога и бухарского эмира.

Итак, все были на своих боевых местах — трусы, духовные отцы и безыменные герои этой беспримерной схватки. Некоторое время спустя зашевелилась и недвижимая глыба туркменского дехканства, темная, как все мужики мира. Мароновская агитация постепенно становилась излишней: сама опасность придавала людям сознательность и доблесть; гостья бога выжирала наголо человеческие житницы, и в случае неудачи Туркмения была бы откинута на целую трехлетку назад. За полтора месяца кендерлийского существования Маронов лишь дважды видел туркменских женщин, но именно женщины подносили теперь воду отрядам, и мужья молчали... Несмотря на различие языков, они быстро научились так расставлять щиты, чтобы ни одно насекомое не уползло. Они постигли даже высокое искусство — рытье ловчих окопов в сыпучих песках, где и от верблюда-то не остается следов. Они провели защитные линии от Карабекаульского района до самого Сусатана; фронт растянулся на сто тридцать километров.

Песок оставлял ожоги, разъедал глаза, и трещины на руках гноились. Лошади гибли от тепловых ударов и безумели, когда в уши им заползали саранчуки. Акиамов запрашивал всюду о наличии лошадиных шляп, но таковые в республике не выделялись. Уже не узнать было никого из тех, кого совсем недавно с музыкой провожали в поход: изнеможенные люди, почти голыши, в одних трусиках месили отравленное тесто

руками; изъязвленная кожа кровоточила, в паху появлялись болезненные волдыри. Вместо недостающей жмыховой муки замешивали местную степную растительность, которую надо было собирать самим же. Не было воды; тухлую, ее и людям давали по скупой норме, но ею изобильно поливались ямы, потому что приманке полагалось быть влажной и приятной на вкус. Люди падали, отказывались есть, спали на земле у самых кулиг, дрожа от жесточайшей вони, — убитая саранча продолжала воевать своим смрадом. Люди шатались в уме: осатаневшего чусара Каяклы посетила безумная мысль взрывать саранчу динамитом, а старший рабочий сухры-кульского отряда стрелял в летящую саранчу из нагана. Кое-где появился сыпняк, неслыханная земляная вошь; люди выдыхались; их мозговые манометры грозили лопнуть, — и все отряды находили силы устраивать социалистические субботники по борьбе с саранчой, которая опережала... О, этот кендерлийский хаос, не воспетый никем из драчливых наших стихотворцев, и людские муки, за которыми, как за надежной стеной, невинно зацветал Мазелев хлопок!

Маронов истаял на этой жаре; его лицо похудело и стало походить на лицо саранчука; ему казалось, что глаза у него стали членистые, он видел даже позади себя. Мазель, который не вытерпел и приехал в конце месяца, бросив все, не сразу узнал его. Увитый табачным дымом, Маронов стоя составлял энтузиастическую телеграмму, — этот стиль уже помог ему однажды получить полтонны мышьяка свыше нормы. Мазель жал руки, испытующе заглядывал в глаза: сам он окончательно пожелтел в этот месяц, и веснушки его оставляли такое впечатление, точно его во сне засидели мухи.

— Ну, согрелся?.. Доволен Азией? Устал, так я заменю тебя, а?

— Рано, Шмель, пока рано... — и сделал неопределенный жест, как бы говоря: э, дескать, верблюдов в пустыне не пропадет!

— Кажется, у тебя с хлебом трудно?

— Ничего, Шмель, ничего... — Он закончил наконец свое донесение и покрутил пальцами, затекшими от ка-

рандаша. — Вот расписываю героику. У нас без романтики фунта формалину не достанешь. Что нового в мире, Шмель?

— Что? Мобилизуем граждан. Учреждения не отпускают своих, дерутся даже за машинисток, врача одного привели с милицейским конвоем, э-эх, дерьмо!.. Да, кстати: саранча появилась на Крымском побережье и прорвалась в Поволжье.

— Это через Ташауз, значит? Здорово сигает!.. — Он помолчал, а Мазелю показалось даже, что он задремал. — Кубышки зимуют?

— Не знаю, ты спроси свою науку в сапогах.

— Э, она там... увлекся. Я думаю, справимся. Русские умеют поднавалиться на врага!

— Да, умеют! Ну... а хлопок?

— Стоит, Шмель, стоит.

— Но саранчуки ведь...

— Они кушают пока верблюжью колючку. Я запретил убирать ее с пустырей и меж. Хочешь взглянуть?

— Поедем.

...Копыта тонули в густейшей пыли. На шее смыкалось горячее удушье; солнце садилось, и встречный зной становился невыносим. По сторонам дороги бежали заброшенные арыки, истрескавшиеся, как в склерозе. Изредка встречался какой-нибудь старик на ишаке и торопился проехать мимо прищуренных мароновских глаз.

— Далеко еще? — спросил Мазель. — А знаешь, ведь тут Ида! Она в отряде...

— Как же, наслышан, — сухо ответил Маронов и так долго закуривал самокрутку, что всякий другой счел бы это за обидный намек.

— Я, кстати, привез тебе папирос, которые обещал, — сказал Мазель, чуть приотставая.

— За папиросы спасибо... Так... Ну, а что теперь пишет сусатанский пограничник?

Дорога, если можно было так назвать расплывчатое обилие следов, то проваливалась между острых барханных гребней, то поднималась на округлые, подковообразные плато, заросшие иляком, селином, отцветшим маком. Изредка на оголенных ветром местах проступали



лысины красноватой глины, а потом опять, лишь в новых сочетаниях, набегали карликовые подобия саксаульных рощ.

— Я покажу тебе, Шмель, удивительные штуки, а прежде всего — людей. О них надо судить, именно когда они страшны, небриты, осатанели и делают всемеро против своих сил... И потом: у нас любят кричать о героизме, а по-моему, это следует делать молча, со сжатыми зубами. Перед кем хвастать? Старое не переубедишь, а молодое... я крепко верю в свое поколенье, Шмель. Достоинства больше, товарищи, достоинства!

Мазель не возражал только потому, что сегодня именно так было полезнее для общего дела; он только дивился мароновской способности быстро переключаться с одного на другое. Это состояние легкого ошеломления, смешанного с гордостью за свое поколенье, не покидало его до самой ночи. Маронов действительно показал ему незабываемые вещи, которые самого его неизменно заводили в логические тупики. Что двигало этими рассеянными на вид людьми — азарт, безумие, идея? Так он мучительно догадывался о том, что Мазель знал давно, крепко и на всю жизнь.

Они объехали много в тот день; Мазель извивался в седле, точно пронзаемый гвоздями; они объехали фронт только двух кулиг. Первая линия во второй возраст; бойцы получили два часа сроку — развести костры и покоптить над ними походные котелки: им как будто вовсе не хотелось спать. В застылой, хрупкой, как эмаль, тишине пустыни с легким шелестом возникал саранчук: и в темноте они продолжали лезть из тесных шкурок.

Вторая кулига была много старше; ее уже томила мука размноженья... Кулига растворялась в темноте. Мазель слез с коня и, слегка похрамывая, пошел к кусту, который бесформенно громоздился посреди ночи. Наклонившись, Мазель долго рассматривал его, то и дело зажигая спички.

— Слушай, Маронов, почему, однако, они сидят одна на другой?

Маронов вздрогнул и, как ни угнетала его потребность сна, рассмеялся.

— Ты удобный муж, Шмель. Ты и увидишь, не поймешь... Слышишь, слышишь похрустыванье? Это любовь, Мазель. Никто из влюбленных никогда не имел такой обширной кровати. Миллиард романов с благополучной развязкой... Хотя нет, не совсем так: отложив кубышки, онидохнут. Сейчас их можно убивать, они не слышат и ничего не едят!

— Нет, едят, глядите, прямо с руки едят! — сказал смешливый голос вблизи них. — Ишь ужинают... — И голос задрожал от нездорового возбуждения.

Они увидели человека, сидевшего на корточках; несколько безмолвных зрителей, обступив кругом, наблюдали его редкостное развлечение. На ладони у него лежал комок отравленного теста, раскатанный в рыхлую длинную колбасу; три саранчука, не пугаясь растопыренных пальцев человека, тихо пожирали яд.

— А, это вы! — сказал Маронов, подходя. — Приманку раскидали?

— За одну ночь намесили двести пудов. — Он напрасно ждал одобрения от Маронова. — Она уже съедена вся...

— Ну, и... благоприятствует это любви? — едко усмеялся Маронов.

— Отравы не хватило, товарищ чусар. Мы всё туда соскребли — мало. Очень медленно действует... но ножки все-таки мертвеют, видите? Глядите, какое у них лицо скучное! Они все равно не успеют... не успеют они, понимаете? — Была какая-то психическая судорога в его речи.

— Да, да, — сказал Маронов, мучительно распяливая глаза, которые катастрофически смыкались; он не видел почти ничего. — У вас завидное зрение, да. Кстати, вы не знакомы? Знакомьтесь: Мазель — Пукесов.

Кормитель саранчи мгновенно приподнялся.

— Простите, не могу... пальцы липкие!.. — прошипел он и вдруг исчез, истаял, рассыпался, а может быть, его самого вместо отравы сожрали саранчуки.

Мазель так и стоял — с рукой, по-детски протянутой вперед. И великий хитрец Петр Маронов взял его под руку и пытался вести назад, полагая, что Мазель ничего не знает, не видит.

— А Ида смешная женщина... У нее странный вкус, правда, Петр? То Яков, то Пукесов теперь! — сказал Мазель, осторожно высвобождая свою руку из мароновских клещей. — И ты ужасно зоркий, Петр... уж ты все увидишь!

Они вернулись поздно. Мазель едва держался на ногах и утром, проснувшись, нашел записку Маронова с просьбой ждать его возвращения. На рассвете, пока Мазель спал на Ашировом халате, чусар собрался навестить тот участок кендерлийского фронта, где линию траншей заменял непосредственно самый канал. За это наиболее ответственное место Маронов опасался более всего: по ту сторону канала располагалась самая цветущая часть Дюшаклинского оазиса.

Здесь в особенности густо, по несколько сот особей на метр, напоздали кулиги. Неделю назад в этом месте произошел некрупный прорыв, но залатать его так и не удалось. Саранчук четвертого возраста штурмовал в неслыханных количествах; канавы, на рытье которых ушло по шести часов, наполнились в несколько минут доверху; их не успели даже засыпать землей, как наполнены были два последующих ряда траншей. Тогда саранчу пришлось пустить в самую воду и одновременно вызвать от Сухры-Кулы надежную роту Осоавиахима. Саранча поплыла вниз по течению, до запруд, расставленных на некотором расстоянии друг от друга, под углом к берегу. Здесь ее еле успевали ловить в корзины и мешки, полуутопленную, и торопились зарывать эти скрежещущие живые клубки в ямы. Часть уходила, сушилась, оживала, — ее не преследовали...

Инструктор встретил Маронова на мосту и с таким лицом, точно пускался врукопашную:

— Железо... какое железо, дьяволы, прислали. В девятнадцатом за такое издевательство... знаешь, знаешь?

Маронов сочувственно кивнул головой: неоцинкованное железо быстро ржавело, и по шершавой ржавчине щитов саранчуки без усилий перебирались на другую сторону...

— Как дела, товарищ? — спокойно осведомился Маронов, не выпрыгивая из седла.

— Как! А вот приходится оттирать каждое пятнышко песком, руками, а вздышки не даете. Я не отвечаю... — И рот его запрыгал, как лягушка, по всему лицу.

— Значит, в республике нет больше оцинкованного, — еще тише сказал Маронов, все еще не слезая с лошади. — Не размахивайте руками, это не идет к военной форме, которую вы носите. Что еще нового?

Инструктор пожевал истрескавшиеся губы; складки, точно углем начерченные на лбу его, исчезли.

— Пешую победил, четвертый возраст, товарищ чусар. Потом афганцы из каравана очень просили мышьяку. Кричат: «Советска, и нам дай, и нам...» Я не дал: нету, да ведь и контрабанда. Поговорка есть: чужому верблюду нет воды.

— Неумная поговорка, товарищ.

— Выгодная зато...

Он намекал на контрасты: в Персии и Афганистане шистоцеркой было уже уничтожено раз в сорок больше, чем в Советской Туркмении. Наши темпы борьбы были бы непосильны никакому другому правительству.

— Как вы измеряете эту кулигу?

— Тонн на пять... — Инструктор измерял кулигу весом мышьяка, потребного на ее уничтожение.

— Надо перекинуть борьбу на этот берег.

Инструктор сжал руку в кулак, измученно посмотрел на него и промолвил сухо:

— Слушаю, товарищ Маронов.

— Кто в охране у того моста?

— Этот... как его, Салых. И с ним Фаридалеев, тоже из Кендерли. Там-то спокойно... они на сменку метут!

Маронов вспомнил: это был старый знакомец в плоском тельпеке, и ему захотелось взглянуть на него в новой его должности.

— Я поеду туда, — сказал он.

Дорога проходила самым берегом, а на левом бесконечно текла кулига. Все там было съедено; черные травинки покачивались, подпиливаемые у корня. Лошадь острила уши и храпела. По желтой воде, слабо шевелясь, плыли черные неторопливые точки; вода вокруг них посверкивала. День выдался неровный: солнце, как в истерике, то сдергивало, то вновь накидывало на себя драную облачную фату. В плохо засы-

паннных окопах гнила саранча, и сладкая, тошнотная вонь разложения ни на минуту не покидала Маронова. Он перевел было свою белую кобылу на рысь, но та скользила и спотыкалась в скользкой и мертвой корке, покрывавшей землю. Вонь усиливалась, тяжелая и жирная; Маронову померещилось, что даже на ощупь воздух становился маслянистее. Тем ярче вставали в нем воспоминания суровых новоземельских раздолгий и пресного запаха снегов. Сводило с ума и безвременно старило его юность это беспредельное гление живого органического вещества. То самое мудрейшее вещество, из недр которого возникали грозы, ветры и полярные сиянья, теперь подмигивало ему гнусным саранчовым смрадом... Потом он сразу увидел мост и Салыха перед ним.

Ровными машинными движениями туркмен обметал щиты, укрывавшие мостовой настил. Он был один, Фаридалеева не было с ним; скулы его опухли, сквозь желтую смуглость их проступал зеленый румянец переутомленья.

— Селям-алейкум, Салых, — громко сказал Маронов, привязав лошадь на мосту. — Где Фаридалеев?

Тот покосился на него одним глазом; у него не было времени даже на то, чтобы стряхнуть саранчуков, сидевших на его тюбетейке.

— Ушел... — сказал Салых, вместо того чтобы сказать — сбежал.

Так, в одиночку, и действовал Салых у самых ворот Дюшаклинского оазиса.

— Фаридалеев — похли! — сказал чусар. Похли — было ругательство. — Давай метлу, я буду теперь... — И принялся мести за Салыха, пока тот, спустившись в канал, жадными горстями ловил мутную саранчовую воду.

Вдруг Салых издал резкий горловой звук, он выражал недоуменье. Не прерывая работы, Маронов обернулся к нему, и ему тоже показалось, что камень, на котором стоял туркмен, заметно обмелел; он заметил, но это прошло как-то мимо его сознания, ибо в ту же минуту что-то яростно защекотало у него под рубахой. Он крутил головой, почти свертывая шейные мышцы; спинные муску-

лы извивались в попытке скинуть заползших насекомых; он не понял сразу даже того простого, что кричал ему туркмен:

— Эй, доган... она уходит, вода... эй, гляди, доган!.. Камень, минуту назад только наполовину вылезавший из воды, теперь целиком лежал на скате и даже успел обсохнуть. Узкую ленту пространства, освобожденную водой, тотчас же занимала саранча. Вода опускалась. Где-то позади произошел прорыв, и подстегнутому воображению мигом представилось, как широким бурным потоком вода на десятки метров разворачивает дамбу и ударяет в пески, которые кипят и пляшут. Все меньше саранчуков плыло по воде; они ждали. Вода бежала вспять, как трус Фаридалеев!.. Отдавая метлу Салыху, Маронов еще раз взглянул на камень. Тот медленно полз вверх и уже отдалился на полметра от уровня канала. Мысленно Маронов читал бредовую телеграмму, составленную им самим: «...прорыв на двадцать два километра. Дюшакли не существует больше...» Да, он видел испуганное лицо телеграфиста, слышал бегство аулов, различал презрительное акиамовское «замечательно интересно»; все это проскочило в мгновение и снова застлалось пенным пьяным великолепием вод, вторгающихся в необозримые приволья. Камень всползал все выше, стремясь достигнуть зенита в мароновском разуме, а канал опустошался, как проколотый бурдюк. И вот, неизвестно откуда, на мосту позади них появились передовые отряды шистоцерки.

Маронов догадался об этом, едва услышал позади себя неровный топот сорвавшейся с привязи кобылы; ее не догнал бы и ветер. Она крылато неслась к Кендерли и, по существу, была первой вестницей случившегося несчастья. Движение воды в канале остановилось, но камень скрылся, облепленный серой шуршливой массой. Обнажилась жирная тухлая кожа канала, на ней матово сверкала полузанесенная илом жестянка, да еще торчала обитым углом чья-то крупная кость. Тощую извилистую лужу, все, что оставалось от знаменитого оросительного канала, вброд переходила саранча... Мароновым овладело неодолимое равнодушие, частично подобное тому, какое он пережил тотчас после похорон брата.

— Садись, Салых... — И показал место рядом на перилах, мимо которых проходили густые колонны на штурм Мазелева хлопка.

Обоим им стало все равно, безумье притуплялось спасительной усталостью; даже если бы у них и нашлись крылья и сила одолеть в один мах двенадцать километров до кендерлийского штаба, все равно не успели бы. Оба они в равной мере сознавали такое же томящее ничтожество свое, какое сломило бы часового, поставленного в одиночку охранять границы всей республики. Из памяти Маронова выпало, что он не один, что где-то бодрствует верховный чусар и уже изнемогает на телефоне Мазель, бежит к своему отряду саперный начальник, трясет хриплую трубку телефона и гремит сам Акиамов, и на автомобиле, сшибая собак с дороги, наверное, уже мчится прокурор. Он забыл все...

— Вот видишь... Ты чем занимался, Салых?

— Мы... контрабанчи. Ширази-каракуль знаешь? — и пугливо поджимал ноги, с которых свалились его опорки.

— И дети есть? — А мучила тошнота, как при отравлении табаком, и кружилась голова от безостановочного движения под ногами.

— Э, один... э, баранчук.

Так рядком и сидели, контрабандист и чусар, потому что внезапно порвались все привычные связи, логические и иные, и одна только взрывчатая искра бродила в обоих — сжечь мост, словно это могло предотвратить прорыв и гибель Дюшакли. Вдруг какая-то спинная судорога скинула Маронова с места, и Салых со страхом наблюдал последнее беснование чусара.

— Ур, бас... дави ее! — кричал Маронов, без фуражки, которой уже не видно было под саранчой. — Эй, доган... бей... бей! — и сам показывал, как надо толочь ее ногами, безумными, как челноки.

То была конечная, чисто биологическая вспышка самого организма, может быть перед тем, как померкнуть совсем. Двое обгорелых людей скакали перед безвестным миру мостом, а саранчовая лава двигалась, и только передние, смущенные нелепым и скачущим топтаньем исполинов, напрасно пытались тесниться и благообразно раздвоить наступающую колонну.

В этот день за четырехчасовое дежурство телеграфист пропустил шесть тысяч слов и потом свалился у аппарата.

...Он не терял сознания до конца. Как сквозь дым, он видел людей, которые сменили их на посту. Они спрашивали его, и гадливая дрожь, распространившаяся по всему телу, мешала ему отвечать. На нем разодрали рубаху, приклеившуюся холодной щекотной пленкой, и он усмехнулся на эту помощь. Его посадили под дерево, прямо на песок, и дали воды, но она пахла так же, как всё — воздух, одежда и самые руки; он с отвращением выплюнул ее. С ним больше некогда было возиться, да никто и не сумел бы так быстро починить сломавшегося чусара; даже прокурору, когда выяснилось, что прорыв произошел без чьего-либо злого вмешательства, вручили лопату и поставили драться.

Маронов сидел тихо, различая лишь ноги — несравненное множество ног, таких неуклюжих в суматохе; потом ему стало почему-то обидно, он поднялся и, не останавливаемый никем, побрел назад. Струи раскаленного воздуха текли отвесно перед ним, и сам он пошатывался в них, подобно пламени, качаемому собственным жаром. Так он и шагал в лохмотьях и чужом картузе, не умея справиться с нервной своей икотой. Это был воистину фронт, с той только разницей, что убитые наповал возвращались сами и пешком.

Навстречу шли люди, верблюды, повозки, отправленные на заделку пробитой брешки. Они не замечали Маронова, потому что он им стал ненужным, и только один со всего маху разлетелся на чусара; плюшевой обложки на нем уже не было, и оттого трудно было в нем распознать специалиста по балансированию с кипящим самоваром.

— ...Вы только посмотрите, а? Республика в опасности, а они... — прокричал он фальцетом, пытаясь всунуть какую-то бумажку в обессилевшую руку начальника и обскакивая его со всех сторон. — Морду бить надо, морду этим типам... — Потом он увидел лицо Маронова, заморгал, сжал бумажку в кулаке и произнес одно только слово: — Извиняюсь...

Кулига надвигалась развернутым фронтом в тридцать четыре километра; окрисполком кинул сюда все



свои резервы, — их оказалось ничтожное количество, и тогда по чрезвычайному соглашению властей были двинуты пограничные и саперные части, расположенные поблизости. Температура песка доходила до семидесяти, и никто, кроме людей да насекомых, не смел двигаться по этой обширной сковородке. Бой длился до ночи, канавы наливались хрусткой темной гущей, утрамбовывались и снова наполнялись, — так до трех раз. Даже дехкане бежали от поднявшегося смрада: только грозными водоворотами бури возможно было промыть зараженный воздух. Это был фронт, с тем лишь выгодным отличием, что убитые снова оживали, чтоб продолжать борьбу.

Маронов очнулся четыре часа спустя: его пробудила жажда, во рту не было ни капли слюны, а язык лежал плоско, как покойник. Странные, апокалипсического размаха и цвета облака горели и дымили на закате, точно политые керосином. Он посидел с минуту, черпая ладонью горячий песок и раздумчиво продавливая его между пальцев. Густая куца саксаула, свисавшая над ним, показалась ему багровой. Ухватившись за нее, Маронов поднялся, допил воду из фляги и, как в угаре, двинулся назад, на покинутую им позицию, — республике было безразлично в эту минуту, сознание долга или проснувшееся мароновское самолюбие руководило им. К вечеру он добрался до передовых линий; обязанности чусара временно выполнял все тот же профессор в сапогах, «саранчовая смерть»; он стал страшен, летучий профессор, к астме его присоединился нервный тик. Маронов отыскал себе лопату, но работать не смог, бросил ее и кое-как добрался до ветхой глиняной развалины, из-за которой поднималась луна, пошлая и лоснящаяся, как дека сносившейся гитары. Легкий обманчивый холодок исходил от нее.

Крыша давно провалилась, и луна черными резкими треугольниками расчерчивала внутренность руины. Маронов вошел и опустился на какой-то бочонок, забытый у стены. То, что еще недавно можно было сравнить лишь с костром, теперь представлялось ему кучкой заглохших угольков. Все было необычайно в эти сутки, и, хотя требовалось величайшее совпадение для этой

встречи, он не удивился, когда увидел в тени против себя жену Мазеля. Как и он, она приползла сюда в поисках воды и хотя бы минутного отдыха. Она сорвала с себя платье до пояса и так сидела, откинув голову к стене и зажав какую-то увядшую травинку в зубах: если бы даже вошел ее отец, она не нашла бы силы прикрыться. Ее отряд работал без перерыва от полудня до ночи, и жена Мазеля не отставала от мужчин. От женщины в ней не осталось ничего, и нужно было иметь большое воображение, чтоб понять увлечение Якова и его малодушный прыжок на Север.

Оба видели друг друга, как в тумане.

Она шепнула, не выпуская травинки из зубов:

— ...уходите.

Маронов промолчал. Она спросила:

— Есть вода?

— Нет.

В проеме дверей двигались огни факелов. Пламена склонялись, потухали и возрождались снова, менялись местами в своем колдовском хороводе. Там, в зловонном мраке, происходили похороны убитой саранчи.

— Ну, что там... уже кончилось? — сквозь зубы спросила Мазель.

Он промолчал, он уже сбился сам.

— Тогда дайте пить... пожалуйста.

Питья не было: никто не вправе был выпрашивать воду у людей, которые, на пределе сил, в потрясающем безмолвии ночи, продолжали рыть канавы. Кроме того, среди всех поблекших за день чувств зрело и крепло в Маронове лишь одно: злоба. «Подруга Пукесова, пусть идет сама».

Наконец она узнала его:

— Ну, говорите... зачем вы приехали сюда?

Он продолжал глядеть на нее. О, как образ этой женщины не совпадал с тем, который он создал в тишине Новой Земли. Ему было больно, что этот облик, смятый стремительной действительностью мароновского века, так быстро меняется у него на глазах.

— Вы почти голая... закройтесь, — строго сказал Маронов.

— Зачем вы приехали сюда?

— Вы были женой Якова... закройте! — настойчиво повторил он.

Она не пошевелилась, она еще не понимала, чего хочет от нее этот посланник мертвого Маронова. В конце концов она не собиралась стать женой всех братьев Якова, которые еще отыщутся на свете.

— ...я не досказал в тот раз, а вы должны знать, как это было, — говорил Петр. — Пусть с запозданием, вы должны проводить Якова в его последний путь. Он любил вас, даже когда у него были синие гнилые пятна на ногах и дикая боль. Но надо было ходить, это было тоже лекарство. Мы ходили по очереди, и тот, который отдыхал, командовал и производил счет шагам. Однажды брат упал и сказал: «Теперь всё, Иза...» Тогда я завернул его в одеяло...

— Я не хочу о мертвых!

— ...завернул и потащил к берегу. У меня не было сил закопать его, я решил отдать его воде. Я тащил его по снегу и все думал о том, какая сила у красоты... которая может рождать и убивать вот так, наповал. Потом я прилег отдохнуть рядом с ним, а когда открыл глаза — катилась волна с океана. Я зажмурился и ждал, что смоем нас обоих... но она рассыпалась в десяти шагах. Мне замочило ноги. Вода все-таки взяла его к себе... Так вот, слушайте меня! Это был последний на свете человек, которому ваше существование доставляло счастье. Вам не казалось, что весь этот месяц какая-то частица его еще бродила возле вас? Теперь он ушел и унес с собой и вашу молодость, и вашу радость...

— Я пить хочу, — просительно сказала Мазель; она вся сжалась, самая тень ее стала меньше.

Он усмехнулся без гнева и печали. Только теперь он признался себе, для чего мчался в Азию. Его влекла потребность избавиться от чудесного видения, что сожгло его старшего брата, или — покориться ему. Там, среди новоземельских скал, через безжалобное молчанье Якова, он и сам в первой привязчивой мальчишеской мечте полюбил эту женщину, — и слух о ней, и ее непривычное, как в стихах, имя, и самое ее пренебрежение к греху, с каким она уходила к стольким от терпеливого и слишком великодушного Шмеля. Еще и теперь что-

то чадило в Маронове, и, может быть, был только один способ затоптать в себе тот стыдный и живучий огонек... Вместо этого Маронов поднялся; это далось ему легко, он отдохнул. Луна стояла за его спиной. Мазель не различала в силуэте его лица. Вдруг торопливо, непослушными пальцами она принялась натягивать платье на свои плечи, ощутившие холод. Ей почудилось, что это Яков — большой, добрый и черный — еще раз навестил ее перед тем, как уйти навсегда. Все было возможно в такую ночь.

— Останься... — шепнула она, и ей удалось дотянуться до его пальцев.

Маронов отдернул руку; прежняя обжитая кожа уже сползала с него, а новая еще не привыкла к прикосновениям. Он вышел наугад; тростниковая труха хрустела под ним, как осколки зеркала, в которое когда-то с гордой радостью гляделась эта женщина. Его мысли были о смешном бегстве Якова и о самом себе, еще вчерашнем... Когда, к рассвету, он воротился с флягой, он не нашел места, где оставил Мазель. Руина стала неузнаваема; их там было много, целый мертвый городок лежал у входа в пустыню. Луна гасла, все становилось обычным. Здесь и произошла его собственная линька из юношеского возраста в следующий, спокойный и зрелый. А он-то думал, чудак, что тотчас за горизонтом юности начинается его закат!

Много спустя, когда Туркмения могла уже спокойно спать ночи, Шмель поехал проводить гостя, отправлявшегося в обратный путь на Север. В ожидании поезда с Термеза он расспрашивал Маронова о подробностях незабываемой саранчовой атаки, после которой в Кендерли производился пересев частично уничтоженных культур. И тот даже восстановил в памяти дислокацию и направление заключительных, уже разрозненных кулиг, всё — кроме последнего разговора с женой Мазеля.

— Рановато ты бежишь от нас, товарищ,— говорил Шмель, вертя мароновские пуговицы. — Видно, не понравилась тебе Азия?

— Там у нас лучше, на Новой Земле, — смеялся Маронов. — Теплей!

— Но все-таки хорошо, что ты приехал, правда? Проветрился, вырос, набрался новых сил...

Они стояли на безымённом азиатском полустанке. Громадные кипы прессованного хлопка лежали под навесом — наглядное свидетельство того, что время и усилия их не прошли даром. Было сыровато. Начинался серый мурманский дождик. Дело склонялось на осень.

*1930*

СОТЪ

РОМАН



# СОТЬ

## Глава первая

### I

Лось пил воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину. Была насыщена она радостью, как оправдавшаяся надежда. Стоя на раскинутых ногах, лось растерянно слушал свое сердце. С его влажных пугливых губ падали капли в ручей, рождая призрачные круги по воде. Вдруг он метнулся и канул в лесные сумраки, как камень в омут.

Об этой тайной водопойной тропке ведало, должно быть, все лесное жительство: так читалось по следам у ручья. Из-за дерева выступил корявый старичок. Кроме неба и желтых прошлогодних осок, в воде отразилась собачья шапка да длинные, не по тулову, руки, повисшие из рукавов. Вздывая ноздри, сердито внимал старичок оглушительному гомону пробуждения... В тот крайний час угасающего дня лес начинал хрюкать, лаять, петь, всяк в свою любовную дуду. Первыми застонали зяблики, и где-то в соседнем болотце, укромном месте птичьей любви, проникновенно отозвались бекасы. В позлащенной закатом высоте проплакала скопа о своих жертвах, нарождающихся по земле, горлинка навзрыд звала своего хохлатого супруга, гукнула выпь... и первая звезда, нежнейшая, явилась над болотом. Уже и на старичка простирался колдовской зуд весны, уже и сам готов был скакать и кататься заедино с обезумевшей птищей, но тут северный ветерок скользнул ему в ноздри. Он чихнул, заморщился и отступил в тень. Стоит ноне сохлый можучный кусток у ручья, и самой неистойвой весне не пробудить его.



Дебрь угрюмилась, замолкали любовные хоры, и только те беспечальные лесовые жители, которых успело пригреть апрелем, лениво копошились на своем пригорке. Перед лицом неслыханной беды они предавались суетливому волнению, и одни запирали бревнами входы, а другие прямо ложились, навзничь, торопясь сразиться и погибнуть в борьбе. Багровая суставчатая туча вонзилась в их округлый мирок, — напрасно они тащили ее на расправу к своему нещадному судье. И хотя лишь забава двигала рукою человека, они утомонились не прежде, чем перестало к ним струиться сверху недоброе тепло. Увадьев вынул палец из муравейника и понюхал: он пахнул терпким муравьиным потом.

— Двигай, двигай... — крикнул он спутникам своим на дорогу.

— Да гуж лопнул, — превесело отвечал возница, шаря в передке запасные веревочки. Все веселило его равнодушную старость: и лихая распутица, обязывающая к приятному безделью, и эта нерубленая синь, надежная броня от мирских треволнений, и эти, наконец, беспутные седоки, которых он вез из одной неизвестности в другую. — Дорога!.. пропасть в ней крещеному, как собаке в ярманке. — Но он ухмылялся всей своей волосатой харей и, судя по азарту речи, всемерно одобрял эту зыбучую родную грязь.

Телега плясала на ямах, спрятанных под водой, кнут задевал о ветви; Сузанне казалось, что лошаденка растягивается, передняя ее часть убегает куда-то в окончательное небытие, а нехитрое колесатое сооружение, именуемое подводой российского мужика, так и стоит на месте. Едучи в синюю мглу, Увадьев раздумчиво жевал почку, сорванную с придорожной крушинки; на языке долго держалась душистая, волнительная горечь. «Весна, — кисло думал он, — размазня чувств и душевная неразбериха...» — и мысленно грозил ей кулаком. Он не любил гулливой этой бабы, которая безобразит на дорогах и голос которой простуженно клокочет ручьями; он вообще не любил ничего, что крошилось под грубым рубанком его разума, и, если уцелел в его памяти какой-то весенний овражек, усеянный одуванчиками по скату, он стыдился этой самой сбивчивой своей страницы... Зато

и лес встречал без приветов этих трех строителей людского блага. Густилась тьма, уже не оживала потревоженная тайна, дорога временами пропадала, и хоть дразнили изредка остожены на полянках, все не объявлялось теплое жилье. Понурый, как черный манатейный монах, выходил на дорогу вечер.

Щуркими от дремоты глазами Увадьев вглядывается в темноту, и воображением дурашливая овладевает сумятица. Продрогшие деревья обнимают друг друга, греясь в исполинских схватках. Темные глазки лесных хозяев перебегают в буреломе. Холод неуклюже копошится в руках, и Увадьев медленно догадывается, что девушка вправо от него совсем замерзла. Ее четкий и ненавистный профиль смутно мерцает под полями мужской шляпы; ее высокие сапоги до колен закиданы грязью. Он досадует, что с нею и десятками подобных ей суждено делить труды по великому начинанию. Его злит близость женщины, и он не верит, что это тоже власть весны.

— Водки хотите, товарищ?

Она оборачивается, почти испуганная его заботливостью:

— Спасибо, Увадьев, я не пью водки.

— Что же вы пьете, когда промокнете?

— Я пью только молоко.

Она смеется уже не в первый раз, и ему хочется жевать свой негибкий язык. Тогда за спиной шевелится Фаворов, инженер, третий в подводе; не без словесной красоты он распространяется о Петре, который почти так же, кнутом и бесчисленным количеством свай, осушал пространное российское болото. «Не то, не то, — хочется кричать Увадьеву. — Твой Петр был кустарь, он не имел марксистского подхода...» И опять он ощущает свой язык как суконную стельку, в насмешку засунутую ему в рот. Так идут минуты, и теперь только один возница, наобум тыча кнутом во мрак, дивуется на фаворовское словотечение.

Глуше хлюпают колеса в колеях, меркнет свет в подорожных водах; хрипит надсадно правая чека, в нос вторгаются древние запахи ледяной сыри и разопревшего коня. Дремучее дремлет, утомясь недавним любовным припадком. Таинственно течет лесная ночь, и, как реч-

ная в заводи трава, ветви отклоняются по течению. Она въедается все глубже, зараза сна. Мир опрокидывается, и все летит из-под ног. Склонясь к себе на мокрые колени, Увадьев дремлет, но и ночная его греза все о том же.

По бесплодным пространствам Соти несутся смятение и гомон сплава, а невдалеке, подобные чудовищным кристаллам, мерцают заводские корпуса: там, в шести огромных черных ящиках, в тишине укрощенного неистовства происходит медленное рождение целлюлозы. Двигутся зубчатые ленты из реки, влача на берег свою ежеминутную добычу; унывно поют стаккеры, ссыпая в темные монбланы мокрый баланс, и Увадьеву любви вдвойне эти стальные неоскудевающие руки. Сам он, Иван Абрамыч Увадьев, идет заводским полем сквозь знойную северную непогодицу; одиночество томит и радует его. Ему навстречу огромным, машинным шагом, невозможным наяву, движутся Бураго и Ренне, отец Сузанны; они почему-то смеются и длинными пальцами указывают в него с высот своего страшного роста. До боли в шее он задирает голову, и ледяная изморось брызжет ему в оголившееся горло. «Спешите, спешите, товарищи, вы строите социализм!» — кричит он вверх, стараясь прочесть в глазах их сокровеннейшие мысли. «Тим-тим...» — басовито и бессмысленно отвечают те, оставляя Увадьева в томительном недоуменье. Опять они идут, и сапоги их пожирают дорогу, как те каменные бегуны на бумажной фабричке, где он родился. «Тим-тим!» — нараспев говорит Бураго, вращая белками глаз, выпуклых, как яичная скорлупа, а Ренне вторит ему отрывистым и важным мычанием. «Тим-тим...» — во внезапной ярости кричит и Увадьев, постигая по-своему смысл начавшейся игры — «тим-тим!». И вот волшебством сна он шагает впереди них, подмигивая ближнему стаккеру, легко и мощно приподнятому над землей; и машина понимает... Потом рвется непрочная оболочка сна, и ознобляющий толчок возвращает Увадьева к яви.

Подвода стоит среди тесной поляны, и черная копна сена на ней — как высокая иноческая скуфья. Звезды пропали, точно ссыпала их в мешок все та же беспутная бабища и сама села на мешке. Дороги нет, под ногами травянисто чвакает весна, и вот уже не разобрать спросонья,

в котором веке происходит дело. Ель и ночь. Несколько поодаль Сузанна мужскими словами отчитывает возницу, который тем временем щедрыми охапками натаскивает сена своей клячонке. Увадьев шатко идет к вознице; все еще заслоняют действительность громоздкие образы сна.

Уже не радуется мужика вынужденная остановка:

— Эва, конек малость с дороги сошел.

— Сам-то где же был, тим-тим?

— Да там, где и ты: во снах рыбку удил!

Мгновенье злость борется в Увадьеве с дремотой.

— Не чуди, Пантелей. Это ты меня, а не я тебя нанимался везти в Макариху. Ищи теперь дорогу, чертова погонялка!

Мужик странно молчит и вдруг стремительно, не щадя добра, ударяет шапкой оземь:

— Тута, товаришш, ночевать станем. Нельзя ехать: заведут! Тут нечистой силы под каждым корнем напихано! У нас поехал один эдак-то, глянул, а колес-то под ним и нету...

Увадьев упруго вскакивает на передок:

— ...кланяйся деткам, Пантелей! — и уже шарит упавшие вожжи.

Держа лошаденку под уздцы и чуть не плача, мужик ведет подводу в крайний мрак ночного бора. Снопы ледяных брызг, хрустких на зубах, извергаются из-под колес. Лошаденка фыркает и шарахается чего-то, недоступного немощному глазу человека. Фаворова, который ушел искать дорогу, все нет; ему кричат, но он не откликается. Спичек нет, ибо курит только Фаворов, а Увадьев пятые сутки жует антикурительные леденцы. Ни ветра, ни неба, ни путеводных звезд на нем, и лишь где-то по верховьям елей гудит и плещется апрель. Телега снова упирается во мрак; расставя руки, Увадьев пытливо шарит тьму и не узнает сперва мокрой, волосатой щеки Пантелея.

— ...передеваюсь. Вера у нас такая: заплутался — надо кожух наизнанку вздеть. Ходят... ишь, ишь, выступает как! Эй, кто?.. — жалобно кричит мужик и, как ослепленный, вертит головой.

— Не ори, кому в эту пору в лес охота!

— Они везде, они — где подумал, там и ходят. У нас Пярково эдак-то зашел да двою сутки бездорожно и ма-

ялся. Напослед скитаний выдался он эдак на плешинку лесовую, видит: сидит воин на пенышке, лапоток обуват. Тут он сразу и смекнул, что Невский Александр...

— Беглый поди... — угрюмо косится Увадьев, и уже самому ему мнится, будто выступила из-за дерева голая чья-то толстая нога.

— Не, скиток тут его... вот и бродит. Ну, а Пярково-то сам из солдат, подходит, кланяется — дескать, насчет путинки бы! А воин привстал да как маханет его ручкой промеж бровов. Так у него руки-ноги дыбом и встали, у Пяркова-то. Из Епы он, коператив по-вашему, вот святителю дух епиный и не понравился...

Приспустив козырек, мехового картуза, Увадьев задумчиво жует карамельку:

— Деток-то много наковырял, дудкин сын?

— Четвертого ожидаем к Покрову.

— Быть, значит, и деткам дураками: вся порода в тебя, осиновая. Езжай, букалище!..

Сам он, однако, идет вперед и осторожно, без предупреждения, хватает смутительную ногу. Та хитра, она не вырывается, не убегает, она ждала нападения, и Увадьев держит лишь осклизлый свежеструганый брус. Тьму торопливо разгребают руки. Бревенчатый, на насыпи, не на нонешнюю совесть ставленный частокол охраняет сердце леса. В щелке меж кольев мерцает невзрачный огонек, поминутно заслоняемый веткой. Весна спустила своих псов: ветры, тихо скуля, лижут снег. Заблудившаяся телега гремит на выпученных корневищах и цепляется осями за стволы. Просека уводит вниз, и здесь является Фаворов; он напрасно пытается закурить: отсырелый табак не принимает огня. В недолгом свете спичек, негаданный, как наваждение, рождается крестом деревянный крест. На карте, которая в кармане у Фаворова, нигде не помечен этот тайный скиток.

Двое недружно бьют сапогами в ворота. Идут какие-то куски времени; ни окрика, ни псиного лая, да и елозящих шорохов за воротами не отличить сперва от разнозвучных журчаний апреля. Потом в проеме квадратного оконца, прорубленного на высоте плеча, возникает рука с фонарем, а за нею тянется кудлатая рыжая голова в скуфейке. Глаза смотрят в глаза. Пантелей шумно крестится и кланяется огню.

— Пошто в ворота бубните?.. грабители аль грабленые? — дерзко кричит монашек: видение женщины ошеломляет его и понукает на эту стремительную дерзость. — Нам и собственных блох прокормить нечем!

— Отпирай, инженеры мы, — глухо говорит Фаворов и тычет пальцем в форменную свою фуражку.

Фонарь качается, и вся вселенная раскачивается вокруг него.

— Дозвольте, у игумена благословлюсь сперва...

Со стуком падает окошко, снова уныние и гулкая весенняя капель. Карамелька во рту Увадьева пахнет скверными духами и прилипает к зубам; украдкой от Сузанны он отдирает ее ногтем. Ворота раскрываются настежь: сутулый и в рваном полушубке поверх манатки низко кланяется новоприбывшим. И уже не дерзко, а плачевно суется в фонаре заморенный великопостный огонек.

— За молитв святых отец наших... помилуй нас! — Монах напрасно ждет ответного аминя, а рыжий спутник его гневно потрясает фонарем, но тот отводит его в сторону повелительной рукой и новым поклоном извиняется за неразумие младшего. — Дорогу ищите?

— В Макариху плыли, гражданин игумен, — объясняет Увадьев.

— На полунощнице игумен... а в Макариху, эва, через реку. Только лед опаслив ноне: весь во швах да в промоинах. Сидеть вам тут до воды... — Исподлобья он смотрит на Сузанну, и, видимо, желанье укрыть живых от непогоды превозмогает в нем запреты святителей вводить женщину в обитель. — Пожалуйте, в дом божий все вхожи... — Придерживая визгливую половинку ворот, он дает знак Пантелею ввести подводу.

Отсырелые постройки пахнут мокрым деревом и пронзительным весенним навозом. В крохотной звоннице медноголоса кричит ветер. Через грязь ведут высокие мостки. Непогода усиливается, и тем слаще терпкое тепло келий.

— Могильная у вас тишина, отец, — для почину говорит Увадьев.

— Приличествует монаху могила, — эхом вторит старик, смущая гостя новым поклоном.

— Вы не кланяйтесь, не становой... не люблю.

— Не тебе, а высокому облику, что тебе на подержание дан, поклоняюсь!

Увадьеву хочется возражать много и увесисто, но распахивается дверь в тепло и сон... ослабевшая рука покорно тянется к скобке. Рыжий монашек пропускает гостей вперед. Дверь закрывается, как прочитанная страница, и опять овладевает округой хлопотливая суетня весны.

## II

Стоят леса темные от земли и дó неба, а на небе ночь. Незримо глазу положен на небе ковш; ползет ковш ко краю; выливаются на жадную землю сон, покой и тишь. Мир спит, и никому не ведомо в нем про укрывшихся в длинных приземистых избах черных мужиков... Было время, соловьиным щекотом встречал лес буйные весенние набегии, но состарилась лиственная молодежь, одолела ее могучая хвоя, и сны иные стали ночевать в их омраченных мудростью верхушках. В ту пору зеленой младости сошлись на этом месте блаженный Мелетий, который умер впоследствии, наколовшись о змею, да еще Спиридон, что значит круглая плетеная корзина. Бегунов из мира, приманила их девическая нетронутость места, они и стали зачинателями этой северной Фиваиды.

К ним, как ручейки к самородному озерку, притекали разные люди, которые тоже не нашли, чем обольститься на этой удивительной земле. Сбежались ручейки воедино, и вышла тихая, угрюмая река; ее истоки затерялись в людских низинках, а устьем приникла она к той обширной голубой чаще, откуда извечно утолял жажду ветхий человек. Жили бедно, жили впроголодь; гнали смолу, продавали меды на Спасов, ибо монаху стыдно пчеловодом не быть, и долгие годы ни урядники, ни богомольцы не нарушали обительского уединения. Ночными призраками, бездорожьем, ядовитыми воспареньями болот бог охранял свое гнездовье.

А потом проведали о спасенниках купцы, наезжали пожить наедине с нечистою душою и за недолгий постой дарили скиту мешок ядрицы, либо прибор столярный, либо конька пошелудивее, потому что не храбровать же

на нем монаху, либо ситцевых чернот, заваливавшихся на складе, а один, именем Барулин, которого здесь и погребли, на медное било расщедрился, плиту в семнадцать пуд; в нее и били, благовестуя праздники или часы отдохновенья. Не крупный шел сюда купец, не удавалась обители мирская слава. Тогда хозяйственный Авенир завел старцев в скиту, и первые воистину обладали даром развязывать незамысловатые мужицкие узлы, а потом измельчало званье, попадали в него не по благодати, а по назначению, и ко времени великого скитского разорения состоял в старцах один лишь безногий Евсейко.

В давние дни Мелетия обильно бродил здесь лось и путлял медведь, но в начале века, в голодный год, двинулись сюда переселенцы, и многие селились на угодьях, которые от века скитские водители почитали за свои. Так родилась Макариха на Соти, привольная Шоноха на Шуше, Ильюшенско на Голомянке да на Быче Лопский Погост. Сперва терпели вторженье, рассчитывая на их-то спинах и воздвигнуть обительскую славу, но мужик пёр во множестве, голодный и плодущий, как небитая саранча. Последующие наставники, птенцы Авенировой выучки, уже воевали с настырными мужиками, и авва Сергей, к примеру, пойму через сенат оттягал, собираясь строить на ней конный завод, но помер в губернаторской канцелярии, где хлопотал о воспреещении рыбной ловли в Соти; падая, уже не живой, он схватил писаря за хохол, да так и повалился вместе с писарем на пол. Не с того ли и началась гибель империи, которая для скита, без преувеличения, была крушением самой планеты. В тот же год, слегка побунтовав, мужики безобидно пахали скитские земли, рыбу же возили на продажу в городок; зимами, впрочем, они по-прежнему хаживали через лед послушать протяжное иноческое пение. Скит возвратился в прежнюю скудость.

...Стоят леса темные от земли и до неба, а на земле сон. Спит все, чему дано это сладкое беспамятство, и даже тягучие вешние воды ленивей текут подо льдом, омывая скитское возгорье. Полунощницу отпев, спят боковы мужики, а среди них престарелый Ювеналий, который безвыходно сидит в келье, как коряга; Феофилакт, всегда обсаленный, точно все обтирали руки об него;



Ксенофонт, бегун с Афона; Агапит, всему миру безвредный и бесполезный приятель; Аза, что значит чернота, ибо слеп; рябой Филофей, осадная башня вопреки имени своему; Устин, всегда носящий пыль и ссадины на лбу, следы моленья; еще Филутий, Кукий, Пупсий и некоторые другие, помянутые в ином и лучшем месте.

В угловой покосившейся келье спит на голых досках задушевный казначей Вассиан. Под навесом из трав, на которых проставлены заветные травяные имена, спит он сам, хранитель тридцати обительских рублей, спит, и горькие мечтания баюкают его старый сон; спит, и кошка ему лысину лижет.

Мнятся ему обширные пространства вырубленного леса, а на них цветут благолепные монастырские палаты. Возглавляет их шатровая колоколенка, видная из четырех волостей, строенная по собственной его, Вассиановой, причуде. Кружевные яруса легко взбегают вверх, а вверху развешаны колокола, басовитые деды со звонкими внучатами. И будто бы в знойное утро Духова дня, напоенное колокольным плеском и птичьим щебетом, ждет обитель губернаторского приезда... Богомольцами да всякой калечной паствой затоплена соборная площадь; по ней похаживают шустрые монастырские служки, сортируют народ, ибо равно взору и вышнего и земного начальства приятны умильные лица, утверждающие мудрость правителя. Сам он, Вассиан, стоит у ограды, прямо против паперти, слаженной из кованого рисунчатого чугуна, и зорко блюдет порядок и благочиние... И будто всех он знает по имени-отчеству, и его тоже знают все. Потом ветроподобно проскакивают взмыленные кони, и вот сам губернатор, сверкая сановой чешуей, сходит из коляски на хрусткий, незатоптанный песок. Он улыбается, и все улыбаются ему, и даже могучий архангел, который в огненных сапогах изображен на стене собора, смягчает свой немилосердный, темный лик. Губернатора сопровождают чиновники с алчными лицами, чиновников сопровождают жены с желтыми складчатыми шеями, а жен их — вертлявые молодые люди, которые тоже не без удовольствия улыбаются.

«Тим-тим, — приветственно говорит губернатор, кивая по сторонам, — тим-тим!» А Вассиану понятно, что

это означает — «дать сему казнохранителю персицких изразцов на лежанку, с конями, цветами и воинами!» Он бежит чуть поодаль, Вассиан, и все смотрит, все смотрит с умилением и тревогой на блистающие губернаторские калоши. И вдруг сквозь радостную жуть восхищения своего он догадывается, что сейчас произойдут похороны, а покойник — это он и есть, шествующий впереди, нарядный и добротный сановник. «Тим-тим, — зябко шепчет Вассиан, кланяясь и забегая сбоку, — тим-тим!» И показывает, придерживая рукав, на ветвистые, полные птиц и прохлады монастырские деревья, под которыми столь приятно и без особой скуки станет гнить тучная губернаторская плоть. «Тим-тим!» — взახлебку звенят колокола, и даже нищий слепец, высунувший из толпы кружку под милостыню, воодушевленно лопочет свое гнусавое «тим-тим».

Уставясь во тьму, Вассиан лежит с открытыми глазами, и нет во тьме ответа смятенным Вассиановым запросам. Сообщница Вассианова уединенья, кошка мягко спрыгивает на пол; она напрасно ищет еды, зевает и возвращается на хозяйскую овчину. Вассиан зажигает свечу и уныло, как кляча — вытертый свой хомут, обводит взором келью. Все в ней, от стоптанных ошметок у порога до подпалинки на иконе от упавшей свечи, вопит о нищете скита. Не склеивается разбитый сон, напрасно Вассиану даются ночи. Он берет с подоконника узкий ящик с землей; бледные ростки овощной рассады тянутся к нему, и он улыбается им безресничными глазами. Именно овощам он подарил остатки своей жизни, и они произрастали у него в изобилии, достигая порой ошеломительных размеров.

— Неслыханно, — дивился не раз Ипат Лукинич, председатель из Макарихи, любитель чинной беседы. — Это уже не редька, а целый продукт!

— Нет, — себе на уме улыбался Вассиан, поглаживая хвостатого своего младенца. — А есть в этой земле нетронутая сила, и никто еще ее не раскопал. Везде я искал, по степу бродил, у башкеров бывал, в горы солдатиком вторгался, а краше Соти не обрел места на земле.

— Хлебушки-то у нас унылые, — возражал председатель, косясь на редьку, ибо пахли у Вассиана овощи.

— Не умеете силу раскопать, а живете, как цыган в палатке, без любви к месту, а все жадничаете, а за богowym тянетесь... — И принимался за повествование, как он сжигал накорчеванные пни, как рыл водоотводные каналы, а тощие, мытые пески ежегодно уваживал нечистотами, которые растаскивал на собственной спине. В те сроки и пахло же от Вассиана; в трапезной врыт был для него особый стол, который все обходили. «Он зла любит, — говаривал про него хулительный брат Филофей. — Нюхнуть однава, вовек не отплюешься!»

...А пересмотрев рассаду, оделся в кожан и вышел на добровольное послушание. Туман напознал на берег, в природе торжественная начиналась ворожба. Он зашел за черпаком и корзиной, уже не пропускавшей жижи, и, помолясь на мысленный восток, двинулся в обход по ямам. Шла середина ночи. Посдвинув крышку, он черпал жидкую черноту, в которой иногда отражались звезды, и относил на грядки. Состарившись наедине с природой, он привык населять свою глушь существами, вычитанными из рукописных цветников; он привык угадывать их всюду, куда не умел добраться разумом, и скорбел сильно, что никогда не доводилось ему встретить беса и сразиться с ним. Близился закат дня его, а все медлил тот, и не удавалась встреча.

Об этом и раздумывал он у ямы, что близ самой кельи Тимолаевой, когда раздался крякот в дощатом нужничке, и оттуда вышел, застегиваясь, черный коренастый мужик в меховом картузе, незнаемый дотоле казначею. Распялив глаза, трепетно ждал Вассиан продолжения видению своему, а туман сгущался, пожирая лес, и на размытом том пространстве один предстоял Вассиан сбывшемуся своему мечтанию.

— Трудишься, отец? — любопытствовал бес, причмокивая как бы конфетку. — Видно, и у вас даром-то не кормят!

— Ямы вот чищу, — охрипло отвечал казначей.

— Чего же присматриваешься, аль признал?

— Ты бес... — путаясь в мыслях, сказал Вассиан.

— А бес, — чего ж не вопишь? — засмеялся тот, и туман поколебался вокруг, как взбаламученные воды.

— Гласу нет...

Брезгливая горечь отразилась в лице беса:

— Ну, старайся, отец! — и, стуча по мосткам, сокрылся в тумане.

Внезапная немочь разлилась по телу казначея; спотыкаясь, он бежал по цельным грязям и вдруг негладным образом оказался на берегу. В этот именно час тронулась Соть, а Балунь еще тужилась и синела, как нерожалая баба. Плотными хлопьями туман оседал на ветвях, растилаясь от реки к реке. Мир покорно и леностно растворялся в нем, и, казалось, наступала та первозданная муть, в которой была разболтана когда-то вся последующая история людей, строительств и городов. Глухой треск наполнял ночь; огонек из Макарихи потерянно сиял в тумане, как заблудившаяся звезденка. Со страхом слушал Вассиан ворчливое пробуждение реки... Книголюбу, ведомы ему были обличье и повадки всех именитых бесов, но этот не походил ни на одного из них; Вассиан тогда не знал, что на деле еще большая их разделяет пропасть, чем та, которая лежит между чертом и монахом. Уже ссорясь с разумом, все домогался он имени новоявленного беса, а беса звали **Бумага**.

### III

Утром, заново вылупливаясь из небытия, вещи выглядели с наивной и несмелой новизною; вот так же и человек тотчас по сотворенье умел только петь и пел не краше петуха. Дул гулкий, мокрый ветер; слышалось в нем и сдержанное рычанье вод, и тягучие жалобы лесов, напоенных предвестьем гибели; мягкий, как теплая вода, он озноблял. С обеда Увадьева потянуло на тот песчаный мысок, под которым с Сотью сливалась нешустрая Балунь. Обе они, малые сродницы великой реки, долгие лесные версты текли извиристо, как бы отыскивая друг друга, и самое слияние их походило на робкое объятие двух разлученных однажды сестер. Сюда, на ветхую скамью, часто приходили, наверно, скитские старики любоваться на закаты, величавые, как вечность.

Воистину краше Соти не обрести было Вассиану места на земле. Огромными пространствами владел здесь глаз; они порождали пугающее желание подняться над

ними и лететь. Было холодно наедине с этой пустыней и с первобытным небом, повисшим над ней. Увадьев сидел тут долго, изредка потирая охолодевшие руки и созерцая могучую синюю шерсть лесов, в которой только что начали протривать дороги; он сидел неподвижно, точно пришитый гвоздями, и только приход Фаворова всколыхнул его оцепенение.

— Простор-то... прямо хоть Апокалипсис новый пиши! — крикнул он с узкой ступенчатой тропки, внизу которой еще чернел на снегу костяк прошлогоднего паррома. — Глаза ломит простором...

— Еще пиво хорошо тут пить, — минуту спустя откликнулся Увадьев.

Фаворов с кроткой неприязнью покосился на этого обмозолившегося человека, которым новорожденная идея замахивалась на обветшалый мир. Самого его восхищала всяческая пустыня своею отреченной красотой и еще той обманчивой свободой развития, которая существует только в природе; он верил, что Увадьев одобрит ее лишь тогда, когда через нее, заасфальтированную, проедут на велосипедах загорелые смеющиеся комсомольцы, и со скукой отвернулся в сторону деревушки. Раскинутая на скатах небольшого холма, она цветом отсырелых кровель, державших кое-где клочья снега, удивительно напоминала разломленный ржаной ломоть, густо посыпанный солью.

— Съедем ломоток-то, — кивнул он потом на обреченную Макариху. — Смотрите, там разместится лесная биржа... вот, где баба идет с ведрами. Варочный корпус будет там, где собака. Стихия... не боязно?

— Ничего, глаза страшат, а руки делают, — все так же без выражения, не своими даже словами, ответил Увадьев, и Фаворов с любопытством обернулся.

Вкруг скамьи, по песку, еще рябому от апрельской капли, лежали узкие, немужские следы; Увадьев изучал их с тяжким и недоверчивым вниманьем. Для обоих имя этой женщины, побывавшей тут часом раньше, звучало одинаково необыкновенно, но в одном оно поселяло волнение почти такое же, как вот эти корявенькие, набухшие прутьики бересклета, сбегавшего к реке, а другой был готов глумиться над ним, потому что в этом заклю-

чалась его единственная оборона. Вдруг Увадьев встал и мгновенно прислушался к самому себе.

— Пойдем... пучит меня от ихнего гороху.

Горох в эту великопостную неделю был единственной едой в скиту, где порой и вода именовалась пищей.

Здесь-то, на опрятной дороге, засыпанной крупным речным песком, и нагнал их посланец от игумена, тот неласковый рыжак, с которым познакомились ночью. Засунув руки за широкий кожаный пояс, деливший его злое и быстрое тело пополам, он остановился в нескольких шагах и выжидательно молчал.

— Подходи, парень, не бойся. Мы тоже живые... — бросил для начала Увадьев.

— Игумен велел на задушевную беседу привести.

— Душу мы тут спасти не собираемся! — подзадорил Фаворов.

— Значит, губить ее собираетесь здесь?

Он кидал слова с небрежной силой и, раскидав скудный запас, сбирался бежать, но Увадьев задержал его милостивым вопросом, и они пошли вместе.

— Парень молодой, тебе бы в миру куролесить!

— Ношу бремя мое, пока ног хватит, — недружелюбно усмехнулся монах.

— Что ж, в ногах ума нет. Как зовут-то тебя?

— Геласий я.

— Вот и имя-то тебе какое приклепали, чудное. Даже как-то на алюминий похоже!

— Геласий — значит смеющийся, — резко и вызывающе сказал дикарь.

Увадьев многозначительно переглянулся с Фаворовым.

— Над чем же ты смеешься в жизни своей, Геласий?

Тот понял насмешку, и рыжая грива его стала еще краснее. Теперь он шел прямо по грязям и наступал с маху, точно хотел забрызгать спутников своих.

— Над всем, что в мире! Жулики да дураки... за волосья друг дружку теребят, а правда так и лежит в сторонке... и красы нет. В тебе, что ль, правда? — очень тихо спросил он, и Увадьев, дрогнув, заинтересованно покосился в его сторону. — Врешь, она не любит мордастых, она их за версту бежит, правда-то.

— Ага, вот какой оборот, — посмеивался Увадьев. — Лицом я действительно не удался! — Длинные бороды ползучего мха свисали с деревьев; сорвав одну из них, все старался он приспособить из нее хоть веревочку, но не удавалась веревочка никак. — А ты красы да правды не в дырке этой ищи, а в живых. Живые-то в мире живут... — Ему все хотелось вывести разговор из закоулка на более просторную дорогу, и опять рвалась непрочная веревочка.

— Ноне и мертвые ходят, — жестко бросил Геласий, и худая рука его схватила воздух. — Там, где живому боязно, мертвому нипочем... — И, точно избегая увадьевских возражений, он прыгнул в лес через канавку и пропал; только мелькнула черная скуфья, которой не под силу было сдерживать его вьющихся бунтовского цвета волос, да хрустнула по пути обломленная ветка.

— Люблю злых, — минуту спустя сказал Увадьев. — Тугая, настоящая пружина в них, годная ко всякому механизму. Злых люблю, обиженных, поднимающих руку люблю.

— Вы умеете выпить яйцо, не разбивая скорлупы, — непонятно пошутил Фаворов. — Люди этого не прощают! — Мое от меня не уйдет.

Просека кончилась. Дежурный вратарь, по-бабьи здоров рясу, подбежал к ним из сторожки подтвердить повеление игумена. Имея достаточно времени, они решили принять приглашение, а тогда к ним присоединилась и Сузанна. В последнюю минуту, однако, Фаворов чуть не отказался; нянька пугала его в детстве монахами, и он навсегда сохранил брезгливую неприязнь к людям, одетым в эти нелепые долгополые одежды. Кроме того, его делом было строить, а дробить и мять людскую глину он по справедливости предоставлял Увадьеву. Превозмогло то же самое любопытство, которое влекло и его спутников.

Четыре изгнивших ступеньки сводили к толстой двери в игуменскую землянку; было ясно, чем властней стучалась в эту дверь весна, тем исправней, разбухая от влаги, выполняла она свое назначение. Сузанна гадливо толкнула ее ногой, но дверь открывалась наружу, и ей пришлось взяться рукой за осклизлое железо скобки. Не ладан, которого беспричинно боялся Увадьев, а тот кислый, как бы из капустной кади, запах, когда мужики

много и бездельно сидят в тесноте, пахнул ему в лицо. Кир, игумен, ждал, не один, и Увадьев привычно, как на митинге, поискавший хоть одно молодое лицо, испытал легкое смущение. Вдоль бревенчатой стены, низкой и без единого окна, сидели старики числом до двенадцати, водители и камни этой человеческой пустыни. Все они были носителями каких-нибудь душевных искривлений, пригнавших их сюда, и оттого Сузанна с изумлением видела ноздратые носы, вислые уши, пылающие глаза, или, напротив, способные утушить пламя других глаз, огромные цинготные рты, разодранные немим криком, раздутые руки или руки, такие выразительные в худобе своей, точно их подчеркнуто лепил иронический художник. Сам игумен толстыми закопченными пальцами оправлял пламя светца; огонь облеплял его пальцы, от волнения не замечавшие ожога.

— Здорово, отцы, — кивнул Увадьев сгибаясь и пролезая в нору. Одновременно со спутниками он подумал, что игумен нарочно зазвал их в эту яму, где почти вопила скитская скудость. — Как попрыгиваете? — повторил он на всякий случай.

— Дрожим! — отвечали ему из глубины кельи.

— Не мудрено, в эку щель залезли, — безобидно улыбнулся Увадьев. — Тут и мокруша поди чихает...

Все помолчали, пока гости усаживались на заранее поставленную для них скамью.

— Ты шапочку-то сыми, тута не простудишься. Эка надышали! — поскрипел ближний старик, и, хотя не слышалось пока ни вражды, ни порицания, Увадьев решил не идти ни на какую уступку.

— Не серчайте, граждане монахи. Голова у меня в войне контужена, и от воздуха как бы дрожание на нее находит. Я иной раз и сплю в шапке, такое обстоятельство! — Он мельком взглянул на Сузанну, но та не одобрила, кажется, его выдумки.

Тут, шаркая стоптанными сапогами, сухонький монашек внес большой медный чайник; белый пар бился из носка. На растопыренных пальцах он держал стаканы по числу гостей; наспех обмахнув стол полой своей замусоленной рясы, он налил в стаканы густого березового чая и поспешно удалился.



— Вот, грейтесь чайком. Хоть и ночные, а всё гости, — поклонился Кир, придвигая три серых от времени куска сахара, сохранявшихся, видимо, вместе с рублями в обительской сокровищнице. — Самим-то нам правило не велит, да и отвыкли...

— Чаек обожаю, — просто сказал Увадьев; соскоблив с куска грязцу и налипший на него русский волос, он неторопливо отправил его в рот. — Волос сладости не убавляет! — взмахнул он бровью, почитая и грязцу за нарочную выходку Кира.

— Вот и славно, — приветливо продолжал игумен, — давайте ознакомимся сперва. От века признавали мы берлогу по желтой проплешине в снегу под вывороченным корнем; советских людей по обличью признаем, — он поклонился, как бы извиняясь за свое ненамеренное оскорбление. — А мы мужики. А до пострига зверя тут промышляли, лис били, лосей загоняли. Михейко, эва, у медведицы дитенка крал, она ему малость ляжку поела: так и хромат доселе на одно колесо. — Видимо, он волновался; пальцы его бегло обжимали пламя, как бы пытаясь вылепить из него знак, достаточный для устрашения Увадьева. — А сам-то я живописец был. И я исправный, сказывают, был живописец. Успенье, дорогой мой, в ноготь мог написать. Иконка, и молиться можно, а вся в ноготь. Шешнадцать человек, и каждый с личиком, и у каждого в глазике соседик отразился.

— Очень интересно, — молвил Увадьев, приступая к чаю. Он пил его с видимым удовольствием, невзирая на явный березовый привкус, пил не спеша, и даже легкая испаринка проступила у него на лбу. Игумену он не возражал до поры, справедливо угадывая, что карьере игумена предшествовала многолетняя деятельность скитского духовника.

— ...а сам я сюда пришел от неправды людской, — тянул Кир, озираясь на братию. — Братца у меня повесили, обожаемого братца. Удалили на Костроме...

— Кто ж его так нехорошо, братца вашего?.. — вступил в беседу Фаворов.

— Кто!.. У кого власть, у того и петля. Царишко удавил, ему пределу нет.

— Правды, что ли, добивался? — надоумясь недавним разговором с Геласием, любопытствовал Фаворов.

Игумен засуетился; в движениях его скользнуло кратковременное раскаяние, что не воздержался от упоминания о братце.

— Как тебе сказать, дорогой мой?.. людишек он побивал. Ведь поискать, так и праведника в петлю вставишь. Без греховинки-то вон огонь один, да и тот жжется.. — И опять он продолжал говорить, цветистой многословностью своей вызывая негодование братии, а Увадьев всепил и, бережно отставив в сторону допитый стакан, принялся за другой, от которого отказался Фаворов.

Монахи терпеливо глядели ему в рот, напрасно выжидая, что вот он сам обнаружит, много ли власти возложено на него, много ли беды привез с собою. Волновались они не зря: уже творились в округе вещи, несообразные с древним обликом Соти. Еще с зимы в Макариху стали собираться многолюдные артели рабочих, которые тут же и расселялись по мужицким избам. Толком никто ничего не знал, а десятники и техники лишь перемигивались на скороспелые тревоги черноризцев. Не меньше двухсот подвод, нанятых из окрестных деревень, ежедневно везли со станции бутовый камень, алебастр, железо всех сортов, паклю, стекло, гвозди; они везли и вязли в добротных российских грязях: распутица вконец разъезла зимники. Одновременно с этим свыше четырехсот мужицких топоров да лопат прокладывали грунтовую дорогу на Шоноху, прочерченную каким-то сумасшедшим чертежником прямо через болотистые леса. Чуть не по колено в воде, тотчас за метчиками, шли рубщики, открывая мостовщикам и дерновщикам широкую, шестиметровую тропу; они безжалостно врубались в дебрь, от топоров переняв свою повадку, и там, где раньше щебетала птиць да путлял сонливый зверь, встали ныне хлипкая брань да железный клетот. На виду у всех по слепительному весеннему насту ежедневно бродили кучки людей с треногами и всё искали в трубках нивелиров тот безвестный лысый бугор с часовенкой, при которой от века существовал монах, собиравший даяния со всяких мимоезжих людей. Вечерами они возвращались злые и молчаливые; ели так, точно в утробе у каждого сидело по батальону солдат; спали так, что и пушками не пробудишь. Округа терялась в темных догадках, и даже сам

Лука Сорокаветов, родитель макарихинского председателя, присяжный отгадчик мировых тайн, только руками разводил на запросы однодеревенцев. Явствовало лишь, что по проложенной дороге прикатит вскорости лютая машина, которая неминуемо пожрет и несуетловную прелесть места, и тишину — наследие дедов, а вместе с ней и Мелетиево детище.

Еле переводя дыхание, Кир смотрел украдкой на эту невозмутимую глыбу, свалившуюся ему на голову, на его большие в темном пушке руки, такие же широкие в запястьях, как и в ладони, на его костистые, вроде наковален, колени и, хотя не делил с ним чайного удовольствия, такая же испарина проступала у него по лицу. А тот всепил, наевшись селедки в обед, и цвет его причудливо менялся, как у стали в закалке. «Эка, чай-то хлещет, ровно на каменку в бане льет!»

— Какие вас сюды ветры завейли? — не вытерпел он наконец.

— А нас не ветры, мы сами, — очень строго произнесла Сузанна, и все посмотрели на нее с осуждением, точно совершила явную непристойность.

— То-то, сами... Ты, бабочка, сиди; баба посяя всех тварей сотворена была, не с тобой речь! — твердо обрезал игумен, а Увадьев даже от стакана оторвался, чтоб удостовериться, не начался ли уже скандал: все пока обстояло благополучно. — И Геласия-то сутемень напугала. Да и сами в страхе живем! Соглядатаи с трубами по полям ходят, в трубы ищут, а чего искать? Мест много, на все места людей не хватит!

— Мы не таких местов ищем, — вставил Увадьев, неуверенно берясь за третий стакан, и тотчас Кир оживился.

— Каких же местов вы ищите?.. для поправки, так на Соленгу езжайте; там и калеки ходят, и бесплодны рожают, как поживут. Домой-те приедешь, а начальство и не узнает: рожато чисто вымя коровье станет. А коли охотных местов надо, так это на осьмидесятой отсель версте, местность Креуша. Все идите, все идите, сперва сухопутьем, а там болотце встренется, вы и его прейдите! Добычники сказывают, лоси-то прямо на опушках табуняются...

— Рыжички там хороши, — нечаянно проговорился один, с маленьким лицом, совсем увязшим в бороде, и вдруг зашелся в оглушительном простудном кашле.

— Рыжички тоже очень хорошо, — поддержал Увадьев, когда все пришло в прежнюю стройность.

Кир опустил глаза, а пальцы его стремительней побежали по лестовке.

— А то поживите бельцами у нас, моленьем да ладаном не поневолим. У каждого своя вера, как ему гибнуть написано. Гуляйте, скоро уж и черемухи запоют... — Он так и не заметил своей оговорки. Вдруг он поднял слезящийся взор, тоскливо и тускло светилась в нем беда. — Мятажно в ски-ту стало, и не вы, гости ночные, мятеж к нам привезли. Уж дороги ведут, железо везут, а мы не ропщем, а мы поем богу нашему, дондеже есмы. Назад тому ста годов более воздвиглась тут, у мочажков, черная Максимова изба, мать киновии нашей. А был Максим не барин, не штабской сын, не купцовой жены племянник, был он солдат беглой. Двадцать лет воевал врагов царских, не одну бадью крови отдал, а в отмену службы велено было забить Максимку палками, он и убег сюда, чтоб тут Мелетием зваться. Вот мы и живем как вареники в масле, корье жуем да всяку добуду лесную, еще воздухом дышим, за сирых бога молим, на помин рупь в год берем... за ту единую вину нашу простите нас, гости ночные...

— Чего ты юлишь, пускай они юлят да право свое покажут! — шепнул гневно ближний старик, несравнимо косматый. — Наше право вот оно... — и совал Фаворову в руки скрипучую грамоту с восковой печатью; в красном воске виднелась благословляющая рука.

Фаворов, посмотрев бумагу, сказал **мерси** и отдал назад.

— Бога-те отсель взашей, а на его место свояка посадишь? — бурчал все тот же старик. — Что ж, коли не-пьющий, может, и сойдет.

И тотчас, как по сговору, монахи засмеялись, задвигались, заговорили. Они всяко хаяли свое место, и один разумно указывал на дикость людей и лесов здешних, а другие упирали на то, что допрежь ни царь, ни его верные псы не трогали священного убежища. Кто-то крикнул со стороны, что царь-де ременной плеткой стегал, а этот поди железную привез, и тогда сразу наступила тишина,

точно перед строем в барабан ударили. Увадьев сосредоточенно жевал карамельку; подозревая, что скиток мог иметь крепкие корни в окрестных мужиках, он до времени избегал ссоры, но по лицу его достаточно было видно, что царिशко ему не резон. Уже грозила нахлынуть буря на этот непроглядный человеческий лес, но тут неожиданно в действие вступил Фаворов, и развязка этой опасной встречи затянулась.

— А, кстати, что это такое, ваш бог? — заинтересовался инженер и полез было за папироской, но вспомнил исключительность места и вынул лишь носовой платок.

— Бог — это все, что есть, а чего нет — тоже бог, — спокойно сказал молчавший дотоле молодой монах, и Увадьев удивился, как это он проглядел его раньше. — Начало вещам — он, он же и конец, ему же и поклонись.

— Скажи, скажи им, Виссарьон, — обрадованно сунулся Кир. — Порадуй батюшку!

— О несуществующем не может быть и мысли, — улыбочато метнулся Фаворов, соображая — про какого батюшку помянул игумен. — Но хорошо... ваш бог... имеет ли он вес, объем, величину?

— Нет.

— Что же он такое?

— Бог!

— Это Парменид, но только в русских смазных сапогах! — громко сказал Сузанне Фаворов, а Увадьев, не подозревавший в нем таких знаний, легонько подтолкнул его ногой, чтоб уж не сдавался. — Где же он живет?

— Везде.

— Значит, он постоянно движется?

— Нет, неподвижно божество, и не подобает ему перебегать с места на место. Тот, кто сам конечен, всему домогается конца найти...

— Ксенофан! — блеснул глазами Фаворов. Ему нравилась эта безрезультатная, годная хотя бы и для древней Александрии словесная пря. До начала большой работы оставалось еще несколько дней ледохода, и он не прочь был размять в этом споре затекшие от скитской скуки мозги. — Что же он делает, или чего жаждет он?

— Жажда — смертности нашей основа. Он не имеет жажды.

— Значит, он — мертвый?

— Нет, но вечный... — скрипел фаворовский противник, заслоняясь испытанными элейскими щитами. Может быть, он нарочно обращал на себя внимание этим спором, слишком неподходящим к такой именно мужицкой Фиваиде; все видели, что он слишком много знает о боге, чтоб верить в него. Одежда его была неряшливей, чем у других, но руки его, тонкие и чистые, достойные зависти любого архимандрита, на странные наводили подозренье; их он прятал тщательней, чем глаза, рассаженные глубоко в подбровных ямках. Из впалых щек его отвесно, как у китайского архата, текла борода, и ему, видимо, еще не наскучило изредка гладить ее ладонью. Кроме явных и просторных этажей, имелся в этом человеке какой-то душевный подвальчик, и Фаворов решил когда-нибудь еще поговорить с ним на досуге.

— Вы — образованный человек, вам стыдно быть здесь, — заметил он вскользь.

— На протяжении веков Господь побивал нашу землю не только дураками, он карал ее и умниками... — обиженно бросил Виссарион, смутясь пристального Сузаннина взгляда, и вдруг поспешно вышел из землянки.

Его проводили неуклюжим испуганным молчанием: никому другому не было под силу продолжать незавершенный поединок. Снова грозила начаться рукопашная, и Кир, не дожидаясь, пока улягутся нахлынувшие страсти, осторожно приступал к своим хозяйским обязанностям.

— Вот и живите у нас... погуляете, поспорите. Спор, он проясняет. А надоедят серячки наши, в Макариху поедете. Деревушка веселящая, все и старухи-то, прости Господи, танцухи... — Вместе с тем, страшась утратить до срока увадьеvское расположение, он постарался свести беседу на более безопасные вещи. — Молодая-т — женка, что ль, твоя? — уже ласковей кивнул он на Сузанну.

Увадьеv, который зевал втихомолку, так и не дозвонил до конца.

— Не, женка у меня там, далеко... — неопределенно махнул он, и все поняли, что разлуку с ней он переносит без особого вреда для здоровья. — А это техническая помощница наша, химичка и вообще... — И этот второй его жест был еще непонятней первого.

— Ишь ты... и жалованьишко поди получаешь! — мямлил Кир, глядя на ноги Сузанны. — Не обижает хозяин-то?

Но прежде чем Сузанна успела ответить, случился тот беспримерный в истории скита скандал, который и обнаружил истинные настроения Мелетиева стада. Не обронивший ни слова с самого начала, грузно поднялся с места рябой Филофей, и Увадьеву нетрудно было понять, что этого не переменишь, что с этим придется драться до конца. Он был кузнецом когда-то, но променял на моление славное свое ремесло, и теперь только большие черные руки его можно еще было уважать в нем. Наверно, он умышленно шел на открытую распря, потрясая огромной головой и даже в этом, малом, подражая тому неистовому Аввакуму, которого положил как печать в сердце своем.

— В каких трудах помощница-т... во днях аль в нощи? — с хрипотцой спросил он. И все вокруг опять засмеялись резким звуком распиливаемого дерева, а он стоял посреди, как гора среди малых холмов, обдуваемая ветерками. Старики задвигались, пламя закачалось в плошке, как маятник, по бревенчатой стене заскакали угловатые тени, — целые вереницы гримасничающих теней.

— Уймись, Филофеюшко, не срами... — только и умел крикнуть Кир хулительному брату.

— Кол, кол сунь в гортань мою, не перестану. — И вытянутый палец, как ружье, наставлял в старинного врага своего, Кира. — Полно блекотать-то! Свету како общенье с тьмой?.. Ты его чайшком поишь, а он, эвон, ржет, аки жребя! — махнул он на Фаворова, который откровенно улыбался на эту внезапную волну страстей. — Ты мне, Кирушко, перстом не грози! Ежедень бей меня святым кулаком да по окаянной шее... и побьешь, и во чрево мне песок насыпешь, и умру... да восстану, да оживу в сотне уст, да опять вопить буду. А опять побьешь, мертвый смердеть стану, псиной тебя задушу...

— Псы-то по естеству смердят, а в тебе дух воняет! — Усталость мешала игумену удерживать долее достоинство власти.

— Пес есмь солнца моего, лаю, поколе жив... хвостом обижен, ино и хвостом бы вилял. В Соловецки-те

времена, бывало, наедут, башку отмахнут, да и отпустят, а ноне душу самую в тиски смятения смертного закрутят. А в конечный день, как тряхнется земля и колыхнется небо, потерявшее цвет свой, разумы-т людские ровно тыквы лопаться почнут... заревет труба, на гору положена... тоды я тебя вопрошу, Кирушко, старого балдака: хде был?.. Летучие самокаты бегли, пену да пал из железных морд пушали, драконы со змейчихами в обнимку шли пить сок людского сердца, потребный вышнему, а ты им сединкой своей путь разметал? Эх, метла-метелка; балы, машкарады, смрад их тебя прельстил? Танцуй, танцуй под ихнюю свирель!..

Так, брызгаясь и грохоча, он громил тот, уже отошедший век, останком которого был сам. Подземным чутьем мужика он угадывал, что великий бунт людской несет ему еще неслыханное посрамленье. Легче было воображать мир по-прежнему каменной залой, где при догорающих солнца кружатся обезумевшие пары и сидит розовый овеществленный блуд. Этот мир сжигал и Увадьев и вместе с Филофеем плясал бы на развалинах его, если б только при разрушенье уцелел сам Филофей. Предчувствуя это, оттого-то и грозил Филофей, что всех их отставят от насиженного места, оттого и избивал словесным бичом кроткое обреченное стадо.

— Рассеемся тогда, — сказал слепой Аза в тишине всеобщего испуга. — Кость в поле лежит, много ли ей надо? И ветерком обдует, и дождик вымоет, и солнышко погреет... А может, хороших людей обижаешь?

Как будто только этого возраженья и ждал Филофей.

— Молчи, мертвяк! — сызнова воспалился он. — Ты годок у братца погостюешь, а там почнешь по серебряным облакам с тросточкой гулять... А моя смерть у твоей еще титьку сосет. Ноне все хорошие, все с ружьями... Эй, горемыки миленькие, кланяйтесь ему, хорошему!.. — Вскочив, он громоздко поклонился Увадьеву и опять повалился на место, а братия раздалась в стороны, как от камня вода.

Последнее и злейшее, чем крик, наступило молчанье, но все еще металось в перекрестных дыханьях нестойкое пламя светца. Увадьев обстоятельно изучал свою ладонь, что случалось с ним лишь в приступы крайнего гнева.



— ...за чаек я и заплатить могу, — сказал он потом, приподнимаясь с места. — Нехорошо у вас вышло, отцы. Теперь будем говорить так. С богом нам пока на Соти не тесно, рано вздымаетесь. Я смирных не люблю, но и за-напрасну их не трогаю. Больше говорить не о чем, сме-кайте сами ваш привет...

И уж готов был покинуть негостеприимную эту яму, но всего за мгновение до его ухода что-то заворчалось на койке в углу, и старики озабоченно переглянулись. Неожиданный смрадик объявился в келье, но, как Фаворов ни приглядывался, нигде не виднелось ни падали, ни мертвеца. Запах слабо щекотал ноздри, одурял, позывал на рвоту, ежесекундно усиливаясь, и вдруг из тряпья, как попало сваленного на койке, высунулась тощая голая рука. Недолго покачавшись и не найдя, за что уцепиться, она бессильно свесилась, почти упала к полу. Тогда, понукаемый кивками и шепотом стариков, Кир попытался как бы сломать ее и водворить обратно, но рука усердно отбивалась детским кулачком, потому что не хотела назад, в свое смрадное уединение. Кир отступил, и только тут гости поняли, почему именно сюда, а не в просторную трапезную, например, призвал их на собеседование игумен.

#### IV

То и был Евсейий — старец, врачеватель душевных недугов и сокровище скита. Разбитый какой-то давней и вонючей болезнью, он безвыходно лежал здесь многие годы, и никто из живых не помнил его самостоятельно ходящим по земле. По установившемуся обычаю, правящий игумен служил ему добровольным келейником; он его и кашкой кормил, и обмывал по временам теплой водицей, хотя больше всего в жизни не терпел Евсейий воды. Еще не переносил он никакого моления, и ему потрафляли, потому что жил он единственно затем, чтоб привлекать в скит скудные денежные средства. Сюда, в темень и смрад, приходили к нему мужики за поученьем, в простоте душевной полагая, что чем страшней она, внешняя мерзость, тем выше внутренняя благодать.

Про него говорили, что и он вдоволь побродил по гиблому доньшку жизни и радости не обрел по плечу себе. Ему приписывали и мудрость, и высокое происхождение, а он сам был простой наемный косец и, кроме искусства безустанной косьбы, не имел ничего. Он ходил от села к селу, нанимаясь в богатые дворы, и его не особенно обижали, пока не произошло несчастье. Потный, он купался раз в коряжистой Енге, и что-то шершавое скользнуло ему по ногам; с этого началось, и Гордий, шестой по счету преемник Мелетия, подобрал его, уже обезноженного, с дороги. Его положили в землянке, и первое время он лежал в забвении, пока не надоумился вышереченный авва Авенир извлекать из него пользу. Из поколения в поколение он стал переходить, как достояние и бремя, а со временем и сам привык ко всеобщим заботам и к подневольной роли прозорливца. Один век сменился другим, за иное страдали люди, а он все лежал и, кажется, только теперь начинал постигать торжественную радость бытия.

Лишь малая часть разговора с гостями доходила в Евсевиевы потемки, многого он не уразумел по ветхости разума, но, видимо, учуял необычность происходившей распри. Жизнь шла мимо него, и он не вынес наконец могильного своего одиночества... Столпясь в дверях, гости наблюдали стариковскую суету и не уходили.

— Кирюха, Кирюха!.. — капризно и тоненько закричал из норы своей Евсевий. — Чего ж Виссарьонушка-те смолк? Когтї, когтї ихнюю мать...

— Убежал он, батюшко, може живот с капусты заныл! — в тон ему прокричал игумен, складывая руки дудкой и наклоняясь над незримым существом.

— Кирюха... куда ты прячешься от меня, Кирюха?

— Тут я, тут, батюшка! — Он хлопотливо поискал глазами и, схватив кусок сахару, сбирался сунуть его в руку старца, но сахар выпал из дрожащих пальцев, а поднимать его с полу стало уже некогда.

— Что, что в миру-то? — с томлением, как бы издаലെка вопрошал Евсевий.

— А дым, дым в миру идет, ничего не видать за дымом! — забывая о присутствии чужих людей, отвечал Кир.

Некоторое время ушло на то, чтоб дошли до Евсевиева уха сказанные рядом слова.

— Дым-то, откеда он?

— Из людей дым, батюшка!

— Сколько веков полыхаит... — плаксиво рассудил Евсейий, и сердитый кулачок разжался. — Благодетели живы, ли?

— Благодетели-то ноне сами копеечке ради... — горько признался Кир.

Так прошло несколько минут; старики шептались, рука бездействовала, шел копотный воздух от светца, и в нем слоисто колыхался мрак. Вдруг койка закрипела, точно лез наружу святой, соскучась о жизни и людях.

— Что... что они строить-то будут?.. больницу, что ли?.. Да откройте меня, жулики... кобели, откройте меня!

— Баба тут, батюшка, — совсем потерянно сообщил Кир. — Баба, живая...

Окончательно смущенные бунтом Евсевия, старики просительно взирали теперь на Увадьева, которому одному дано было удовлетворить скандальное любопытство старца, но тот безмолвствовал, лишь покачивая головой, и ничем не выражал намерения вмешаться вновь. Тогда Сузанна двинулась с места, и всем показалось, что лицо ее не предвещает доброго. Старики опять зашумели, ибо в прорыв, который свершала Сузанна, неминуемо должны были хлынуть новые полчища людей, любопытствующих о тайне. Закрыв руками незрячие глаза, хныкал Аза в уголке, и не понять было, плакал он или смеялся; Вассиан пучил скошенные глаза в сторону, точно ждал оттуда сабельного удара; вдруг вскочил Ювеналий и опрометью, подобный летучей мыши, бросился в дверь, а задетый чайник с грохотом покатился за ним.

Старики кричали:

— Зададут теперь сырынаду!

— Псыня на пададь бежит...

— Храните Евсейейку!..

Никто, однако, не посмел остановить ее на полпути к ложу Евсевия.

— Откройте его!

Голос ее надломился, и повелительность не удалась, но рябой Филофей тотчас же сдвинулся с места и, поднеся огонь, разворошил тряпки на Евсейейке. Сверкали Филофеевы глаза:

— Зри... эва, какой молодчик лежит!

Лишь немного привыкнув к теплоте тленья, исходившей из дыры и колебавшей пламя, она заглянула. Там, в колодце из грязной ветоши, ворочалось маленькое, сплошь заросшее как бы шерстью лицо человека, а ей показалось — мохом. Должно быть, уже сама земля просвечивала сквозь истончавшую кожу лба. Нижняя губа его капризно выдавалась вперед, а глаза были закрыты; святого слепил свет, и густейшие брови его дрожали от напряженья. Вдруг волосы, росшие как попало и во всех направлениях, распахнулись: Евсевий открыл глаза. Было ей так, будто заглянула в самое чрево земли сквозь ту непостоянную, бегучую протоплазму, в которую цветисто разряжен мир. Теперь Сузанна не удивилась бы, если б этот первобытный дикарь рассказал вдруг про ту доисторическую метель, которая когда-то в отсутствие людей вилась над Сотью. Она защурилась и отступила.

— ...и блохи едят, и вонь томит, — жалобно просвистел святой, всячески приноравливаясь к свету. — Баба! — прошелестел он потом, хотя вряд ли различал лицо Сузанной, и сразу весь затормошился, как бы намереваясь бежать от приступившего зла; но бежал он вовсе не оттого, что утерял свою власть над ногами. — Бабочка... мази принеси мне... какой ни есть мази. Кожа у меня на ногах расседается. Лежать-то надоело, ой, кои веки невосклонно лежу...

Он так и не успел израсходовать до конца Филофееву милость; башнеподобный накинул на него дерюжку, вроде домотканого половичка, и голос с другого берега прекратился.

— На ножки он ослабел, попортились у него ножки... — торопливо зашептал Вассиан, пытаясь коснуться Сузанной руки. — А уж такой, сказывают, бегун был...

Та в раздумье кусала свои отвердевшие губы:

— Бегун-то бегун... На воздух бы его, отцы. Больного человека в этакой вони содержите!

— Так ведь на воздухе-то ноне самая простуда и ходит, а вонь... своя-то вонь каждому мила! — все домогался ее улыбки казначей. — И ты не гляди, что малодушье обуюло святого. И гора плачет, как ее кирками бьют...

— Я не гляжу, не гляжу, — улыбнулась наконец она, но совсем не так, как хотелось Вассиану. Минуту спустя

она спросила тихо: — Этот... брат Виссарион давно у вас поселился?

— Четвертый год, маточка... Евсевию больно полюбился, души не чает в нем! — заюлил Вассиан, а она уже взялась за скобку.

Фаворов тотчас же, как гайдук, последовал за ней, и один Увадьев в непостижимом оцепенении все еще наблюдал чуждое ему происшествие. Созерцание этих людей в горящем доме поселяло в нем не враждебность, пожалуй, а какое-то брезгливое сочувствие; было что-то очень понятное ему в этом наивном куске семнадцатого века. Глаза его раскосились, он не ожидал встретить здесь такую человеческую пустыню, но тут кашлянул Аза невзначай, и Увадьев медленно пошел в сенцы; здесь и догнал его Кир, игумен.

— ...слушай-ка, постой, обожаемый товарищ! — В потемках цинготный рот его произносил не те слова, которые он заготовил впопыхах, за короткую минуту передышки. — Возьми-ка вот, спрячь... Там, в миру, и табачишку надо купить, и колечко женке... женки-то ноне, ух, форсливы, а какое у вас жалованьишко. Бери, бери, от чужого добра не обеднеешь! А мы вам завтра и лошадку срядим, вы и поедете... будто искали, да не нашли, а? — Он совал что-то в бок Увадьеву, не нож, но и не пустую руку, а тот все хмурился и не понимал. — Мы бы и больше дали, да нету! Тут двадцать два, ты посчитай-ка, двадцать два рубля тут...

Грозиво наливаясь бешенством, Увадьев неуклюже полез за карамелькой.

— Сам я, отец, не курю, и тебе не советую, а жую вот конфетки. На, попробуй, сладкие! — Открыв жестянку, он положил один леденец, как копейку, в протянутую руку Кира и снова сунул ее себе в карман. — Пососи вот... А на деньги эти купи себе облигацию крестьянского займа. Процент большой, да и выигрыш попадается. Ну... будь умник!

Поскрипел кирпичик на блоке, и дверь захлопнулась, а Кир все стоял с увадьевским угощением в ладони. Кто-то тряс его за рукав, кто-то заглянул в глаза, но торчали там лишь бессмысленные белки. Леденец, вырезанный сердечком, розово играл в корявой ямке ладони. Потом

как бы трещина раздвоила лицо Кира, и обе половинки жестоко затерлись одна о другую: он плакал. Тут же, не-вдалеке, стоял Филофей и усмешливо почесывал тяжкую свою, увесистую, как деревянный ковш, челюсть.

Беда приблизилась вплотную, и уже не отворотить ее стало от скита... Бывало, забредали повальные моры в округу; деревни лежали в бреду, и ни одно колесо не шумело по дороге: можно было отсидеться за частоколом. Бывали пожары; шли огненные потоки, клокотал дым едкий, а над несжатыми полями топотал в поганом плясе рыжий дед, соломенный огонь; можно было рыть канавы и тем одним ограничить место непотребного его веселия. Напала раз преждевременная весна; деревья распустились до срока, ручьи гремели вчетверо против обычного, бесилась птица в высоте, а монахи в дырявых лодках пускались к бабам в Макариху: двое и погибли в водополье. Тогдашний Иов выписал музыкальный ящик; в час, когда потемки бором идут, вставлял в него Иов хрусткое подобие железного блина, и блин побулькивал разные безгреховные напевы. Впоследствии сменял эту музыку Авенир на холст Ипату Лукиничу из Макарихи: служа в швейцарах у одной питерской баронессы, раз в год наезжал тот домой, выпивал, наводил музыку и благоговейно созерцал мелодическое вертенье блина. Набегала туча, и прояснялось небо, и снова моталась жизнь, как нитка на веретено.

— Не быть нам боле, — плача, сказал Кир, и братия поняла, что не ему, немощному и уже низверженному, а башнеподобному Филофею править впрямь на Соти.

## V

Вырытого в эту встречу глубокого оврага так до самого отъезда гостей и не переходил никто; еду носил им из трапезной за особую приплату скромный и запуганный чем-то инок Тимолай. У него при случае спросил раз Увадьев о Геласии, но тот смутился, покраснел и нехотя сообщил, что на него наложена Филофеем епитимья — мыть полы по всей обители; дознаться сущности Геласиева про-

ступка Увадьеву не удалось. В ожидание дня, когда начнет действовать перевоз, гости шатались по еще не обсохшему лесу, и Увадьев по-прежнему уходил один, а Фаворов не роптал на доставшееся ему одному бремя — сопровождать Сузанну. Увадьев ходил много и не без пользы; в одно из своих странствий он набрел на замечательный песок, великолепный для бетона, а в другой раз, в лесной сторожке, отыскал газету на стене, напомнившую ему с огромной силой тот год, когда он впервые, еще учеником, пришел в революцию. Это оказался тот самый тридцать пятый номер «Русского государства», в котором впервые был напечатан обвинительный акт против лейтенанта Шмидта. Осторожно содрав желтевшую бумагу, он потащился с нею на полубившийся ему обрыв и там застал Геласия; стиснув виски руками, иннок шурко гляделся в пространство перед собой; ветерок шевелил путаную, медного цвета гриву. Скуфейка его жалким комочком валялась рядом, на лавке. Внизу, скрежеща и мерцая, шел лед. Уже стемнело, и сквозь суматошные волны облаков, подобно камню, выпущенному из пращи, стремглавая летела луна.

Посдвинув палочкой Геласиеву скуфью, Увадьев присел рядом, и оттого, что глаза уже не справлялись с выцветшей газетной печатью, попытался продолжить старый разговор о красоте и правде; но тот отвечал скупо, хотя и без особой брани. Все же из мелких Геласиевых оговорок ему удалось вызнать кое-что, и прежде всего то заманчивое обстоятельство, что за восьмилетнее пребывание в скиту Геласий так и не свыкся с необходимостью душевного самооскопления. Посреди разговора он поднялся и ушел, а Увадьев, хотя по старинной слабости и считал себя ловцом человеков, не остановил его ни звуком; в дикарской борьбе, которую в эту пору вел сам с собой Геласий, он все равно не смог бы помочь ему ничем.

Он был рад, в сущности, и тому немногому, что разгадал в Геласии. Сюда привела его еще мать, забитая солдатка, привела мальчика на годичный срок, то ли желая снять с себя непосильную обузу, то ли надеясь, что хоть отсюда сын достучится в немилосердную дверь правды. Ее задавило поездом в соседнем уезде, а мальчик так и остался в скиту. Первые годы Ганька батрачил подпа-

ском в окрестных селах, принося в обитель свою скудную долю, и сначала ему нравились и ряска, которую ему тут же сшили по росту, и суровый уклад скита, по которому с него, как со взрослого, требовали труда и молитвы. Подросши, он держал перевоз на реке и, долгими часами выжидая какого-нибудь шального путешественника, вдоволь имел времени поразмыслить над книгой или над судьбой. Книги в большинстве попадались церковные, и во всех с такой страстной ненавистью живописалось о женщине, что ко времени событий на Соти у него только и мыслей было, что об этом сладком и неминуемом ужасе. Воображение мучило его; он видел ее всяко: в бреду сновидений и в беспамятстве голодного тифа, драконом и огненной ямой, пушистым красным облаком и длинной, пронзающей иглой; в ее истинном виде он не знал ее ни разу. Осенью он иногда убегал, неделю бродил где-то в неизвестности, и только холода пригоняли его на теплое место, назад; весной, когда самый воздух бывал заражен протяжным шумом и желанием, он верил, что это грех и воет на бору, встав голой мордой на восток...

Появление Сузанны не походило на то, как описывалось это в темных, источенных жуками патериках: не в огне, не в облаке, не в обольстительной наготе... а скрипучую телегу Пантелея трудно было бы принять и пьяному за апокалипсическую колесницу!.. но она явилась ночью, в таинственный час весны, когда каждый сучок в лесу коробило смутительным ветром пробуждения. Рыбу бьют острогой, когда она спит; ад засылал за ним своих гонцов в виде, который не будил подозрений. Ночи Геласия стали тревожны; оранжевый пар выходил из стены и обволакивал ему руки; он пил воду, и она вызывала в нем ядовитую отрыжку; он схватил снега в горсть, и самый снег был ему оранжев. Стало так, точно река неслась вдесятеро быстрее, дразня своими хмелекипащими водоворотами, и один, самый близкий, был стремительнее остальных...

Геласий пытался говорить с Тимолаем, с которым связывала не столько дружба, сколько одинаковая судьба; они вместе когда-то пастушили на Лопском Погосте.

— ...видел, а? — И Тимолай сразу понял, что речь о приезжей. — Руки-то видел ее? Легкие, поди пуха легче...



— Персты тонкостны, действенны... — оторопело согласился Тимолай, застигнутый врасплох.

— А губы-то черные... как хлеб черные, видал ты?

Тимолай недоверчиво глядел на помраченного в разуме.

— Что ты... они не бывают черные! — И бежал, страшась последнего, что имел сказать ему Геласий.

Через сутки Геласий пошел к Филофею, который был его духовником. Тот чинил замок и давал распоряжения Вассиану; глаза его уже нуждались в помощи стекол, но очков в уездном городке не нашлось, отсюда выслали пенсне со шнурочком; было забавно Геласию видеть стеклянные крылышки на его квадратном носу.

— ...с Красильникова за сапоги получено? — допрашивал Филофей.

— Вот Геласий завтра комиссара повезет, кстати и получит.

— А с Шибалкина за колоду?

— Половину уплатил, а на другую мясца сулил прислать на праздниках.

— Впредь деньгами бери, без баловства. — Он внушительно посмотрел на Геласия, с темным лицом стоявшего на пороге. — Нажрут мясца — цепями их потом не удержишь. Нам чиниться надо, изветшал корабль, а ноне и на гроб даром леса не дадут. Стыдно живем: крыши текут, в иконостасе птицы гнездятся, стою надысь, — на нос капнуло. С часовни ничего не присылали?

— Вот, всё тут... — И казначей высыпал перед ним детскую горстку меди. — Гривенничек царской чеканки попался. Ноне и бога-то норовят надуть!

— Глядеть надо! — зыкнул Филофей и с грозным лицом вклепывал в замок новый стерженек для ключа. Пересчитав даяния верных, он прогнал казначея, тогда на Вассианово место неробко уселся Геласий. — Навестить зашел? — поднял он голос и, мельком взглянув на высокий, весь в прыщах лоб Геласия, должно быть, уловил сущность Геласиева смущенья. — Где это тебе дьявол рожу-то заплевал? Ишь, в небе звезд мене, чем на тебе этой дряни...

— Жажда палит, — сипло ответил тот.

— Жажда... — И крылышки отпали от его вздущегося носа. — Человек, он земляного состава. Потому ника-

ких морей не хватит напоить землю, когда жаждет она. — И опустил глаза, радуясь аскетической красоте образа.

— Каб не жаждала, не рожала бы столько! — тряхнул головой инок.

Филофей омраченно усмехнулся и, как бы приготовляясь к врачеванию души, вытер о передник руки, рыжие от керосина и ржавчины.

— Небось думаешь, — осторожно начал он, упираясь локтем куда-то в пах себе, — что стар я, волосами зарос? А и доселе, бывает, расплюсь — хоть в землю себя зарывай для остуженья. — Он глубоко захлебнул воздух, и в груди его скрипнуло что-то. — А потом прочту в книге, как все это уже бывало и как прошло... и отойдет!

И впрямь, еще не истаял в его ушах рассыпчатый смех трактирщицы Аграфены Петровны, муж которой заказал однажды кузнецу рессоры к таратайке, а получил вдобавок и пiskuна. В свое время он вдосталь нахлебался жизни и теперь с неуклюжим жаром топтал радость именно за то, что она не обманула, да и не насытила его. Голос его крепчал, взвивался в нем бич, и слова громыхали, как звенья якорной цепи; целые полчища одичалых Антониев Великих толпились в обширной его груди: добровольным истреблением воли призывал он бороться со смертью, а Геласий видел распластанного на траве жеребеночка и его с тоской откинутую морду. Сцена эта навсегда отпечатлелась в сердце Геласия. Пастушонком он проходил мимо кузнечного двора и случайно видел, как жеребенка приспособляли на службу человеку. Связанный по ногам, с губой, до крови вкрученной в лещетку, конек лежал смиренно, кося глазами и сосредоточась на ожидании казни, а Федот уже заносил над ним равнодушную руку коновала. Игривого этого конька больше всех любил в своем стаде Ганька, — с того и возненавидел кузнеца.

Вдруг с утроенной силой пробудилась детская ненависть, и в самом грозном месте поученья, когда сверкало Филофеево слово, как топор, вскинутый над шеей нечестивца, принялся Геласий отстукивать сапогом песенку о ножку стола.

— ...не стучи, не скалься!

— Штучка одна меня смешит, — совсем неробко признался тот и подмигнул, останавливая в разбеге гремучий

Филофеев поток. — Вспомнилось вот, как Грушка в кузню к тебе бегала... там ребята в стене паклю повыдергали и засматривали в дырочку. Мы ее, Грушку, кулебячкой прозвали... так и смеялись: во, опять кузнец кулебячку ест!

Духовник сидел красный, и можно было ждать, что вот сейчас что-то расплавится в нем и, прожигая дерево, чадно потечет в подполье. Точно стремясь оторваться от ладони, шевелились на столе хваткие пальцы коновала; вдруг они округились вокруг тяжелого рашпиля, и тут должен был произойти еще не слыханный в летописи скита эпизод, но Геласий вовремя поднялся и пошел к двери, беззащитной своей спиной смиряя Филофееву ярость. Еще не пели в нем птицы, и густей, чем весенний туман, облекал его страх. Ничто не рассеивало в нем уверенности, что приезжая гостя и есть то орудие, которым ад положил продырявить его целомудрие; как ни доброжелательно относился Увадьев к монашку, он расхохотался бы тогда, у обрыва, на его признание... Уйдя, Геласий до сумерек бродил по лесу, следя из засады за дверью Сузанниной кельи. К вечеру напала на него лихорадка.

В стенах этой кельи прятались целые поколения клопов, простоватые предки которых питались, наверно, еще блаженным Спиридоном; предвидя прелести деревенского житья, Сузанна захватила с собой гамак. Полулежа в нем с книжкой, она рассеянно глядела на угольный тлен в печурке, распространявший сухое, жесткое тепло. Приятная немота вливалась в ноги, вещи распахнулись в каких-то неожиданных и неуловимых смыслах, зримый мир переставал существовать, а взамен явилось другое. Застылая река, из-за сугробов летят пронзительные стрелы мороза, и будто Савка поит коней у дымящейся проруби, приплясывая от стужи, а за спиной его побрякивает обрезанная винтовка... Упавшая книга не разбудила ее; она проснулась, когда иной холод, не условный холод сна, засочился к ней из двери. В потемках она не узнала воспаленных и просительных глаз Геласия; страшно было не то, что чудовище вошло к ней, а те минуты, в течение которых оно обнюхивало ее, спящую.

— Лежи, лежи!.. — И шепот странным образом сочтлся с въедливым запахом лука и кожи. — Это я, Гела-

сий... вот я пришел. — Стыд душил его. — Давай, давай... как это делается?.. давай!..

Келья сразу стала вдесятеро теснее; напирали самые стены. Оранжевое тепло печки, только теперь оправданное в воображении Геласия, выделяло из темноты одну ее обнаженную коленку. Он не шатался, но мог упасть в любую минуту. Взгляду его представляло то неспелое, вяжущего вкуса яблоко, к которому потянулась однажды и неумелая рука Адама. Оно дразнило его сны, внушая право именно на такое ночное вторжение, оно гонялось за ним по пятам, и даже в грудях Вассиановой репы, которую он накануне перебирал от прели, лукаво и множественно мнилось ему то же самое естество.

— Вымойся сперва... — гадливо произнесла она и, вскочив, быстро подтянула спустившийся чулок.

Он не уходил, потому что она не гнала его смехом; еще он не уходил потому, что трехминутное пребывание здесь не утолило его трехдневного жара. Ошеломительней всего было, почему грех отказывается от его безоговорочной сдачи?.. Он стоял с опущенными руками, и пятна стыда на его лице были намалеваны как бы красной сажей. Померкшие его глаза остановились на ивняковой ветке в крынке; глянцевиная зелень несмело тянулась к свету.

— Что это?

— Верба.

Он повторил:

— ...верба. Зачем?

— Так, для красоты.

Он подозрительно коснулся ветки, не разумея в ней чуда, ради которого стоило бы нести ее сюда.

— Какая ж в ней... краса?

— Весна... начинает жить.

— ...жить, — повторил он. Тут за толстой стеной глухо, точно в шапку, закашлял Аза, и Геласий, как бы пробуждаясь, провел ладонью по лицу.

Внешне ничем не отразилось на нем случившееся преображение. Утром он вместе с Тимолаем смолил лодку, на которой завтра должен был отвезти Увадьева, был скромней обычного, но зато сон и прожорливость напали на него. Остаток дня он провалился у себя, а Филофеева епитимья так и осталась неисполненной... На мут-

ной, вихрящейся воде качалась лодка. Геласий прыгнул в нее первым и ждал, прилаживая руки к веслам. Старую, неустойчивую скорлупу относило от берега. Увадьеву пришлось сделать несколько шагов по воде. Тотчас что-то хрустнуло в борту, булькнуло под днищем, Геласий оттолкнулся веслом от берега, покидаемого навсегда, и вот течением рвануло лодку.

— Заплеснет аль подтекать станет — вычерпывай. Вон и баночка тебе для упражненья! — кивнул Геласий на деревянную бадейку, всячески сторонясь упорного увадьевского взгляда.

Едва вышли из заводи, сразу все переменялось вокруг; несмотря на Геласиевы усилия, лодка стояла ровно и смиренно, точно повисшая на якорях, а по сторонам закружилась бешеная вода, увлекая в глубину грязные, источенные льдинки. Зато стремглав неслись берега, и Увадьев еще не успел рассмотреть толком серую цаплю близ куста, в столбняке застывшую на полувзлете, как уже увидел ястреба. Сидя на кочке, весь на ветру, он надменно и лениво чистил крыло, раскинутое во весь его вольный мах. Тогда, бросив весло, Геласий замахал на него шапкой, но тот не улетал, словно верил, что в этот день его нельзя истребить целиком.

— Греби, греби, опрокинешь еще! — недовольно пробурчал Увадьев.

— А ты вычерпывай, вычерпывай...

Увадьеву показалось, что Геласий улыбается, а вместе с ним и ястреб; он подумал и взялся за неминуемую бадейку. Лодка выходила на середину реки, и хотя Геласий хитрил, переправляясь наискосок, все же проигрывал в единоборстве. Мало-помалу пот начал проступать на его рыжих висках, и тогда Увадьев решил продолжить незаконченный разговор.

— Ну, так как же, парень, а?

— Да все так же... ура, советская власть, — небрежно кинул тот. — Вычерпывай, твое дело невелико!

День был встрепанный, резвый; в облачных проемах густилась синь, и чем гуще она становилась, тем величественней казалась спокойная мощь реки.

— Вот ты в прошлый раз выразил, что на свете, дескать, только жулики да дураки... А известно ли тебе, что

есть еще другие люди, которые справедливости ищут и кровь за нее отдают?

— Это которы хлеб у мужиков отбирали? — почти равнодушно переспросил Геласий, но сбился с весла, и брызги густо хлестнули в Увадьева. — Один из ваших и досель в болотце гниет, куда его Березятов засунул. Не слыхал про Березятова? Очень **такой** человек был, солдат. Справедливость-те от красоты идет, а красота из тишины рождается, а вы ее ломом, тишину-те, корежите...

Покачивая головой, Увадьев зачерпнул воды в ладонь и пытался сжать в руке эту частицу стихии, которую предстояло покорять.

— Не твои слова, Геласий. Твои проще...

— Красота — мое слово! — вскинулся тот.

— Чудаковое слово — красота!.. Вот мы встанем на этом месте, на берегу, где старики сидят... видишь? Будем строить большой завод, каких праведники твои и в видениях не имели. На том заводе станем мы делать целлюлозу из простой ели, которая вот она, пропасть, без дела стоит. Из нее станут люди бумагу делать — для науки, пороха — чтоб отбиваться от врагов, и многое другое на потребу живым, а между прочим и шелк. К тому времени ты сбежишь из своей червоточины, потому что еще успеешь сгнуть, не торопись!.. и станешь ты вольный, трудовой гражданин, на работу поступишь, зазнобину себе заведешь первый сорт... и будет она, Шура, скажем, или Аня, мой шелк на себе носить. И отсюда поведется красота!

В машинных движениях Геласия появилась какая-то презрительность; все чаще соскальзывало весло, и если бы не кожанка, до берега Увадьев добрался бы совсем мокрым.

— Это все так, это для прикрытия сраму, а душа... душу куда определишь? Она что гвоздь: полежит без дела — заржавеет!

Увадьев перестал отчерпывать воду; в этот миг он отвечал не одному только Геласию:

— Душа, еще одно чудное слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло... я делал их, или ел, или держал в руках... я знаю их на цвет и на ощупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа. Из чего это делают?.. где это продают?

— Как же я рыбине объясню, зачем мне ноги дадены! Она и без ног свою малявку съест...

До берега оставалось все еще далеко, а спор близился к концу: обоих начинала сердить эта обоюдная несговорчивость.

— ...а ты и с ногами не отыщешь. Восемь лет в дырке сидишь, а что ты отыскал, покажи! Молодости твоей мне жалко.

— Обречен я на младость вечную...

— Вот именно, обречен... А какая-то бабеночка ждет тебя в свете: может, и плачет, что запаздываешь.

Весло стало злей зарываться в воду, Геласий терял власть над собой:

— ...с чего ты мне все про бабеночку твердишь? Сестренку, что ль, заблудящую имеешь, приладить ко мне хочешь? — закричал он сквозь сжатые зубы и вдруг, прежде чем Увадьев успел остановить его, вскочил с места. Скинув шапку, еле удерживая равновесие, он низко и порывисто кланялся своему пассажиру: — Прости... за брань и за шумность мою прости. Злой я, злой... злой...

Не насытись одним поклоном, он кланялся все размашистей, пружинно сгибаясь в поясице и нарочно раскачивая лодку. Вода захлестнула через борт, лодка неслась по самой середине реки, а Увадьев лишь шурился на одержимого и, может быть, любовался на него украдкой. Проскочив сажен полтора, лодка стала поперек течения; и в эту крайнюю минуту Геласий ловко подхватил весла.

— Плаваешь, видно, хорошо, парень, — через силу усмехнулся Увадьев, когда уже подходили к берегу. — Выйдет из тебя прок, но долго тебе гореть, пока твой прок выплавится. И когда невтерпеж тебе станет от огня и воя твоего, приходи... днем и ночью, всегда приходи. Ну, гуляй, пока не встренемся! — сказал он на прощанье.

— В пекле, может, и встренемся! — откликнулся Геласий, вытягивая лодку на берег.

...Там на бревнах сидели макаринские старики, подсушивая ветерком слежавшиеся за зиму бороды.

— Эх, так и не черпнула! — с сожалением зевнул один, и зевок его затянулся настолько, что сосед успел свернуть сигарку. — Нет, что ни говори, а жисть наша все-таки ску-ушная...

## VI

С того момента, как Увадьев вступил на берег, и был кинут вызов Соти, а вместе с ней и всему старинному обычаю, в русле которого она текла. Он шел, и, кажется, самая земля под ним была ему враждебна. Прежде всего он встретил косоного мальчишку; примостясь на завалинке, мазал тот неопределенной мазью огромные отцовские сапоги.

— Здорово, гражданин, — пошутил Увадьев. — Как дела?

— Вот, нефтя плохая стала, — куда-то в воздух произнес мальчишка. — Ране не в пример маслянистей была...

— А ты откуда помнишь, шкет, какая ране была? Тебя поди и в проекте еще не было!

— Ходи, ходи мимо! — проворчал мальчишка, гоня взглядом, как нищего.

Рабочие ютились в дырявых сараях в дальнем горелом углу деревни, и убогим очагам не под силу было бороться с весенними холодами. Такие же лапотники, они жаловались на здешних мужиков, которые, вопреки устоявшейся славе сотинского гостеприимства, драли и за молоко и за угол, а вначале приняли чуть не в колья. Пока не обсохла топкая апрельская хлябь, работы велись замедленно; ветку успели провести всего на три километра из одиннадцати, назначенных по плану; грунтовая дорога двигалась не быстрее. Не обходилось и без российских приключений; в Благовещенье ходили молодые рабочие в Шоноху и угощались в складчину у прославленных тамошних шинкарей, угощались до ночи, а утром уронили с насыпи подсобный паровичок, подвзвивший материалы. Когда добрался туда Увадьев, человек тридцать, стоя по щиколотку в ростепельной жиже, вытягивали на канатах злосчастную машину, но той уже полюбилась покойная сотинская грязь. Тогда люди усердно материли ее, как бы стараясь пристыдить, а потом долго, зябкими на ветру голосами пели вековечную «Дубинушку»; пели уже полтора суток — достаточный срок, чтоб убаюкать и не такое.

Наскочив вихрем, Увадьев сбирался разругать производителя работ, но тот лежал в Шонохе с воспалением легких, а десятник увиливал и всех святых призывал



в свидетели, что пьян не был; и действительно, до той степени, когда человек лежит и ворон ему глаза клюет, а тот не слышит, десятник в Благовещенье не доходил; паровичок же скинулся якобы сам, чему содействовали весенние воды. Раскостерив десятника до изнеможения, Увадьев помчался на другие работы и везде встречал непорядки: цемент складывали под открытым небом, моторы везли не прикрытыми от непогоды; поверх стекла грузили ящики с гвоздями. Агитнув где следует, а порою и пригрозив, Увадьев воротился к вечеру в Макариху усталый и мрачный и, засев в чайной, ждал Лукинича, председателя, который все еще не возвращался.

По заслуженному, щербатому полу ходил петух в чайные какого-нибудь объедка. Косясь на него, трое строительных рабочих раскупоривали консервную коробку, а на них поглядывал мужик с сухой ногой, сидя просто так; вытянув сухую ногу, как шлагбаум, он играл прутиком с котенком. Пушистый этот зверек принадлежал, по заключению Увадьева, девочке, которая тут же деловито протирала большой белый чайник с цветами, а отец ее, совершенный жулик по лицу, щелкал на счетах за покрывившейся конторкой; внизу были видны его опорки, вскинутые на босу ногу. Когда петух приближался, нога пыталась шибануть его, но тот был изворотливей. Люди, проходя через трактир, месили два разнородных запаха — махорки и кислых щей, но те не смешивались никак. Соблазнясь ароматом, Увадьев съел тарелку капустного варева и сбирался предаться чаю, — тут-то и появился Лукинич...

Наступили сумерки; трактирную посуду выпукло и багрово раскрасил закат. Уклоняясь от света, Лукинич сел в тень, но Увадьев рассмотрел его и здесь: был то некрупный, неопределенного возраста мужик, с грустным и плоским, как у полевого сверчка, лицом; одетый в старую военную шинель с отстегнутым хлястиком, снабженный доброкачественными усами, мужик показался Увадьеву моложавым. Молодила его как раз шинель.

— Задержался, рабеночка переключал, — виновато сообщил Лукинич. — Мать-то у него закопали два месяца тому, так вот и живем — я да дите, да еще дед, родитель мой, обитает. Может, видали его на лавочке, на берегу?.. который на евангелиста-т смахивает? Он и есть Лука,

такая оказия! — Лицо его при этом стало еще грустнее, но Увадьеву почему-то все это нравилось. — Чего ж вы так, без чаю и сидите? Эй, Серпион Петрович, подкинь нам малость для подкрепления... выпиваете? — деловито осведомился он. — А то... для первого знакомства.

— Нет, уж я лучше чайку, — решил воздержаться Увадьев, хоть и чувствовал нехорошую влажность в сапогах.

— А то пейте: где власть, там и сласть, надо пользоваться! — Не боясь занозить ладони, председатель прилежно смахивал крошки со стола, и петух, уже отправлявшийся на насест, вернулся с полдороги. — А то, если конфузу боитесь, домой поедем. У меня пьян-мелодико есть, музыка такая, от монахов откупил, приятно гремит... Скучотно живем, знаете! — Болтая без умолку, он вместе с тем прошупывал гостя и раз даже, как бы ненароком, положил свою ладонь поверх увадьевской; прикосновенье председателя было холодное и влажное, точно земляной глыбы. — А то и тут, запрем как бы на переучет товаров и гульнем, а? Эй, Серпиоша, ты нам цейлонского, да погуще завари!

— Цейлонский карасином залили, — заметил Серпион, изображая оживленье.

— Что ж, чаек после щец хорошо, — поддельваясь под равнодушие, начал Увадьев и даже зевнул для вящей конспирации. — Как у вас тут, к свету знания-то тянутся?

Председатель разливал чай и сделал вид, что не заметил маневра.

— Тянулись бы, да некуда. Прошлу осень погорельцы пришли с Енги. С малыми детьми, а дело осеннее... ну, и разместили в школе. А они, знаете, с горя-то самогон почали варить... а школа-то деревянная, а огонь древо любит. Ну, знаете, и полыхнуло! — Ему неприятен был, видимо, этот разговор. — Ты, Серпион, хоть бы в баретки какие обулся... товарищ-то не за налогом приехал. Азиат ты, Серпиоша! — Когда он снова поднял глаза, они были ясны, прозрачны и ласковы. — Вы как любите, погуще, внакладку?

— Мне... погуще, — хмурясь, промышчал Увадьев. Лукинич же, напротив, веселился:

— Школа подгадила... да ведь и у вас не слаще: паровичок-то все лежит! Ничего не поделаешь, весна, ее не оштрафуешь.

— Работу какую-нибудь ведете... или как? — мрачнел Увадьев.

— Какая же работа, вон наша вся работа! — Он кивнул за окно, где рядом, в тесноте и под сенью двух столетних ветел ютились Центроспирт, исполком и сберкасса. Увадьев тяжело и строго поглядел на председателя, но тот бесстрашно выдержал его взгляд и даже нашел силы усы покрутить. — В скиту, извиняюсь, устроились? А мы вас с той стороны ждали!

— Да, мы на Нерчемскую фабрику заезжали... дело было. Давно в председателях?

— На Парижскую коммуны два года было. Я и ране во властях ходил, знаете: швейцаром у барыни служил. Между прочим, ничего, но трудная работа. Стоишь, как кочан в одежках, да все крюка ищешь... куда новую шубу повесить. По двести человек бывало! А потом, как барыню покончили, так я и поехал сюда строить новую жисть. Вы пейте чаек-то! С лимончиком бы, да не растут у мужиков лимончики, а то с лимончиком бы хорошо...

Уже минуты три барабанил Увадьев по столу, еле сдерживаясь, но вдруг качнуло его вперед и гневом застлало сознание.

— Хороший бы из тебя черносотенец вышел, товарищ!

— ...а вы не доводите нас до этого, — так же, залпом, выпалил тот, но тотчас спохватился; видно было, что такие оговорки случались у него не часто.

И тогда, как бы желая загладить неудобную для первой встречи шероховатость, кинуло его на нескончаемую болтовню, временами походившую и на доносную сплетню. Тут выяснилось, что к Савину Гаврилу, лучшему в волости бедняку, ходит в праздники брат, сторож из лесничества; они пьют сообща, после чего надевают старые картузы и идут драться на улицу и дерутся до ключев, после чего, испив водицы, расходятся миролюбиво. С истории о загубленных рубахах перескочил он на Лышева Петьку, секретаря местной взаимопомощи, который набрал из кооперации товаров на трешницу, а денег не платит, ссылаясь на бедность; на увещания должностного лица, чтоб занял хоть у приятеля, отвечал злодей превесело, что ежели и даст ему под пьяную руку знакомец, то и сам недоплатит столько же. И еще рассказал

он про молодого Жеребякина, который, чтоб в Красную Армию не идти, все искал заболеть дурной болезнью, для чего ездил в город и возвратился с удовольствием. Лукинич не щадил языка, и от прежнего казенного благополучия не осталось и тени, а Увадьев, когда наскучила ему эта словесная кутерьма, обнаружившая лишь великое душевное беспокойство макарихинского председателя, просто раскрыл окно и стал глядеть на улицу.

День огненно плавился на горизонте; слепительный металл его стекал вниз, чтоб завтра же вскинуться в новые, еще не бывалые на Соти формы. «Эва, крови-то, ровно из свиньи текет...» — от глупости или тоски сказал про закат сухоногий мужик, шумно покидая чайную; пугало его преждевременное заклатие сотинского дня. Окраска неба менялась; насколько хватало глаза, везде по глубокой предночной синеве разбросались крутые облачные хлопья; теперь небо походило расцветкой на казанское мыло. Вдруг Увадьев посвистал себе под нос и высунулся в окно.

По улице шли трое таких, что никак нельзя было оставить их без внимания. Огромный, молодцеватый дедина, в пиджаке, в сплавных сапогах, шагал справа; изредка он трогал все один и тот же клапан гармони и чутко прислушивался к звуку; ремень многорядки великолепно облегал его надменную и сильную шею. Слева мелко и часто ковылял на деревянных обрубках тоже молодой еще парень в кожаной куртке, с черным не без удали лицом; он не поспевал за своим долгоногим приятелем, злился, пыхтел, усердно преодолевая деревенскую грязь, уже тронутую заморозком.

— Мокроносов Егор да инвалид Василий жениться пошли... — сказал в самое ухо Увадьева председатель и немедленно разъяснил, что когда-то, тотчас по возвращении из армии, дыбил Егор всю округу на новый лад, был с отцом — одним из столпов сотинской знати — на ножах, мучил молодежь и крошил древний обычай, пока не завязли в липучем людском равнодушии его неутомимые лемеха. — У нас стареют скоро: еще вчерась дитем было, а назавтра, глядь, бородкой обросло... — шептал Лукинич Увадьеву, но тот совсем не слушал, привлеченный другим, не менее знаменательным обстоятельством.

Посреди веселого ряда шел Геласий, хозяин гульбы, угощавший скороспелых приятелей на скитской, видимо, счет. Скуфейки на нем не было, и медные космы его приобрели наконец себе желанную свободу. Наклоняясь вперед, весь сосредоточась на внутреннем своем огне, он шел вразвалку, как ходили когда-то кандальники, и, подобно каторжному ядру, влеклась за ним его короткая тень; через каждые три шага он останавливался и строго глядел на нее, но та не отставала. Перейдя мостик, Мокроносов широко размахнул гармонь и разбрызгал звуки по тишине. Тотчас, задыхаясь и стеноя, инвалид закричал беспутную песню, и Вассиан, напрасно дожидаясь Геласия в тот вечер, наверно, слышал ее со своего мыска... В небе легкий, как лодочка в разливе, покачивался молодой месяц, изливая ледяной, всепроникающий свет.

Потирая руки от холода, Увадьев захлопнул окно.

## Глава вторая

### I

Ветры дуют с моря, ветров много, дуют сообща. Рожденные на океане, баюканые в ледяных колыбелях, они в поисках иного, теплого раздолья нестройными толпами вторгаются на материк. Лгали птицы, гости юга: в лесах мрак да тишь, в тундрах ровень да болото вереском поросли, на вересине комар сидит да лапой пузо гладит... Закутанные в метели, они поют тогда унывные песни о покинутой и милой родине, и вот на всей великой низменности, слегка холмистой и покатою к морю, останавливаются реки, наваливаются снежные небеса, а земля лежит бездыханна, одета в белые лохмотья зимы. К маю снова налетают обманщицы, дружно верещат ручьи, бегут крикливые ветры юга, а снег, разделенный поровну между Двиной да Волгой, шумливо расползается по своим отечествам — морям. Тут его заодно, на радостях, грузят рубленным лесом, грузят шпалышком, коротьем, пиловником... поверху плотов садятся веселые, горластые ребята, и освобожденные воды тащат, не чуя тяжести, не умящаясь в берегах.

Они едут и смотрят: по склонам холмов ельники, а по холмам сосна; пески, да глина, да супеси. Дует моряна с севера, зелена лезут туго, а жители все охотники да рыбаки. Лесные еще смолу курят, приречные скотинкой живут, а остальная треть разбредается с осени по отхожим промыслам. Города здесь по пальцам перечесть, оттого вой в городах и безработица. Оттого повелось от века: чуть снег — артелями расходятся по лесам, курятся черные избушки в глуши, с гулким скрежетом валится промерзлый лес, а бойкие крестьянские клячонки стаскивают его на берег первобытным волоком, без подсанков, за ноздрю. А в самых дебрях, куда никто не ходит и ничего не ищет, бродит тленье, гибнет лес на корню, болотится, засорен перестоем да валежником, откуда всякая цветная гниль, в жару — отлупа, в холод — морозобоина и другая стихийная порча добра. Летом, едва теплынь, на тех же местах, где гуляли ледовитые ветры, зачинается великая гарь. Костерка не притушит охотник, сунет любознательности ради спичку в мох мимохожий озорник, и тогда на сотни верст страшно полыхает десь; ветер чешет ее огненные колтуны, а солнце меркнет, как яйцо, забытое в костре. В те месяцы все там, хлеб и вода, пахнет дымом; в отускневшем зное расслабленно звенит комар, и самый дым для горожан не более чем признак пришествия весны. В лесничьих сторожках одичалые, приставленные к лесу в дядьки, сидят бородачи; они спят и видят неописуемые сны, они страдают чудовищными флюсами и пьют втихомолку, зарастая волосом и равнодушные ко всему.

Именно пропадающее изобилие лесов и людей здешних, не вовлеченных никак в хозяйственный кругооборот страны, и надоумило Сергея Потемкина заказать знающим людям эскизный проект небольшого бумажного предприятия. Ни существовавшая в соседней губернии на речушке Нерчьме бумажная фабрика Фаворовых, ни четыре изветшалых лесопилки, ни вору лесные не могли истратить полностью годичный отпуск лесов. Строенная в незапамятные времена Павла и с его царского благословения, оборудованная изношенными машинами фабричка с натугой обслуживала лишь местные потребности; из лесопилок всегда работала какая-нибудь одна, остальные чудесно бездействовали, а вору крали

по бревнышку, имея целью скопить за зиму сруб на отделенного сына. Вывозился к тому же крупный лес, а мелочь — дурняк да вершинник, все, что тоньше законных четырех вершков, — оставалась на месте. Падаль заражала здоровый лес, плодился жучок, и одним лишь дятлам не под силу было справиться с сокрытым недугом: дятлы жирели, но и жучок не убывал. Потемкин волновался. Потемкин торопил с предварительным обследованием, ночей не спал Потемкин, смущаемый гибнущими богатствами края; сам уроженец Соленги, юность до солдатчины проработавший на сплаве, а потом бумажником, он по опыту знал о возможностях своей родины. Оттого в беседе с приятелем он всегда заводил разговор все о том же.

— Гляди, миляга... — И тащил к карте, которая, как нарядный ковер, украшала в молодости своей стены губернаторского кабинета. — Гляди и вникай. Это все лес, прорва лесу... стоит, гниет, сохнет. В нем водятся грибы, медведи, пустынные, черти, всё — кроме разума и воли. У меня ежегодно тысяч двадцать десятин сгорает, а в засухи... — Он именно хвастался размерами своей беды, определявшей размах его богатства. — Смекай: избыток рабсилы, хозяйства нетрудоемкие... кто в лесорубы не уйдет, тот штаны жгет на печи да с голоду пухнет. Тьма, ведь они до сих пор керосин от кашля пьют... керосин внутрь, понимаешь? А тут можно жизнь вдохнуть, кабы деньги. Жизнь продается за деньги...

— Ну и действуй... вывози своих чертей, продавай! — смеялся приятель.

— Купи, я тебе целые эшелоны наловлю... лесных, водяных, запечных! Процентом двадцать за наличный расчет, а остальное шестимесячными векселями, а? — И горячее человеческое тепло исходило от него.

— Ты энтузиаст, ты известный энтузиаст, — закуривая, усмехался приятель и знал наперед, что денег Потемкину взять неоткуда. — Кстати, у тебя детишек, никак, прибавилось?.. девочка?..

— Следи, говорю! — И он с новым ожесточением тыкал в то место карты, где Соть встречает наконец свою небуйную сестрицу. Он тыкал сюда ежедневно, мутное пятно образовалось на Балуня, но покуда, наклеенная на добротном холсте, карта выдерживала напор хозяина. —

Сюда, гляди, направляется вся древесина с Тыньмы, с Соленги, с Шимолы с притоками, с Уртыкая... много леса, мильон кубов в год... э, куда больше! В этом месте мы ее задержим, обработаем... здесь его обсосут сорок тысяч мужиков, а там...

— Суетлив ты, Сергей, и карту вконец испакостил. Из пятна-то хоть суп вари! Ты его нашатырным спиртом попробуй, — всемерно сопротивлялся приятель. Тощий живот Потемкина перепоясан был ремешком, а пряжкой служила никелированная бабочка; от безустанного порханья этой бабочки пестрило у приятеля в глазах. — Рублей поди пятнадцать карта стоит...

— Ты... всерьез слушать можешь? — не в шутку сердился Потемкин.

— Чертила, дороги-то ведь нету!

— Тут только ветку... одиннадцать верст. На ветку-то и у меня хватит.

— А деньги?

— Ты дашь, ты богатый.

— Но я же не работаю больше в банке. Меня в резину перекинули.

— А в банке кто?

— В банке Жеглов пока.

Потемкин хмурился и глядел в окно, где по обледенным мосткам скользил на одном коньке мальчишка; в посинелых от стужи пальцах он держал кнутик, которым воодушевленно подстегивал самого себя.

— Жеглов?... он в ревсовете Семнадцатой не был? Я знал одного Жеглова... хотя тот, кажется, не Жеглов, а Жигалов... такая жалость. — Вдруг он махнул рукой и виновато улыбнулся. — Э, все равно, следи... С Тентелевки мы везем глинозем, а соду из Перми; вода же — фрахт дармовой! Серный колчедан, ты следи за моим пальцем, с Кыштыма... там как раз новый способ пробуют. Медь от серы отделяют, а получают... как его... — Торопливо приподняв за лицо гипсового Маркса, он вытащил из-под него толстую папку и бешено залистал страницы. — Вот, нашел: флотационные хвосты получают...

— Хвосты, — понуро повторил приятель.

— Я, может, и путаю, но, по-моему, именно так: флотационные. Извести у меня полны карманы, хло-



ривать будем сами. Купи, я тебя засыплю известью!.. А еще тут осенью геолог один наехал; целое лето копался у меня на Пысле, а потом я его вот здесь час целый чаем отпаивал...

— Озяб, что ли?

— ...каолины отыскал, почище габаркульских! — Он вспомнил, что к каолиновому кладу нет ни дороги пока, ни тропки, и в изнеможении присел на край стола.

Приятель с чувством вдавил окурочек в переполненную пепельницу.

— Слушай, друг, я в резине, в резине сижу, понимаешь? Я калоши делаю, шины, кишки резиновые... Могу изрядную соску, не хуже довоенной, дивчине твоей подарить: в десять лет не изгрызет, а?

...Так, бесплодно мытаря друзей, просиживая ночи с знакомым инженером над проспектами заграничных фирм, мечтая о пролетарском островке среди великого крестьянского океана, он первоначально имел в виду нечто вроде Нерчемской фабрички для высоких писчих и печатных бумаг, способных выдержать любые фрахты. Постепенно мечтание его пухло, множилось и уже громоздкие принимало очертания. Лесные массивы простирались бесконечно и столь разумно были изветвлены реками, точно природа провидела их будущее назначение. Железнодорожная ветка Вологда — Мычуг позволяла бесперебойно снабжать бумагой потребляющие центры, а в случае прокладки намеченной по пятилетке магистрали Солонга — Кемь значение потемкинского предприятия возросло благодаря возможности использовать и внешний рынок. В месте слияния упомянутых рек громоздился крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат, окруженный достойными его лесозаводами; напуганный собственной мечтою, Потемкин стал вдруг сдержан и молчалив... Строительство идет полным ходом. Пять тысяч строителей в три смены заканчивают возведение корпусов. На океанских пароходах везут варочные котлы, каждый вместительнее его исполкомского кабинета, шлют оборудование лесных бирж, еще не виданное в Европе; турбогенераторы и дефибреры едут из Германии. Медлительно и лениво стальные чудовища расползаются по узорному плиточному полу, и тотчас же

их впрягают в широкие ременные вожжи. Они еще спят, но однажды с ревом и грохотом пробуждаются к работе, и в этот ответственный день Потемкин ведет неведомого Жеглова хотя бы на водонасосную станцию! Все волнуются, но не показывают виду. Выгнув толстые чугунные шеи, в которых бешено мчится теперь обезумевшая Соть, пыхтят и взвизгивают центробежные насосы, и Потемкина не раздражают нарисованные кем-то на шее чудовища плутоватые глаза. Корпусов уже не семь, как мечталось вначале, а вдвое, и в каждом бьет в лицо масляный зной, дуют зловещие электрические ветерки. В разлинованных улицах заводского городка цветут акации...

— Смотри, смотри, — дрожим шепотом говорит Потемкин, — познать класс можно из книг, но почувствовать — только тут, у машин, когда они в работе...

Край благоденствует, рабочий вопрос улажен, лозунги о социализме сходят в жизнь со своих уличных полотнищ. При электрическом свете мужики коллективно едят многокалорийный обед и, благодарно любуясь на портрет комбината, слушают радиомузыку. Жизнь им легка и приятна, как новорожденному мир, но Потемкин и тогда не предается заслуженному покою. Потемкин не спит; он выпрямляет и углубляет древние русла рек, вчетверо увеличивает их грузоподъемность, заводит образцовое лесное хозяйство. Потемкин объединяет три губернии вокруг своего индустриального детища. Потемкин открывает бумажный техникум и произносит знаменитую впоследствии речь о пользе бумаги. Целлюлозные реки текут за границу, процент целлюлозы в газетной массе утраивается, все чрезвычайно удивлены, и сам он тоже втихомолку чему-то удивляется. В его снах, как в ночной реке, преувеличенно и зыбко отражаются дневные планы. Сны подгоняют явь, а явь торопят сны... — Оно истощало его, это непосильное мечтание, как голодного мысль о хлебе.

Тотчас после предварительного обследования он заказал экономический эскиз комбината. Лучшие статистики губернии, химики, техники, инженеры полгода любовно вышивали этот замечательный ковер. Написанный самым деловым стилем, отпечатанный на полутряпичной бумаге самыми грамотными машинистками губернии; снабженный картами и диаграммами почти перламу-

тровой раскраски, — проект по стройности своей походил на стихотворение. Сперва шли экономические предпосылки целесообразности, возвышенные почти до лиричности; затем, вслед за перспективами потребления, поминалось кое-что и вкратце о возможных или обещанных железных дорогах; потом дружные хоры цифр пели о сырьевой базе, и, наконец, проект заключался описаньями рек и их бассейнов, с высотами половодного и меженного уровней, с указанием мощности, а в некоторых случаях даже и химического анализа воды. «Нужда в бумаге, — говорилось в заключении проекта, — обострившаяся благодаря отпадению производящих окраин, повышается с каждым годом и грозит перейти в бумажный голод. Политическая обстановка дня и переход на культурную революцию, имеющую завершить материальные завоевания, внушительно требуют развития отечественной бумажной промышленности...»

Отпраздновав окончание проекта небольшой пирушкой, Потемкин разослал его по всем хозяйственным властям, от которых зависело разрешение и кредитование комбината. Это произошло в начале апреля, но вот и береза распустилась в исполкомском палисаднике, и пьяные слобожане стали выползать на молодую травку, а все не поступало ответа в исполкомскую регистратуру. В конце июля, однако, пришла бумага из центра, где, принципиально соглашаясь с предложением губернского совнархоза, высокая власть сомневалась в возможности его скорого осуществления: кредиты были уже распределены... Прочитав письмо, Потемкин раскрыл окно и целых полчаса пребывал в безразличном отупении. В воздухе, слабо попахивающем гарью, отдаленно гремела военная музыка. По площади прошли молодые люди из слободы, напевая под гитару:

Не влюбляйся в карий глаз:  
Карий глаз опасный...  
А влюбляйся в синий глаз...

Потемкину стало не то чтоб скучно, а как-то не по себе, и еще хотелось пристрелить гитару, как собаку. Колола вдобавок досада, что на всех хватает денег хоть и по

нищему куску, а вот его безропотную Соленгу обрекают на прежнее прозябание. Вдруг он отвернулся и закусил губу, как делал прежде, когда сгоняемый плот затирало на пороге. Тут же позвонил в губком, секретарь которого тоже собирался в центр по делам особой важности; одновременно дано было распоряжение на вокзал оставить билеты на сквозной архангельский поезд. В ту же ночь, на полчаса заехав домой, он покинул свою обделенную родину. В настроениях он ехал крайне нетерпеливых; в вагоне, кстати, познакомился с одним волосатым инженером, патриотом Крайнего Севера, который, как и он сам, направлялся в Москву клянчить денег на постройку того самого медеплавильного завода, с которого Потемкин собирался возить свои флотационные хвосты. Не дослушав инженера, в котором, как в зеркале, увидел уродливое изображение самого себя, Потемкин с остервенением вышел на площадку покурить.

— Все бродишь? — окликнул его секретарь, папироска которого тлела в грохочущих потемках тамбура.

— Слушай, у меня мысль... Если Соленгу с Унжей соединить, — там всего сорок восемь верст, — лесная база увеличится втрое. Тогда не шесть котлов по восемнадцать тонн, а и все девять ставь! Я из того веду расчет...

— Иди спать, будорага! — тихо укорил секретарь. — Ночь, спать надо.

Тотчас по приезде они отправились в то высокое учреждение, где прежде всего следовало искать поддержки; один из секретарей его, сам литератор и потому в особенности озабоченный судьбами советской бумаги, долго расспрашивал Потемкина о мужиках, к великому его неудовольствию.

— ...ворчат! — молвил Потемкин, утрюмо сворачивая на привычную тропу. — Лесу много, работы нет. На экспорт не берут, а в центр возить далеко. Доска не выдержит, а бумаге все впору. Мы вот решили: надо на месте лес работать!

Приготовляясь к описанию сотинских преимуществ, он подошел к карте и пальцем искал на ней свою знаменитую реку, которую предполагал отныне прославить комбинатом. Он искал долго, и краска прилила к щекам, но то была не прежняя карта одной лишь губернии, а

карта всей страны, с Сибирью, Кавказом и Туркестаном. По ней извивались чужие ему, мощные реки, распространились зеленые расплывы низменностей, коричневые хребты знакомых понаслышке гор, серо-желтые лысины пустынь. Его палец заблудился в необъятном этом пространстве и растерялся, найдя наконец свою область. Ее всю можно было прикрыть двумя ладонями, и великая Соть ползла по ней усмирением червячком. Заодно искал он глазами и Соленгу, замечательную милую реку, с белыми кувшинками в заводях, вольную и открытую, как улыбка, с голубой водой и луговыми берегами; он вовсе не нашел ее на карте, словно стране не было дела до Соленги и ее поэтических красот. Секретари шептались, и Потемкин успел оправиться, но уже не умел вернуть себе прежнего воодушевления.

— ...сырья на тыщу лет, мужик хороший, крепостным правом не испорченный. Бумага на корню гниет, а нам газеты выпускать не на чем! — Он устал даже после того немногого, что ему удалось произнести.

Наконец ему пообещали, что делу будет уделено возможное внимание, и в **Бумагу**, к Жеглову, Потемкин ехал уже в состоянии крайнего недоумения. В сущности, для начала все шло неплохо, но чему, расставаясь, так странно улыбался секретарь?.. Ах да, он пошумел некстати, неугомонный Потемкин. «Может, комбината и в самом деле не нужно, а газету можно печатать на фанере, на березовой коре или просто на облаках, как делают где-то в этой чудачкой Америке?..» Оттого-то в кабинет к Жеглову он входил не без враждебной настороженности: ему казалось, что вокруг тяготеют его посещениями. Жеглов сидел не один, а с ним рядом молчаливая человеческая глыба с плотным, с почти заносчивым лицом, не располагавшим к душевной беседе. «Тем лучше», — воинственно решил Потемкин и двинулся прямо на глыбу, но та прикрылась газетой и не допустила до себя; человек этот казался бы высоким, если б не был так коренаст.

— Товарищ, в очередь... — бросил Жеглов, второпях перебирая бумаги.

— Мне не к спеху, — откликнулся Потемкин, печально удостоверившись, что действительно в ревсовете Семнадцатой они не встречались ни разу. — Пропускайте вашу очередь.

Он не принял приглашения садиться, ходил по комнате, укоризненно потыкал пальцем в бронзовую девушку на пепельнице, попробовал на ошупь бумагу, на которой напечатан был портрет вождя, и определил на глаз процентное содержание целлюлозы. В этой серенькой, с окнами на один из древних московских соборов, комнатке все его раздражало. Тем временем шел уже третий посетитель: огромный мужчина, татарин по лицу и речи, сдержанно бубнил о бумажных нехватках на местах.

— ...баба в каператив приходит, сахар просит, сахар даем. Куда сыпать? В юбку сахар сыпать?

Жеглов заглянул поверх пенсне куда-то в календарь.

— За третий квартал вам обещано отгрузить пятьдесят тонн. Всё?

Тот не унимался и в раздумье поглаживал необыкновенные свои габардиновые галифе:

— Погоди, мужик сахар просит, куда сыпать?.. в штаны сахар сыпать?

Жеглов забарабанил пальцами в стол.

— В ту же бумагу и сыпьте, товарищ... в ту же бумагу! — и звонил секретарю.

Проситель уходил в испарине, потрясенный убедительностью жегловского аргумента. В дверях он нерешительно оглянулся, загораживая проход, но раздались еще какие-то звонки, и в щель пропихнулся мясистый человечек, обмахиваясь обрывком белого картона. Доведенный накануне до иступления, он заготовил Жеглову целую чашу желчи, но, видимо, смутился посторонних людей и с отчаянья, точно козыряя, бросил Жеглову картонный листок, которым обмахивался. Затем, упершись изогнувшимися досиня пальцами в стол, он шумно дышал, и вся бумага перед Жегловым шевелилась.

— Папиросный картон, пятидесятых номеров, — безоблачно определил Жеглов, потирая образчик между пальцами. — Неплохой для вашего дела картон!

Лицо табачного директора исказилось:

— ...труха, с вашего разрешенья, а не картон! — Лицо его вдруг заблестело, и толстый побагровевший нос готов был скакнуть на стол, как большая масляная капля. — Мне из него, товарищ, не лошадок вырезать, а коробки папиросные клеить. Ну-ка, сломайте его, будьте добреньки!

Жеглов послушно сломил образчик и передал гостю; тот тоже надломил и почесал угол рта, под усами: в сломе обнаруживалась сквозная трещина. С минуту все грустно созерцали неотразимую улику.

— А вы попробуйте замочить его перед клейкой, — неуверенно посоветовал жегловский гость.

— ...они же плесневеть будут! — взвизгнул тоненьким голоском директор, но сам смутился, ибо все кругом заулыбались, не исключая и Потемкина, и вот тут-то удалось спровадить его к члену правления.

С сердитым достоинством Потемкин положил на стол запасной экземпляр проекта и молчал, пока шумели страницы, листаемые Жегловым. Перегнувшись через его плечо, гость пристально заглядывал в сочинение о богатствах потемкинской губернии.

— Мы уже читали, — пожался Жеглов. — Вверх стучитесь.

— Стучался, возвратили с благодарностью, — откровенно отвечивал Потемкин. — Бумаги нет, подписку на духовную пищу сокращаем... придется строить.

Должно быть, сердил Жеглова воинственный напор гостя.

— Ну и стройте. Благородное дело.

— Я бы и рад, денег нету.

— У нас по этой части тоже гайка слаба. А подписку зачем же сокращать! На газету найдется...

И опять он бегло просматривал проект, хотя знал его до последней точки. Потемкину показалось даже, что мнение Жеглова склоняется в его сторону; собравшись с силами, он метнулся к карте, и сперва все замутилось в его глазах, а потом голос приобрел тот чрезвычайный оттенок, достаточный, чтобы убедить и дерево, что если отказаться от потемкинской затеи, то не стоило и революции устраивать на Соти. Жеглов тускло взглянул на гостя, и ораторское вдохновение Потемкина мгновенно иссякло.

— Ты меня не агитируй, а вот: у тебя там на Нерчьме фабричка... мы с ним и сами оттуда, — кивнул он на глыбообразного своего соседа. — Что, ежели бы расширить ее, машин подкупить, а? — Он знал и сам, что нерчемская руина движется единственно по разбегу времени; он

вспомнил старомодный тамошний дефибрер, который, хрипя и кашляя, оплевал его однажды перемолотой древесиной, и со вздохом закрыл папку. — Может, цепи там переменить, камень выписать новый... — Ему никто не ответил. — В Цека был?

— Часа два назад.

— С кем говорил?

Потемкин назвал фамилию секретаря, и тогда в действии вступил третий, молчавший с самого начала.

— Садись сюда. Меня зовут Увадьев, я из Бумдрева. Бисерного твоего шитья я так и не успел прочесть: ругаться меня в одно место посылали. Вот ты на какую производительность рассчитывал?

Тот замялся: было страшно пугать раньше времени этого непредвиденного друга.

— ...тысяч сорок тонн в год.

— А через год новые корпуса пристраивать?

— Так можно и круче взять, — взыграл Потемкин, томясь неопределенностью минуты. — Там разезд придется перенести да еще ветку... я бы и на себя взял! — Лавина сдвинулась с места, и нужно было лишь подтолкнуть ее в начале пути.

В продолжение двух месяцев они не раз еще встречались у Жеглова в Бумаге, и бронзовая бесстыдница на пепельнице перестала сердить потемкинское целомудрие. Непостижимым образом, дробя свой день, он ухитрялся ежедневно ходить на штурм и не всегда возвращался с поражением, но всегда израненный в лучших своих чувствах; твердя о социализме, все называли этим словом что-то расплывчатое и как будто удаленное на века.

Всюду — в редакциях крупнейших газет, в правлениях банков, в кооперативных конторах — его знали в лицо, и кое-где он стал уже надоедать. Он осунулся, оброс волосами и напоминал того чудака, который обходит весь свет в поисках волшебного напитка, необходимого для оживления любимой...

Здесь, на полпути, к нему примкнул Увадьев, действовавший как таран. Это случилось вовремя: Потемкин изнемогал. Папка первоначального проекта разбухла и затрепалась. Ученые эксперты трех высоких учреждений качали это невозросшее детище в глубоком



уединении кабинетов; сановитые бюрократы закутывали его в бумагу обширной переписки; дитя хирело, и тогда Увадьев кинулся за помощью к газетам; но там напутали, и, еще прежде чем дело приблизилось к экономическому совещанию, пошли слухи, что именно Увадьев встанет во главе Сотьстроа. Более того, распространились сбивчивые известия, что комбинат уже разрешен и остановка только за выбором технического оборудования. Какой-то ретивый журналист начал свою статью барабанной дробью: «Еще один раз Соть, и мы станем вывозить целлюлозу!» Некоторые полагали, что Соть уже построена, и газетная трескотня носит полуюбилейный характер... А там, на Соти, пока еще качалась и зрела тощая мужицкая ржица да кричали лягвы в приречных низинках.

Все же потемкинское войско умножалось, и в жегловском кабинете, под редкий благовест соседней церквухи, обсуждалась уже финансовая часть предприятия; имели в виду взять процентов восемьдесят годовой прибыли треста плюс тридцатилетний кредит из банка, возглавленного Жегловым... Кстати сказать, людской материал стал скапливаться задолго до того, как явилась нужда в материале строительном. И первая встреча произошла в одном из тех доходных и безвкусных домов где-то на косогоре возле Сретенки, каких уйму настроила Москва в пору своего торгово-промышленного роста. Причины, которые привели туда Жеглова, относятся к тем отдаленным дням, когда мальчик Жеглов и не помышлял еще о роли, какую ему навяжет жизнь.

## II

Не разукрашенная ничем — разве только красные флаги вспыхнули однажды и погасли надолго, да еще покойному дядьке руку оторвало в каландрах машины — протекла его юность. Нерчьма в этом месте падала в Соленту, а при слиянье, обок богатому селу, ютилось бумажное заведение купца Рыбина с сыновьями; они тут же и бегали по двору, норовя подстрелить зазевавшуюся ворону из рогатки, эти помянутые на вывеске сыновья. Содержа семью в азиатской строгости, оный бородатый хозяин все землю

скупал и, по фабрике сказывали, до тридцати тысяч десятин накопил, но помер в холерный год, и в ту же дверь, в которую вынесли запаянный гроб старика, хлынуло, как в прорву, накопленное добро. У забитой его супруги тотчас объявились незаменимые молодые люди, а у них пожилые родственницы, а у этих духовные пастыри, и все кормились, а перезаложённая фабричка хирела, портились машины, падал кредит. Кстати, и сыновья, матушкина беспутства наглядевшись, мотали даровую деньгу: все хотелось дворянским пером украсить вчерашнее холуйство. Через год уже не давало молока истощенное вымя, и тогда продали наследники и всю корову на зарез. Новый хозяин Фаворов бороденку уже стриг, над дворянством посмеивался и европейскую свою науку с российским навыком сочетал. Прибрав фабричку к рукам, он управителей разогнал, машины починил и сам сел за управленье, а через два месяца случилась первая забастовка, сопровождавшаяся бунтом, поджогом и убиением урядника. Однако этот первый свой экзамен он успешно выдержал, иных рассчитал, иных под суд упрятал, и вот снова из продырявленного вымени заструился живительный сок.

В партию бумажников, ушедших на поселенье, попал и молодой Жеглов; безрукий дядька пропал где-то в поисках своего безрукого счастья, и так как в домике никого не оставалось, то и домик их скоро сгорел; так и потерялся жегловский след. Преступников судили в окружном суде, и сперва присяжные пожалели этого тихого и сияющего пария, но прокурор заартачился, перенес дело в палату, где сразу и обнаружилась сугубая жегловская вредность. Год был мятежный, суд происходил при закрытых дверях, и Наташа, единственный друг жегловского детства, до поздней ночи простаивала у ворот. Когда осужденного Жеглова уводили под конвоем, — Наташе запомнилась навсегда молодцеватая бескозырка одного из конвойных, — они встретились глазами. «Зубы болят!» — только и крикнул Жеглов, комично держась за подвязанную щеку, и они расстались надолго.

Письма и в первый-то год приходили редко. Потом Наташа вышла за Увадьева, молодого и сытого мастера с той же фабрички, где сортировщицей работала и сама. Детство и память о дружбе затмевались мелочами новой

жизни, и вдруг она забыла, как звали того смешного сторожа в поповском саду, куда они детьми пробирались за падалками. Птицы клевали яблоки, старичок привязывал веревочки к вершинкам и, дремля у бани, подергивал то за одну, то за другую; птицы не унимались, а яблоки все падали, пока не прогнал поп домодельного сего изобретателя. Потом ей стало это нелюбопытно. Через год она забеременела, но поскользнулась однажды в гололедицу, возвращаясь из церкви, и это несчастье наложило свой отпечаток на Наталью: она сжалась и точно озябла навеки. По-прежнему она ни в чем не упрекнула бы мужа, которого хоть и мало кто любил, но уважали все, не исключая хозяина; ей бывало холодно в его присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки.

К тому времени уже собиралась у него по праздникам фабричная молодежь почитать запретные книжки. Из карманов у всех откровенно торчали головки винных бутылок; снабженные гербом империи, они не хуже паспорта удостоверяли благонадежность потребителя. Бесскандально пошумев песню на крыльце, приятели уединялись в материну каморку, и всякий раз, когда Наталья вносила им чай, делали вид, будто спяну забавляются анекдотцем неосторожного содержания. Изредка приходил дьяконов сын, земский статистик, и сразу в уадьевском домике становилось беззаботно, точно в снега декабрьские ворвался гремучий ручей. С Варварой, матерью, он вел разговоры о лечении застарелых недугов обыкновенным луком, а с Натальей — о пользе детей в домашнем обиходе; никто рассуждений его всерьез не принимал, но и не обижался. Он всегда пил сырую воду, и Варвара шутливо грозила, что он издохнет когда-нибудь от сырой воды. Однажды его арестовали, но собраться продолжали и без него.

Тоскуя о дьяконовом Ваське, Варвара насоветовала как-то Наталье одернуть мужа:

— В Сибирской-то губернии, сказывают, все дороги умниками вымощены. Напиши-ка Щеглу своему, спроси, ладная ли дорожка выходит, не тряска ли... — Под Щеглом она разумела сосланного в каторгу Жеглова.

Вечеру той же субботы Наталья собралась переговорить с Иваном; не упрекать его собиралась, а лишь рас-

спросить и, если потребуется, помочь в его потайном и опасном деле. Муж вернулся поздно и, как сразу поняла жена, пьяный; это случилось впервые за все время их совместного существования. Держась рукой за притолоку, он стоял на пороге с закрытыми глазами.

— Лампадки зажги, пустельга! — отдельно и сипло сказал он потом. — Дай ему огня и масла, волосатому...

Шатко пройдя к нарядной кровати, он с сапогами завалился на тканьевое одеяло и так лежал распластанный, дико глядя в потолок. В его распоротой, может быть, о раздавленный стакан ладони запеклась кровь. Тикали часы, и доносилось теляное чваканье из-за перегородки: мать месила пироги к празднику. Полыхали лампы, и одна струила тоненькую горелую вонь. Вдруг он поднялся на локте, голос его звучал почти трезво:

— Ваську повесили, кувык... — и показал рукою место, где сомкнулась веревка.

...Не помогли конспиративные лампы: утром взяли и Увадьева. Судили его не за ту большую вину, в которой был повинен не меньше Васьки, а за шальное слово об империи, — так объяснил он сам Варваре. Он вернулся через год и еще три дня, потребных на то, чтоб добраться до фабрики в распутицу. Вместе с товарками по фабрике Наталья дивилась, что он даже не осунулся, не постарел, точно его там зацементировали впрок; тюрьма другое оказала влиянье; он стал выпивать. Делал он это и в компании с матерью, которая вином лечилась от какой-то запущенной простуды. Каменной породы, как и сын, рано овдовевшая Варвара сохраняла почти тридцатилетнюю свежесть. «Я вдова стойкая, первый сорт. Мне бы с медведем жить!» — шутила она, и правда, только полнота да тугой крупичатый румянец выдавали ее крайнюю спелость. Выпивали они в согласном молчании, и сперва бутылки им хватало почти на неделю, но к началу войны ее хватало на срок уже гораздо меньший. Молодежь забрили, сборища прекратились, и теперь сам Увадьев изредка уходил куда-то, а куда — Наталья не смела спросить. В пору его отсутствия, летом однажды, заходил мужчина в панамке, сказавшийся не то мужем покойной тетки, не то братом дядиной жены; проныра и мигун, он просидел с полчаса, и Наталья не остереглась бы от вредной довер-

чивости, не вернись вовремя Варвара; тогда он заметался и, не допив квасу, заспешил на поезд.

— ...вот шпарну тебя кипятком, кота драного! — загрохотала вслед ему Варвара, но тот не обиделся, а лишь поскалил мелкие серенькие зубки.

Следовало ждать неприятности, но тут объявили мобилизацию дополнительного года, и Увадьева смыло общей волной. Всюду сопровождала его великолепная удача: его не убили, даже не подранили, а разрушительная работа, которую продолжал вести в армии, благополучно сходила ему с рук. Письма содержали краткие сведения о здоровье и опасностях, от которых охранял его господь. «Благодаря богу, я в атаку не ходил», — писал он, и Варвара хмурилась на эту ненапрасную осторожность сына. На третий год войны нагрянули с обыском как-то ночью, ископали дом и огород, переворошили вдрызг Варварины укладки. Сидя в одной рубашке на кухонном столе, Варвара яростно созерцала распоротую перину, память о недолгом супружеском счастье. «Не волнуйтесь, душечка, — ластился жандарм, созерцая ее гранитные формы. — Я сам семейный и родителям сочувствую». Тогда же стало известно и об аресте самого Увадьева, и тут один из фабричных старожилов признался Наталье, что уже три года муж ее состоит членом подпольной организации. Было горько узнать, что столько лет муж скрывал от нее свое кровное дело, но она простила ему и теперь, потому что неспособна была на большее. Поистине везло этому упорному, спокойному человеку, битюгу революции, как его называл покойный Васька. Гибель империи освободила его от военного суда и кары; с этого момента он пошел в гору, не отказываясь ни от каких постов, где требовалась работа почти парового копра. Лишь через полтора года он выписал к себе жену и мать, в тот сретенский дом, о котором упоминалось вначале.

В годы Гражданской войны Наталья встретилась с Жегловым. Она поехала к нему в редакцию одной профсоюзной газеты, и тот не узнал сперва в маленькой усмиренной женщине прежнюю Наташу; он успел забыть, что она никогда не выделялась бойкостью, и второпях решил, что ее просто старит нескладная кожаная куртка. Десяти минут хватило, чтобы вспомнить знакомых, мертвых и живых:

- Где Ваня Пташин?
- Его убил Колчак.
- ...а этот, Бусанов?
- Он в Чека, где-то на Кубани.
- А Увадьев, ты помнишь его?
- Да он тут. Это мой муж.

Потом Жеглов поделился с ней грязноватой плюшкой, которую почему-то в кармане принес ему курьер; потом стали мешать телефонные звонки; потом Наташа уехала, и в следующий раз они встретились только через месяц. Теперь они ближе разглядели друг друга и нашли, что все обстоит по-прежнему. «Да, и Щегол все тот же, только прежнюю незлобивость посмыло с него там, в приполярных тундрах...»

— Ты работаешь где-нибудь?

— Я... видишь ли, у меня... — В ее лице разбежался пятнистый румянец, она замялась, и Жеглов с новым чувством заметил, что Наталья беременна; именно это обстоятельство вернуло в их отношения простую человеческую естественность, которой недоставало вначале.

— Да, я вижу. Скоро?

— Месяца через четыре.

— И ты счастлива? то есть... ну, ты понимаешь меня?

В ответ она улыбнулась так обиженно, что губы ее встали почти вертикально. Ощувив неловкость, он перевел беседу на каторгу, всесибирскую скуку, прочитанные книги и встречи с людьми; избавленная от необходимости говорить, Наталья отдыхала. В сумерках вернулся с заседания муж, и Жеглова сперва неприятно поразила его заносчивая угрюмость. Узнав Жеглова, которого знал, впрочем, больше по шумевшему в свое время неудачному побегу, он проявил неуклюжую любезность, и вдруг зачем-то понадобилось ему вспомнить деда своего, искусного черпальщика, которого фабрикант Филатов, строитель фабрички, променял на кобылу в яблоках, мыловара и пожарную трубу; про трубу он помянул дважды и даже помнил числа, когда бежал его предок на вольный Дон, когда был пойман и бит плетьюми и, уже одноглазый, снова поставлен к машине. Выходило, будто в родовой неприязни ко всем тем, чей дед не щеголял в помещичьих рогатках, он и Жеглова вызывал на соревнование,

а тот сочувственно кивал головой, прячась в дым папироски.

— ...удачник! — только и сказала Наталья, когда муж уехал.

— Не врал про деда-то?

— Нет... он только округлил. Это моего прадеда променяли на трубу. Ты не суди его строго...

— Я и не обвиняю.

...именно обвинял, подозревая в нем тот сорт людей; которые непереносимы с низшими, равнодушны к равным и сами крайне болезненно переносят нерасположение свыше. Впоследствии он изменил мнение об этом суковатом человеческом кряже, достойном лежать в фундаменте большого дома, но Увадьеву так и не удалось завоевать его дружбы, целиком принадлежавшей Наталье. Жеглов понял многое в отношениях мужа и жены, а прежде всего — что было великой неделикатностью дразнить ее расспросами о счастье. Она любила Увадьева и уже привыкла к печальной роли луны, отражающей блеск отдаленного светила. Развод не доставил бы ей облегчения; втайне она жила его порывами, и не ее вина была в том, что не подходило случая, когда она могла бы проявить преданность и верность. Таким случаем была бы лишь крупная какая-нибудь неудача, и однажды она не без горечи высказала ему это.

— Калечку хочешь при себе иметь? — Должно быть, вспышка его объяснялась боязнью, что кто-то спугнет его знаменитую удачу.

Впрочем, он великодушно переносил ее присутствие, и происходило это не из насильственной благодарности к женщине, заслужившей его привязанность черной работой прачки и жены: попросту дни Увадьева были завалены более важными делами. Возможно, он был приспособлен для иной, сокрушительной любви, за которую надо бороться и тратить силы; он ждал другой, равной по возможности ему и непохожей на Наталью, которая девять лет уныло проторчала под рукой, как походная чернильница. Переворот этот мог произойти каждую минуту, она знала это и жила беспокойно, как на бивуаке, всегда готовая уступить место еще не существующей сопернице. Целых два года длилось это противоестественное равно-

весие, а та, уже победившая, все не шла. В ожидании катастрофы ее не тревожили временные увлечения мужа; не тронутый в чувствах и потому падкий на необычное, он позволял себе изредка эту любовную роскошь. Не страшась причинить горе, он угощал иногда жену шоколадом, который случайно оставался у него в кармане от другой; сам он не любил сладостей и не терпел, чтобы вещь бесцельно пропадала в мире. Жуя это горшее отравы угощение, она зорко наблюдала его в те часы; он сидел очумелый, уставясь куда-то в беспредметную тишину. В большинстве то бывали женщины опрокинутого класса; в короткие часы свиданий они успевали напоить его жгучей тоской собственного опустошения.

К этому времени Варвара разъехала с сыном. Привыкшую к нужде, ее бесило даже и самое крохотное благополучие. Случались ссоры и раньше, но Увадьев терпел, узнавая в ней самого себя; однажды нитка перетерлась. На прощанье выругав сына окаянным солдатом, она выговорила ему все, что отстоялось, как в масляной бутылки, в ее просторном сердце.

— Жги, да пали, да секи, да руби однородных-то! Когда штаны-то с лампасами наденете? На всех не хватит, так хоть из ситчика пошейте, черти неправедные.

Связав полотенцем неразлучную перину, спутницу скитаний, она сунула в середку икону, села на извозчика и укатила куда-то в подвал: сосед обещал ей место трамвайной стрелочницы. Наталья осталась одна; в ожиданье родового часа она беззвучно бродила по тесной квартирке, избегая взглянуть в нарядное с бронзой зеркало, выданное по ордеру. Дымила печка; черная, клейкая, как лак, гуща капала из трубы. Напротив в окне висела облупленная вывеска закрытого ящичного заведения. Мужа услали в командировку. Жеглов приезжал по пятницам. Кто-то внизу играл на трубе.

Именно Жеглова и вызвали по телефону, когда начались преждевременные роды. Нижняя жилица привела акушерку. Та кипятила воду на примусе и курила толстую дымучую папиросу, когда приехал Жеглов; затыгиваясь, она равнодушно глядела в просвет на заиндевелом окне: там, на улице, подыхала близ сугроба кляча. Акушеркина брата, юнкера, застрелили в октябрьских боях,



и с тех пор она почитала нравственным долгом ненавидеть большевиков; ненавидела она, впрочем, не особенно пламенно, так как недолюбливала и брата. У нее на лбу, в земляной борозде, прятался прыщ, и Наталье все казалось, что такая непременно ткнет ее папиросой в голый живот. Тем сильнее она обрадовалась Жеглову, который еще с порога начал доставать из кармана яблоко. Затем, присев возле, он рассказывал невероятные истории, как, например, и ему однажды довелось действовать за повивальную бабку. Наталья не смеялась и, зябко кутаясь в шубку, все косилась на акушерку, вынимавшую из кипятка сверкающие инструменты, атрибуты ремесла. Вдруг лицо Натальи стремительно пророзовело, и яблоко покатилося из откинутой руки.

— Ну, родитель, ступайте покурить... — оживилась акушерка и вытолкнула Жеглова, который от растерянности кинулся прежде всего поднимать яблоко.

Обжигали его затуманившиеся Наташины глаза; кроме того, видевший расстрел рабочей демонстрации, он не выносил женского вопля. Как был, без шапки, Жеглов выскочил на площадку лестницы. Дверь, снабженная автоматическим замком, захлопнулась. Жеглов остался один.

### III

Снизу дул в разбитую дверь почти полярный холод; окна тоже не имели стекол, и снежинки привольно резвились в сумерках лестничного провала. Обвеваемый сквознячками, Жеглов усердно топтался на месте и все скидывал на нос спадающее пенсне. Рубашка из синей бумазетки, какой раньше обклеивали фуляры, вовсе не согревала. Когда стали коченеть ноги, он принялся поплясывать энергичней, даже соблюдая подсознательный ритм. Дверь соседней квартиры открылась, и человек внушительных размеров, да и возрастом не менее пятидесяти вынес за дверь помойное ведро. Неторопливо отжав мокрую тряпку, он искоса взглянул на Жеглова и прислушался к крикам, которые сочлились даже сквозь войлочную обивку. Тогда, застенчиво улынувшись, Жеглов стал сморкаться.

- Ничего, валяйте, — сказал человек с тряпкой.  
— Дует очень, — пожаловался сквозь зубы Жеглов.  
— Зима, — рассудительно определил тот. — Брат?  
— Не совсем.

— Э, дядя! — догадался тот, не допуская никакого родства, кроме физического, которое толкнуло бы на такую жертву.

— Вот и не дядя!

Человек с тряпкой меланхолически почесал переносье:

— Да, можно простудиться — январь, — и неторопливо захлопнул дверь.

Так прошло минут пять; шнурочек пенсне покрывался легким инеем от дыхания, когда дверь снова распахнулась. Тряпка все еще висела у человека на руке.

— Да — я забыл — войдите — у меня печка — потом чай. Я тут пол — тряпкой. — Отрывистую, точно сердился на вопиющую неточность слов, речь свою он сопровождал нетерпеливыми жестами. Пропустив гостя вперед, он старательно запер дверь на цепь. — Не пенсне — не пустил бы!

— Пенсне не паспорт, — засмеялся Жеглов, все еще не доверяя тишине за дверью.

— Пенсне — надо смелость — за пенсне могут расстрелять — беглые хлюсты с каторги.

— Знаете что?.. — осторожно приподнялся Жеглов. — Я уж, пожалуй, пойду туда, на площадку. Я как раз с каторги. Хозяин раздумчиво взглянул на гостя.

— Ничего — сидите — там зима. Моя — Ренне, ваша — Жеглов? Я не был на каторге — брат был — горный инженер — помер.

— И давно? — неопределенно поддержал Жеглов.

— Да — помер, — не понял хозяин и поглядел на стену, где рядом с мешочком крупы, помещенным туда от мышей, висела фотография инженера с мешковатой выправкой; будучи молод и глуп, зная каторгу лишь из окна казенной квартиры, инженер презирал и крупу, и предстоящего Жеглова. — Помер — смерть растворяет — как сахар, но мысль нельзя — кристалл. Бессмертие — я потом докажу. Если да — в этом стакане будет безумие! — Он нарисовал широким жестом этот стакан, годный для определения вселенной; потом перешел к окну. — Там

лошадь мрет — хвост притоптали — он примерз. Хотите глядеть? У меня бинокль...

— Я уж лучше чайку предпочту, — открыто намекнул Жеглов, жадно впитывая в себя тепло из печки.

— Ладно — у вас яблоко — будем с яблоком — давайте половину — снесу жене.

Разорвав яблоко пополам, он вышел в дверь и плотно притворил ее за собою. Жеглов осмотрелся. От сырых еще полов пахло какой-то знакомой дрянью. На прогорелое колено трубы, как пластырь на горло, привязали проволокой кусок жести. На столе валялись листы толстой бумаги с рисунками, выполненными от руки и до кропотливости тонко; изображали они не то листву как бы архейского папоротника, не то беспредметное видение сна. Хозяин застал гостя за разглядыванием рисунков.

— Это жена, — пояснил он, внося чайник и ставя его на печку. — Это мороз с окна — трудно — у нее глаза болят. Маньяк — ему нужно гармоничность распределения молекул — кристаллограф — скоро расстреляют. Нет, тот от гипосульфита — на стекле. Он в *Мукé* служит — носит в карманах — ворует.

— От рисования заболели глаза?

— Да — тряпочки с холодной водой — и лежать. Теперь сам — полы — стираю белье — человек должен все. Бегать не умею — украл доску из забора, упал — пять пудов без тары!

Жеглов так и понял: перед ним стоял помраченный интеллигент, для которого с начала революции потух свет в мире. Путем наводящих уловок он дознался, что был прежде Ренне крупным знатоком лесного дела, и Октябрьская застала его в глухом городишке, где он проживал с женой и дочерью в домике у старшей, одинокой своей сестры. Жена разводила коз и кормила весь дом, но, несмотря на козье молоко, сестра вскоре умерла; привыкшую к плавному течению прошлого века, ее слишком утомлял шумный круговорот новых дней. Провинциальные условия не способствовали тихому житию; местную власть, на глазок определявшую степень вредности граждан, могли когда-нибудь ущемить белые воротнички инженера. Тогда Ренне бросили сестрино пепелище и перебрались в Москву, на Сретенку. Здесь

можно было укрыться с головой одеялом и ждать чего-то, выбираясь лишь для добывания еды. Под одеялом одолевала смертельная тоска и червился разум, но, даже и чистя снег на мостовых в порядке общей повинности, Ренне все еще скрывал свое инженерское звание, полагая, что за звание-то и **кокнут**. Постепенно он входил в общую линию, и когда однажды ему удалось проволокой пришить к износившимся ботинкам огрызки автомобильной шины, он целый день смеялся от радости, как не смеялся, наверно, и первобытный человек, додумавшись до каменного топора; к таким ботинкам следовало лишь притерпеться первую неделю, а там шагай в них хоть пешком в Америку. Предельно опростясь и для сбережения сил он проводил дни в созерцательном безделье. Ему даже нравилось это добровольное самоуничужение, а средства к жизни... кажется, их добывала жена, которая фанатически верила, что муж ее рожден для великих свершений. Сперва она шила чувяки, а когда ковер покончился, в пещеру их вторгнулся добродушный маньяк, за морозные узоры плативший ворованной мукою. Торопясь накопить побольше муки, прежде чем посадят маньяка, жена целые дни проводила в своем слепящем труде, а муж валялся на диване, зарастал седоватым волосом и твердил дикую штуку, налипшую ему на разум, как окурок к каблуку — «ерой-ерой, а у ероя еморрой!».

— Слушай, Филипп, — подошла однажды она. — Я ничего не вижу. Круги летят... Я разбила сейчас последнюю нашу кашу, посмотри!

— А у ероя... Дай водички, дружок, — басовито попросил муж.

— Я не вижу... — сквозь зубы повторила жена и, боязливо вытягивая руку, пошла прочь.

Инженер поднялся и, как в похмелье, вгляделся в мир, который содрогался от потрясений. Во всем происходил необыкновенный кавардак, как всегда бывает при переезде на новую квартиру. Подобно опрокинутому грузовику тархтела российская машина, а людишки бегали вокруг, собираясь снова поставить ее на колеса. Тогда весь в поту и с сопеньем Ренне сам стал зарисовывать замысловатую игру ночного мороза, изредка вскакивая переменить холодные тряпочки на глазах жены;

все еще резвился маньяк в мутных водах эпохи. Так дело длилось до Жеглова, который не задумался приобрести эту примечательную машину, слегка подпорченную невзгодами голодных лет. Был вечер, когда, снова в крахмальном воротничке, не отделимом от его человеческого достоинства, Ренне вышел из своей пещеры... По бульвару стлался острый осенний холодок. На скамье сидела парочка с нездешними глазами. Туда, вниз к площади, цыган-поводырь вел на цепи медведя, а сзади шел горбун с бубном. Он двигался важно и угловатую свою голову нес на плоских плечах, как плод на широком блюде. Они шли в жизнь, и никто не останавливал их. На углу Ренне едва ускользнул от трамвая: его ошеломляло бытие. Он зашел в парикмахерскую и приказал постричь себя помоложе; в зеркале он увидел одного знакомого чудака и раскланялся с ним, словно расстались только вчера. Ему очень хотелось верить, что ничего не произошло за эти годы, этому Ренне!.. К слову, фамилия его обманывала; был он по наружности явный русак, и если ночевал где-то немец в роду, то нестойкий. В одной лишь Сузанне сквозила странная нерусскость.

Она была единственным ребенком, но ее счастливо миновала слащавая участь детей, единственных в семье. Самого Филиппа Александровича мало что интересовало, кроме дела, а мать, не без черствоватники, стояла за сугубо суровое воспитание дочери. Ее не баловали ни чрезмерной лаской, ни сладостями, и, когда пришлось однажды наказать за какую-то провинность, мать не придумала ничего лучше, кроме как проколоть и разорвать на глазах у дочери любимый ее цветистый мяч, который девочка почти обожествляла в детском своем воображении. Сузанна со смущенной улыбкой созерцала гибель резинового божества, не заплакала, не закричала, хотя целый месяц после того спала с этими цветными половинками, из которых изошла звонкая, веселая душа. Это случилось в пору, когда Ренне управлял одним из крупнейших лезозаводов; резвая девочка бегала всюду, ее безотлучным спутником был тот самый мяч, весельчак и скакун, а после казни его пустующее место божества заняла помянутая сестра инженера. Ежегодно наезжая весной, она привозила в дом горы пряников, запах каких-то провин-

циальных духов и суетливый, праздничный беспорядок. В первый же день они становились подругами, вместе уходили смотреть на ледоход, а когда обсыхала одна заветная полянка, они тайно убегали туда и, сцепившись руками, кружились до изнеможенья, молодая и старая, и все кружилось вместе с ними; самая весна состояла для Сузанны именно в этом необъяснимом круженье, когда старость ликует вместе с молодостью, которая гонит ее из жизни. Но и это божество караулила печальная участь; как-то на страстной Сузанна нашла под лестницей исписанные клочки, кинутые за ненадобностью. Она сложила их на подоконнике и, недоуменно морща ротик, вчитывалась в разорванные, разобщенные слова; свежий ветер из форточки шевелил ее локоны. «Дуняшу обозвала стервой, — прочла Сузанна нараспев. — Вспомнила милого и развратного Nicolas». В этой хартии, составленной, видимо, перед исповедью, имелись грехи и посущественнее, перечисленные, к счастью, по-французски. Сузанна не поняла и половины, но одно слово вдавилось в нее своей таинственной краткостью.

— Мама, что такое бог? — заикнулась она вечером за общим столом.

Родители переглянулись.

— Кто обучил тебя этому слову? — строго спросила мать.

Она показала матери записку, и тогда получился крикливый, смехотворный скандал... В этой семье, поставленной на естественно-научных основах, всякий вел себя так, как ему потребно было для физического здоровья. Было, значит, вредное в том, что так тщательно скрывали от Сузанны; нужно, значит, было произносить некоторые слова шепотком, когда говорилось о рабочих. Девочка пристальнее вглядывалась в заводскую жизнь со своего благополучного берега, на котором не обо что было измарать ее беленькое платьице. Она не успела подвести итоги своим наблюдениям; вскоре Ренне перекочевали в город, на старую квартиру. Потекла гимназическая юность; в скрипучем и скользком паркете восемь лет бесстрастно отражались классические истуканы, но вдруг пришли солдаты и стали сушить на них мокрые, порою кровавые портянки. Подуло необычным ветром,

и Сузанне однажды опротивело нарядное благочиние отцовской квартиры, горничные в крахмальных наколках и мебель, запустившая корни в пыльные углы. Там, на изразцовом камине, стояли в фарфоровой посуде кактусы, любимцы матери; желчный, прокуренный свет падал на них из северного окна, но они свыклись и, хотя не давали ростков, не портили тяжеловесного величия кабинета. Сузанна жалела лишь один из них, — это был свечевидный цереус; подняв бородавчатый палец, он сердито вопрошал свою соседку, индийскую опунцию, стоит ли ему, такому уроду, жить. А та, походившая на небритую щеку тюремщика, и сама давно заблудилась в смыслах бытия. Назаром звала Сузанна этого растительного Гамлета. Не раз ей снилось, как у хмурого сего великана отрастают хилые ножки и ручки; он помахивает ими и все не смеет спрыгнуть, чтоб бежать без оглядки в свой знойный Гондурас. Помощник Ренне, которого Октябрь вырядил в какой-то защитный френчик, имел привычку дергать шипы из Назара, которыми рассеянно чистил желтые свои ногти; она не любила его и за его неправдоподобное имя Порфирий, и за его томные резиновые вздохи.

— Какое у твоего Порфирия лицо темное... точно трупное пятно, — бросила Сузанна отцу в одном совсем излишнем разговоре. — Это потому, что он и сам часть трупа... — Она не объяснила, что имела в виду уже обезглавленную империю, а Ренне понял, что дочери просто надоели тесные рамки семьи.

— Не держу — уходя, захлопни дверь — шубы! — резко дернулся он.

Тогда она решилась, и даже не булькнул под ней половодный кипяток эпохи. Утром за чаем ни слова не было сказано о пропавшей Сузанне: созревшему семени всякий ветер попутный. Поезд, набитый искателями хлеба и соли, донес и ее, искательницу воли своей, до мизерного, безыменного полустанка. Здесь как раз проходила зона того очистительного сквозняка, который, вопреки законам, во все стороны света дул из России. Покинув теплушку, она бесцельно пошла по дороге. В тишине чудился как бы подраненный крик, и тот, кто раз услышал его, навсегда сохранял мучительное и радостное беспокойство. Свирипой раскраски закат громоздился впе-

реди, точно где-то, тотчас за горизонтом, неслыханный происходил пожар. В застылом отсвете его, на невспаханых полях, качались бурые стебли пижмы. За бугром циклопической величины родилась деревня. Черная тряпка болталась на высоком шесте; грозным этим знаком анархии или чумы мужики защищались от постоя солдат. Она зашла, ее напоили молоком, вкус которого она почти забыла, но отказали в ночлеге: тогда не верили никакому человеческому слову. Улыбаясь, она вышла на дорогу, когда желтая звезда уже возвещала пришествие ночи. Дорога прямолинейно уводила куда-то в гибель и мечту; до мечты стало ближе, чем до покинутого дома. Здесь догнал ее парень в матроске, смуглый, острый и с тугой моряцкой завитушкой на лбу. Он заговорил, она отвечала, он попытался овладеть ею, она пригрозила ему горстью дымного степного праха в глаза. Он не обиделся, а засмеялся; в такой напряженной дружбе они продолжали путь. Во мраке явились тополя, похожие на закутаных, спешащих в неизвестность женщин. На хуторе светилось окно. Рослый мужик, лицо которого походило на сплошное приспущенное веко, отворил им на стук.

— Тебя искали, Савка, — шепнул он.

— Это моя... — откликнулся тот, пропуская Сузанну.

На хуторе им дали коней, и утром они примчались в одну из банд, которою, как ложкой, эпоха помешивала в кипучем украинском котле. Банда действовала в тылу у белых, но когда красное командование попыталось прибрать ее к рукам, банда круто извернулась и перешла на сторону желтолицаго Махно. Все это была пыль, взметнувшаяся из-под сапог героев. В этом многолюдном таборе, не признававшем никаких истин, кроме отрицающих истину же, Сузанну приняли довольно охотно, и Савка ревниво оберегал ее от всяких скоропалительных друзей. Она еще не имела цели, кроме настойчивого желания отряхнуть с себя вонючую пыль прошлого; пленяло самое время, в котором несбыточные лозунги цвели, как песни, с кровью и дымом вырвавшиеся из сердца. Иногда, сидя за пулеметом в своей тачанке, двигаясь в смертельную беспредельность, она воистину веселилась о гибели проклятого и чем-то дорогого мира... Именно по его руинам, сквозь гам и пыль, грохоча и взвизгивая,



летели эти полугуннские колесницы, и признак иного, желтого пращура незримо шествовал над людским потоком. Бывали связаны по две в ряд тачанки; на дощатом дребезжащем настиле плясал под песню какой-нибудь осатанелый казак, готовый и умереть вот тут же, в пляске. От его лихих сапог, памяти об одном зарубленном, оставались только голенища, остальное исплясал, и черная мозластая ступня имела свободное соприкосновение с ускользящими подмостками.

— ...красотка, родных сапог за любовь твою не пожалю... только голенища и оставлю для теплоты. — Он зызывающе косил в нее черничным зраком, дразня Савку, неотступного хранителя ее жизни и целомудрия.

Ей многое грозило: там не расстреливали, а рубили на куски. При ней известный Харлапко, убитый позже на перегоне Бирюч — Полтава, показывал на пленных высокое искусство партизанской рубки. «Людина — вона ж легка, пухната... ни за що поважати людини...» Шипящие буквы ветром свистели сквозь пробойну в зубах. Сузанна зевала, она уже привыкла, но без крови было чище и умней, и Савка вздувшимися от гонки глазами следил за ней со стороны. Сквозь тонкое сукно немецкой голубой шинели он угадывал ее грудь, и еще помнил украденный в степи поцелуй, и что-то жгло ему чрево, точно туда заскользнула крохотная долька ее губ. Пресыщенный разгулом, он не торопил времени, он давал срок созреть событию, и в этом состояла животная мудрость его страсти.

— Ты ж не нашего саду яблоч. Ты ж оттуда, куда стреляем... Занятно ж жить на проклятушем энтом шарике; видно, и вошка наша кому-то всласть пошла!.. Слушай, меня даве Галина спрашивала... — так звали подругу желтолицего — ... с кем живу. Я сказал — с тобою.

— Иди вон, собака...

С каждым днем ее все более пугало злое Савкино великодушье. Он мучил ее, оставляя безнаказанными ее прихоти, в особенности одну, о которой крепче помнил, наверно, тот неведомый человек и враг, которого ей захотелось спасти... В суматохе катастрофического отступления белая батарея забыла его на наблюдательном пункте; по расковырянной дороге, уже перерезанной партизана-

ми, он отступал в одиночку, сквозь подозрительные кустарнички и ночь. Белого своего коня он вел на поводу, так как установился обычай стрелять чуть выше коня, где незримо должен покачиваться всадник. Так он вошел в разоренное село и, оставив лошадь у крыльца, быстро поднялся вверх, в командирское жилище. Низкая комната была непривычно пуста, по полу валялись ведомости, газеты, ордера — листья с облетевшего дерева; на краешке стола полуаршинным огнем пылал в стеариновой лужице огарок, — через минуту должен был начаться пожар. Шальной от двух бессонных ночей, кусая истрескавшиеся губы, он соображал обстановку: голова была зашита как бы в кожаный футляр. Снаружи раздался галопный топот; он бросился к окну; в расплывчатый блик окна ворвался часовой и камнем упал в ночь. Село без выстрела занимали партизаны, и вот, в подтвержденье догадки, в комнату вбежала женщина. Он не запомнил цвета ее волос, — все в его глазах было таким же рыжим; он не обратил внимание на занятную горбинку в ее лице, — она не становилась к нему в профиль. Опустив руку в карман голубой шинельки, она смотрела на забрызганные грязью сапоги офицера и ждала, может быть, его крика. Трудно было поверить в спасение: собственный его маузер остался в кобуре седла.

— Слушайте, Маруся, — сказал он на всякий случай с волчьей какой-то улыбкой, — проводите меня отсюда. Мне очень не нравится тут...

Она усмехнулась его откровенности. Марусями звали тогда всех женщин, носивших не женскую одежду и деливших боевую участь с мужчинами.

— Иди сам... — и перебирала пальцами в кармане.

Медленно, затылком назад, он спускался по раздрающе скрипучей лестнице и все ждал, что вот грянет воздух позади, и он, цепляясь шпорами за ступеньки, скользнет вниз. Но происходило не так; смешная выпадала офицеру судьба. Внизу его встретил фантастический призрак в генеральской шинели, возможный только в такую неправдоподобную ночь; по поясу его в черной шелухе сидели гранаты, а папаха, перекроенная из муфты, обнажала страшный, непокорный вихор. Должно быть, Савка сразу понял новую прихоть подруги.

— Везет тебе, поручик... — и так хлопнул по плечу, что хрустнул новехонький погон офицера. — Везет тебе, сукин сын! — повторил он, восхищаясь его судьбой.

Вдвоем они пошли в дикое осеннее поле, начинавшееся тотчас за селом; конь бесшумно ступал за ним, точно понимающая, какую игру выигрывает его хозяин. Тут она отпустила его в свободу и ночь. Взволнованный и благодарный, он напоследок нагнулся из седла и, приподняв, поцеловал ее в награду. Потом он скакал, ветер тузил его кулаками в грудь, а она, в гневе и обиде, стреляла ему вслед.

Разделив с вольницей ее расцвет, Сузанна частично стала свидетельницей ее заката. Ее не было в хате, когда Чубенко застрелил Григорьева из *веб лея*, но уже при ней остервенелая громада побивала на сельской площади григорьевского казначея. Она слышала про позор крымского разоружения, и потом судьба заставила ее проделать безумный рейд, от Сум к Богучару, когда, гонимая летучим корпусом Нестеровича, вольница таяла на бегу. С ястребиного налету били бронепоезда, бушевали полярные метели, и кто из них больше наносил ущерба, было в суматохе не определить. Люди замерзали сотнями, за артиллерией пропал обоз, в неделю прошли восемьсот верст и выдержали одиннадцать жестоких боев. Банда гибла и возникала вновь, чтоб погибнуть завтра. Потом был крик среди ночи: «Тикай, бо мы все в паныке...» Все схлынуло, как дрянной сон; Сузанна очнулась лишь через год и ко времени прибытия в Москву сохранила в памяти две смешных цифры: 18 мая двадцать первого года постное масло — 260 000, а зернистая, самосадная махра — восемь... чего восемь, она уже не помнила.

Женщине легко было укрыться от преследования; шрам на виске она правдоподобно объясняла падением в детстве. Большому человеку понравилась ее мужская сметка; полгода она работала в армии, откуда ее и послали доучиваться в Москву. Никто нигде не интересовался ее прошлым. Пять лет в лишениях и сырости она прожила на каком-то чердаке, сходя оттуда лишь в институт, на демонстрации да в баню; месяцами она не видела людей, кроме дурака в противоположном окне, который ежедневно, приспустив подтяжки, проделывал гимнастику с папироской в зубах. Встреча с родными произошла лишь по окончании института... Шел снежок и таял на лету;

женщина вела мальчика, который ярко-красной лопаточкой разбивал хрупкое стекло луж; в улицах продавали кавказскую мимозу, пахнущую нерусской весной. В аптеке висела засаленная телефонная книга. Звонок у двери действовал исправно. Дверь открыла мать в синих очках и рабочем коленкором переднике.

Улыбаясь, Сузанна ждала позволения войти.

— А, это ты! — без удивления сказала мать и оглядела ее всю, от потертой кепи до стоптанных, промокших туфель. — Войди... только не наследи, пожалуйста.

Дочь вошла, и мать подчеркнуто ухаживала за ней.

— ...давно? — Она придвинула дочери блюдечко с вареньем, знакомое блюдечко с цветочной каемкой. — Я говорю, давно приехала?

— Уже пять лет.

— Где же была?

— Везде... потом училась. — Варенье было из черной смородины, любимой ягоды отца. — Папа жив?.. там не висит его шуба.

— Да, мы продали шубу. Он выйдет, только допишет письмо. Бери сухарик.

— Спасибо, я возьму.

— Вот у меня глаза испортились. Это на тебе красное платье?

— Нет, черное. — Она поискала глазами Назара, но его не было в комнате. — Назар замерз?

— Нет, его съели мыши. — В голосе матери мелькнула раздражительная нотка, каких не бывало раньше. — Шубу мы обменяли на крупу. Папа ходит в демисезоне... помнишь, с пелеринкой? Они довели нас до нищеты.

Сузанна поморщилась, едва коснулся ее этот затхлый ветерок прошлого, но она вспомнила тот ветхозаветный балахон, который стлали в кухне на полу, когда к кухарке приезжал на побывку сын. Ей стало грустно. Разговор не клеился до самого прихода отца. Филипп Александрович поцеловал Сузанну в лоб не прежде, однако, чем распорядился отправить деловое письмо. Мать, плохо скрывая слепоту, заискала его на столе. Они остались одни.

— Вернулась, — это хорошо, — шамкая, начал отец и тут же разъяснил: — У меня челюсть — надул техник — завтра хоть рельс грызть. Много трепало?

— Да, я видела кое-что.

— Ерой, — усмехнулся Ренне, и Сузанна поняла, что слово это пришло к отцу вместе с демисезоном. — Кто ты теперь — кассирша?

— Нет, инженер.

— Электрик?.. строитель? Полтора ста миллионов не могут построить приличного стойла себе за десять лет... строители! — Эту фразу он произнес совсем гладко.

— Не будем об этом, — жестко оборвала дочь. — Я химик. Ищу места.

— Я не могу — сам тоже — не рассчитывай.

— Я и не прошу, — улыбнулась Сузанна.

Раздробленный переплетом оконной рамы, в комнату вторгался тяжкий закатный сноп; в свете его оранжевой бахромкой лохматился борт отцовского пиджака. Он стал широк ему, этот парадный пиджак; его часто гладили, обшили тесьмой, но и тесьма сносились; из-за воротника прискорбно торчала вешалка.

— Разреши, я поправлю, — потянулась Сузанна, и тот удивился, но не воспротивился.

— Ты вовремя, — успокоенно продолжал отец. — Берут комнату — хочет жилец внизу — на трубе учится — точно на паровозе играет. Вещи тут?

— Я не собираюсь оставаться у тебя.

Ренне смутился и заискал что-то на столе.

— Окна на юг — тепло — отдельный ход. Боюсь — на трубе играет — у меня зубы звенят.

— Я подумаю, — ответила Сузанна, вспомнив сырой чердак и дурака в подтяжках.

Кажется, Филипп Александрович не узнавал дочери: в прежнюю оболочку новое влилось естество. Левый глаз ее, точно сведенный тиком, был срезан нижним веком заметно больше правого; тревожил и странным образом привлекал этот полуприщуренный глазок. Ренне покашлял:

— Пей чай. Мы уже обедали.

— Я тоже.

— Хм... замужем?

— Нет.

— Значит, девушка?

— Твой вопрос обижает меня.

Он опять растерялся:

— Э, сама в жизни! Я не то — я хотел — здорова?

— Да.

— Больше не спрашиваю.

— Спасибо.

Дальше разговор пошел о пустяках. Отец шутливо рассказывал о встрече с Жегловым и при этом как-то бравировал молодостью, точно опасался, что именно дочь погонит его со службы за старость. «Человека нельзя тесемкой, не пиджак...» — обмолвился он кстати, хотя тут же прибавил, что на одно свершение его еще хватит, а там — без проволоочки на слом, в домну... Сузанна играла ложечкой, не зная, что надо говорить в таком случае, но в эту минуту вернулась мать, молча разделась и прошла на кухню; оба были рады этой внешней причине оборвать невязавшийся разговор.

— Ты ступай — обними — ты женщина, — неловко сказал Ренне, и тотчас через закрытую дверь, несясь откуда-то из преисподней, ворвался глухой трубный рев. — Играет — это его брат, милиционер — тот протяжней — учится. У них одна труба — по очереди.

Сузанна засучила рукава и пошла помочь матери. Она осталась, и это стало вступлением к катастрофе с другой женщиной.

#### IV

Второго Натальина ребенка задушила пуповина; когда Жеглов вернулся, акушерка собиралась уходить, а Наталья задичалыми глазами смотрела в потолок. Вскоре приехал муж и вел себя на этот раз чутко и разумно. Жеглов покинул их в надежде, что теперь-то все и склеится; он ездил часто в эту пору, и Увадьев неестественно шутил, что тот совсем отобьет у него жену. Год прошел в безмолвии и неписаном мире. Постепенно Наталья втянулась в работу, которую ей подыскал Жеглов, — неверная отсрочка несчастья, готового ввергнуться в неблагоприятный дом. Близ этого времени Наталья часто встречалась с одной из бывших подруг, мужа которой по профсоюзной линии также перекинули в центр. Полная противоположность Наталье, она была пышна, по-

рывиста, и рябинка давней оспы над бровью придавала ей особую неукрощенную задорность. По старой дружбе она доверяла Наталье семейные тайны, краснела и тотчас хохотала от преизбытка здоровья и сил.

— Мужики-то... — смешливо призналась она, наклонясь поправить подвязку, — совсем с ума повскакали мужики. Мой-то вчера обиделся: зачем я панталон кружевных не ношу... — Кровь прилила к ее запотевшему лицу, выпуклые глаза сверкали, и вся она обольщала уже одним своим неиссякаемым здоровьем. — Вот и ты! Как у тебя чулки сидят... ровно кожа такая складчатая.

Намек подруги и надоумил Наталью овладеть мужем с другой стороны. В тот же день она случайно встретила на лестнице Сузанну и обострившимся чутьем женщины, которую бросают, узнала в ней ту самую, кого уже устала ждать. Она понравилась Наталье своей опрятной простотой, разбавленной легким пренебрежением к ступенькам, по которым поднималась. Невольно она попыталась подражать, в одежде ее появилась тщательность, и Жеглов близоруко подмигивал ей в знак того, что ему-то хорошо известны тайные пружины подобных превращений. Не удавалась, однако, простота, точно не было у ней заслуженного права на это, и тогда благоразумие оставило ее. Как-то, приехав в неусловленный день, Жеглов уже не улыбался; виновато поправляя пенсне, он взирал на ее обсыпанное пудрой лицо и грубо подрисованные губы, — тяжеловесные орудия любовной осады.

— Вытри, Наташенька... будь умница, вытри, — и сам делал движенья, как бы собираясь помочь ей в этом. — Прямо бутон какой-то!

— Бывают бутоны, не распускаясь, вянут... — оскорбленно сказала та.

Ей плакать хотелось, но она сдержалась, была раздражительна весь вечер, и Жеглов решил оставить ее на время в покое. Мысленно он торопил приход ее вольного одиночества, в котором она отыщет себе посильную дорогу. Вдобавок дела сложились так, что целых два месяца он не имел минуты навестить друга. А жизнь с мужем текла под знаком разрыва. Наталья рядилась, на службе посмеивались, а Увадьев недружелюбно наблюдал душевные судороги жены. Уже перестал он носить домой

размякшие в карманном тепле шоколадки; обстоятельства понуждали целиком впрячься в потемкинский хомут, и у него краснели глаза, когда он заговаривал о работе. В большинстве это были мелочи и потому втрое требовали усилий. Надо было иметь особую веру, чтоб не упасть на этом первом перегоне, и он имел ее, о чем не сознался бы и брату. Где-то там, на сияющем рубеже, под радугами завоеванного будущего, он видел девочку, этот грубый солдат, ее звали Катей, ей было не больше десяти. Для нее и для ее счастья он шел на бой и муку, заставляя мучиться все вокруг себя. Она еще не родилась, но она не могла не прийти, так как для нее уже положены были беспримерные в прошлом жертвы. Наталья не знала, она еще не забыла шоколадок и, решаясь вызвать мужа на разговор, сделала это с бестактностью покидаемой.

— Сколько ей лет?

Он вздрогнул и наморщил лоб,

— Кому?

— Ну, этой, твоей.

Его раздражал напряженный смех жены; он ответил, только чтобы она перестала смеяться.

— Двадцать шесть, восемь... я не знаю. — Вдруг он вскочил и цепко схватил ее за руки. «Чего ты ждешь от меня? Освободи меня сама, сама...» — хотел он сказать, но принюхался и от удивления потерял мысль намека. — Что это?

— Это... духи.

— Нет, чем это пахнет?

— Они называются... называются **испанская кожа**.

Увадьев уперся взглядом себе в ладонь:

— Да, я раз в барской усадьбе ночевал на продрозверстке. Вместительный такой, двуспальный, лоснился... диван. Помнится, диван пахнул так же!

До нее не дошло предостереженья. Решаясь на последнее, она умножила заботы и радовалась, что не едет старый друг. Короткие платья подчеркивали детскую нескладность фигуры. Не посвященная в магию косметических превращений, она продолжала уродовать себя, и лишь глаза выдавали ее великий испуг. Нищая барыня, сожительница Варвары, всучила ей кольцо с толстым камнем, похожим на плевок. Маникюрша обучала ее та-



инствам высшего света; муж ее, парикмахер, также принял участие в заметавшейся женщине. Кроме живых, ему доводилось причесывать самых видных покойников столицы; он имел опыт и требовал доверия; благородство души он доказывал презрением к большевикам.

— Ой, никак ты меня под бобрика стрижешь? — не узнавая себя, спрашивала Наталья палача своего.

— Что вы! И вообще, бобрик — это очень вредно. Возьмите, к примеру, гвоздь в стене и начните его расшатывать. Явно, волос обречен погибнуть, откуда плешь и даже хуже. Но и тогда не следует впадать в транс! Конкретно, за границей, где социализму, промежду прочим, не строят, на плешивых делают тонкую восковую наклейку сроком на три года, а в нее насаждают волосики электрической машинкой. И вот опять хоть в танец!..

Он и насоветовал попробовать особую краску для волос, изобретенную его зятем, безработным химиком. Состав, по его словам, отличался необычайной прочностью и глубиной колорита. Следовало лишь протереть волосы мазью и, просидев часа четыре, ополоснуть ее приложенной микстурой, разболтанной в кипятке. Наталья заколебалась, но женщина в кожаном пальто и простой мужской шляпе уже появилась на увадьевских горизонтах. В самом ее положении, не меньшая, чем в надменной ее красоте, таилась угроза. Сузанна служила в том же, что и Увадьев, тресте, они встречались по службе и говорили пока только о комбинате, уже поглотившем чувства и волю Увадьева. Тогда Наталье захотелось стать такой же рыжей, как Сузанна... нет, рыжее и прекраснее ее! Химик ютился на окраине. Возможно, на стихийной бороде своей он и пробовал свои смеси. На примусе кипела ароматическая пакость. В тощем аквариуме с лиловой водой сумасшедше носился карась: его красил сынишка изобретателя.

— Вам для волос или домашнего платья? — зловеще спросил хозяин.

...Задолго до сумерек она заперлась в спальне и достала из шкафчика припрятанные снадобья. Видно, они плохой имели сбыт: изобретатель не скупился, на три рубля товару хватило бы на целую семью уродов. Намазав голову, Наталья напевала, ходила по комнате и три

часа просидела у окна, за которым взволнованно угасал летний день. Доносился гул площадного радио, и задиристо кричали газетчики. Краски блекли, все становилось серее и горбатее, но один листок на бульварном дереве внизу еще сверкал крутым закатным глянецом. В сплошной стене забот и страхов она отыскивала крохотную щелочку и, заглянув, удивилась: вопреки ее горю, мир продолжал великолепно быть. Спеша преобразиться до возвращения мужа, она принесла из кухни кипяток и закрыла окна занавеской, словно кто-то снаружи мог дотянуться до ее третьего этажа!

Содержимое бутылки гибкими, красноватыми кольцами распространялось по воде; пряталась колдовская сила в этой волшебной жидкости, доставлявшей красоту. Когда за стеной проходил трамвай, вода рябилась и таз дребезжал. Быстро смочив волосы, Наталья тискала их руками, лишь бы скорее впитали животворящее, щекотное тепло. Почтальон долго звонил у двери и, не дозвонясь, ушел. Торопливыми пригоршнями Наталья плескала себе на затылок, где еще оставалось несмоченное место; ей даже не посрамления Сузанны хотелось, а только скромного равенства, допускающего борьбу. Вода стыла и темнела, мазь все труднее сходила с волос, и вдруг, точно хлестнуло по глазам, вспомнилось, что бутылка была рассчитана на два приема. Жирная, слипшаяся прядь, свисавшая на лоб, показалась ей ядовитого зеленого оттенка, переходящего в ту самую лиловость, в которой запомнился ей гиблый карась. Страшась обступивших ее лиловых пятен, она ринулась к зеркалу, но задела по дороге шнур, протянутый из угла, и лампа, точно взорвавшись, с мелким звоном метнулась ей под ноги. Мгновение она стояла с закушенными губами и помраченным сердцем: что-то стремглав падало в ней и все не могло достигнуть дна.

На ощупь и вздрагивая, когда хрустел осколок под ногой, она добралась до кровати и засунула голову между подушек. Время шло до великодушия медленно, а она все лежала, все слышала тоненький взрыд стекла. Вдруг она поняла по шагам, что вернулся муж.

Он был не один, и спутник, вешая пальто, оборвал вешалку. Увадьев пил воду из графина, но ему не хвати-

ло, и он ходил на кухню... Так по звукам Наталья читала все, что происходило за запертой дверью.

— ...трудностей не боюсь, — говорил Увадьев, продолжая начатый раньше разговор. — Я согласен и столы в канцеляриях переставлять, и тарифицировать машинисток: я принимаю рабочие будни. Но преодолевать на каждом шагу апатию и глупость — это невыносимо. И потом: без восторга, без восторга делают! Эта дубина собиралась прибавить им по двести на рыло... получается девять тысяч, почти десять вагонов хлеба. А потом опять умильно подмигивать мужику? Я его к черту погоню... — Внезапно, сдержась на резком слове, он заметил необычную тишину квартиры. — Наталья! — позвал он тихо. — Наташа, ты дома?

Оцепенение и стыд мешали ей крикнуть. Мазь сохла, волосы становились жестки и, казалось, даже на ощупь зелены. Спутник Увадьева встал со стула, и Наталья смятенно догадалась, что это был Жеглов — он всегда так шаркал, затирая пятнышки на паркете, когда бывал озабочен. Муж подергал дверь, постучался, окликнул еще раз и нерешительно отошел.

— Ну... кажется, плохо дело! — Он выждал минутный срок, потребный, чтобы свыкнуться с внезапной догадкой. — Слушай, там на кухне косарь лежит для угля... принеси сюда! — Но, странно, он не торопился; ему нужно было, чтоб именно Жеглов долго и безуспешно разыскивал косарь на кухне.

— Врача надо... внизу вывеска есть! — Голос Жеглова срывался и звенел.

— Э, он же зубной!.. косарь надо, вскрыть. У меня там револьвер в столе, черт. — Он сам побежал за косарем и, вернувшись, с разбегу всадил в дверь свое нетерпеливое железо. — Наталья, ты здесь? — в последний раз, почти угрожающе крикнул муж.

Дверь хрустела и щепилась; гнулся косарь, и ругался муж, а Наталья молчала в стыде и ужасе перед тем, что произойдет через минуту. Она была жива, и в этом заключался единственный смысл ее позора. Мир уже примирился с ее концом, и ничто, даже давешний листок на бульварном тополе, не поколебалось. Потом она вспомнила раскрытое окно, ей захотелось исправить упущенье, но в то же мгновенье люди ворвались к ней.

— Свет, лампу давай! — крикнул Увадьев, остановленный темнотой и как бы боясь наступить на что-то, лежащее поперек.

Жеглов поспешно помогал ему; они включили свет, в лицах их одинаково отразились смущение и обида. Первым поборол себя Увадьев: подойдя к сидящей с закрытыми глазами жене, он обмахнул рукавом испарину с лица:

— Модный цвет... пошибче-то не нашла колеру? — И весь рот его поехал куда-то в сторону.

Его оттолкнул Жеглов:

— Ступай... ступай, в пивной посиди! — шепнул он, не упрекая, потому что и не за что было упрекать. — Там раков привезли, ступай...

Муж ушел, а она все еще дрожала, не столько спасенная от смерти, сколько пробужденная от сна. Оба не говорили ни о чем. Потом Наталья робко коснулась волос, которые почти кололи пальцы, и виновато взглянула на Жеглова.

— Посмотри, Щегол, какая стала... зеленая, как лужайка. Спина очень болит!

На другой день, заехав к вечеру на машине, Жеглов перевез ее к своей дальней сестре, обладавшей спасительным качеством не любопытствовать ни о чем. Все Натальины вещи уместились в той самой плетеной корзинке, которую вывезла с фабрики шесть лет назад. По лестнице она спускалась бегом, чувствуя на спине провожающий глаз Увадьева. Машина загудела, и Увадьев испытал кратковременное облегчение: ему порядком надоели и распутный ее шелк, и крашенные ногти, и лицо ее, застывшее в ожиданье ласки, и глаза, постоянно упрекавшие. Сразу потянуло к работе, он присел к столу, но работа не ладилась; в сосредоточенном озлоблении он покосился на раскрошенную дверь жены. Он пошел туда; цветные тряпки, раскиданные на полу, напоминали краски на палитре. В зеркале отразилось его исхудавшее и оттого еще более скуластое лицо; в те дни обнаружилась возможность, что комбинат станут строить в другой губернии, и Увадьеву целыми днями приходилось расхлебывать эту бюрократическую кашу. «Мордаст, мордаст, — подумал он, тыча себя пальцем в щеку. — И чего во мне Наталья нашла!»

Он распахнул шкафчик; за непечатыми коробками с тальком, флаконами духов, всякими лаками, необходимыми женщине, которая уже не пленяет, таилась пачка его фронтовых писем. Разорвав нитку, он развернул наугад одно из них: написанное зевотным стилем, с писарскими завитушками, оно содержало сведения о соседях по землянке да еще краткие распоряжения по хозяйству. Судя по дате, то было горячее время организации подпольного комитета; военные суды учащались, захлестывала революция, но ничем не отразилось это в вынужденных строках письма. Не испытывая раскаянья, он швырнул письма вместе с пузырьками в чемодан, намереваясь завтра же отослать все это Наталье; догадка, что Наталья нарочно оставила эти улики своего вчерашнего дня, не пришла ему в разум... Опять не удалась попытка усесться за стол, и вдруг он понял с негодованием, что весь вечер, с самого отъезда жены, думает об одной Сузанне.

...Так пристаёт иногда назойливая мелодия. Он сидел в ярости, подперев подбородок кулаком, а вещи размещались наново, комнаты преображались, а воображенье насильно примеряло оставленные платья на Сузанну; ему и в голову не приходило, что женщины, подобные ей, не любят простыней своих предшественниц, его немножко сердило как будто, что женщины бывают разного роста и сложения. Все, кроме предстоящего строительства, мнилось ему в крайне упрощенном виде, и самая любовь была для него лишь пищей, которая утроит его силы на завтрашнем его пути. Два часа спустя он ненавидел Сузанну, потому что уже владел ею до пресыщения, его бесил этот спокойный покатый лоб, яркие ее волосы, в которых она принесет к нему бедствия и порабощенье. Приди она теперь, он выгнал бы ее, но она не шла, точно знала. Машинально тыча пальцем в розовую мазь, торчащую на столе, он ждал, и вдруг резкий, — точно кто-то спешил ворваться, — звонок наполнил опустелую квартиру: должно быть, Сузанна приняла его безгласный вызов. Смахнув платком пахучий язычок с пальца, он угрожающе пошел к двери.

Она стояла за дверью, дыша шумно, как в одышке. Он тихо окликнул ее и сперва не узнал голоса, властного и хриповатого чуть-чуть.

— ...кто-кто! Ангел пришел комиссарскую душу вынать, — загремела гостья, с ветром и шумом вваливаясь в переднюю; Увадьев с удовольствием узнал мать и засмеялся. — На, поддержи, нечего скалиться, тут стаканы. Не разбей, убью!

Варвара машисто распутывала платок, раздевалась, и что-то было в ее кратких взорах немилостивое, воинственное. Она-то уж не боялась, что ее погонят: всюду, куда бывала ей нужда войти, она входила полновластной хозяйкой. Крупные, такие же ласты, как у сына, руки ее долго не умели разомкнуть какого-то крючка; наконец она рванула и оторвала напрочь.

— Во, и крючки-то советские пошли, хоть зубами отмыкай! Давай сюда стакан, байбак. Ну, сажай меня на свои диваны, пои чаем...

— Дивана-то как раз и нет у меня. Все собираюсь купить, — шутил сын, идя позади.

Ему нравилась эта могучая баба, приспособленная рожать много и родившая только одного его; по душе ему был ее неуживчивый характер, перед которым все заискивали, ее широкий торс, посаженный на огромные ноги и пребывавший в постоянном движении... Воистину он любил эти громоздкие, почти триумфальные ворота, через которые вступил в мир.

— Чего у тебя свет везде горит, денег много накомиссарил? — Своею волей она привернула электричество в передней и, войдя за тем же делом в спальню, сразу приметил отсутствие Натальи. — Комиссарша-то на бал поехала? Аль в оперу, гигагошки послушать? Вам теперь всюду ход...

— А тебе, мать, загорожено?

— Лакейкой вашей быть не желаю: дурья башка, да своя!

Увадьев поморщился сквозь смех:

— Ну, завела музыку, мать!

— Нет, уж кончила... рази экой пилой тебя перепилишь.

— Вот ты все бранишь нас, мать, а случись беда — с нами пойдешь. И барабан впереди понесешь, мать. Такие бывали, во французской революции бывали. Я тебя знаю...

Застигнутая врасплох, она минуту смущенному предавалась негодованию.

— Дурак, — просто сказала она, — в дуру пошел. Наталья-то в баню, что ль, ушла?

— Уехала.

— К своим, что ли? — Она знала, что все родные Натальи давно перемерли. — Поди и покойники-то в экий час спят. Чего ты ее одну отпускаешь!

— Она, мать, совсем от меня уехала.

— Развелись? — всплеснула та руками, готовясь напустить именно на то, что променял ее, своей рабочей стати, на какую-нибудь вертихвостку, но заметила вздувшиеся ноздри сына и лишь пыхтела, гневливо постукивая пальцем в стол. — На свою прихоть освободили баб: выдохлась — и с рельсов долой, иди в свою свободу, матушка. Ну, наше с тобой дело короткое. Деньги выкладывай! — прикрикнула она и поглядела искоса, достаточно ли напугала.

— ...какие деньги, мать?

— А вот, что на тебя потратила. Сколько я на тебя покидала, думала — прок выйдет. — Варвара вынула из-за пазухи толстый лист конторской бумаги, исписанный сверху донизу, и расстелила перед сыном, — На, щенок. От своего не отступлюсь, всего тебя нонче оберу!

— Да ты возьми, сколько тебе надо. Я как раз жалованье вчера...

— Мне комиссарских не надо, кровные подай... Деньги! Да я лучше десяток яблок куплю да сяду на Смоленском торговать, под дождь и стужу сяду. В кухарки пойду, я котлеты умею с соусом... — Она нахмурилась, когда сын, взглянув на итог, молча полез за деньгами; Варварин счет простирался до тридцати рублей. — Чего же ты деньгами-то кидаешься? Ты торгуйся, может, и уступлю... да проверь, может, я лишку запросила. Вот, штаны тебе покупала — рупь. Картуз с козыречком под лак — восемь гривен. Пальтишко еще покупала, пальтишко не в счет, все-таки мать, нельзя...

— Картуз-то, кажется, дороже был! Сама себя сбсчитываешь.

— Скалься, не дармовые. Поворот будет — и меня-то вместе с вами прихватят: не рожай, скажут, эких мозга-

чей. Мне и то во сне даве: будто третий Александр сошел с памятника, чугуно-то скинул, да и почал всех нагайками усмирять.

— Ну, а ты?

— Он меня, а я его, неживого-то. Хлобыщемся, а народ смеется... — Не спеша, завернув в платок, она сунула деньги куда-то в свою вместительную пазуху. — Может, последние отдал? Ты попроси, я верну, у меня есть... я ведь только чтоб сердце отвести.

— Мне хватит, да и тебе-то куда!

— Букет присылай, замуж выхожу! — победительно выпалила Варвара и радовалась произведенному впечатлению.

— Шутишь, Варвара!

— Уж и платье заказано, маркизету восемь метров пошло... Чего уставился! Думал — хоронить, а она на свадьбу звать пришла? Вот назло тебе и выйду, и детей рожать стану. Рожать хочу.

— А кто он, кавалер-то твой?

Ей нравилось потрясать свое невозмутимое детище.

— Нэпман... картинами на рынке торгует, в красках. Вожди, писатели, картинки тоже с арбузами... У меня стрелка рядом, вот и сморгались. Исправный, неунывный такой мужик!

Увадьеву представилось, как в дождливую ночь Варвара сидит на своем железном табурете, и нечто, подобное жалости, окаменило ему взгляд. Она была уже немолода, Варвара, ей не хотелось кончать жизнь в брезентовом пальто, с железной клюшкой в руках. В конце концов он каждому позволял добиваться своего счастья, но сердился, когда требовали его содействия или одобрения.

— Ну, действуй, мать, как знаешь.

В передней она обернулась к нему:

— Вань, — робко позвала она, ища в темноте его руку. — Аль уж не выходить? Старая я... тоскую, мысль заела, отец все снится... Хоть удачи-то пожелай!

Сын пожал плечами, а руку спрятал в карман:

— Нет, что же!.. нет вреда — нет и греха.

Потянулась недоговоренная какая-то минута. Увадьев включил свет. Варвара выпрямилась и рванулась в дверь: она всегда так налетала и исчезала, неожиданно.



— Верни Наталку, щенок! Плакать об Наталке станешь... — крикнула она уже с лестничной площадки.

## V

Впопыхах она забыла стаканы, купленные для свадебного торжества. Он встал поздно, голова была тяжка, что-то болезненно переливалось в ней; ему снилась мать... и еще будто он сам с осуждением подглядывает за собою. Утром, едучи в трест, он завез матери ее стеклянное сокровище. Варвара ютилась в подвале, разделенном перегородкой; в соседстве с ней жила кашляющая барыня, торговавшая вразнос контрабандными чулками и сливочной помадкой, — отчего все так ее и звали «сладкая барыня». Увадьев застал мать за делом: стоя на табурете, она навешивала на петли фанерную дверь; она заранее стала готовиться к свадебной ночи. Дверь не налезала, и Варвара с досады бранилась с сожигательницей, которая с мокрым полотенцем на голове лежала тут же на койке.

— Наука-наука... — гремела Варвара, и табурет скрипуче покачивался под нею. — Не бубни мне про свою науку. Все у вас отняли, погоди, и науку отыщем. Эва, обе руки заняты, даже во рте, вишь, гвозди держу... не до науки мне сейчас!

Заметив сына, она круто оборвала и заносчиво отвернулась.

— Вот, стаканы завез. Куда положить-то?

— Сунь на комод. Побил хоть один — заплотишь, до нитки всего оберу! — Она стыдилась сына за вчерашнюю свою слабость.

В комнате такая грибная стояла сырость, что только несокрушимое Варварино здоровье могло противостоять ей. В заплеванном окне ходили ноги, в сапогах и босые; босые были и более шустрые. В обрезанной бутылке красовался лохматый фиолетовый букет. Жениха не было дома.

— Где ж твой-то? Я собирался заодно и с будущим папашей познакомиться.

— Эва, кнут собаку ищет! Ну-ка, поддержи дверь. Не жди, угощать не слезу, не до тебя мне.

— Да я поеду. У тебя часы отстают, мать, ты подведи. Ну, резвись тут, резвись.

Она догнала его в коридоре, когда он уже выбирался наверх к свету.

— Вань... — и опять шарила в потемках его руки, и он не отнял, — ты... уж разорись, пришли букетик-то к свадьбе. Перед людьми-то хочется... да и барыне нос утру. Нежненьких купи, подешевше да побольше. Я тебе отдам потом...

— Ладно, ладно, невеста! — деревянно согласился Увадьев и ушел.

...И, конечно, забыл: всякое забвенье давалось ему до зависти просто. Но месяц спустя, когда с Фаворовым и Бурога он отправился в первую разведку на Соть, он вдруг вспомнил про этот день, и ему захотелось сгладить чем-нибудь всегдашнюю невнимательность к матери. Оставив удивленных спутников дожидаться без него заказанного обеда, он вышел из вокзального буфета и взял такси. По дороге он заскользнул в кондитерскую и купил самый большой торт из всех, какие увядали в витрине; на картонке он приписал чернильным карандашом: «Поздравляю, мать, и желаю тебе вынырнуть из своего счастья так же поспешно, как и...» Сломался карандаш, и пожелание осталось недосказанным. Он махнул шоферу, и машина помчалась на пыльную столичную окраину.

Был вечер и праздник; в улицах прогуливался рабочий люд. Машина остервенело рычала, и все видели потного с неподвижным лицом человека, обхватившего руками огромную картонку. Звонили ко всеобщей; вычурная колокольня, расцвеченная закатом, высилась над окраиной, как выдумка сумасшедшего кондитера. Оставив автомобиль на углу, Увадьев пешком добрался до подвального окна. Там стояла толпа зевак; они слушали писк гитары и завистливо судили чужое веселье. Юркий малец с расцарапанным носом вызвался отнести увадьевский подарок.

— Молодым-то гробик бы двухспальный подарить... заместо пирожка, — сказал парень позади. Увадьев грузно повернулся и так решительно пожевал его сузившимися глазами, что парень отступил за тетку с прыщавым младенцем. Но и тетка попятилась за старичка в очках,

который молча опустил глаза и кашлянул с достоинством. — Видите, и ребеночек заплакал! — произнес тот потом, с негодованием отходя.

Увадьев глядел в окно, ища мать.

Пунцовая от духоты, в сиреневом маркизетовом платье, еще более безобразившем ее дородную фигуру, она сидела за столом, в стороне от общего кавардака. Перед ней стояла полубутылка дешевого муската; изредка, как бы нехотя, она отхлебывала из стакана этот противный жидкий мармелад и машинально поправляла то складку платья, то несусветный пион, торчавший на плече; такая же свадебная отметина имелась и у жениха. Сухопарый этот человечиска распорядился общим весельем и, небрежно распаковывая торт, одновременно заигрывал с соседкой, подружкой невесты; при этом она хохотала с каким-то особенным взрыдом, точно ее перепиливали сахарной пилой, и на спине ее, выгнутой, как горб, от многолетнего сиденья в ларьке, вспухали два непостижимых волдыря. Гитара растеряла половину струн, а человечиска, беспечно держа увадьевский торт на распяленных пальцах, приказывал еще и еще наддать жару; торт опасно покачивался, и Увадьев почувствовал, как лицо его стала заливать жаркая краснота.

— Вот женюсь... сколько разов собирался, да все приятели отбивали. Только теперь уж ни мур-мур!.. Не забыл мамаша наш сановник, не меньше восьми рублей за пирог, а сам не приехал, и жаль, а то бы мы и почет ему выдумали... обожаю сановников! Я почет знаю, потому у нас все по духовной части: один брат гробовщик, другой, извиняюсь, дьякон, а я вот картинки продаю... — Вся его сумбурная трескотня заняла не больше полминуты.

— Балагур ты, Черт Ильич, — воодушевленно кричали из угла, — убить тебя мало!

Вдруг торт решительно качнулся и звучно шмякнулся на пол: вероятней всего, что человечиска с пионом угадывал за окном нелюбимого пасынка.

— Эх, так и не удалось отпробовать сановной сладости! — с поддельной грустью возгласил он, и все вокруг заликовало от его жестокой расправы. В добавление всему он вынул из себя стеклянный глаз и протирал его; это было страшно, и Увадьев не умел побороть в себе ужас-

ного любопытства к этой мерзости. — Эй, Дарьюшка, подбери ошметки в бадейку!

Одна только мать не обратила внимание на этот скандальный вызов: она глядела сурово, ей становилось душно среди подпольного этого сброда и снова хотелось на железный табурет, в одиночество и непогоду. «Мать, какими чарами околдовал он тебя, большую и глупую муху? — просилось из Увадьева. — Эй, плюнь на нэпмана, поедем со мной на Соть!» Он верил в целительные свойства дебри, где надо было ежедневно драться, чтобы уцелеть... он не крикнул, потому что каждый человек обязан иметь силу пережить свое счастье до конца. Выбившись из толпы, он сел в машину и пообещал шоферу прибавить за скорость. Рванулась пыль, мелькнуло розовое платье, хлестнула воздух гармонь, рассыпался рваный крик галок над церковным двором; мать осталась где-то в прошлом, вместе с Натальей, позади... Он поспел лишь к отходу поезда, спутники сидели уже в вагоне.

Соть, пожалуй, и оправдала его надежды; сердечные раны — если только личные обстоятельства могли нанести ему такое ранение — заживали у него быстрее, чем порез на руке. На катере они проехали всю Соть, от Нерчемской фабрички до перекрестия с мшистой и коряжистой Енгой; Увадьеву необходимо было побывать на Нерчье, где завелась какая-то склока. Вперемежку с жидкими, еще не снятыми хлебами тянулись леса, щедро политые осенним багрецом. После перехода хвойной границы леса стали толпиться у самых вод, образуя теснины и засоряя проходы; в воде гуляла непуганая рыба, а дебрь не чувствовала занесенного над нею топора. Правитель волости Лукинич был в отъезде, а заместитель его ни словом не проговорился о ските: наезжали и прежде, наедут и отъедут, а со скитом да с богом век жить...

Тотчас по возвращении из поездки началась обычная в начале большого дела суетня. На Соть поехали отряды техников и геодезистов, заключались договоры на поставку материалов, составлялись штаты строителей. В развитие готовых эскизов Сотьстроя составлялся наконец рабочий проект, шла обширная переписка, деловая беготня, обсуждался список заказов, которые инженер Бураго должен был увезти с собой в Америку; тянулись

бесконечные заседания экспертных комиссий, писались доклады в высокие этажи, потому что новая шестерня вставлялась в хозяйственный механизм страны. Между трестовскими инженерами шла тайная грызня, всех обольщал небывалый для прежней России размах предприятия; Жеглов по врожденной склонности мирил их, а Увадьев, напротив, стравливал, высматривая полезных для дела людей, и зарабатывал всеобщую ненависть. Он не огорчался, почитая именно ненависть за магнитное, так сказать, поле всякой силы. Потемкин все метался в своей орбите: портфель его разбухал с тою же угрожающей быстротой, с какою тощал он сам. В стране жили разные люди в эти годы, и оттого его называли всяко: энтузиастом, говоруном от индустриализации, растратчиком нищей казны республики, патриотом мужицкого пошехонья, партизаном наших будней, Микулой наизнанку, болячкой, Дон Кихотом, вибрионом социализма, героем, бревном, чертом и даже, наконец, Хеопсом, намекая, должно быть, на печальную Хеопсову судьбу. Клички эти, разумеется, определяли более самих выдумщиков, чем Потемкина, который только совмещал в себе гражданина эпохи и сына своего класса.

Вдруг стало известно, что во главе Сотьстроя назначат Потемкина, а главным инженером — Бураго. Это случилось накануне самого отъезда Бураго за границу: лесные биржи предположено было оборудовать стаккерными установками, первыми в Европе. В этот день шло обсуждение бумажных машин; пытаясь перешагнуть российские коэффициенты, Увадьев отстаивал новейшие, восьмиметровые, с огромными скоростями машины, которые в ту пору и за границей-то испытывались пока без особого успеха. Возражавший ему Ренне утверждал, что высокие скорости не подходят к нашим условиям, ибо русский бумажник не сумеет воспользоваться ими по меньшей мере два года, и затраченный капитал не окупится. Поднятый в знаменательном этом столкновении вопрос перекинулся сам собою на количество машин, и, следовательно, на возможности сырьевой базы.

— Вы как учитываете годовую грузоподъемность Соленги? — мельком спросил председатель совещания.

Потемкин привстал, и сразу на щеках его возгорелись недобрые румянцы; родная его Соленга держала последний экзамен.

— Тысяч триста кубических сажен подымет. Так у меня и помечено... — он мучительно потер себе лоб... — на странице сто семидесятой, посмотрите!

— А по обследованию она и двести не подымет? Десять процентов баланса вам придется тащить по Нерчьме и против течения... иначе у вас на третью машину не хватит!

Потемкин заволновался, затеребил зеленое сукно стола: эти очкастые, равнодушные чудаки не верили в его Соленгу!

— ...грузоподъемность, всё модные слова, товарищи! — ударил он себя в грудь, вызывая вокруг улыбку. — Я же сам с детства на сплаве... и отец мой, и дед. Мы весь естественный прирост купцам сплавливали: сколько надо, столько и грузи! Да вот вы у Фаворова спросите, он сам с Нерчьмы...

Он обернулся к свидетелю, но тот спал, положив голову на руки и как бы углубясь в созерцанье берегового профиля Соти; сказывались три бессонные ночи, потраченные на доклад для научно-технического совета. Он проснулся, едва назвали его имя, и один лишь Бураго заметил его воспаленные в опухшем лице глаза.

...Домой им было по дороге; Увадьев подвез их на трестовской машине.

— Заснул, герой? — спросил Бураго.

— Устал. Кажется, упадешь и проспишь десятилетие.

Морозная пыль колола уши, наполняя звонким ощущеньем зимы и ветра.

— Все устали... вы слышите, Увадьев, как они устали?

Увадьев выкинул за борт машины окурки; он пытался уверить себя, что это последняя папироса, которую он выкурил в жизни.

— У нас вообще любят скулить о прошлом, потому что безвольны к будущему. Ты слушай не стоны, а цифры! Купи билет и поезжай по стране; ты увидишь новые избы, новые заводы, новых людей... и притом великолепную рождаемость! — Он сделал нетерпеливый жест рукой, точно кто-то смел сомневаться в его статистике. — Кста-

ти, это дядюшки, что ль, твоего фабричка на Нерчьме? Чего краснеешь, не сам выбирал, а судьба навязала!.. Да, может быть, мы спешим сменить старое поколение другим, которое не заражено прошлым... но в наш век надо мыслить крупно: десятками заводов, тысячами гектаров, миллионами людей... не мельчить творческой мысли.

— Словом, не гляди на пирамиды в микроскоп, — шутливо вставил Бураго. — Чудно: до революции настоящее у нас определялось прошлым, теперь его определяют будущим, а его надо определять самим собою.

— Умей быть другом нам, Бураго... В дружбе мы подозрительны и осторожны, но сумей!

— Ха, мне нравится такая угрожающая постановка вопроса! Вы давеча напали на Ренне и произнесли очень нехорошие слова... помните? А ведь четыреста двадцать метров в минуту — это действительно не для нас, у которых Азия за плечами. Вы самоучка, Увадьев, и, кроме того, вам нужна бумага; оттого вы презираете чужой опыт. А разве тот друг, кто повторит глупость за вами?

В привычках Увадьева было с маху рубить там, где и без того было тонко.

— Тот, кому может быть хорошо при всяком другом строе, уже враг мне!

В раздражении он не заметил своего промаха и, отвернувшись, глядел по сторонам. Именно на этой площади обычно сиживала мать, сортируя по номерам трамваи. Теперь укутанная в тулуп молодайка сидела тут возле костерка, перебраниваясь с молодым айсором, продавцом всяких специй для обуви. Увадьев нахмурился еще более... Впрочем, едучи на Соть, он даже радовался, что освободился от вчерашних привязанностей; когда же узнал, что Наталья устроилась на работу, то и совсем успокоился. Той, однако, труднее давались разлуки, и в день отъезда на Соть она тайно поехала на вокзал в ревнивой потребности увидеть их вместе. Ее надежда оправдалась лишь наполовину; Фаворов оживленно болтал с Сузанной, а Увадьев отстал, чтоб купить в буфете карамелек. Он заметил Наталью и неуклюже кивнул ей, но она не ответила. До самого отхода поезда она бесцельно сидела в буфете, размешивая ложечкой остывший чай.

## Глава третья

### I

С начала мая, едва прошли льды и по взволнованным лугам побежали одуванчики, небывалая судьба постигла Соть. Не пела в ту весну луговая птица и пустовали на Макарихе скворечни; девки робели хоробы играть, а мужики заранее лупили баб, чтоб не блудовали с пришлыми людьми. И, наконец, в самый канун Егорья ярославский пастух Игнат Оньков, великий знаток скотской души и любитель природы, такую цену за лето запросил, что мужики только окнули хором, не вселился ли в Игната анчук. В довершение несообразности пошли косноязычные всякие толки, будто на опушку близ местности Тепаки выходил корявенький старичок, луня седей и рыся звероватей, нюхал веселый щепяной воздух, хмурился... И тут будто встретился ему московский комиссар Увадьев, которому щеку чирьем разнесло. И якобы, пробуя напугом взять, сказал старичок: «Я тебя, дескать, и не так еще тпну, всю харю прыщ насажу: топором не вырубить. Все дороги, окаянные, мне попортите!» В ту пору как раз тащили локомобиль на Соть. А тот ему будто: «У вас тут и портить нечего, по дорогам-то хоть лес сплавляй. Но если ты такой буявый крепыш и разума не лишен и хочешь принять участие, то поступай ко мне в службу: жалованье по седьмому разряду и койка в бараке с живыми людьми...»

Был ли то и в самом деле Никола, бродяга русской земли и милостивец, или просто тот молодой скитской мужик, которого сманил Увадьев на советскую дорогу, неизвестно. Близ того времени известил бабий телеграф, что один из монахов, ученая голова, сбежал на увадьевское предприятие, соблазнясь несправедным советским золотом. Брака была явная: Виссарион, в прошлом студент политехникума, принят был всего лишь на должность табельщика при постройке ветки; стремясь испробовать в новом предприятии сотинский люд, Увадьев не побрезговал ради опыта и монахом. Вдобавок, в секретном разговоре по душам признался перебежчик, что и в скит-то он попал под озорную руку, интересуясь, что из



этого получится; теперь же, дескать, когда пробивается Октябрьская поросль по всей стране, любо и ему приложить свои силы к общему делу. Вечером того дня Увадьев хвастался о своем успехе Фаворову, а тот поморщился. «Я инженер, — сказал он, — но скорей в черта поверю, чем в какой-нибудь от монаха прок...» — «Ну, ты, кажется, и меня самого в подозрительности перещеголял!» — посмеялся Увадьев, втайне считая себя изрядным целителем всяких душевных горбунов.

Сомнительно, чтоб то и был пресловутый Виссарион Буланин, так как за неделю до бегства он себе и бороду сбрил, и подыскал более приличную для человека одежду. Оттого-то Лука Сорокаветов, помянутый толковник и гамаюн, и утверждал, что пугал Увадьева не монах, не Никола, а одичалый дух вологодского купца Барулина, погребенного в скиту: он-де и бродит, утерев место своего упокоения. Болтуны прибавляли также, что, взбуженный ото сна, высунулся и увидел — дым идет; ринулся на реку, а оттуда лезут голованы в резиновых фуфайках, водолазы, — он и помер тут вторично, уже накрепко. Правда ли, но впоследствии, когда разрабатывали песчаные карьеры на мысу, нашли землекопы скелет неизвестного происхождения, а при черепе сохранилась обширная русская борода. Толстая медаль с портретом забытого царя провалилась сквозь ребра и лежала на позвонках; ее доставили Увадьеву, и тот постановил сохранить ее для сотинского музея, а покуда прикладывал ею бумаги от ветра. Как бы то ни было, старинный мрак бежал перед лицом наступающей промышленности...

Новые времена заставляли расплох эту честную, нешумную реку; тревожно и ветрено стало на сотинских берегах. Ее прежней славы не ведали пришлые люди; не было им дела ни до всклокоченного купеческого призрака, ни до растерявшегося Николы, чье огромное резное изображение сохранялось в скитском подвале. Пришлым Соть сулила прежде всего работу и хлеб. Какими-то подземными тропами уже распространилась весть о Сотьстрое; строители собирались во множестве, и Увадьев, опасаясь вначале, что не хватит народу на стройку, выезжал изредка им навстречу, за тринадцать верст, на разъезд... Поезд приходил на рассвете. Они вылезали из ва-

гонов, серые в потемках, и все на одно лицо; шапки на них торчали стоймя, и бороды еще бывали смяты сном. Холод лез к ним за пазухи, они топтались на открытой платформе, поджидая земляков из других вагонов. Иногда вскрикивал жестяным голосом чайник, привязанный вместе с пилою за спину; иногда вскрикивала сама пила. В сосредоточенном молчанье они отправлялись на Макариху, изредка останавливаясь обчистить налипшую на ноги грязь. Ее тут было много, она казалась рудо-желтой от примеси глины и розового света зари. В полях уже пробрызнула озимь, а воздух на зорях бывал задорный, баловной, понукавший на дерзость.

Тут шли все те, чьего труда от века не искать было на Руси. Плелись неспешно, сберегая силы, рязанские пильщики да стекольщики; чинно шагали вятские да тверские каменщики и печники, и волос у них под шапками дыбьем, как дым из трубы, стоял от липучей глиняной пыли; шустро, в обгонку других, поспешали смешливые вологодские штукатуры; тащились вполпьяна веселые костромские маляры, и кисти их машисто колыхались над малярным воинством; закоптелые, тяжело двигались смоленские грабари, землекопы тож, с руками и лицами цвета земли; проходили кровельщики, бетонщики, кузнецы... пермяки, вятчи и прочих окружных губерний жители, где непосильно стало крестьянствовать по стародедовским заветам, а новых не было пока. А в хвосте людского потока торжественно, точно плыли, выступали прославленные владимирские плотники, которые, по присловью, и часы починили бы, каб просунулся в часы топор. Их вел седатый бородач, Фаддей Акишин, весь пропахший деревянной щепой и тем уж одним знаменитый, что при всякой стройке прежде всего осведомлялся: «А где у вас тут сотир будет?» Строеньица эти он работал во внеурочное время, не требуя mzды, и, сказать правду, сотиры выходили у него на славу.

— Откуда, други... эй! — окликнул Увадьев, осаживая коренастую кобыленку свою в придорожный осинник.

— Со Владимира шагам!.. — дружно покричали плотники, а Фаддей деловито выступил вперед и опросил кстати, нет ли нужды и в поденных девках на Соти; торф копать, дорожки посыпать аль, извиняюсь за нескром-

ность, цветы садить? — Так условился он с бабами при отъезде, чтоб ехали по первому письму на Соть всей губернией, доверяя хозяйство на стариков. — Ты мне только мигни, товаришш, мы тебя засыпем девками... Девок у нас тьма, прямо хоть клей из них вари, и девка все круглая, аккуратная, как зерно!

Увадьев мысленно представил себе подобное нашествие и только руками на Фаддея замахал, точно тот и впрямь имел силу обрушить всю губернию на Сотьстрой.

— Куда к черту... не Вавилон, а завод бумажный воздвигаем!

Что-то еще кричали ему вослед акишинские ребята, но Увадьев не оглядывался... Уж не вмещали строителей временные бараки — пять, склепанные наспех, из бывалого леса; не вмещали и мужицкие сеновалы. Нанято было свыше двух тысяч рабочих, а поезда ежедневно доставляли по полутораста новых, за которыми грозились прийти полчища других. Скоро уж на разъезде и доску приколотили с объявлением, что народу набрано с избытком, а цены на житье высокие, а работы нет. Но еще целую неделю, пока молвой да тайной оказией не прошла о том весть, толпился недовольный люд перед свежесрубленной избой, где помещалось временное управление работ Сотьстройа.

— Прослышали... наехали. Мы и прошло лето под Бурогой работали. Нас одна и судить вместе собирались! — твердили они и опустошенными глазами взирали на дорогу, по которой напрасно прогоняла их нужда.

Не всегда гладко кончались такие приключения; случалось — кулаки и брань взвивались над толпой, когда инженеры, минуя биржу труда, принимали в первую очередь своих, уже знакомых по другим строительствам; тогда Увадьев привычно говорил речь и, сам по природе насмешливый, пытался закончить посмешнее свои увещанья. Людской поток ослабевал, ждали возвращения Бурого, который все не возвращался, точно зубами держала его заграница... А пока на тихом берегу Соти наступала заметная суета. Сверху птице показалось бы, что бредовым безумьем охвачен край; птица не знала, что и сумасшествию людскому заранее начертан план. Жизнь

требовала себе хозяев — временно Увадъев с Фаворовым вершили дела Сотьстроа. Ежедневно из Макарихи, куда отныне перенесли телеграф и почту, уходили десятки взволнованных и ругательных депеш; вместо насущного кирпича, инструментов или рабочих чертежей присылали партии асбестита, тюки гудроненной пробки, бочки церезита и даже метлахские плитки, потребность в которых могла явиться не раньше года. Все эти преждевременные сокровища приходилось складывать прямо на земле, прикрывать брезентом от непогоды и сажать поверх человека с дубиной и в тулупе, чтобы не остудился во сне; вскорости деревенские ребятишки строили домики из помянутых плиток. Увадъев кричал, торопил с постройкой складов, а тут еще немытого гравия привезли, а песок оказался с глиной, а цемент пережжен; Сузанна вовсе избегала встречаться с ним в те дни. Злость удесятерила волю, и с тем большим размахом, щедрее сеятеля на ниве, управление Сотьстроа раскидывало людей...

Сотня плотников и всяких иного ремесла людей сколачивали временный мост на Балуни. Буровые вышки ползали по свежераскорчеванной земле, запуская в почву прямые железные корни. Болотце подступало с севера к самому месту стройки; землекопные артели лущили его, выбирали прель и хворост, бесцетно сыпали скитской целительный песок в развороченную рану. Тотчас же за околицей деревни, где два месяца назад шумела промерзлая хвоя, триста испытанных мастеров рубили рабочие казармы, аптеку, клуб, бани... все, что потребно живому человеку. На солнце они слепили взор, эти непрокопаченные, еще безглазые плоскости срубов. Полтораства других производили разрубку и очистку места общей площадью до ста десятин, расписанных под части будущего комбината. Пятьдесят копошились и мокли на реке: уже двинулся крупный пиловочный лес по Соти. Его гнали модем, россыпью, а у Макарихи ловили, согласно договоров с лесными конторами, вытаскивали по склизам и складывали в штабеля; в зной, когда грозила сорваться с неба жгучая слепительная капля, далеко неслось их терпкое, суровое благоуханье.

Удвоили число рабочих по прокладке дорог: движение грузов умножилось. Ветка была почти готова, пора

было переносить железнодорожный разъезд на двенадцать километров к западу, по линии Вятка — Солонга. Кроме выгод, связанных с сокращением пути, перенос диктовался и счастливой необходимостью идти долиной реки Уртыкая, но управление дороги беспричинно упорствовало: еще владычил над страной медлительный обычай империи.

Потемкин бился в транспортном наркомате за право на жизнь Сотьстрою, а дни шли, и где-то в далеких домнах уже плавился металл, потребный на трубы, мосты, стрелки, крестовины и подвижной состав. Точно предвидя в будущем неизбежные заминки, Увадьев спешил вопреки всем урочным положеньям, и это прежде всего отражалось на казне Сотьстрою. Деньги привозили в кожаных казначейских мешках, и они тотчас проливались, как вода, в непроходимые сотинские грязи. Растоптанная тысячами ног, грязь грозила превратиться в окончательную топь, и даже грунтовая дорога могла истрепаться вконец. Семь троек, дымясь паром и оглашая ревом лес, тащили локомобиль, купленный для временного паросилового хозяйства; ему в особенности трудно дались здешние трясины, этому двадцатитонному левиафану. Брягин, ямщик, требуя на водку при расчете, богородицей клялся, будто дюжину кнутов смочалил за одну эту беспутную неделю.

— ...с самого себя требуешь, дубина! Твое же, детей твоих... — увещевал неотступного возницу Увадьев, успевший прославиться скупостью.

— На дитев у меня хватит, я мужик справный, на все горазд, ничто у меня из рук не валится! — непонятливо усмехнулся Брягин, помахивая кнутовищем. — А ежели мне собственное дите в бутылке откажет, не дите оно мне, а хуже мачехи!

Локомобиль стоял на катках, весь в грязи и масле; похоже было, что он испытывал смущенье перед такою глухоманью. Мужики, приехавшие на базар в Макариху, ходили вокруг, испытующе постукивали в его заклепанную грудь, дивились с восхищением и угрозой.

— Э, трубок-то что! — не сдержался один, зевая единственно от чувств, охвативших его; дразнили мужиковский глаз и сами просились в самогонный аппарат двух-

метровые смазочные трубки, опоясавшие стальное тулово локомотива. — Ишь, гляди, лег к стопам и не дышит.

— Вторая революция случится, и придется его вновь развинчивать — грыжу на ем наживешь! — прибавил другой, тоже не без восторга.

Увадьев так и подскочил к нему:

— Ты что тут болтаешь, мухолов?

— Не пужай, заикаться стану, — шутил тот, но пятился от увадьевского взгляда и уже, наверно, каялся в ненарочном признании. — Мы тут никто, мы постороннее лицо, мы токмо жители.

На другой день издан был приказ о воспрещении базаров в Макарихе, а Увадьев уже собирался окружить забором построечное место, все сто десятин, но одумался и лишь выставил новых сторожей с дубинами. Походило, будто ждут войны: так умножалась армия на Соти. Приезжали механики, фельдшера, электротехники, приехал наконец Бураго, и однажды, когда приспело строить сушильную камеру, корявая баба привезла со станции иностранного инженера; всю дорогу он дико взирал из подводы на зыбучую хлябь этой небывалой трущобы. Иностранец думал, что Россия самая непонятная страна из всех, где ему приводилось устанавливать сушильные камеры. С представлением о скудости и нищете не вязались никак эти сто десятин, по которым дорогу в века прокладывала себе эпоха; привычному страху перед дикостью страны противоречил облик этой самой бабы, которая всю дорогу укрывала домотканым половичком его сверкающие, апельсинового цвета краги. Перед яминой, куда нырнуть телеге, баба оборачивалась и кротко говорила: «Держись, милый!» Он скоро научился понимать русскую речь...

Все же, приехав на место, он достал резиновый таз и вытерся одеколоном, невзирая на хозяйского мальчишку, который глазами и носом суеверно впитывал его с полатей. Потом, не стерпев тараканьей духоты, он вышел на крыльцо за свежим воздухом, и тут-то выпал ему приятный случай познакомиться со знаменитым Фаддеем. Отработав положенное за день, зверствовал как раз Акишин в помянутой отрасли... В этот день моросило с утра, и до вечера отражались в Соти щипаные какие-то,

железного цвета, облака, а к вечеру повеселело: лист зазвенел в ветре, и солнце высунулось на часок из-за облачной закраины.

— Very nice<sup>1</sup>, — сказал иностранец, улыбаясь на Фаддея, который бережно, как кружево к невесте, прилаживал резьбу к карнизу своего строеньца.

— Чего-с? — приветливо оживился Фаддей, выбирая гвозди изо рта. — Вот место украшаю... оно бани главней, а без бани и домовая жить в избе не станет. Тут, извиняюсь за нескромность, сидит человек и думает, вспоминает свое естество. И должно ему тут вольготно быть, тогда и мысль к нему легкая приходит. А конфузу в том нет: живое — рази ж оно стыдное?

— Oh, yes<sup>2</sup>, — повторил иностранец, прислушиваясь к таинственному и скороговорчатому щебетанью туземца.

А тот все распространялся, радуясь, что нашел наконец молчаливого душевного собеседника, с которым говори хоть целый век!

— ...и это я своим опытом дошел, что дух тут должен быть сухой, смолистый, деревянный. У вас в городе поди и древо-те камнем пахнет, а в камне сердца нет. Душа не может в камне жить, нет ей там прислонища. И как мне досталось понять ноне, душа, милый, навсегда уходит из мира, а ейное место заступает разум. Она, бывалча, не смотрит, как бы ускользнуть, вся так и ходит в царапинах, а новый хозяин — он не применяется. Опять же религия с другого конца — извиняюсь за нескромность — чище рубанка ее стругает: не души, а брусья в нас стали, милый вы мой заграничный господин! Знавал я в старые годы хлюста одного, с усиками: душа, говорит, мешает идти в шаг прогрессу нашего времени. Оттого, дескать, к северу и лежит Бело море, а с юга Черненько, а посередь болтается серая мужицкая лужа. Умный, слов нет, и никто с ним говорить не смеет... и мы не прочь, а только боязно: моряна-то, котора внутри-то нас... она цветы жжет, видите ли что! Хитро больно устроено... — Он доверчиво подался вперед, и борода его обжигающе защекотала ухо иностранца: — Солнце, к примеру, ровно овца... утром выгони, к вечеру само прибежит. А рази я,

---

<sup>1</sup> Очень мило (англ.).

<sup>2</sup> О, да (англ.).

скажем, Фаддей, гожусь ему в пастухи... какая вещь! Ом-мана боязно...

Вдруг он оборвал, накиннул картуз и побежал к прерванной работе. Стороной шел Бурого, главный инженер: он ежедневно обходил так, дозором, это обширное поле будущих битв. Был то некрупный, но широкий и заметный человек с круто откинутым лбом, над которым дымилась грязноватая проседь; глаза, даже не родня друг другу, сидели совсем по-разному в подбровных ямках: левому дано было повергать в страх, а правый в то же время смешливо шурился и пропадал под мясистым веком... Инженер уже скрылся, а Фаддеев молоток все еще твердил что-то суетливо о полной его, Фаддеевой, благонадежности. Разочек покосился старик и на иностранца, чтоб не выдавал душевного секрета, но тот уже уходил... Временами он совсем отказывался понимать смысл и судьбы этой пространной географической нелепости, какой представлялась ему Россия, где уживались и треск социального половодья, и мудрая, пронизательная тишина. На крыше двухэтажного дома стучала вторая смена плотников, крепя стропила; отрывисто сверкали в закате их неторопливые топоры. Где-то, как бы за спиной, пел на высоких грустных нотах девичий хор, а впереди подымались нешелохнутые, тонкие туманцы; пахло свежей земляной раной, о ней и песня. Лишь утром он увидел, как непостоянна эта российская тишина.

Еще только вылезло солнце, закутанное в оранжевую дымку последнего заморозка, а все уже было в движении. В начатом котловане, видные лишь до пояса, возились землекопы, и легкий пар исходил от мокрых спин. Справа, где плотники сплачивали кровли над бетоньерками, неслась звенящая дробь топоров вперемежку с тяжелым дыхом локомотива. Крича и обвившись веревками, семеро устанавливали телеграфный столб, а четверо других таскали огромную катушку с ниткой, которая должна была отныне связать Соть со всем остальным миром. Двое отчаянных, наверно, маляры, покачивались на расчищенных елях, привязывая антенну, и один закуривал, чудом держась над бездной. Бегали десятники, производя разбивку зданий; везли кипяильный бак, и рябой мужик, идя сбоку лошади, приговаривал: «Вези, мать, вези,



и тебя чайком попоят!...» Там, где сверкала утренняя вода, босой парень с небрежной и крикливой удалью переезжал реку, стоя на одном бревне. Во всем была устремленность к одной какой-то цели, и даже шестилетняя девчоночка, которой поручили нянчить младшую сестру, не разбивала целостности впечатления. Младшая норвила ухватить гуся за шею, но убежал гусь, а старшая догоняла и тащила сестру назад.

— Не бяжи, баба, не бяжи... Чего за облаками гоняешься!

И правда, в том усиливающемся солнечном ливне и гусь слепил, как облако.

## II

Стояло шершавое дерево на взезде; черные спутанные ветви его суматошно тянулись вверх. Еще неделю назад никто из Новосельцев не знал его породы, и вдруг все увидели, что это черемуха... Весна трудилась и по ночам; не валялось и щепочки, на которой не отпечатлелось бы ее могучее волшебство. Весна ускоряла разбег Сотьстрога, а с приходом Потемкина работы новый получили разгон; тут и понадобилось место, занятое Макарихой. Отчуждение земель требовалось произвести до начала весеннего сева, так как в намеченные сто десятин входили и крестьянские поля. Федот Красильников собственнически видел в конторе архитектурный проект, нарисованный как бы с облаков; скиту там не оставалось места, а на макарихинском берегу вдоволь наворочено было корпусов и даже подобия башен, а из башен вился как бы серный дымок. Чертеж, разумеется, не пахнул, а запах происходил от спички, которую закурил случившийся гидротехник, но в память Федотову он успел пророчески впитаться... Оный Федот, потомок старого сплавного роду, от века владевшего сыроварнями да лесосеками на Кажуге, волновался за скит не меньше самих скитчан. Кроме обстоятельств душевного свойства, имелись тому особые причины: был он младшим братом слепого Азы, который при пострижении не отказывался в Федотову пользу от наследственных прав. Вряд ли в

канун могилы потянулся бы тот за братним добром, но и самая возможность появления сего полумертвеца в доме устрашала Федота. Сомнительно было вдобавок, чтобы при переносе деревни Увадьев согласился на перенос и его двухэтажного, с каменным низом двора, ставленного прадедом на вечные времена.

Лукинич, связанный с Федотом свойством и призванный на совещанье, уверял, что Увадьев не станет ссориться с мужиками из-за пустяков:

— На чьи деньги строить-то!.. мы его на копеечке ровно на веревочке содержим.

Федот недоверчиво скалил желтые крупные, как бивни, зубы и мигал Василью, инвалиду воины и единственному сыну. Втайне знал он обходительную Лукиничеву повадку, а по мужицкой прозорливости догадывался и еще кое о чем, но не подавал виду, чтоб не лишиться последней помощи. В молодости на Кажуге, куда заводила его, кроме наживы, и охотничья забава, прыгнула как-то с дерева раненая рысь на Федота и напрочь сцарапнула ухо; то случилось годов тридцать назад, но прыжок этот помнил Федот крепко, и, когда встречал рысий взгляд Лукинича, невольно тянулась рука пощупать ушной лохматок, прикрытый степенной сединою. Не полагаясь, однако, на одну уловку председателя, не ленился действовать Федот и за свой риск.

Всякий раз, когда бывала ему нужда зайти к соседу, заводил он речь о тех недоуменьях, которыми с зимы наполнилась Соть. Навестил он и Николая Куземкина, что живет как праведник на отлете, окруженный пятью безнадёжными невестами; побывал у Гаврилы Савина, незадачливого плотника, который, сколько раз ни ходил в жизнь с голыми руками, всегда возвращался с пустыми карманами; напоследок забрел по случайной оказии и к Проньке Милованову, гармонному лекарю и секретарю деревенской ячейки, жившему в новорубленном доме у леска. Пронька прилепывал медный ладок к гармонии и поминутно, постучав зубильцем, пробовал его на звук, который получался голый какой-то, цыплячий и смешной. Федот искал образов и, не найдя, остался в шапке.

— Богов не содержишь?

— Обхожусь.

Федот усмехнулся:

— Ишь, как ни зайдешь к тебе, всё ры да ры! — и присел на ящик позади него.

Пронька на мгновение поднял взор:

— Ты, отец, не садись туда: это инкубатор. Наделаешь нам задохликов, да и штаны пожжешь.

— Хо, — подивился Федот, оставаясь стоять, — естеству насильство. Кака ж у тебя птица-т машинная вылупится? У ней, думается, и мясо-те железом отдавать станет. Всё затеи у вас с Савиным: то цветы, то цыплята, зря карасин тратишь. — Он помолчал. — Хорошая гармонь, чья такая?

— Моя. Хорошая, так купи!

— Куды мне, я старик.

— Все деньги копишь да в крыночку кладешь, — засмеялся Пронька, вспомнив, как в прошлом году принес Федот налог полтораэта новеньких полтинников. — Смотри, сгниют они у тебя!

— Ничего, сухая у меня крыночка, сухая. Может, двести коров у меня в крыночке сидит, а поди выкуси! — поддразнил Федот, а из бороды его просунулись зубы. — Про кудеса-то слышал? Пустынь желают разъять, а на ейном месте фабрика для бумаги.

— А ты поговори в конторе, может, и отступят!

— Поговорил бы, да мужику ноне внимания нет.

— Мужик мужику рознь! — Солнце упало на колени Проньке, и пискучий ладох засверкал в нем. — Зачем прикатился-то?

Федот исподлобья окинул стены:

— Да, как это ноне говорится, связь установить. Катька-то цветы, что ль, все содит?.. — Так звали Пронькину сестру. — Василий хотел к тебе зайти.

— Не сватайся, отец, не выйдет.

— Куды нам в советску родню лезть!

— Да, уж тут и крыночка заветная не поможет...

Вражда началась еще раньше: беспокойная кровь текла в жилах миловановского рода. Со временем остыла родовая немирность, и Пронька, собственно, только тем и раздражал односельчан, что, связавшись с опытной селекционной станцией, то ячменей да клеверов заморских насеет на полосе совместно с Сави-

ным, то цветов разведет полон палисадник. Василий, заползая в Пронькин дом по праздникам, всякий раз засовывал в цветок свой поганый изжеванный окурок. Он и вообще повел себя непристойно в отношениях на деревне; первое время Пронька терпел дружескую напасть, а потом, случилось, за ухо выволок его из дому и при людях показал ему кулак размером чуть помене годовалого кочна.

— Этим кулаком, Вася, я раз, по военному делу, человека с коня ссадил. Не затевай ссоры, а живи тихо, как тебе положено...

Обиженный Василий тоскливо смеялся, сидя в дорожной пыли и теребя порвавшийся на деревянной ляжке ремешок. Война не удалась, зато и окурки перестали из цветов расти. Кстати, вымокли в этот год хваленые Пронькины ячменя, и деревня была удовлетворена в своей первобытной жажде мести и равенства. Василий снова заходил к Миловановым, и те не гнали, потому что страшно иметь врага в деревне. Так тянулась эта насильственная дружба; выгоднее было Проньке держать врага своего перед глазами, под рукой. Но Василий не забыл обидного намека про свою калечину, в которой, к слову сказать, был неповинен. В свое время, объятый горячкой тщеславия, Федот настоял, чтоб и Василий добыл военной славы красильниковскому роду. Год спустя, выехав по письму на станцию, Федот долго с померкшим лицом вдыхал удушливый карболковый запах, исходивший от сына. «Вишь, укоротили малость, — сказал Василий. — За что ж меня так?» — «Как за что? — растерялся Красильников. — За веру, за престол, за государя императора...» Он недоговорил; сын рванулся, точно хотел по лицу отца ударить, но недотянулся и упал. «Ничего, прошло, — сказал он через полминутки. — Теперь посадите меня в подводу, тятенька». Федот молча поднял этот присмиривший мешок с солдатской душой, и они поехали продолжать жизнь.

Вместе с приятелями, всяким людским, налетевшим невесть откуда отребьем да вороньем, льстившимся на дармовое угощенье, пробовал он пить, — здоровая красильниковская кровь не принимала алкоголя. Такому жениться на Миловановой — значило бы восстановить утраченное к самому себе уваженье. Ради того он пошел

бы на любое, но рослая, простодушная Катя не замечала его любовной суеты. Из деревенских невест одна лишь старшая куземкинская вековуха была ласковой к нему. «Чего мне в ней, она всегда моя...» — шепнул он отцу, который советовал брать хотя бы это пересохшее явление природы. Не помогли ни угрозы, ни золотые сережки, которые Василий на всякий случай таскал в кармане, ничего ему не оставалось, кроме как одинокая пастуховская любовь. Весь род шел насмарку, и в таком-то обороте нужно было отвоевать место себе на новой Соти...

Война началась однажды на Масленице. У Проньки сидели гости, Куземкин с Савиным, и все одинаково ели гречневые блины, и всем одинаково резали шею тугие ворота рубах. Куземкин позевывал, а Савин внимал военным Пронькиным историям, и на лоб его поминутно всползала взволнованная бровь. В этот вечер впервые стреляли в Пронькино окно и, не потянувшись Куземкин за маслом, хоронили бы его в среду красным обрядом, под гармонь. Пуля ударилась в печку и, отскочив, пробила новехонький баян, который принесли ему чинить накануне.

— Эх, придется заплатки ставить, — громко сказал Пронька, раздвигая онемелые мехи; из дырки, такой же, как из окна, выдувал острый холодок.

Он стал внимательней присматриваться к Василию, а тот, узнав о злодействе, принял участие и даже советовал написать в газету, после чего виновника непременно засадят на казенные хлеба.

Пронька притворно качал головою:

— Да как его найти-то, злодея?

— Через посредство собаки унюхают, — настаивал Василий, лаская взглядом широкие Пронькины плечи. — Сейчас они, скажем, дают собаке пулю понюхать, и собака моментально бежит, а за нею сыщики едут на велосипедах. Ныне такие есть, если не врут: левой лапой за воротник злыдня придерживают, а правой протокол пишет, во!

Тот перемолчал Васькино издевательство, а весной стал уже откровенней проявлять свою вредность. На перевыборах он горячо высказывался против Лукиничина, выставляя доводом родство с Красильниковыми и его неопределенное лакейское прошлое. Вместе с тем сам он от власти отказался, а за голяками в то время не по-

шла бы волость: Лукинич прошел единогласно, и даже Куземкин голосовал за Сорокаветова, в надежде породниться с ним за такую услугу. Последний, однако, медлил с женитьбой, а нечесанные куземкинские дылды так и пребывали в затянувшемся своем девичестве. В первый же месяц своего владычества столкнулся новый председатель с Пронькой при распределении семенной ссуды. Ни Красильниковы, ни Мокроносовы и не нуждались в ней вовсе, но самое лишение обидело их и обозлило. И когда возвращался Пронька из Шонохи, стреляли в него вторично, и опять охранила его удача. Соскочившему с телеги в лес Проньке недолго пришлось искать приятеля; он стоял тут же, среди трех голых пней, сам как пень горелый; обрез его валялся возле, уткнувшись дулом в снег. Пронька весело приблизился к инвалиду и протянул руку, но не ударил, а лишь вскинул вверх за подбородок окаменевшее Васильево лицо:

— Паляешь, так уж попадай! А то собаке и понюхать будет нечего...

С того и наступила открытая борьба за преобладание в округе, и первый бой произошел как раз на сходе, где одновременно с участью Макарихи решилась и горькая судьбина скита. Сбирались на сельской площади, где каждую осень, в летопроводца Семена день, съезжались великие базары; высокий и темный дом Красильникова стоял на ней сундуком, и в нем сосредоточилось все прошлое не только села, а, может быть, и всего уезда. По местному обычаю, мужики пристраивались на корточки, курили почтенную махру и поплевывали вокруг себя; к концу сходов, когда подходило решение спорных вопросов, подобие колец бывало наплевано вокруг них, в которых и отсиживались, как в крепостях. Все испытующе глазели в пустое красильниковское окно, прищуренное накось занавеской, но там словно вымерли. Зато ржавый стон исходил от дома: дуновения вечерней реки качали железный фонарь, повешенный на глаголе, и ветхую вывеску, пробуравленную непогодой; на ней было проставлено — **Шишкин** и нарисовано колесо. Лука, живая память Макарихи, помнил день, когда набивал ее к косяку сам кузнец, сбежавший потом в черное имя Филофея. Переводя взор на сотьстроевские бараки да прислу-

шавшись к железным стенам Шишкина, Лука понял вдруг, что уж не стоять впредь красильниковскому дому на горнем месте, где прокрасовался три четверти века.

— Стоит дом на горы и глядит в тарары... — вздохнул он и сделал первый плевок.

Мужики зашумели; со стороны подходили Увадьев с Потемкиным, которого никто еще не знал в лицо. Записанный говорить первым, Потемкин быстро взбежал на трибуну; Увадьев поотстал, — жидковатый настил ступенек прогнулся под ним. Точно в огневой лихорадке, Потемкин зорко окинул собрание; ему понравилось подвижное лицо Николая Куземкина, и на нем он сосредоточил весь жар речи. Она началась с улыбки; выгоды соседства с Сотьстром представлялись столь ясными, что бессмысленно было растолковывать их... Он даже сократил свое слово наполовину для придания ему деловитой крепости, и прежде всего поздравил мужиков с честью быть свидетелями и участниками новой победы социалистического отечества. Увадьев, к которому перешло потом слово, не преминул подробнее остановиться на преимуществах, о которых туманно намекал Потемкин. Кроме близости культурного очага, волость получала электрификацию, постоянную медицинскую помощь, школы фабзауча и непрерывную работу на предприятиях комбината, этой столбовой дороги во всепролетарскую семью. Кроме того, по договору, который уже с месяц лежал в губземууправлении, крестьяне получали готовую деревню в четырех верстах от нынешнего места, школу и клуб и, наконец, среднюю стоимость урожая по данной полосе; рытье колодцев шло за счет переселяемых. Он кончил и, перечислив напоследок ряд лесных и налоговых льгот, неуклюже прокричал «ура» первому на Соту кирпичу социалистической кладки.

— Аминь! — неожиданно вскричал Куземкин, и смешливый ропот мужиков одобрил куземкинскую дерзость. — А ты птичкам воздух подари, а рыбам водичку: то-то милости твоей возрадуются.

Эта явная измена Куземкина заставила всех насторожиться: вместе с тем ни для кого не было секретом, что переселение все равно состоится, потому что уже и лес везли на Новую Макариху, и оттого все следили лишь

за выполнением установленных правил игры. Видимо, лишь для усложнения забавы и по сговору с сотинской знатью и выступил тогда Лукинич.

— Эй, не шумите тама, окажите почет хозяину! — Он шутливо набросился на Куземкина: — Ты чего ж, таракан, рот-те, как гашник, раззял?

Игра началась, и мужики оживились. Куземкин, однако, отказался от чести вступить на трибуну, куда его настойчиво зазывал Лукинич. Был он вертляв от какой-то душевной чесотки, особенно в ногах, и имел вдобавок такую видимость, точно в детстве наступили ему на лицо.

— У меня не гашник, а крестьянский рот! — важно сказал он, и самые скулы его зашевелились. — И когда он говорит, обязан ты, приказчик, слушать. А что же он говорит, крестьянский рот? — Он вздохнул, набирая силы, и украдкой взглянул в красильниковское окно. — А то, что надо бы раньше с мужиками посоветоваться, чем руку на Макариху заносить. А может, нам с этого места и сойти невозможно? Может, мы тут корешок имеем и всякий пеннышек нам брата милей? Опять же пизаж! — Он произнес стыдливым шепотом это полужнакомое слово и с тоской взглянул в пустое, совсем пустое хозяйское окно, откуда он черпал слова и силу. — Эва, здесь-то ровно небо разлилось, легче нет ничего взору моему, а оттель какой вид? Сосна, да на сосне сорока качается... и положим, день я на нее гляжу — качается, два гляжу — качается, а на третий и придет мне мысль, а с чего же она, братцы, качается? И напьюсь я тоды, милые вы мои граждане, от одной мысли... и выйдем мы все алкоголики своего быту. Не, нам то место не житейско. Опять же до черквы станет пять верст. Да тут, пока свадьбу нонешнюю довезешь, и жених-то сбежит!

— А ты женишка-то на лычку да к дышлу!

— Не порть молебну, Николаха.

— Эх, брось болтать, дело общественное...

Ячейка переглядывалась, а Куземкин не унимался. В окне блеснуло что-то медное, точно самовар, либо огромную копейку пронесли, и в ноги крикуна новое влилось воодушевление. Рот его надувался и лопался, как пузырь, а в толпу летели злые, плодущие брызги, которые немедля прорастали в рыхлый людской чернозем,



— ...извиняюсь, никто в цельном мире не может моей крестьянский рот заткнуть. Я и сам общественную работу вел, два года в исполкоме конверты клеил и потому имею вопрос. Какой еще ты нам храм заместо скита воздвигнешь?.. сколько еще отступного дашь? Ты как во власть всходил, сапожки мне обещал, а я посель в лапотках крохи мои промышляю. Эй, может, гидра сапожки мои износила?.. и еще ты нас попрекнул, что с пришлых дерем. Мы теперь сами навыкли яичку есть: ее сварить надо, а потом с сольцой, с сольцой ее, окаянную. Погодите, мы еще, гляди, окошки заколотим да к вам в Москву пойдем: кормите, скажем, нас, богатеньки братцы...

— Правильно, мужик вдосталь станет есть — злаку на земле не останется! — пригрозил самый ближний, чертя палочкой по земле какие-то свои чертежи.

— Эй, Куземкин, — досадливо закричали другие, — не там лижешь! Здесь на гривенник больше дают... Дарма себя Федоту продал.

Куземкин устало скалил зубы, и пот лил с его висков, точно из дырочек. Ветер услужливо доносил его речи в пустое окно, где появился вот и сам хозяин. Увадьев посмотрел туда и мигом смекнул обстановку; еще прежде, чем предупредил его Пронька, он уже знал, что истинное настроение мужиков непременно скажется при голосовании. Со дня прибытия городских людей поколебалось не только древнее благочестие, но и самая земля под ногами у сотинцев; немногочисленная советская горстка получила подкрепление, стали случаться неопишуемые вещи: то внезапный комсомолец иконы на дрова порубил, то тишайшая Зина Чеплакова так себе лик напудрила, что хоть картошку садить. Жаловались и на то, что старые песни, степенные, как сама здешняя природа, извелись, а в новых только и пенья, что про машины, которых еще нету.

— Ты слышишь, что он говорит? — тревожно шепнул Увадьеву Потемкин, косясь на Лукинича, который поглаживал свои усы и не впутывался в драку. — Они теперь так голоснут, что и глаз девать станет некуда!

— Ладно, не надо паники, — отстранил его Увадьев и продолжал слушать Проньку, — слушай его, он дело говорит.

Только тут разъяснилась причина увадьевского спокойствия. Со стороны барачников все новые подходили кучки строителей и тотчас размешивались с мужиками; скоро сход почти утроился, и тем, которые сидели, пришлось встать. Лукинич волновался, мужики зловеще шептались, не смея гнать этой враждебной армии: были то все расейские Федосеи да Иваны, такая же потомственная лаптеносная голь. Вдруг стало ясно, что Увадьев перекроет всех Федотовых козырей, и тогда в бабьей гуще схода обнаружилось странное движение, точно кто-то, мальчик или собака, незримо бегал по рядам и сеял раздорное семя.

— ...там, в толпе, выходи! — звеняще крикнул Увадьев, и толпа расступилась, а Потемкину показалось, что человек стоит на коленях: он впервые видел Василия Красильникова.

Тот приближался, задевая за подола баб и одержимый своим убогим демоном. По дороге ему попалось длинное толстое бревно, и все с любопытством ждали, ползет ли он через него на карачках, перескочит ли; не в силах одолеть препятствие, Василий остановился там и стоял с закрытыми глазами. Должно быть, он терялся, кого ему ненавидеть более: Увадьева ли, смотревшего в небо недобрым совиным взором, бревно ли, лишний раз подчеркнувшее его убожество. Ему хотелось плакать, но вот дрожащий и щекотный пополз в тишине звук: инвалид смеялся.

— Дожили, а?... со свиней, с кур, с собак, с блох наших дерут... да еще попрекают! — проквохтал он, и кожаная куртка его скрипела, как замороженная. — Зачем было людей созывать, мы к приказанию привыкли. Тыщу лет нам приказывали, Расею приказали соорудить — эку махину наковыряли. И ты не тяни, а прикажи, и думать нас не понуждай, не обижай напрасно! — Он качнулся и сдернул картуз, обращаясь ко всему миру; под картузом обнаружилась тугая, расфиксатуренная прическа, и ближние к нему потянули носом: похоже стало, точно незримо, возвратясь из прошлого, возлегли поперек Макарихи огромные пахучие исправничьи усы. Трясущейся рукой он достал из кармана перламутровую спичечницу и с достоинством закурил. Вдруг вместе с дымом и каш-

лем вырвалось из него бешеное слово: — Кто, кто теперь судьбу нашу станет решать, они? — Он яростно толкнул в колено ближнего мариийца из артели владимирцев, и тот удивленно поднял брови. — Мы тут от века живем, папаньку рысь ела, Николахину мамку, беременну, медведь запорол, а они какие тут жители? Они огни бродячие...

— Я везде житель, я плотник, — чуть обиженно отвечал мариец, не отводя глаз от пахучего темени инвалида.

— ...ты! Ты не житель, ты вонь... вот как шкуры квасят, вонь идет. Ты пискульник, что в прибороздцах растет. Я вот дуну в тебя — легчай перышка взлетишь!

— О, дунь, пожалста! — с ленивым восхищеньем попросил мариец и даже присел на корточки, чтоб не особенно утруждать Василья.

Он был как дерево, полное веселых и тенистых листьев; ему невдомек была инвалидная горечь. Он искренне поверил в могущество человека с такой духовитой прической, и в лице его отразилось искреннее сожаление, когда тот постыдно бежал со схода. Презирая побежденных, деревня проводила его свистом и хохотом; кто-то пронзительно мяукал, кто-то смешливо советовал отправить к скотъему доктору красильниковских овец для тайного обследования. Так, в обстановке шуток и веселого препирательства, Увадьев приступал к голосованию.

Стоял вечер — не вечер, когда луна уже лик кажет, а солнце еще не тухнет на краю земли. Оранжевое пламя зари проникало все; в деревьях, верилось, текли оранжевые соки; черные руки, поднятые за снос скита, пылали тем же оранжевым светом, и даже мычанье коровы, оставшей от стада, представлялось тягучим и оранжевым. Совершенную тишину, пока Пронька считал голоса, пробуравил жук и застрял где-то в липкой оранжевой мякоти. За это время случилось только одно происшествие: увадьевский картуз упал с перилец, и Куземкин, давно томившийся неопределенностью, бросился его поднимать, но не поднял, стыдно стало, а кинул на прежнее место:

— Врешь, ляжи тут! — и с отчаянием погрозился картузу.

Глубже вдавливались тени вещей, цвета таинственно менялись; рождалась неосязаемая голубизна, — она гу-

стилась, плотнела, и мнилось — ее можно было скоблить отовсюду и, как синьку, растворять в воде.

— ...сто восемьдесят семь... восемь... девять. Эй, не стесняйся, товарищ! Двести один, два...

— Да нечего уж, единогласно, — нетерпеливо вставил Лукинич.

— Не спеши, друг, я и сам по баньке соскучился!.. — Был субботний, банный день. — Двести одиннадцать, двенадцать...

Мальчишки с гиканьем прогнали коней в ночное. С реки дохнула ночь. Перепел где-то за околицей начал перепиливать свое скрипучее колено. И, еще прежде чем босая нога Куземкина ощутила росу, участь скита была решена: скитское место предоставлялось под лесозавод, имеющий быть воздвигнутым в ближайшие три года. Монахам давалась свобода идти в любую сторону или гибнуть любой гибелью, а самые строения кто-то предложил даже запалить с четырех сторон, что было отвергнуто лишь из опасения лесного пожара. Уже разошлись, бабы разогнали телят по клетям, а Увадьев с Пронькой все еще писали протокол. Вдруг рука просунулась к ним сквозь перила.

— Картузик-то, — молвил знакомый голос. — Вот он, картузик-то!

Молча приняв услугу, Увадьев крупным шагом пустился домой; Куземкин бесшумно бежалazole.

— Эх, ноне иного за рупь укупишь, дешевое ноне стало людье! — навязчивым говорком лез он в мысль Увадьева. — А за иного и рупь жалко, меня, к примеру. Каждый день разов семь помираю, а все смерти нет... А ведь когда сыт, на меня и смотреть зазорно: валяюсь, и даже пес понюхать меня требует...

— Ну, чего ты пристал! Я тебя не бью, не попрекаю: беги туда, может, и выгадаешь, — сказал Увадьев, замедляя шаг.

— Нужда, товаришш! — вспыхнул Куземкин, что-то учуяв. — В клопах, в нищете да в грыже, ровно в крапиве, живем... и я не ропшу, я ее даже люблю нищету-то мою. Ведь я что! Назначь меня в Расее командиром, — а я ее пропью, ей-ей пропью. А почему? А потому, товаришш, что мужик — дитё...

— Ну, брат, пора и вырасти! — в ярости гаркнул на него Увадьев и круто свернул в проулок.

Слышно было, как визгнула попавшая ему под ногу собака, потом Куземкин остался один. Вступала ночь, и целые реки запахов текли в ней. В скиту пробили десять. Соловьев не водилось в округе, но и лягвы в эту пору о том же самом, о соловьином, верещат. Куземкин подошел к избе и заглянул в окно. Пять его безнадежных невест хлебали скудную мурцовку, и ни одна из них не была моложе другой. Видно, учуяв человека за окном, крайняя к двери вышла на крыльцо и несмело окликнула потемки.

— Погоди, Надьк, кричат! — откликнулся Куземкин.

— Небось, Лукинич опять старика своего учит.

— Не, то в скиту крик!

— Не в той стороне, глухарь! Ишь Лука взрыдывает... — возразила дочь и, зевнув, мысленно пообещалась: «Погоди, станет время, и тебе водички не дам попить!»

Ее-то уж больше всех распалила досада на отца, который еще утром посулил ей залобанить инвалида в жеманях.

### III

Пустословила она не зря: Лукинич жил не в ладах с отцом, Лукою, который состоял нянькой при собственном внуке; большепотый и слюнявый, этот младенец если не кричал, то спал, но если спал, то поминутно гадился. Даровую свою няньку председатель содержал в черноте, кормил обедком, водил в обноске и, частые распри завершая дракой, норовил ударить старика в то гладкое и непрочное место на голове, под которым, по неписаной мужицкой науке, средоточится у человека память. Уже окостенел старик от своего житья, уже явилось во взоре его то свиное безразличье, которое простые люди относят к мудрости, а еще помнил много, и Лукинич справедливо опасался, как бы не вытекло из старика заедино с болтовней лишнее и вредное слово о нем самом. Все они, Сорокаветовы, жили до отворачивания долго и в большинстве погибали не своим путем; не потому ли и отмалчивалась деревня на писк и вонь, исходившие по ночам из большого этого дома. Один толь-

ко скитской казначей посмел вступить за каждодневно убиваемого Луку.

Произошло это вскоре после того, как прибили на скитские ворота бумагу о выселении. Целый месяц, пока не смыло ее знаменитыми впоследствии дождями, Тимолай читал всем желающим, нараспев и по складам, мирской приговор о своей ненадобности. До поры, однако, все оставалось по-прежнему; только по несколько раз в день наезжали паромы со строительства и набирали песку, которого вдоволь за тысячелетия наметала здесь река. Берег оползал и раньше, образовалась крутая осыпь, и при каждом дуновении непогоды струились вниз песок и гравий; корни деревьев повисали над пустотой, как разоренные гнезда. Когда же вонзились внизу новехонькие, еще певучие, лопаты, стало ясно, что не сегодня-завтра поползут вниз Вассиановы огороды. Тут еще и другая, внутренняя, подступала осыпь: среди молодых, о которых особо поминалось в объявлении, неслыханное началось брожение, и вослед сбежавшему Виссариону многие посмотрели завистливыми и робкими глазами. С этого и началось: приходил кроткий Иов к игумену, просил разрешения на брак с одной пожилой девицей, причем уверял, что в женатом облике он еще ревностней станет служить Господу. Двух других попросту выгнал Филофей за срамоту и смуту, а четвертый, престарелый скитской сапожник, собрался с духом, да и подал в суд о взыскании жалованья за все сорок три года беспрестанной работы в скиту. Поддуваемые с другого берега, тлели людские угольки, и Вассиан видел однажды вечером из огорода, как в лодке, управляемой Прокофием Миловановым, переправлялся на скитский мысок московский комиссар. Направление они держали к самому тому месту, где, незлобиво распевая тропарь, уже второй вечер косил Тимолай. «За ним, за последним охотится. Эка, четверорукий, до всего достает!» — уныло смекнул казначей и заранее предсказал Тимолаю убийственную Геласиеву славу.

А Геласий уже зверовал под Макарихой. Тотчас по растрате скитских рублей бежал он в леса и жил там неделю, питаясь и ночуя звериным обычаем; потом, когда чуточку позакрылась волосом душевная рана, вышел на мокроносовское гумно и попросил есть. Веяли там бабы

прошлогодний урожай, дали ему со страху лопату зерна, и он опять вприпрыжку умчался в лес: еще пугал его человеческий голос. В поисках себя самого плутал он по дебрям, и ночью, когда в Соти отражалась звездная вечность, на весь лес испытующе кричал свои кошунства, но ничего не случалось. Так родился слух в селе Пятница, что на Енге будто за безумным монахом бродит по сухим болотцам напрасно оплеванная им Богородица; бабы советовали мужьям прикончить Геласия домашним способом, раз уж с пружины сорвался человек. Но вскоре, когда покраснели от смолкли старые пашни, Геласий вышел сам из лесу и нанялся к Федоту Красильникову пилить дрова. Вся женская половина села ходила смотреть сквозь плетень, как, рваный и потерявший облик человека, ворочает он без отдышки огромные березовые кряжи. К пригону скотины баб набралось множество; покачивая головами, они вспоминали всю родословную Геласия, нищих и бродяг, от которых он и получил свои бунтовские дрожжи.

— Ишь ворочает! — и ласкали несатым взглядом злые, бегучие Геласиевы мышцы. — Мы и лошадьми столько не сработаем.

— Монаху что, ему житуха сладкая... — собиралась подзадорить другая и недоговорила.

Беспоясый и босой, с маленькой до удивленья головой, сам Красильников вышел расплачиваться со своим необыкновенным батраком. Он имел привычку платить медяками, что казалось больше, и еще водкой, которую, со времени закрытия макарихинского Центроспирта, ставил вчетверо против казенной цены. Приняв бутылку, Геласий угрюмо смотрел в сторону, на оглоблю, торчавшую из-под навеса. Тут до него и дополз неосторожный бабий шепоток; сгребая всю медь с Федотовой ладони, он неистово метнул ее в толпу и стоял с оскаленными зубами; однако никто из бывших по ту сторону плетня не поднял ни монетки, словно были они раскалены или заклеены отступничеством. Потом, лопатами раскинув руки, он пошел вон с двора. По пустой, разом вымершей улице он направился на мокроносовский сеновал, где имел пристанище по старой дружбе, и вот тут-то, близ савинской лужи, никогда не просыхавшей, носом к носу столкнулся с Увадьевым.

Как тот ни спешил, а все-таки остановился; не столь задержала его откровенная бутылка в Геласиевой руке, сколь самый вид его: он был в стоптанных бахилках, а прикрыт рваниной, проплатанной цветным лоскутьем. Стоя наискосок, они созерцали друг друга с каким-то тупым недоверьем, и тотчас же их окружила орава детей, восторженно ожидавших какого-нибудь события.

— Хорош, очень хорош, — раздумчиво сказал Увадьев. — Эх, шут преподобный, до чего дошел, а все впустую мотается твоя машина. Что ж, заходи вечером как-нибудь чай попить...

— Я тебя, погоди, вечером убивать приду, — еле слышно отвечал Геласий; он стоял посреди самой лужи и ничего не замечал.

Увадьев только засмеялся:

— А, убивать, — тогда пораньше приходи, а то я спать рано ложусь. Я, брат, не свой нынче человек... дела всё! — и, не кивнув, прошел мимо, даже задел локтем Геласия, который не посторонился.

Мокроносов был тот вечер в отъезде, и оттого завладела Геласием на ночь Васильева ватага. На лесном ручье стояла замшелая красильниковская маслобойка, сплошь слаженная из дерева, без единого железного гвоздя; под колесом водились налимы, ивовые ветви мокли в воде. Здесь, у костерка, в котором пеклись яйца, еда пьяниц, обычно и озоровал Василий; Геласий, видно, служил вместо перцу в его пресных забавах. Изредка пососав из круговой бутылки, он неуклюже плясал в зыбком свете костра... и тут выходил из мельницы старик с налимелью харей, управитель и работник еще Васильева деда. Посмеиваясь куда-то в кривую скулу себе, он глядел на куцую отрасль знаменитого рода и вот пригибался к хозяину... В открытую дверцу рвалось пыхтенье гранитных медведей и тупые вздохи пестов.

— Глянь, Вася... ровно с пружинами иннок-те, а тебе и полножки не дадено. Не робей, зато ты богатенький... эва, точно паша турецкий промеж холуев своих сидишь!

Василий морщился, в действительности он стоял у костра, а всем казалось, что он прочно сидит на травке.

— Ты кради, кради свое масло у помольцев! — вскипал он и тут же развлеченья ради выщелкивал угольки из



костра под босые и такие неистовые ноги Геласия: не радовало его это наемное веселье.

— Как тут украдешь, закон: девять колобьев, девять фунтов на пуд! — И снова склонялся криворотый масленщик; любил он задор, сраженья, грозу, а больше всего огонь в живом человеке. — А у дедушки твоего, Вась, кони были — страшно к конюшне подойти. А он, бывало, вскочит, ногами стуканет, ударит кулаком промеж ушей, и скачут, два черта. И никто не знает куда, зачем, а скачут... До гроба молодым был.

— Уйди, не трави, — защищался Василий и жевал обесцвеченные тоской губы.

Старик приносил блюдечко свежего, пахучего льняного масла, и они опохмелялись им до изжоги. Ныла инвалидная душа, все выискивала поступок, который вернул бы утерянную доблесть. В десятый раз бегала в Шоноху неутомимая шинкаркина девочка, и все боялась приблизиться к этой яме огня и неистовства; в ней все еще скакал подпекаемый Геласий.

...что ты, что ты, что ты, что ты —  
я и сам бясовской роты,  
полосатого полку,  
скачу до потолка...

...у костра и заснула оголтелая дюжина, а когда проснулась — только выбитая земля свидетельствовала, что здесь било и подкидывало скитского бегуна. На этот раз он пропал надолго, и толковник Лука клялся, что глупого парня присосала в себя трясына, отчего и прорыжела горькая болотная вода; противники же Луки полагали, что Геласий вернулся в скит, и там повелено ему стоять год в древесном дупле, на манер древних подвижников, которые вдоволь имели времени и не на такие затеи. Смеялись, видно, спорщики: скит оголился, разруха просочилась сквозь частокол, старики оставались одни, самые двери бежали с петель. Всего за полторы недели до Троицына дня исчез небурный Тимолай, вздумавший, видно, околицей добрести до неба. И чем цветистей распускалась весна, тем плотней сгущалась тьма над северною Фиваидой. Близ обеда собирались старики

на ту самую скамью, откуда еще недавно размечал карту будущих сражений Увадьев, и безмолвно дивились образу, который принимала на Соти подстегнутая история. В старых книгах, замкнутых в торжественные кожаные гробы, они искали ответа недоумениям, но не было там ни о революции, ни о целлюлозе, а стояло расплывчатое и косноязычное слово: антихрист. И верно: две тысячи зачинщиков нового закона на земле копошились под Макарихой.

— Чего тянете, палачики, убивайте нас! — надсадно кричал Устин рабочим, прибывшим за песком; в мученичестве заключалось оправдание векам бестолкового жития, а те, отирая пот с лица, лихо закуривали, весело звали их к себе, в пыль и скрежет лопатный.

На глазах у монахов вырастали над котлованом строительные леса; туча, шедшая с запада и светившаяся, как опал, чудом не распарывала о них свое сизое брюхо. На фундаментах, выведенных до нуля, уже покоилась путаная каркасная паутина, которую должна была облить стройная бетонная плоть. Самое сооружение это не похоже было ни на орудие пытки, ни на скелет апокалипсического зверя; голос его вселял не содрогание, а странную смутительную бодрость; ночной звук вспахивал тишину, проникал вещи, изменял их значение в мире, и на каждой хвоинке потом оставалась какая-то неистребимая его частица: то был ночной гудок, по которому приходила вторая смена. Они видели, как голили макарихинское место; крючьями, как на пожаре, растаскивали срубы, ворошили мшистые кровли, и далеко неслась по ветру их цветная, горемычная труха. Самые корни Макарихи выдергивали из земли, засыпали песком колодцы, ветхий лес пилили на пар и силу... Миллионы существ, если считать всю домовную насекомую нечисть, потеряли в те дни покой и жилище. По дорогам сломя голову бежали тараканы, скулили домовые по ночам; Фаддей Акишин, всеплотницкий староста, даже помолодел от веселого разгула ломки.

Давно привлекал его внимание угрюмый красильниковский дом, лаженный на крюк, из десятивершкового леса, с круглыми углами, обильный галерейками, обреченный стоять до скончания планеты. Трудно было ре-

шить, откуда начать валку, и артель пристально наблюдала за своим вождем, как он таинственно нюхал углы или благоговейно постукивал обухом в темные, заподлицо отесанные стены.

— Не людьми ставлено, видите ли что: железом звенит! Не, нонешнему топору старого дерева не взять: искра пойдет!

— А ну его к черту, спалить его! — советовали земляки, подмигивая прорабу. — Он, брат, задубенел, дом-от. Еще и не тронули, а уж, гляди, взопрел ты, дядя Фаддей!

— Рушить — работа умственная, — хитро посверкивал глазами Акишин, и все разумели, что вот так же и кошка заигрывает насмерть свою добычу.

Он все-таки не устоял перед новым топором, этот черный ящик, в подполье которого еще скрипела и охала огромная мохнатая душа. Обиженные владельцы не поехали в Новую Макариху, где поставили им скромную, в три окошечка по числу душ, избыцу, а переселились к себе на маслобойку и туда же перевезли на тринадцати подводах весь свой скарб. Мужики оттягивали выезд до последнего срока, и некоторые видели, как раскатывал Фаддей вековые красильниковские бревна... Однажды длинная очередь подвод потянулась из Макарихи. Старухи несли скоробленных богов на полотенцах; бабы гнали скот, который мычал и блеял, не доверяя заново проторяемой дороге; мужики задумчиво шагали сбоку телег, где, поверх обиходного скарба, тряслись резные оконные наличники. Одни лишь ребятишки, радуясь всякой перемене, скакали впереди, дразня собак. Безлюдная, ленивая пыль поднялась и осела, а берег опустел.

— Не уходите, не уходите... — шептал Вассиан вослед уходящей Макарихе и цеплялся за прелое дерево скамьи.

Неделю мужики привыкали к новому месту; старую резьбу прибывали на новые окна и негодовали, что не хватает резьбы: новые были глазастей. Старухи бечевкой обмеривали свежие, чистые избы и роптали, что новые просторнее и выше на аршин... Скучно было без теплого, домовитого клопа, без грязцы, без настоянной телячьей духоты; жаль было вольготного и нелепого прошлого, на которое беспощадно наступил Сотьстрой, а еще страшней неопределенность будущего. Пугала вдобавок

и щедрость новых соседей, подаривших школу, клуб и обещавших больничку от неизъяснимых советских милостей. А когда привыкли, стали рыть колодцы и втихомолку перенесли с перекрестка часовенку, в которой тотчас же завелся проворный и безгласный монашек.

В одну из ночей буксиришко, пользуясь высокой водой, притащил землечерпалку; гремя цепями, чудовище выжирало вековое лоно реки: здесь намечалась лесная гавань и приемные трубы водонасосной станции. Река молчала, но желтая кровь длинными полосами прочертила ее текучее тело. Чудовище исчезло ночью, как и появилось, а утром сотни людей потянули через реку, чуть наискось, стальные тросы и могучие пеньковые канаты; они сооружали запань, преграду для молевого сплава, основные массы которого уже тащились где-то по верховьям. Река цвела людьми, а люди песнями, и хотя была суббота, Кир не посмел ударять в скитское било: да и некого становилось звать на вечерни...

...все медлил враг. Строители полюбили это место, с которым связала их судьба. Стройке, которая сотни раз повторялась на материке, они придавали особое величественное значенье; когда представитель губернской инспекции спросил у Фаворова, что делают на машине, чертеж которой валялся на столе, тот ответил с задором: социализм!.. А то была всего лишь монтажная схема машины для дезаэрации воды, которую изготовляли для Сотьстроа за границей. «Ловок на язык!» — не без зависти подумал Увадьев, заметив улыбку Сузанны, а сам тем же вечером крикнул на производственном совещании фразу, хлестнувшую как лозунг: «Работайте, как черти! Про вас песни сложат...» Не было, пожалуй, надобности их понукать, и Потемкин верил, что только из ложного достоинства Ренне, старейший возрастом, держался за свой скептицизм.

— Вы чудак, Филипп Александрович, — убеждал Потемкин, и исхудавшие пальцы его играли, как у пианиста, — вы все еще видите в нас беспочвенных босяков, посягнувших на историю. Вы заражены старыми, российскими масштабами... для вас и Петр катастрофа! Ха, босяки правят богами... так? Но, даже минуя огромные социальные смыслы, кто, кто из прежних русских бур-

жуа мог бы затратить тридцать миллионов на целлюлозный комбинат?

— Пока только шесть, — веще и сухо поклонился Ренне и глядел не в глаза, а куда-то в пестренький поясок Потемкина. — Вы живете сто лет спустя — я теперь — я инженер — я заведующий лесозаготовками. Техника не любит наивных — вы хотите высшую математику заменить элементарной! Может быть, вы пишете стихи?

Потемкин махал на него руками:

— Ничего, пускай... я люблю скептиков, это как соль. Только не говорите этого Увадьеву!.. Он бросил курить и ходит злой... и потом, как бы это сказать, нет в нем мясного состава, он из другого вылит, из красного чугуна... он не поймет! А мне не хочется, чтобы вы ушли... ушли, не убедясь в нашей правоте. Читайте газеты, Филипп Александрович, читайте наши газеты... там значительно все, от заголовка до объявлений!

Ренне со снисходительным лицом сцарапывал незримое пятнышко со своей старомодной, с острыми полями, фуражки:

— Вам надо к доктору — у вас глаза — нехорошо.

Именно Потемкин, чувствуя окрепшую силу своего детища, и предложил однажды сохранить скит как людской заповедник, чтоб и через полсотни лет жители города Сотинска могли удостовериться, в какие смешные игры тешились предки; кстати, нужно же было где-нибудь сохранять барулинскую медаль с толстым лицом предпоследнего царя. Шутки его всерьез никто не принял, но как-то случилось, что неписаное это постановление прошло в жизнь, и напрасно Фаддей Акишин, войдя в азарт разрушенья, терзал по праздникам увадьевское терпенье. В такие дни, по необъяснимой причуде, он надевал линялый пиджак, доставал из сундучка картонную лошадку, купленную у бродячего торговца игрушками Фунзинова, и ходил с нею всюду, ища Увадьева. Пусть бы только расспросил, а уж тут и расскажет Фаддей и про внука, и про погибшего его отца, и про весь свой могучий род, и про все, что приключилось с ним, пока пробился сквозь толщу крепостного столетья до Фаддея.

— Эй, хозяин, когда монахов-то трясти почнем? Не скупись, рушь, комиссар, построим вчетверо.

Увадьев принохивался и грозил пальцем: не нравились ему мужицкие, с желтой искоркой, глаза Акишина...

— Опять пьян, ровно Антипкин кобель? Выгоню я тебя за ворота, старого черта.

Статный во хмелю и даже щеголеватый чуть-чуть, усмехался Фаддей и выставлял вперед своего конька.

— Ты вот его пужай, бумажная душа, а меня не испугаешь. Мне пьяному-те семь рублей в сутки цена, видите ли что. Нет в тебе, чтоб понять ремесленного человека, жестосерден ты, хозяин!

Не вынося никакой развязной задушевности, Увадьев отплевывался и хлопал дверью. Тогда, обиженно подмигивая лошадке, глядя облыселый круп ее, распитый как розан, старик отправлялся в скит; это было единственное место на свете, где еще не ведали его занимательных историй. Его встречал сам Вассиан, мастер на всякую дипломатию, и вел в трапезную пить чай; туда поодиночке, чтоб не пугать редкостного гостя, собиралась вся скитская верхушка. Не притрагиваясь к угощению, трезвее с каждой минутой, Фаддей молчаливо восседал на почетном месте, а лошадка покачивалась рядом, на шатком столе.

— Что деется-то? — начинал Кир и придвигал деревянную миску. — Ты капустку-то кушай, во хмелю капуста хорошо. Ты смешной, ты шутилой, в гроб глядишь, а с игрушкой ходишь... Что деется-то?

— Ничаво, — хмурился Фаддей и прятал лошадку за пазуху озеленевшего пиджака, который сидел теперь на нем мешковато и глупо. — Все в аккурат. Маненько на Кавказе земля тряслась. Теперь утихла.

— Европа-то что? — с неуверенной надеждой вопрошал Вассиан, поталкивая Кира, чтоб молчал.

— Ничаво, стоит.

Вассиан долго и мелко смеялся и вдруг спрашивал ненароком:

— Ультиматум-то боле не засылали?

Тогда вскакивал Фаддей, и лицо его перекручивала злоба:

— Чего, чего сидите, почто не гибнете! — кричал он, и плотничий кулачище вздымался над капустой. — Нарупь, злодеи, веселья мне испортили... Кого, кого о чем

спрашиваете? Может, я и сам теперь... — Он не договаривал и крепче прижимал лошадку к сердцу. — Кто Волховстрой строил? Я! Кто на Кашире всею опалубку вел... Я! На Шатуре кто дома воздвигал... И кто сына моего на границе убил? Мое, плоть мою... ну!! — Его ярила неотстоявшаяся боль по сыне, пограничнике, подстреленном из-за рубежа, и Вассиан предусмотрительно отодвигал капусту. — Чего недохнете... в черноту оделись... Мрите, всяко мрите, от водянки, от зудной хвори, мрите, пока не поздно. Тошно мне с вами! Ровно маятник я промеж вас, головой вниз, мотаюсь... там страшно, а у вас и пакостно. Плевать мне, плевать на ультиматум!..

Он бесповоротно уходил, величественно и навсегда унося лошадку за проредевший волосяной хвост; по горькой обязанности Вассиан провожал его до парома.

— Кинь словечко-то на прощанье, от доброго слова не обеднеешь! — напоследок выпрашивал Вассиан. — Додушат нас, как мух, аль не допустят?

— Чего, сами полопаются.

На воде оставалась от парома широкая, недолговечная дорога; глядя на нее, хотелось Вассиану бежать, догнать Фаддея, спросить то главное, страшней чего нет в мире, — затмила ли навеки правда? Но дорога растворялась в течение реки, и Вассиан еще печальнее подымался в гору. Единственный выход оставался братии: перенести Фиваиду дальше на восток, где бродят еще нестреляные звери, лежат некопаные земли, живет неграмотный человек. Уйти предполагалось ночью, а остатнее место пустить огнем. Евсевия, благо и весил мало, должны были нести по очереди Филофей, Феофилакт и Ксенофонт, беглец афонский. Уже смастерил Устин подобие креслица, обшитое войлоком, на манер козули, как носят каменщики кирпичи на стройку; уже наташил Филофей сухого можжевельового хворосту охапок тридцать в хлебню, откуда час спустя по уходе должно было возникнуть пламя; уже назначена была ночь ухода, как вдруг наступило непредвиденное обстоятельство; заболел Евсевий, и болезнь его была смешная — насморк.

Тогда, осознав в нем еще живого человека, братия спохватилась и несколько раз выносила Евсевия на воздух; так и мещане проветривают время от времени содер-

жимое глубоких укладок. Прикрытый кисейкой от комаров, святой недвижно, как чурбак, лежал на соломенном тюфячке, маленький и уже подсушенный знойкими веттерками смерти. На четвертые сутки, когда освоились со светом его ослабевшие глаза, его перенесли по собственной просьбе ближе к берегу и подсунули под спину мешок с мякиной, чтоб святой мог сидеть и видеть... Должно быть, многое переменялось за те десятки лет, которые пролежал Евсей в своей прижизненной могиле. Цветистые зеленые пятна сумбурно распускались впереди, а в них качались алые шары, и он обиженно покачал головой, когда ему сказали, что это шиповный куст, сплошь облитый цветами. Нет, видно, его обманывали!.. Сюда, где раньше сладостно тешила слух тишина, врывалось теперь перебойное гуденье локобиля, а там, где ускользящая Соть мощно взбегала в небо, простиралось серое первозданное месиво; да и то немногое, что еще доступно было глазу, застилало старческой слезой. Он огорченно отвернулся к братии и, с трудом разглядев их озабоченные лица, понял, что от него, пока не утерял дара речи, ждут они последнего поученья.

Он заволновался, заискал в памяти, но его душевную пустыню не посетили никогда ни истинная страсть, ни путаные муки преступления. Самый мир был ему не сложнее детской картинки, нарисованной цветным карандашом... Зажмурясь, он с усилием припомнил какой-то пожар, свидетелей которого уже не оставалось в живых; потом вспомнил старца, бывшего до него приманкой богомольцам, — своевольного и умного старика, к которому он питал благоговейную зависть; еще не забыл он пухлую одну барыню, целый час терзавшую его исповедью в грехах, в сравнении с которыми померкали и багровые цветы Содомы... она шипуче наваливалась на молчальника прелой грудью, полною мерзости, и самая исповедь ее была блудом. Страшась, что братия разуверится в нем и кинет его, беспомощного, на скитском берегу, он решился на свое последнее униженье.

— На восток взирайте, — полуслышно прошелестел Евсей слова, украденные от помянутого предшественника.

— Отродясь взирали на восток! — дружно отвечала братия.



Евсевий помолчал и вот начал мелко и часто читать, и все стали переглядываться, не зная, имеет ли и это свое место в поученье.

— Хорошим людям не завидуйте, а придите и поучитесь от ихнего быту... — Он почти задохнулся от длинной фразы. — Огня бойтесь, баб бежите...

Смущенной братии показалось, что пастырь шутит над ними; престарелым овцам его нечего было опасаться женского соблазна. Стоя на пороге иного бытия, он лишь приоткрывал им дверь, у которой все они толпились; старик и сам понял это. С минуту он ревнивым взором ощупывал братию, и когда заметил подавленную усмешку Филофея, грозное и тщетное негодование овладело им: еще шалил в нем удивительный огонек жизни.

— Блудник, блудник... — застонал он, прерывая крик чиханьем. — Где, где у тебя лик? У тебя на шее лик, сполз, сполз... Лови его теперь, лови!

Так ничтожный жучок перегрызает уцелевшие волокна дерева... По наущенью опытного Вассиана Кир давал больному плесневелый хлеб, в надежде, что вместе со рвотой изойдет из него и хворь. Евсевий плакал, но ел, и уже по тому, как он жевал, с усилием подтягивая челюсть, видно было, что ночь его близка. Лежа в постоянном и мокром знобе, как в воде, старец капризничал, чудил и как будто даже пахнул меньше. Вдруг по неизъяснимой прихоти он позвал к себе любимца своего Виссариона; он призывал его настойчиво, три дня сряду, и тут-то порешился Вассиан сделать тайную вылазку на противный берег.

А очутясь в Макарихе, надоумился казначей навестить кстати и Лукинича, который в прежние времена никогда не отказывал в совете. В доме было тихо, но из закрытой каморки доносились воркотня и тоненький всхлип. «Видно, мальчишка животом мается. Эх, просвирочку бы захватить!» — подумал Вассиан и тихонько заглянул в щелку двери. Председатель вплотную и с занесенной рукой стоял перед отцом, а тот сидел в шайке, держась руками за темя и скосив глаза на пудовые Вассиановы сапоги, предательски торчавшие из-под двери. Не мешая сыну учить отца, Вассиан неслышно присел на лавку и сидел долго, пока не начало клонить в дремоту;

тут и вышел Лукинич почему-то с деревянным уполовничком в руках.

— Вам чего, гражданин? — зловеще спросил он, и в левом глазу его, ближнем к окну, родился ястребиный блеск.

— Из жизни, браток, выселяют! — всхлипнул казначей, делая вид, будто ничего и не видел. — Песочек, браток, из-под берега берут, в пучину осыпаемся... аль на святой-то земле крепче капищам стоять? — Ему показалось, что неуместно начал жаловаться: следовало сперва пошутить, а когда разойдется машина, тогда и действовать. — Избица-т новая хорошая! Клопа-то не завел еще? Хошь, браток, я тебе притащу парочку в бумажке, на разведение, а? — Он потыкал пальцем в черепок с бальзаминном, опухшим, как в водянке. — Полей, браток, травка водицу любит!

Лукинич все глядел на казначея, а слушал только всхлипы из каморки и вдруг заговорил. Мимоходом помянув про старинных праведников, бравшихся при случае и за меч, он указал, что скиту уже составлен приговор, и единое спасенье в том, чтоб пристращать кого следует несвоевременным огоньком. «Смолевата тесина от недоброго взгляда возгорается». В этом выразилась вся степень его душевного переполоха; вряд ли он надеялся вызвать скитчан на дуэль, а потом открытием заговора починить свою репутацию; уже и теперь доносом на неблагополучную деятельность Виссариона он мог бы наверстать упущенное. Лицо его потемнело, усы распушились, когда утверждал, что в ночах солнца нет.

— ...в ношах луна светит! — несмело возразил казначей и тут же прыснул в горстку старческим смехом: явно, председатель шутил над дураком, а шутит, — значит, выход есть и из горящего дома. — Греховодник, а греховодник... ты б его в башку не бил, старика-то своего! Старикам в голову вредно... — Одерзев, он даже предложил дарма подшить валенцы, торчавшие дырами из печурки.

— Ага, ты мне взятку хочешь дать? — значительно произнес председатель, приподымаясь и раскрывая страшный глаз на казначея. — Так ты хочешь подкупить меня?..

Может быть, он и теперь еще шутил, но Вассиана из избы точно ветром выдуло.

Был вечер; задрав хвосты султанами, мчался скот от оводов, и Вассиан сразу попал в пыльную гущу движения. Едва уклонившись от осатанелых коней, он метнулся в коровью половину стада, и тотчас одна, черная и со стеблиной болотного острца в зубах, наскочила на него сбоку. Лежа комочком на земле, он закрывал голову руками, а та стояла как бы в раздумье, стоит ли пороть рогом этот отяжелевший старческий зад. Так он пролежал бы и неделю, если бы кто-то не вывел его из опасности. Только на крыльце Пронькина дома, где на хлебах обитал Виссарион, он признал свою спасительницу, еще недавнюю гостью скита; она шутливо спрашивала, не ушибся ли казначей при паденье.

— Маточка, я животом ударился, а в нем костей нету. Уж очень я, маточка, коров боюсь; гусей тоже, а пуще коров. — Он сокрушенно просунул палец в дырку своей ряски, продранной при паденье. — Тут, маточка, бегун наш где-то обитает!

— Я тоже к нему, — сказала Сузанна, имея в виду Виссариона.

Плечи казначея так и вспорхнули:

— ...тоже к нему? Ой, вот удача! Боязно мне его видеть, лютой правды на скажу, а как встренетесь, шепните ему, маточка, чтоб скиток-то навестил. Смеркается наш Евсевий, гаснет, со смертью трудится... и все по нем тоскует. А коли страшится, как бы со службы не уволили, так ночью бы... ночью, когда все начальнички спят. Я бы в лодочке подождал под бережком, да и свез бы на часок. Попроси его, маточка, корить да задерживать не станем: какой он монах, только шкуру спасал... а тебя заране спаси бог, маточка! — и побежал, ликуя благополучному окончанию вылазки в мир.

Сузанна поднялась на крыльцо и, потянув за веревку, вошла в дверь. Полутемные сенцы загромождал плотничий верстак с недоструганной, свисавшей к полу тесиной; дальше, в зеленоватом полумраке двери, выводившей на двор, умывался из глиняного рукомойничка высокий парень. Он вопросительно повернулся к гостье, и вода текла впустую из его сомкнутой пригоршни.

— Кого? — спросил он наконец.

— Вас, — сказала Сузанна.

Он перестал умываться и с сомнением покачал головой.

— Наверно, Проньку ищите, нас всегда мешают, мы похожи, только я хромой. — Он снова нагнул ручкомойник. — Прокофий в ячейку пошел. Из ворот выйдете — налево, а там увидите савинское окно, голубенькое. — Плеща и фыркая от ледяной воды, он продолжал умываться, а Сузанна не уходила. — Проводить, что ли?

— Мне вас надо, — повторила она, трогая стружки на вестраке.

Она пропустила его вперед, и опять он шел затылком назад, сам не замечая сходства с одной незабываемой встречей. Войдя, он вытерся докрасна полотенцем и стал готовить себе еду: накрошил в квас луку и хлеба, а другой ломоть густо посыпал солью.

— Я еще не ел с утра. Хотите со мной? — Она отказалась, он искусственно засмеялся. — Пока все очень таинственно. Хотите, предскажу все наперед? Вы, наверно, как и Пронька, в газетах пописываете. Кроме того, вы меня видели однажды в этом дурацком черном балахоне, и теперь вам любопытно, как это монах, служивший не один год некоей высокой тайне, мог так легко сбежать на другой берег... на другой берег жизни! — поправился он, добавляя соли на ломоть. — Только смотрите, на мне не заработаете: Пронька раза два уже писал про меня в газету. Но я могу объяснить и в третий раз: видите, в этой тайне вот уже тысячу лет ничего не скрывается. Это и есть не более, как опиум для...

Сузанна усмехнулась; развязная грубость речи его плохо вязалась с тонкими, еле огрубелыми руками.

— Вы ошиблись, — прервала она.

— Кто это, я? — Он ел с аппетитом, и висок, которого целиком не заслоняла прядь, порозовел. — Да вы только Евсевия этого возьмите: пройдоха, каких мало!

— Слушайте, Виссарион, я пришла не за тем... — Кажется, ей надоел этот благонамеренный разговор. — Знаете, вы сильно постарели с тех пор...

Он отложил ложку и щурко посмотрел на гостью; потом как ни в чем не бывало полез в печь за кашей.

— Вздор, я вижу вас впервые.

— Я думала, что вы сохраните обо мне более глубокое впечатление. — Она кивнула на его хроющую ногу. — Я попала в вас все-таки... я вовсе не хотела уродовать вас.

В замешательстве он уронил заслонку и вдруг вспомнил и непостижимый вихрь той ночи, и этот чуть косящий глазок.

— У меня после войны вообще стала плохая память на лица, а стреляли в меня много раз...

— Надеюсь, по другим причинам?

Надо было сдаваться.

— Не смейтесь, — сказал он тихо, забыв про кашу. — Я ликовал тогда, как мальчик, которому подарили целый мир. Нет, не то... как тот дикарь, которому удалось похитить сердце девушки!

— Это не совсем похоже, про дикаря и девушку... но пускай будет так. О нас лет через сто наврут еще и не такое! Налейте мне квасу, хочу пить!.. — Напрасно она ждала, что он расплещет, наливая в глиняную кружку. — Спасибо. Теперь рассказывайте, как вы жили потом.

Ему уже некуда стало прятаться.

— Вы интересуетесь для себя? — защищался он как умел.

— Было бы невероятно, чтоб вы хотели обидеть меня... именно теперь. Я слушаю, мне интересно.

— ...сперва все бежал, потому что по мне ходили чужие ноги, и мне было больно, потом скрывался и плакал, как Иеремия у стены...

— Я плохо знаю Библию и не помню, по какому поводу изнурял себя старик.

— Он плакал, когда разрушили стены... может быть, он предвидел будущее рассеяние своего народа, не знаю. Народы всегда начинают с песен, а кончают слезами. Потом я сидел в этом мешке, рядом с Евсевием. Потом был десятником... теперь меня хотят сделать завклубом. Мясо готово, и мне не важно, какое блюдо из меня сделают.

— Вы трижды приходили к отцу, — быстро встала Сузанна, сгибая упругую сталь ножа.

— Я подчинен ему в работе, — так же поспешно объяснил Виссарион.

Она продолжала перечислять:

— ...вы приходили вечером, чтоб никто не видел. Вы живете у Милованова и бываете у Красильникова. Вы ездили в Шоноху, где сплошь живут староверы и кулаки... — Она заметила, как покривились его губы. — Что, вам не нравится газетное слово?

Он заговорил едко, в тон Сузанне:

— Да, я хочу взрывать мосты и демонически хохотать над революцией. Я хочу... — Он вспылал и повысил голос: — К черту... я заполнял сотню анкет, я рядовой служащий Сотьстроая. Не мешайте мне жрать мой хлеб. Я устал и хочу спать...

— Не кричите, поручик!

— Мне кажется, — жестко сказал он, косясь на дверь, в которую поминутно мог вернуться Пронька, — мне кажется, вы спасли меня тогда не затем, чтоб предать меня теперь... когда я переродился! — Он вспотел, ему трудно далось это фальшивое слово. — Что вы хотите от меня?

— Прежде всего оставьте отца. Его и без того не любят на строительстве.

— Вы угрожаете, а я не боюсь. Если б боялся, я бы нашел способ убрать вас...

— Разумеется, если бы о вас не знал еще один человек на строительстве! — решительно солгала она.

— ...Увадьев? Говорят, вы живете с ним. Что же, каждый пристраивается как умеет!

Она встала, и было похоже, что раскаивается в своем приходе.

— Странно, как всегда привязываешься к вещам, которые удастся спасти. Имейте в виду, что ваш председатель приходил к Увадьеву говорить о вас... вам лучше всего добровольно убраться с Соти, — и потянулась за шляпой.

Она уходила как бы нехотя, а он не останавливал ее; у двери она сказала:

— Кстати, я совсем забыла: на крыльце я встретила монаха... ну, лысый такой! Он очень просил вас приехать туда... там умирает этот старик, старец. По-видимому, ищет заместителя себе.

— Евсевий... значит, он не умер еще?.. — В его лице читалось недоверие, — ...слушайте, вы не то хотели мне сказать!

Она вздрогнула и распахнула дверь.

— Как быстро стареет наше поколение. У вас стали редкие волосы, поручик, вы скоро облысеете.

В окно ему было видно, как она торопливо пересекла улицу и стала подниматься на пригорок, с которого уже становились видны огни строительства. Он утомленно закрыл глаза, а когда открыл их, она все еще стояла на бугре, а вместе с нею Пронька; они разговаривали, и, судя по взглядам, речь шла о нем, о Пронькином нахлебнике. Виссарион раскрыл окно, но лишь расплывчатые тени звуков отражались в тишине. Следовало бежать немедленно, прятаться, выдумывать новую маску, но само тело противилось этому: телу было приятнее сидеть здесь, у окна, пить густой мужицкий квас, сплевывая пахучие стебли мятной травы. Он сидел и все поглаживал висок, куда вселилась взрывчатая какая-то боль. Деревней прошли местные комсомольцы, таща что-то огромное, укутанное в рогожу; из щели выбивалась паклевая борода. Назавтра, в Троицын день, во время обычного Крестного хода из скита в часовенку, готовили они свою контрдемонстрацию. Не в пример прежним мочливым годам, установилась сушь; хлеба и льны никли под суховейными ветерками; бабы трех деревень замыслили водосвятный молебен о даровании дождя. Все иссохло до скелетного подобия; грудь опалялась, вдыхая раскаленный огневоздух; вода горела бы, если б ее поджечь; камень не булькал, падая в колодец; в избах не зажигали огня из боязни пожара, и все-таки по деревням уже пошли за милостыней погорельцы...

Пронька приближался; еще было время бежать и поспеть к ночному поезду, если б удалось нанять подводу. Вместо этого Виссарион налил новую кружку кваса и пил, но губы его оставались сухими. В квасной черноте отражался чужой, неузнаваемый глаз, и, с жестоким любопытством смотря в него, Виссарион бегло вспомнил обстоятельства, при которых он так прочно вселился в Пронькины дом и дружбу. Миловановы всегда слыли безбожниками; в пору своих временных бегств тут жила Геласий, и даже самого Филофея Пронька принял бы с одинаковым радушьем, вздумай тот преступить разделявшие их века. В ячейке косились на такую душевную

щедрость, но в пререкания не вступали, так как в застойный досотьстроевский период вся работа в волости держалась только на нем; Виссариона же, в довершение всего, к нему привел сам Увадьев, прося приютить у себя до окончания рабочего поселка, — с того и прижился.

В недолгое время Виссариону удалось завоевать почти преклонение Проньки; его оружием были те знания, которые не успел растерять в послевоенных скитаниях. Вечерами шумно вваливался Савин, забредал с горя Куземкин, Лышев Петр и те из молодежи, кого пресытили каждодневные танцульки; иногда появлялся Геласий и присмирело сидел у двери. В несколько вечеров Виссарион попытался передать им величественную историю пути, которую проделал человек от ледниковой колыбели. Лектор увлекался сам, ему нравилось бросать свои камни и наблюдать, как разбегаются первые, еще нечеткие круги по нешелохнутым людским глазам. Мужики внимали с суровыми, готовыми лопнуть от напряженья лицами, а Пронька еще больше благоговел перед тем всемогущим человеком будущего, которому стыдился показать свои черные руки и предком которого чувствовал себя. Присутствуй тут Фаворов, он сказал бы, однако, что Виссарион нарочно компрометирует науку; в вечер, например, когда добрались до тригонометрического, почти из магии похищенного треугольника, с помощью которого были расставлены верстовые столбы по вселенной, Виссарион говорил о страшной сумятице и лжи, в которые уходит человек от какой-то единой и первоначальной истины. Верно и то, что, дойдя до «рек вавилонских» и до «кровавых слез Иеремии», он не мог вести себя иначе.

Везде рассовывая зерна, вызревшие в годы изгнания под манатъей монаха, он с восхищением и ужасом ждал ростков. В разрыхленную революцией сотинскую почву всякое можно было сеять, но уж не всякое дало бы небывалый урожай. Он все еще надеялся на что-то, но надежды его видоизменялись подобно облаку, которое формируют грозные ветры. Россия виделась ему уже не прежней, могучей и сытой молодкой в архаическом шлеме, как ее рисовали на царских кредитках; теперь она представлялась по-другому: будто в крошечной провинциальной глуши сидят мертвые земские начальники и играют в



винт. Их тоже не особенно обольщает зевотный стиль третьего Александра, и оттого так приятно помечтать о звездах, которые загорятся через триста лет — срок, вполне безопасный для их мышиноного благополучия! Он не хотел назад, к мертвым, и вместе с тем его пугала ненастная весна, происходившая в стране. Был момент, когда в поисках нового позвоночника, который удержал бы его от окончательного падения, он готов был принять на себя эту почетную и тернистую обязанность: жить. Но в первом же разговоре Увадьев охладил его штурмовой упрощенностью своих воззрений: предку полагается иметь суровую и внушительную осанку. Ночами, пока Прокофий храпел, распятый на полатах тяжким мужицким забытьем, он слушал мерный скрежет чужого сна и думал о многих роковых различьях. Однажды Виссариону показалось, что духовному преображению его мешает культура, этот скорбный опыт мира; из-за нее одной он никак не мог заразиться наивной дерзостью молодых. Из этой никогда не утоленной зависти возникла и расцвела его нетерпимая идея. В игре стал намечаться исход: мертвые тащили к себе недостающего партнера.

Для выполнения плана ему потребовалось стать мужиком, и тут начиналась интеллигентская трагикомедия опрощения; чудак, он радовался, привыкая к изжоге и клопу. Гомункул из душевного подвала уже враждебно поглядывал в верхний этаж, где еще продолжал владычить разум. Виссариону нравилось стравливать их, как собак, и наблюдать летящие в драке клочья; нижний одолевал, а верхний оскорбленно безмолвствовал. Тогда Виссарион усилил процесс и катализатором избрал любовь; она не догадывалась ни о чем, Катя, Пронькина сестра. Она легко пошла на уловку молодого и выделявшегося из деревенских женихов постояльца; ведь он не заставлял жертвовать главным для крестьянской девушки сокровищем. Матовым румянцем, изгибом великолепной шеи, ленивой полнотой груди, способной выкормить хоть дюжину сорванцов, она прельщала походя, а Виссариону нужны были как раз другие качества, определявшие социальный и биологический портрет девушки: ее аммиачный запах, смешанный с ароматом вспотевшей плоти, ее хваткие, знающие сотню деревенских ремесл руки, ее неизощрен-

ное ощущение бытия, позволявшее видеть только крупное в мире. Получался сложный мозговой заворот, и нижний жилец торжествовал. Этот сводник устраивал им удивительные свидания при луне и без таковой. Он заставил Виссариона купить в шонохском кооперативе дешевые духи для девушки, оставлявшие бурые пятна как на платье, так и на душе; возможно, нижний с отчаянием искал надежного кустика, могущего затормозить паденье...

Стукнул крик, и Пронька вошел; лицо его было озороватое, знающее. Присев на лавку, он тоже пил квас и время от времени подмигивал Виссариону, а тот все ждал: он ясно представлял себе, как может мстить мужик за обманутое гостеприимство.

— Ну, брат, — сказал Прокофий, отодвигая кружку, — видно, и впрямь: как бедному жениться, так и ночь мала. Придется тебе завтра помаяться...

— Где ты пятен-то насажал? — в меру спокойно перебил его Виссарион, имея в виду измазанную краской рубаху хозяина.

— ...ребята просили, чтоб я тебя уломал... выступить завтра перед народом, после молебна-то, а? — И он расписывал, какой отклик будет иметь у баб выступление вчерашнего скитчанина. — Пятна — это мы хоругви на завтра расписывали.

Виссарион молчал; еще не ликование, а как бы душевная одышка захватила его: Сузанна щадила его вторично... или она поверила в его перерождение? Холодки сомнений побежали по спине... все казалось, что сейчас войдет поселковая милиция и станет обвязывать его веревкой крестнакрест, как покупку вяжут приказчики. По улице проехала заводская таратайка; держа кепку на коленях, в ней сидел Бурого и внимательно смотрел на колесо. Его большая, качавшаяся на плечах голова почему-то успокоила Виссариона; если бы что-нибудь произошло, инженер непременно взглянул бы в миловановское окно... С тем большей легкостью он отказал Проньке в его просьбе, и тот целый вечер носил на лице огорченье, за ужином бранился с сестрой, да и во сне-то все кряхтел озабоченно; назначенный на завтра бой впервые давался сотинской старине.

Виссарион задремал много позже и видел какого-то дятла у вонючей Феофилактовой канавы; дятел был

до чрезвычайности похож на батарейного командира. Потом появлялся и сам командир с его любимой поговоркой: «Люблю прозябать, все какая-то надежоночка есть!» — но каждый раз, даже раздвоясь, все оставался дятел на сучке; Виссариона пробудило осторожное прикосновение к ноге. Он вскочил, и спросонья ему представилось, что милиция уже пришла.

— Она врет, врет... — бормотал он, отползая в угол.

Пронька внимательно глядел на него при свете спички, а лицо его было веселое и извиняющееся:

— Слушай, вот толчок мозгам!.. Одиннадцать гармоний мы насбирали, баян в том числе. Да еще Зудин из Шуши двухрядку притащил, а игрока нету... может, сыграешь, на двенадцатой, а? Мы бы завтра отслужили им коллективную литию, а?

Отвалившись к стенке, Виссарион беззвучно хохотал над этим сконфуженным предком завтрашнего племени; в смехе его и заключалась разрядка всех опасений, скопившихся за день. Спичка потухла нехотя...

## V

Пастух проспал; в пятом часу, выпуская коня в стадо, Катя невольно задержалась на улице. День начинался тонко и розово, как девичий сон, нарисованный к тому ж на прянике. Среди лепесткового цвета облаков начиналось полудремотное волненье. Час спустя налетела с запада заблудившаяся бурька, но проливень не состоялся, и — еще не оттремели ее раскаты — в скиту забили к утрене. Тотчас же заметное движение наступило на реке. В лодках, пестротно разряженных березкой, цветными шаями и просто вышитыми полотенцами, волость изовсюду поплыла к скиту. Слышен был лишь плеск коротких весел да отточенный насекомый гуд; если бы не беспокойный стук соьстроеновской силовой, праздник не отличался бы от прежних.

Встречаясь, сталкиваясь кормой, мужики сурово кланялись, и никто не засорял обычной руганью целомудренной тишины утра:

— Мир доро́гой!

— Спа́сену быть...

Служил Ксенофонт, ведя службу по старому афонскому уставу, и уже с половины обедни, ошалев от духоты, богомольцы стали выходить наружу. Праздник не удался; на клиросе вместо молодых пели старики, и дребезжащие их голоса раздирали благоговейные уши прихожан. Кстати, посреди службы с Азой случился обморок, и, пока выносили этот незрячий, жалобный мешок, кто-то уронил в суматохе большой деревянный подсвечник, полный горящего воску. Сотинцы беспорядочно хлынули вон, а когда потушили, большинство до самого начала Крестного хода оставались на дворе.

Ударяемое железным шкворнем **било** кричало над рекой, когда процессия двинулась вниз, на берег. Впереди вприпрыжку поспешали девицы, которые на выданье, разодетые в последние достатки, в коротких платьях и с букетами, а за ними, шепчась и подрагивая, развалисто спускались парни; из петлиц у каждого торчала тоже цветная травка. Кое-кто из них успел раздобыться вином, и оттого, что от века крупность праздника на Соти измерялась количеством зарезанных, следовало ждать случайностей на исходе суток... На некотором расстоянии от них гуськом подвигался самый Крестный ход. Кругленькая, плотненькая тетя Фиша из Ильюшенска дико и торжественно несла в вытянутых руках знаменитый крест из рыбьих зубов; выловленный какими-то поморами со дна моря, он почитался очень действенным средством против засухи. Вбитые в темное, окостеневшее от употребления дерево, зубы затейно блестели, и, глядя на них, все простоудушно забывали шинкарье Фишино ремесло. Следом шествовал припомаженный Гарася Селивакин, заметно оконфуженный: нести ему доверили икону **вспоможение во родах**, написанную дотошным живописцем во многих и обстоятельных подробностях. Затем четверо — и Красильников с Мокроносовым, столпы сотинской знати, потные и красные, шли в первой паре — несли на дощатом щите огромное изображение Николы, рубленное искусным топором и тем уже одним примечательное, что в старые годы нарочно приезжал обследовать его какой-то известный академик. Саженная статуя, сплошь увешанная лентами и крестиками, которые звенели подобно бубенчикам, опасно колыхалась над головами, и, когда процессия достигла

спуска, задняя пара присела на согнутых коленях, чтоб не опрокинуть Николу в Соть. Шествие заключали всякие второстепенные святыни местного и доброхотного происхождения — хоругви, овалыные образа и та церковная утварь, какая потребна при водосвятном обряде. Толпа нестройно урчала молитву.

Первые карбаса́, нагруженные почетной старческой чернотой, отошли от берега в тот самый миг, когда Егор Мокроносов объявился на бугре со своей медной хоругвью. Увадьеву, который из фаворовского бинокля наблюдал за происшествием с другого берега, Егор понравился с первого взгляда; носный ремень врезался ему в плечо, но тот не чувял, и только из-под темных бровей умно и насмешливо посверкивали цыганские глаза. В сущности, ко всему в жизни он относился с одинаковым лукавством, и в его согласии на роль хоругвеносца выразилась лишь старомужицкая потребность в древнем благочинии. Остановясь на бугре, чтобы пропустить мимо шумливую бабью стайку, он поглядел вверх по реке и нахмурился; Увадьев немедленно перевел бинокль, ища предмета, который мог омрачить великана.

Там река изгибалась, и глазу мешали выросшие на сгибе ветлы; Увадьев увидел позже, чем слышал. В той части реки, которую еще не загромождали массы сплавного леса, спускался несслыханный плот. Впереди, на двух прогибавшихся под тяжестью тесинах, сидели гармонисты, шестеро, и лихо наяривали какую-то мучительно знакомую песню: под нее пляшут на свадьбах и озоруют рекруты. Их было немного на плоту, не более пятнадцати, но песня задирала, сцарапывала напрочь тяжелую позолоту празднества, и вот уже внимание мужиков было расколото пополам. Процессия дрогнула и на мгновение остановилась; потом кто-то надсадно выругался позади, хоругви послали злой и дробный блеск, и хотя без прежней степенности, но шествие продолжалось. Торопясь взглянуть на комсомольскую затею, задние напирали, и вдруг тетя Фиша ухнула с крестом под осыпь, ошалело вереща и раскидывая пустые руки...

Имея в намерении пересечь реку раньше плота, Мокроносов сам сел на весла; пятеро хилых, как на подбор,

мужичков еле удерживали наклонившуюся против хода хоруговь. Весло его ложилось порывисто и упруго, карбас скрипел, и уже возможно стало различить лица гармонистов. Поравнявшись с плотом, карбас скоса ткнулся в бревно и остановился. Тотчас с плота закричали:

— Эй, Егор, святу быть!

— Горьк, перелезай к нам, у нас ассортимент богаче...

— Друг, мотри, черви напоззут!..

Не мигая, Егор глядел на врагов, как бы вымеряя их внутреннюю, спрятанную за баловством силу; подручные мужики робело ждали его решений.

— А ну, освободи дорогу, молодцы, — тихо сказал Мокроносов гармонистам, трогая затекшим плечом. — Опоздаем мы.

Плот медленно относил по течению, вместе с карбасом Мокроносова, — и вдруг из-за гармонистов появился Пронька, тот самый, с которым Егор когда-то сколачивал первую в округе советскую ячейку. Пронька глядел строго, точно шел на приступ, и, кроме своей обычной ливенки, держал в руке ту одинокую двухрядку, про которую говорил Виссариону; по ее распутившимся мехам бежала суматошная ситцевая цветуха.

— Егор, — просительно сказал Пронька, — под хорошую гармонь человека настоящего нету. Скучаем без тебя... ты глянь, какая!

Егор молча взял ее в руки и нехотя, с досадой вскинул длинные пальцы на лады; он был лучший в волости гармонист, и дома у него висел на стене диплом с одного красноармейского конкурса. В лице у него отразились борьба и ожесточение; мельком он поднял глаза на огромное, чудовищное подобие Николы, поставленное на жерди и одетое в пестрядинную рвань, взглянул на его буйную кудельную седину, стойвшую немало трудов и клею изобретателям, и усмехнулся этому фанерному родичу того мохнатого Ярилы, который населял великую низменность в доцарские, дорабские времена. И опять он дернул плечом и, вырвав из гармонии короткий вскрик, недоверчиво качнул головою.

— Врет она у тебя на один ладок, Прокофий.

Тот не захотел понять скрытой значительности намека:

— Это, друг, у нее игра такая... из души звук, а ты не слышишь. Ты попробуй только, рук не оторвешь! — и протягивал руку, чтоб переташить к себе на плот.

С берегов глазела толпа на Егорово бегство, и кто-то межами догонял старика Мокроносова с ядовитой и скандальной вестью. Плот тем временем пристал в затон, и молодежь кружной тропкой кинулась на луг, норовя опередить богомольцев; фанерный Ярила тузил тряпичными кулаками веснушчатого парня, который взвалил его себе на спину. Они пришли задолго до начала водосвятия. Обширный заливной луг, круто ломаясь, переходил в поле. Обосновавшись здесь, ребята тревожно ждали пенья сверху или дуновенья ладана. Пронька дважды поднимался на межу, избегая оставаться с глазу на глаз с Мокроносовым: никто еще не был уверен, что мужики не встретят кольями их дерзостного почина. Крестный ход приблизился; о. Ровоамов, бродячий — после закрытия храма на Лопском Погосте — попик истово приступал к моленью. Обвеваемый густым ладанным чадом, увешанный тяжелыми полотенцами, под которыми мыслимо вспотеть и дереву, Никола высился посреди узкой крестьянской полосы, где почти до корня выгорел на солнце колос. Людская гуща расположилась полукругом, и Проньке показалось, что кто-то заранее встал на колени; он ошибся: то был Василий Красильников. Бабы хором заголосили молитву, и в тот же миг веселый рев гармоний вознесся над Сотью. Отец Ровоамов сжался, ибо имел уже печальный опыт в прошлом, и заметался взглядом по сторонам.

— Скрипи, скрипи, батя. То бесы под горой котуют, — степенно молвил Мокроносов, последний блюститель умиравшей веры на Соти.

Тяжко переступая тяжеловесными сапогами, он косился сбоку на о. Ровоамова; носик у попа был красноват, попик выпивал с горя... Стороны не видели друг друга, в обеих было заметно смущение, но вот бабы, точно озлобясь, высоко подняли голоса, и гармонный плеск потонул в мощном вое людей, жаждавших дождя на пониклые свои нивы. Пронька хмурился, пальцы его уже не резвились по-прежнему, кто-то малодушно предло-

жил идти купаться в Балунь; тогда-то, во внезапной тишине, и ударил Мокроносов Егор свои прославленные переливы. От него одного зависел теперь исход дела: сосредоточенно уставясь в иссушенную головку курослепа, он всего себя влил в остекленевшие пальцы, и вдруг три пары девичьих глаз проглянули сверху, сквозь редкие колосья. Это и был перелом; сперва жеманно и парами, а потом стайками прыгивая с бугра, молодежь перебежала слушать Мокроносова.

Прохлада сменилась зноем. Природа зыбко струилась вверх и, может быть, уплыла бы, если б не держалась крепко на корневых своих якорях. Проходили облачка, и, едва попадали в заклятую точку зенита, тотчас же сжирал их зной. Деревья вытянулись в струнку; напрасно искала в них прохлады неуклюжая птичья молодежь. Земля отдавала последнюю влагу. Суглинок растрескался и затвердел. Стоя на коленях среди прочих стариков, Лука вдумчиво мял его в ладони, дул украдкой, и глина легковейным дымком стлалась по полосе; до бешенства ярила ноздри раскаленная эта пыль. Косоротый масленщик, приставленный держать рыбий крест, рассеянно отколу-пывал ногтем щепочку от него и все глядел на жесткую глиняную корку, в трещины которой свободно проходил палец. И опять, погружая разогретый крест в воду, заматался в тоске попик.

— Невозможно... — вздохнул он беззвучно, поправляя взмокшую камиллавку. — Гарь идет!

— Скрипи, батя, скрипи... то за Нерчьмой лес полыхает! — огненно и твердо лязгнул старший Мокроносов.

И он скрипел, а младший Мокроносов под бугром побивал его знаменитыми своими трелями, и в памяти о. Ровоамова представляли давние семинарские вечера, где тоже пицала музыка и неуклюже порхали потные небритые семинары. Непотребная дрожь сочилась ему в суставы и тянула в пляс: так скачет порой на пойме вислобрюхая крестьянская кляча, подражая самой себе в юности. Он все торопливей вел к концу, чтоб поскорей стянуть с себя хрусткую, как брезент, ризу, а позади оставались лишь бороносоцы да монахи, и даже Василий заковылял к рубежу, чтоб взглянуть на чужое искусительное веселье.



Там уже наваливали костер и тащили банный котел для установленной совместной яичницы; Ярила встряхивал пустотелыми рукавами, повинуюсь спрятанной веревочке, а гармонисты самозабвенно исполняли общественную повинность. Инвалид шагнул ближе и тут понял, что начинается игра в поросенка, самая увеселительная часть триоцкого праздника... Посреди широкого хоровода, вереща и вертя висюлькой хвоста, суетился купленный в складчину боровак; розовый и нежный, вымытый до щетинки, он озабоченно высматривал пути к бегству, и в том состояла забава, чтоб поймать его, когда он несется в намеченную щель. В возне и суматохе составлялись зачастую пары для будущих свадеб; Василий уже спустился бочком шага на два, чтоб незаметно вступить в игру, но представил, как его непременно уронят в толкотне, а он упадет на поросенка и задушит... Нет, не тут следовало ему искать утешения!

Игра разгорелась, все новые появлялись люди на лугу. Чуть не запнувшись о поросенка, Пронька помахал рукой Увадьеву, приглашая если не в игру, то хоть на коллективную яичницу. Вышел со своей лошадкой Фаддей Акишин добывать себе собеседничка, пришел Фаворов вместе с иностранным инженером, который снимал по дороге все, что только было ему внове. Все приводило его в восторг, все годилось его фотоаппарату: и деревянное божество, которое уже лежа и чуть не под «Дубинушку» грузили на карбас, и этот таинственный комсомол в вышитых рубахах на фоне российской глухомани, и даже поросенок, необыкновенным голосом верещавший под мышкой у Проньки. Игра кончилась, через полчаса предстояло открытие клуба в деревне и шефская речь Потемкина.

Окружив иностранца, девицы смешливо глядели на его туристские штаны и красные башмаки, а одна даже спросила жеманным шепотком, почему берет за снимок. Бритые щеки иностранца глянцевели от удовольствия; уж он рассаживал девиц, как цветы, по траве, но вдруг отскочил и торопливо, точно для того лишь и притащился на игрище, щелкнул аппаратом в противоположную сторону; выбор темы определял внутренние устремления иностранца.

— Ой, Васькины бандюги содют! — закричал мальчишка, увивавшийся возле Мокроносова.

Из-за пригорка дружным табунком выступало Васильево воинство. Безобидные порознь, вместе они составляли боевое, головорезное ядро, которое в волости так и звали черкесами; бывали праздники, когда хозяева вместе с гостями лазили от них на крыши. Шли они все с картузами набекрень и с заранее обдуманном плане, и один, всю свою скверную родословную имевший на лице, даже бурлил себе под нос:

...по приемной Вася котит,  
вся приемная дрожит...

Появление их не предвещало особого веселья, и Прокофий, стыдясь гостей, выбежал было им навстречу, но Василий равнодушно, точно то было неодушевленное бревно, обогнул его и направление держал прямо на иностранца, торопливо перекручивавшего пленку в аппарате.

— Вон того, на рыжих ногах! — указал он Селивакину, неотлучному спутнику всех своих приключений, а тот понятливо зашмыгал носом.

Было непостижимо, когда Василий успел так принарядиться: тугая крахмальная манишка коробилась под его кожаной курткой, а галстучек был в тон лицу, с крапинками, а на отвороте полосато болтался георгиевский крестик. Толпа расступилась, и тогда всем стало ясно, что без скандала не обойдется.

— Сымаете? — галантно изогнулся Василий, а иностранец так же любезно поклонился ему, принимая юродство его в шутку. — Это очень хорошо, что сымаете. Альбом! — Он изогнулся в другую сторону и выставил обрубок вперед. — Чего на крестик смотрите? А вы знаете, за что этот крестик даден? Нет, счастье ваше, не знаете...

— Василий, ты шел бы домой, — сухогато сказал Пронька. — Проспишься и придешь.

— Извиняюсь, я и сам есть большой любитель общестственности! — кротко посмеялся, тот, поправляя крестик, чтоб бантик распушился еще более. — Не мешайте мне беседовать с научным гражданином.

— Голосом тебе говорю, не бузи, Васька! — вторично предупредил Прокофий.

— Мы и сами не дешевле людей, порожнем не ходим... — звеняще огрызнулся Василий и снова, задрав голову, глядел на иностранца. — Извиняюсь, конечно, вот вы жили за границей, скажите, отчего человек заикается?

Фаворов, быстро переглянувшись с Пронькой, торопливо перевел вопрос и последующий ответ инженера.

— Нервоз? Я вот и сам конкретно говорю, что нервоз, а Федя не верит. Мозги у него сырые, до науки не доходят!

Селивакин хохотливо и угодливо сморщил лицо.

— Чему же вы смеетесь? — не вытерпел Фаворов. — У вас в самом деле сырые, этово... мозги.

— Не, — сразу, точно под кнутом, съезжился тот. — Я так, одной штучке смеюсь. Хотим заграничного инженера свешать...

Иностранец продолжал улыбаться, а Фаворову по молодости не хотелось показывать мужикам, будто струсил полудюжины подгулявших парней. Гармони уже не играли, Пронька хмурился: он знал эту повадку Васькиной ватаги, унаследованную от сотинских сплавщиков. Неопытного новичка предлагали взвесить на безмене, и когда тот, опасаясь худшей расправы, влезал для этой цели в мешок, его завязывали там и кидали на длинной веревке в реку — купали, изредка вытягивая наружу, чтоб не закупался до конца; у сплавщиков так карали за кражи безразлично от времени года.

— ...и еще, как шли мы даве, поспорили, сколько в вас имеется весу. Федька сказал, что не боле, как в подтелке, а я подозреваю... — Смех распирал скулы ему, но он не смеялся, в глазах его светилась почти мольба к иностранцу, в согласии которого и заключалось возвышение инвалида. — Как бы дозволили... а мы бы вам и спели потом: у нас все село поючее такое!

Он даже протянул руку, чтоб убедить прикосновеньем, и в тот же миг Прокофий, не выдержав накопленного отвораченья, с силой поддел его кулаком. Удар пришелся куда-то в галстучек, и всем показалось, будто Василий отделился немножко от травы и плавно пересел на другое место. Когда он поднялся, все увидели, что никаких особых повреждений на Ваське нет; только опять лопнул

лакированный ремешок, которым была пристегнута к обрубку круглая деревянная ступня. Девки шарахнулись шустрее пыли из-под копыта, Селивакин и остальные глупо ухмылялись, переступая на месте, а Пронька все глядел, как бы вымеряя взглядом, потребуется ли второй удар. Так протянулось неопределенное время; Василий потерянно гладил рукой низкую, точно сеяную травку луга. Потом он поднял спокойное, очень бледное лицо и покачал головой:

— Буявый малый, Прокофий, крепко бьешь... эва, за пазуху баран влезет! — Одна какая-то жилка страшно суетилась на его лице. — Ты и гневен, Прокофий, да отходчив, а я и добр, да памятлив. И будешь... и будешь ты меня помнить отселе тридцать... — в голос ему ворвался всхлип, — ...тридцать лет, Проня!

Как-то лениво он поднял с травы сорвавшийся крестик и зажал в кулаке; все еще трудно ему было повернуться спиной к обидчикам. Когда боль заместилась стыдом, он развязно достал радужную свою, уже никого не поражающую спичечницу, но папирос в кармашке не оказалось. Тогда, лишь рукой придерживая отстающую деревяшку, он тихо заковылял вдоль берега. Никого не рассмешил его уход, никто не побежал за ним: может быть, он шел топиться, и никто не хотел мешать ему в этом; он шел прямо к заводу, сплошь заросшей тускло-красным гравилатом и трилистником. Здесь он остановился и стоял долго: деревяшка стала подмокать. Желтая бабочка-капустница, спорхнув с высоты, села на кочку; кажется, она хотела пить.

— ...рази мы кого ограбили? — тихо спросил ее Василий, и вдруг с маху хлестнул по ней картузом. Его сгибало, как червя, разрубленного лопатой, пена выступила у него на губах, а в мире уже забыли и его самого, и его несбыточную угрозу.

Сквозь гнетущую тишину суховея сочился из Макарихи колокольный призыв: там начиналась вторая часть торжества. Так совпало — Пронька шел вместе с Увадьевым, и Мокроносову, шагавшему позади них, становилось ясно, что свирепая Пронькина расправа безнаказанно сойдет ему с рук. Как бы учуяв сокровенную его мысль, Увадьев обернулся к нему:

— Присоединяйтесь, товарищ! — Ему давно хотелось познакомиться с Егором.

— Ничего, дороги на всех хватит... — И крепче сжал поросенка, скулившего у него в мешке.

Его придирчивая жажда справедливости должна была удовлетвориться самым началом речи Увадьева, которому пришлось замещать Потемкина.

— ...мне только что довелось быть свидетелем, товарищи, — блеснул он отточенным этим словом, ударив на последнем слоге, — свидетелем дикой расправы, там, на сотинской пойме. Один из членов ячейки избил безногого...

Егор не слушал дальше; по угрюмым лицам мужиков, наваленным туда, в провал, как груда овощей, он понял, что еще до вечера Проньку выкинут из ячейки. Нетерпеливым взглядом он обвел переполненный клуб, кумачные бичи лозунгов, невозмутимого Фаворова, сидевшего с ним в президиуме, и смятенно почувал, что всегда — и когда нес скитскую хоругвь, и когда наблюдал усмирение недобитого героя — сердцем он был вместе с Прокофием, другом.

## VI

Появление Увадьева встретили десятком недружных хлопков со стороны рабочей части собрания и настороженным молчанием мужиков; некоторым из них представлялась расточительством постройка такого нарядного клуба на Соти, и оттого бороды их висели подобно чугунным замкам, из-под которых не выманишь ни слова. Едва помянув про поступок Милованова, Увадьев нахмурился: молодой парень на виду у всех оторвал клочок от плаката, запрещающего курить, и скрутил из него почти разорительную по размерам папироску. Виссарион, по новой должности завклуба, принялся внушать ему что-то, и вдруг парень, не расставаясь с папироской, размашисто направился к выходу. Раздражение против парня придало увадьевскому голосу сухую и пронзительную четкость; сам он стал походить на копер, который множеством повторных ударов вколачивает основную сваю.

Неопытный в вопросах такого рода, он тотчас же уперся в крайность: сказав, что всякая культура способна обслуживать только класс, ее породивший, он неожиданно самому себе сделал вывод, что оттого-то в ней и заложена взрывчатая опасность для класса-победителя. Только почувствовав здесь преждевременный перегиб, он стал осторожно спускаться к основной своей теме — взаимоотношениям с комбинатом.

В зале произошло замешательство; местом в президиуме собрание почтило и сотьстроевское инженерство, и администрацию... но там не было Потемкина, единственного из всех, кто под словом Сотьстрой разумел не только постройку целлюлозного гиганта, но и внутреннее устройство Сотинского района. Зал зашумел, раздались хлопки, и, как всегда бывает с толпою, внезапная буря охватила всех.

— Потемкина!.. — кричали передние, а сзади отзывалось настойчивым эхом: — Даешь Потемкина!

Всем хотелось взглянуть на неуловимого человека, которого не видел никто и в должности которого стояло — мотаться, склеивать, улаживать... быть, наконец, тем бесчувственным катком, на котором дотащили до Соты эту неслыханную машину. Он мог прятаться где-нибудь в самой гуще собрания, его искали, наспех опрашивая приметы, а Лукинич, которому предстояло говорить вслед за Увадьевым, озабоченно и с серым лицом покусывал усы. Тогда, пошептавшись в президиуме, председатель собрания виновато привстал из-за стола.

— Товарищи...

— Потемкина! — Слово распирало зал, слову становилось тесно, и те, которые впервые слышали это имя, поднимались с мест, точно тот уже стоял на подмостках. Они хотели приветствовать его за то, что он, свой, выдвинувшись снизу, не забыл среды, из которой вышел.

— Товарищи, — надрывался председатель, складывая руки дудкой, — держите тишину, дьяволы! Товарищ Потемкин болен и сидит взапертях...

Задние не слышали, им пришлось повторять; это было первое упоминание о болезни Потемкина; оно насторожило всех, и вдруг Потемкин стал всеобщим героем уже по одному тому, что имел секретные причины не

явиться на собственное свое торжество. Пока длилась официальная часть, выступавших по нескольку раз прерывали двусмысленными запросами о сущности потемкинской болезни; когда, в перерыве перед радиоконцертом, Увадьев незаметно выбирался из клуба, намереваясь посмотреть до ночи бумаги из центра, кто-то даже высказался вслух, что болезнь из тех, которыми зачастую болеют провалившиеся на работе деятели.

К работе, однако, не тянуло; еще худшая, чем в клубе, стояла на улице обессиливающая духота. Пальцы накрепко приклеивались ко всему, чего ни касались; карамельки мерзостно размякли и уже не бренчали в коробке. Полянкой, только что раскорчеванной под огород, он спустился в овраг, к обессилевшему ручью, который полуверстой ниже еле вертел колесо красильниковской маслобойки. Сюда не доносились голоса, и, кроме того, здесь еще сохранилась обманчивая вечерняя прохлада. Над круглым бочагом, сплошь увитым хмелем, посвистывала унылая птица; это вызвало в памяти полузабытую детскую забаву: наловив с уличными друзьями головастика и стрекозиных личинок, он устраивал примерные бои и потом непременно уничтожал прожорливого победителя. Толстый плавунец переплывал прозрачный мрак омута, в котором еще теплилось непостижимое, детское очарованье. Увадьеву захотелось подержать жука в ладони, чтобы трезвым взглядом постигнуть привлекательность этого водяного жителя — уже он запустил руку в омут, но его спугнули два голоса из лесной крушинки, щедро затканной все тем же хмелем. Какая-то человеческая пара плотно засела в этот комариный альков.

— ...ты скупой! — заговорил женский голос, — ... хоть бы на кофточку подарил. Девкам ходить не в чем, а они весь кумач на флаги извели!

— Пусти! пока я туда дохромаю... небось ищут! — и стал подниматься, потому что камешек вдруг булькнул в воду.

Потом шорохи замолкли, и Увадьева заметили.

— Ишь все ходит, деревья считает... чтоб не покрали! — достаточно громко произнес женский голос.

Чья-то голова неосторожно просунулась в хмелевой паутине, и Увадьев подивился, до какой степени челове-

ческому лицу свойственны насекомые выраженья. Люди за кустом притаились и ждали его ухода. Тогда, кашлянув для приличия, он стал выбираться вверх, по склону; из-под сапог, скользивших по сохлой траве, поминутно вырывались то уж, то птица. В этот день он мешал везде, где ни появлялся, потому что все сущее в мире вовсе не для человека, а само по себе.

Всякие мелочи привлекали теперь его обостренное внимание: и птица на дереве, — совсем Жеглов, только бы пенсне для сходства! — и дрожкая преждевременная латунь ржи, и собственная его длинная тень, взъерошенная травой. Солнце садилось, и замшевая теневая мягкость обволакивала природу. Никто не попадался на пути. Из деревни понеслась разухабистая песня, — по-видимому, начиналась там всемужицкая пьянка. За редкодеревой рощицей объявилась насыпь строительной ветки; Увадьев поднялся. Босые дети, пятеро, бегали по нагретым рельсам; ему показалось, что одну девочку он узнал... наверно, это была, смешно сказать, мать той самой будущей Кати, для которой в таких муках переплавлялась планета. Увидев хозяина ветки, дети сбились в стайку и привычно ждали брани. Он был совсем черным и безликим на застывших пламенах неба. Он глядел сурово и без улыбки на это второе поколение, которому — хочет он или не хочет — все равно будет однажды принадлежать жизнь. Не слыша брани, девочка несмело предложила ему с такой же резвостью пробежать по одному рельсу; в ее глазах он прочел искусительный вызов разделить с ними игру, но не сделал и попытки. «Стар, чтобы по рельсам. Сорок — ступенька вниз, а чем дальше, тем все мельче и легче ступеньки, сами под ноги бегут...» — он молчал. Ежевечерне в девятом часу проходила моторная дрезина с почтой, и шофер всегда гнал в этом участке, торопясь к ужину и пользуясь прямизной пути.

— Спать, спать, тараканы! — сказал он тихо, а сердце еще билось от подъема.

Дождавшись ухода детей, он свернул на дорогу и вошел в поселок. Всюду рос папоротник, так как вчера еще тут был лес. Под ногами хрустела щепка, из которой только что начали вылупливаться свежие, с толевыми крышами, бараки. В третьем налево тускло горел огонь; мелькнуло



желание — войти, присесть на жесткую койку, устланную лоскутным одеялом, слушать затаенные раздумья этих вчерашних земледельцев и хоть на полчаса заглушить в себе одинокую тоску и другую потребность, в которой не сознался бы и сам себе. «Подумают, с ревизией на ночь глядя притащился!» В окнах у Потемкина было темно: «Наверное, спит, пускай отоспится за весь год!» Ничто на протяжении полуверсты не остановило его. Верхнее, угловое окно двухэтажного дома, где помещалась химическая лаборатория, зеленовато светилось. Не замедляя шага, он круто повернул к крыльцу и с иронической усмешкой на самого себя стал подниматься по лестнице.

Она скрипела, точно втаскивали вверх неуклюжую какую-то мебель; и опять билось сердце, но теперь это было совсем не то. Дверь он распахнул сразу, не стучась, как бы намереваясь застать кого-то врасплох. И правда, у Сузанны сидел Бураго; обхватив колено руками, он пристально глядел на нее, склоненную над микроскопом. Зеленый колпак лампы наполнял комнату приятными глазу сумерками. Молча поздоровавшись, Увадьев со странным облегчением присел на подоконник; именно неудача его посещения, которому он придавал непонятную значительность, и радовала его.

— Так, очень гут, — сказал Бураго, и Увадьев догадался не сразу, что речь идет о сотинской воде. — Как кислород?

— Здесь — пять запятая семь, — на память ответила Сузанна.

Бураго лениво сунул себе в рот папиросу.

— Значит, рыбки тоскуют?.. от предчувствия, что ли?

— Не знаю... но на стрежне десять с небольшой дробью миллиграммов на литр. — Она мельком оглянулась на Увадьева, который никогда не приходил без дела, да и вообще мало имел отношения к ее работе. — Есть гуминовые вещества...

— Это ничего, это болотца за Пыслой, мы их прикроем! — Взяв со стола склянку с оранжевой жидкостью, он одним глазком посмотрел ее на просвет. — Иван Абрамыч, Потемкин-то серьезно кранкен, а? — Он знал, что Увадьев в секрете от всех изучает немецкий язык. — Лейкемия... а вы знаете, что это... — Он не договорил. —

У вас никогда не будет лейкемии, да. Быть вам начальником Сотьстрыя, помяните мое слово. Что это? — спросил он, ставя склянку на стол.

— Это?.. Просто спирт метиловый, — сказала Сузанна и стала сменять объектив.

— Жителей на кубический сантиметр много? — продолжал допрашивать Бураго.

Она покрутила кремальерку и привстала из-за стола:

— Хотите взглянуть?

Инженер громоздко поднялся со стула и всей тушей наклонился над микроскопом. Увадьев все еще видел мелочи, ненужные ему: волосатые ноздри Бураго раскрылись, он что-то нюхал, этот умный и сильный человек, а глядел куда-то мимо окуляра, в розовую ладонь Сузанны, кинутую на столе. Вдруг, ощутив неловкость минутного промедления, он нехотя отвалился на свое место.

— Да, житель суетится не меньше нас с вами, Иван Абрамыч, — сказал он, сипло дыша. — А у вас цвет лица хуже стал, товарищ Сузанна.

— ...устаю! — Она что-то записала на разграфленной полоске бумаги. — Днем приходится ездить за пробами, а ночью работать...

— Я сейчас в овраге, под кустом, видел Буланина... с девицей, — совершенно неожиданно произнес Увадьев, и Сузанна посмотрела на него с вопросительным и испуганным вниманием: это походило одинаково и на грубость, и на преднамеренный намек.

— Что ж, монаху любовь в диковину. — Бураго пожевал мундштук папиросы, щурясь от дыма. — Хм, Виссарион? Это смешно, да. Вот тоже, вчера наш иностранец притащил мне клопа в спичечной коробке... распух весь, бедняга, от негодования. «Что это? — кричит. — Это меня кусает...» Я очень серьезно ему: это, говорю, взрослый русский клоп, человекососущий... по-латыни называется цимекс лектулария. Хорошо, я им отдам выговор в приказе по строительству...

И вдруг Увадьев, не отводя глаз, острым голосом спросил инженера:

— Кстати, Бураго, вы женаты?

Сузанна с нетерпением оглянулась на него, совершавшего вторую и, наверно, предумышленную оплош-

ность. «Почему вам интересно именно это, Увадьев? Мы не звали вас, но ведь и не гоним...» — хотелось ей сказать.

Бураго предупредил ее вопрос:

— Так же, как и вы, Увадьев, как и вы! — В безразличную улыбку он переключил все раздражение, уже засквозившее в голосе. — Кстати, Иван Абрамыч, выпишите пузырьков сорок клопину... для сохранения международных отношений. Это уж по вашей отрасли, всякая там дипломатия.

Увадьев перемолчал издевку; в конце концов он сам полез в эту несостоявшуюся драку. Чутье подсказывало ему, что здесь он мешает более, чем во всяком другом месте, и все-таки продолжал сидеть с тусклым канцелярским каким-то лицом. Для этой, в сущности, женщины он бросил жену и вот полгода ходит бараном вокруг заколдованного слова, которое и в мыслях страшится произнести: нежностей он бежал пуще пошлости, этот нелюдимый солдат и предок. В усиленной перегрузке себя работой думал он найти исцеление, а какая-то неутоленная частица его существа все жаловалась и скулила, как увертливая шелудивая собачонка, которой хочется засыпать глаза песком... Он имел странную способность к воображаемым разговорам; она-то и давала ему право на природную молчаливость. Исход ему представлялся так: зажмурясь и со сжатыми кулаками он произносит наконец это неминуемое слово. «Не то, Увадьев, вы путаете, — насмешливо говорит Сузанна, и он знает, что она права. — Я для вас только ступенька лестницы, по которой вы идете все вверх и вверх. Вам нужно вернуться к жене...» — «Я все равно перешагну тебя!» В душевной дрожи, точно все слушали этот не родившийся никогда крик, он воровски протянул руку и взял папиросу из раскрытого портсигара Бураго. Кажется, никто не заметил его движенья, и тогда еще осторожней он украл со стола и спички; крал он, разумеется, у самого себя. Вслед за тем, устыдясь минутной слабости, он раздавил папиросу в кулаке и, не прощаясь, пошел вон.

— Что-то в сон ударило. Привык рано ложиться! — откровенно зевнул он на деланно спокойный вопрос Сузанны; спичечная коробка все еще похрустывала у него в кулаке. — А клопину я вам достану.

Спать ему не хотелось, путь его был к берегу. Раздевшись под кустом, он почти свалился в реку. Нагретая за день вода совсем не охлаждала; ему пришлось долго нырять во всех направлениях, прежде чем напал на холодную родниковую струю. Она обжигала раздрябшее от зноя тело и возвращала ему волю. «Эко бревно кувиркается!» — усмехнулся он на самого себя. Фыркая и отряхиваясь, он вылез на берег час спустя; мир снова приобрел утерянную было простоту, необходимую для существования в нем. Попрыгивая, чтоб вытрясти воду из ушей, он легонько постучал себя в грудь: «Эге, звучит, как колокол, — с удовольствием отметил он. — Нет, еще не отстают моя кожа от костей...» С воды поднялась вспуганная чайка. Опять мимо избяных ям старой Макарихи он выбрался наверх; спать совсем расхотелось, и оттого, что одиночество тяготило, а первой постройкой, какая встретилась, был клуб, он вошел туда.

Сторожиха бесстрастно подметала пол; в пыльном облаке она горой так и надвигалась на Увадьева. Теперь здесь владычила метла. В клубе никого не оставалось; только два арматурщика доигрывали партию в шашки у окна. Увадьев обошел комнаты и, увидев в одной из них ящик радио, с любопытством вскинул на голову охлаждающее кольцо наушников. На черной панельке магически зажглись зеркальные лампы. В безмолвии ночи кто-то пискнул сперва, и вдруг оглушительные свисты и грохот как бы сыпаемых камней ворвались в мембраны. Морщась, он слегка покрутил рычаги настройки и в ту же минуту услышал веселую музыку. Это был несомненный танец, расплывчатый и отдаленный, точно Увадьев внимал ему в слуховой бинокль. Мельком он покосился на стену, где висела таблица волн радиостанций. «Германия... танцует!» Ему было так, точно приложил ухо к искромсанному недавней войною телу и слушает самую душу ее. Тотчас он снова завертел рычаги, оглушая самого себя и волшебным шагом просекая материк. Игривая, щекотальная мелодия, постигаемая лишь пятками, возникла в трубках.

Он быстрее завращал верньеры, лишь изредка справляясь с таблицей, точно с адресной книгой. Наряженные в треск грозových разрядов и вой чарльстонов, проходили

души стран. В атмосфере было неладно, новые бури собирались над миром. Мембраны до отказа насытились их взрывчатой силой и грозили лопнуть. Склеившись в пары, мир плясал, в мире происходило чрезвычайное веселье, и даже мелкие державы, задрав подолы, приплясывали в своих захолустьях. Увадьев слушал, и, может быть, его единственного заставляла думать эта дикарская музыка, в которую то и дело врвался страдальческий акцент человека; он смеялся беззвучно, боясь помешать танцевальному сему неистовству. Временами слуховое поле загромождал грохот военного марша или как бы артиллерийской пальбы и непонятный вкрадчивый шелест... может быть, где-то уже напознал иприт?

В медные подобья гусиных глоток дули грустные безработные полковники; это было в Девентри, а в Будапеште кто-то во всеуслышание ломал рояль. В Тулузе тихо пели негры; в синкопированных, как бы на дыбу вздернутых тактах звенела натуго закрученная пружина. «О, она еще расхлестнется, когда над миром снова полетят гремучие бутылки войны!» Он почти прошептал эту мысль и вот насторожился. Знакомая песня поднялась вдаль, и, хотя ее тубафонили чужие люди, он узнал ее. Эта песня катилась впереди голодных солдат революции, и за право вложить в нее новое содержание было заплачено кровью лучших. Искаженная до гримасы, взнузданная похотью, она еще не потеряла своей страшной призывающей силы, хотя и сопровождало ее явственнее шарканье лакированных ног. Под нее танцевали... Он зашурился и вдруг почувствовал, как у него от гнева задрожали колени. Тогда он брезгливо бросил трубки на стол, и с минуту они шипели подобно головешкам в воде. Лампы потухли, наваждение кончилось.

Мимо сторожихи, ждавшей его ухода, чтоб запереть на ночь, он с закушенной губой вышел во двор. Подувал ветер, и лес шумел. Издалека неся чудной жалобный стон; наверно, осина терлась об осину или кричал лесной черт, придавленный деревом. Небо застлало тучи. В реке плеснулась рыба: может быть, ей приснился скверный сон. На лугу, который тотчас же за лесной биржей, поржали кони. Увадьев шел спать, день его был закончен. Тропинка при-

водила прямиком к одной из старых изб, сохраненных для жилья. Увадьев вскинул бровь: дверь его избы стояла раскрытой, а красть у него было нечего. На синем пятне окна чернел острый и знакомый профиль Геласия, который не обернулся даже на шорох хозяйских шагов.

В кармане еще сохранился украденный у Бураго коробок. Спичка брызнула серой: Увадьев торопился выбраться из этих подозрительных потемок. В руках у Геласия не было ничего; он потому и пришел, что вообще ничего у него не оставалось. Волосы свисали на лоб; к рассеченной при каком-то паденье безбородой щеке его пристала земля. Простиранная, милостынная рубаха забрана была в белесые, грубого тканья штаны. Только и осталось у него от монаха — широкий ремень с продольной бороздкой, который стягивал тощее иноческое брюхо. Спичка стала жечь пальцы Увадьеву.

— Дай-ка лампу... вон со стенки. Да не разбей! — коротко приказал он. Тот вздрогнул, но не двинулся, и Увадьеву самому пришлось возиться с лампой. — Что ж, братец, убивать пришел, а сидишь — хоть дегтем тебя мажь. Действуй, вообще шуми!

— Водчонки... — прохрипел Геласий.

— Вот, вот, сейчас в кабак для тебя побегу!

От Геласия несло луком; последнее время, видимо, он и питался только хлебом да луком, который начал попевать на чужих огородах. Не спуская глаз с него, Увадьев присел рядом и тронул его плечо; тот взглянул испуганно, точно ждал побоев. Теперь он сидел сутуло, пряча ладони в коленях и с закрытыми глазами; теперь это было распаханное поле, в котором всякое, что ни сунь, вырастает вдесятеро.

— Огорбел, вымазался, несет от тебя... теперь тебя и помелом не вымоешь. Ну, о чем же нам с тобой говорить! Где скуфья-то у тебя, ты в ермолке-то больно хорош был...

— На заплатки извел, — без выраженья солгал тот.

— Епитрахиль свою чинил, что ли? Где же она, чиненная-то... прогулял епитрахиль?.. или как она там называется?

— Рясу ребята у меня стащили... для смеху. — После ряда бессонных ночей губы его стали тверды, как роговые, и болели, когда понуждал он их пропустить слово.

— Ну, станешь в картузе ходить. Только постричься тебе, инок, придется. На такую швабру и бадья мала!

— Водчонки, — опять проскулил тот, царапая ногтями лавку.

Увадьев надвинулся и с маху стукнул кулаком по столу.

— Брось, выгоню! — прикрикнул он и почти с повадкой Варвары поглядел исподлобья, много ли напустил страху. — Где, когда живешь, дубина? Я хожу да гвозди на дороге подбираю, потому что... — Он оборвал и тоскливо поморщился на пятно куриного помета, приставшего к плечу Геласия. — В курятниках, видно, ночевал. Ну, раздевайся весь к черту! Ишь рубаха-то прямо корешки в тело пустила. Так... Теперь марш в огород, там у меня бочка врыта. Иди, говорю!

— Отвернись, не зрирай на меня... — проскрежетал Геласий, все еще дрожа и повинуваясь неохотно.

— Ничего, брат, я не девушка. Я тово... не девушка я, — говорил Увадьев и хлопал, как коня, по тугой и голой спине; на дворе уже накрапывало. — Ну, плещись теперь, не жалея воды... воды не жалея, говорю, новая натечет! Смойвай свои струпя, балбеска...

Была тепла вода, замшевшая и слизкая от перестоя, а тот жался: тошнее смерти было ему, питомцу Евсевия, мытье. Увадьев зачерпывал ковшом и плескал в него как попало, пока не обнажилось днище бочки.

— ...домой теперь! Да не спеши, не простудишься. Ну, вот и крестили парня в новую веру. Рожу-то давай я тебе йодом намажу, ничего, потерпи. Получай амуницию теперь — сапоги, рубаха, штаны. Бери, бери, у меня трое штанов: заработаешь — отдашь. Теперь ешь, пружину смазать надо... — Он сам нарезал ему хлеба, налил молока, сбегал надергать на огороде тощих морковных хвостиков: — Ешь, велю, ешь!

Есть ему не хотелось, зато пил жадно и много: излишек воды тек у него по рубахе. Умытый, в чистой рубахе, и с волосами, налипшими на уши, с коричневой отметиной на щеке, он еще более выглядел чудовищем, вылезшим в жизнь из дупла. Побагровевшие глаза смыкались.

— Гроб у меня тут... — неожиданно тихо молвил Геласий и показал себе на грудь.

Увадьев откровенно рассмеялся:

— ...и говоришь-то все еще под титлами. Клейкая душа у русского человека: налипнет на нее, а там хоть с кожей смывай. На тебе, на черте, бытовой камень возить надо, вот... Тебе жить надо, и так жить, чтоб — спросят тебя: «Что, человек, делаешь?» — и тебе б не стыдно ответить было. Предайся делу науки, безграмотный ты человек! Учись, соси соки, читай умные книги... — Он запнулся, сам не зная многих из тех, которые хотел бы перечислить, и наугад раскрыл книжку, валявшуюся на столе. — Вот, немецкий язык, например... эс лебе ди вельтреволюцион!<sup>1</sup> — Прочел он по-немецки с русским произношением. — Это очень нужно, братец, знать, для заграничного разговора. На свете уйма книг, но, когда все прочтешь, не верь, а ищи сам продолженья, делай на-ново, по-своему.

Так ковал он Геласиево железо, пока было оно раскалено. Тот уже спал с открытыми глазами, и не понять было, насколько прочна была увадьевскаяковка. Тогда он уложил его спать на овчине, у порога, а сам сел за письмо к Жеглову, которое несколько дней спустя должен был отвезти к нему Геласий. «Будешь браниться, друг, — писал он там, — что развлекаюсь такими пустяками, но ведь сам же ты отыскал в людском навозе Ренне, сам же настаивал, что всякой ошибке надо меньше огорчаться, чем радоваться каждому лишнему успеху. Верится мне, что можно кое-что выстругать из этого бревна. Определи его куда-нибудь, в школу десятников, например, если таковая найдется. Поставь его на умственные колеса в этом смысле...»

В никелированной ламповой жестянке отражался он сам, с расплюснутым носом и тесно составленными глазами: таким, наверно, представлялся он Геласию. Приподняв лампу, он взглянул на разметавшегося по полу. В овчине водились блохи, но тот не слышал; почти фиолетовый румянец выступил на его скулах, а пальцы впились в шерсть овчины: он отсыпался за всю свою жизнь. Подумав с минуту, Увадьев старательно спрятал к себе под койку все режущее и колющее. Не будучи психологом, он тем не менее хорошо понимал, что в случаях подоб-

---

<sup>1</sup> Да здравствует мировая революция! (нем.)



ного, столь бурного человеческого преобразования ночная осторожность не повредит. Потом он снова сел за письмо: «...боюсь, что сезонникам придется прибавить процентов пятнадцать, чтоб удержать от отлива на полевые работы. Потемкин лежит, и удастся ли починить его местными средствами — неизвестно. Думается, первое перекрытие бумажного зала поспеет недели на две раньше календарного срока, и, если не задержишь с чертежами...»

С вопросительным лицом он прислушался к крику ворон на огороде.

## Глава четвертая

### I

Вороны горланили не зря; к полночи подвалило туч, и погода рывком перемахнула на мокрядь. Ночь продолжалась, и в ней двигались люди. Пользуясь соседством двух праздников сряду, в Макарихе только приступали к торжеству, и в крохотной шнохской больничке уже готовились к приему пострадавших. До полночи, однако, никаких особых происшествий не случилось, так как Василий, бродильный грибок всякого бесчинства, пластом и с припудренным носом, лежал у себя в чуланчике, слушая, как плещет и плачет у запертого колеса вода. Обезглавленная таким образом ватага частью действовала вразброд, а частью присосалась к Селивакину, от которого при случае также можно было ожидать великих и богатых милостей. Только и было шуму, что в савинской избе; повинуюсь зовам крови, братья приступали к обычному сражению.

Новооткрытый клуб не вмещал всех жаждавших посмотреть на «трубу воздушного разговора», и Виссарион счастливо догадался выставить радиорупор на подоконник. Но при этом надо было стоять, а ноги требовали себе иного веселья. Через час у клубного окна не осталось и трети; кстати, тут мокрым ветром стало заметать и разогнало последнюю горсточку. Пыль поднялась столбом, и скоро весь иссушенный прах полей задымился над Сотью. Тут-то и побежала Савиха за председателем, властью которого только и можно было отпугнуть братцев

от беспутного развлечения. К дракам она давно привыкла, дальше пачкотни да раздирания одежды дело не шло и теперь, локтями продираясь сквозь бурю, размышляла она лишь об этом очевидном посрамлении мирового безбожия. Чары о. Ровоамова разбудили природу. Судороги неба вихрили померкшую зелень, ветер наворачивал непогодные студни над Сотью, — изредка крупные капли его пота пощелкивали бабку по носу... И когда неслась Савиха мимо нового советского капища, рывкнул на нее голос из-под земли, такой толстый, что у старухи и ноги подломились. Впрочем, присмотревшись к темноте, бабка тотчас успокоилась: радиорупор, стянутый бурей с окна, орал в траве во весь свой черный зев, и унять его было некому.

— Ори, голубок, ори! — подбоченясь, пригрозила бабка. — Нас земля, а тебя ржа поест несытая... — И с разбегу ударилась в клубную дверь.

Была она дородна, по присловью мужиков — не баба, а овин цельный, и, едва ввалилось этокое событие, тотчас человек, стоявший впотьмах у читальни, неспешно отошел в глубь коридора. Догадливая по природе бабка сразу поняла, что в читальне происходит нечто; и правда, пользуясь совершенным уединением, Лукинич выкрамсывал ногтем лоскуток из газеты, содержащий заметку об очередных макаринских всячинах. Завидев Савиху, председатель как-то распетушился и, хотя не курил, сделал вид, будто свертывает себе из того лоскутка сверхъестественную папироску.

— Батюшка, уйми... батюшка, сейчас рубахи клочить почнуть, — сгибаясь от одышки, взмолилась бабка. — Ноне, батюшка, и ситцев таких не достать... хоть записочку напиши, чтоб унялись! — и для большей убедительности коснулась председателя плеча.

Председатель медленно обернулся, старухе почудилось с перепугу, что не голова, а один сплошной рыжеватый глаз восседает на загорелой шее Лукинича... Да и вообще все тут обстояло неблагополучно: висячая лампа качалась и коптила, плакаты шуршали на сквозняке, и оттого получалось, будто они шушукуются между собою, а сам Лукинич, вопреки обычаю, сидел босой и беспоясый, как бы набатом поднятый со сна.

— Не трожь меня... — страшно произнес председатель, устремляя в бабку палец, измазанный чернилами. — Не трожь, я казенный человек...

Старую так и шарахнуло, точно рога на власти выросли, а власть, по существу, не столь и хмельная была, сколь обескуражена заметкой. Подписанная загадочным именем — **Тулуп**, она не изобиловала фактами, но между строк в ней читались зловредные вопросы, задать которые мог на свете лишь отец его, Лука; и под десятком таких тулупов Лукинич учуял бы Проньку, — не мудрено, что, загоняемый в смертную щелочку, пытался старик хотя б через газету отсрочить неминуемую. Теперь, шатко направляясь к дому, Лукинич знал, что заставляло его спешить: он шел на окончательную расправу с отцом. Папоротниковые заросли, еще не вытоптаные скотом, зря цеплялись ему за ноги; напрасно в обратную сторону воротил его ветер. Изба стояла запертой, на стук не отзывались, председатель влез в окно. Слюнявый отпрыск его спал, а бородатой няньки возле не было. Тогда со спичками председатель обошел весь дом, — кошка не прошла бы неслышной; он нашел старика в омшанике. Сидя на корточках, бессильный противостоять старческой прихоти, Лука слизывал с крынок молочный отстой, и на бороде его повисли блудливые тягучие улики. Лукинич шагнул вперед, вздымая бровь, и в ту же минуту Виссарион, который вышел прибрать радио из-под окна, услышал краткий сплюснутый ветром вопль.

...рос дурман у самого крыльца; непонятно, как и когда сюда припутешествовали эти дымчато-желтые цветы. Выскочив из избы, Лука пал на колени и, ерзая, набивал себе рот отравной этой травой: теперь к сумасшествию он был ближе, чем к смерти. Наверно, он и нажрался бы ее до последнего насыщения, не случись поблизости человека. Всхлипывая и шаря длинными руками мрак, Лука метнулся на людской голос, обещавший если не помощь, то участие. Он едва не сшиб Виссариона, и тот, отталкиваясь, схватился за голову Луки.

— ...за руку меня держи, в каморочку мене... — всхрапывал Лука, обвисая на руке человека. — Милае, хотел мертвым притвориться, да силы нет. Милае, что он со

мною деет-то?.. во мне на сто годов пружина, а он мне, милае, скорлупку пробивает...

— Ступай, ступай, отец! — сопротивлялся Виссарион, как умел.

— ...попить, попить бы, не то умру. Врет он, врет, будто в Питере у францужены в любовниках ходил, врет! Он людей давил в участках, давитьщик... он и музыку-т заводит, чтоб не слышать... не слышать их!

Как во сне, он отвечал на вопросы, которых Виссарион ему не задавал. В его лице, размытом временем, метались воспоминанья, которые он выговаривал механически, без размышленья; ценой остатка жизни он покупал чужое участие. Он бессилел с каждым словом и скоро выпустил из рук нечаянного сообщника своей мести; теперь он сидел на мокрой траве пустей и смятей вымолоченного снопа. Виссарион бежал от него, потрясенный внезапным знанием; всякими сведениями он и вообще не пренебрегал, а это давало ему, хромому, негаданную подпорку. За околицей, под свежим ветром, он остановился. «Надо когда-нибудь начинать», — подумал он и уже раскаивался, что раньше времени покинул Луку, надо было расспросить подробней, тихо и вкрадчиво, как разговаривают со спящими. Через полчаса блужданий он стоял все еще только за деревом против председательской избы. В окне горел свет. Пожалуй, только усиливающаяся изморось погнала Виссариона на крыльцо. Он кидал в жизнь самого крупного своего козыря. Надо было крепко держаться за скобку, чтоб не шататься; он был как пьяный, и удачливая мысль ввалиться пьяным к председателю несколько подбодрила его. Второй порог переступить оказалось уже легче... Склонясь над зыбкою, Лукинич баюкал сына.

— ...чего? Завтра приходи!

— А, гостей гонишь, — заплетаясь, посмеялся Виссарион. — Закуску ты припрятал, значит?

— Ночного гостя железной закуской кормят, — шепотом процедил Лукинич.

Подозревая умысел в ночном посещенье завклуба, он вдруг и сам стал придерживаться того же тона, и с той минуты кто из них был искусней, тот и пьяней.

— Чего надо-то?

— Дай трешницу, — в упор сказал Виссарион.

Все еще не доверяя хмельности гостя, Лукинич украдкой заглянул ему в глаза, и тот с пьяным бесстрашием выдержал этот взгляд.

— Откуда у меня деньги!

— Не обижай, нам с тобой в дружбе надо жить!

— Чего дружней — оба пьяные! — притворно зевнул председатель. — Садись, если можешь.

В скучном пространстве лежала под лампой Васильева спичечница; следуя пьяной логике, Виссарион тотчас перекинулся мыслью на инвалида.

— Знаешь, ты за Федотом следи. Они теперь и деревню могут сжечь... Ха, нищему пожар не страшен! Им куда нонче путь, раз изовсюду выгнали? Им в бандюги путь... А ты за мной все следишь! — Похоже было, что, подозревая присутствие Василья в избе, он пытался выманить его из убежища; он ошибался, — Лукинич подобрал спичечницу на лугу, где обронил ее инвалид.

— Это тебе пьяному мерестит, — усмехнулся председатель.

— Я пьян, да помню. Тебя в газетине с песочком пробрали? Высоко забрался, ниже лететь. А ты под меня норку роешь, арапствуешь, крот! Смотри, падать вместе будем, а тебе больней.

— Ты к чему?

— А вот трешницу-то пожалел для приятеля, а небось сколько в прежние-то годы по участкам напoлучал! — фальцетом захохотал Виссарион, и сам удивился искусности своего притворства.

— Не хохочи, парнишку взбудишь, потом час укладывать. — Председатель лениво придвинулся поближе, и пахло от него не хмельным, а чем-то кислым, ребячьим. — Ко мне шел — Луку, что ль, встрел?

— Было дело, да лень докладывать, — усмехнулся тот, играя спичечницей инвалида.

— А-а, — очень спокойно протянул председатель и, взяв спичечницу из рук гостя, долго разглядывал тусклые радуги в ней. — То-то и смелости у инока. Может, музыку тебе завести? Не хочешь... а чего хочешь-то?

— Трешник хочу, — с настойчивостью бросил Виссарион и упорно смотрел в левый, совсем мертвый глаз

Лукинич; казалось, зрачок его совершенно растворился в белке.

— ...а если не дам? — тихо спросил председатель и вдруг взмахнул кулаком над головой гостя, но никакого события не произошло. Виссарион скалился уже в сажени от него, готовый обороняться хоть зубами. Лукинич грустно покачал головой: — А ты пужлив, гаденок... образованный! Гляди, рази этим бьют? — Он брезгливо разжал кулак, там лежала тряпица с нажеванным мякишем, соска сорокаветовского отпрыска.

— Вот теперь уж и трешницы не возьму, — весь красный от обиды, пригрозил Виссарион, поднимаясь одновременно с хозяином. — Завтра сам принесешь, просить будешь, а не возьму... Не провожай, там не заперто.

— Пужлив, даже отрезвел со страху, — напряженно улыбался Лукинич, и руки, видимо, для пущего задору, держал за спиной. — Что ж, дружба — так дружба... с образованными людьми и дружить лестно. Я так и смекнул — рази образованному трешница нужна? Евонную руку и сотней не накормишь! Не беги, не бойся пока!

Не спуская глаз с хозяина, Виссарион вышел на крыльцо и лицом к лицу столкнулся с Лукою, который возвращался. В свете из окна Виссарион увидел его длинный с перегибами нос, который влажно поблескивал: неслышный и крайне деловитый, уже шел дождик. Лука не узнал нечаянного сообщника своей мести. Пройдя шагов восемь, Виссарион прислушался: все было спокойно в только что покинутом доме.

## II

Следовало ждать событий поутру, но никакого происшествия так и не случилось. Только укатил на дрезине Геласий с уवादьевским посланием за пазухой, да, повинувшись общественной молве, выключили Проньку из ячеек. День начинался пасмурно; небо свесило мокрые свои вихры к земле, которая жадно намочла, но пересохшие травы пока не поднимались. Все же о. Ровоамов покидал Макариху, еле унося доброхотные даянья мужиков; при этом, кланяясь старушечьей кучке, провожавшей его до

околицы, он крепче всех понимал, что волхвования его тут ни при чем. Вечеру, потя за чайником в шонохском кооптрактире, он виновато поглядывал на брезентовый свой кулек и справедливо полагал, что убрался из Макарихи вовремя.

Всю неделю, притихая лишь к сумеркам, барабанила в крыши непогода. Земля набухла, все поднялось, пырей да бутырник в огородах клонили к грядам свои раздобревшие вонючие мутовки. Тут бы и передышка ливню, но только на одиннадцатые сутки поразмело облачную размазну. Облака полосато разлеглись в высях, и, хотя до покоса оставалось еще полмесяца, мужики вышли закашивать на пойму. Еле продиралась коса в травяной гуще, и тогда Мокроносов, запотевший на третьем ряду, удивленно оглянулся на косцов.

— Эко рашень! — сказал он тихо и, вскинув глаза на запад, откуда шла новая туча, прибавил: — Неча, товарищи, траву губить.

С поймы он ушел один, а остальные вернулись часом позже, злые и мокрые насквозь. Небо скуксилось, жестокий проливень снова хлестнул по полям; стало ясно, что подкошенных богатств не собрать. Луга полегли, яровые сваялись в синие войлока, в низинках появились воды, а картофельная ботва, с которой выбило весь цвет, задубенела; подкошенное горело в валах, старые стога почернели, земля стала пахнуть пивом... Впору было сызнава отыскивать кудесника Ровоамова, чтоб заткнул неосторожно приоткрытые хляби. Тут пошли новости: лесной ручей, преобразясь в поток, разломал колесо на красильниковской маслобойке, на Енге внезапной водопелью унесло стога, а в довершение всего пришла весть с Нерчьмы, будто сплавщики выловили из воды утоплого попика, вздумавшего спьяну помыться в реке. Только эта последняя горесть и повеселила мужиков:

— Намолил, дубонос, да в воду!

По мере того как изливалась влага из небесной пробоины, стали подопрывать хлеба, а подопревшее обломало градом. В прошлогодних копнушках завелась плесень, а потом один мальчонок докопался в стогу до белого червя и принес в спичечной коробке родителям на радость; драг его сосредоточенно сам отец, чтоб сызмальства разумел

мужицкие беды, и мать не заступалась за любимца. Звери попрятались, и один скакал по лесу озверелый красильниковский ручей, скаля пенные зубы. В природе начинался бунт, и только Соть, несмотря на ежедневную прибыль воды, хранила свою величавую невозмутимость. Она еще молчала до поры, но запанный приказчик по нескольку раз в день пробегал по бонам запруды, вдоль главного лежня, и недобро посматривал на воду, ставшую вдруг необыкновенного цвета. Не имея, однако, в прошлом Соти плачевного опыта и полагаясь на начальство, он не догадался своевременно подвести под запань подстреги — лежащие бревенчатые подпорки. Так бывало от века: лес накапливался в верхней запани, и лишь по мере необходимости его спускали в нижнюю гавань, откуда проводили в сортировочные магазины. Все новые массы леса прибывали сверху, река загромаждалась на целых две версты, и ко времени катастрофы сотинская запань удерживала многие десятки тысяч пиловочного и балансового леса, заготовленного впродолжение пусковой период.

Запань была обычного типа, устроенная так, чтобы задержать у строительства весь спущенный на воду лес. Наискось к лесной бирже мокнул в воде грузный пеньковый канат, толстый, в толщину человеческой шеи. На нем, сшитые намертво ветвяными хомутами, лежали бона — плоты, притянутые к берегу десятую полуторadioймовыми оцинкованными тросами — выносами. Те, в свою очередь, зачаливались на крупные бревна, закопанные на сажень вглубь; бревна эти лежали прочно в прибрежном глинистом песке и, видимо, по внутреннему сходству, назывались мертвецами. Грозному этому сооружению, казалось, не страшны были никакие паводки, и Ренне, ревизуя однажды утром свое детище, только на одно обстоятельство и обратил внимание. Полагается устраивать запань тотчас за крутым поворотом реки, чтобы весь напор древесной массы приходился в берег, а тот, кто выбирал место для строительства, не предвидел стихийных бедствий на этой спокойной реке. На всякий случай запань была построена восьмидеревая; хотя и шестидеревой в обыкновенное время хватило бы с избытком... Там, у бережка, затесался в лесную гущу чей-то шестивесельный карбас; издали он походил на раскрытый рот



птенца. Разговаривая с приказчиком, Ренне смотрел как раз на него; вдруг лес незаметно сдвинулся, и рот птенца противоестественно закрылся; тогда лишь Ренне и ощутил некоторое сомнение.

— Ты подкати чурочки под канаты, чтоб не прели.

Приказчик был старой выучки; босые его ноги, начисто отмытые водой, походили на корявые, плохо ошкуренные сапожные колодки. За свою тридцатилетнюю службу он уже привык к мысли, что, раз усмирренная, река повинуетя до конца. Приказчик засмеялся:

— Хрест на груди, не пугайсь, Филипп Александрыч: тут же мертвецы, и на каждом выносе их по два. А мертвецы — рази они когда сдают? Они надежно держат, мертвецы... — И он притопывал пяткой по взмокшей глине, где были те захоронены. Он взирал на сгрудившийся лес взглядом старого жулика, которому ничего не стоит обыграть это тучное и глупое животное — Соть. Несмотря на неподвижность, гавань жила своею потаенной жизнью, и вот на глазах у него пятивершковое бревно, слабо кашлянув, сложилось пополам, как ему было удобней. Несчетная сила копилась здесь, и вдруг приказчик сокрушенно скинул картуз и жадно лизнул себе искусанные губы. — А дюже боязно, Филипп Александрыч: ведь их тут тыщ семьдесят, до самого дна, набилось... рыбе негде пройти. Ломает, без хрусту лес ломает, хрест на груди! Гляньте, гляньте сами хозяйским глазиком.

...установилась ясная, бессолнечная погода, но, судя по вихрастой бахrome на востоке, где-то на Енге и в верховьях Балуни все еще изливалась небесная благодать. Уровень в Соти повышался по вершку в час, от водомерной рейки оставался один кубик, а лес все прибывал; Фаддей Акишин, ухитрявшийся ежедневно побывать на берегу, страшал, что воды в Соти еще значительно прибавится от слез людских. На строительстве ощущалась незряшная суматоха: вода грозила прежде всего огромным цементным складам, расположенным близ старицы — старого русла реки. Фаворов со всей землекопной оравой и двумя сотнями поденных мужиков вел земляную дамбу вдоль берега; и по ночам и во тьме вбивали доски, заваливали глиной, а потом плясали на ней с искаженными от усталости лицами: так стерегли они воду. Впервые за сотню

лет вода пошла через старицу, а раньше такая стояла здесь сушь, что только чешуйчатая травишка из породы толстянковых и водилась тут. Первые кряжи из запани уже ползли в нее, тараня вековые ивы, выросшие на их пути. Не осталось человека, уверенного в благополучном конце этой напасти, — все еще длилась облачная блокада. В дно старицы врыли сваи и заплели ивняком; верхнюю запань дополнительно укрепляли выносами. Семерых, не пожелавших временно поменять топоры на лопату или лезть в студеную воду, Увадьев уволил помимо рабочко-ма. Крайние выноса на коренной запани, которые еще трое суток назад работали вхолостую, теперь пружинили во всю мощь своих стальных жил. Запань выдувалась кошелем, а за нею неумолчно метался пенный всхлип воды. Река искала всякой щелочки, чтоб распахнуть ее с двухверстного разбега. Наспех разгружали машинные склады, куда могла дохлестнуться ожесточившаяся Соть; вопреки всем правилам, мужиков перевели на сдельную оплату. Явное начиналось восстание реки.

На исходе тридцатых суток прискакал верховой с вестью о начале катастрофы: верхняя запань встала ребром, и лес хлынул под нею в основную запань. Посланец так скакал, что потерял картуз в гонке; лошадь была в пене и дрожала не меньше своего седока; никто не заметил, что прибыл он почему-то в одних подштанниках. На глазах у всех Увадьев повел иззябшего человека к себе и, во искушение многим, извлек ему из своего сундучка водки, чтоб заставить его говорить. По рассказу верхового, нечетные выноса верхней запани, загруженные лесом, поднялись над водой и этим лишили запань ее удерживающей силы. На расстоянии девяти верст он успел обогнать движенье прорвавшегося леса, который у строительства следовало ждать часа три спустя.

— ...спасибо за новость. Катись теперь взад!.. — крикнул Увадьев и вытолкнул его к толпе, стоявшей у крыльца.

Через полчаса у Потемкина, которому запрещено было выходить из дому, собрались на совещанье. Инженеры, занятые по работе, запоздали, и Увадьев пришел задолго до начала заседания. Потемкин лежал на боку, с гладко зачесанными волосами, и все вокруг него было до чрезвычайности чистенькое — и простыни, и бревенча-

тые стены, и самые пузырьки с лекарствами. Влажный лоб его поблескивал тусклым вечерним бликом, и по нему — еще более, чем по глазам, наивным и злым, — Увадьев понял, что пророчества Бураго, наверно, сбудутся. Увадьев сел и, поглаживая колени, бесстрастно глядел на заведующего строительством. Теперь это был не прежний Потемкин, который ушкуйником отправлялся когда-то в сплавные путины, — не тот, который год назад вихрил вокруг себя бюрократическую труху; теперь это был даже не солдат, — буравчики его глаз сточились, и было видно, что он больше всех на Сотьстрое боится реки.

— Река-то, а? Из годов вышла... — смущенно сказал больной.

Она правильно выбрала минуту, чтоб отомстить человеку, замыслившему запрячь ее в работу. Она не хотела в трубы, она хотела течь протяжным прежним ладом, растить своих тучных рыб, хранить свою сонливую мудрость. Она как будто молчала и теперь, но Потемкин-то слышал, как она кричала пространствам, чтоб поддержали ее бунт. В ней просыпалась ее дикая сила, воспетая еще в былинах; она стала грозна, она приказывала, и вот ветры, осатанелые бурлаки небес, потащили дырявые барки с водой, а леса зашептались, а птицы вились, и в самом кровоточащем лоне ее как будто открылись тысячи новых родников... Увадьев глядел на взмокшую от пота кудельку Потемкина, которую тот виновато покручивал на лбу, и подумал, что он, наверное, стыдится за свою реку, праматерь многих славных рек, которую хотел открыть миру.

— Скучно, небось, лежать?

— Нет, ничего, лежу... — И рука при спокойном лице резко дернулась в сторону. — Очень дышать трудно стало.

— У тебя разве?... — Увадьев не досказал.

— Нет, у меня эта... лейкемия, — сказал Потемкин, справившись с какой-то карандашной записью на стене. — Все спрашивают, я и записал... — улыбнулся он открыто.

— А Бураго говорил, что белокровие?

— Так это то же и есть. Воздух какой-то промозглый.

— Да, льет.

— Лежу и все слушаю, по крыше-то точно сапогами ходят. Слушаю, брат, и все сучки в потолке считаю. Кажется, что мало, а ведь их там — знаешь сколько? Шестьдесят восемь сучков. И потом, чудно, мухи на них почему-то не садятся!

Увадьев оторопело поднял голову, как бы с намерением проверить наблюдения Потемкина:

— ...не садятся, говоришь? Странно, а может быть, они к смоле прилипают: лес-то ведь новый, течет. — Он помолчал, пока Потемкин кашлял. — А не чахотка ли у тебя, товарищ?

— Это ты про кашель? У меня родовое: отец и во сне кашлял, и градусы имел, а до пятидесяти трех плоты сгонял. Не-ет, у меня лейкемия. Это когда белые шарики одолевают красных, понимаешь? Я думал, это только у людей бывают белые и красные. И очень мне это печально, что во мне самом это самое, — со злостью сказал он и сухо кашлянул, точно поставил точку. — Воды много?

— Полтора метра выше ледоходного уровня.

— Шалит дочка... Верхнюю запань перевернуло? Что же Ренне-то глядит...

— Гнать его надо, — резко сказал Увадьев.

— Не знаю, я теперь мнителен стал. Не наш человек, штабной, ему бы в тресте сидеть. Конечно, у него свои повадки, свои истины...

— Истины — это то, во что я сейчас верю! — Увадьева сердило потемкинское многословье.

— Я понимаю, диктатура, — смутился тот, — но ведь есть бритва, которой бреются, и есть топор — им лес рубят. Каждому свое, а перепутаешь второпях — либо рожу обдерешь, либо дорогой инструмент попортишь. Ты меня только пойми правильно! Мне и самому Бурого жаловался...

— На Ренне?

— Да... Подбитый он, вкуса к работе нет: одна эта фуражка его с острыми полями чего стоит. Я с ним говорил, а он — в революции, говорит, ветров слишком много дует, и оттого нет человека без отсоя, без ветреницы... Он на людей-то как на товарный лес смотрит! Рабочие его не любят... — строгим шепотом прибавил он и, торопясь предупредить увадьевский вывод, подмигнул дружески: — Да и ты хорош, наэкономил: насыпь-то размыло?

— Чиню, кое-где столбы поскидало. Болота сосут, глотка хрипнет от ругани. Намедни арматуру сваренную прислали, пробовал на разрыв — ломается. Хозяина настоящего нет... — Он встал и нетерпеливо гладил спинку стула. — Слушай, Сергей, я написал кому следует — тебя надо сменить, самая драка теперь... Ты поезжай лечиться. А Ренне надо гнать, мы не богадельня, мы — фронт.

— Они тоже намекали... что пора ехать. Ты как думаешь, вернусь я? — Увадьев молча отошел к окну, и в голосе Потемкина просочилось крикливое и мучительное одиночество: — А дочку... дочку его ты тоже погонишь?

Увадьев медленно оглянулся и, пристально поглядев на его острые, выдававшиеся под одеялом колени, подумал, что, должно быть, это очень неприятная штука — умирание. Смягчась, Увадьев собирался предложить больному лекарства, но тут стали приходиться люди. Все они, от Бурого до представителя рабочкома Горешина, приносили с собой мокрый запах ветра и какую-то шумливую, неверную бодрость. Потемкина обложили подушками и таким образом заставили сидеть. Поминутно прерываемое телефонными звонками совещание началось, и с первой же минуты стало ясно, что нет никаких сил вести собрание в обычном порядке. Говорили не в очередь, торопясь высказать свои соображения, ибо основная масса леса уже катилась на штурм сотинской запани. Длинношейей рабочкомец сразу же сообщил, что из рабочих образовалась добровольная бригада, готовая проложить через запань дополнительные тросовые перехваты; его уполномочили лишь просить снастей для крепления. Наступила тишина, и вдруг Ренне засмеялся; смеялся только он один, и все враждебно смотрели на человека, тратившего на это свое гражданское мужество.

— Вы вообще против всяких мер? — И глаз Бурого выдулся подобно пузырью на луже. — Вы ручаетесь за качество своей постройки?

Ренне подогнул голову.

— Моя мысль — лучше отслужить молебен, — как-то через силу усмехнулся он, и вдруг в сознании его завилась полузабытая мелодийка: «Ерой-ерой, а у ероя...» Он закусил губу и провел рукой по лицу, как бы стирая

с него стыд за неуместную шутку. — Это манера говорить — да — я понял. Опасно — людей нельзя — поздно.

— Люди есть, люди хотят, — горячо бросил Горешин, — ...и потом мы теряем в этом деле больше, чем вы! — Он тотчас же поспешил смягчить намек. — Мы теряем хлеб и работу.

Бураго перевел глаза на Увадьева.

— Я вообще привык драться до конца, — пожал тот плечами.

— У меня на Урале — давно — двадцать тысяч унесло. Лучше лес, чем люди, — начал заикаться Ренне.

— Что до меня, я за! — грубо прервал его Бураго. — Ступай, Горешин, я позвоню туда по телефону. Я уважаю вас, товарищи...

Заседание продолжалось и после ухода рабочкомцев; говорили все о том же, о бесновании стихий, а Потемкин уже теребил какую-то вчетверо сложенную бумагу.

— Нас пугают, конечно, не убытки, — заговорил он тихо, не глядя никому в глаза, — а именно возможность приостановки работ... если это случится. Кстати, час назад я получил бумагу, товарищи... тут что-то не так, надо драться. На, сам прочти! — и передал бумагу Увадьеву.

Тот начал читать вслух и неожиданно смолк на полуслове.

— Чего же драться, не от хозяина работаем! Собирались хлеба вывезти двести восемьдесят миллионов, а вывезли тридцать... дело ясное! — Он еще не знал, что сотинское ненастье происходило одновременно во всей стране: стихии действовали как по сговору. Все вопросительно уставились на Увадьева, и тогда он четко, точно приговор, дочитал ее до конца. — Понятно?

С предельной краткостью в бумаге предписывалось свернуть ряд работ и отнести их во вторую очередь, а кроме того, еще в текущем месяце сократить до тысячи строителей. Неизвестно, было ли это сокращением общего плана строительства; можно было лишь догадываться, что случился какой-то непредвиденный просчет, и за счет Сотьстроя предполагалось вести в прежнем темпе более крупные строительства, остановка которых грозила уже политическими осложнениями. По-видимому, высшая инстанция не запрещала Сотьстроя только ввиду

уже произведенных расходов. По новой смете до конца хозяйственного года строительству предоставлялось всего восемьсот тысяч, — цифра, обозначающая провал Потемкину, который, имея обещание на восемь, размахнулся на двенадцать миллионов. Бураго иронически кривил рот, пуская кольца дыма в самое лицо Потемкина, неторопливо складывавшего бумагу. Он сложил ее вдвое, вчетверо, ввосьмеро, стремясь к какой-то последней, уже неделимой дроби... Обсуждение пошло по линии возможного сокращения расходов, и тут Фаворов высказался за добровольное уменьшение ставок технического персоналу. Нужна была фаворовская неопытность и сугубая тревожность часа, чтобы предложить именно такой выход. Оплата всего персонала не превышала трех процентов от всех затрат, а при шести израсходованных миллионах это дало бы максимум двадцать пять тысяч рублей. Кроме того, этим нарушались индивидуальные договоры, и Ренне, иронически возражая против этой меры, указывал, что это в несоизмеримой степени понизило бы рвение к работе. Увадьев засмеялся плоским, удлинившимся ртом и откровенно подмигнул Бураго; тогда-то Ренне и взорвался:

— Не нравится — смеетесь? Уверены — купили меня крепко — не верите — поставлены глядеть за нами! Вы платите мне всемеро — чем сам — про вас песни сложат — да... а я спец — наемный солдат — швейцарец из папской гвардии — не за что уважать — а тут есть моя кровь — нервы — моих дедов!

— Не надо нервничать, — примирительно и с пятнами на щеках вступился Потемкин. — Мы рады всякой честной силе, которая идет с нами... но, сами знаете, люди вашего класса...

Увадьев сердито расчерчивал ногтем выгнутую свою ладонь:

— Нет, зачем же! Ты требуешь, и мы даем. Нам нужно знание, оно стоит дорого: мы платим. Мы ж богачи, мы постановили истратить четыреста семьдесят пять миллионов на одно бумажное строительство. Что ж, пускай он просит у меня дачу в Ницце, автомобиль в Париже, красавицу в Сан-Франциско. Мы нищие, но мы можем! — Он едва нашел силы согнуть свою каталепти-

чески выпрямленную ладонь. — Нет, уже лучше получай, гражданин, свои тыщи!..

Лицо Ренне налилось темной краской; он собирался сделать возражение, ответ человека, у которого выбита из рук винтовка; вдруг он заметил чуть презрительную усмешку Бураго и догадался, что тот стыдится его.

— А вы смеетесь — весело — мы только суперфосфат для них — коровы, пока не добыт научный синтез молока. Вы... — и, казалось, самые зубы прыгали в лице Ренне.

— Ну, я-то не суперфосфат... — строго начал Бураго, но тут зазвонил телефон, и оттого, что аппарат ближе всего стоял к нему, он прежде остальных схватился за трубку. Свободная его рука порывисто щипала шнур, как бы стремясь разъять его на волокна.

— Что-о?.. какие дверные ручки? — закричал он в трубку. — Что-о? к черту, не мешайте говорить, товарищ! Да... слушаю, — и почти тотчас же бросил трубку. — Господа, — сообщил он, волнуясь, — порвался средний вынос... убило человека. Надо быстрее, быстрее... Иван Абрамыч, ведите переговоры с волсоветом, с утра мобилизовать население. Да, к вечеру завтра его придется ловить... — Он не пояснил, кого ловить — беглый лес или население, а Фаворов с тоской подумал, что и то и другое. — Филипп Александрыч, вы отправитесь с бригадой на воду. Прожектор пустить... Фаворов, вы со мною.

— Это глупо — сейчас на воду, — поморщился Ренне, подымаясь.

— А я тебя под суд! — гаркнул Бураго, и лицо его багровыми пятнами стало подмокать изнутри. — Почему порвался вынос?..

— Отечественное рукоделье, — пожал тот плечами, уходя.

Шлепая калошами, он спускался по лестнице пятью ступеньками раньше Бураго.

— Отчего у вас всегда калоши спадают? — раздраженно спросил главный инженер.

Тот обернулся; лица его не было видно впотьмах.

— Мои калоши — вредно социализму? — чужим голосом огрызнулся он.

— Я требую, чтоб машина хорошо — ваша плохо, — заражаясь его манерой говорить, крикнул Бураго. — Ког-



да калоши спадают — плохо. Бумажки, бумажки набейте, в носок, бумажки туда...

Ренне не ответил и вдруг, старчески разметая воздух руками, побежал по размякшей поляне поселка.

...дослушав этот неслучайный разговор, Потемкин стащил одежду с гвоздя и стал одеваться. Во что бы то ни стало ему следовало присутствовать там, где решалась теперь удача Сотьстроля; он чувствовал себя трубочкой того универсального клея, который выдуман, чтобы соединить самые разнородные предметы. Прежде всего надо было преодолеть брюки, и даже это оказалось не под силу; со злостью и укором он глядел на тощие свои с редким пушком ноги, и ему становилось обидно; он ущипнул один волосок и выдернул его, но и боль была приглушенная, чужая. Тошная слабость подвалила к ребрам, а дверь стала клониться направо, по часовой стрелке. Тогда с безразличным лицом он повалился на подушки и закрылся с головой одеялом. Крепче всякого сторожа преграждали ему выход отсюда брюки, грозно распластанные на полу.

### III

Несся ветер и спотыкался, и пищал в детскую дуду, и снова мчался по долине. Непрерывной очередью, подобные убойному скоту, в небе тащились облака. Похолодало, ветер озноблял, но все были в поту — и те, которые бежали к реке вдоль колючей изгороди строительства, и те, которые, достигнув реки, бродили по берегу добровольными и бессильными сторожами. Говорили почему-то шепотом, и всякий с тревогой посматривал на беспокойную луну, удушаемую облаками. Для сокращения пути Бурого пошел через территорию строительства, куда не пропускали никого в этот тревожный час; Фаворов, которого тот прихватил с собой на всякий случай, впервые наблюдал такое необыкновенное затишье. Было очень пустынно. При кратких промельках луны корпуса лесов представляли как остовы огромных кораблей, на которых отважные собирались отплыть в обетованные земли. Было точно в бреду: водонапорный бак шагал на своих стояках-ходулях, а подъемный кран, прячась в

ть лесов, норовил ущипнуть луну... Но над паросиловой зычно рычал гудок, разрушая бредовое оцепенение ночи, смолкал и снова выпускал свое оглушительное облако. Оно означало бедствие в этот час.

На пути попадались то брошенная вагонетка с арматурой, то подмокшая бочка цемента, то вдруг какой-то огромный и угловатый холм; крышка на нем отливала мокрой синевой. Бураго с трудом оттянул вверх намокший брезент и разглядел во мраке только сквозные ящики.

— Спичку, — сказал он Фаворову, стоя на коленях и засматривая под брезент. На огонек вынырнул из-за приземистого склада сторож. — Что тут? — спросил инженер.

— Моторы прибыли...

— Когда они прибыли?

— Ден пять лежат.

Бураго опустил брезент и молча пошел дальше. Под сапогами хлюпала глина. Из-за штабелей леса, **катиц** по-тамошнему, показался острый прожекторный луч; он щупал облачные лохмотья, и, может быть, его единственным назначением теперь было внушать людям ту бодрость, какую давал огонь и первобытному насельнику Соти. Фаворов волновался.

— Она бунтует, — сказал он надтреснуто, потому что был простужен, — но мы закуем ее, и она повезет нас к...

Договорить ему не удалось: зарычал гудок, и теперь казалось, что рев его исходил из самых глаз Бураго:

— Не декламируйте при мне истин, молодой человек... которым место на табачных коробках. Тут серьезней... Инженер, а мыслите как поэт: стыдно! Кто заведует складами? Записать. Завтра за ворота.

— Он секретарь стенной газеты, — захлебываясь ветром, заикнулся Фаворов.

— ...за ворота! — рявкнул Бураго, и снова, точно взбуженное его окриком, зарычало облако над паросиловой.

Молодой замолчал, все еще одолеваемый лирическим недоумением, — красный ли орден на грудь, бубнового ли туза на спину получают они за свою безвестную работу. В молчании они вышли на берег, заметно приблизившийся к самой дамбе за один минувший день. Темная толпа рабочих суетилась в том месте берега, куда упира-

лась пята запани. Выносов не было видно; через бонá со свистом хлестал мрак, порождая хруст позади себя и неведомое клекотанье. Стало очень страшно и торжественно. Из крайнего сарая выволокли огромный моток троса: жилы его сверкали, когда мимо пробегал кто-нибудь с фонарем. Тут же долговязый Горешин, силясь перекричать ветер, отправлял охотников на верхнюю запань: он уже охрип и от ветра казался еще длиннее. В прожекторный луч попал Акишин, затесавшийся в четыре добровольных десятка, которым предстояло единоборство с рекой; луч погас, а Фаддей так и остался в зрительной памяти Увадьева с высоко поднятой рукой и бородой, отмеченной ветром в сторону. Наспех рыли ямы для новых свай, лопаты звякали друг о друга, люди работали спорей машин. Часть бригады на подводах отправлялась на верхнюю запань, чтоб попытаться и там сделать невозможное, — подводы скатывались с бугра во мрак и тотчас растворялись в нем без остатка. Кто-то бабьим голосом покричал, что на Калге снесло мост и надо ехать зимником на Ухсинку; не докричав, он махнул рукой и на бегу вскочил в подводу. Двое верховых, — и один из них Пронька, — обхватив бока лошадей босыми ногами, метнулись вперед на разведку дороги.

Надвинув кепку на самые глаза, чтоб не быть узнаваемым, Бураго наблюдал со стороны эту почти безмолвную суету; он раздул ноздри, — пахло острым потом человека вокруг него. Кто-то толкнул его в спину и, выругавшись, промчался вперед к прожектору; тотчас в снопе света распахнулось кумачное знамя строителей. Бураго узнал этого чернявого парнишку, председательствовавшего на открытии макаринского клуба; он напрасно хитрил, этот безымённый чудак, пытаясь знаменем умножить усердие бригадников. Они старались и без него, ибо тут погибала не только их собственность. Над парнишкой смеялись, отталкивали, чтоб не загораживал света, но он сохранял свой угрюмый и неподкупный вид. Бураго опустил глаза; на его памяти случались не раз строительные катастрофы, но этой добровольной отваги он не встречал никогда. Очень туго и с усмешкой, точно его понуждали на фальшь, он сообразил: тогда гибло чужое, тогда гибло только золото.

— Гут, — сказал он самому себе и растерянно погладил переносье.

— Простите, я не слышал... — сунулся Фаворов.

— Я сказал — гут, — недовольно буркнул Бураго и пошел прочь.

Нельзя было препятствовать людям самовольно и за собственный риск бороться с несчастьем; из правил, преподанных ему жизнью, крепче прочих было одно: по мере роста беды усиливать борьбу. Кроме того, здесь без борьбы было бы слишком страшно, хотя он и знал, что попытка ослабить мятеж реки не поведет ни к чему. С минуты на минуту ждали прибытия второй массы леса, и здесь таилось завершение целого дня тревог. При теснинке, обусловленной крутым подъемом берегов, катастрофа становилась неминуемой: лес должен был попросту расклинить запань. Всем существом своим, более чем разумом, Бураго ощущал напор реки; она давила ему сзади, в хребет, и нужно было напрягать себя, чтоб держаться прямо. Он знал все вперед и оттого, что знанием своим не смел поделиться даже с Фаворовым, казался самому себе бессильней всех.

Он уходил наобум, вдоль берега, все еще косясь на реку; ее совсем не стало видно под навороченным лесом, — только кое-где между бревнами с тоненьким сопеньем курчавилась пена. Им было очень тесно тут, этим двенадцатиаршинным телам; из сдавленных кряжей сочилась смола, но хруст ломающихся столбов лишь в малой степени соответствовал истинному бешенству реки. По дороге, наклоняясь время от времени, он машинально щупал рукой витую сталь выносов, уходявших в землю: на руке оставалось ощущение влаги и как бы электрического тока; рука боялась их, в немоте пальцев и заключался их животный страх.

Кто-то пробежал мимо. Бураго поднял голову.

— ...надо спать. Спать надо молодым девушкам, — сказал он с насмешливой приподнятостью. — Где ваш головной убор, товарищ?

Сузанна отбросила назад волосы, наметенные ветром на лоб.

— Унесло... где отец? Мать мне звонила... нехорошо...

Пятно прожекторного света прошло у них над головами.

— На работе, милая девушка, на работе. Бог труда любит... — В шутке его звучало совсем иное, и оно провалось. — Если это случится, ему... не оставаться на строительстве, да. А это непременно случится! — Он по возможности смягчил остроту положения ее отца. Последнее он прокричал уже вдогонку ей.

Стало как будто легче, он пошел вперед; ему хотелось думать о героическом безумии людей, вступавших в рукопашную с Сотьей... хотелось думать обо всем, чем возможно было выселить из мыслей Сузанну; ему не удавалось это, потому что тотчас за ясным, хотя и бессолнечным днем, в котором он жил, должны были прийти последние сумерки. Оттого он и не гнал своей последней страсти, хотя бы вдесятеро вразумительней представляла ее бесплодность. Бурого улыбнулся самому себе и вдруг понял, что добрался до порвавшегося выноса.

Об этом он догадался по кучке людей, склонившихся над чем-то, заставлявшим хранить молчание. Между ног у них покачивались, иногда пропадая, два тусклых керосиновых огня. Бурого перешагнул через трос и внезапно понял, что человека убило не обрывом троса, а самым бруском — мертвецом, выхваченным из земли. Задние, узнав его, расступились; он вошел, и кольцо замкнулось. Печальные, беспокойные лики елозили по мокрой рогожке, которой предусмотрительно покрыли голову убитого. Должно быть, ждали носилок, чтоб унести. Припав ничком к маленьким и неподвижным ступням, все еще качалась и взрыдывала простоволосая женщина, мать. Фонарь приблизился к ее продолговатому и злому лицу; оно само испускало желтоватый фосфоресцирующий свет, и Фаворов, стоявший с другого края и еще не подавивший в себе лирической приподнятости чувств, подумал, что, наверно, и Соть имела в этот час такую же внешность. Инженеры испытали странное и виноватое томление: убитый оказался девочкой, и, судя по росту, ей было не более одиннадцати. К голым ее коленкам пристала комковатая грязь. Несчастье по нелепости своей походило на убийство; тут же ближний мужик, притомившийся от

вынужденного молчания, но вряд ли говорун, рассказал, как это случилось. Пользуясь отсутствием берегового десятника, они играли в этом месте, мужицкие дети, пятеро; все произошло в сумерки. Пробегая мимо, девочка прыгала через тросы, попутно ударяя прутиком по ним; тогда-то из размокшей земли и выхлестнул саженный обломок бруса.

— Так что очень хорошо. Чище капкана действует твоя машинка. Вот сюда ее загребло... — почти с кинжальной остротой сказал мужик и коснулся пальцем шеи инженера; из пальца его брызнул все тот же, испытанный еще недавно, обжигающий ток.

Бураго медленно поднял голову, но мужика уже оттолкали, и тотчас же врач из сотинской больнички сообщил ему, что носилки прибыли, но мать не дает уносить ребенка; двое в халатах и милиционер уже разгоняли зевак. Смущаясь новой своей роли, Бураго положил руку на плечо женщины и только час спустя вспомнил, что при этом от сочувствия, кажется, назвал ее мамашей. Косясь на грязные инженерские сапоги, женщина вдруг проворно обернулась, и в ту же минуту Бураго рывком спрятал в карман неостерегающуюся руку. Никто не успел заметить нападение или помешать ему, но где-то позади раздался смех; смеялся тот самый мужик, хваливший коварное устройство выносов. По знаку Бураго служители подняли женщину, она уже не сопротивлялась. Происшествие окончилось, носилки понесли. Натуго затянув платком кровоточащий палец, Бураго пошел назад; ему стало грустно, ибо не умел, подобно Фаворову, принять и это за враждебный выпад стихии, на которую искал формулу, злейшую, чем кнут.

Кто-то шел за ним следом, но Бураго не замедлял шага и ждал, когда сам Увадьев заговорит.

— ...глубоко прокусила?

Бураго шевельнул усами:

— Нет, у меня толстая кожа... я могу срезать ее ножиком, да. Мать — это клушка, да. И в этом есть большая биологическая красота!

Они пошли вместе. Увадьев выглядел угрюмой обычного, но и сквозь угрюмость его прорывалось общее волнение; пришедшему несколько раньше Бураго, ему по-

казалось, что он опознал в убитой ту, с которой втесную была связана собственная его судьба. Из непонятной потребности он спросил, как ее зовут; ему сказали, что Полей. Он сделал окончательно непонятный постороннему вывод, возможный только в такую нечеловеческую ночь: сестра той самой, ради которой принимал муки и заставлял мучиться других. Должно быть, теперь, перед лицом величайшего душевного холода, он искал себе временно-го друга, потребного в ином плане, чем те, которые вступали в героический поединок с рекою.

— Что там... крепят?

— Да, пускай... так надо. В волсовете были?

— На рассвете состоится сход, я говорил с ячейкой. Они поставят заставы с утра, чтоб не разъезжались... правильно?

— Гут... надо было бы сразу военное положение. К завтраму пробку вырвет ко всем чертям. Будут воровать лес. У меня в Перми мужики загружали лес в колодцы, в гряды запахивали...

— Я разослал телеграммы в приречные волсоветы. А вот в уезд так и не дозвонился...

— Яман! — Неизвестно откуда вплыло ему в сознание это татарское слово. — Мобилизовать, разумеется, с лошаадьми.

— Да... свое-то найдем! А вот вообще что делать, Бурого?

— Разущите Фаворова, он вам объяснит романтику ночи.

Ветер дул им под ноги, рвал из-под сапог корье, наметанное водой. Наступила странная минута, которая никогда больше не могла повториться. Увадьев взял инженера под локоть:

— Бурого, я солдат, мое дело — драться. Вы честный человек, но вы не то, вы сапер... понятно? Я сумбурно говорю, но я — как вот эта струпа, которой полагается действовать и молчать... Я не боюсь моих ошибок, им со временем найдут громовое оправданье, Бурого. Но, черт, я одет в мясо... и даже понемногу пью.

— Ничего, пейте, я и сам пью.

— Это раньше, теперь нет... не важно, — смутился Увадьев. — Есть вопрос, Бурого.

— Я дрожу от нетерпенья, Иван Абрамыч, — умно и спокойно усмехнулся Бураго.

— Вы... ну, как это говорится... очень ее любите?

Тот остановился и, хотя различал в темноте только смутный квадрат увадьевского лица, долго глядел на него, потом медленно двинулся вперед.

— В мои годы глупо лишать себя таких невинных удовольствий. Будем спокойны, пустите мой локоть. Осторожней, тут какая-то шпала, не споткнитесь. Вы часто глядитесь в зеркало? Глядите, это успокаивает и не противоречит обязательным постановлениям... Надо убрать Ренне!

— Я знаю, — точно ничего и не случилось, сказал Увадьев.

— Мое мнение... она из завтрашнего дня. Думайте по-другому, не навязываю. Мы еще боремся, а поколение уже пережестнуло через нас... У них многого нет, чем болели и чему радовались мы. В пятом году я сидел в провинциальной тюрьме. Окно камеры выходило на пустырь. По нему часто через такой мостик, через кривулинку, проходил теленок... масти давленого кирпича с молоком, да. Очень его люблю и сегодня, этого зверя... а им уже не понять! Это хорошо... она иногда занятно пахла, пакость вчерашнего дня. Второе: любовь к родителям — вредное сцепенье, не надо подпускать их, пусть они издали любятся на завтрашний день, в который уже не вступят. Ренне — лужа, которая не успела подсохнуть после дождя, надо помочь ей высохнуть. Все еще непонятно? Жаль, Иван Абрамыч. Ну, ступайте теперь, шумите, действуйте...

Увадьев так и остался в состоянии приподнятого недоумения... кстати, они уже пришли. Прожектор упирался лучом в скитскую осыпь, и вся жизнь теперь сосредоточилась в этом круглом коридоре света. Поодиночке и сгибаясь, словно опасно было высунуться из него, люди перебегали на скитской берег; и правда, тотчас над зыбким перекрытием светового тоннеля стремилась своим собственным фарватером мгла незамиренной стихии. Десятеро добровольцев, сутулясь под тяжестью, потянули через реку дополнительные снасти, и в световое пятно на мысу вломилась их совместная многоногая тень;



по колено в воде, прощупывая ногой осклизлые бревна бонов, они почти карабкались к своей тени, которая неуклюже топталась на месте. Увадьев узнал Акишина, он шел коренником; казалось, трос врезался глубоко в мякоть его исполинского плеча, потому что ветер вспучил его рубаху двумя полосатыми пузырями. Тянули без песни, следя лишь за тем, чтобы не сорваться в убегающее пространство под ногами, да слушая скрипучие дудки ветра. Знамени не было видно, а чернявый знаменосец, на пару с Горешиним, рыл ямы для новых свай... Так прошел час безжалобной и неоплатной работы. Вдруг лес затрещал, и отдельные бревна полезли вверх, расстанавливаясь темными, угрожающими перстами: очевидно, подходил беглый лес из верхней запани. Долговязый Горешин сипло заторопил тех, кто загонял мерные кряжи под выноса, но канаты уже сами напружились и вступили в работу. Только тогда Увадьев решился подойти к Фаддею, который — весь рваный — блаженно ухмылялся на реку.

— ...ишь рубаху-то вдрызг, старик!..

Тот не слышал.

— Сила, сила!.. — повторял он любовно, не отрывая безумных глаз от Соти. — Сила, твоя сила...

Увадьев взволнованно положил ему руку на плечо:

— А ты наш, старик, наш... — Ему очень хотелось акишинской дружбы в этот беспорядочный час.

— Чей — наш? — своенравно обернулся Фаддей и рывком скинул его руку. — Я ничей, я свой... Думаешь, ты мной правишь? Я тобою правлю, бумажная душа. Ты безбранных любишь, и он тебе лижет, а сам в подполье пеньку на тебя копит. Я тебя всегда ругать буду, а ты меня береги... главней всего береги! — и с вытарашенными глазами погрозил пальцем.

— Чему ж обиделся-то, старик? — оторопело молвил Увадьев.

— А чего ж хвалить... я с тебя на чай не требую? Мне, комиссар, терять нечего: сына-то угрохали...

— Кто ж его угрохал... мы, что ли?..

— Не ты, а... — И тут ему представился наконец замечательный случай рассказать комиссару все свои неопишемые истории, но вместо того он вдруг метнулся за за-

пань, и Увадьев еле успел схватить его за руку: — Пусти, топор мой... мертвяков тесали, так и бросили... унесет!

Стало поздно, кряжи под новым перехватом пошли в песок. Страшная и безглазая сила копилась в воздухе. Десятники разгоняли народ. Отдельные фонарики, затухая, потекли в поселок. Берег стал пустеть. В гавань беспрепятственно вступила запоздалая ночь, и это произошло еще прежде, чем погас прожектор.

— Не забуду я тебе этого топора, — вырвавшись, сказал Фаддей и захромал вверх, на бугор.

Людам не спалось, рабочий клуб не закрывался до рассвета. Отрезвевшие от напрасного геройства, они выходили на крыльцо и, пряча сигарки в кулаках, слушали ночные звуки. Глаза у них были такие, точно там, внизу, второе и уже намеренное происходило убийство.

#### IV

Сузанна так и не нашла отца. Встреченный техник сказал, будто видел, как Ренне направлялся к макарихинскому перелеску. Она выслушала его с гримасой раздражения: он и в самом деле мог отправиться вслед за носилками с убитой девочкой. В том состоянии, которое наступило у него с месяц назад, он способен был на любую из самых неправдоподобных крайностей. Этот добросовестный паровичок с российской узкоколейки оказался вовсе не приспособленным к рельсам новых магистралей, — не только по техническим своим навыкам; отнять у него работу — значило вырвать тот последний колышек, за который он держался в жизни. Он сам понимал это; в характере Ренне объявилась повышенная религиозность в непременном сочетании с знаменательной мелодией о **герое**, которая мучила ему разум с начала революции; позже ко всему этому присоединились очень неопределенные отношения с Виссарионом, который уже начинал свою политическую игру на Соти. Свои раздумья обо всем этом Сузанна заключила ироническим недоверием: на что могло быть способно это битое калечное воинство! С величайшим удивлением на себя она испытала жалость к отцу, когда в утреннем разговоре с

ним высказала наконец свою точку зрения на сотинскую катастрофу; старик сердито затушил в ней это неокрепшее чувство.

— О каких хозяевах жизни говоришь? Ты, ты хозяйка жизни? Сносишься, и выкинут — это не твое — живешь краденой идеей! Хуфу строил — прах растоптали — мрамор на ступеньки чужих дворцов — туристы с кодаками ходят, — брезгливо кидал он.

Она посмотрела на него с сожалением.

— Да, ты отживаешь свое. Через десять лет к тебе потребуется комментарий!

— Его напишут — не вы! — блеснул он глазами, а через минуту сидел седой и еще более жалкий, закрыв руками лицо.

Дочь ушла, чтоб не возвращаться больше, но вечером к ней позвонила мать.

— Суза, найди отца, — сказала она просто.

— Я занята, не могу сейчас.

— Тебе очень досадно, что он еще жив?.. У него в чемодане была **одна вещь**, теперь ее нет. — Старуха и прежде не доверяла телефону. — Найди отца, Суза!

Это была последняя жертва, на которую решилась Сузанна.

...У оврага горел костер. В стадо из-за непогоды скот не выгоняли; бабы серпами нажинали коровам травы, а коней, стреножив, пускали в ночное; сотинские ночи принадлежали ветрам. Сперва коней отводили мальчишки, но после участвовавших конокрадств на Енге с табуном уходили сами мужики; сидя у костра, они сонливо вели бесконечные беседы о непонятном или слушали, как трескуче и пламенно повествует о том же самом огонь. Сузанна проходила мимо; ей показался знакомым облик и еще более — жесты говорившего человека; несвязные обрывки фраз, произносимых с великой силой, донеслись до нее. Она приблизилась по скату оврага, рискуя скатиться вниз по осклизлой траве. Мутный ореол влажности стоял над пламенем, которое пригнетал к земле хаотический напор воздуха. Закутанные в зимние овчины мужики ютились вокруг костра на поленьях. Изредка, когда стихал ветер, из мрака возникали оранжевые и мокрые бока лошадей. Под калошей Сузанны визгнула трава. Небольшой мужи-

чонка, наверно, Куземкин, которого таким неузнаваемым делала ночь, пошел посмотреть звук. Сузанна вошла в полевой соснячок и закрыла лицо рукавом. Куземкин всмотрелся в тьму и, сделав кстати все, что ему было потребно, неспешно воротился к огню.

— ...и откуда столько воды берется на свете? — сказал он, присаживаясь на свое поленце.

Ему не ответили; беседа продолжалась, и Сузанна поняла, что застала лишь конец ее. Потирая руки в теплом потоке воздуха, полным искр, Виссарион досказал:

— Электричество тоже великая вещь: повернут рычажок, и вы без **них** ни ногой.

— Лукаво задумано, — с удовольствием сказал один, сидевший спиной к Сузанне.

— Они настроят! — шумно вздохнул длинный мужик. — Я даве ящики со станции привозил... и все железо, железо, чистокровное железо, мужички! А тут гвоздь аль подкову Христом-богом выпрашиваешь.

Тут зашевелился еще один, и Сузанна без удивления узнала старого Мокроносова: Виссарион постарался обезопасить себя в отношении слушателей.

— Как построят, так и потечет на нас вонь. Мне техник сказал... — Кажется, он имел в виду сернистый газ, непременно и неуловимый отход производства. — И пойдет газ, и все им пропитается, реки и сушь. Еще корова-то ест травешку, зато уже молочка ейного пить не станешь! А лошадь просто понюхает, чихнет, выругается чловецким словом и прочь пойдет...

— А петухи — те, говорят, запросто, с ума сходят! — наспех выдумал Куземкин, вертясь всяко, и все покосились на него с недоверием испуга, да он и сам устрасился выдумки своей.

Виссарион не опровергал ни того, что вянут цветы от газа, ни того, что рыба всплывает **пузичком** вверх; задумчиво шевеля горящее сучье, он лишь направлял течение разговора так, чтоб острием он расположился против Сотьстрога. Тогда, плохо соображая возможные последствия поступка, Сузанна вышла из своего убежища. Застигнутый на месте, Виссарион ниже склонился к огню и молчал.

— Товарищи... я проходила мимо... — Она сбилась, ей стало холодно, никто не смотрел на нее, и только Кузем-

кин шутовски посвистывал себе под нос. — Это все чушь! Попросите управление строительства прислать вам человека, и он расскажет о производстве верней, чем этот недоучка. Газы ничем не отразятся на вашем хозяйстве, а щелока, которые обычно спускаются в воду... — она задохнулась от возмущения, — щелока у нас предусмотрено сгущать и сжигать на форсунке как топливо!

— Это, конечно, двойной и обоюдный факт, — равнодушно кинул Мокроносов и зевнул, и тотчас все зазевали кругом. — А мы рази против, девушка? Не, мы душевно за! А только вот: хазы детям нехорошо.

Двусмысленность положения мешала ей говорить слитно.

— Кому поверили!.. строительство уже дало вам новые избы, клуб, школу. Оно даст вам работу на круглый год...

— Такая смешная девушка, — насильственно заулыбался Мокроносов. — В клубе-то не кормят, а насчет музыки — у нас своя есть... как возле сытного стола чешем голодно брюхо!

— Хлеб будет, много хлеба... — Ветер обвинил ее дымом и искрами.

— Покеда твой хлеб созреет — жрать его станет некому: перемрем! — исступленно крикнул все тот же длинный мужик. — Во, гляди, сок через глотку текет...

Было смешно уговаривать людей, перед которыми мог безбоязненно раскрываться Виссарион. Все они были из той части Макарихи, которая в отошедшие времена незримо владела округой. Сидели тут двоюродни Алявдины, Иона и Тимофей, подрядчики и конокрадьей красоты старики; Алексей Дедосолов рядком, наплодивший роту сыновей, которых разбросал, как семена, по обе стороны российского окопа — «Цепляйтесь, детки!»; курил самодельную трубчонку и кашлял надсадно Шибалкин, знаток советского закона и юла; Лука, отец председателя, который с той памятной ночи не отводил мерклых глаз от Виссариона; Куземкин, которому страшно было снять с себя личину добровольного шута, потому что не было под ней ничего; Мокроносов, в прошлом — владелец ассенизационных обозов, о котором вдоволь сказано; Желудьев, о котором нечего сказать, потому

что при всех властях оказался чист, и некоторые другие порывистые, как ветер на Соти, мелкозубые, как мелко-слобно северное дерево. Их было не переубедить, как не заставить лес сойти с занятого места; их нужно было или рубить, или ждать, пока обгонит молодая поросль. Теперь все они строго глядели на Сузаннины калошки, и той было так, точно глыба камня лежала у нее на ногах.

— Я приду к вам в конце недели и сделаю доклад. Хотите?

Они украдкой перемигивались, и она нерешительно повернулась уходить. Минуту спустя, сделав знак молчать, Виссарион поспешно захромал за нею; после явного этого поношенья, в котором была и его доля, у Сузан-ны могло иссякнуть прежнее великодушие. Она почти бежала, не разбирая дороги.

— Слушайте, мне трудно догонять вас... я хромой! — крикнул Виссарион. — Остановитесь, не бойтесь меня...

Она обернулась, оскорбленная еще более этим под-зреньем:

— Вы... вы работаете от себя или от хозяина?

— Молчите, я объясню... это недолго. Надо же вну-шить когда-нибудь сознание силы в это рабское племя. Это полезно не только мне... — Она враждебно молчала, и он сделал вид, будто сдается: — Это вредно?..

— Это глупо, будить стихию, если не иметь власти над нею. Вы стали дрянью, поручик!

— Слушайте, я объясню, не торопитесь... — И вот уже шагал в ногу с нею... — Глядите, облако — кусок плаща, правда? А вы... вы знаете, что за ним, если оно распах-нется?

— Вы собираетесь читать стихи?

— ...потом, стихи потом. Слушайте... лягте на землю и слушайте: она орет. Мир гибнет... — Должно быть, он того и добивался, чтоб она хоть на минуту поверила в его сумасшествие. — На этой остывающей планете остыва-ет и человек... о, еще не однажды материя взглянет в это свое зеркало и ужаснется!.. все кристаллизуется, все при-ходит к последнему равновесию: нет, еще не Клаузиус, а только демократия и новый, еще неслышанный человек. Не торопитесь приветствовать его заранее, счастливые родители... Я говорю, что мир на небывалом еще ущер-

бе, в основе его ненависть и месть, его законы для подлецов, его техника для расслабленных, его искусство для безумных... Цивилизация — вот путь, вырождение — вот завершение. Я простужен, у меня слипаются слова... но поймите меня. Не мысль, не идея, а вещь формирует сознание. Не бог ограбил человечество, а вещь — лукавый хозяин мира. Не правда? Когда-то на заре он сам был богом, мохноногий человек: он раздавал имена и приписывал смыслы. Он был могуществен, потому что дружил со стихиями, сам сын хаоса и первоначальной силы. Он понимал мудрее нас это бессмысленное вращение глухонемых шаров: они бегали вокруг него и для него... не пугайтесь, это о звездах, здесь нет опасности вашему Сотьстрою. Ха, космический гороскоп благоприятствует ему! Пращуру тепло было в его природной шубе, глаза его умели издали отыскать добычу, а ноги — догнать ее. Так проходили тысячи лет, но вот в минуту временного отчаянья и бессилья родилась вещь. Она разом впитала в себя качества и свободу хозяина. Культура и есть выделение его первородных качеств!.. Шкура его стала домом, зоркость выделилась в великолепную оптику, а из ног выковались колеса. Вещь обещала ему химерическое блаженство, и вот в погоне за ним, утрачивая свою великолепную дикарскую красоту, человек ринулся вперед... его бег страшен, потому что он боится отстать от своей неверной, никогда не достигаемой мечты. Иногда он в усталости высовывает свой иссохший, истрескавшийся от жажды язык, не видите вы? Раньше он умирал от геройства или любви, теперь он погибает от расширения аорты! Утерялись все нормы, наступил хамский апогей естественных наук. Множась, они, подобно волхвам, понесли свои дары к колыбели богочеловека. Вспомните!.. человек есть то, что он есть. Любовь — взаимное влечение яичников. Солнце — злосчастный гном, дни которого сосчитаны и гимназистами. Душа — функция протоплазмы... Один принес обезьяну, другой рефлексологию, третий манифестировал конечность вселенной, четвертый подрумянивает старцев мясом, вырезанным из козла, пятый... Ха, придет еще один Фрейд, и не останется веры ни в чистоту, ни в дружбу, ни в невинность; наступит разочарование, все перестанут смеяться, потому что

разучатся плакать, а тогда погаснет и вера в необходимость жить. Уже теперь: зачем Увадьеву любовь?.. зачем в Англии король?.. зачем над островом Маврикия плывет облако? Все рассечено и познано, но слушайте: произошел обман. Познан труп в его мертвых, отдельных частях, а живое единство ушло невозвратно. Каменщик, бьющий камень, заражается его твердостью. Неспроста впереди революции шагают металлисты. Человек заразился сукровицей своего знания... И вот душа изгоняется из мира сквозь строй шпицрутенов и палок. Чудовище, родившее Библию, Коран, Илиаду, стало клячей. Ей не поспеть, она хромот, как я! Эллада, равновесие начал, единство остались позади, за кормой... Слушайте, я говорю: назад, к тезису. Неясно? Назад, к прапатели всех Эллад...

Только теперь она очнулась от его смутительного сумбурного напора; он обвевал ее горячим ветром, но, нападая, он, кажется, заискивал в ее сочувствии. Она собрала в себе силы, чтоб усмехнуться.

— ...говорите, говорите! В вашем положении надо много говорить. Вы кричите как будто о синтезе, а между тем упускаете область социальных отношений. Человечество разрублено на государства, на классы и группы, но именно коммунизм объединит эти разобщенные части... так? Кроме того, уже теперь химия сливается с физикой, а биология неотделима от химии... мы на пороге единого познания мира в его целом, переливающимся существе.

— Чужое! Бред того грека, которого называли Темным...

— Значит, старик был близок к истине. Но при чем тут антисоветская агитация и мужики?

Ему было выгодней не расслышать ее.

— ...не торопитесь! Я весь мокрый и простужен. Я недоучка, вы правы. В пору, когда надо было учиться, в меня стали стрелять, а я отвечал. Все стреляли, даже женщины постигли это ремесло. Не спешите; вы попали мне в коленку, и у меня плохо срослось. Слушайте! На турецком фронте к нам в штаб прислали Бимбаева. Там предполагалось наступление, и нужно было взять один укрепленный бугор... такую опухоль, изрытую саперами. Он приехал на такой загогулине о двух горбах, ехал



и качался чуть не от самой Эривани. Он был в синем пенсне, и у него было какое-то неблагополучие в морде, кажется туберкулез кожи... поэтому он был застенчив. Через неделю он вызвал всеобщее восхищение, когда испытанные мастера уничтожения видели, на что способен ученый, если он сочетается с практиком. Он связался с физической лабораторией, ему прислали синоптические карты давлений, с разметкой их центров. В двое суток он основал свою собственную сеть метеорологических наблюдений и однажды, в солнечное утро, пустил волну. Я помню: поддувало с северо-востока. Газ заковывал вглубь. Артиллерия замолкла сразу. Все было очень тихо. Ничто не нарушало погожего благополучия рассвета. То был великолепный апофеоз науки! Две тысячи трупов нежной мраморной расцветки и двести семьдесят медалей тем, которые месяц спустя лопатами сгребали мертвечину в братские могилы. Там было очень жарко, а убитые лежали в зоне жестоких заградительных огней. Кроме медалей, людям выдавался чистый спирт, чтоб, оглушив их в самом начале, приспособить к этой необычной работе. Один прапорщик запаса, словавшись, стал стрелять в своих, и его зарубили теми же лопатами; убийц не судили. У меня был кодачок, я снял, но фотография пропала при аресте. Зато сохранилась другая: как его качали в штабе, этого Бимбаева. Он застенчиво цеплялся за погоны офицеров и лишь вскрикивал: «Осторожней, господа... мое пенсне, осторожней!» Он превзошел всех наших героев, этих самонадеянных кустарей; он дал военной науке изумительный опыт. Я потерял все, даже ладанку матери, но эту фотографию носил за пазухой, на сердце, как паспорт моей идеи. Я пошел звать его в собрание, на блины. Я сказал: «Вы — черт!» Он очень скромно уклонился от похвалы: «Зовите меня лучше Сергей Николаевич... это больше соответствует действительности!..» Мы с ним сошлись, приятный малый. Он сообщил, что газы в войну — не его выдумка, а того немца, профессора Нернста, реализовавшего наконец тысячелетний опыт науки. Это имя достойно быть вырезанным на медных досках в университетах... его грудь по справедливости украшена не одним, а тремя, может быть, миллионами крестов...

я говорю, разумеется, о братских могилах. О, Бимбаев великий провокатор, который так умно показал мне могущество науки! У него была задумана великолепная машина, — в ней не пушки, а только колбы, сгустители, много труб, лопастей и вращающихся дисков... здесь-то химия побратается с физикой и механикой. Ее пускают люди в каучуковых халатах! Сама унюхивая запах человека, равно — бегущего через огромное поле или кричащего в столбняке, она двинется на города, чтоб кусать, жечь, стричь, прокалывать, жевать, давить и отравлять людские мяса. Ха, они будут крутиться, зарываться в землю, кидаться в пропасти, залезать в горящие печи, а она их будет догонять... вы играли ребенком в горелки? Он еще потрудится, Бимбаев, пока его разум не сожрет волчанка. Вы слышите, как он потеет? Колеса движутся, машина готова, но он еще хочет учетверить количество ее функций. Может быть, Бимбаев учит ее летать, или улыбаться, или произносить слово **мама**... — Он в изнеможении стиснул рукою бегущий мимо него воздух. — Однажды я видел, как от пули упал человек...

Она прервала:

— А вы думали, что он танцевать начнет?

— Нет, я ждал, что он вынет пулю и кинет ее назад!

— Итак, договорились до революции?

Может быть, он растерялся перед новым словом:

— Да... если так называется великий гнев.

Изредка распахивалась облачная дверь, и неопределенная вспышка луны или зарницы освещала окрестность. Она текла, и все текло под нею. Виссарион ежился; ветер кромсал легонькое его, казенного покроя пальтецо, купленное им на первое же жалованье завклуба. Иногда он с маху ступал в лужу, брызги летели на ноги Сузанны, но она не умела выбрать минуту, чтоб остановить его.

— ...тогда я уперся в это слово, вы правы. В семнадцатом году я состоял членом полкового комитета депутатов, но скоро переменял установку: меня засадили в сумасшедший дом, который охранялся пулеметами. Я говорил: в революцию выживают либо дубы, либо гибкий осинничек, крапивка да прилипчивая ягодная травка в тени подгнивающих пней. Я хотел сказать, что гибнут лучшие, носители огня, что укрепляется здоровье меща-

нина. Прошедший сквозь революцию, он страшен своей подавляющей единогласностью. Но все забывается через поколение, а многое перевернут поэты, все окисляется, а растоптанная вещь... о, как она еще отомстит за свое временное поругание! Я был левее всех, потому что восставал в самом первоисточнике неравенства, в культуре. Вот она лежит, развороченная, и всякий тащит себе из нее, что ему по плечу или по карману. Я говорил: надо выжечь отравленное это наследство, потому что мертвецы... все эти Гомеры да Шекспиры правят нами сильнее любых тиранов. Надо уничтожить мозговой элифантиазис, эти благородные клеточки, где угнездились микробы вырождения. Восставайте до конца! Человечеству ничего не остается, кроме как забыть свое прошлое и начать сначала. Вы скажете: пролетариат взялся за эту задачу...

— Приблизительно так, — вставила она.

— ...вы говорите: обновление произойдет, Эллада вернется, но не мы вернемся в нее. Прежняя держалась на рабстве, но в этом не было гибельных противоречий, потому что раб не был человеком. Она погибла, когда сделали это запоздалое открытие. Эллада будущего разовьет индивидуальность, она станет держаться стальными рабами, машинами... не будет классов, процессы жизни сольются в одном. Будет новая дружба — равенства, а не подчинения. Будет коллективная душа. Так?

— Я не возражаю вам.

— Бимбаев говорил... он был, кажется, бурят: э, трэщина, звон не тот! Человечество задушат сытость и неразлучное счастье. Исчезнут социальные противоречия — источник развития. Уничтожится потенциал, и другой потухнет сам собою. Вот уж где — ни радости, ни печали, ни воздыхания... вот где благополучный, уравновешенный кристалл. Я буду отвечать за вас. Вы говорите: да... или возникновение новых, безумных противоречий? История человека — увеличение власти над природой, развитие его производительных сил? Героическая эта борьба ослаблялась классовой борьбой... вы мне напомните американцев, сжигающих зерно в топках паровозов, голландцев, которые вырубали кофейные деревья, чтоб не упали мировые цены? Без всего этого с новым блеском и бешенством вспыхнет творчество? Тогда-то и

наступит расцвет духовной и физической мощи. Вы говорите: вперед, к синтезу... пусть распадется посеянное однажды зерно?

— Да... вы увидите! — Она вдруг поправилась: — Нет, вы уже не увидите...

— Моя удача — не видеть кары! Человек прорубит наконец эту голубую скорлупу и вылупится в мир еще незнаемого цвета... там караулят его еще не испытанные холод и одиночество. И уже не будет души, огонька, у которого можно было погреться. Поймите: где-то на перегоне двух космических скоростей, лучей различной длины мы — неповторяемая случайность. Вы — химичка, представьте — другая волна, или в основе органического мира не углерод, а азот — и все бессмысленно, потому что разумно для кого-то другого. В этом тупике куда я дену свой изошренный разум, познавший наконец собственное свое ничтожество. Пусто, и даже голову разбить не обо что! Я говорю...

Именно то, что угнетало ее навязчивого собеседника, поселяло в ней жажду преодоления. Она ждала выводов, вроде тех одесских безмотивников, которые подвизались с бомбами во имя беспринципного террора в начале века. Это было похоже и на буржуазных дадаистов, бунтующих против урбанизма, в котором заложены опасные социальные фугасы. Она недоумевала: чем он попытается увести внимание от более насущных проблем. Она сказала:

— Вы думаете, если у рыбы отрезать плавники, она будет ходить?

— Научится.

— Это смешно: хромой завклуб спит на дереве, зацепясь ногой за ветку!

— Нет, отступить до пастушества — и точка.

— Но ведь стадо — это уже интеллект, это организация!

— Нет, инстинкт! И журавли имеют вожака, а летят клином...

Остановясь, Сузанна нетерпеливо теребила ветку сосенки, и дерево шумело от осыпающейся капли.

— Я отвечаю вам: поколение, которому принадлежит жизнь, порвало связь с прошлым. Оно выросло в грозе,

его не увлечь мишурой из прошлого. Кроме того, у них есть смелость желаний...

Он обнажил зубы:

— Для них и хлеб достижение!

— Да, потому что ему придан другой смысл. Чего же хотите вы?

— Воскресения души.

— ...то есть реставрации? — Она предоставляла ему возможность открытого поединка, но он не воспользовался ею. — Хорошо, отрицая путь обновления пролетариатом, вы предлагаете?..

— Надо вызвать к бытию человека, который спасет.

— Вы говорите о Бонапарте?

Он со злобой поднял руку:

— Не надо браниться! Я сказал об Аттиле.

— Я не понимаю.

— Так не прерывайте меня!.. земле нужен большой огонь. И верьте, ураган этот наступит, Аттила придет в нем. В годы войны и нищеты в России уже рождался этот ребенок, наступало прозрение истины. Титы Ливии, Теккереи, Мильтоны всех стран охотно разбирались на сигарки, а Рубенсы, если попадались в гущу вихря, ценились лишь по количеству калорий, заключенных в их обветшалых холстах. Одетые в гнев, люди подымали руки на музеи, в которых скопились Мидасовы богатства, все эти портреты и статуи лукавых праведников, безумных завоевателей, мадонн, мошенников, арапов и дураков... Этим людям души были дороже, чем Пифагоровы штаны или собор Парижской Богоматери. Они говорили: пусть мертвые лежат в земле и не правят живыми через посредство гениев. Человек мстил красоте, которую родил и которая сделала его рабом. Ребенок рос, стихии были няньками, он уже ухмылялся, и, судя по резвости, можно было ждать от него великих свершений... каждый двадцатый в стране видел его собственными глазами, но предприимчивые родители... ха, все те же порох и сытость! Но он еще вернется, возвратит утраченную душу, научит понимать хлеб, любить едкий дым костров. Он придет на коне, одетый в лоскут цвета горелого праха, в волосах его ветер, в бровях полынь. Слабые вымрут в год, а сильных он посадит на коней и поведет назад, к тези-

су. Время потечет вспять, через темные дни; им придется переплывать реки крови, карабкаться через Гималаи обесмысленных вещей...

— ...они разобьют погреб и выпьют всю водку! — в тон ему встала Сузанна, но его уже не остановить было и насмешкой.

В этом последнем странствии родится новое, беспмятное поколение. Только в песнях, у громадных степных костров, они помянут про глупую рыбу, которой посчастливилось однажды выброситься из волшебных неводо́в. Пускай: песня, как могильный памятник, — она способствует забвенью... Границы областей сотрутся, вся планета станет человеку родиной, словам **любовь** и **солнце** вернутся их первоначальные значения. Не все, но каждый будут счастливы. В пустыне проскачет свободный и голый человек. Слушайте... я до сих пор так и не знаю вашего имени... неужели вы не понимаете, что, в сущности, человечество только и живет надеждой на Атилу?!

Сузанна с любопытством взглянула на него:

— А советские фабрики и заводы надо взрывать или не надо?

Он ожесточенно покачал головой:

— Вы так и не поняли меня. Я напрасно распространялся перед вами. Мне жаль себя...

— Нет, я поняла и благодарю за доверие. Я попрошу Увадьева сделать оргвыводы, как теперь говорится! — Она уходила.

— Последний вопрос! — Он заступил ей дорогу. — Где тот?.. его звали Савкой в ту ночь.

— Савка?.. он сунул гранату в рот, когда его брали. Имейте в виду, это почти и не больно.

Ему хотелось догнать ее и отнять свою идею, которую она с такой легкостью подвела под статью Уголовного кодекса. Но она ушла, а он, выдернув травинку, обессиленно жевал ее сочный, сладковатый стебель. Ему пришла мысль, что он запутался, что вовсе и не хватит воли на овладенье миром. Там, под сумасбродной оболочкой идеи, крылось простое человеческое честолюбье. Именно не война, не годы развала и бедствия создали его характер, а ничтожный случай юности, когда еще со-

бирал марки. Дело было в реальном училище, дело было в директорском кабинете: штатский генерал со лбом до самого затылка уговаривал его сходить к высокому покровителю и шаркнуть ножкой за стипендию, на которую учился. Голос был замшевый, замша пахла опопонаксом, она моталась из живота почтенного чиновника, где скрывались целые рулоны такой замши. А Виссарион угрюмо косился на серебряный колпачок чернильницы, где передразнивал его послушные кивки головастый ублюдок... И вдруг он рассмеялся мысли, что Сузанна могла ему сказать: а ты хоть и с запозданием, но шаркнешь ножкой...

Побитая гнилая вика цеплялась за ноги. Он шел быстро, и над ним его же путем катилось облако, взетрошенное и в полнеба; одна и та же влекла их судьба. Ярость ускорила шаги Виссариона, но и облаку прибавил резвости усилившийся ветер. Оно распалось над лесом в тяжелые, морозящие клочья, а человеку понадобилось прежде свернуть в Макариху, к дому председателя волсовета.

## V

Всем, кто умел заснуть в эту ночь, снилось это дикое облако, но каждому в различном виде. Увадьев видел красный шар, громоздко катившийся с востока на запад, Акишин — окоренную болону на шестериковом березовом комле, которая издалека несла последний удар на сотинскую запань; Вассиан — просто заячью голову, кошунственно пристегнутую к безгласному тулову Евсевия. И будто тысячи народу от гор, от рек, от степей пришли поклониться святому, лежащему в пышном соборе, который к этому сроку уже достроило Вассианово воображение. И будто, стоя ближе всех, все старается казначей прикрыть платочком меховое лицо старца, но тот бьется и сдергивает пелену, и все видят и, внезапно прозрев, бегут вон. И тут, на перегибе сна и яви, снова вкрадывается сомненье: истине ли поклонялся, правды ли ради лукавил бессменно двадцать лет в многотрудной должности казначея? Все чаще теперь вторгалась такая сумятица в непрочные сны Вассиана...

Накинув овчину, он вышел из кельи. За облачной высокой кисеей расплывчато и надменно просвечивало солнце. Розовые потемки зари здесь, на огороде, пахли тмином. Бурная ночь придвинула оползень еще на полсажени; гряды укоротились, и огуречные усы недоуменно повисали над бездной. Было обидно глядеть на поломанную, втопанную в грязь ботву, Вассиан бесцельно обошел скит. Всюду жестокое опустошение представляло его хозяйственному глазу. Ночью близ церкви десятибалльным ветром повалило дерево; вершина проломила железный навес и вышибла цветные стекла на паперти, дар все того же чудака Барулина. Подняв осколок покрупнее, Вассиан сокрушенно протирал его полою, точно он мог еще пригодиться в этом обреченном гнездове бога.

Его неудержимо потянуло прочь из гиблого места. Не расставаясь с драгоценным осколком, напомниманием былой славы, казначей двинулся по просеке, выведившей прямо на мысок. Давно здесь не проходил никто; по дорожке расплодились цветистые и наглые грибы. С деревьев шумно падала ночная влага. В орешнике неуверенно посвистывали птицы. «Это чирки», — подумал казначей и, хотя был знатоком пернатых, не заметил своей ошибки. Из трещин на скамье выползла ядовитая оранжевая плесень. Смахнув ее веткой, Вассиан присел на краешек, осторожно, — как в чужом доме. Сверху, на взгляд казначея, все обстояло благополучно. На реке по-прежнему стояла прорва лесу; запань искривилась дугой, и только отдаленное журчанье вод напоминало о паводке. Зевнув, ибо уже утомился печальями, он приложил осколок к глазу. Цвет стекла был густо-красный.

Он не узнал Соти и, не поверив глазу, принялся протирать стекло. Красный зной стоял над рекою; листва была прозрачна и темна, а небо исполнилось недоброй черноты. Все было как бы в пламени, а лесная масса представлялась потоками застылого базальта, извергнутого из недр. Облачная лава надвигалась с востока. Движения людей, копошившихся на противоположном берегу, приобрели злую и тревожную значительность. Стекло искажало правду; правда стекла была совсем другая. Верховой гнал по берегу клячонку, везя почту на Шушу, а Вассиану показалось, будто на апокалипсическом тара-



кане удирает от Страшного суда. Красная пленка легла на сознание казначея; он увидел человека, стоящего неподвижно на берегу, и почувствовал, что человек сейчас неминуемо упадет. Он едва успел откинуть колдовское стекло, и в ту же минуту произошла катастрофа. Прорыв запани произошел на его глазах.

Что-то молниеносно сверкнуло под лесным затором, и потом дважды выстрелили из игрушечного пистолета; на пятнадцатисаженной высоте, где находился Вассиан, все представлялось ему в преуменьшенных размерах. Запань стала еще круглей и вдруг выскочила из пяты; костоломная сила метнула бревна по реке, которая стала чуть не вдвое шире. В особенности испугала Вассиана легкость, с какой вековая ива отделилась от своего места и, стоя посреди, двинулась общим потоком. На середине реки, где плотность массы понизилась, она упала и билась ветвями в воронках водоворотов. Когда ее снова выкинуло на поверхность, она ничем не отличалась от тысяч других кряжей, этих сотьстроевских солдат, так и не побывавших в бою. Держась за скамью, точно боялся, что беда утащит его в чужое море, Вассиан потерянно наблюдал бешеную скачку пены и деревьев. Потом его внимание привлекло белесое пятно на коленке: ряса разъезжалась, а новой уже не было. Он так и понимал: надо кончать жизнь — затянувшуюся, несмешную неудачу. Большая сотинская беда заслонила своею, маленькой: чтоб жить дальше, надо было непременно придумать, как выгодней всего пустить нитку по расползавшейся ткани.

Там, на берегу, почти с таким же бесстрашием созерцали катастрофу; это было равнодушие бессилия. Собравшись сюда точно на похороны, рабочие угрюмо ждали утреннего гудка. Часом позже их сменили мальчишки; рассевшись на жердях изгороди, они с задирчивой деловитостью обсуждали происшествие. Скоро сбежали и они: у Тепаков выкинуло утопленную корову; надо было обсудить и корову. К полуденному гудку на берегу находился лишь Ренне да еще береговой десятник с ним. Похлопывая инженера по плечу, дыша ему в лицо водочным перегаром, он в десятый раз доказывал свое:

— ...в прежние годы выругался бы, взял бы расчет, да к жене на печку. А ноне, рази ж я не понимаю, хрест на

груди, деньги-то чье? Почитай со всего уезда, что в налог собрали, деньги утекли, Филипп Александрыч! Мужики потом исходили, бабы беременны трудились... шкету восьмой годок, ему б порхать, а и его в сообщий хомут впрягали, чтоб репку эту из земли тащить... а тут фить! и прощай, обожаемая репка. И выходит, что вроде как бы на картах мы с тобой эти деньги проиграли, Филипп Александрыч. И неповинен, хрест на груди, а убить себя охота!

— Не хаами, братец, не хаами, не люблю... — морщился Ренне на его трескотню.

— Теперь непременно отдадут нас под суд. Засодют, а уж там папироски не закуришь, а все махорочка, мать родная. На, Филипп Александрыч, приучайся! У-у, утроба... — рычал он реке, и плакал, и вскакивал, пьяный, и снова плакал как-то странно, слюною.

Соть посмирнела, ее воды тащились медленней. В кабинете Бурого висел анероид, неустойчивая стрелка его выражала как бы смущение. С утра бессонный телеграфист начал выстукивать увадьевские послания и в уездный исполком, и в Бумагу, и в Совет народного хозяйства. В конторе стало тихо, и даже старший бухгалтер, имевший дурную склонность петь коровьим голосом, отправляясь домой с работы, похоронил в себе свои рулады. Только к концу дня, после заседания, Увадьев вышел из кабинета в общую канцелярию. Лицо его огрубело, а руки цеплялись за предметы, мимо которых проходил; он с удивлением признавался себе, что устал, и потом угнетало странное ощущение, будто озябла спина. Заседание, посвященное выработке мер по ликвидации сотинской катастрофы, кончилось ничем. Лес был нужен больше, нежели цемент и железо; начинались срочные работы по опалубке второго перекрытия и по возведению рабочего поселка. Бурого требовал немедленного сокращения работ, так как при новой смете и неясности положения строительство могло встать перед внезапной угрозой остановки; Увадьев настаивал лишь на постепенном снижении строительного темпа, рассчитывая, видимо, добыть к сроку потребные лесоматериалы. Рабочком по понятным соображениям от голосования отказался. Заседание отложили до вечера, чтоб выслушать

мнение Потемкина, продолжавшего оставаться начальником Сотьстроая. Ренне на заседание не явился; общий запал злости так и остался неизрасходованным.

Когда Увадьев раскрыл дверь, облако табачного дыма стояло за его плечами.

Канцелярия была пуста; только у окна, белесая в пасмурном свете, стучала на машинке переписчица. Увадьев с зевотой вспомнил: ее звали Зоей, она славилась аккуратностью и всегда попахивала мылом. День гаснул. Внизу передвигали стол. За окном, утопая в грязях, прошел главный механик Ераклин.

— Что печатаете? — спросил Увадьев, подходя к столу.

— А вот Степан Акимыч просил спешно ведомость на жалованье! — Это и был бухгалтер с коровьим голосом. — Сколько фунтов табаку искурили! Прямо одурь берет...

Она подняла к нему круглые свои, из скуки сделанные глаза и улыбнулась сладко, точно подарила пяточковую шоколадку.

— Да, дымно... — Он все не уходил. — Вы из местных, кажется?

— Нет, я из Вятки, а у меня сестра тут, учительница в Шонохе. Красивое село, только из-за медведей страшно...

— Ага, это очень интересно... — глухо протянул Увадьев.

Он смотрел сверху на ее короткую белую шею, на дешевенькие коралловые бусы, на простенькое кружевцо рубашки, торчавшее из-под блузки, и бровь его подымалась все выше и выше: выходило, будто никогда прежде не видал в такой близости этого светлого пушка на женском затылке. В руках родилось непонятное беспокойство; чтоб побороть его, он взял папиросу из лежавших рядом с потрепанной сумочкой и закурил. Сразу — словно ломом ударило по шее; теплый дурман пополз по жилам, и что-то размягченно улыбнулось в нем внезапной пустоте. Теперь уже не было страха, что папироса произведет огромный дым и все догадаются, что Увадьев сдался. Машинистка снова усмехнулась, и на этот раз ее усмешка не показалась такой противной, как минуту раньше. Он протянул руку и медленно погладил пушистые завитки

на ее затылке. Лицо его было безразлично и даже исполнено хозяйственной деловитости, точно пробовал на ощупь качество целлюлозного волокна.

— Меня зовут Зоя, — очень тихо сказала машинистка, замедляя работу.

— Стучайте, стучайте... Я не мешаю?

Она шумно передвинула каретку:

— Да нет, что же... ведь пальцы-то у меня свободны!.. вы такой нелюдимый.

— Нет, я людимый, — без улыбки возразил он, и ему было так, будто заставляли жевать помянутую шоколадку. Табачный яд, вливаясь в привычные русла, застилал сознание. — Вы тут и живете?

— Я же сказала... я с сестрой, в Шонохе. Как ручей перейдете, там с голубыми наличниками дом. Сестры никогда дома не бывает. Нагрузки всякие.

— Красивое село, — невпопад согласился Увадьев, и тут мысль его вильнула в сторону: — Слушайте, вы финики любите? Ну, ягоды такие, на пальмах. Мне приятель из Туркестана прислал третьего дня.

— Это от них зубы болят?

— Вот-вот... приходите есть финики, — сам не зная зачем предложил он.

Она с готовностью подняла голову:

— ...сейчас?

— Нет, финики не к спеху. Достучаете и приходите... к шести.

Домой он пошел окружной дорогой; хотелось побыть на воздухе и немного раскислить настроение. Он шел мимо, и все ему не нравилось. Рядом со срубом, где предполагалось поместить рабочий универмаг, стояла уже изготовленная вывеска; в луже пестро отражались вывороченные буркалы букв. «Поганая мода завелась, всякое дело начинать с вывесок!» — хмуро заключил он. Дома для административно-технического персонала только размечались; Увадьев вспомнил надоедного санитарного врача, который еженедельно требовал расширения рабочих бараков, вспомнил погибавшего в грязях Ераклина и подумал, что проложить дощатое подобие тротуара, без которого легко обходились до непогодного этого месяца, следует еще прежде, чем приступить к баракам. На все

нужен лес, много леса, того самого, который теперь по чужим поймам исступленно раскидывала Соть.

...нужен был лес. На полузакрытой платформе в железном забытьи валялись разные части крупных машин, которые частично уже начали поступать на строительство. Тут были всякие медные коленчатые шеи, хваткие стальные руки, готовые взяться за маховики, чугунные пищеводы, нужные, чтоб питать водой еще не родившегося гиганта. Иные части его сидели в сквозных ящиках и покорно ждали срока своего воссоединенья. В этот пасмурный день металлу было холодно; наверно, ему мерещилось тысячелетнее клубенье земных глубин и тягучий зной домны, откуда его вытащили в зноб и ненастье сотинского вечера. На дома для них нужен был лес, уйма лесу... Увадьев бродил целый час и устал больше от раздражения, чем от ходьбы по невылазному этому месиву. Вдруг кто-то взял его за руку.

— А я вас уже давно жду! — жаловалась Зоя.

— ...да, финики! — с досадой вспомнил он и не знал, что ему дальше делать с машинисткой. «Заставлю ее докладную записку перестукивать; через час сама убежит...» — с облегчением придумал он. Зоя молчала и ногтем, высунувшимся из нитяной перчатки, чертила по стене какие-то узоры, а потом обводила пальцем сучки в бревнах, пока он несоразмерно долго отпирал дверь. Они вошли в ту чистую половину избы, которую называют горницей. Увадьев зажег лампу и задернул занавеску; тотчас же другое окно оказалось тоже задернутым. Если бы он своевременно заметил ее помощь, наверно, еще раньше произошло бы то, что так смешно и нелепо случилось получасом позже.

— Вы распаковывайтесь... счас мы их и достанем, финики. Они в корзинке, я их от мышей пересыпал!.. а потом будем перестукивать доклад.

Зоя понятливо улыбалась.

— А мне тут нравится, — говорила она, осматривая грязноватые стены избы. — Очень так просто. Только клопа, наверно, много. Знаете, они ужасно можжевельника не любят, вы попробуйте стружек под простыни насыпать!.. Хотите, я вам абажур на лампу сделаю? Давайте скорей бумагу и ножницы!

— У меня нет ножниц.

— Ну хоть маленькие, для ногтей... все равно.

— А я ногти просто ножом. Нет, слушайте, не надо абажура, не люблю этого, темноты! Пускай все будет ясно...

Получалось, что он как будто даже растерялся перед катастрофической быстротой, с которой подвигались события. «Вот-вот, всегда так начинается. И она не верит, что доклад...» — соображал он, вываливая финики кучей на лоскут бумаги. Унылая мысль текла до чрезвычайности туго; он понимал одно — это враг... Пока Зоя сперва с изумлением, а потом и с жаром пожирала финики, он украдкой рассмотрел ее. Была она молода и, несмотря на морковный румянец, миловидна, хотя и коротковата, как почти вся северная женская порода. Кроме того, она была далека от всяких высоких затей, все ей было несложно, и оттого мир был нетребователен к ней. Тараторя про себя и сестру, она вдруг ужаснулась на свою прожорливость и нерешительно положила обратно на стол надкушенный финик.

— А вы... почему не едите?

— Я ел. Я их по ночам ем. Встану и ем.

— А молчите почему?

— Да я все слушаю, очень интересно, — успокоил Увадьев, кусая губы.

— Хотите, я сбегая за Веркой? У нее гитара. Она поет, очень мило. То есть подруга поет! Очень симпатичная...

— Нет, уж без подруги... я не люблю симпатичных.

Она неумело погрозила ему пальцем и со вздохом доела финик.

— Вы страшно-страшно хитрый. А это верно, будто станут сокращать штаты? Верка ужасно боится, что ее сократят... У нее отец городской был, но ведь он помер, а они даже все карточки его сожгли!

Сосредоточась на своем, он недослышал ее вопроса, а она уже забыла, теперь груда фиников почти не уменьшалась. Вдруг он поднялся:

— Вы, значит, посидите, а я позвоню, чтоб прислали пишущую машинку... У меня телефон в той половине. Вы ешьте, ешьте!

— Вы ужасно хитрый... — сказала она ему вслед.

Он вышел в комнату, где стоял его рабочий стол, и вызвонил Сузанну; она подошла сразу.

— ...нигде не могу отыскать. У вас нет Бурого?

— Кто говорит? А, Увадьев!.. нет и не было.

Она замолчала, а он все не клал трубки назад.

— Что вы делаете сейчас, Сузанна?

— В данную минуту? — Она посмеялась его любопытству. — Наливаю хромовой смеси чистить химическую посуду.

Еще прошла одна минута очень нерешительного молчания.

— Я выписал вам этих, как их?.. покровных стеклышек.

— Отлично, микроскоп мой благодарит вас! Вы что-нибудь еще хотите мне сказать, Иван Абрамыч?

— Да... — Ему очень хотелось закурить в этом месте разговора. — Вы... извините за нелепый вопрос!.. вы ничего не замечали за мной в последний месяц?

— По-моему, у вас болели зубы. Угадала?

— Не совсем.

— Нет, правда, вы всегда такой рассудочный, сосредоточенный в себе... Однажды вы мне напомнили Печорина, — помните, у Лермонтова? Но только другого века и класса... вы даже ходите и руками не размахиваете, как и он: по той же скрытности. Вы читали Лермонтова?

— Прочту!

Она прекратила разговор, а он все сидел у стола, крепко сжимая трубку, точно то и была рука Сузанны. Табурет поскрипывал в такт его дыханию. На столе тикали карманные часы; они напомнили — через полчаса начиналось заседание у Потемкина. Кто-то громко чихнул: это была телефонистка, которой любопытно было даже самое молчание Увадьева.

— У вас насморк, товарищ, вы можете потерять работу! — негромко сказал в трубку Увадьев и, сунув часы в карман, пошел к гостю.

Дверь он раскрывал медленно, в надежде, что Зоя не дождалась и ушла; он ошибся, и вот бровь его сурово и гневно поехала куда-то на висок. Освещенная лампой, машинистка сидела голая, на ней оставались только бусы. Пеговатые ее волосы прямыми косичками ложились на

плечи. Ей было, по-видимому, очень холодно, по коже плеча явственно проступали пупырышки. На бумаге от фиников осталась только горстка. Зоя робко улыбнулась, и это была ее единственная одежда.

— ...я сюрприз вам, — сказала она виновато и ждала.

Увадьевское лицо перекошилось и стало походить на кулак:

— Вон... немедля вон! — и сам не слышал своего голоса.

Потом он сел на лавку и тупо глядел куда-то в обратную сторону; осунувшееся лицо его стало точно после сыпного тифа. Гостья торопливо и неуклюже одевалась, все задевая вокруг себя; от испуга она даже забыла, что слезы тоже могут быть одеждой. Вещи отказывались служить ей: туфля не влезала на ногу, а блузка поползла по шву. Вдруг увадьевское внимание привлек какой-то шелестящий звук, он неторопливо оглянулся. Из раскрытой сумочки, которую Зоя схватила впопыхах, сыпались на пол украденные финики.

— Это для сестры... для сестры! — шептала она, вся дрожа.

Увадьев молча вырвал сумку из ее рук и доверху набил финиками из своего запаса; они липли к его рукам, а он вколачивал их в сумку с ожесточением брезгливости.

— Кланяйтесь вашей сестре! — крикнул он, расправляя слипшиеся пальцы.

— Зачем вы сердитесь... ведь все так! — только на пороге зарыдала она.

## VI

План мобилизации населения так и не удался. Упрежденные кем-то вовремя, мужики еще с вечера принялись разъезжаться по гостям. Пронька с Мокроносовым бегали по дворам уговаривать, чтоб не покидали строительства в эту опаснейшую для него минуту, но у тех свои имелись доводы. Кругом начиналось пированье: в Шуше праздновали Казанскую, а в Ньюгине пятнадцатое июля месяца — примечательный день, в который горели семь лет назад, а в Ильюшенском просто так, по случаю ненастья, собрались проплясать свое горе кумовья да сва-



товья. Судя по запасам, какие грузились на подводы, гостеванье предполагалось долгое.

Кое-где, однако, бранью и угрозами, молодежи удалось задержать отцов от бегства, но на сход явились лишь юнцы да безлошадные вдовы. Все же Фаворов, как представитель Сотьстроая, стал говорить и говорил неплохо о многих высоких вещах, а кончилось тем, что какая-то клыкастая старуха — не ведьма, так ее родственница — так и полезла на оратора:

— Эй, господин, запрягай нас самех... садись да постегивай! А и подохнем — мало убыли...

Мокроносов хмуро выступил вперед и спросил, куда ехать; и еще не успел Фаворов добраться назад к Увадьеву, как уже обогнали его двадцать три гремучие крестьянские подводы... Да еще две волости из двенадцати приречных отозвались на увадьевский призыв; к ним присоединился весь наличный транспорт строительства. В сущности, это и было пока все, чем можно было залатать дыру прорыва.

Постепенно увеличивались сотьстроевские катища, но и работы находились в полном разбеге; уже через полторы недели после катастрофы стали ощущаться нехватки лесоматериалов. Соть быстро спадала; по слухам, кое-где на малых реках из-за обсыхания даже простаивали плоты, и все-таки лесные организации не соглашались обменять своего сплава на раскиданные увадьевские сокровища, которые надо еще было ловить. При общих размерах нового строительства и потребности в лесоматериалах никто, разумеется, не мог тотчас выполнить сотьстроевских заказов. Забыв себя, Увадьев носился по округе, и, как результат его метаний, работы по закладке силовой и кислотных башен почти не замедлялись. В обход законов он пускался на все пути, которыми лес мог прийти на строительство, и Бураго лишь посмеивался, наблюдая его ухищрения. Вечером однажды, зайдя к Увадьеву по делу, он застал у него старого Красильникова; несмотря на будний день, тот был в черной, глянцевого сукна поддевке, придававшей особую необычность их беседе, как будто разговор их происходил во всесоюзном масштабе. Речь шла куда не о лесе.

— ...вот и не надо было плевать на меня, товарищ Иван Абрамыч. Ты меня хлеба и жилья решил, и оттого сдери я с тебя за свои труды, прямо говорю. И пограбил бы тебя глухою ночью, да руки коротки...

— Бери, но чтоб было! — заговорил Увадьев, а сам все присматривался, может ли старый лесопромышленник помочь ему в беде или пришел только так, чтобы выместить на нем обиду.

Красильников оказался бессильным, и Увадьев выгнал его как-то раз на полуслове; оставались надежды только на Жеглова. Дни текли еще быстрее, чем деньги, а из канцелярии теперь уже не доносилось больше успокоительного бухгалтерского гоготанья. Потемкин окончательно отошел от дел и чахнул, а жена его, приехавшая по депеше, вела себя как заправская вдова. Непрочитанные газеты стопкой копились возле его кровати; в них было смутно и тревожно. Видны на урожай оставались мизерными; целых два месяца кропил Советскую страну какой-то тухлый дождик. От моря к морю прокатился слух о возобновлении деятельности Народного комиссариата продовольствия. На окраинах вводилось карточное распределение продуктов. Правительство издало декрет о добровольной сдаче хлебных излишков, но попутно принимались и другие срочные меры, чтобы не допустить срыва строительного плана. В народе незримые трепачи распространяли слухи, будто сорок тысяч продкомиссаров уже выехало на мужиков. В центре открылся заговор. Соседняя держава производила маневры на советской границе. В тысячах уездных окошек вспухали анекдоты о глиняном социализме. Одна вечерняя газетка поместила огромную статью: не заводите лишних запасов еды, потому что в них заводятся червячки; тут же один безвестный профессор приводил и латинскую фамилию червячка, сопровождаемую рисунком от руки. Страна скорбно готовилась к неприятностям...

На окостеневшей Соти установился преждевременный покой осени. Наезжие люди рылись в кулацких погребах; из просторных бочек, врытых под гряды, извлекали гнилое и закисшее зерно. У Жеребяковых вывезли тонну, у Алявдиных полторы. Эти богатства, наполовину сгноенные в навознях, всколыхнули деревенскую обще-

ственность; выростала баррикада на Соти. Комиссия, составленная из комсомольцев и представителей налоговой инспекции, отправилась однажды утром на ручей и там, в ста шагах от красильниковской маслобойки, нашла клад в двадцать три военных винтовки да восемь старинных берданок, а при них изрядно пуль. находка была обнаружена под крестом безымянной могилы, где закопан был Петр Березятов, бунтовщик против Советов, на этом самом месте расстрелянный десять годов назад. В чайные отыскать березятовские кости, рыли глубже и вытащили пулемет, густо смазанный свиным салом; и еще часа два рыли, но ничего более не нашли. Тогда-то и зародилась темная молва, что ружья — это и есть кости Березятова, а пули — его кровинки. К обеду изрыли все вокруг красильниковского владенья, целые окопы провели, но не давался в руки клад. Кстати, все тут и увидели Василья, впервые после долгого его отсутствия. Выбравшись из низкой дверцы, он равнодушно проковылял к ручью и там, кинув голову в ручей, полежал на боку маленечко: так именно тушат чадные головешки. От прежнего щегольства не осталось и ниточки, полрожи в дегтю; в лесного зверя обращался этот человек.

А на обратном пути крикнул Проньке:

— Рой, шпана, рой!.. всё земли не перероешь.

Брать его пока было незачем, а сперва дознавались, кто еще уцелел от березятовского племени. Языки показали на скит: там-де все дядя покойного, понакрылись скуфейками, молят богов о советской гибели. Решено было нагряться и в скит, и только за поздним часом отложили экспедицию до утра, а тем временем сбежал Филофей, задержанный накануне за свое откровенное злоязычие. Лукинич, под охраной которого состоял арестованный, путано разяснил, будто ворвались ночью трое, рожи платками обвязаны, взяли ключи силой и, посадив монаха на коня, умчались в направлении Лонского Погоста. Виссарион, который оказался свидетелем, подтверждал, будто слышал ночной скок и видел самого Лукинича, с воплем мчавшегося за всадниками; следы похитителей замыло дождем. Так дело и замолкло, а в газеты проскочило лишь известие о найденном оружии.

Опасаясь, чтоб кто-нибудь не предупредил скитчан о завтрашнем нашествии, Пронька до ночи сидел на берегу и наблюдал за рекою; в случае заварушки ему первому плыть бы по Соти с пробитой головою. В бинокль, который он таинственно выпросил у Фаворова, видно было — блуждали на мысу огоньки меж деревьев, а за ними тени, и потом много людей пронесли, сутулясь, длинное подобие носилок и скрылись за углом приземистого строения. Тогда-то и овладело им искушение переплыть реку и взглянуть поближе на эту непостижимую суетню; уж он и пояс расстегнул, но тут подошла Катя, сестра, и, окликнув, присела рядом.

— Чего рыщешь?

— Проня, сердце щемит!

— Намажь йодом, пройдет.

— Ты б поговорил с жильцом-то нашим! Что ему во мне!

За ним и барышня побежит.

— Ты про Виссариона? Ну, наплюй на него.

— Да он нравится мне!

— А тогда живи с ним.

— Да боязно!

— О, тогда отступи в срок...

Она надула губы и отвернулась:

— Брат... чужому и карман настезь, а своему и совет с оглядкой! Иди ужинать.

Уходя, он еще раз приложил бинокль к глазам, но там, на мысу, уже серела как бы осенняя пустота.

Догадки его пришлись впустую; скитчанам нечего стало прятать теперь. В эту ночь умер Евсевий, и смерть его была последней точкой в длинной и витиеватой книге скитского существования. Он начал умирать десятки лет назад и умирал по частям; за ногами окончились руки, потом, подобные октябрьской листве, стали отпадать чувства, и тогда братия решила посхимить его перед отходом из жизни. Темный и страшный обряд прижизненного погребения совершали как раз в тот час, когда Пронька усиленно протирал стекла фаворовского бинокля; надевали наспех кукуль беззлобия, из-под которого уже никто не смел взглянуть на мир; опоясывали под мышками аналавом, и Кир, не умея нашить белые знаки

схимы, собственноручно, мелом, начертил на кукуле Адамову голову, а на плечах — летящих серафимов. Евсевий лежал, откинув голову набок; глаза его были полузакрыты, а волосатое лицо исказила бессильная тоска: в последнее время единственной пищей ему была вода. Может быть, он понимал значение завершительного насилия, которому его подвергали старики, такие же бездомные в жизни, как он сам.

Его перенесли в трапезную и там ждали конца. Смерть никого не удивила бы, и Аза часто зевал, одолеваемый дремотой. Все устали ждать, а старец все жил; ему дали новое имя, непонятное живым, как магическое слово, — смрадил и жил. Тогда Кир пошептался с братом Ксенофонтом, и тотчас Ксенофонт принес с окна книгу, огромную и недружественную, как нежилой дом.

— Жития и страдания старцев соловецких благослови, отче, прочести... — возгласил он гнусаво и наклонил коптящую лампочку над страницей, источенной жучком. Это было Денисовское сказание о первом соловецком разгроме, о Никоне и воеводах его; Ксенофонт читал его чуть сонливо и нараспев. Кир не зря выбрал именно это место летописи, способное укрепить решимость братии на будущее время. Подобные летучим мышам, порхали во мраке угасшие истертые слова.

«...повеле призвати Никанора, иже от трудов стояния молитвенных ходить не можаше, но на малых саночках послании взявши привезоша. Он же, воевода и раб царишкин, образа иноческа не утравився, ниже седин столетних, тростию бияше блаженна по главе, по плещам, хрепту, устам, яко и зубы от уст изби...»

Свет еле пробивался сквозь закопченный стеклянный пузырь; чтец косился на Евсевия, боровшегося с демонами смерти, и потом, впустую шевеля губами, суетливо искал пальцем утерянную строку.

«...хотяше в пепел забытия обратити, повеле из караула иноки и бельцы, числом яко до шестидесяти, привести и, различно испытав, казни различно уготова. Овых завеща повесити за ноги и ребра, каждого на своем крюке, а овых под мечь клали и напятеро разымали, а юродивых в пустой бане огнем пожгли, кнутьем изби, вервием подавиша, и иным, на скамью посадя, языка резали дважды

и трижды, а иного за конем влчили, яко непогребеннова мертвеца, а инии главопосечени быша».

Ворочался Евсевий, и меловая отметина с кукуля осыпалась. Вдруг Кир поднялся с игуменского места, и следом встали все, шатаясь от усталости: рассветало. Евсевий поднялся, точно перед смертью хотел бежать из этого горького людского мрака; он распахнул свои дремучие ресницы, потому что не верил в тишину, его объявшаю.

— Нету бога! — крикнул он голосом, хрустким, точно сломали щепочку, и упал навзничь, и все хотели бежать отсюда, и только один Кир, подойдя к нему, поцеловал его в мертвые уста.

Все молчали, и вдруг всем стало легче: самим существованием своим Евсевий тиранил братию, и когда распалась последняя связь, тут стояли лишь нищие да будущие бродяги, уже не соединенные ничем.

...Вассиан имел тетрадку, в которую без затей и выводов записывал все, что потрясало его незамысловатый разум. Там было:

«Лотос, символ отшельников, а у нас не растут».

«Фараон Аменготеп за десять лет царствования убил сто восемь львов».

«Уродился кочан в тринадцать фунтов, вонючий».

«Румыния объявила ультиматум большевикам».

«Кричали сороки, не дали спать».

«Умер Евсевий, тако и все мы исцелимся от жизни сея».

Запись эта помещалась в самом конце страницы; больше записывать стало негде, да и не о чем.

## Глава пятая

### I

Это началось неделей позже. Надежды на своевременное прибытие лесоматериалов не оправдались. Стремясь залатать хлебную пробоину в экспорте, страна кинула огромные количества леса за границу; по вывозу древесины Советский Союз стал сразу на третье место. Дорога же отказывалась грузить то количество лесомате-

риалов, которое удалось закупить Жеглову: везли машины, цемент, железо на крупнейшую гидростанцию, воздвигавшуюся в соседней губернии; гидростанция была важнее в государственном плане великих работ. Увадьевские телеграммы не производили никакого действия: под бронзовой девушкой на жегловском столе их скопилось до полусотни. Весть о сокращении работ проникла в рабочую гущу; ей не верил никто. Тем не менее председатель рабочкома ездил секретным образом в губотдел строителей, и там ему обещали снестись с центральным комитетом союза. Дело затягивалось, рабочие волновались, управление Сотьстроя молчало. В эти дни не было ни одного прогула.

Общественное мнение искало виновников, и как раз накануне дня производственного совещания этого виновника нашли; быть им мог, разумеется, один Филипп Александрович Ренне. С самого начала работ строители чувствовали в нем чужого, который если не навредит, то не принесет и достаточной пользы; все было ненавистно в нем — от сухой, лаистой речи до старой, с острыми полями фуражки. Стенная газета все чаще помещала злые запросы по адресу администрации, продолжавшей держать этого преждевременного старика. Фаворов стал невольным свидетелем того редкостного в пореволюционное время происшествия, которым завершилась сотинская катастрофа... Большая толпа рабочих, настроенных скорее весело, подошла к конторе строительства и вызвала заведующего лесозаготовками. Фаворов, выглянув в окно, увидел в толпе какой-то прикрытый рогожкой предмет и вдруг догадался, что сейчас произойдет скандал, каких еще не бывало на строительствах.

— ...не ходите! Я найду Бураго, он поговорит с ними, и все обойдется... — Скулы его дрожали, потому что это был первый случай в его инженерской практике.

— Вы молодой человек — надо быть разумно. Прогресс — в этой стране научились линчевать — до свиданья — молодой человек! — Однако Ренне еще минуту барабанил пальцами в подоконник, прежде чем покинуть помещенье конторы.

Его уже увидели снизу в окне и усердно манили руками вниз; страшней дубинки над головой был этот тя-

желовесный юмор гнева. Фаворов схватился за трубку телефона, но Ренне не стал дожидаться. Без фуражки, как был, он стал спускаться по лестнице. Из канцелярии вдогонку ему потянулись безымённые руки, как бы стремясь удержать от неминуемого, но выходная дверь раскрылась с той стороны, и руки исчезли. Ренне стоял один перед толпой, заложив руку за борт пиджака. Ближайшие смущенно задвигались, но сзади напирали, и какая-то кучка рабочих, молча и деловито, уже продиралась к нему сквозь людскую гущу. Он знал, в чем тут дело, и сразу поднял руку, желая говорить:

— Запань верно — я покажу расчеты — выберите комиссию — я объясню — завтра!

Он смолк, но впереди толпы уже выкатился предмет, потрясший Фаворова. Это была одноколесная и вдоволь послужившая тачка, в каких возят строительный мусор. Худая женщина, тетка убитой девочки, хлопотливо и нервно уминала рогожку, на которую через минуту должен был сесть Ренне. Вдруг она указала пальцем на инженера, и палец был таким длинным, что почти достигал его сердца.

— На похороны тоже приходил!.. — крикнула она, и этого было достаточно, чтоб все поняли провинность Ренне.

Искусанные губы его брезгливо опустились вниз, а в уши стал вливаться насильственный румянец. Он глядел в землю и чего-то выжидал, потому что не самому же было садиться в позорную тачку! Тогда небольшого размера и щетинистый человек — Ренне узнал в нем сразу слесаря из ремонтного цеха — решительно выдвинулся вперед.

— Придется прокатиться, — сказал он зло и просто, кивая на одноколесную. — Пожалуйте!

Из толпы понеслись крики:

— Почему на запани подстрелов не было?

— Ты сколько, злодей, денег-то брал... и каких денег!

— Катался в машине, прокатись и на одном колесике, субчик.

Кто-то запел про знаменитое яблочко, которое, раз укатившись, уже не возвращалось назад. Тот же слесарь сказал угрюмее и настойчивее:



— Садитесь, гражданин. Не силком же волочь! — и, насмешливо вытерши руки о рубаху, сделал попытку взять Ренне за рукава, а тот смятенно догадался, что это и есть то самое, горшее смерти.

— Я и сам — сам могу — сам... — отпихнул его руку Ренне и уже озирался, собираясь как бы бежать, но кольцо плотно обжимало его от стены к стене, и нигде не было спасительной щелочки в этой хляби враждебных глаз.

Его втиснули в тачку и повезли; слесарь ожесточенно придерживал его за плечо сверху. В почти похоронной тишине равномерно поскрипывало колесо. Иногда оно наезжало на камень, и вся тачка вздрагивала.

— Везите ровней, черти... ровней, — обмякшим голосом приказывал Ренне: он еще приказывал.

Толпа увеличивалась; лица у всех были серьезные, и можно было предположить в них раскаянье, что применили именно этот бескровный и потому не утоляющий гнева способ расплаты. Откуда-то в толпу протискалась жена Ренне; ее не узнали, так как, полуслепая, она безвыходно сидела в отведенной им квартире. Спотыкаясь и наугад наклоняясь к мужу, она тормозила его ускользающее плечо.

— Филипп, скажи им... Филипп, этого же нет в твоём договоре! Филипп...

Но тот делал нетерпеливое лицо и шептал поблекшими губами:

— Не мешай, дружок... не мешай.

Тогда она хваталась за соседей или умоляюще поглаживала руки двух бетонщиков, везших тачку, но безразличные их руки, окостеневшие от сознания долга, сохраняли свою цементную холодность. К концу пути, что-то уразумев, она посмирнела и шла позади мужа с каким-то полувдовьим лицом; ее не прогоняли. А впереди соئتстроевский милиционер предупредительно распахивал ворота.

...Увадьев, уезжавший в уком, вернулся только на следующий день, когда все было кончено. Ему передали историю с инженером, и оттого, что до производственного совещания оставался целый час, он решил навестить Сузанну. Она писала какое-то письмо и закрыла его листом пропускной бумаги, когда вошел Увадьев.

Тот утомленно опустился на кровать, расположенную у самой двери, и озабоченно пошелкивал замочком портфеля. Сузанна привстала.

— Если вам не трудно, Иван Абрамыч, пересядьте на табурет. Я не люблю, когда сидят на кровати. Вон, рядом с Фаворовым...

Он только теперь заметил Фаворова, сидевшего в простенке с опущенным на руки лицом.

— Как съездили? — равнодушно осведомился Фаворов.

— Губком соглашается поддержать ходатайство Соть-строя.

— А выйдет из этого что-нибудь? — спросила Сузанна.

Увадьев, ожидавший целого потока негодующих слов, взглянул на нее почти с укором:

— Боюсь, что придется ехать самому... — Замочек перестал щелкать, сломанный. — Черт их знает, эти новые города. Приехал — поле, деревья растут, дома какие-то больничного типа. И очень глупо, потому что до крайности разумно. Спрашиваю: а где тут Усть-Кажуга? А вы, отвечают, в самом центре Усть-Кажуги! Очень смешно вышло... — Он говорил совсем не то, что думал, потому что смущался спокойствия Сузанны. — Слушайте-ка, я очень сожалею об этой истории... ну, вы понимаете? Хотя вряд ли я сумел бы помочь ему. Зачем, зачем ему понадобилось тащиться на эти похороны: ведь это демонстрация!.. и говорят, еще на клиросе пел.

Она с досадой тряхнула головой:

— А, вы об этом!.. Этого надо было ждать от него. Кстати, он предлагал создать комиссию и ей показать расчет запани. Они отказались...

— Они даже не захотели выслушать его! — резко вставил Фаворов.

— Да, он растерялся перед новым... и ему поздно было перестраивать себя. Крушение старой техники для инженера есть и крушение психики... — очень спокойно сказала Сузанна, а Увадьев только плечами пожал на эту неожиданную жестокость.

— Да, он растерялся, — с облегчением согласился он. — Строительство очень дорожит вами, в особенности для будущего...

— Я не понимаю вашей дипломатии, Увадьев.

— Я хотел спросить, вы остаетесь?.. в связи со скандалом.

Она рисовала на бумаге то самое, о чем говорил Увадьев; путанные кривые линии, сколько их ни было, сбегались в одну центральную отсутствующую точку.

— Я ведь самостоятельно заключала договор с Сотьстроем, правда?

— Он хочет сказать, что завтра они подкатят тачку и к вашим окнам! — совсем несдержанно бросил Фаворов.

Увадьев взглянул на него со строгим удивлением; ему не понравился на этот раз Фаворов, которого впервые наблюдал таким. «Краснощекий, с конфетной коробки красавец... пасмурной погоды не любит. Он думает, что ротой солдат можно было бы охранить ее отца!» — усмехнулся он про себя, и вот уже не хотелось сдерживать неприязни к этому молодому инженеру.

— Ты любишь жить, Фаворов? — спросил он тихо, следуя извилистому течению мысли.

— ...потому что принято бояться смерти. Но к чему это?

— А ты в тюрьме сидел?

Тот удивленно подмигнул Сузанне, но та не приняла намека.

— Нет, не довелось.

— А тифом болел?

— Нет.

— А стреляли в тебя?

— Нет... Кстати, почему вы зовете меня на ты? Я, право, не заслуживаю этой чести!..

«Ты прав, брюнет!» — подумал Увадьев, поднимаясь уходить, и потянулся за портфелем. Вдруг он искривил губы:

— Где он сейчас, ваш отец?

— Я позвоню матери, если хотите... — Он не возражал, и она позвонила на коммутатор. — Мама?.. Что отец, он вернулся домой?.. как, совсем? Слушай... а ты не боишься за него? — Она еще постучала по рычагу, потом положила трубку. — Он не приходил домой.

— Что она ответила? — спросил Фаворов.

— Она сказала — глупый вопрос.

Перемолчав паузу, Увадьев сказал глухо:

— Я повторяю: строительство очень дорожит вами обоими. — И ушел, не прощаясь.

Ушел он со скверным предчувствием еще больших скандалов впереди, но за самого Ренне он был более чем спокоен: «Ерунда, я видел, с каким смаком он влезал однажды в трестовский автомобиль. Не решится, не посмеет... это прежде всего больно!» Пугало его и не предстоящее совещание, где ему нужно было доказать, что сокращение работ — вещь почти естественная в общем строительном размахе: там были только цифры, а цифрам не возражают! Тревожили те печальные возможности в будущем, когда внезапная тысяча безработных осадит биржу труда. «Надо ехать, надо добиваться увеличения сметы, надо реализовать внутренние ресурсы Сотьстроая, надо...» Но близилась осень, и рабочие штаты были везде заполнены, сокращенным посреди сезона податься становилось некуда. Выдача полуторамесячного заработка, на чем настаивал рабочком, затруднялась урезанной сметой... Оттого-то, желая смягчить напряженность положения, Увадьев в речи своей на совещании смутно намекнул, что затруднения носят временный характер и что якобы приняты все меры к возобновлению работ.

Аудитория грозно безмолвствовала, когда Увадьев покидал трибуну. К столу президиума, точно притягиваемые магнитом, полетели хлопья записок. Все вопросы в них — сколько получал Ренне, какова стоимость унесенного леса, много ли сэкономят на сокращении — носили намеренно ядовитый оттенок; кто-то потребовал, чтобы исчисление велось не в рублях, а в пудах хлеба: так было понятней этим вчерашним мужикам. Никто не верил в случайность сотинского прорыва, с помощью которого, дескать, прикрывался прорыв более существенный. Увадьев снова выходил на трибуну, когда с балкона назвали имя Потемкина; слово это и подожгло скопившееся отчаянье строителей.

— Дашь Потемкина! — орал зал, и топочущие ноги грозили искрошить полы.

— Без денег вздумал строить... омман!

— Гляди вовремя, хлюст!.. На тачку!

— Потемкинское строительство!!

Это последнее оскорбление, брошенное в мгновение тишины, перекрыло все остальные вопли. Кто-то из ячейки прислал Увадьеву записку с предложением за-

крыть прения, но это не утомонило бы тех, кто требовал сюда на расправу главу строительства. Буря эта весьма походила на ту, которая месяц назад шумовала в макарихинском клубе, но тогда налицо было признание героя, а теперь побивали камнями виновника обманутых надежд. Сообщение об отъезде Потемкина в Москву на лечение лишь усилило грохот гнева; в зале понеслись хохот и вой беспорядочных свистков. Этим воспользовалась та часть собрания, которая была рада случаю продемонстрировать свою враждебность к администрации.

— ...двигайтесь куда-нибудь. Побеждайте или...

Двое из рабочкома мгновенно кинулись в зал, чтоб узнать имя тотчас присевшего крикуна, но и передние, смущенные возгласом, задержали... и потом в проходе, работая локтями, появился макарихинский завклуб. С сердитым и взволнованным лицом он пробрался к президиуму и крепко приник к увадьевскому уху. Собранные затихло и, поднявшись со скамей, устремило на них свой тысячеглазый взор. Тем отчетливей прозвучал в тишине возглас кучерявого комсомольца:

— Почему Ренне не арестован до сих пор?

Председатель собрания Горешин поднял руки, тщетно пытаясь остановить новый рев и топот; ему не давали говорить:

— Головотяпы...

— Под суд его.

— Предательство!

Горешин подскочил к самому краю подмостков и взмахнул рукой так, что она лишь чудом не вырвалась из сочленения:

— Товарищи, порядок... Эй, не курите там!

— Даешь предателя!

— Товарищи... — из последних сил хрипел Горешин. — Молчание!.. ребята нашли в лесу... ходили по грибы. Ренне... под деревом застрелился. Вот товарищ Буланин только что...

— К прокурору... — неслось с балкона.

Шум стихал по мере того, как известие проникало во все углы зала. Догадались открыть двери, и в духоту ворвался влажный сквозняк; сразу стало еще серей и неприглядней. Уже при полном молчании бухгалтер пре-

рывающимся голосом оглашал процентные сокращения по каждой отдельной отрасли строительства; цифрам не возражали, их встречали озлобленным безмолвием. Фамилии пока не назывались, и одна только машинистка Зоя, перестукивая на машинке роковые списки, уже знала свою печальную участь. Увадьев сосредоточенно разбирал записки, сортируя по содержанию или умыслу; ему стало не по себе; кто-то смотрел на него со стороны. Скосив глаза, он заметил Виссариона. Скрытый за складками клубного занавеса, он пристально наблюдал за торопливыми увадьевскими руками; левый, немигающий глаз, где застыл тусклый электрический блик, неуловимо улыбался. Легко было понять, что тот злейший выкрик принадлежал именно ему. Решив не пугать его до срока, Увадьев дружелюбно подмигнул своему питомцу. Хитрость пришлась впустую: спокойное лицо Виссариона не изменилось, и Увадьев испытал приступ бешеной тоски, словно кто-то и впрямь мог глядеть сквозь него, как сквозь временное и достаточно прозрачное стекло.

## II

Сообщение о Ренне помогло упорядочить собрание. Шумы стихли, хотя еще сотни рабочих, не вместившихся в клуб, теснились у наружных дверей. При полном бесстрастии собрания Увадьев отвечал на записки; голос его звучал без прежней силы. Он призывал к выдержке, достойной строителей социализма, а в заключение предложил выбрать комиссии по цехам, которые сами наметят подлежащих сокращению. Лица оставались холодны, точно в зале сидели глухари, те самые, работа которых применяется при ручной клепке котлов. Такая же внезапная глухота пришла и на всю Соть. Увадьев возвращался на место с чувством неисполненного долга. Собрание закрылось рано. Ночь прошла в напряжении, подобном тому, какое было в канун сотинской катастрофы.

С утра у клуба расклеили списки уволенных по сокращению; у этих длинных бумажных полос за час перебывало все рабочее население строительства. То были первые списки, куда попали лишь связанные с местными кре-

стьянскими хозяйствами. В полуденный перерыв на постройке развесили добавочные сведения о сокращенных. У мостков на леса, вокруг которых сгрудилась основная масса строителей, какой-то добровольный грамотей вычитывал вслух фамилии увольняемых. Самого себя он не отыскал в списках и потому, выполняя свою повинность, сохранял почти начальственную невозмутимость.

— Журавлев Миколай! — вызывал он, ведя пальцем по строке.

— Я... — четко откликались из толпы.

— Журин Лука... Лука Журин! Чего молчишь, аль вздремнул с устатку? Отдыхай теперь!

— Я!

— Баранов... — И дюжина Барановых продиралась из толпы, чтобы узнать, на кого из них упал черный жребий.

Это походило вполне на солдатскую переключку, с той единственной разницей, что отзывались выбывшие из строя.

К полудню же в контору пришел кассир выдавать трехнедельное пособие, выхлопотанное рабочкомом: он сидел долго, выпуская наружу папиросный дымок, но у открытого окошка так и не побывал никто. Рабочие кучками ходили по строительству, ища прорабов, а те прятались от напрасных просьб и уговоров; старший производитель работ просто заперся у себя на засов и, изнеможенно отвалясь на спинку стула, в больших количествах поглощал воду. Люди толкались в дверь, виновато выкрикивали его имя, и он, не выдержав, отводил задвижку. Они проходили перед ним серой вереницей, дружелюбные, бородатые старики и молодые, с которыми он успел сработаться за лето. И каждый одинаково мял шапку в руках, и у каждого в лице стоял одинаковый упрек. Очумелому вконец, ему представлялось, будто один и тот же Фаддей Акишин, милейший человек, разнообразно стоит перед ним, то одеваясь охровой бородой, то чудесно молодея, то становясь на чрезмерно высокие каблуки, то шамкающий вологодским наречием, то тусклословый, то речистый по-костромскому... И вся эта пестрота лишь от деликатного опасения — не надоест однообразием своему человеку.

Инженер молчаливо качал головой, и тогда они шли к Бураго, полагая, что в его власти и милости не гнать их с Сотьстроя обратно, в исходную мужицкую ступень. Когда народу набиралось достаточно много, Бураго выходил к ним в рубахе с расстегнутым воротом, с потным лбом, в котором желтовато отражалось окно. Словно выполняя обряд, он повторял все то же: об урезанных сметах, о необходимости временной задержки работ, о сокращении, коснувшемся и административной верхушки. В доказательство он приводил все того же Увадьева, совмещившего целых три должности в одном своем лице. И хотя они верили этому тучному и требовательному инженеру, которого многие знали еще по предыдущим строительствам, каждое слово его прощупывалось с пристальной подозрительностью. И опять, глухие глухотою горя, безнадежно мяли картузы, кряхтя от умственного напряжения и скуки.

Всех их ждало преждевременное возвращение домой и бездельная осень. Шли дни, а они по молчаливому сговору не уезжали с Соти; теплилась смутная надежда, что поездка Увадьева, о которой уже шли толки по баракам, завершится успешным концом. Легче было сидеть на сокращенном пайке, чем тащиться с пустой котомкой в неизвестность урожая и предстоящей зимы. Они знали, что, даже отобрав у них пропуска на территорию строительства, администрация не порешится на принудительное выселение. Целыми днями они шатались мимо колючей изгороди, с завистью наблюдая оставшихся на строительстве. Работы велись в пониженном темпе: так же, прерывисто и неравномерно, дышит больной. Иногда старомодный паровозишко притаскивал длинный состав с лесом; настроение поднималось, платформы разгружались с любовным нетерпением... но паровозишко уходил, и в рельсы, если приникнуть ухом, вливалось прежнее безжизненное оцепенение. Одна только сновала челноком по пустой сотинской ветке почтовая дрезина.

Однажды с ней приехал чрезвычайно молодой человек в квадратных, с инкрустацией очках — сотрудник губернской газеты. До того времени его, кажется, не манили размеры строительства; теперь привлекал размах бедствия. В прогулке по строительству его сопровождал



сам Бураго, и молодой человек, волнуясь от не испытанной еще почести, усматривал в этом некую административную хитрость.

— Вам как представителю печати... — неизменно начинал тот.

— Ага, так?.. Очень, очень интересно! — отстранялся неподкупный молодой человек.

Стремясь вникнуть во все подробности сотинской истории, в особенности постигнуть причины неудачной мобилизации деревень, он не преминул побывать и в Макарихе. Целые толпы ребят ходили за ним, вернее — за его необыкновенными очками, и мешали ему предаться уединенным расспросам. Кроме того, по неразумию завел он беседу с остатками Васильевой банды, и уже Мокроносов вытаскивал его из мешка, в котором собирались его искупать на радостях первого знакомства. Журналист уехал несколько расстроенный приемом, а через неделю появилась первая сигнальная ракета того пресловутого похода дураков, который новой печалью опустил на Сотьстрой. Статья содержала в себе прозрачные намеки на вредоносное происхождение некоторых инженеров, причем явно подразумевался Фаворов; Сотьстрою ставилась во грех недопустимая роскошь в виде цветочной клумбы, устроенной в середине недостроенного рабочего поселка; про Бураго было помянуто, будто он ходит на похороны всех мужиков и сам подпевает им «вечную память», и, в довершение всего, смерть Ренне разъяснялась как результат намеренной и безрассудной травли за прямоту и честность. Лирика статейки искусно сочеталась с неумолимой иронией: журналист сразу выдвинулся. Увадьева сел было отвечать, но случайно взгляд его упал на только что полученную газету, и он справедливо решил, что письмом тут не разделаться. Там нарисован был пузан с лицом Жеглова, но с утробой, в которой поместился бы целый десяток Жегловых; на нем был цилиндр, по животу висла цепка, глаза были дурачки выкачены вверх. Пузан гладил себе утробу и, почти как Ягве после жертвы Ноевой, говорил **вкусно**; эпиграфом к поношению служила пущенная кем-то молва, будто **Бумага** перетратила миллион на переоборудование бумажных фабрик. Только по этой заметке, набранной к тому же нонпарелью,

Увадьев и догадался о причинах долгого жегловского молчания.

Опытный в делах такого рода, Бураго твердил Увадьеву о необходимости соответственного нажима сверху; сам он в тот же вечер написал пространное письмо в газету, требуя объективного подхода в интересах самого дела. «Предупреждаю, что подобное умаление авторитета администрации, случившееся на самом опасном перегоне, может иметь чрезвычайно вредные последствия...» — писал он; копия направлялась губисполкому. Увадьев качал головой, а Бураго сердился:

— Я не желаю быть в этой ежемесячной норме головяпов, отдаваемых на съедение...

— Дураку бегать по улице не воспретишь!

— Да ведь дурак-то с топором бегают, он зарубить может!

Уверенный в себе, Увадьев посмеивался:

— Езжайте, сделайте доклад, а я созвонюсь с кем надо.

Разговор происходил в среду, а в пятницу появился новый фельетон о сотинских делах, достаточный, чтоб и развлечь обывателя, и послужить материалом прокурору. Говорилось об усиленной выдаче спецставок, премий и всяких сверхурочных; подчеркивали преступное невнимание к посредбюро рабсилы; подмигивали на подозрительные отношения главы Сотьстрога с местными лесными заправилами; сообщали, что бутовый камень десятники при сдаче подсчитывали меньше, а остатки переводили на другую артель и за нее получали; заканчивалось сообщением о роскошной жизни иностранца-инженера в квартире с ванной и фаянсовым горшком под кроватью, в то время как рабочие ютятся в бараках полтюремного стиля. Следующая статья имела уже документальные данные об упущеньях: приводился тип арифмометров, цена трех тысяч пудов овса и количество кипяtilьных баков, которые были закуплены у частников.

Дальше начиналась неразбериха и метель сенсаций; молодые журналисты пробовали свои силы и остроту пера на Сотьстрое; тираж газеты повысился. Обыватель, перекликаясь из окошка в окошко, выработал новую

форму приветствия: «А Увадьев-то что натворил!» В губернских пивных делал головокружительную карьеру какой-то чечеточный шут, выступавший с куплетами о советском строительстве: его не хватало на все пивные, появились подражатели, которые тоже неплохо кормились возле этой преувеличенной неудачи. В мещанских анекдотах неизменно действовали инженер Белаго и коммунист Шоколадьев, и оба они выставлялись еще глупей самого рассказчика; Потемкину, кстати, припомнили ту пирушку, которую он устроил после написания сотьстроевского проекта.

Сенсации вырастали до общесоюзного размаха. В губернии сидел безработный профессор Мадридов, который выдумывал письменность несуществующему племени, якобы затерявшемуся в лесах. Негаданно появилась его статья, напечатанная, правда, в дискуссионном порядке и ставшая образцом ученого слабоумия; основываясь на годовой потребности Сотинского комбината в шестьдесят две тысячи кубосажен балансу плюс сорок семь тысяч кубосажен дров, он вычислял, сколько ежегодно пропадет лесов на земле, а следовательно, и кислорода. «Дышите, дышите, — исступленно заключал он, — пока не задушила вас углекислота. За каждую десятину лесов вы получите сорок три тонны целлюлозной похлебки!» Ошеломленного редактора на другой же день послали учительствовать в глухой уезд, но уже через три дня появилась новая статья. В этой осторожно высказывалось мнение, что Сотьстроем отныне портится навсегда вид этой древней, искони русской реки, поминавшейся даже где-то в былинах как место женитьбы славного новгородского ушкуйника В. Буслаева. Судя по романтической описаний, у самого автора статьи были связаны с Сотью какие-то семейные воспоминания... Все это чрезвычайно подымало и укрепляло дух макаринского завклуба.

Род эпидемического сумасшествия охватывал некоторые круги; оно начиналось с гражданской слепоты. Упускались из виду истинное значение Сотьстроа, его героическая борьба со стихией, история его возникновения. Предсказания Бурого, расцененные в свое время как угроза, сбывались: зашевелилась кулацкая Соть, а минута

благоприятствовала нападению. Увадьев еле справлялся с делами, а Потемкина уже месяц безуспешно рентгенизировали в Москве, пробуя вернуть жизнь человеку и человека жизни. По материалам, собранным много позднее, в августе у Алявдина состоялось негласное совещание, где главную роль играл Виссарион Буланин; это ему и принадлежала неясная формула «пользуйтесь случаем, в Азии живем!». Собрание, созванное по имущественному признаку, постановило ходатайствовать о переносе Сотьстроа куда-нибудь подальше, на Печору, например, учитывая вред целлюлозного производства для крестьянского здоровья; на Соти же устроить заповедник, в коем сохранить леса, людей и прежнюю дикость в неприкосновенности, что должно стать неременной приманкой для иностранных туристов. В письменном акте совещания, где плоская эта выдумка была умело задрапирована в российское простодушие, имелись еще две существенные предпосылки для такой перемены. Первым стояло заявление одного кооптрактира, где указывалось, что посетители ругаются: чай хуже стал, и вкус не тот, вследствие чего население стихийно переходит на домашнюю брагу. Вслед за этим гомерическим рассуждением шло второе, заключавшееся в ученом исследовании одного начинающего биолога. Выходило, что сотинская вода все равно не годится для отбелики целлюлозы из-за высокого процента гуминовых примесей, а придется рыть артезианские колодцы на великую глубину. Кстати, согласно ученой записке, построенная ветка могла бы пригодиться для устройства курорта, например, в этом месте, так как целительная вода Федотова ручья не только не вредит здоровью, а даже чрезвычайно помогает, хотя бы, например, при протрезвлении.

Так и было: ввалились ходоки к замнаркому в переднюю, жали картузы, не шадя жалобных слов о великой сотинской скудости. Да еще тут у старого Мокроносова, самого рваного из всех, упал сверток плакатов, как бы ненароком, и развернулся на полу, а сверху оказался портрет самого замнаркома, в толстовке и с прочими знаками официального положения. Сопя, елозил Мокроносов по полу, собирая разлетевшееся имущество, а начальник как-то сразу и строже стал, и милостивей, почти как на

портрете. Тут же отдано было распоряжение поддержать ходатайство, и шальная эта шхунка с новым бумажным парусом понеслась по волнам инстанций. Дело приняло необходимое для жизни вращение, а вращение придало ему теплоту, а теплота и бюрократические дрожжи стали раздувать его до неестественных масштабов. Мокроносов, не веривший вначале в успех, теперь только диву давался, наглея сообразно удачам.

— Хибнем, хазы детям нехорошо. Чай, не овцы! — привычно говорил он в высокой канцелярии, готовясь уронить на пол соответствующий портрет. — К тому же щелокá!

— Да ведь там уже уйму денег всадили, — нерешительно возражала жертва, вспоминая газетные сведения о Сотьстрое.

— Тогда мужику хроб. Тогда канализацию надоть! — Он нарочно искажал слова, отвлекая внимание на свое ловко подделанное невежество. — От хазов инда лошади заикаются...

— Но канализация будет стоить тоже пару миллионов!

— Тогда рой нам, браток, колодцы на пятьдесят верст, взад и вперед по реке. Щелока, лошади заикаются, хибнем! — И все остальные повторяли дружным хором мокроносовский припев.

Мокроносов веселел, и уже самого его одолевало любопытство, до какого крайнего безрассудства можно добрести по вонючим канцелярским коридорам. Никому не приходило в голову, что Сотьстрой еще далек от пуска, что о сернистых газах пока не может быть и речи, а для сточных вод строятся специальные коллекторы. Первоначальная идея присоединения Соти к всепролетарскому ядру грозила окончательно затмиться. Доклад Бураго в губернском совнархозе был принят с глубоким удовлетворением, но на другой же день в отделе загадок и ребусов была помещена задача: какова общая сумма расточительства на Сотьстрое, если двугривенными можно выложить расстояние от Москвы до Усть-Кажуги? Имя Соти приобретало нарицательное значение для всякого гиблого места; в поговорку она вошла скорее, чем в учебники экономической географии... и вот тогда-то пришло наконец письмо от Жеглова.

Оно начиналось раздраженным осуждением попыток Увадьева закупить лес у частных лесопромышленников, объяснением небывалых нападков на Сотьстрой и смехом над примечательной делегацией сотинского кулачества; кто-то уже турнул наконец мокроносовскую саранчу. «Пока все смутно, — писал он, — на мою записку с требованием расследования сперва ответили выговором, который почему-то вскоре отменили. Как бы то ни было, общественное мнение, с которым ты собираешься драться, во многом право; постройка завода должна иметь тот политический коэффициент, который избавил бы тебя от упрека в делячестве. И потом, раз дело начинается со смертью, значит, что-то у тебя плохо организовано...» О Геласии, которого ему удалось устроить на курсы, он сообщал также в повышенном тоне досады. «Плохо не то, что тотчас по приезде, видимо, в пику Господу Богу, переименовался он в Роберта да еще Элеонорова; не то, что, оголодав в некоторых смыслах, крещение в новую жизнь, так сказать, начал с триппера; плохо, что ты перегибаешь потемкинскую затею о сотинском устройении, которую я не вполне разделял с самого начала. И еще раз повторяю: не загружай Сотьстрой только узкоделаческими задачами, не в Америку идем!» В заключение он советовал Увадьеву приехать самому, чтоб договориться по всем организационным вопросам сразу.

Увадьев уезжал на другое же утро. В ожидании дрезины он ходил вместе с Горешиним вдоль заводского пути, задевая портфелем за седые головки какой-то сорной травы. Зная что-то, Горешин намекал на несвоевременность отъезда, а Увадьев сердился и не понимал, потому что принимал его за паникера. И опять Горешин наводил разговор на беспокойствие окрестных деревень, на опасное безделье безработных, на десятки мелочей, грозивших разрастись в отсутствие управляющего Сотьстроем.

— Ты что-то мямлишь... Не то рвет тебя, не то от тесных сапогов страдаешь. Вот и дрезину подают. Может, проводишь меня?

Тот уклончиво пощелкал языком и вдруг, решась, полез в боковой карман.

— Нет, мне в другое место пора... Слушай, Иван Абрамыч, я кое-какой материал из стенгазеты прихватил. Посмотришь?

— Стишки?

— На этот раз картинка.

— А ну, повесели перед отъездом!

Неумелый, но бойкий рисунок изображал место строительства, торчал подъемный кран, правдоподобная копия германского подъемника, только что смонтированного на Соти, и очень убедительно валялась разбитая цементная бочка. За колючей проволокой, чуть не повисая на ее шипах, толпились худые, рваные люди, бесчисленное множество людей, а среди них женщины с ребятами на руках, — посреди же трудился над каким-то ящиком Увадьев, весь в поту и один-одинешенек; его легко было узнать по взбежистым бровям и по скупым, в обтяжку, сапогам. Подпись разделана была цветными карандашами: «Социализм по Увадьеву».

— Очень неплохо намалявил! Это тот самый, чернявый такой? Как, как его фамилия? — говорил Увадьев, и в лице его не прочесть было ни улыбки, ни досады. — Очень похоже. Надо его выдвинуть непременно!

— ...за ворота, что ли? — прищурился тот.

— Зачем же, в работу пускай его! Чего таланту на картинках пропадать. Хотя бы на твое место выдвинуть, очень недурно. — Он сложил бумажку пополам, ногтем провел по сгибу и глянул прямо в глаза Горешина. — Ты зачем мне это суешь? Стращаешь, что ли? На поводу у крикунов плетешься...

— Я, погоди, еще баб на тебя напушу... жен. Это ты, ты урезал пособие. Они тебя порастрясут!

— Кстати, парнишка этот партийный? Надо, надо выдвинуть... — задумчиво произнес Увадьев, поднимаясь в дрезину. — А за Ренне, что недосмотрел, ты мне потом крепко ответишь!

Ворчанье мотора стало злей и порывистей. Вдруг к дрезине подошла неизвестная старуха в очках об одном синем стекле. Увадьев не сразу догадался, что это вдова Ренне. Она тащила большой фибровый чемодан; соломенная шляпа сбилась от спешки набок; вся правая сторона ее пальто была в грязи.

— Товарищ Увадьев?.. Я плохо вижу, — сказала она сухо. — Вы довезете меня до станции?

— Конечно, я же обещал, — заторопился тот и, распахнув дверцу, принял чемодан, до удивления легкий.

— Я упала, боялась опоздать. Упала, и стекло вылетело.

Увадьев спросил, стараясь не глядеть в зияющий провал очков:

— А Сузанна Филипповна?

— Она занята, работает.

Шофер задвигал пусковые рычаги. Увадьев развернул газету, ветер зашуршал в щелях брезентовой покрышки. Минут через пять Увадьев выглянул поверх газеты. Старуха сидела прямая и строгая, прикрыв ладонью глаза. Ему показалось, что она плачет, и рука его с тоской погладила кожаное сиденье. Почуввав какую-то неопределенную человеческую обязанность, он зашевелился.

— Куда же вы теперь? У вас найдется кто-нибудь на свете, кроме дочери?

Она спокойно устремила на него единственное синее свое окно:

— Благодарю вас, это не имеет значения, я умею делать туфли... мягкие, для ночной ходьбы.

— Тогда порядок, — сказал Увадьев и успокоенно занялся газетой: в мире все обстояло благополучно.

### III

С отъездом Увадьева неизвестность усилилась. Сотьстрой стал крохотным зеркальцем, в котором с местным искажением отражалось все сложное распределение сил в стране. И так как в застойной воде неизменно заводится тухлая плесень, неделю спустя на Соти появились пьяные. Нешумная их стайка бесскандально прошла по поселку и скрылась в крайнем бараке; в течение всего того влажного и затянувшегося вечера неслась из раскрытого барачного зева дрожащая гармонная печаль. Во исполнение новой потребности в деревнях оживились шинкари, и вот заглохшее было самогонное производство возродилось с силой,



достойной особого описания. Широко был поставлен опыт; гнали не только из картошки, а даже из гриба, сенной трухи и свежих березовых опилок. Результаты этих исканий хранились в секрете, но, судя по увеличению количества больных в околотках, дело успешно развивалось во всеуездном масштабе. Из предосторожности гнали не на задворках, а в лесу, сажая у пьяной капли старух, сами же отправлялись в ближние поля собирать недогнившие сокровища; так старухи и сидели в чашах, подобные ведьмам, у колдовских своих очагов, хмельные от одних испарений.

— Теперча нашла на нас всемирная танцуха. Будем с сей поры, сед и млад, танцевать три года... — вещал Лука Сорокаветов, но слово его уже не имело прежней пророческой силы; деревня чуждалась старика, ступившего одной ногою под смертную сень, нехорошим холодком веяло от него в эту пору.

Управление Сотьстроя снеслось с волисполкомом о совместной борьбе против шинкарства; два дня всеуездный милиционер рыскал с комсомольцами по чашам и набрел наконец на мальчишку десяти годков, который, сгибаясь под тяжестью, тащил в мир четвертную бутылку цветной отравы. Преступнику дали пяточковую конфетку и стали допрашивать; преступник шоколадку съел и тотчас принялся реветь с такой силой, что у милиционера даже мелкое колотье пошло по запотевшей спине.

— Экой звук! — выговорил он наконец почтительно и суеверно.

Так воевал враг Сотьстроя, прячась по ту сторону сотинской баррикады... Ежедневно члены рабочкома обходили бараки в поисках нарушителей обязательного постановления, но все оказывалось в порядке, а к ночи, едва роса, снова нетрезвая песня гнусаво неслась над поселком. Угрозы выселенья не помогали; тревога за будущее пожирала все. Опять гулял по округе Фаддей Акишин, таская под мышкой пестроватенького конька, который порядком пообносился и полысел за это время. Часами он простаивал на макаринском перевале, откуда были одинаково видны и Сотьстрой, и деревня, а в лице его ночевала тоска. Иногда он заходил в казарму к землякам и долго чужунным взором глядел на топор, валявшийся под

соседней койкой. Потом он брал его и пальцем пробовал звонкое острие, на которое уже капнула ржавчина.

— Эх, никому в целом свете не нужна боле эта рабочая рука, — замахиваясь, начинал Фаддей. — Ступай, рука моя, в могилу! — и, по всей видимости, собирался рубить руку, но почему-то не рубил, а только замахивался.

Земляки стояли кругом, качая головами на Фаддеево затмение:

— Чудно ты, дядя Фаддей, говоришь, все не в путь, — укорял кто-нибудь из кучки.

Акишин откидывал топор и шел к выходу, а тут-то и караулил его Горешин:

— А ну, дохни в меня... всей грудью дохни! — Он принюхался и смутился. — Чего ж, раз не пьян, лошадку таскаешь в такое время, на посмешище себе!

— У него, товарищ Горешин, внучек за отца хочет идти отомщать, а коня нету. Вот картонного и купил у Фунзинова!

Горешин уходил, и ему казалось, что всему виной вредное соседство Макарихи: отсюда и пьянка, отсюда и темные всякие ветерки; частично он был прав. К этому времени воротилось мокроносовское посольство, и лишь тогда стало известно, что и Пронька с Лышевым уезжали куда-то, а вернулись в небывалом веселии и с предписанием досрочно произвести перевыборы волостного Совета; председателем заглазно называла молва молодого Мокроносова. Так и произошло, и тогда подметнули письмо Егору, чтоб сидел тихо на высоком и сухом своем месте, если не хочет лежать где-нибудь в низком и сыром. Обозленный угрозой, Егор в то же утро повел людей к отцовскому дому и, оттянув одну заветную тесинку от домовной обшивки, выцедил оттуда, как из бочки, изрядно зерна. Выдоив закром до конца, Мокроносов побывал и у других зажиточных сотинцев, всюду обнаруживая большое знание дела и крутой свой характер.

В тот же вечер загорелось у Егора на гумне; пожар притушили в самом начале, только подтелок малость обгорел, а утром Егор сам пошел арестовать тех, на кого указывала молва и собственная догадка. Были то все «богатеньки грибки-боровички», как сказало у Савихи: никого из них Егор не застал, не словил и вечером, не

нашел и в полночь. Зато грибники рассказали, будто видели у огнища в лесу четырех дюжих детин богатырской стати, а в сторонке паслись стреноженные кони. Теперь следовало ждать нападений от людей, ушедших из-под закона, и Мокроносов мобилизовал три окружных ячейки на облаву. Цепь двигалась к северу, на Уртыкайские болота, а с юга нищие принесли весть — свели двух коней из Ильюшинского колхоза. Тогда совместно с тем же милиционером кинулся Егор на юг, а на востоке неизвестные люди, обвязавшись тряпицами, ограбили в то же самое время почту. Распечатанные конверты понес вместо почтальона по дорогам осенний ветер... И вдруг в памяти у мужиков зловеще встал во весь рост покойник Березятов.

Если б сумели обобщить все эти разноликие явления, стало бы ясно, что во всем, от неудачной летней мобилизации до образования банды, был один четкий план. Ясно, что к этому сроку завклуб из Макарихи окончательно овладел Лукиничем, а когда того сняли, именно им был организован кружок содействия хлебозаготовкам. По его настоянию истинные бедняки исчислялись на Соти всего лишь десятками, и оттого кружок еле справлялся со своей работой. Вдобавок, установился обычай определять доходность двора **по спичке**; входил в амбар милиционер, зажигал спичку, и, пока она горела, на глазок прикидывалась сумма налога на местные нужды. Этим и выражалось участие Виссариона в той игре больших козырей, которая началась на Соти; этим он приоткрывал дверь волковатому сотинскому племени на широкую бандитскую дорогу. Мокроносов же, стремясь оправдать доверие бедноты, еще более подкрутил гайки.

Пронька, сколько ни приглядывался к деятельности неукротимого Виссариона, так и не умел постигнуть его до конца. «Чудной ты, жарко говоришь, а на два смысла действуешь!» Виссарион ни в чем не признавал половинчатых мер, начиная от безбожной пропаганды до ликвидации неграмотности, и буквы циркуляра придерживался во всем. Он произносил страшные слова, которые пугали и самого Проньку, и Мокроносова, а банда росла, и черный туман двигался впереди нее на мужицкие селенья. Положение Буланина укреплялось; фотография его

попала в губернскую газету, — он был изображен с откинутой головой, полным задора и крика, но никто не знал, что этот крик был: «Назад, к тезису!» Это была пора его расцвета, он уже не боялся ничего. Перед самыми воротами обетованного города, полного великолепной социальной архитектуры, он затевал последний бунт. Его не огорчала незначительность его плацдарма; артиллерист, он знал законы детонации взрывчатых веществ, а честолюбивое воображение усиливало ему образ его самого — хромого предтечи Аттилы, шагающего по пустыне.

В захваченном манией мозгу его слагалась героическая феерия, цветные вихри плескались в ней, двигались полчища безымённых бродяг на материки и народы, ветхие сивиллы раскрывали пророческие и беззубые рты, начиналась как бы флуоресценция стихий, мир раскрывался в первоначальном своем смысле, загаженном трудолюбием гениев. Он глядел и находил, потому что искал и хотел. Каждая мелочь этой временной заминки утраивала его силы, и вот наступил день, когда зашептали наконец домодельные макаринские сивиллы. Сказывали, будто Савиха, бродя за грибами, встретила дубоватого коротконового старичка в дальней заозерной стороне; и будто бы кинул старичок щепотку праха в коровьи глаза старухи, и Савиха увидела дикостные, могучие пламена, застывшие над землей и ее городами. Задрав одежды, раскидав грибы, якобы неслась старуха целой скирдою по незнакомому полю, а старичок кукарекал ей вслед. Лука, эта бородатая сивилла мужеского пола, видел, как из трухлявой сосны выскочил заяц с красной головою, и теперь на Луку не смеялись. По уверенью некоторых, в округе стал прохаживаться незнакомый господин в волосах и с подпаленной бородой, который разыскивал покраденную у него медаль; в нем нетрудно было узнать недобитого купца Барулина. Древняя языческая космогония оживала на глазах у всех; мертвые искали себе дружбы у живых. На поселенья поползли крысы, клопы и какие-то летучие тараканы, а в довершение смехот выполз из болотной дебри необыкновенный микроб и стал есть матицы в новых избах. Зародился он, наверно, еще в пору проливней, и месячная сырость помогла ему приспособиться к сотинскому

бытию. Кажется, все та же Савиха встретила его однажды, а тронуть не порешилась: черноват, усат, с востреньким хоботком, а размером с небольшую жужелицу. Мазали старухи керосином почернелые матицы, но не переставали те трухлявиться, а драпчатые крыши замшели, а в просторной макарихинской бане сруб маленько присел на уголок и стал походить на шапку, робко подвинутую набекрень... Какая-то женщина со строительства, рыжеватая чуть, наскребла в бутылочку избяной плесенцы и все искала таинственную жужелицу — не то на казнь, не то на исследование науки; бабы едва глаза ей не выцарапали за злодейство. Подразумевали, что микроб нарочно пущен Увадьевым на жилища мужицкие и сердца, чтоб источил вконец, а опустелое место застроить фабриками с новыми людьми, безотличными от православных, с той лишь разницей, что спят без храпа и без дыхания — на манер как молотилки спят. Барулин, сказывали, пополнил и, примирясь с утратой медали, выдумывает новую штуку под советскую власть. Глупость мешалась с дикостью, мертвое с живым, нищета с неистребимой нечистью... гуляла человеческая метель, и уже под шумок выходили на добычу воры.

А началось с того, что на свадьбе у Феди Селивакина выкрали лапшу из печи. Тут праздник случился, и Макариха полна была наезжих гостей, из которых половина прогуливала на улице свой свадебный хмель. В селивакинском доме шел своим чередом пир, и жених уже дважды выбегал на двор помочить в пожарной кади пропитую свою башку. В открытые окна летели звуковые клочья гульбы, а чаще всего повторялось:

— А ну, перед лапшой по большой!

— Ой, пирог подгорел... ой, смочить малость!

Гости томились и потели, а лапша все не шла; ядовитая сваха шутила, не примерзла ли заслонка; жених, в помраченье от такого срама, со стоном искал сбежавшую лапшу, а веселье замирало на высокой ноте, как неоконченная песня. Пока женихова родня ловила на огороде кур на новую еду, гости высыпали на улицу поразмять затекшие животы. Тут и встретили они сотьстроевских людей, притащившихся сюда со своей горемычиной. Пришли они с собственным гармонистом, и оттого, что

у каждого имелся свой грошик на угощение, показались им особенно гостеприимны макарихинские околицы.

Селивакин, а с ним и гости, как только завидели их сидящими на бревнах, так сразу и решили, что котел с едовом выкрали они. Глубоко затаив обиду, они смешались с пришельцами, и сразу завелась беседа про всякие мужиковские скорби, про окаянного жука, что питается деревом, про колхоз, за который с особой настойчивостью ратовал теперь Мокроносов. Между прочим, укорили строителей за их сотьстроевское расточительство:

— Все строите, на последние крохи... кто жить-то в вашем доме станет!

А уж тем и отступать некуда:

— И построим. И народу найдется... плодовиный у нас народ.

— Черти вы, черти... обеднили нас до лоскутка!

— Бедные, а пить имеете. Эка рожа-то, в три дни не оплюешь! Почем за молоко-то дерете?

А гостей уж и вправду разнесло от селивакинского обеда.

— Сами мужики, а мужику на пороге ложитесь, черти неправедные!

— А вы контрики, собак вами кормить.

Тут бы и разойтись, но в соседней кучке заспорили о святых, и один, простодушный Миколаша из акишинской артели, выразился в том смысле, что вологодскому святому супротив череповецкого не выстоять. Этого стерпеть стало уже нельзя; так Миколаша и не кончил, а стоял потерянно, облизывая внезапно осолоневшие губы. Ударил его пучеглазый мужичонка, женихов дядя; ударил не столько за сочувствие советской власти, не столько в защиту святого, сколь за покраденную лапшу. Ударив же, он и сам струсил и юркнул было за Лукиничу, который случился возле, но тут все строители увидели расплывшиеся Миколашины губы, кровависто дрожавшие, как студень.

— Кого бьешь, дитю бьешь! — закричали земляки. — Дружок, утрись... ведь тебя обидели! — и тотчас пустились ловить увертливого обидчика.

Произошла небольшая свалка, а когда глаза привыкли к суматохе, многие увидели, как Фаддей Акишин,

оставив в сторону картонную конягу, прилаживал на себя старенький картузишко и готовился выступить в подмогу землякам. Несмотря на обоюдное возмущение, побоище началось по древним правилам кулачного соревнования: снимали пиджаки и тем дружественней пожимали руку врагу, чем сильнее кипело сердце. Не дорезав своих кур, высыпала откуда-то жениховская родня, и тотчас навели на них печальную красу огорченные сотьстроевские ребята; пучеглазый дядька украдкой уползал по канавке домой, волоча за собой располосованный пиджак. На стороне сотьстроевцев оказался и тот рослый мариец, памятный собеседник инвалида; стремясь остудить дикарский пыл распри, он принялся разметать бойцов по сторонам... и вот долгоногая куземкинская халда понеслась по деревне, стуча в окна и трубно крича:

— Бяжите, люди, бяжите... хреновья старые, бяжите... все бяжите! Татаре наших бьют...

Количество сражающихся сразу увеличилось на треть, и ячейке ничего не оставалось, кроме как вызвать конную милицию с Сотьстроа. Тут вернулось макаринское стадо; напуганный скот шарахался в проулки от суматошного людского клубка. Тем временем конники с лихостью бури наскочили на деревню, но, не имея точных предписаний: разить ли, уговаривать ли, растерянно внимали хрипенью бойцов. Вдруг раздался странный скрип, точно на всем ходу остановилось маховое колесо; было так, словно выстрелили в толпу толстым чугунным словом: «Убили!..»

Был жалкий всхлип:

— Всем отвечать, всем... граждане, всем!

Толпа пятилась и расступалась от места, где должен был лежать поверженный человек, но ничего там не было: только рядом с раскрошенным Фаддеевым коньком чертил пыль сереньким крылом затоптанный куренок. Ужасная трусость охватила всех, и тогда-то Мокроносов, пользуясь временным замешательством, приступил совместно с милицией к арестам; предоставляя суду впоследствии разобраться в виновности каждого, он брал почти без разбору, — только вглядывался в лицо подозреваемого и по какой-то сокровенной дрожи в глазах угадывал преступника. Никто не возражал ему;

временно, до расправы, их отвели в клуб, дали воды и хлеба, а пол застелили соломой, чтоб спать.

Свечерело, а на бревнах остался сидеть только один Виссарион, свидетель происшествия, так с самого начала и не замеченный никем. Должно быть, не утомясь еще зрелищем дикости и крови, он подобрал с земли куренка, эту первую жертву своей игры, и, держа на ладони, долго глядел, как затягивали его глаза два смертных бельма. Потом, когда надоело, он поднял отяжелевшие веки и стал смотреть на остывающее небо и далекие, как бы углем начерченные на нем купы деревьев. Пустынная незатейливая графика пейзажа напомнила ему затрепанную фразу из учебника: «Мезозойская эра изобиловала...» Он сам видел, чем изобиловала она; на его глазах длинношеее черные животные, лоснясь глянцевитой кожей, сходили с меркнувшего горизонта в сотинскую ночь. Бесплотную пяту чудовищ уже не обжигало полузатихшее уголье и жемчужная зола заката. Все было очень просто и значительно; только перила деревянной трибуны, черневшие в небе, мешали целостному восприятию мезозоя; была досада, точно богатый нерасчетливый художник перемудрил, поставив ее именно здесь. Он поймал себя на мысли, что Аттила еще не конец, а конец там, за пределами сущего, но он не понял, что, только будучи мертвым, можно шагнуть туда, назад, к Началу.

Глаза его смыкались, когда он услышал шорох позади себя; он скорее удивился, чем испугался. Неслышно взобравшись босыми ногами на бревна, сзади стоял Лука; застигнутый на месте, он хмыкал, слюнился, а насекомое лицо его поминутно менялось, как тесто, которое месят.

— Куреночек-то, а?.. Куреночек-то! — шептал он и все тянулся назад, грозя рухнуть на Виссариона. Руки он прятал за спиной — сорокаветовская привычка, и стоило взглянуть на него, чтоб понять его нынешнее намеренье, но у Виссариона как бы пропало сопротивление к смерти. Подобно стеариновому огарку, что-то таяло в нем и застывало у собственных ног. Он смотрел на Луку до тех пор, пока старик не отступил назад, в крапиву, из которой выбрался на бревна. Никто не видел их вместе...



Длинная телеграмма Бураго о событиях на Соти пришла к Увадьеву на сутки раньше газетных сообщений. Местный корреспондент, сообщая подробности бесчинств, очень уместно приводил количество дворов в волости, и выручку шонохской винной лавки за один тот праздничный день. Совмещая это с добавочными известиями, полученными в тресте, о каких-то беспорядках у биржи труда, можно было получить широкую и ложную картину волнений на Соти, хотя, в сущности, то было обычное при безделье брожение, вызванное заминками на Сотьстрое. В последующей секретной телеграмме от строительской ячейки сообщалось о непрерывных попытках рабочих освободить товарищей, которых из общего числа арестованных сорока двух человек приходилось чуть меньше половины; ячейка настаивала на освобождении и крестьян, чтобы не обострять создавшихся отношений. Той же ночью, посоветовавшись с Жегловым, Увадьев отправил в уезд телеграфное требование немедленно освободить всех, задержанных по случаю побоища. Беря все это на личную ответственность, он действовал противозаконно, но закон и не предвидел подобных заострений в действительности. В душе он готовился ко всяким переменам, вплоть до смещения своего с должности, так как почти все, с кем ему приходилось встречаться, смотрели на него как на истинного виновника сотинской заварухи.

В эту ночь он совсем не спал, вместе с Жегловым мучаясь над докладной запиской в **Бумдрев**; надо было доказать, что не замедление, а лишь убыстрение темпа работ способно выправить положение на Соти. Когда машинистка поставила последнюю точку, в окнах белесо пучился рассвет. Мельком взглянув на часы, — сперва ему показалось, что на циферблате вовсе нет стрелок, — он вскочил и принялся собирать бумаги.

— Куда экую рань?

— Надо на аэродром поспеть. Сегодня Потемкин летит... неудобно.

— Куда?.. Да, я и забыл. Ну что ж, кланяйся ему, Потемкину, желай! — Жеглов покрутил шнурочек пенсне. —

Кстати, поедешь на Соть — забирай с собой этого, Роберта твоего, пока он вконец не разложился.

...Город, зевая и стеная, распрямлял невыспавшиеся члены; в жилах его опять заструилась дремотная кровь. Небо было пусто, точно вылизанное. Стоял ранний час; посреди безлюдной улицы лежала дворницкая метла, и все ее торжественно объезжали; этот час принадлежал ей. Заспанный шофер переспросил адрес, и Увадьев вторично назвал ему гостиницу, где временно проживал Потемкин. Дряхлый мотор кашлял, заставляя вздрагивать седока, и тем злее лаял на новехонькие машины, которые встречал на перекрестках. Отражаемый домами, то голубой, то розовый, проползал по рукам Увадьева утренний свет. Вдруг отражения потухли; серая плоская громада надвинулась из-за последнего поворота. Увадьев побежал вверх по лестнице. Пропуска выдавала женщина в красном платке. Швейцар тащил урну для окурков. В номере плакала девочка. Потемкин сидел один, в старом прорезиненном пальто и в кепке; он походил на просителя, дожидającego аудиенции у высокого и грозного лица. Кресло поглощало его наполовину, а снаружи на него напирала бронза зеркал и плюш богатых гардин. Увадьев заметил, что рука Потемкина лежала на кнопке звонка.

— ...кому так названиваешь?

Потемкин иронически дернул плечом:

— Надо же снести вниз чемодан, я даже ходить разучился... минут пять звоню. Чудаки, они думают, что я уже умер... — Он говорил совсем тихо и так, словно ему было неловко разубеждать в этом Увадьева.

В комнате пахло погребом, но на столике в длинной вычурной вазе стояли блеклые флоксы, напоминая об осени, цветная осыпь лепестков отражалась в красном лаке стола. Пузырьков аптечных нигде не было видно, они стали не нужны. Увадьев раскрыл окно и высунулся наружу.

— Э, воздух-то... ровно сельтерская вода, хорошо. Завидую тебе, едешь в самую кавказскую гущу, в цветы, а меня сегодня пороть будут. Кстати, кто тебе цветы-то преподнес?.. амура завел втихомолку, а?

— Нет, это дочь у меня. Она любит.

— Она поедет с нами на аэродром?

Потемкин взглянул с удивлением:

— У ней уже кончился отпуск, она уехала третьего дня. Со мной едет Крузин такой, он у меня в исполкоме... А с дочерью мы распрощались, да.

— Ах, вот как... очень любопытно. Ну, что ж, едем!

Держа одной рукой чемодан, другой придерживая друга, Увадьев спускался по лестнице; Потемкин виснул на руке, мешая идти, и Увадьев уловил в себе стыдное желание схватить Потемкина под мышку покрепче и нести, как вещь. Он вспотел, прежде чем добрались до выходной двери, и швейцар, единственно из сочувствия Увадьеву, подбежал взять у него чемодан.

Снова чихал мотор автомобиля, и сточившиеся внутренности гулко сотрясались в нем; снова сдвигались, раздвигались и падали позади цветные плоскости стен; бежали под колеса знакомые улицы — Моховая, Никитская, Тверская, а Увадьев изучал приятеля украдкой и находил, что у него похудела даже голова.

— Тебя не трясет?.. Вообще, ты как чувствуешь себя?

Тот испугался вопроса:

— Нет, совсем неплохо, совсем. Мне предлагали кровь перелить... есть такие студенты, продают кровь. Не могу, стыдно... — Он взглянул на Увадьева и быстро отвел глаза. — Ведь они со мной целый месяц возились: все-таки вроде губернатора был, нельзя. Чудаки, одного электричества рублей на пятьдесят извели. А я сижу и хитрю: дело-то ведь ясное! — Он помолчал. В улицах вслед за дворниками появились газетчики; Увадьев остановил машину и купил газету, но прочесть так и не смог. — На днях выхожу... то есть выводят меня из лечебницы, вот где электричеством-то меня пичкали... и подкатывается нищий, в разлетае такой... «Вы тоже резонер, коллега?» — спрашивает. «Нет, отвечаю, я — комик».

— Ну какой же ты, к черту, комик! — усомнился Увадьев.

— Нет, это я пошутил ему, что комик. Ты не опоздаешь со мною, а?.. Вот уже полчаса вижу я тебя, а все боюсь спросить про Соть. Боюсь, понимаешь?

— С Сотью справимся! — махнул Увадьев.

— ...справимся, а в газетах-то ругают!

— А ты что же, триумфального шествия хотел?

Больше они не говорили до самого аэродрома; да и там, подходя к самолету, они обменивались лишь самыми скучными и обычными в этих случаях словами. Крузин, спутник Потемкина, этакая белая булка с колбасой, хохотал, с оживлением щупал себе карманы и дважды пытался рассказать анекдот про человека, который ехал без билета; кажется, только природное добродушие заставляло его делиться с друзьями всем, даже услышанной пошлостью. Увадьев строго поглядел на него, и тот, покорно отойдя в сторонку, завоzilся над багажом.

— А смешно, наверное, там, наверху; видеть землю, понимать ее и не уметь прикоснуться к ней... — не утерпел Потемкин и в это малое вложить свой особый смысл; он сидел на чемодане, пока летчик с бортмехаником пробовали мотор. — Знаешь, никогда там не бывал, на Кавказе, а всю жизнь хотелось.

— Зачем ты не поехал по железной дороге, а полетел? Тебе, может, вредно!

— Не люблю это в дороге... умирать.хлопотливо и как-то противно. А на полет меня еще хватит. Ты не пугайся, я давно это понял... я очень много, знаешь, примечать стал: все теперь вижу. Раз там, на Соти, шел, а на дороге лежит сапог вот с таким лицом... — Он показал, с каким лицом лежал сапог, а Увадьев смущенно отвернулся. — Я тогда и понял... здоровый человек этого не видит.

Увадьев нерешительно кашлянул.

— Эх, хоть бы снять тебя на память! — вырвалось у него невольно. — Все-таки потом, когда все построится, должен твой портрет там висеть. Ты начинал...

Того как-то сконфузила неуклюжая откровенность друга:

— Да-да, надо построить. Я скажу тебе секрет: свяжи свою судьбу с удачей предприятия, и если гибель — то и тебя нет. Тогда победа. Ты еще любишь вверх глядеть... понятно? а ты вниз гляди, вниз, откуда миллионы глаз на тебя смотрят. Ты внизу справляйся, ладно ли идет. Еще несколько таких промашек, и у них поколеблется доверие! — Увадьев покорно слушал его поученье, потому что оно было последнее; и вдруг, заметив гримасу Увадьева,

Потемкин принялся совать ему свою холодную, сыроватую руку. — Ну, вали, действуй. Кабы люди каучуковые были, а? Сломался — моментально его в машину, и все к манометрам... и вдруг выбегает через полчаса свежий человек в трусиках, а? Ты как думаешь, будет так, а?

Мотор уже работал. Увадьев посадил Потемкина в кабинку, а оттуда высунулись ухватистые руки Крузина, красные, как клешни рака, и покровительственно обняли больного. Стартер дал знак, пыль и ветер ударили остающимся в лицо; когда Увадьев протер глаза, уже получили свое оправданье длинные и такие нелепые на земле крылья. На ходу просматривая записную книжку, Увадьев вышел на улицу; в книжке было помечено: «Варвара»... но ехать к матери было как-то неприятно. Ему все казалось, что вот он входит в знакомую полуподземную каморку Варвары, а на стене висят брюки отчима, а матери нет — ушла за керосином, и он должен сидеть наедине с брюками материна мужа. Он ехал в вагоне, переполненном утренним людом, и уже собирался развернуть газету, но вдруг вскочил и, расталкивая публику, метнулся к выходу: он увидел Варвару, мать... Чадили асфальтовые котлы, ползали чумазные тротуарщики, проносились автомобили, а она возвышалась на железном табурете посреди, почти монумент, с довольным и спокойным лицом.

Ее трудно было бы узнать со спины по одной лишь дородной фигуре, по красной косынке, по той тяжело-весной небрежности, с какой она передвигала стрелку: нужно было еще внутреннее желание и готовность самого Увадьева увидеть ее хозяйкой улицы, на прежнем месте. Выскочив на ходу, он едва не свалился к самым ногам Варвары; она посмотрела на него с неодобрением, останавливая одним взглядом, как остановила бы и автомобиль, выскочивший на нее из-за поворота.

— Вот оштрафуют тебя на рупь, станешь спрыгивать на ходу! — пригрозила она, а у самой под синеньким ситцем ревелись бесенята зыбучего бабьего смеха.

— Здорово, мать! А я думал... — Он не досказал и, тиская ее жесткую, шершавую руку, пошел напрямки. — Спешу, мать, спешу... Нэпмана-то прогнала, что ль, своего?

Она снисходительно усмехнулась:

— Слава те, не паяные!.. пусти, руку выломаешь, — и ударила его по руке. — Откуда экую рань, с гульбы, что ли?

— Нет, приятеля провожал одного. Полетел умирать в цветы... Ну, рад, мать, рад за тебя! Знаешь, а я прийти боялся. Ну как, что нового? Барыня-то жива еще... вот, что с тобой жила?

— Ноне советские духи под заграничные продает... Чего ж про Наталку-то не спросишь?

— А что ж мне Наталья! Тоже не паяные...

— Вот скрутился с другой, вот и дела другие пошли. Скоро тебя под суд-то отдадут? Небось инженерша передачек-то не понесет. Ты чего там, на Соти твоей, нашкодил?

— Ого, а ты и газеты стала читать? Молодец, мать, молодец! Слушай, поедем со мной на Соть, а?... а то живу чертом, прибраться некому. Изба у меня вроде бани, такая, в ней и живу. — Он мельком вскинулся на большие уличные часы и опять схватил ее за руку; было крепко пожатье, точно сцепились якоря. — Пора мне... время, надо домой заехать. Слушай, приезжай... станция Соть, а там спросишь! — прокричал он уже из трамвая, в который вскочил на бегу.

Она махнула ему своим совком, которым сбирала грязь с рельсового пути; потом пузатая церковь заслонила и ее красную повязку, и железный табурет. Кондуктор вторично, уже настойчивей, предложил ему взять билет; он вынул горсть медяков и отдал без счета. «Эка бабища, правительница на площади, хорошо. Тут ее когда-нибудь и удар трахнет, а хорошо!» Потом он раскрыл газету, но дочитать снова не удалось; кондуктор прокричал название какой-то совсем неподходящей площади: он сел не на тот номер. Лишь минут через двадцать он вошел в белые ворота древней московской стены и вдруг испытал волнение, потому что от разговора в этом длинном без украшений доме зависела конечная судьба Сотьстроа. Сразу сказала бессонная ночь: образ Варвары сплелся с Потемкиным; он вспомнил тот особенный взгляд, которым обнял его Потемкин на расставанье, и почувствовал тяжесть в ногах...

— Вам каких, гражданин?

Он угрюмо глядел на тощие руки папиросницы, перебивавшие свой товар.

— Нет, не то... я не курю.

Забыв про лифт, он по лестницам втаскивал свои громоздкие тревоги и все прислушивался к шумам вокруг себя, как в молодости когда-то проверял на стук работу машины. Сюда пригнала его волна, поднявшаяся снизу, и он не умел побороть в себе опасения, что все уже напуганы этой непредвиденной бурей. Здесь, в рулевом управлении корабля, стояла благополучная тишина, разграфленная четким стуком машинок, расцвеченная гулким, разноязычным говором. Вдруг какой-то человек, лицо которого показалось Увадьеву знаменательным, панически пробежал мимо; Увадьев пристально проследил его и даже сделал за ним шага два по коридору, но человек спешил в уборную, и увадьевские скулы зарделись... Он был заранее записан на прием, и оттого, едва успел развернуть газету, назвали его фамилию; тогда, сдвинув свой портфель, отяжелевший до сходства с ядром, он переступил порог кабинета.

С первых же слов стало ясно, что здесь достаточно осведомлены о положении Сотьстроая; в этой папке на подоконнике немало имелось, по-видимому, сведений, о которых не имел представления и сам Увадьев. Человек, сидевший за столом, указал место сесть и вымерил посетителя коротким взглядом. «Хребет прощупывает, крепок ли, выдержи ли...» — подумал Увадьев и сел так, что место хрустнуло под ним; тотчас он приподнялся и удивленно поглядел на стул, но тот стоял как ни в чем не бывало. Через несколько минут пришел Жеглов и новый, только что назначенный заведующий **Бумдревом**. Все здесь было известно, от прорыва западни до самоубийства инженера, и потому разговор принял сразу узкопроизводственное направление:

— ...у вас там, на лесозаготовках, было закуплено тысяч до семидесяти кубосаженов пустоты. Так?

— Вроде того.

— ...делянками по четверть десятины да еще километра в сорока друг от друга!

Увадьев покосился на Жеглова, ища поддержки:

— Мы не производственники, а строители. Мы не заготавливаем, а покупаем. И виноват был Гублесотдел, который, ставя лесосеки на торги, дал неверные цифры

о них... ну, о количествах деловой и дровяной древесины, — на память прочел он из докладной записки, лежавшей пока тут же, в портфеле.

— И оттого покупали у частника?

— Овес?..

— Нет, я все о лесе.

— Куплено было некоторое количество дубовых кражей, лиственницы и бука. Мы предлагали местной кооперации, но она обещалась в восьмимесячный срок... За это время новый человек успеет родиться.

Человек за столом достал из папки какое-то письмо: лицо его стало холодно и требовательно.

— На, почитай. Верно это?

Письмо, писанное Горешиним, носило следы самой усердной конспирации и, судя по надписям в уголке, успело побывать в губкоме. Горешин, давясь от секретности, извещал, что на строительстве беспокойно, что по баракам поговаривают о «Еремеевской ночи», если не произведут вовремя значительных перемен в управленье. Увадьев читал, и пальцы его прилипали к бумаге; потом он сложил письмо и брезгливо кинул его на стол.

— Чушь, у меня все костромичи да вятичи... И слово такое откуда вынюхал!

— Мы запрашивали, — сказал тот, не отводя глаз от увадьевских ушей. — Слово это слышал от рабочих завклуб из соседней деревни.

— ...Виссарион? — быстро спросил Увадьев и вот зашелся злым, беззвучным смехом, походившим и на конвульсию; кажется, смеялся он над самим собой, которого считал испытанным ловцом человеков.

Он вспомнил, что при сообщении о каждой неприятности на Соти непременно упоминалось имя Буланина; ему пришел в память давнишний донос Лукинича и совсем недавний рассказ Сузанны, которому не поверил в суматохе, почитая его следствием их личных отношений, — Сузанна не была точна в передаче ночной их встречи; ему вдруг стали понятны некоторые потайные пружины, которыми изнутри распиралось сотинское дело. Неожиданно для самого себя он сжал под столом увесистый свой, с металлическим пушком, кулак и погрозил, как кувалдой, воображаемому Виссариону.



О том, что грозил уже наполовину мертвому, он узнал только к вечеру, когда удалось наконец дочитать утреннюю газету.

## V

С этого высокого этажа, где он высидел долгий и нервный час, видней и понятней становилась сложная механика жизни. Пыльную суетню и грохот улиц значительно замедляла и глушила высота. Пять крупных уличных артерий сбегались в обширную площадь, и здесь, в раскаленном круге, велась беззатейная карусель движения. Ладные шумливые игрушки описывали часть предназначенной дуги, и потом центробежная сила снова откидывала их в боковые ответвления. То, что с безумной скоростью несло вниз, отсюда представлялось в тугом и закономерном вращенье. Полуденная дымка завлакивала задние городские кулисы, которых еще не успели сменить для нового спектакля; в блеклое золото крестов и куполов смотрелись лиловые студенистые облака, — к вечеру следовало ждать грозы.

Увадзев слушал, и ему мнилось незамысловатый образ корабля, который потрясают ночь и буря. Нужно было чрезвычайное уменье и воля, чтобы вести его при перегруженных котлах через море, не помеченное ни на каких картах. Корабль кренился то в одну, то в другую сторону, и всякий раз волны свирепей вскидывались на покачнувшуюся вертикаль. Ломались рули, и их заменяли новыми; только от мудрости капитана и выносливости самой команды зависел успех рейса туда, куда еще не заходили корабли вчерашнего человечества. Усилия, сделанные накануне, забывались, как забывались и имена их зачинателей; некогда было повторять эти стотысячные имена. Начинаясь пора великого маневрирования, и, может быть, именно в этом заключалась истинная героика революции.

Участь Сотьстроа не могла решиться за один этот час, да и о судьбе отдельных работников строительства предоставлялось думать специальной комиссии, составленной из представителей общественных и государственных организаций. В Сотьстрое сгущенно отражалась вся экономика страны; участь его определялась теперь много-

миллионным народным голосованием, и подсчетом голосов ведал Наркомфин. Решение гласило: кораблю пробиваться вперед, Сотьстрою быть, комиссии выехать на Соть немедленно. Сотинские события наводили кое-кого на мысль, что всемужицкий Аттила уже выстругивает свою палицу, рождающую руины.

Комиссия, однако, выехала на Соть лишь неделей позже и сутки спустя после того, как с Геласием и Жегловым воротился Увадьев. Вечер, точно спетый вполголоса, был удивительно тих, и тем более странно было встретить троих вооруженных рабочих на дрезине, которую выслали за начальником строительства. Увадьев заинтересовался было цементом, сложенным под открытым небом, но шофер заторопил с отправкой дрезины. Ветка становилась неблагополучной; еще действовал в Виссарионовой машине старый заряд. Накануне нашли на полотне безгласного китайца Фунзинова, торговавшего по сотинским деревням всякими детскими игрушками; ходили слухи, будто копит китаец деньги, чтоб жениться на русской и на оседлое сменить свое кочевое житье; да недокопил, разграбили. В лицах охраны, когда проезжали соленгскую пойму, читалась та злая зоркость, какой не видано было с самых гражданских боев. Смеркалось; осенний закат, полнеба окропил рдяной сукровицей, и оттого уместны были мысли о незаживляемой ране, нанесенной старой Соти.

Увадьеву пришлось сидеть рядом с одним из охраны, токарем из ремонтной мастерской; косясь на его морщинистые щеки, тускло мерцавшие в потемках дрезины, на ремень с патронами, с которым тот еще не вполне освоился, он расспрашивал его полупшепотом о сотинских новостях.

— Крутимся мало-мало, вчерашнему нонешнего все едино не догнать, — неохотно отвечал тот, не спуская глаз с пути и тревожа Увадьева туманом слов. Кивком он показал на бугорок, мимо которого мчалась дрезина. — Вот тут и лежал китаец! В лоб ударили, а игрушки все конями притоптали. Чего, китаезная жисть!

— Что там с бандой-то?

Токарь, задумчиво и еле касаясь, провел пальцами по ложу винтовки:

— Да все недорезанные... рабочему делать нечего там. Монах один тож блудует. Решета рябей, а туда ж, на коня

полез! В волсовете есть, ершистый такой: «Неча, говорит, ждать, пока к околице подойдут. Дозволили бы, говорит, мы бы их в неделю повывели».

— Нельзя! — строго сказал Увадьев.

— А чего ж!.. на Енге конокрада поймали, пятки закатали к голове да по пяткам-то, чтоб резвости убавилось... — Он с досадой подергал ремешок. — Разве можно такое во всем разбеге останавливать! — Он имел в виду Сотьстрой и случившуюся заминку. — Останови кровь, а она чернеть почнет, а там хоть и всю ногу напрочь рубай. Да еще Бурого войско хотел вызвать, а тут порохом не вылечишь... И ты тоже хорош, монахом советскую власть вздумал подпирать!

Повинуясь ходу мыслей, Увадьев обернулся и в упор взглянул на Геласия. Тот сидел прямо, весь в каком-то внутреннем полете, одинаково переряженный снаружи и изнутри, но еще не приросла к нему новая его одежда «Подслушивает... и глаза как у ночницы, сквозь волосики огонечек, — подумал Увадьев. — Ничего, вникай, парень!» Может быть, Геласий и догадался о минутном сомнении Увадьева.

— Там человек за деревом... перебежал! — резко сказал он, и тотчас же Увадьев приникнул к прозрачному холоду стекла, плясавшему в брезентовой раме.

Он сразу различил его в синей мгле сословья; человек стоял неподвижно, как бы висел на суку. Увадьев заискал его ног, но дрезина уже пронеслась, и в запотевшем стекле отразилось собственное его лицо, освещенное вспышкой чужой папироски. Мгновеньем позже что-то гремуче визгнуло в испуганном теле дрезины, и тотчас же железная дрожь ее перекинулась на людей; дрезина шла по шпалам. Втягивая голову в плечи, водитель притормозил машину, и еще до полной остановки ее Геласий выпрыгнул, упал и, поднявшись, побежал к лесу. Звякнули винтовки охраны, люди высыпали наружу, еще плохо соображая причины катастрофы.

— Гады, гады, гады... — бормотал водитель, поднимая из канавы толстый железный болт, второпях, по-видимому, положенный на рельсы. — Машину портить, гады...

Пока кольями и случившимся под рукой домкратом втаскивали на путь соскочившую дрезину, Увадьев стоял в стороне, томясь стыдом и недоуменьем за Геласия.

— Эй, Элеоноров, черт!.. — закричал он со сжатыми кулаками. Нелепое имя, еще не обтершееся в устах, прозвучало как издевательство над ним же самим, над Увадьевым. — Фу, похабство какое... — сказал он потом, стаскивая картуз.

В росной мгле из-за леса выходила недоделанная какая-то луна, и один ее бок был помазан как бы маслом. Стал виден глубокий шрам, прорезанный на свежих шпалах колесом дрезины; задвигались тени. Люди ждали выстрелов или набега, но ничего не происходило, и болт в руках водителя стал принимать другое, смешное значение. Так прошло, может быть, полчаса; лунишка поднялась на локоть выше; тени почернели, стало прохладней. Дрезина была готова к отбытию, а Увадьев, растопырив ноги, все глядел на голубые рельсы, прямолинейно убежавшие к опушке.

— Поедем, может, он тово... домой пошел? — еле слышно намекнул про Геласия тот же токарь.

Багровый гнев вливался Увадьеву в скулы; токарь дружелюбно потянул его за рукав. Вдруг Увадьев выхватил у него винтовку и, прыгая через шпалы, помчался к лесу; теперь уже и токарь различал двух, боровшихся на опушке. Помощь пришла вовремя; Геласий лежал на траве, а на нем, извиваясь и хрипя, возилась бесформенная человеческая глыба. Рычал Геласиев недруг:

— ...пусти,пусти!.. ага, ты духовника своего кусать? — Он никак не мог освободиться от Геласия, державшего его за бороду, и забился еще сильнее, когда добежали люди из дрезины.

Охрана едва вырвала Филофея из Геласиевых рук, сомкнувшихся в мертвой хватке. Уже вязали пленника, уже уводили к дрезине, подталкивая прикладами, а Геласий все лежал, корчась и почему-то икая.

Увадьев наклонился к нему:

— Ну, вставай... руку, что ль, сломал? Ничего, починим... «Верность, верность доказать хотел...» — топтались на уме догадки. — Вставай. Чего ж ты на медведя да безоружный полез!

— Он меня ногой... коновал. Он в срам меня... жеребеночек! — бредовым голосом шепнул Геласий, и тогда сам Увадьев, взвалив на плечи, потащил его к дрезине.

Когда отъехали сажен сто, токарь зажег спичку и, водя ее вдоль лица пленника с риском поджечь бороду, качал головой: должно быть, он дивился размерам добычи. Тот не двигался: из-под расклокоченной рубахи, вся в волосах и ссадинах, лезла на глаза грудь; взгляд его полон был звериной муки; он был подпоясан в несколько рядов веревкой. Он был громаден; у таких стыд за то, что взят живьем, всегда превосмогает любую боль. Мало в нем осталось от монаха, еще меньше от человека.

Не в меру узкие порты его лопнули на коленях; он водил тяжким взором по дырам, как бы стараясь хоть этим прикрыть свою голизну.

— Ведь вот, на делах тебя изловили, а ведь сколько еще на тебя денег потратят, прежде чем **решить!** — раздумчиво сказал токарь и прибавил, поглаживая по плечу: — Сидеть-то мягко тебе?.. не трет?

— Шуми, муха, шуми... в шуму-т не так страшно бывает! — проклокотал Филофей, и это были единственные слова, которыми удостоил он мир.

Мотор замолк, в окнах дрезины заколебались огоньки поселка. Прибытие Увадьева всколыхнуло тишину Соть-строга; к дрезине собирались рабочие, но Увадьев уже прошел. Носилки с Геласием вызвали меньше недоумения, чем широкая Филофеева фигура, на голову возвышавшаяся над конвоирами. При сдержанных криках толпы, уже разведавшей обстоятельства его поимки, Филофея провели в плотничий сарайчик и ворота приперли кольями, а возле поставили милиционера в полном вооружении, чтоб охранял не столько от бегства, сколько от возможного самосуда. Озлобление рабочих против ночного вора достигло того последнего предела, за которым бессильны и власть, и всякая охрана. К полуночи весть о поимке злодея распространилась по всему поселку, и тогда милиционеру пришлось применить все свое служебное красноречие, на которое, впрочем, население отвечало ему достаточно крепко и убедительно. Отдельные подозрительные милиционеру глазу кучки стали прогуливаться мимо сарайчика, всем хотелось видеть пленника, шупать его глазами, касаться его рукой небережной и справедливой. Теперь все несчастья на Соти возлагались на одного человека: так было утешительней сердцу.

— ...боров, отсель не выпустим! — кричали снаружи, и брань звучней бульжника летела в квадратное оконце, прорубленное в полутора сажнях от земли.

— Пожечь его... и все место его пожечь, шершневую колоду!

— Эй, скольких людей разорил... Выглянь, мы в тебя плевать будем.

Милицейский, сам разделявший остервенение рабочих, еле успевал следить за всеми, и потому людское кольцо то суживалось, то размыкалось вновь. Так длилась эта бестолковщина до самого рассвета, когда тонкий невесомый свет зари стал бороться отускневшие звезды; по травам легла тяжкая росная испарина. Вдруг кто-то заметил белесое пятно в окошке: Филофей решился выглянуть в мир. Люди замолкли, и тотчас же один молодой парень, плотник, метнул в дыру комом ссохшейся глины. Все видели, что он попал метко, но лицо продолжало невозмутимо белеть в провале, и тогда парень, обозленный вконец, схватился за жердь, намереваясь хоть ею пропороть ненавистное спокойствие злодея.

— Товарищ, отступи!.. — кричал милиционер, готовый уже и кобуру расстегивать, а непримиримый все напирал, себя не помня.

Вдруг он сам выронил жердь и попятился, а милиционер так и застыл с поднятыми руками.

— Братишки... — вялыми губами сказал плотник, — ...а на чем он стоит-то? Верстак-то ведь у той стены, а тута... тута нету ничего!

Они совещались о самом невозможном, а Филофей все глядел на них из оконца, уже безразличный к тому, какое солнце побежит завтра над страной. Толпа поредела, и милицейский понесся в поселок будить тех, кого в особенности могло заинтересовать новое известие. Одно бряцанье милицейского снаряжения и гулкий его топот должны были вздыбить спящее население поселка.

Увадьев проснулся получасом раньше. Палада луна на стол, где стояла пустая консервная коробка; дробный жестяной луч тянулся через комнату в самый его зрачок. Полуголый, но в пенсне, Жеглов высыпал в бумажку какой-то порошок.

— ...ты что?

— Хина... завтра начнется, чувствую. Где у тебя вода? запить...

— Вон, в бутылке.

Жеглов выпил и, морщась, присел на лавку.

— Ты все кричал во сне... какую-то женщину поминал. Варвара, это мать твоя?

— Кто, Варвара? — Увадьев думал о другом. — Кстати, кто вошел в комиссию от бумажников?

— Морошкин... ты его встречал у меня, рябоватый. Фу, какая все-таки горькая!.. Тебе Наталья не писала?

— Нет... да и не о чем. А что?

— Я тебе сам хотел сказать, но все не удавалось. Я живу с ней.

Увадьев пристально взглянул на Жеглова; тот лежал с руками, закинутыми под затылок, и влунном, значительно померкшем потоке четко торчал остренький его носик.

— Ничего, живи. Она, знаешь, неплохой человек... я припоминаю.

— Ты потерял хорошего человека, да. И вообще ты странный человек, Иван. Нет у тебя в жизни друга, при смерти которого ты сказал бы: и я умру.

— И не будет, — сухо вато подтвердил Увадьев и тут же покраснел, вспомнив Катю. — Давид, давай никогда больше не будем об этом!.. ты друг мне, но может статься, что порвется наша дружба!

Он снял трубку с телефона и соединился с больницей. Заспанным голосом фельдшерица сообщила, что новый, Элеоноров, бредит, и сделать какие-нибудь предсказания на его счет нельзя; ей гораздо легче далось новое имя Геласия, потому что она не знала прежнего.

— Слушайте... — Увадьев замялся. — Там нет врача поблизости? Имею особый вопрос. Что? Хорошо: как вы думаете, сможет он жениться?.. ну, через год!

В трубке слышен был подавленный зевок:

— Нет, не думаю. Ткань разможена, сильное кровотечение... утром оперируют.

— Ага, такой оборот?.. покойной ночи, товарищ. — И стал ходить по комнате.

Потом он вспомнил про порвавшиеся подтяжки и, отыскав в стене иглу, сел зашить их; после разлуки с женой чинился он всегда сам, употребляя самую толстую

суровую нитку, которую иногда густо наващивал. В воображении ему представился поверженный и искалеченный Геласий; он смотрит в Увадьева и напоминает то первое слово о земном счастье, с которого началось Геласиево преобразование: «...а ты из дырки скитской убежишь, отыщешь себе труд по рукам, зазнобину заведешь первый сорт, и станет барышня твоя целлюлозный шелк...» Таилась какая-то хрупкая неправда в его тогдашнем уверенье, которое с такой легкостью разбил удар Филофеева сапога. Он шил, протаскивая иглу плоскогубцами сквозь кожу, и все отыскивал поправку к идее, которая возместила бы Геласиеву утрату.

Тут и прибежал милиционер сообщить о «самоповешении» бандита. Повествуя о том, как выпрашивал арестованный папироску сквозь воротную щель и как он отказал, памятуя наставления Увадьева, даже в окно к начальнику полез было милицейский; имелись у него секретные на этот счет соображения. Но Увадьев закрыл окно перед самым его носом и, дошив, принялся одеваться.

— Давид, я все хотел тебя спросить... где она сейчас, Наталья?

Тот понял, что сообщение об их браке Увадьев принял за простую уловку.

— Работает на фабрике, а что?

— Вспоминает меня?

Жеглов пожал плечами.

— Прости, я не понимаю. Ревнуешь, что ли?

— Нет, а как бы это сказать... может, ей деньги нужны?

— Зачем же, моего заработка хватает. Да и сама зарабатывает, — холодно объяснил Жеглов.

Увадьев заглотнул воздуха столько, что чуть не отлетела какая-то пуговица с груди, и поднялся.

— Да-да, вы оба замечательные люди, — сказал он, с удовольствием потирая руки. — И вам нужно было сразу, тогда же... понимаешь? А я зря тут третьим замешался. Эко солнце-то, ровно ягода. Ну, пойду взглянуть... вали, глотай свою хину.

И он ушел, а Жеглов остался лежать. Начинался малярийный приступ; в непрозрачных потемках сознания наступила бестолковая беготня мыслей; собственная рука показалась ему зеленой. Подобно опечатке, еще не



обнаруженной в тексте, мучило его сообщение милицейского о монахе, попросившем закурить. Филофееву потребность он пытался объяснить десятками громоздких догадок, а дело было совсем просто: следуя путем Аввакума, Филофей хотел изойти из мира через огонь. В поисках заваливающей спички он излазил весь земляной пол сарайчика, прежде чем порешился на иную подлецкую смерть... Солнце, восходившее из-за ветлы, и впрямь показалось Жеглову ягодой, но незрелой и горькой, как та хина, за которой он снова потянулся.

## VI

Пока не пришли власти открыть сарай, милицейский недвижно сидел возле, на досках, и в служебном раздумье созерцал ноги, изобилие ног, топтавшихся перед ним. Сперва были тут только сапоги, порыжелые и бесстрашные к засухе или слякоти, а попозже, когда весть о происшествии докатилась и до Макарихи, появились и лапти, и женские полусапожки с резинками, и даже чей-то щегольской сапожок. Все это было привычно, и только громадные валенцы, этакие войлочные стояки, на которых качаться бы великаньему тулову, чуточку развлекли милицейское оцепенение. Но валенцы переступили вдруг запретную черту, за которой любопытство становилось уже наказуемым, и ретивый страж вскинул голову на такого смельчака.

В валенцы вдет был некрупный старичонка в застиранной рубахе и, как сразу определялось по желтизне плешины, гробового возраста. Стараясь подкупить служаку последними улыбочками, остатками прежних богатств, просил старик дозволения заглянуть во мрак окошка.

— Удостовериться желательно, правда ли... — наполнил Вассиан и весь, от плечи до валенцев, пахнул чем-то резким, кошачьим: теперь он уютился на задворках у благодетеля.

— Катись, пока я тебе колес не наточил! — загадочно пригрозил милиционер и гнал назад, точно от созерцания окна, где висел самый непримиримый, и мог прозойти главный вред.

Он напрасно усердствовал: у сарайчика больше говорили о первом крупном транспорте лесоматериалов, прибывшем на Соть, чем о запоздалой гибели Филофея; к вечеру же у всех сложилось так на душе, точно после утреннего происшествия протекла целая неделя. Через два дня, одновременно с приездом комиссии, притащился второй транспорт, и тогда неуверенная надежда оживила людей, но строительство все еще стояло, как бегун на старте. Постепенно темп работ ускорялся, и почти в полном соответствии с ним тормозился ход сотинской смуты. Банда затихла, порох ее сырел, ржавела ее ярость. Мокроносову снова подметнули записку, что все воротятся на покинутые места, буде им даруется прощенье за нечаянные их шалости; Мокроносов отослал бумажку в уезд, так и заглохло. Приходил мужичок, требовал сто рублей с Увадьева за одну значительную тайну; сторговались на трешнице, но в последнюю минуту тот струсил Сорокаветова, пришедшего по какому-то делу, выкинул из кармана полученные сребреники и сбежал в молчаливую неизвестность. Был как бы туман, а в нем тени, и что тут было всерьез, что от воображения — не разобрать. Виссарион совместно с Пронькой задумывал облаву на бандитов, а Увадьев поддался на просьбу Мокроносова не трогать завклуба до ближайшей улики. Он недоумевал, допуская вредительство лишь в одну сторону. Во всяком случае, когда на Соть прибыл новый председатель губисполкома, дрезина выезжала ему навстречу без всякой охраны.

В продолжение трех дней комиссия не выходила из конторы, изучая цифровую действительность на текущие сутки. Как-то в конце дня туда пришел Акишин в сопровождении кучерявого комсомольца и, вызвав председателя комиссии, с делегатским достоинством вручил ему синюю тетрадку, полную ветвистых каракулей.

— От рабочих прими, — сказал Фаддей, прикрывая щеку, где еще красовалась двухвершковая царапина.

— О чем это?.. — прищурился тот.

— Возьми, — чванно настаивал Акишин, меняясь в лице. — Не я, тыща с тобой говорит!

Тот взял, пожимая плечами, и тут же просмотрел ее. Первую страницу занимало требование рабочих продолжать строительство во что бы то ни стало; возможное подозрение, что массой строителей руководил лишь шкур-

ный интерес, отводилось готовностью пойти на известные жертвы; остальные пятнадцать были заполнены подписями. Здесь и лежала разгадка непонятого оживления и беготни по баракам, наблюдавшихся в последние двое суток. Долистав до конца, председатель обещал принять к сведению акишинское поручение и тут не удержал улыбки.

— Где ты себе, отец, щеку-то рассадил?

— Это он в классовой борьбе... — вставил комсомолец, намекая на макарихинский скандал...

Акишин нахмурился:

— ...и еще велено на словах передать... хлеба-то нету! Пильщикам паек сократили... — Он оглянулся, нет ли кого вблизи, готового осмеять Фаддеевы соображенья. — А чем меньше хлеба, видите ли что, тем больше бумаги надо.

— На хлебные карточки намекаешь, язвина? — усмехнулся председатель.

— Не мудри... а народу объяснить надо, почему хлеба меньше.

Тот, еле сдерживая смех, опустил глаза, но уже дружественней листал тетрадку.

— А ты хитрый, старик. Лиса ты, вот что...

— Тем кормимся! — даже и не мигнул Акишин.

— И в тебе есть это самое... соображение, — постучал он себя в лоб.

— Не стучи, взбултыхнешь! — И они расстались, вполне довольные друг другом.

На следующее утро комиссия открыла прием заявлений от рабочих, но за два дня поступило лишь одно — с просьбой о выдаче аванса на ремонт погорелой избы. Увадьев сам на заседания комиссии не заявлялся, да его и не беспокоили до поры; вел себя самостоятельно, был особенно нетерпим к сотрудникам по управлению, но то, что принималось за страх перед будущим приговором комиссии, было на деле лишь желанием сдать строительство будущему заместителю на полном ходу. Его вызвали в комиссию одним из последних, когда все ответы на возможные вопросы были давно готовы у Увадьева.

— У вас много фиников?... — нежданно спросил председатель.

— Да кило два еще наберется... — с удивлением ответил Увадьев.

— У нас составилось впечатление, что завоевание социализма стало для вас завоеванием женщины...

Увадьев вздрогнул и строго уставился в вислый галстук, стягивавший ворот черной председательской рубашки.

— Может быть, вы разъясните... при чем тут финики? — с кривым ртом спросил он, поглаживая себе шею; он был уверен, что речь идет о Сузанне.

Председатель протянул ему фотографический отпечаток:

— На!.. узнаешь? У своего же рабочкома невесту отбиваешь!

Секунду Увадьев не видел ничего, кроме лилового, захватанного пальцами глянца. На крыльце знакомой избы стоял он сам и с ним машинистка Зоя; особенно контрастно вышли белые бумажные чулки на коротких ногах девицы. Испуг проходил: они ничего не знали о его внутренней борьбе с Сузанной, длившейся целый год.

— Перепроявлено маленько, а ничего, смешно, — молвил он наконец, когда улыбка на его лице совсем созрела. — Это ребята из фотокружка? А еще говорят, что клубная работа плохо поставлена. Больше вопросов нет?..

Успокоение было ненадежно; угнетала мысль, что все на Сотьстрое уже знают про обольщение финиками, а может быть, шутники показали отпечаток и Сузанне? Последние две недели он вовсе не встречался с ней, и тем растерянной была его злость на себя, когда ему напомнили о Сузанне. Целый вечер он боролся с собой и в сумерки не устоял перед искушением услышать ее голос хотя бы по телефону. В трубке происходило невнятное хлопотанье; шорох ветвей, царапавшихся как бы о стекло, мешался с плеском осеннего ливня; похоже было, будто он подслушивал свою собственную осень.

— ...не разбудил вас?

— Нет, пожалуйста.

— Поздно ложитесь, это вредно.

— А вы, что, в опекуны записались? Слушайте, я не из тех. Бывали случаи, в меня стреляли, и я стреляла сама. — Ему почудилось хвастовство этой неизвестной подробностью, но он не испытал раздраженья. Ему было так, будто курит толстую папиросу и приятное онемение приходит в пальцы. — Вас вызывали в комиссию?.. они спрашивали об отце?

— Да, я объяснил, что он устал. А когда устают в наши дни — умирают. — Папироса его кончилась, а ему все еще хотелось продлить ее сладостный чад. — Слушайте, я прочел вашего Печорина. Встретиться он мне в девятнадцатом году, я расстрелял бы его, да. — Он помолчал. — Знаете, осень пришла!

Кто-то засмеялся, и вот кольнуло неуместное подозрение, что не одна она, а двое, трое... весь Сотьстрой слушает по ту сторону провода его неуклюжие признания, усиленные через громкоговоритель.

— Не смешите, это Увадьев... — шепотом сказала она кому-то. — Простите, я не слышала.

— Я сказал, что осень, — вяло повторил Увадьев. — Дерево под окном, осина, вся в круглых листьях, как в медалях... латунь, медь, золото.

— Иван Абрамыч, — сказала она просто, — с чего вы впадаете в такую плачевную лирику? Вы все сидите один, вот вам и мерещится. Какая осень, просто циклон затянулся. Вы из дому? Ну, тогда приходите сейчас... у меня люди, и мы пьем чай. Придете?

— Ладно. У меня финики есть... — грубым голосом сказал он и ждал, потому что для этого, в сущности, слова и велся весь разговор.

— Отлично, будем с финиками!

Торопливо, точно боялся опоздать, он заворачивал в газету остатки липучих ягод, но когда одна упала на пол, он поднял ее и положил в общую кучу. Спрятав ключ в условленное с Жегловым место, он вышел на улицу и быстрым шагом двинулся по проулку, который вел к больничке. Именно оттого, что не было ему существенной разницы между тем, что он хотел и что уже сделано, он старался теперь помочь себе воображаемым разговором. Дело представлялось ему так: зима — бледный диск вокруг луны предвещает метель — бумажный зал возводится уже в тепляках — в такую ночь Сузанна прибегает к нему, накинув шубку прямо на рубашку, и остается навсегда: так происходит соединение двух концов вольтовой дуги. Они живут вместе, то есть в одной комнате, и будто утром он спешит на строительство, — там одна из колонн бумажного зала дала непредвиденную и скандальную осадку; он торопится выпить кофе и проглотить неминуемую вчераш-

нюю котлету, волокнистую и безвкусную, как целлюлоза. «Ешь, пожалуйста, ножом и вилкой, если сумеешь!» — говорит она, и он ненавидит себя прежнего, который не остерегся решительного шага... Беседуя с фельдшерницей, он уже знал, что когда-нибудь соберется в больницу, к Геласию. Было несомненно также, что фиников не хватило бы на всю ораву техников и инженерской молодежи, которая обычно собиралась у Сузанны.

В палате было пусто; только один парень, ошпаренный накануне из паропровода, разделял с Геласием больничную ночь. С забинтованной до самого рта головой, он все еще рычал, этот здоровенный малый, уже не от боли, а от животного страха перед обнявшим его мраком. Исполняя больничный распорядок, Увадьев на цыпочках прошел к окну, где с раскинутыми ногами лежал Геласий. Тот еще не спал; слегка сощурился на молочный фонарь, сквозь который сочилась пахучая больничная скука, он осторожно подвинулся в сторону, чтоб освободить гостю место на койке.

— Ну, брат, едва добрался до тебя! — бодро начал гость и немедленно стал выгружать на столик свои дары. — Это финики, замечательная штука... только вели, чтоб тебе их помыли. Что ж, скоро и на выписку! Ну как, все хорошо?

— Все хорошо, — с каким-то как бы накрахмаленным лицом сказал Геласий и кашлянул один раз.

— Я тебя кладовщиком зачислил на склад. Должность нешумная, но ответственная, брат! Души и сердца машин у тебя будут на сохраненье... и замечательных машин, понимаешь?

— Я все ждал, что ты раньше придешь, — сказал Геласий. — Хотелось поговорить обо всем.

— Ну вот и говори!

— Теперь не хочется, зарядка прошла. Там что, Филофей повесился?

— Да, брат, вертится колесо, и кто не умеет удержаться на нем, прочь летит. Все правильно, в мире всегда все правильно, но кое-что надо еще взорвать в нем! — Украдкой он прощупал взглядом своего приемыша, отыскивая в нем явных каких-нибудь перемен, но все как будто осталось по-прежнему; длинная рука — каждый палец, согнутый коршуньим клювом, еще недавно предназначался когтить

сообщих с ним, Увадьевым, врагов, — раскинулась по простыне, но рыжие космы, стекавшие с подушки, уже не обжигали взгляда. — Как, не болит теперь?

— Не-ет, все прошло. Зарастает волосиками... — Он закрыл глаза, его утомлял разговор с Увадьевым.

— Вот и ладно. Выйдешь — поселишься пока у меня, и будем двое холостяков. Вот если только сместят меня да ушлиют куда-нибудь на низовую работу.

— Ты не заботься обо мне, — с непостижимой одышкой перебил Геласий. — Я тебе не нужен, я и сам себе не нужен. — Лицо его сморщилось. Увадьев ждал худшего, но все обошлось благополучно. — Ступай и не ходи ко мне больше. Ступай, мне спать надо, я больной.

— Ну, как знаешь, тебе видней! — охотно согласился Увадьев. — Если деньжат понадобится, заходи без стеснения, я дам.

Ему было немножко стыдно того облегчения, с которым он покинул палату; вдобавок было такое чувство, будто где-то в укромном уголке его самого стоит Жеглов и наблюдает его жестокую, здоровую повадку. «Ну, как Геласиева пружина?» — «Она умерла, — говорит Увадьев. — В каждом производстве бывает брак». — «Слишком велик брак в твоём производстве, Увадьев!» — «Впервые, друг, впервые. Все еще неясно на этой фабрике новых людей. Станков толком расставить не умеем, правда твоя. А парня жалко...» — «Ты машина, — и голос Жеглова звенит. — Машина, приспособленная к самостоятельному существованию. Ты самую природу считаешь изменной...» — «Цени во мне это!» — «Но ты же не живешь, а выполняешь функции. Ты любишь Сузанну, а бежишь ее, потому что признание обозначит твою сдачу!» — «Я не боюсь суда тех, для кого я сделал себя таким...» Воображаемого собеседника он видел как бы сквозь дым папиросы.

В доме было темно; он пошарил спичек на столе и рукой наткнулся на острый край консервной банки. По липкости пальцев он догадался о порезе и мысленно улыбнулся Жеглову. «Вот-вот, и боли нет...» Через минуту он вспомнил, что липкость происходила от фиников. Не отыскав спичек, он ложился спать на ощупь и вдруг опять поймал себя на сравнении — вот лежит в разобранном виде машина, делающая счастье для девочки Кати,

страшное человеческое счастье. Потом стала мниться река из детства, на которой мальчишкой удил рыбу. На воде, ленисто передразнивавшей гаснущие облака, качался сумасшедше пестрый поплавок; в теле возникло напряженное ожидание. Вдруг поплавок нырнул вглубь, и все затрепетавшее существо Увадьева метнулось вслед, в зеленоватую тину сна.

Его разбудил грохот упавшей банки: вернувшийся с заседания Жеглов тоже искал спичек на столе.

— Спичек не ищи, нету, — приподнявшись на локте, сказал Увадьев. — Неделю, черти, обещают электричество провести...

Жеглов звучно зевнул:

— Большая драка была. Ну, ты остаешься... сам влип, сам и выпутывайся. Завтра сооруди нам дрезину, пора ехать.

В переломную эту ночь спали особенно крепко. Никто не видел снов, никто не просыпался среди ночи, хотя до самого рассвета мчались лаистые ветры над рекой. Это Север облаивал осень, вступающую в обладание Сотью.

## VII

Дрезина отходила в три, а за час до полудня, в обход установившихся правил, часть комиссии во главе с Увадьевым отправилась в Макариху на летучий митинг. В частности, Гуляеву, новому заместителю Потемкина по губисполкому, хотелось посмотреть соотношение сил на Соти. Надоумило его то обстоятельство, что накануне, почти одновременно с акишинской тетрадкой, в комиссию было доставлено такое же заявление от сотинских мужиков: подписей набрали близ сотни. Незначительность советского ядра, заставлявшая предполагать равнодушные или враждебные остальные массы, не пугала Гуляева; каждый новый успех Сотьстроя должен был неминуемо вербовать ему все новых сторонников.

С утра рябились лужи, ленивые капли непогоды уже не испарялись. Митинг перенесли в клуб, и так как представлялось невыгодным сразу поднимать обсуждение спорных и насущных вопросов, Гуляев начал с обзора международного положения. Его слушали с зорким



вниманием, точно все сообщаемые им на память цифры имели прямое отношение к мужицкому, на Соти, житию. Сидя во втором ряду с Мокроносовым, Увадьев вспоминал обстоятельства их первого знакомства и шепотком расспрашивал о всяких деревенских делах.

— ...а этот Милованов, что с ним?.. обошлось?

— Живет. Все очень хорошо. Коня ковать поехал.

Гуляев говорил о хлебе, и беседа прервалась сама собою.

Минут через десять, приметив улыбку Мокроносова на какую-то часть гуляевской речи, Увадьев спросил:

— А завклуб как?.. Ты за ним присматривай.

— Действует. Заходил даве, больной лежит. Лютый мужик, еле сдерживаем... Мы его до дел порешили не допускать. Все о войне скучает. Лучше, говорит, поры не было: ветер кругом, и сам, говорит, как ветер...

И еще протекло не меньше получаса, прежде чем они заговорили опять.

— Женишься, сказывают?

— Пора... с Пронькой роднимся.

— Ну, а как вообще?

— Работа больно мелкостна... трудней не было.

Только и было их разговора за целых два часа доклада.

Потом пошли записки, и Гуляев торжествовал; пристальное любопытство к вещам, стоявшим вне круга мужицких интересов, сигнализировало ему о существенном, хотя и неясном повороте в настроеньях. Сам он обладал страшным даром бесхитростной искренности, и оттого его провожали дружбой; он уехал в твердом убеждении, что мирное завоевание Соти, начатое Потемкиным, завершится успешно. Пользуясь тем, что собрание не расходилось, Мокроносов намеревался лишний раз распространиться о выгодах коллективной обработки земли, и тогда-то новое событие переположило сотинцев. Как ни докапывался впоследствии, кто принес дурную весть, так и не дознался правды Мокроносов... Лука подслушал о том от селивакинской молодки, а та яростно ссылалась на Савиху; бабища же указала на пятилетнего Гаврюшку Лышева, который якобы заплакал, увидев Луку, начальное звено этого неразрешимого кольца. Председатель принялся за мальчика, но дитя лишь ревели на допросе, и по голтому животу его катились горчайшие слезы. Как бы то ни

было, кто-то третий, придя со стороны, сильным ударом нарушил непрочное сотинское перемирие. Тут бы и изучать Гуляеву сокровенные настроения сотинцев; никто не хотел войны, — всем еще памятна была давняя ночь, когда пал на простреленное колено непобедимый Березятов.

Весть о смерти передового на Соти советского человека охолодила сердце. Собрание мгновенно обратилось в толпу, которая, ломая и опрокидывая скамьи, ринулась вслед за Мокроносовым. Надо было удостовериться, что не Пронька убит; надо было уловить злодея и тем самым доказать кому-то, что только злая единоличная воля сразила Милованова. Часть отделилась от бегущих и, своротив у околицы, побежала за Васильем: в памяти у всех возгорелась с новой силой его сдержанная угроза на лугу. Тесной кучей, слепо тыкаясь друг в друга, толпа неслась по пнистой луговине, и опять не различить было в суматохе, кто именно вел ее к месту убийства.

— Ведь он с конем поехал... — на бегу визгнул кто-то про Милованова, но не останавливался, чтобы не затоптали.

— ...значит, и коня.

— Застрелен аль так?

— В хóлову, в хóлову!

По дороге к толпе пристала вся остальная Макариха: случись пожар — некому было бы и в набат ударить. Сбоку, тяжело громыхая, неслись дворовые псы. Там дощатая лава вела через ручей; мостик прогнулся, и сваи стали клониться на сторону, едва взбежала на доски грузная людская многоножка. Некоторые, торопясь обогнать, пошли вброд, и бабы задирали подолы, а мужики обжимали ладонями голенища. Ручей взмутился, красная глинистая кровь потекла в нем. Задние, ведомые собаками, так же как и чутьем, свернули в ольховник; отчаянно замахали желтые верхушки ломаемых кустов. Вдруг растерянный толчок прокатился по всему людскому потоку, и задние поняли, что впереди уже наткнулись на убитого Проньку.

Тотчас над головами и зарослью взмыл скрипучий голос долгоногой Надежды Куземкиной:

— Вот он, вот он... смирененькой!

Каталепсически вытянув руку, которую не сломать бы теперь и пятерым мужикам, она с каким-то застылым восторгом указывала в высокую траву, где голубела выгорелая,

знакомая всей Соти Пронькина рубаха. Толпа отступала; любопытство было напоено ужасом до отказа, а сердце уже свыкло с ледяными обручами страха. Мертвое тело лежало лицом вниз, и выкинутая вперед рука как бы тянулась к ржавой метелке конского щавеля, которую так и не довелось сорвать; рубаха задралась, и вдоль пояса, влача добычу, полз некрупный, деловитый муравей. Тут же валялся и шупник, которым было совершено убийство, — железная клюшка, какими проверяют на лесозаготовках, не осталось ли дровины под снегом после свезенной поленицы. Судя по траве, никакой борьбы не было; удар метко и сильно был направлен в шею; след почернел и вздулся.

— Разойдись... а то всех привлеку! О чем хлопчете? — произнес председатель, не сводя глаз с поверженного друга.

С серым, постаревшим лицом он решительно шагнул вперед, но что-то хрустнуло под сапогом, и он, наклонясь, вырвал из травы раскрошенную спичечницу; в осколках перламутра, обвитых травинками, еще тлела памятная всем блудливая радуга. Невидящими глазами он искал в толпе.

— Побежали за ним... поди уж вяжут! — несмело вздохнул Куземкин про инвалида и прибавил совсем тихо: — Экой род погибает на Соти!..

Торжественно и с колен Егор приподнял за волосы голову друга и заглянул в лицо. Растерянный его взгляд обежал толпу; он разжал кулак и с невыразимой тупостью созерцал радужные осколки; сбивали его с толку противоречивые обстоятельства убийства, и сопоставить их воедино было еще трудней, чем восстановить спичечницу инвалида.

— Кто сказал, что Пронька убит?.. — виновато спросил председатель, и тогда, осмелев, все стали подходить и всматриваться в мертвого.

Теперь его узнавали даже с затылка. В траве лежал макарихинский завклуб, Виссарион Буланин; полуоткрытый рот его, казалось, вопил безгласно, но уже никого не оглушал этот крик. Стали вспоминать, что еще месяц назад Пронька наголо выбрил голову, что уезжал он по другой дороге, что никогда не носил он городских ботинок. Не голубая рубаха ввела всех в заблуждение, а общая и затаенная убежденность, что Проньку обязательно убьют; прежде всех опасался этого сам Мокроносов. Еще

труднее было поверить, чтоб у инвалида имелись поводы умерщвлять неповинного завклуба. Но Василий самолично признался в этом на следующее утро, и не поверить ему теперь было бы преступлением по должности.

Еще толпа не воротилась в деревню, а Егоровы посланцы уже разыскали преступника на маслобойке. Спотыкаясь и чванясь от сознания исполняемого долга, они тащили Василья под руки, как ушат; сам он шел бы слишком долго, невтерпеж правосудию. Он не бился, а лишь покорно покачивался промеж рослых своих конвоиров да все косился на рыжую свою собаку, бежавшую рядом: с некоторых пор она замещала ему изменивших друзей. Вся деревня с удивлением узнавала, как он испросил у них позволения привести себя в порядок; дрожавшими от долгой пьянки руками он наколол на грудь все царские военные отличия, расчесал пробор на голове и так жирно смазал его пахучей мазью, точно надеялся закрепить свою красу на долгие века тюремного сиденья; баночку с остатками он сунул в карман. Вместе с собакой заперли его в сарайчик, ходивший под сыпным пунктом, и повесили самый большой, какой нашелся в Макарихе, замок.

— Отдохни, Вася... — вконец сказал Мокроносов, уходя.

Красильников смеялся и, пока не померкли щели в стенах, безобидно играл с собакой; позже, единственно от праздной скорби, пришло ему в голову расчесать и собаку; это повеселило немножко его участь. Но на рассвете, пугаясь нового солнца, Василий стал биться, а собака выть.

— Отдайте... отдайте мне мои ноги! — безумствовал он, но даже и часовой не слышал, потому что за одну сырую эту ночь Василий охрип окончательно.

Через час, однако, он смирился, и когда пришел Мокроносов везти его в город, перламутрово и потаенно играли Васильевы глаза: осеннее утро было розово, а зелень травы еще не потеряла своего летнего блеска. И опять не поверил Мокроносов.

— Шибко плохо твое дело, Василий, — сказал он, теряясь в догадках. — А ведь не ты завклуба уложил! Как ты мог его шупником достать... не на табуретку же становился!

Тот что-то отвечал, беззвучно шевеля губами, а Мокроносов, склоняясь, вдыхал удушливый аромат его прически.

— Охрип он, — подсказали со стороны.

— Громче, громче кричи... себя спасешь. В ухо мне кричи, ну!

Лицо инвалида побагровело от натуги:

— Становись... давай клюшку... попробуем.

Егор внимательно посмотрел на его изжеванные пальцы, на обуглившееся в одну ночь лицо и понял, что если и не убил, то непременно убьет в будущем; непостижимое томление испытал он в коленях. Он так и понял, что, жертвуя собой, калекой, тем самым оберегал Василий своих неоткрытых, но сильных друзей.

— Не человек ты, а заусеница, Васька... — молвил напоследок председатель, гадливо покачивая головой. — Ну, разувай, парень, свой иконостас, — прикрикнул он. — Не на маскарад едем! — и пхнул ногой расфиксатуаренную собаку, скулившую за хозяина.

Его увезли, и ни вдова, ни друг, которых и не было, не вышли провожать в дорогу; в сущности, род погибнул гораздо раньше. Недолго помнили и об Виссарионе, — помнили, пока хоронили; даже и шрама не осталось на памяти людской. Никто, к слову, не догадывался, кого хоронят. Провожатых пришло немного, но это был сплоченный отряд, готовый к любому бою. Впереди всех, тотчас за приспущенным знаменем, шли гармонисты, трое, и, не умея играть грустных мелодий, старательно переиначивали на скорбь всем известную лихую песню. Скрипели колодезные журавли... и потом галки, — целое небо летучей черноты! — бесстрастно поднимались с поля, пуштого, точно вывернутого наизнанку.

Виссариона закопали, как чурку, на развилине шнохской дороги, чтоб все, кто уезжал или возвращался, видели и этот печальный столб с дощечкой, а на ней кратчайшую повесть о днях макаринского завклуба. Осенние дожди посмыли непрочную надпись, а подновить ее все недоставало рук. По весне, когда окончательно истерлась память об этом неудавшемся предтече нового Аттилы, блуждал тут хозяйственный мужичок с Нерчьмы и, чтоб не пропадать столбу задаром, начертил на дощечке черную стрелку химическим карандашом, а под ней — тридцать две корявых буквенки: «Отсель до Сотьстроа Километров шесть...»

## Глава шестая

### I

Нагоняло ветром воду в Соть, наплывали слухи на деревни. Первее всех набежал шепоток, будто замиренье все-таки не состоялось, потому что воспротивился тому сам Березятов. Приговаривали, будто и не убит вовсе, а прострелена лишь тень его; сам же просидел все советские годы в погребу у шонохского старовера и, гадая по подземным звукам, ждал лишь поры, когда ему вернуться к прежнему ремеслу. Кстати, припомнилось темное пророчество одного колченогого бродяжки, который, шагая с Волыни на Печору, вздумал навестить и тишайшую Соть. «Отрождается овес на девятые шутки, а рабенок на девятый месяц, — извещал бродяжка, почесывая вшивый затылок под своим собачьим малахаем, и все благоговейно находили, что похожи на диковинные стручки иссохшие его пальцы. — Воротитсе сынелъ шолдатская на девятый год, и тоды будет большая кровь». Ясно было, про Березятова вещал, но то ли часы у героя в подвале остановились, то ли не выспалось его побитое воинство, запоздал Березятов со своим возвращением на Соть... В страхе верит мужик и деревянному скрипу, и куриному пению, и гугнивому вранью.

Чем больше укорачивался день, тем тревожней становились ночи. Кургузые облака застилали сотинское небо, и бродяжка, сунув вверх свой указательный стручок, объяснил однажды, что то и есть тени березятовского воинства, так как тени мертвых отражаются на небесах, — и опять верили. Тут бы и взыграть Виссариону, потому что не особо дальней родней приходился Березятов его Аттиле, но в том и была их совместная ошибка, что не прежнюю деревню заставал теперь Березятов. Покидая Соть, все оглядывался пророк на тень свою, тут ли она, но та бегла за ним пока верней собаки... Деревня расщепилась, и из расщепа, все шире раздвигая его, новая выбивала людская поросль. Да и тех, кто еще качался на древнем корени, постепенно прямою выгодой засасывала сотинская стройка. В числе других двухсот, нанятых с подводами развозить опалубку на Сотьстрое, был один такой

Матвей Кискин, славный всего лишь тем, что болел холерой и выздоровел. Первого октября на рассвете вышел Матвей коня кормить, а сарайные ворота настезь, и как бы вопит сарай всем своим раскрытым зевом. Выскочил Матвей на улицу, — как рассказывали бабы потом, — рот раззет и глаза навывуке, заорал лошадиным голосом, и тут встретился ему неубитый Прокофий Милованов.

— Чего квохчешь не по времени, тетерев? — пошутил.

— Милый, не я — конь мой орет. Овса четыре мешка у меня покрали... на колесах приезжали, бандюги. Меня-то за что, рази я советский? — С огорчения запомнил Матвей, что за языки-то и вылавливают березятовское племя.

— Бандит, где он живет? — молвил Милованов, грузно упираясь взглядом, точно локтем, в самое Матвеево переносье. — На коне живет, конь ему дом и родина. И надо ему этот дом топить, чтоб не погибнуть досрочно. Ну и терпи, от своего терпишь!

Так и случилось, как Пронька предполагал: на дыбы Матвей округ поднял. Как везли воры Матвеево добро, то сочилось из дырявого мешка по три зернышка: на шестой версте, когда заметно отощал мешок, спохватились воры и, обвязав копыта коня тряпицами, ехали дальше как придется, полем и болотом; путлягла и обманывала осенняя колея. Этим следом и пошла облава: впереди собачкой бежал Матвей; стоило ему труда не залаять. На заре отыскали место: стлался низом костерный дым. Розовую тишину, одновременно не меньше восьми, долбили дятлы. Мужики ящерами поползли на животах, влача по хвое, как хвосты, свое домодельное оружие. Земля пахла махоркой и грибом. На постели из елового лапника спала вповалку березятовская вольница; жестяной чайничек своеобразно коптился над огнем, единственный страж спящих. Не сдержав в себе военной отваги, Матвей выскочил из засады и в свирепом восторге закричал «ура». Были свалка, выстрелы, брань и грузный топ погони...

...Из растоптанного костра отвалился уголек. Малая искрица стала точить себе норку, чтоб отыскать угреву от ледовитого ветра. В прелых волокнах гнилушки вздулась она, и тотчас сотня юрких красных паучат разбежалась от нее по сторонам. Некоторые гибли, но десятки вовремя начали свое огненное размноженье. Гнилушка лениво за-

курилась дымком, и вдруг, точно одевшись в красную рубаху, кусток сохлой можжухи трескуче и пламенно вскинулся вверх. Жгучие комары засновали между стволов, а по хвойнику все ползло, множась и раскаляясь, паучиное потомство. Ветер гнал его вперед, они шипели, выкидывая тонкие рыжие жала. Скоро за клекотом огня неслышная стала отдаленная пальба погони. На короткий миг, в подобье шемаханскому алому шелку, развернулся над лесом огненный лоскут... И опять возвеселиться бы Аттиле, имевшему прийти в пламени и разоренье, но была осень.

Сравнимые только с бабами на сносях, собирались над Сотью облака. Получасом позже хлынули осенние воды, и невозросшее пламя поникло. Последний самый живучий из паучков долго суетился у корней, пока не убило его дождевой каплей. Все новое наносило с моря глыбы воды, смывало с деревьев непрочную зелень; имелось на Балуни одно местечко лиственного леса. Соть линияла, цветная ржавчина пала на ее берега, и, когда Увадьев шел однажды утром мыться на реку, под ногами хрустели растреснутые льдинки зимы.

Тем еще отлично было это утро от прочих, что только теперь закончилась борьба за Сотьстрой, перекинувшаяся из высоких этажей в промышленную печать. Бумага спорила за первенство с металлом, кожей, энергией и обнаружила несомненное равенство сил. В сущности, это был спор стихий, и человеку оставалось лишь направлять течение единоборства. Соображение, что, выработывая бумагу, Сотьстрой работал тем самым на культуру, было самым слабым оружием в этой борьбе; одержали верх все те же испытанные потемкинские доводы о пролетаризации Соти. Резолюция говорила о необходимости вывести Сотьстрой в одну шеренгу с важнейшими строительствами республики. Самая сотинская неурядица расценивалась как следствие вынужденной остановки, и этому опыту справедливо придавались укрупненные масштабы. Комиссия полагала, что именно на этом крутом подъеме следует предельно развить скорость, чтоб непрерывным скольжением растереть упадочные настроения, кое-где скопившиеся в стране. В сущности, комиссия воспользовалась теми выводами, которые давала ей сама действительность.



Снова наступили рабочие будни; обшивали толем тепляки, рвали подмерзлую землю на месте будущей водонасосной; в губернских известиях еженедельно печатались сводки о ходе строительных работ. Соть уходила как бы в забвенье: сперва одели ее осенние туманы, потом удалило от мира осеннее бездорожье. Были ветры, точно выли вдовы. При полном бесснежии встала река. Двое суток длилась в природе чудесная и виноватая улыбка, — это были разлука и обещанье; потом пронзительная снежная иголка сыпанула скоса по Сотьстрою. Белая голизна места слепила взгляд. С полудня иголка переменялась на хлопье; воздух стал как сырая тряпка, так тряпкой все и дышали. Сушило и саднило знойким ветром, и Бурого, размечая с Увадьевым место под лесную биржу, низко спустил меховые уши шапки.

— Лепит, Иван Абрамыч.

— Зимишка прет.

После того разговора, пять месяцев назад, им трудно давалось начало бесед; всегда при встречах наедине им бывало неловко, точно однажды видели друг друга голыми. Теперь, может быть, эта метель, отделившая их на час от жизни сыпучей невещественной стеной, и внушала им позыв на новую откровенность; в сущности, каждый говорил сам с собой, потому что говорил от одиночества своего. Их шествие сквозь метель по серому, расквашенному полю напоминало прогулку сумасшедших с какого-то виденного однажды рисунка.

— ...семьдесят восемь, восемьдесят. Здесь первый стаккер! — произносит Бурого, остановясь у вбитого кольшпка, и тычет пальцем куда-то в бок вьюге; кажется, что та шарается, потому что в тычке инженера заключена сила в триста пятьдесят тонн — вес стаккера. — Второй мы поставим там, где проходит Ераклин. Монтировать придется в самую распутицу. А все-таки, Иван Абрамыч, в этой стране напрасно ставить сроки: мы привыкли всюду опаздывать...

Тот смеется, не разжимая зубов, и Бурого знает, что означает этот зубной смех большевика:

«Что, социализм напирает очень?.. затормозить бы, а?»

Бурого долго стоит в неподвижности, кукольно раскинув руки; на его брызгливо торчащих усах лежит снег, похожий на хлопья взбитой целлюлозы.

— Я строю заводы, Увадьев, — думает он вслух, — и мне не важно, как вам необходимо назвать это. Я буду с вами до конца, но не требуйте от меня большего, чем я могу. Социализм... да... не знаю. Но в этой стране возможно все, вплоть до воскресения мертвых! — Он вытирает усы прямо рукавом. — Приходит новый Адам и раздаёт имена тварям, существовавшим и до него. И радуется. Я не умею писать стихов, мое дело строить. Скажете — философия суперфосфата? Нет, я не Ренне. Мне не так много лет... — Он думает, шевеля пальцами. — Нет, я уже старый: я помню и французскую революцию, и несчастье с Икаром, и библейскую башню, и позвонок неандертальского человека в каком-то французском музее. Вы много моложе меня, Увадьев.

— А вообще, сколько вам?

— Пятьдесят.

— Бурого, есть вопрос. Река пойдет в трубы?

— Непременно.

— Целлюлоза будет?

— Твердо.

— Значит, командные высоты наши?.. Значит, возможно влиять на мелкие товарные хозяйства в стране?

— Вы страшный удачник, Увадьев!

— Так в чем же дело? — Вопрос остается без ответа. — Кстати, у вас есть где-нибудь дети, Бурого?

— Они умирали.

— А, так...

Опять они идут зигзагами и петлями от колышка до колышка, считая шаги и вымеряя место. Матовая от холода, неузнаваемая, стоит перед ними Соть.

— Здесь, слешера́ и корообдирки, гут! — и носком сапога, под которым сразу образуется лужица, тычет в снег. — Отсюда конвейеры пойдут до самой рубилки. Вы подгоняйте ваших штабных устриц, Иван Абрамыч. Уже рвут землю, а чертежей все нет. На устрицах Европы не обгонишь!

— Подстегнем, — зубным голосом говорит Увадьев.

— ...тем более что устрицы не кусаются, — смеется Бурого.

Они идут в противоположный угол поля, где черемуха.

Дерево спряталось в снег и потемки, и уже не разобрать до весны — какое. Бурого тычет пальцем в кору, и в ветвях дерева жалобней свистит снег.

— Вы правы все-таки, Увадьев: надо лить бетон, пока не застыл. Я смеюсь, потому что обидно. Тысячу лет мечтали и маялись, а когда пришло это самое, оказалось — устрицы... Здесь второй стаккер. Мне теперь на водонасосную... нам по пути?

— Я провожу вас до ворот. Мне еще к следователю... приехал.

Поле остается позади. Вечер странно укрупняет вещи, каждая стоит обособленно: сарай, дерево, неожиданная в просвете неба звезда; напрасно тщится связать их воедино ветер. На всем лежит глупый, толстый снег. Мир пятнист, и в нем сыро. Кажется, что кричат леса, но это все тот же ветер зимы.

— Иван Абрамыч, вы совсем не пьете?

— И даже не курю, — признается Увадьев, и ему почему-то стыдно за эту нечаянную искренность.

— Обязательное постановление не распространяется на свадьбы...

— Вы про Горешина? — Увадьев смеется; он что-то слышал про долговязого рабочкомца и машинистку Зою, которая оказалась вполне практической женщиной. — Ну, Горешин меня не позовет...

— Вы не наблюдательны, как все сильные люди, Увадьев. — В чуть выкаченном глазу Бураго блестит снисходительная искорка.

В снегу вырастают неравные пятна строений. Бураго, не прощаясь, сворачивает вправо; левая тропка ведет в поселок. Он продолжает свой дозорный обход, — путь его сперва на водокачку. Он появляется неожиданно, и дежурный кочегар, смутясь чего-то, торопливей закладывает в топку мокрые поленья. Котел дрожит, сигнализируя явный перегрев, и глаза главного инженера наполняются красными блеснами из топки.

— Какое держишь давление?

Шипят лишь поршни, в одышке вскидывая вверх громоздкую тяжесть копра. Кочегар бежит к манометру, Бураго засматривает через его плечо. Перекрутившись на триста шестьдесят градусов, стрелка стоит на нуле. Все благополучно грозным благополучием. Бураго знает: котел работает на запасе прочности. Еще минута — и лишний килограмм давления, потом вздуется белый пузырь

пара, начиненный грохотом, и тот же манометр яростно вроеется в обнаженную грудь кочегара. «Так случается сто восьмая статья. Следовательно нечего уезжать со строительства, ему найдется постоянная работа!»

— Открой пар! — сквозь зубы кричит инженер.

Тот лезет вверх с проворством отчаянья и передвигает грузик предохранительного клапана; конусообразное, ревущее дерево вырастает над котлом. Стрелка идет назад, нехотя минуя злополучные цифры перегрева. Бурого стоит боком к кочегару:

— Зачем вы закрыли клапан, товарищ?

— Фырчит очень... — виновато мигает кочегар.

— У вас нервы, товарищ? — Ему смешно: завтра неврастением заболеют солдаты, и государство будет рассылать валерьянку в нефтяных цистернах! Ему смешно, но он не смеется. «Стрелка на нуле, но почему же не лопнул?»

— Грамотный?..

— Точно так.

— Фамилия?..

— Аксенов.

Единственно для острастки записывая это имя в книжку, Бурого идет дальше, через щепу и снег, арматурные обрезки и снег, цементную тару, полусасыпанную снегом. По зыбким и скользким мосткам он поднимается на стройку, одетую в тепляки. В работе уже третье перекрытие сортировочного отдела. Вокруг электроламп качаются пыльные ореолы. В воздухе висит известковая, мусорная пыль. Пахнет сохнувшим бетоном. Взасос хрюкают пилы, мычит умиряемое железо, гугниво, точно сквозь бороду, бубнят молотки. Бурого идет, и в глазах его последовательно отражается все... Постный старичок в очках огромным циркулем расчерчивает на досках чертежные масштабы. Он строго смотрит на остановившегося Бурого и принимает с полу синий чертежник, которому угрожает грязный сапог инженера. «Почему не лопнул?..» — хочется спросить у старика, потому что тот знает это лучше всех, но старик озабоченно склоняется над чертежом, и Бурого проходит мимо.

По шаткой доске, проложенной через какой-то продолговатый мрак, где выются тонкие жилы вводных труб, Бурого идет к оконному проему; еще висят там путаные

арматурные крюки. Кто-то позади, имея в виду то ли сучковатость доски, то ли вес инженерской массы, кричит, чтоб не ходил; но сучки кряхтят и выдерживают испытанье. Отставив оконный щит, Бураго высовывается наружу, на мокрый предзимний сквозняк. Отсюда — и это был тоже высокий этаж, подобный увадьевскому, — видна вся разметка строительства, накиданная как бы вчерне, чернотой толевых крыш по синей кальке снега.

Стемнело, ветер рассосал облака, и в одном овальном прососе уже свисали бахромчатые звездные лучи; это обманывали ресницы, еще мокрые от снега. Вдалеке, среди мирного порядка домов, светятся огни нового управления строительством; дальше — мгlistая, расплывчатая пустота небытия, в ней скука, волки, черти и враги. Но чем ближе, тем колючей очертанья предметов и лютей звук. Глухой подземный гул ударяет инженеру в грудь, — Бураго слышит его грудью: рвут землю для нового котлована. Дикобразами встают леса варочного здания, и глаза инженера сурово ищут бетонных башмаков варочного корпуса. Стучит силовая — неугомонный маятник Сотьстроа; кричит паровоз, пробуждая спящие стихии; слух Бураго ласкают нетерпеливые лязги пара и железа. Во исполнение приказа форсировать в полтора года постройку Сотинского комбината работа велась и ночью. Было страшно оставаться только свидетелем, только тем толуолом, силой которого новый человек взрыхлял древнюю сотинскую тишину. «Почему не лопнул котел!..» Он не кричит об этом только потому, что сзади сидит тот старичок в очках, вопросительно устремивший в его сторону острие циркуля...

Увадьев, возвращаясь от следователя, находит Бураго стоящим на дороге и смотрящим в небо. Ноги его широко расставлены, руки заложены назад. Бураго смущается, точно советскому инженеру непозволительно глядеть на звезды.

— Это Возничий... созвездие. А голубая — Капелла... — сердито сообщает он.

Они идут вместе. Увадьев спрашивает:

— Шпунты уже забивают?

— Да. Странно, Иван Абрамыч... я начинаю думать, что напрасно учился. Вся технология человеческих воз-

можностей насмарку... — И он рассказывает об изобретательном кочегаре.

— Под суд его, — говорит Увадьев, потому что образы Бураго преувеличенны и яркие.

— Э, батенька, Россию под суд не отдашь. Ее преодолевать надо... да ведь я не о том и говорил!

Увадьев не переспрашивает, его мало трогают прихотливые сомнения инженера. Они расстаются на перекрестье дорог. Влажный запах палого листа и снега усиливается к ночи.

## II

После неудачи в прошлом к работам по возведению водонасосной станции приступали с преувеличенной осторожностью. Гипсовые воронки средоточились только в одном месте на берегу, где убило выносом девочку, но Увадьев настоял, чтобы число контрольных буровых было увеличено до пяти. Совет Потемкина помнить о глазах снизу, в особенности, пригодился Увадьеву: теперь они смотрели подозрительно и угрюмо, тысячи требовательных хозяйских глаз. Новый промах повлек бы за собой чрезвычайные последствия. Установилась почти военная дисциплина, прогулов не стало вовсе, окрестные шинкари бедствовали, новому рабочему оставалась лишь канцелярская деятельность, и даже Акишин, мастер праздной беседы, точно на замок речь свою замкнул. Увадьев хоть и ввел поартельный расчет для землекопов, установив род круговой поруки, все же писал Жеглову, что чем ниже стоял человек по должности, тем крепче понимал он символическое значение этого периода работ. Ударность постройки диктовалась тем соображением, что весна на Соти зачастую бывала ранней...

Повторное буренье, однако, подтвердило начальные изысканья: за замороженным слоем почвы шли в смешанной очереди глина, галька, мергеля, опять глина и лишь дальше, с седьмого метра, простирались зыбучие моря пльвунов. Это и был враг, и какие маневры он предпримет через неделю, было не угадать. Уточнить направление пльвунов оказалось также невозможным: во всех пяти скважинах желонки бура опускались как в

квашню, и потом у всех, от прораба до землекопа, являлась одинаковая потребность — подержать на ладони этот жидкий, крупитчатый серый ил. Он обтекал пальцы и грузно капал на лопату, застывая на ней хрупким карборундовым плитняком.

Сперва шли открытым котлованом, с откосами, дробя промерзлую породу гремучей силой толуола, и, когда река встала, половина котлована была уже готова. По мере погружения в сотинские недра число рабочих сокращалось: оставшимся тридцати приходилось всего по сажени пространства для работы; тем большее от каждого требовалось напряжение. В начале декабря, когда при полном бесснежье ударили знаменитые сотинские морозы, вокруг ямы, пшикая и скрипя, уже ползал на катках паровой копер. Полуторатонными ударами вгонялись в грунт плоско растесанные шпунты; они сближались на клин, образуя подобие широкого бревенчатого колодца. Ветры усиливались, земля твердела; дерево щепилось и трещало, несмотря на надетые сверху железные кольца бугелей. В канун Нового года семи атмосферам котла едва впору было состязаться с тридцатью градусами мороза. Тогда над ямой возвели обширный тепляк, и с указанного времени этот толевый ящик на берегу Соти стал центром общего внимания.

— ...грязишша пошла! — сообщил однажды Фаворову десятник, и это означало, что строительство вплотную соприкоснулось с плывунами.

Котлован разделился не поровну — на насосную и водозаборный колодец, который, учитывая меженное стояние воды, предполагалось вести на семь метров глубже. Внутри Акишин понастроил полатей; нижние лопатами вскидывали песок на верхний ярус, оттуда его перебрасывали выше, до самых вагонеток; так тройной азиатской передачей добывали дно. Попытка сразу пробиться сквозь пливун до самой отметки не удалась: грунт становился жиже, хоть бадьей вычерпывай, и тогда захрипели центробежные насосы, загрузив в глубину рубчатые свои хобота. Продвижение вглубь пошло с переменным успехом; иногда уже мерещился предпоследний метр, но просачивались грунтовые воды или перегорал мотор, и, пока перематывали его монтеры, уровень плы-

вунов катастрофически повышался. Работа становилась изнурительной, но рабочие молчали. В мокрых сапогах, облепленные грязью до затылка, осунувшиеся за день, они уходили на мороз, и, пока успевали добраться до барачной печки, грудь их разрывало нудным, одуряющим кашлем; было понятно, отчего в субботнюю баню шли они благоговейно, как на молитву.

Теперь Увадьев почти ежедневно приходил смотреть на эту черную, кропотливую работу. Мимо забрызганных ламп, повисших на перепутанных шнурах, он спускался по лестнице в яму. Затхлая теплота земли пьянила с непривычки. Шипел паропровод отепленья, и в черной жиже чавкали сапоги. Дежурные плотники, четверо, беспрерывно караулили шпунтовые стены, сквозь которые сочился пльвун. Увадьев глядел с полатай на согнутые спины и еле удерживался от желанья самолично взяться за лопату. Его не удовлетворяла роль «состоящего на побегушках при Сотьстрое», как он однажды в шутку назвал сам себя; ему все хотелось делать самому. Его замечали, и шутники норовили кинуть лопату ила на его всегда отчищенные до глянца сапоги.

— Как, мокро?.. — спрашивал он кого-нибудь, оставившегося дать передышку сердцу.

— Не, тута сухо, тута в самый раз. Слезай в сапожках-то! — ласково и спокойно отвечал тот и вдруг вскидывался поверх общего шума раскаленным матом. — И-эх, братишка, могилу копам! — кричал он со взбухшей от напряжения шеей, но кричал бодро, потому что копал ее не для себя.

Бычьим взглядом Увадьев уставлялся в дно колодца, полное жидких подвижных блесков. Мнилось, будто в углу Бураго: теребя седоватые усы, он разъясняет свою мимоходную мысль о новом Адаме. «Ты новорожденный, Увадьев, тебе и насос чудо, а это только старая диафрагмовая кляча, выхлебавшая сотни тысяч ведер до тебя. Мы рыли сотни таких котлованов, обходясь и без романтики; о них написаны книги, которые инженер обязан знать в самом начале ученья. А новорожденному чудесно все, приходящее извне».

— Да, но так и это рюют впервые! — почти вслух шептал Увадьев.



Насос добрался до твердого пласта; снизу кричали остановить мотор, и злой рокот всасываемого воздуха прекращался.

— Эх, хозяин, скуп больно... прибавь копейчек-то! — смеялись снизу, и Увадьев видел белый ряд зубов в черном поту лица. — Ты нашу кровцу понемножку пей. Много — смотри, пузичко заболит!..

— Ковыряй, ковыряй, хвороба!

Это была игра, попытка развлечься чужим конфузом, привычный способ разговора с хозяином. Он снова подымался вверх, где десятник, приладившись к стене, обводил что-то карандашом на синем чертеже. Это был старик, горбоносый и надменный; рабочие побаивались его насмешливых, пронизательных глаз.

— Ну, как, Андрей Иваныч?

Тот оборачивался, задумчиво черня губы себе карандашом.

— Да все так, Иван Абрамыч: на бога надежда! — Сам он в бога не верил и поминал его исключительно из потребности дразнить Увадьева. — Страшнейший пльвун содит, сами видите. Придется четвертую сменку пустить... Коллективно наживаем ревматизь!

Увадьев отмалчивался; в эту пору он чувствовал себя комиссаром при воинской части. Не умея разобраться во всех тонкостях технической стратегии, он зачастую глядел в глаза подчиненному и по неприметным оборотам речи определял его сокровенные устремленья. Когда поднялся разговор о применении кессонного метода при постройке, он первым отверг эту возможность.

— За это, миленькие, под суд отдадут, — сказал он, на ощупь расставляя слова, и не ошибался.

Садил пльвун, но Бурого воздерживался от четвертой смены до самого февраля, пока не выяснилась необходимость чрезвычайных мер. Целых полторы недели длилось опасное равновесие между людскими усилиями и наступающим илом; враги караулили друг друга, взаимно выжидая хотя бы минутного ослабления. Теперь дежурные плотники вылезали из ямы такими же грязными, как и землекопы. На экстренном совещании постановили одновременно с введением четвертой смены применить систему понижающих колодцев, смысл которых был в де-

формации и соответственном понижении уровня пльвунов. Вместе с тем, судя по количеству кубов вывезенного песку, Бураго выразил опасение: зал бумажных машин грозил осадкой; вычерпанный пльвун мог образовать пустотелые пещеры на известном радиусе вкруг постройкн. Десятник Андрей Ивановч заговаривал о забивке второго ряда шпунтов, но предложение его никто не принял всерьез, потому что трудности эти были обычны при подобных постройках; кроме того, установка второго шпунта требовала сломки тепляка, а это вызвало бы недоумения в подозрительно настороженной рабочей массе Сотьстроа.

В эту пору влечение к Сузанне странным образом совместилося для Увадьева с потребностью курить; все чаще, все убедительней представлялась ему бесполезность такого самоистязания... На окне его избушки валялась раскрытая коробка папирос, забытая Бураго в одно из посещений. Пыль насела на бумагу, и невидимый паучище наплел над коробкой целые сети висячих мостов, шелковистых на ощупь, потому что однажды Увадьев пытался прорвать их. Может быть, паучок и уловил бы Увадьева на табачную приманку, если бы не замело однажды его самого непредвиденной стихией. Стихия эта была просто мокрой тряпкой, которую держала в руке новая хозяйка увадьевского дома. Она приехала внезапно в разгар январских морозов, и Увадьев, встретив ее на улице, не сразу признал в ней Варвару, мать. Видение показалось ему чудовищным: огромная фигура в новомодном и куцем драповом пальто шла к нему навстречу, скользя на обледенелой дороге и таща такой же огромный мешок; по правде сказать, к этому времени перина осталась единственным достоянием Варвары — все остальное, даже икона, сносилось от частого и неистового употребленья. С изумлением он глядел, как она скинула на снег свою ношу и машисто оправляла шаль, которую была окутана поверх своего вершкового драпа.

— Дураки у вас тут живут! — начала она, размахивая руками. — Чего уставился, ровно гусь на молнию?.. тащи! Не видишь, — мать упарилась совсем.

— Ты что же, пешком с самой станции? — нерешительно спросил сын. Он глядел на посинелые, опухшие от холода руки матери и вспомнил тринадцать киломе-

тров сотинской ветки, тринадцать километров открытого пространства, где резвятся в эту пору северные ветроломы.

— Не, меня мужик вез... да мужик-то дурак, мы и повздорили слово за слово! Я тогда сани остановила, — катись, говорю, дьявол, взад... Я и сама доберусь. — С такою ношей ей нипочем оказался сотинский январь. — Ну, где твой курятник, веди гостью-то!

В непонятном веселии взвалив на спину Варварину перину, Увадьев потащился к дому; по счастью, никто не встретился им на пути.

— На побывку приехала, не горюй! — говорила Варвара, пока Увадьев суетливо одну за другой раскупоривал консервные коробки. — Недельку поживу и поеду. Со-скучилась больно...

— Живи, живи. Ты закуси сперва, закуси! Это вот... — он мельком взглянул на ярлычок жестянки, — это скумбрия, а это крабы. А боишься запоганиться, тут и перец фаршированный есть. Я вроде окрошки мешаю все вместе и ем ложкой: гладко выходит. Ну, ешь, мать, действуй...

Варвара нерешительно облизала губы:

— А щец у тебя нету, Вань?

Сын даже и железку выронил — обломок ножа, кото-рый он приспособил для открывания коробок.

— Вот щей действительно нету. Щи — хлопотливо, их варить надо. Ты ешь покуда скумбрию, а я печку затоплю! У меня и дров напасено: полное хозяйство. Ешь, мать, ешь!

Полчаса спустя они сидели рядом за столом; из чай-ника выбивался пар. Разговаривая, сын подносил кон-фетную бумажку к белой струйке, и та свивалась в рых-ловатую трубочку.

— А ты старый стал, Иван, осунулся. Старей меня, а ведь я на шешнадцать лет тебя старше. Ишь рожа-то, ровно сукном обтянута солдатским!

— Ну, мать!.. это я помолодел, не старь до поры. Самый разгар чувств у меня! Ты лучше Расскажи, как с нэпманом-то раскрутилась. Я тогда спешил, не успел расспросить...

Очевидно, и у ней были вещи, о которых неприятно вспоминать:

— ...мужик-то, вез, совсем дурень! Утят, говорит, можно песочком кормить, посыпать песок мучкой, и

корми! За милую душу жрут, говорит. А я ему: на воде-то как же, ведь потонут... Да и косою к тому же. Смотрит в нос себе, ровно главней ничего на свете нет!

— Ты, мать, про другое думала сказать!

Варвара отодвинула чай и виновато кашлянула.

— Вань, а ведь я к тебе совсем приехала... не прогонишь? Холодно на табуретке-то сидеть. Сидишь, а рельсы-то все бегут, бегут... и так надо до конца сидеть, пока не застынешь. Вань, тебе не стыдно меня? Говори прямо, мне всякое можно! Ты мне плати рубликов двенадцать в месяц, а я тебе все буду делать, а?

Она была покорна и тиха, но именно в такую минуту и опасно было возражать ей.

— Ты чудачка, мать. Так и помрешь чудачкой...

По улице торопливо прошла кучка рабочих, совсем мокрых, задний почти бежал, накинув на плечи мешковину; обледенелые его подошвы разъезжались на утоптанном снегу. Увадьев, пока видны они были в промерзлом окне, проводил их суровым и пристальным взглядом.

— Вот-вот, опять постарел, — заметила Варвара. — Вань, трудно тебе? Ведь один ты!

— Нас побольше, чем один... — засмеялся сын. — А трудно — хорошо. Что легко дается, легко и забывается.

— В поезде дьякон один рассказывал, будто у знакомого коммуниста голова от мыслей раскололась. Так и разошлась, как орех...

— Ну, это уж недоделыш какой-нибудь. Твое производство крепче стоит, — открыто улыбался Увадьев, и желваки перестали бегать по его щекам. — Я, мамаш, куда на тебя не жалуясь!

Она осталась у сына, как ей казалось — навсегда. В избу, пока не переехали на новую квартиру, вселился небывалый порядок. Неутомимая тряпка не ограничилась подоконником; она обежала стены и полы, пробовала выбегать и на крыльцо, но там она быстро деревенела от мороза и снова пряталась за дверь. В доме установилось жилое тепло, оно пахло щами. Консервные коробки, весь запас Увадьева, мать тайком выменяла в кооперативе на крупу. Ей нравилось ждать к обеду сына, который всегда опаздывал; нравилось вступать с ним в ожесточенные перебранки.

Когда отношения наладились, Увадьев вызнал все-таки историю ее развода. Нэпман Петр Ильич, недолговременный Варварин муж, имел склонность к двум вещам — к философии и выпивке. Первая выражалась в том, что он затейливо хохотал, читая советские газеты; выпивать же ездил преимущественно на кладбище, где лежал под плитой какой-то бригадир наполеоновской войны. Ему полюбился самый чин и тарабарская фамилия бригадира, и, кроме того, уравновешенный собутыльник его не препятствовал скрипучей болтовне Петра Ильича. Варвара терпела месяца полтора, а потом выкинула однажды вечером за дверь нэпмановы пожитки и самого, когда вернулся, не пустила ночевать. Кстати, и на рынке уже вытеснял Петра Ильича «Кооппортрет»... Повествуя об этих сокровенных подробностях, Варвара имела целью развлечь утрюмое молчание сына.

Причины крылись все в той же водонасосной: с каждым метром продвижения вглубь Увадьев становился все более молчаливым. Понижающие колодцы лишь в самой незначительной степени ослабили напор пльвунов. Совет десятника открыть тепляк и выморозить дно повторяли теперь все, все, кроме Бураго. Землекопные артели теряли терпенье, и только в этом одном заключалось их отличие от машин; казалось, было бы легче в воде высверлить подобный же колодец. Насосы были загружены до предела, и на строительстве со дня на день ожидали прибытия нового центробежного шестидюймового насоса, который удалось добыть Жеглову. Ночи Увадьева стали беспокойны: он верил, что несчастье может случиться только ночью. Его будил каждый звук, и когда однажды чуть дольше обычного ревел ночной гудок, он тотчас же схватился за телефонную трубку:

— ...что-нибудь случилось?.. слышите, гудок?

Телефонистка не узнала его голоса.

— Это гудок третьей смены... — сказала она сонным голосом. — Кто говорит, — товарищ Увадьев?..

Он медленно положил трубку и оглянулся на мать, которая тотчас же притворилась спящей. Сквозь неплотно замкнутые ресницы она видела, как он суматошно шарил рукой по подоконнику в надежде отыскать хотя бы крупинку табаку.

### III

Отправляясь на Соть, Варвара заранее приводила себя в боевую готовность; она ехала, в сущности, на неприимимую распря с нелюбимой невесткой и была разочарована, когда место хозяйки дома далось ей без всякой борьбы. При скудости и незамысловатости удаьевского обихода ей предстояла праздная роль сыновней нахлебницы. Когда в доме водворилась невыносимая чистота и было перештопано все белье, Варвара впала в тоскливое оцепенение; по ее характеру ей бы при роте солдат состоять матерью и хозяйкой. Два дня она старательно выискивала, куда приложить свою неиссякаемую заботливость; она собственноручно выбелила печь, размела снег вокруг дома, наколола пропасть дров и, когда все было закончено, влезла на койку и принялась вбивать гвозди в стену; сын застал ее за одиннадцатым по счету четырехдюймовиком. Варвара смущенно покосилась на него.

— Чего смотришь, жалко, что ли?

— Вали, вали, мать; гвоздей хватит, — нетвердо пошутил он. — Только куда их столько, у меня и одежды вешать не хватит.

— Новая жена платьев навесит со шлейфами, — яростно кинула Варвара, вгоняя гвоздь по самую шляпку. — Увешает юбками, будешь посреди подолов сидеть, табак с горя нюхать. Отставят тебя к тому времени... — Она грузно опустилась на пол и приблизилась к сыну: — Тебе такая нужна, как я... она б тебя прищучила, куренка!

Сын сочувственно покачал головой:

— Ты б отдохнула, Варвара: столько сил тратишь попусту. Мотор бы к тебе, что ли, приделать!

Отдых означал бездельное лежанье на перине, которую привезла с собою. Совсем того не разумея, он попал в самое больное место Варвары; именно перину, непременно спутницу всех кочевков, она начинала ненавидеть со всей силой своего неуживчивого естества: в перине и пряталась ее смерть, мягкая, умерщвляющая бездельным покоем. Еще она ненавидела ее за то, что не успела та сноситься и не давала поводов Варваре расправиться с нею по заслугам: Варвара была скупа. Недоставало дела, которое поглотило бы излишек сил, и Варвара нашла его:

нужно было поженить сына на ненавистной инженерше. Может быть, после удачного выполнения дела ей понадобилось бы разделить его наоборот, но пока прельщала самая новизна и трудность предприятия. Сватовство заключало в себе уйму дипломатических уловок и хитростей, при этом не исключалась возможность женить сына по чванному дедовскому церемониалу: ей казалось, что стоило только настоять. Ее теперешнее отношение к сыну крайне походило на его собственное к ней: затягивает счастьяшко... ну, и дохлебывай свою погибель до конца, пока с души не вырвет!

Она приступила к делу в величайшем секрете от самого Увадьева. В феврале выдалось одно ослепительное воскресенье; небо было розово, точно одним огромным лепестком прикрыт был мир. В инейных ветвях старой ели, уцелевшей на задворках, по-обезьяньи кувыркались клесты. Все потрескивало и жило в этом алом, леденящем пламени. Варвара заперла дом на замок, сунула ключ в условленное с сыном место. Сузанна нашла у себя в лаборатории; Варвару она встретила не без изумленья.

— Садись, милая, садись. Не узнала поди, а ведь соседками сколько лет жили. Оно и правда, примелькается лицо-то, ровно ступенька станет... а рази все ступеньки в лицо упомнишь!

— Вы мать Ивана Абрамовича? — догадалась Сузанна.

— Мой... с лица видать! — Она села и стала распутывать головной платок. — Вот, знакомиться пришла. Ну и место у вас, ни одной бабы, почище монастыря, пра! И поговорить не с кем...

— Нет, тут есть женщины... да и какая ж я баба! — смутилась ее набега Сузанна, втайне подозревая, что Варвара пришла неспроста. — Я тоже по мужской отрасли работаю.

— А не брыкайся, из бабьего тела не вылезешь. Да и чего вы, нынешние, ровно бы отрекаетесь от своего чина... зазорно, что ли? Громадный чин, как я смотрю. Мужики машины рожают, а мы самих мужиков.

— Ну, я думаю несколько по-другому, — улыбнулась Сузанна. — Вам ничего, если я работать буду и говорить?..

— Работай, а я посмотрю. Мешаю, так уйду: скажи!

— Нет, сидите, я рада... Вы курите?

— До этого не дожидая. Ты зови меня просто мамашей. Меня с двадцати годов все мамашей кличут, привыкла!

В агатовой ступке Сузанна растолкла несколько кусков золотистого кристаллического камня и, высыпав в колбу, наливала туда желтоватую смесь кислот. Через минуту, когда обняло колбу синее пламя спиртовки, ноздри Варвары задвигались: окись азота зашекотала ей дыхание — она кашлянула и укрошено опустила глаза.

— Видите, нам нужен будет серный колчедан... много колчедана. А тут, всего в двухстах километрах, оказались целые залежи его. Надо исследовать содержание серы, продуктов, мешающих производству — селена и мышьяка, в процентах...

— Много ли выходит процентов-то? — с внезапной робостью спросила Варвара.

Сузанна мельком взглянула на нее и удивилась ее чрезвычайному сходству с сыном:

— Вы про серу?... мне думается, что процентов сорок шесть. А вы почему спросили?

Варвара испугалась:

— Нет, ты, девушка, не спрашивай... у меня мозги тугие. Гляди, гляди, закипело у тебя!

Неожиданный охватил Варвару страх: Сузанна нравилась ей... куда было тягаться с нею бедной Наталье! Ей пришлось по нраву уверенная самостоятельность будущей невестки, холодное спокойствие ее лица и даже та смелость, с какой она обращалась с этими хрупкими и не знакомыми Варваре предметами. Теперь она одобряла выбор сына и терялась от мучительного, уже физического недоверия к Сузанне. Вытяжной шкаф не всасывал всего количества газа; Варвара задышалась и все же не отступала от своей роли свахи и искательницы сыновнего счастья.

— Одна живешь-то?

— Одна... да.

— А обед сумеешь сварить?

— Сумею, пожалуй... — Сузанна деланно засмеялась; подозрения оправдывались. — Ну, что же мне показать бы вам? — Ей хотелось свести беседу на вещи, не обязывающие к откровенностям. — Хотите взглянуть в микроскоп? Это занятно, кто не видел. Вот идите сюда, я положила волокно от тряпки, видите? Смотрите теперь!



Варвара медленно, точно пугаясь обилия стекла, подошла к столу и нерешительно склонилась над окуляром.

— Сюда, что ль?

— Да, сюда... нет, вы ближе, ближе подойдите... — Она покрутила кремальерку, привычно устанавливая на фокус. — Видите теперь?

— Не видать, — глухо призналась Варвара.

— Да нет же, вы не так. Вы закройте левый глаз, а смотрите правым. Видите, вроде мохнатого бревна?.. это и есть волоконца.

— Все одно не видать!

Сузанна растерялась:

— Ну, как же тогда... погодите, я вам послабее поставлю объектив.

— Не надо, уроню я твою машину... — сдавленно отказалась Варвара и пятилась до самой своей табуретки.

Лицо ее покрылось испариной; ей стало жарко и обидно, что ее, огромную и сильную, мать большевика, заставляют подглядывать в щелочку за ниткой, которой, может быть, еще и нет на деле. Неудача щемила ее самолюбие; положительно она близка была к подозрению, что и давешний газ, и затея с микроскопом — только грубые тычки, которыми хотят поставить ее на подобающее место. Ей стало жалко самое себя, но она взглянула в смущенное лицо Сузанны и задержала обидное слово, готовое сорваться с уст. Теперь она вовсе не знала, как приступить к замышленному предприятию. На беду, зазвонил телефон, и, когда посреди бегучего, непонятного чужому уху шепотка прорвалось вразумительное слово милый, Варвара ревниво насторожилась, словно у ней отнимали принадлежавшее ей одной.

— Братан, что ли?..

Сузанна вспыхнула, а Варвара так и впилась в нее просительным взглядом.

— Нет. Как это говорится... жених. То есть я женюсь!

— Замуж, значит, выходишь? — покровительственно и холодно поправила Варвара.

— Нет, женюсь. Я сама предложила ему, а не он. Значит, я и женюсь...

Некоторое время слышно было только шепелявое лопотанье пламени. Сузанна отставила горелку; смесь в колбе выпарилась досуха и обратилась в серебристый по-

рошок. Варвара сидела неподвижно, как оскорбленная гора; багровая горечь стала приливать к ее лицу, — в эту минуту сын был неотделимой частью ее самой. «Ваня-то для тебя жену бросил!» — хотелось ей крикнуть этой, не заслуживавшей такой жертвы, и она вздрогнула, заставляя себя молчать.

— Непьющий сам-то? — спросила она потом. — Смотри, всю одежонку на барахолку перетащит!

— Да нет, этого не замечала...

С лестницы Варвара спускалась бегом, как будто Увадьев мог застигнуть ее посреди такого срама. Негодование подхлестнуло ее неутолимую ярость; по мере того как старела, в ней все больше пробуждалась мать. Теперь хотелось бы ей потрогать того невероятного удалыца, на которого можно было променять ее Ивана; уж она-то разыскала бы на нем старыми своими глазами такие пороки, каких не усмотрели молодые. «Наверно, этакой хухлик в пенснях. Они, такие-то, пенснястых любят...» Вторая мысль была злее: «Свое к своему котится. Не там искали! Что ей в Иване... он и обнять-то толком не сумеет, по-благородному, чтоб и щекотно, и заманчиво, и кружева не помять!» Третья вгоняла в крайнее неистовство: «Рыжая... у нас таких в роду не бывало. И щенята все рыжие, в мать, пойдут. Вся природа увадьевская окрасится!» Дома она металась, переставляла вещи, давая выход своему гневному негодованию, пока наконец не разбила новенькой тарелки. Вид черепков, разлетевшихся по полу, не образумил ее; не имея другого под рукой, она схватила свою перину и принялась жечь ее в печке. Кудрявое, барашковое пламя пробежало по слежавшемуся пуху и затихло. Тогда Варвара подкинула щепы, нанесла соломенного хлама со двора, и вот трескучим жаром обдало ее лицо и руки. Вместе с периной сгорало ее прошлое, вся ее углом выдававшаяся судьба, горел муж, горел нэпман Петр Ильич, горели долголетние скитанья по нужде... все горело, а Варвара, подбоченьясь, стояла у шестка и злорадно взирала на свое обширное душевное пожарище. По поселку шел густой чад жженого пера, и дежурному пожарному мерещилось, будто где-то в поле, за поселком, палят огромную, на все три тысячи соьстроєвских ртов, курицу. Когда враг обратился в горку хрусткого вонючего пепла, Варвара выгребла его на двор и

закрыла заслонку. До самого прихода сына она высидела в ожесточенной неподвижности.

За обедом она ухаживала за ним, почти заискивала. Сын спросил:

— Напроказила чего-нибудь?

— Тарелку разбухала. Больно некрепкие нонче делают. Разорила тебя на полтинничек.

— Ладно, за тобой будет, — усмехнулся сын.

С утра не оставляло его благодушное, поскольку это было ему доступно, настроение; драка с пльвунами обещала закончиться успешно. Четвертый, шестидюймовый насос, работая с вечера, помог углубиться сразу на целый метр. Теперь Увадьев мог спокойно пробиваться вперед; с тылу его защищали Жеглов и мать.

— Вань... — запинаясь, позвала она минутой позже.

— Слушаю, — оторвался он от газеты.

— Вань, ты в этот... ну, в микроскоп глядел?

— Чего-о? — Он даже отложил газету. — В микроскоп? Доводилось.

— А смотрел... волоконце-то ихнее, смотрел, аль нет?

— Смотрел, ну?... зачем тебе?

— Может, нашим-то глазам и вовек того не увидеть, что ихние видят? Она поди с детства в него глядела, навыкла...

— Кто это?

— Да инженерша-то твоя!

— Где ты ее видала?

— Где!.. а на улице. Увидала она меня, узнала, повела чай пить...

Увадьев нахмурился:

— Не путай, Варвара.

— Истинный бог!.. приветливая бабочка. Кушай, говорит, мармелад, а у меня от мармеладу-то, сам знаешь, с души воротит. Уж я вертелась-вертелась... Ну, не хошь, говорит, мармеладу, садись в микроскоп глядеть!.. Да пусти ты меня, Ванька, чего за плечи держишь. Не держи, все равно сбегу! Думаешь, посадил за стол, щами накормил, да и владай Варварой?

— Никуда ты, мать, не сбежишь: поздно тебе. Поздно, попадали твои яблочки...

— А не дразнись: сбегу! — И опять было приятно сыну глядеть на нее, как на огромный мешок, полный спелого

и звучного зерна. «Эх, сколько еще в тебе, мать, нерожденных большевиков!» — Я и босая от тебя уйду!

— Куда, старуха, в собес?.. на пятнадцать рублей?

— Посуду в кабаках мыть буду, в сиделки пойду! — Она не докричала до конца, а присела возле и погладила его по руке. — Вань, а Вань...

— Ну, утихомирилась?

— Вань, а ведь она замуж выходит.

Он понял сразу, он схватил ее за руку, и по тому, с какой силой вдавились в нее увадьевские пальцы, она узнала всю меру его влечения к рыжей девушке.

— За кого же это?

— ...Володей называла.

Увадьев промолчал, потом снова взялся за газету: начатая статья не проникала в сознание. Ему пришел в память давнишний намек Бурого про недалекую свадьбу на Сотьстрое, и вот с необыкновенной силой потянуло видеть этого умного, всегда недовольного чем-то человека, говорить с ним о разном — о звездах, о небесном возничем, который сбился с дороги, о габарите бумажного зала, о циркуляре, предписывавшем всюду по возможности заменять деревом железо... о всем, исключая Сузанны. Он дождался, пока мать не вышла из комнаты, и почти вырвал трубку из телефонного гнезда.

— Бурого, есть дело.

— Добрый вечер!

— Что вы делаете сейчас?

— По радио передают Грига. Хотите слушать?.. приходите,

— Это что-нибудь военное? — переспросил Увадьев.

— Нет, война — это криг по-немецки, а Григ — это музыка.

— Я приду... погодите одну минуту! — Он выдвинул ящик из-под койки и, не глядя, пошарил в нем рукой. — Я думал, финики оставались, но таковых обнаружить не удалось. Приду так...

Бурого жил не один, а с ним котенок; одно время инженер приручивал сыча с перебитой ногой; оставаясь наедине, он смотрелся в сыча, как в зеркало; тот погиб от табачного дыма. Когда Увадьев вошел, Бурого играл сам с собою в шахматы. Рыжий клубок шерсти мурлыкал в

его коленях. Увадьев скинул полушубок у двери, и оттого, что говорить не хотелось, они стали играть в шашки; Увадьев, тугодум, не испытывал склонности к шахматам. Три партии подряд закончились вничью: в простом Увадьев чувствовал себя крепко... В комнате бравурно звучал марш троллей, и, если закрыть глаза, представлялась пасмурная долина, заросшая хлопьями белых, без запаха, еще не описанных в душевной ботанике цветов.

— Это Пер Гюнт, — важно буркнул Бураго и передвинул шашку, образуя боевой треугольник на правом своем фланге. — Слушайте о мечтателе Пер Гюнте, Увадьев! Это полезно и вам... — Он высоко приподнял котенка за шею и заглянул ему в сопливые щелки зрачков. — Кошачьи сны, наверно, все об одном. Этакая лужа сливок размером с Каспий и рядом пушистая дама с великолепным хвостом. Ваш ход!

— Ему рано о даме, ему пока о говядине... — сказал Увадьев, повторяя маневр Бураго. — А вы правы... запахло свадьбой. Своим выбором она показала, что есть еще и моложе нас, Бураго.

— Да, у него все благополучно... и мировоззрение его гладко и красиво, почти как романс: второе поколение, Увадьев! — Так они бранились, обойденные выбором.

Телефонный разговор между ними происходил в начале восьмого, и аппарат действовал исправно, а в восемь на квартиру главного инженера примчался один из плотников и сообщил, что Фаворов много раз кряду вызывал квартиру Бураго, и все попытки его остались безуспешными. На водонасосной произошла неприятность, требовавшая присутствия главного инженера. Партия в шашки так и осталась неоконченной.

В пустой комнате длилось меланхолическое и торжественное повествование о гибели мечтателя Гюнта. Единственным слушателем его был рыжий котенок; выгибая спину, он бродил между раскиданных по полу шашек и недоуменно косился на неплотно притворенную дверь, из-под которой пушисто сочился холод.

...Несчастье произошло на исходе восьмого часа, когда вступала вторая смена. Работа велась в водозаборном колодце, на том именно уровне, откуда начинался подводящий канал в направлении реки. В штольне

не было никого, сопели лишь насосы. Дело началось с того, что случайным камнем пробило храповик новой машины — железную фильтровальную сетку на конце заборной трубы. Производитель работ, инженер Фаворов, который и ночевал тут же в водонасосной, даже сквозь сон проверяя на слух мерное журчанье центробегов, первым обнаружил поломку. В пустую шахту немедленно были спущены люди заменить храповик, и тут-то был обнаружен небольшой прогиб шпунтовой сваи. Прогибы случались и прежде, — для того и существовало плотничье дежурство, чтоб своевременно ставить предохранительные крепи и подкосы. Прогибы не были опасны; вся шахта стояла в распорках, и, может быть, ничего бы не произошло, если бы предыдущая смена не вынула одну из них, в особенности затруднявшую движенья землекопов.

Пока готовили новую распорку, вздутие стены пошло с молниеносной быстротой. За криком людей и жужжанием моторов треска не слышал никто. Сперва вспучило две шпунтовины, потом зыбучая сила плывуна вклинилась в щель и вдруг раздвинула ее, как пьяный распахивает дверь. Вслед за тем в расщелину засвистал ил, и когда началась эта беспримерная борьба, людям было уже по колено.

Бураго нашел Фаворова на втором ярусе полатей.

— Ну как, жених? — спросил он тихо, мало заботясь о том, что выдает себя с головой.

— Ерунда прет... — осипшим голосом сказал Фаворов, пропуская мимо себя бегущих в яму людей.

— А вы интересовались, почему прет ерунда? — спросил старый инженер, обтирая заиндевелые усы.

— Очевидно, при забивке... — Лихорадка мешала молодому инженеру говорить слитно. — При забивке одна из свай надломилась. Вбивали в мерзлоту, раньше тут стояли гравомойки, мог случиться...

— Что могло случиться? — Губы Бураго опухли, точно искусанные злым насекомым.

— Мог произойти перекос... — Глаза Фаворова были воспалены, зрачки заплыли красным туманом и стали одного цвета с лицом. Разговаривая, он держался за стойку и старался отвечать по-военному кратко.

Бураго спросил:

— Почему вы дрожите?

— У меня грипп... — И, дрогнув, прибавил: — Третий день...

Бураго выпятил губу, носки его сапог стали вовнутрь. Его раздражало упоминание Фаворова о трех гриппозных днях, в течение которых тот не выходил из водонасосной; ему показалось, что Фаворов ждет похвалы своему энтузиазму. Невидимое насекомое ползало по лицу старика, которое опухало, и самые зрачки становились как два точкообразных укуса.

— Ваше место там, внизу, товарищ прораб. Потрудитесь спуститься... вы мне отвечаете за шпунт! — властно сказал Бураго, сунув пальцем туда, в одиннадцатиметровую глубину, где почти вслепую происходила драка со стихией.

Насосы хрипели, как люди; было в этом хрипе что-то от первородного Адама, когда обрушивалась на него гора. Лампы казались слишком тусклыми; мало было бы и солнца осветить страх и ярость людей. В пролом толстым гнутым снопом лез пливун; соседние сваи медленно поворачивались на своих осях, образуя еще больший разворот. Похоже было, будто всей Соты с песками, лесами и болотами предстояло пробиться в эту скважину. Упираясь в ползучую трясину, мокрые люди пытались зажать досками открытую рану. Шел пливун. Подземный напор откидывал людей назад, доска скользнула по течению, и опять в полном молчании возобновлялось неравное это соревнование. Насосы не справлялись с нагрузкой; добавочная смена, вызванная до срока, еле успевала отвозить наверху вагонетки с породой, но уровень повышался. Жидкий крупитчатый холод затекал через голенища в сапоги. Представлялось, будто пливун становится жиже, и, хотя со стороны реки штольно защищала широкая свайная дамба, все ждали, что через минуту сюда бурливо и резво вплеснется Соть. Какой-то длинный человек на нижнем ярусе метался и паясничал, чтоб подбодрить уже выбившихся из сил рабочих. Увадьев, наклонясь над провалом, едва узнал в нем того ворчливого десятника Андрея Иваныча, который еще недавно поддразнивал его богом.

— ...ей, ей! — непонятно выкрикивал он, — херувимушки, не уступайте!.. жми ее, сволоту... Братушки,

жану отдам, молодуху, только сорок годков и пожили, ей, ей... Тесину-то справа заноси, упрись, упрись... Братушки! — Но крик перекатывался в нелепый визг, и вот становилось страшным и неоправданным его добровольное юродство.

Увадьев прыгнул вниз, в застылое хрипучее молчание, где как будто не хватало его одного; бездействие стало ему невыносимо. Плывунная гуща смягчала паденье. Нашлось место и ему, никто не узнавал его, несчастье сравнивало всех. Теперь вместе с остальными он силился заткнуть дыру, и порой уже дразнила удача, но затем лишь, чтоб ослабить боевую бдительность бригады. Увадьева толкнули распоркой справа, потом слева; его притиснули к самой дыре, и вдруг стало ясно, что только пары его рук и не хватало в этой рукопашной. Мускулы его напряжились, и давно утраченная, грубая, почти ураганная радость физической силы вздыбила ему сознание, точно внезапно включили пропыленный мотор. Тяжко переваливаясь через доски, плывун лился ему на плечо, давил земляным знобом, затекал к спине и в итоге лишь умножал злую волю к преодолению.

— Погибнут, комиссар, твои сапожки, — прохрипел кто-то сбоку. — Весь глянец к чертовой матери сойдет.

За спинами других Увадьев узнал Акишина; такая выпадала им судьба — встречаться только на несчастьях; пятнистое от грязи его лицо изображало натугу и заразительное веселье: бывалому этому старику ведомы были в жизни и не такие приключения.

— Здорово, дед! Все пьешь, поди?..

— Маненько выпивам... Заклинивай ее, заклинивай, колтушком забивай! — заорал Фаддей на парня, суетившегося с семиметровой распоркой.

Шпунтовины укрепили подкосами, нужна была особая сметка, чтоб не задеть никого в тесноте. Дыра уменьшалась, и, хотя поток плывуна не переставал, борьба с ним стала легче; четыре последующих крепи остановили его совсем. Шахта стала пустеть, пошли табачные дымки. Андрей Иваныч ругательно вызванивал новую смену; Бурого взглянул на часы; обе стрелки стояли на одиннадцати. Фаворов устало сидел у мотора, и, когда Бурого подошел к нему, он показался ему таким же старым, как он сам.



— Вам вообще чрезвычайно везет, молодой человек, — вразумительно сказал главный инженер. — Примите грамма полтора аспирина и попросите Сузанну Филипповну прикрыть вас ватным одеялом... я распорядился временно заменить вас Ераклиным. Ватное одеяло — великая вещь, молодой человек! — и, не дожидаясь ответа, вышел на улицу, ледяную, как его судьба.

Над рекой вылупливалась из облака луна, и вдруг в лесных отдаленных, залитых бесплотным синим светом, длительный и знобящий, понесся волчий лай. Бурого шел важно в направлении лая; сапоги его давили алмазы, а из каждого раздавленного возникала тысяча новых, и каждый был тысячекратно ярче прежних... Вскоре его перегнали землекопы, спешившие в бараки переодеться.

#### IV

Трудней всего давался последний метр, уставали и моторы — работа круглые сутки велась с перегретыми подшипниками. Едва достигли уровня чертежной отметки, сразу обнаружилась последняя трудность: закончить возведение бетонного остова до начала мая, когда Соть выхлестнет из берегов. Неуловимые признаки весны дразнили в этом году Бурого с особой силой; он заразил и Увадьева обыкновеньем, вставая поутру, смотреть на градусник, привинченный за окном. Лиловая струйка все смелее взбегала вверх, к нулю, и до заветного рубежа, за которым враз откроются хляби, певчие глотки птиц и венчики первых цветов, оставалось не более полувершка. Страхи были преждевременны. Соть просыпалась поздно, и, хотя все синее становились тени на снегу, еще не появлялось в мартовских полях ослепительного мартовского глянца.

Окно новой увадьевской квартиры выходило на восточную сторону: солнце гостевало здесь по утрам. В шесть желтый ромб света полз еще по бревенчатой стене: солнцем Увадьев пользовался, как часами. Когда он проснулся однажды, часы показывали восемь, — в отмену установившихся привычек он проспал начало дня. Зевая и потягиваясь, он щурился в голубой провал окна,

одетый в пушистую раму ночного снега. Солнечный поток заливал ему ноги. Давно отцветшая шерсть одеяла пылала зеленым, и всему вокруг сообщался теплый, зеленоватый полусвет. В раскрытой его ладони тоже лежало приятное, почти весомое тепло, его можно было стиснуть в кулаке и унести с собою, в хлопотливые будни. Весна сигнализировала не этим; другая причина удерживала его в кровати дольше положенного срока. В это утро возраст его увеличился еще на год, и в путаную цепь ощущений, связанных с этим переломом, включился только что прерванный и не передаваемый словами сон. Опыт сорока отжитых лет давал — так ему нравилось думать — особую мудрость к неизрасходованному остатку, каждый предстоящий шаг, каждый глоток воздуха он ценил теперь вчетверо против той стоимости, которую придавал им хотя бы в юности.

Это праздное лежанье на спине и тугое, почти кристаллическое чувство телесной неуязвимости привели его к мысли, что можно и следует любить свое нескладное тело, начиненное слабостями и оттого целых сорок лет мешавшее ему по-настоящему предаться работе; его не пугала пятая декада, в которую он восходил этим утром. Он сжал кулак и снисходительно разглядывал его грубые пролиловевшие складки. «Ха, неплохой инструмент... Варварина выделка, увадьевская сталь!» И если б резануть его ножом по складке, на метр брызнула бы из пореза великолепная, клейкая кровь. Сон видел не он, сон видел этот кулак, сон о поверхности округлой, живой и более шелковистой, чем не порванная никогда паучковая паутина. Сон этот убедительнее синего реомюрора столбика возвещал о приближении весны.

Из кухни доносился дробный стук ножа, он вскоре прекратился, — наверно, дорезав лапшу, мать ушла в кооператив. Солнечный ромб стал квадратом и, соскользнув с одеяла, придавал крикливую расцветку блеклым краскам тканого половичка. Теперь в цветистом этом пятне, как бы зевая, стояли грязные после вчерашней беготни увадьевские сапоги и терпеливо ждали хозяйского пробуждения. При первом же соприкосновении с сапогами призраки сна погасли; слегка поскрипывая и сурово пожимая пальцы ног, они повели Увадьева

от термометра за окном к полочке на стене, где стояло кривое зеркало и лежала бритва. Самый факт существования бритвы вызвал необходимость пойти к рукомойнику, а вода толкала его за полотенцем. Привычный и последовательный распорядок вещей заводил пружину увадъевского дня.

Полуодетый, он натягивал на себя свежую рубашу, когда мать, неслышно подобрившись, приложила холодную, с мороза, руку к голой его спине. Отскочив, сын неодобрительно поглядывал на мать, — высоко приподнятые брови выдавали душевную ее приподнятость.

— Уйди, Варвара... переодеваюсь я!

— Я тебя еще голей видела: всей и красы-то фунтов десять было...

— Лучше бы пиджак заштопала. Сквозь дырку-то кость видна!

— Некогда, Вань: еду нынче... Ворот-то расстегни, разорвешь!

— По железной табуретке соскучилась? Смотри, так и застынешь, как Лотова жена!

— А мы костерик разложим... Искры-то вверх бегут, Вань, хорошо!

Сын стиснул зубы:

— Пора бы тебе уняться, Варвара. Старуха ты, много веку знала.

А мать смеялась, высокомерно косясь на сына.

— погоди, я еще и внуков твоих рукастых нянчить стану... Хочу внуков! — Она сердилась, и сын отступил; единственная в мире, она умела вгонять его в панику. Вдруг она метнулась к окну. — В валенцах, а легко как идет!.. обожаю легкую походку.

Улицей, проваливаясь в наметенном за ночь снегу, шла Сузанна. На узкой тропке ей встретился Геласий, более похожий на захолустного дьячка в своем рыжем нагольном полушубке; сойдя с тропы и прикрыв лицо рукавом, он пропустил ее мимо себя. Она не узнала его и прошла дальше. Увадъев продолжал стоять у окна: огромные сосульки, повисшие еще с одной январской оттепели, посылали тонкие розовые иглы ему в глаза. Потом он обернулся:

— Что ж, поезжай, мать! Тебе виднее...

...она уехала только через неделю, перештопав все, какие накопились, увадьевские дыры: больше на Соти не было нужды в Варваре. Сотьстрой открывал общественную столовую, и Варвара настояла, чтоб сын уступил ей по половинной цене ставшую ненужной алюминиевую посуду: надо же было с чем-нибудь возвратиться туда, в подвал, к барыне. Сын закинул в дрезину этот смешной и почти единственный Варварин багаж, а потом подсадил и ее, она приняла с досадой его последнюю услугу. Впрочем, лицо Варвары сияло: молодило ее самое возвращение в жизнь. Минуту расставания не обременяли ни уговоры о письмах, ни лишние и жалостливые слова, только в последнюю минуту, когда уже завели мотор, она вдруг высунулась из дверцы:

— Дурные вести получишь — не приезжай, не люблю. И без того лежать тошно, а тут еще ныть почнут... И откинулась на кожаную спинку сиденья, а сын понял, что она — про смерть.

Такою, с плотно сомкнутыми губами, она и застыла в памяти Увадьева. Мерзлым голосом визгнуло железо, дрезина тронулась, и Варвара не высунулась на прощанье обнять единственную свою родню. Не было надобности и у сына махать ей вслед платком и кричать неминуемое слово разлуки. Дрезина нырнула за перелесок, Увадьев повернулся спиной к железнодорожному пути и пошел домой.

В снежной тусклоте ранних сумерек он еще издали угадал свои окна; в них было темно. Он постоял, как бы примеряясь к раздрызганной множеством ног дороге, и вот, круто повернув, пошел назад. Ему незачем стало возвращаться домой так рано. Дежурный милиционер у ворот, только что видевший его уходившим, настороженно привстал, пряча что-то за спиною. Но дымок, вися из милицейской ладони, обходными путями дотянулся до увадьевских ноздрей.

— Вы это какие курите? — спросил он с совершенным спокойствием.

Тот сжался под его пристальным взглядом и еще раз на всякий случай козырнул хозяину строительства.

— Папиросы **Пушка** курим... — одурело выдохнул он табачный залп.

Увадьев расширенными ноздрями втянул еще раз щекотный дымок и ясно представил себе дымящееся дуло милицейской папиросы, устремленное в него и грозящее выпалить забвеньем.

— Сам себя отравляешь... бросай, товарищ, бросай. Я вот уже давно не курю!

...Наверно, убежал он все-таки от искустельного дымка, потому что по мере приближения к реке шаг его становился ровней и спокойней.

Неосознанная потребность влекла его в эту пору на реку. Прокатанная глянцевиная дорога пересекала спящую под снегом Соть: песок возили зимой. Две вороны, скрипуче болтая о своих вороньих удачах, спешили на ночлег к скитскому берегу. Увадьев поднялся на мыс и разыскал древнюю скамейку, на которой сидел год назад. Никто не встретился ему по дороге.

Тут, на распутье рек, всегда с особой силой резвился ветер, и нога легко прощупывала под тонким настом залубеневший травяной покров. Посбив с доски ледяную корку, Увадьев присел на краешек и сидел долго, с руками на коленях, пока не засияли огни Сотьстроля. Через полчаса мокрый снег стал заносить человека, сидящего на скамье. Плечи и колени его побелели, снег таял на его руках; он все не уходил, а уж свечерело. Колючим, бесстрастным взглядом уставясь в мартовскую мглу, может быть, видел он города, которым предстояло возникнуть на безумных этих пространствах, и в них цветочный ветер играет локонами девочки с знакомым лицом; может быть, все, что видел он, представлялось ему лишь наивной картинкой из букваря Кати, напечатанного на его бумаге век спустя... Но отсюда всего заметней было, что изменялся лик Соти и люди переменились на ней.

# СКУТАРЕВСКИЙ

РОМАН



## Глава 1

Воспоминание начиналось так: — тусклый фаянс тарелки и горка обсосанных костей на ее шербадом борту. Минутой позже он различал вкруг стола своих покойных братьев и сестер. Дети пристально глядели на ржавую седлочную голову — лакомство и остаток еды. Потом издадека возникала длинная, вся в кислотных пятнах рука отца, вооруженная почти трезубцем. Орудие лениво вонзалось в рыбий позвонок и уносило его с собою, в гулкую дыру отцовского рта. Здесь и начиналось сознательное детство Скутаревского.

Всякий раз, вступая в эти нежилые сумерки, он волновался и робел. Затхлость ударяла в лицо, и оно становилось суровым; пугая и грохоча, продолжал действовать проржавевший механизм воспоминанья... Веснушчатый мальчик целует на ночь портрет Эдисона и прячет под подушку, которая пахнет мездрой и необьяснимо поскрипывает; юноша, феноменально рыжий, ночует в товарном вагоне, идущем в столицу; студент бьет по щеке реакционного профессора, и сухой звук пощечины свирепо раздирает тишину; молодой адьюнкт, краснея за люстриновый пиджак, который сидит на нем как на усопшем, везет дорогого учителя в Италию, где тот умрет; знаменитый профессор делает шестичасовой доклад на международном энергетическом конгрессе... Так, с усмешкой разглядывая себя, все искал он чего-то главного, за что стоило бы и погибнуть, но главного не было. Все тревожней звенели в памяти благоговейные клятвы юности о свободе, человечности и культуре... И теперь, виновато вспоминая их, он испытывал тягу-



чее старческое недоумение, какое бывает, наверное, при умирании.

Ему казалось тогда: вот, электрохимический процесс замедляется в этой прославленной человеческой реторте. Из тела пропадала та злая моторная неукротимость, за которую в самом начале карьеры приятели прозвали его кометой. То была старость ее, отускнение, коррозия ее плавучего и непрочного металла. Свершив параболу, комета возвращалась к двери, через которую однажды ворвалась в мир. Эта воображаемая дверь в небытие представлялась близкой, круглой и темной, как рот отца. И вот уже его самого, несомого на трезубце, провожали неживые глаза покойных братьев... — Кстати, их всех было шестеро вначале, оборванных и одичалых от нужды. Четверо, вырастая на улице и без призора, погибли разное, а шестой, уцелевший от колес, прорубей и детских эпидемий, отражался теперь в мутном зеркале провинциальной гостиницы.

Зеркало висело под большим наклоном к полу, и оттого человек в нем сидел как бы без головы, в полутьме, свесив с кровати жилистые ноги. Может быть, он созерцал тоненький пыльный лучик из-за оконной занавески, неторопливо переползавший комнату, пробуждая вещи. И вот, едва пятнышко света коснулось пальца на ноге, пришел в движение. Кровать скрипнула и подалась назад. Он вскочил, он метнулся, он почти разодрал надвое оконную шторку и зажмурился от солнечной щекотки. Желтенький, проникнутый осенним тленьем, лежал сентябрь по ту сторону окна. В ржавой пустоте огромного пустыря, корявое, все в пламенах облетающих листьев, стояло дерево. На его простертом пальце покачивалась ворона, взъерошенная, как дворняга.

...его ноздри вздулись; ярила их нечистая влажность гостиницы. Он двигался, переходя в наступление, и вещи вокруг него шумно летели на пол, точно срываясь с центрифуги; кажется, это называлось гимнастикой. В передышках он внезапно оборачивался к зеркалу, чтобы застать себя взглядом врасплох. Тогда он топорщил линиялый хохолок бородки, шупал лиловатый, еще твердый бицепс, раскачивался, смеялся и пел. Он пел про могущество осеннего, неопровергнутого утра; он пел про

смешную поспешность, с которой отступила ночь и ее призраки; пел он, разумеется, беззвучно, — с его голосом разумнее было посвятить себя научной работе целиком.

Его ладонь уперлась во все четыре звонковых кнопки, и тотчас же гостиницу наполнил глухой электрический звон. Так длилось, пока в дверную щель не просунулась лысая голова; на ней подозрительно ерзали рачьи глаза.

— Входи полностью! — с разбегу и ликуя, крикнул. — Кто?.. Фамилия?

— Подушкин, коридорный.

— Член профсоюза?

— Ноне все мы члены, — пятился тот.

Он робел говорить с голыми, не ведая чина их, власти или состояния.

— Активист, поди?

— Да нет...

— Что ж так? — пело вздыбленное скутаревское вещество. — В такие дни... нехорошо, Подушкин!

— Да все некогда. — Он подмигнул. — Да и не по пище-с!

Вся его плотная фигура, однако, вызывала какое-то раздражающее воспоминание; туловище его, как у большинства бывших городских, начиналось где-то возле колен; щеки в богатейших подусниках — и никаким профсоюзным билетом не прикрыть было этой полицейской приметы.

— Так вот... снегу сюда... Целый сугроб снега. Пошел! — и брезгливо махнул рукой.

Для наступления, которое он задумал, требовалось втереть в себя снежную колкую бодрость, но снегу не было: плод приходился не по сезону... Плечом и ладонью снова и снова вдавливал он звонковые пуговицы, посылая по проводам оглушительные прерывистые сигналы. Снегу не было. Весь постоянный дом гудел, как раковина, и вся живая слизь из его многочисленных витков сползала за дверью Скутаревского. Это становилось происшествием, так возникают катастрофы! Снегу не требовали даже капризные иностранцы, которых время от времени доставляли на постройку соседней электростанции. И хотя постоялец занимал самый роскошный номер — с исправной форточкой, со стеганым атласным

одеялом, с летающими озирисами на потолке — венцом творения местного живописца, — гостиница противилась, пока постоялец сам и в голом виде не высунулся в коридор.

Снег принесли в деревянной плошке и через полча-са; то ли он задохся в подвале, то ли умер в невоздержных руках Подушкина, но, сизый и мятый, он уже припахивал навозцем. Тогда открыл форточку и стоял так, в потоке ледяного осеннего пара; но в десять его ждали на экспертизу новой электростанции. Старик одевался неторопливо и тщательно в это утро, как на торжество. Выходя на улицу, он был строг и сосредоточен, и проводить его в этот очень далекий путь вышел на подъезд один только Подушкин.

— Усы сбрей, сбрей усы... — покосился на него, проходя мимо. — Заметно очень!

— Не цапайтесь, гражданин, — угрожающе откликнулся тот, расковыривая булку и по частям отправляя ее в рот. — Эвон, в хлебе-то опять окурочки попадаться стали...

...Он вышел из дому во вторник утром, а вернулся в среду к ночи — неузнаваемый, в черном воротничке, взволнованный и больше чем усталый. С полдороги вдобавок, по необъяснимой прихоти, он отпустил машину и последние километры до городка вышагивал пешком по разъезженной пустынной дороге; крутой, как из бадьи, сибирский ливень всю ночь хлестал эту безответную тишину. И как будто не профессор шел, а бродяга торопился на ночлег, — старик шел и молча пел, выделявая свои обычные злые штучки над самим собою; влажный встречный ветерок лизал ему лицо и руки. Он шел привычной своей, не по годам стремительной походкой и все присматривался: вдруг захотелось остаться наедине и залпом продумать накопленное за десятилетия. Но и думанье не удавалось, и взгляд его бездельно тащился по полям, залиuzzанным до прелой рыжей щетинки. Скоро парному от ходьбы веществу его стало жарко и тесно в узком английском пальто. Остановясь на бугре, он стоял так, посреди безмерного вечеряющего пространства, лицом к городку, без шляпы и в распахнутом пальто.

Это был крохотный, с избытком церквей, северный городок. Новый подымался рядом, весь в проводах и

молниях электросварки, и старый томился, как нищий в рваном сером балахоне. Понуро сутулились когда-то знаменитые купеческие хоромы, а ранняя зима рвала и трепала на уже безглавом, отовсюду видном соборе голые кустики какой-то поросли. Угольная копоть и слепящая цементная пыль неслись на эти деревянные отрепья; самый ветер над головой напоен был металлическим скрежетом: казалось, в буре и грохоте новое племя шло заселять наново перепаханную землю... Чумазные облака над этим печальным виденьем поминутно менялись, поразному отражаясь в памяти; увидел рыбу на взметенной облачной волне, потом какое-то взрывающееся облачко хлопчатника, а третьим... Третьим плыло нечто пухлое, до холодка в спине напоминавшее ненавистный профиль Петра Евграфовича.

Всю дорогу сопровождало его то приподнятое настроение, когда и самое незначительное явление становится знаменьем. И оттого, едва вспомнил о Петрыгине, разом померкло удовольствие прогулки и воротилась ночь. Он почувствовал, что промок и переутомился; он испугался возможности опоздать на поезд, хотя вовсе не торопился домой; он отчетливо и с завистью представил себе, как Черимов, ученик его и заместитель по институту, давно сидит в буфете и с остервенением молодости пожирает жесткие станционные шницеля. Чихнул, поскользнулся и с чертыханьем нырнул с бугра своего в низинку, где, тощий и далекий, дразнился огонек из просвирнина, наверно, оконца.

Ветер усилился, ночная бесотня завывала в телеграфных проводах, и какой-то, прилипчивый, над самым ухом называл как будто по имени... То урчали и захлебывались скутаревские башмаки, одолевая осеннюю дорогу.

## Глава 2

Пока не остыл от ходьбы, не чувствовал и озноба. И вдруг, едва ввалился в купе, разом закрутило, путаные обрывки мыслей потекли в голову, а по телу проступила знойная сухая ломота: начиналось. Уже в полубреду он расслышал черимовское: «Эх, обожаемый, на четве-

реньках, что ли, добирались?» Но даже и поморщиться дружеской фамильярности не хватало сил. Он свалился на койку, и на долю Черимова выпало счастье раздевать обожаемого учителя, который ребячливо сопротивлялся; он же добывал чай у проводника, брезгливо пил теплое безвкусное пойло и закусывал консервами из какой-то пресной розовой водоросли.

— Спать, спать... — отечески говорил Черимов и стоя доедал морскую траву, которая, к удивлению его, оказалась с костями. Видевший смерть у самых своих ресниц, он не особенно верил во всякие простуды. — Пока — спать, а приедем — и в баньку. Дядька пропарит... Черт, никак не удастся заставить его профессию переменить. Банщик — эго поганое ремесло! — Он вынул часы. — А ну, проверим расписание!

Он удовлетворенно кивнул своему отражению в ночном оконном стекле. Едва стрелки совпали на одиннадцать, вагон качнуло, потом луч с платформы прочертил полосатый плед, под которым ежился, и тогда лишь накатило вязкое дорожное оцепенение. То был сибирский экспресс, он бежал почти без остановок, и все веселее становился дробный речитатив колес. Временами он переходил в пляс, в вихревое неистовство, и тогда усерднее прижимал колени к подбородку, точно прячась от ветра. А ветер был длинный и красный. Он оставлял позади себя длительную рябь, и в ней мучительно колыхались пучеглазые, недодуманные идеи, обноски мечтаний, звуки, вещи, люди и, наконец, то, самое сокровенное, что люди прячут и шифруют от самих себя. Потом все расплывалось, точно недостаточно было молекулярное сцепление между образами, а ветер с маху налетал на гремучее жестяное дерево.

До боли знакомыми голосами звенели эти жестяные листья. «Умирать — это правильно...», «бессмертье — бунт индивида!», «...ерунда, образуем новые вихри», «сквозь наши груди пробиваются сочные дерзкие ростки будущего...», «слышишь, шумит листва?», «чепуха, истлеем, гнусно пропадем: мы умираем прочно!», «они впервые имеют за что умирать!», «храните жизнь!...». Этот последний дребезг принадлежал ему; он вскочил и красными глазами уставился в мир. Там спокойно и ровно

горела лампочка под латунным абажуром. С откидного столика свешивался ворох бумаг; Черимов листал их и делал на полях отметки. Он казался лохматее обычного и озабоченнее, но в расплеснутом сознании Скутаревского отразился только острый блик чайной ложки в недопитом стакане.

Подвижное лицо Скутаревского выражало теперь полное расслабление. Температура поднималась, и знойным бредом пенилось расплавляемое вещество. Учитель и ученик вглядывались друг в друга с противоположных берегов рассудка, дивились и не узнавали. Тогда Черимов привставал ему навстречу и почему-то косился на свой чемодан, где перед отъездом обнаружил пузырек с йодом. В этом случае йод означал лишь крайнее его бессилие помочь учителю, и опять они расставались на долгие бесплодные часы.

Снова наклоняясь над чертежами, отпивая глотками остывший черный чай, Черимов боролся с дремотой и перебирал в памяти подробности последних суток. Усталость давила ему на плечи: две ночи он провел в каком-то диком, бумазейном кресле, спиной к турбогенератору, слабо гудевшему под нагрузкой в сорок тысяч киловатт. И оттого, что впечатленья последней недели спутались в нем в неразборчивый клубок, перед ним также проходили вереницы людей, и почему-то выпуклей, честнее, заметнее других был облик Фомы Кунаева. Они познакомились давно, в научно-техническом секторе ВСНХ, куда Фома заезжал по вопросу об изысканиях фрезерной разработки торфа. В те сроки звезда Фомы лишь всходила над советским горизонтом, никто не предугадывал, что через два года этот молчаливый турбинный мастер станет начальником большого строительства. Но причудлива судьба советского человека, и вот Черимов повез к нему, на крупнейшую районную станцию, самого Скутаревского ревизовать кунаевские дела и достижения.

Все обошлось гладко; играла военная музыка, и маком цвел могучий Фома; застенчиво толпились у агрегатов бородатые ударники и герои строительства; нагло вато, с видом арбитра, улыбался приезжий американец, жуя свою резинку и в упор разглядывая степенную, немногословную породу тамошних людей. Была выставле-

на на осмотр длинная цепь чудес; в ее первом звене тугая, в двадцать четыре атмосферы, водяная струя разбивала слежавшиеся слои торфа, а в ее конце таинственно и трепетно помигивала контрольная лампочка на удивленье окрестных мужиков. Их понабилось много и везде — у пирамидальных бункеров, взнесенных над печами, у аккумуляторных ям — везде напряженно блестели голубоватые глаза, точно напуганные приходящей новизной. И в самом деле, было достойно удивления, что то самое торфяное болото, где от века бесполезно цвел гравилат да топла тощая мужицкая скотинка, теперь движется, шумит и светит... светит, черт возьми, на потребу социалистического человека! В станции — ни в размерах ее, ни в общей схеме — не было ничего чрезвычайного, достаточного для потрясения иностранца, но революция строила их десятки одновременно, и в этом штурмовом напоре заключалось их высокое поэматическое значение.

Торжество грозило затянуться. Экспертиза разбилась на группы, и американец, с пристрастием облазив все, бродил теперь по цехам вместе со Скутаревским, который, один из всех, мог изъясняться на его языке; беседа велась по-английски, так что шедшие рядом Кунаев с Черимовым могли следить за разговором лишь по выражениям их лиц. Сперва гость все пошучивал, преимущественно на алкогольные темы, и, кажется, из желания польстить Скутаревскому, показал ему в темном переходе — они направлялись в турбинный зал — плоскую фляжку с советским коньяком, которую по привычке таскал в заднем кармане.

Он дал понять, что не слишком осведомлен в этой области, и тогда тот не очень логично перескочил на проблемы мирового кризиса, уже потрясавшего заокеанскую республику.

— Простите, — недобро покосился Скутаревский, — видимо, у меня не хватает чувства юмора на вашу остроту. Не улавливаю, в какую именно связь вы ставите вашу очередную экономическую катастрофу и винную торговлю вообще?

— О, русские всегда плохо понимают шутку, — комически взмолился тот. — Вино доставляет забвение несчастий, а небогатому человеку в Америке сейчас недоступно это лекарство. Я хотел сказать, что сухой закон доведет нас до революции.

Скутаревский жестко посмеялся, не разжимая губ.

— Ну, для этого, в свое время, у вас найдутся более существенные основания, — едко прибавил он, и, хотя слова эти не были выношены где-то в сердце, его радовала честь произнести эту заслуженную колкость.

Злость делала совсем раскосыми и без того нерусские глаза Скутаревского. Гость был журналистом, объезжавшим очаги молодой советской индустрии «для пополнения капиталистического образования» — как иронически объявил он сам с доверительной улыбкой. По слухам, до того как сделаться корреспондентом промышленной американской печати, гость был крупным инженером, хотя и не оставившим следа ни в технике, ни в науке. Скутаревского раздражало, что этот сведущий специалист, на лице которого не отпечатлелось особого пристрастия к алкоголю, избегает говорить с ним на тему, ради которой, в сущности, оба они пришли сюда. Не нравились ему, равным образом, ни снисходительная ирония, ни самоуверенная скромность этого заокеанского соглядатая, и даже возмущала потертая фуфаечная жилетка под поношенным пиджаком, рядом с которым костюм Скутаревского выглядел почти щегольским. Но он примечал и сам уйму всевозможных упущений и промахов как в проектировке, так, одинаково, и в оформлении станции; и то последнее, решающее обстоятельство, что работу эту проектировал его сын, Арсений Сергеевич, заставляло его в этом разговоре конфузиться, раздваиваться и молчать.

Не мудрено, что американец стал догадываться об истинных чувствах провожатого своего.

— ...не удивляйтесь, что я не критикую качеств этой станции, — вкрадчиво сказал он, касаясь руки Скутаревского. — Я только гость, которого терпят; я ем то, что мне дают. Кроме того, я достаточно уважаю вас, мистер. Я знаю ваши книги. Мне приходилось освещать ваши работы в нашей печати. Я имел удовольствие — правда, случайное — присутствовать... — Они поднимались в котельную. — Позвольте, я отдышусь, — сказал гость, останавливаясь на минуту, — ...присутствовать на вашей лекции в Вудстонском университете. Вы не помните меня, я сидел в левом ближнем углу. Это было в двадцать третьем году, но с тех пор...



— Это было в двадцать четвертом, — резко поправил, прочеркивая воздух рукой. — Но, если можно, давайте ближе к делу. Я не люблю воспоминаний.

— Хорошо, — сказал тот и ногтем поцарапал новехонькие поручни винтовой лестницы, где они стояли. — Плохая краска — это непрочная краска, мистер. У вас плохо понимают экономию. Я не смею говорить о мелочах, которые вы видите и сами и которые вряд ли существенны для молодого общества, каким является ваше. Оно еще не успело выработать американского, делового отношения к миру. Оно еще склонно обожествлять энергию и машины, ее производящие. Ему хочется строить дворцы над каждым агрегатом... Я имею в виду габариты здания. Оно не задумывается даже над разумным использованием поверхностей нагрева... даже!

— Прошу прощения... — прервал Скутаревский. — Эту станцию строили молодые наши инженеры по указаниям приезжих американских звезд, получавших за это хорошие, честные советские деньги... мои деньги в том числе! Хотите вы сказать, что звезды светили вполнакала и указания их были не вполне добросовестны?

Американец помолчал, губы его стали жестки.

— Словом, я не советую брать эту нарядную ошибку за стандарт. Конечно, это ошибка юности, за нее все мы дорого платим. Мне пятьдесят, пылкая юность моя, пожалуй, кончилась, а я только теперь начинаю уметь. Юность всегда расточительна, но и при этом условии вы идете гигантскими шагами. Пока у вас только Кентукки, но лет через пятьдесят у вас будет уже свой Бостон... Что вы хотели сказать?

— Да, — в бешенстве откликнулся Скутаревский; в конце концов речь шла о его цеховом инженерском достоинстве. — Насколько я понял, вы были инженером?

— О, и я любил это дело... но, под давлением некоторых обстоятельств, был вынужден изменить свою профессию.

— Можно уточнить, за что вас удалили из любимого дела? Вы были плохим инженером... или... что-нибудь посложнее?

— Это безработица, мистер.

— Это и вынудило вас заняться журналистикой?

Тот сделал вид, что не расслышал вопроса.

— И все-таки Россия сейчас самая любопытная часть вселенной. — Он вежливо протянул своему спутнику мягкую пачку сигарет: — Курите!.. Кстати, почему у вас так много говорят по любому поводу?

Скутаревский дрожащими пальцами перематывал рулоны самопишущих приборов, которые подоспевший техник сунул ему в руки. Они волочились по полу, ленты ябедной, разграфленной бумаги, а он не видел ничего, кроме нечеткой, волнистой линии, флуоресцирующей на темноте. Гость выдул часы и вдруг заторопился; он снисходительно объяснил, что имеет только полгода на беглый осмотр всех чудес этой неслыханной страны. Черимов вовремя отошел в сторону. Кунаев сказал г у д-б а й — все, что он знал по-английски, неуклюже, зато от души, молча поклонился гостю и повернулся спиной. Вещество его чадило и клокотало; ему было стыдно за сына, и сжимались кулаки на Петрыгина, через которого проходил проект и которого уже давно он разглядывал с враждебным вниманием. Он испытывал жажду, зуд в руках, потребность в ругани и стал спускаться вниз.

— Ну, что он сказал? — догнал его Кунаев.

— Он не сказал ничего. Он из тех, которые терпят нас, пока мы самые западные из азиатов, и возмущаются, когда мы заявляем себя самыми восточными из европейцев... — ответил Скутаревский, не понимая, ради чего он лгал сейчас этому горячему, непоседливому человеку.

В суматохе Кунаев так и не уразумел ничего. Да тут еще в окно со двора, заваленного щебнем, стружкой и разбитой цементной тарой, ворвалось медное, воинственное воркотанье оркестра. Торжество еще продолжалось, когда распространился слух, что суждения экспертизы крайне благоприятны. Тем более угрюмое молчание Скутаревского и поспешный отъезд американца селили смущенье в неискушенных участниках торжества. Им хотелось, чтобы вместе с ними радовались все — и этот любознательный гость, если только доступно ему при его европейски здравом смысле бескорыстное ликование молодости, и этот генштабист индустриализации, как обозвал Скутаревского впопыхах энтузиастический председатель исполкома; вечером к тому же замышлялась

дружеская вечеринка с пельменями и приезжими знаменитостями. И вот тут-то, при осмотре котлов, шести стирлингов по семьсот двадцать метров нагрева, и спросил у Кунаева во утешение какой-то непостижимой потребности: «...вы радуетесь обилию воды или количеству котлов, товарищ?» И сразу это мимолетное словесное облачко раздулось в целую тучу курчавой черимовской головой. Просматривая графики котлов, шурша синеватой калькой чертежей, которые захватил в дорогу, все доискивался он правды, о которой не смел догадываться, и, кажется, впервые клял свою дерзкую, безопытную молодость; пожалуй, стоило бросить академическую работу, чтоб только разгадать этот чертов ребус. Графики отличались отменным благополучием, и даже содержание  $\text{CO}_2$  было точно такое, какое предписывалось в учебниках. В чертежах также все обстояло исправно, каждой гайке, каждому метру провода имелось свое точное занумерованное место; притом тщательность исполнения была такова, что, в глазах Черимова, никакой картине не сравняться было с ними по красоте. Минутами, теряя надежду на собственную прозорливость, он уже протягивал руку разбудить учителя и, жертвуя всем, спросить в упор о значении обмолвки, и всякий раз не решался.

Тот спал на той сокровенной глубине, куда лишь длинными, кружными путями просачивается биенье действительности. Все теперь стало ему ненужным — ни мир, ни плоско нарисованные на нем понятия, ни мнение людское, ни честь его инженерской корпорации.

Мысль, которая за последние месяцы туго и неуверенно вызревала в нем, теперь воплощалась в окончательные почти фантастические виденья. — Туманная, голубоватая долина предстала ему среди хребтов недвижимых и снежных. Она была обширна и пуста, ее реки текли напрасно, ее богатств не раскопал никто, — ей не хватало лишь людского творчества.

Он видел ее как бы с высокой горы, откуда проще и понятней путаная география мира. Лавины людей приходили сюда из дымных и мрачных предгорий; они пугливо жались у скалистого прохода, ослепляемые едким, как бы ртутным светом долины. Старые дома их развалились, а новые еще не построены; ночи их были темней, а

одинокости страшнее, чем в те первобытные дни, когда еще не писались, а только пелись первые земные книги. Они и тут пытались петь, — неуклюжие их голоса повторяли сиплый лай ветров, под которыми были зачаты. Не сразу, не дружно они уходили в свою голубую неизвестность, а он оставался один на своей горькой высоте...

На протяжении двух суток, покадлилось возвращенье, образ этот повторялся многократно, все острее и могущественней, убедительнее смерти и все менее уловимый в непрочные, неемкие слова. Периоды такого изнуряющего ясновидения чередовались с кратковременными вспышками полной ясности, но до последней облегчающей испарины было еще далеко. В перерывах открывал глаза и лишь по освещенности окна угадывал — утро, сумерки или вечер застает его, больного, в дороге. Гора его шла за ним неотступно, как судьба, возвращение в семью пугало, о сыне он старался пока не думать, друзья... их он заводил ровно столько, чтобы не совсем разочароваться в людях. Оставалась работа да еще вот Черимов, который, присев рядом, с неумелой нежностью держит его влажную, обессилевшую руку. Учитель сидит молча, с голыми волосатыми ногами, и опять в зеркале против себя видит свое отражение — бескрасочное, точно в болотной воде. Волосы смокли на нем и слиплись, как на гончей. Ему кажется, что его преследуют зеркала: не зеркало — так осколок стекла, лужа на дороге, всякий другой глянец, мимо которого проходит. Мир полон его отражений, и каждое твердит, что комета идет на убыль...

Он внимательно рассматривает побелевшие свои ногти.

— Да, это сотерн. Вы пили сотерн, молодой человек? Должно быть, подшипники мои сносились. Да, поступь ума моего стала тяжка; он уже не парит, он ползает, его брюхо в пыли. Он уже боится той самой логики, которую раньше делал сам. Посадите на моей могилке желтые цветы. Яростно люблю кадмий.

Реплика означает выздоровление; Черимов терпеливо прислушивается к стариковской воркотне. Выздоровливающие болтливы, как дети.

— Вы еще порядком побузите на этом свете, Сергей Андрейч. Я никогда не чувствую разницы наших возрас-

тов. Что?.. мне?.. вчера стало тридцать. Мне и сейчас хочется похлопать вас по плечу...

— Похлопайте, ничего. Со временем вы напишите хороший некролог обо мне. Отметьте, что вся разработка вопроса о направленных антеннах принадлежит мне. Не отрекайтесь, у вас есть литературные способности... Да, кстати, что вы думаете об Арсении?

Ему хочется говорить; его томит жгучая потребность объяснить, сколько ему еще нужно сделать и как это ему трагически не удастся. Сумерки делаются гуще. Просто-волосые призраки ночи вприпрыжку скачут за окном: пар. Он тает и внезапно рождается вновь. Гремят стрелки, проскакивают огни, паровозные искры чертят на мраке тысячи осциллограмм.

— Я не видал его десять лет, Сергей Андреич. Я не знаю. Он был славный парень, но всегда с какой-то поправкой на интеллигентский истеризм... — И вдруг: — Сергей Андреич, вы обмолвились третьего дня Кунаеву про котлы, помните? Что означал ваш намек?

Напрасно он расчленяет слова зевотой, чтоб обмануть бдительность учителя. Тот знает, о чем думает этот скромный и требовательный ученик. Он молчит, и каждая протекающая минута притушает остроту вопроса, поставленного врасплох.

— Мне скучно стало от речей, молодой человек. Я и в прежние годы их не терпел... Я даже как-то плешивею от молебнов. Будьте добры теперь, задерните шторку. Мерси...

Ночь входит в купе. Ноги тяжелеют, тело теряет ориентацию на вещи и внезапно утрачивает вес. Снова у входа в утопическую долину теснится человечество. Но все окутывается дымкой и мельчает, точно смотрит в обратную сторону бинокля. Потом пространство между сознанием и явью единым махом заполняет сон, огромный и мохнатый, как гора.

### Глава 3

Открыв дверь своим ключом, он тихо вошел в квартиру и стоял там, как чужой, которого не приглашают войти. Он стоял долго, прислушиваясь к затухающему фырканью машины, на которой Черимов завез его до-

мой. Все обстояло по-прежнему. Прямо перед ним, в просторной прихожей с лакированными обоями, возвышался шкаф, дубовый, замысловатой работы честного и бездарного мастера. Поистине это была вещь: она обладала собственным характером и запахом, она вселяла в посетителей подобающую месту серьезность, по веснам оттуда избыточно выпархивала моль, но, какой священный семейный инвентарь хранится там, так и не узнал никогда.

Высоко на шкафу стояли в тесноте серые от пыли гипсы — грек с вытекшим глазом, поэт со знаменитыми бакенбардами, лысая французская старуха, как зло изобразил ее Гудон, музыкант со стихийным лбом, распаленным, как мишень, чудесный флорентиец, воспевавший ад, окрестности любви, рядом с тем мантуанцем, которого избрал себе в путеводители, — и еще казалось, будто одному из них, умершему в самый год его рожденья, творцу богов, пророков и сивилл, все шепчет на ухо пронизательный бородач из Пизы, что вот он обшарил космос и, отыскав закон, нигде не нашел бога. Позади, в тени и забвенье, теснились еще и другие, и тот же серый пепел судьбы одевал их непокрытые головы. Обращенные лицом к двери, они, казалось, приставлены были охранять драгоценный скарб Скутаревского, и лишь один стоял затылком, драматург в елизаветинском жабо, с зелеными кудрями; когда подрастал Сенник, любимец матери, ребенку давали играть с ним, и тот раскрасил этот бледный, величественный мел своею детской, неумелой акварелью. Весь этот пантеон недружелюбно взирал теперь на Скутаревского, который со сжатыми, в сущности, кулаками вторгался в собственный свой угол.

Сергей Андреич снял пальто и тихо повесил его на место.

Кто-то сидел у жены. Он прислушался, досадливо обернув ухо к коридору, откуда раскидывалась путаная анфилада профессорских комнат. Сиповато и в приподнятом стиле гость расхваливал высокое качество неизвестного товара. Речь шла о необыкновенной легкости формы, о насыщенной динамике и четкости фигур, о благородстве композиции, о сохранности — как будто не было впоследствии ни варваров, ни гуннов, ни христиан.

И оттого, что расточительный поток этих мудреных слов поминутно прерывался раскатистым кашлем, а на полу, рядом с калошами, валялась мятая, гнусная шляпа, а на вешалке торчало знакомое пальто с проплатанным карманом, Сергей Андреич догадался, что это пресловутый Осип Штруф приволок на продажу какой-то неописуемый шедевр.

— ...это разновидность чернофигурной амфоры, — так и свистели из Штруфа словесные брызги. — Вы видите эти пурпуровые искры на одеждах Артемиды и Коплита? Ясно, это круг мастера прекрасного Дианокла! Эта безумная вещь стояла в подвале, спрятанная от большевиков. Я пришел, я влюбился, я ходил к ней на свиданье каждую ночь, я забывал спать, я потерял на ней здоровье... Я продаю, потому что ее могут разбить собаки.

— Но по раскраске, — слабо сопротивлялась мадам, — это напоминает одну пепельницу... я видела у Петрыгиных.

— ...и у ней была такая же, характерная для Коринфа, рубчатая розетка? И эти покатые плечи, эта ножка, чтоб прикоснуться к грешной земле?.. — Он опять раскашлялся, точно раздираемый пополам, а тем временем подивился — какую мошенническую фантазию следовало иметь, чтоб у дурацкого сосуда из-под оливкового масла отыскать плечи и ноги. — Я пришел в первый раз — вещь эта лежала во мраке подвала. В углу проходила канализационная труба, и в ней всегда журчало что-то и храпело: дом был огромен. Я зажег спичку... — Холодом веяло от Штруфовых слов. — Из амфоры выбежала крыса, которая жила в ней. Она была старая, с облезлой спиной... Вы знаете, что некоторые породы крыс живут по двести семьдесят лет?.. Я помню ее чуть красноватые вопросительные глаза. Спичка потухла, и в страхе я сбежал, но только затем, чтобы вернуться через неделю.

Стиснув зубы, Сергей Андреич прошел к себе, но скрипнуло под ним в разошедшемся паркете, и тотчас же жена догнала его у кабинета. Словно Сергей Андреич и не уезжал никуда, она заговорила быстрым привычным шепотом, каким разговаривают накрепко сжившиеся супруги: муж не имел времени вставить и слово, если бы даже и захотел. Она объяснила: Осип Бениславич про-

сит за вазу такие пустяки, что Петрыгины, с которыми она давно соревновалась, в случае отказа немедленно ее перекупят. Притом ваза явно старая, из подвала, чудом уцелевшая от большевиков, редкой тематики, и, что самое главное, подлинность ее удостоверялась сертификатом брата Скутаревского, Федора Андреича, музееведа и художника по ремеслу. Жена торопилась выпалить свои доводы, потому что в столовой, где одиноко выкашливался Штруф, имелись незапертые ящики, а плачевная репутация Осипа Бениславича требовала особого при-смotra и осторожности.

— Может быть, ты взглянешь сам? — Она предложила это лишь из дипломатии: муж никогда не вмешивался в ее приобретательскую деятельность. — И, кроме того, если это перевести по нынешним ценам на масло, то окажется совсем даром...

Брови Скутаревского дрогнули.

— Приготовь мне белье, Анна. Я иду в баню.

Она вскинула на него близорукие, в пенсне, глаза и испугалась его надтреснутого голоса: так звучит беда. Вокруг рушились инженерские благополучия, ломались карьеры, гибли репутации, распадались семьи, — она боялась всего. Она закусил губы, чтоб не выдать тревоги. Рядом с ней стоял, зябко потирая руки, совсем чужой человек, ничем не похожий на Сеника, и даже волосы на нем, глубокого янтарного отлива, стояли как-то дико. А всего страшнее было то, что никого ближе у нее не было в мире, с кем она могла бы посоветоваться о вазе. Тогда ей захотелось, чтоб он закричал, затопал на нее — вещь небывалая в их семейной практике, но тот не раскрывался и молчал. Она даже не порешилась прикоснуться щекой к его лбу, как делала всегда, чтоб узнать — есть ли жар; кстати, за последние четыре года Сергей Андреич как-то и не болел ни разу.

— Что с тобой?.. ты болен?.. ты потерял чемодан? — И вдруг ей стало не по себе на этой нелюдимои половине мужа.

Квартира негласно делилась на две неравные части; во второй, значительно большей, жили обособленно жена и сын, — даже и гости у них бывали разные, и это существенное различие начиналось именно со Штруфа.



Бакалавр неопределенных наук — по его собственному признанию, а на деле акционер предприятия, в котором когда-то работал и Петрыгин, он аккуратно, не реже двух раз в неделю, забегал сюда со сверточками с заднего хода. Его товар зачастую определял политическую ситуацию страны. Сперва он таскал крупу и масло, потом накрепко проперцованные анекдотцы, запретные новости, остренький слушок и, наконец, какую-то поблеклую бронзу из разбитых дворянских особнячков. Коллекция шедевров пополнялась; Анна Евграфовна утверждала, что кое-чем она не уступит и Люксембургскому музею, а фамилия Скутаревского, вырезанная на медной дощечке, надежно охраняла квартиру от всяких непрошенных вторжений.

Все здесь было заставлено, завешано вещами, а иное золоченой гроздью или хрустальной арабеской даже свисало с потолка. Кунаев, придя сюда впервые, испытал великое томление духа; его удушал затхлый аромат этих сомнительных сокровищ. Века и расы сварливо, подобно торговкам, состязались здесь, и было поучительно видеть, насколько по-разному гонялись прославленные художники за красотой, чтобы усадить ее в неуклюжую клетку своего искусства. Было чему удивиться Кунаеву: во что только не трансформировалась, пускай чужою волею, неукротимая гениальность этого примечательного человека. Глубочайших окрасок нефриты, овальные и прямоугольные холсты, старое резное дерево, стекло, из которого привередливый мастер изгнал его материальную тяжесть, цветистый и распутный фарфор, средневековая бронза, японские лаки, серебро — до крайности похожее на аугсбургское: мадам интересовалась всем. Отсутствие смысла замещалось формой; недостаток формы оправдывался ценностью материала; малая ценность прикрывалась стариной, и тогда самая ветхость обманывала порочной и расслабленной прелестью, готовую распасться на куски. Все это проигрывало на дневном свету, но вечером сверкало и слепило стихийным напором чужого и бесполезного вдохновенья.

— Осторожней... весь этот утиль имеет тенденцию падать на голову, — шутливо оправдывался хозяин и спешил увести гостя к себе. — Идемте отсюда, идемте. Мой ящик там...

То был действительно ящик, и состоял он из одной полутемной, окнами во двор, комнаты, которая не переклеивалась никогда. На сосновых незастекленных полках покоились труды инженерных ферейнов, технические словари, научная периодика и дремали классики электрофизики. Для работы имелся тут длинный, как койка, стол, да еще жесткая, как стол, койка, чтобы спать; кроме того, здесь же десятый год сохла араукария в кадке и еще притулился старомодный термоэлектрический прибор, стоявший без заметного употребления. Когда очередная работа не нуждалась в лабораторном опыте, Сергей Андреич энергично ходил по комнате, рассеянным взором блуждая по пятнистым стенам. Единственная, и то как-то боком, висела тут фотография Милликена, присутствующего на конгрессе энергетиков, да еще фагот — давнее и ставшее знаменитым увлечение Скутаревского; среди знакомых почему-то предмет этот числился под названием **драндулета**.

Часто в сумерки запахивались вплотную стеганные на вате портьеры, наглухо замыкались двери, — и в полупустой этой коробке, где на протяжении четверти века зарождались движущие идеи прикладной электротехники, начиналась странная звуковая возня, почти драка и порою даже как бы сражение Скутаревского с никому не ведомыми фантомами.

Должно быть, это и была мелодия его судьбы; несложная, как в курантах, она велась вся в среднем регистре, настойчиво и гнусаво повышаясь к концу...

Мадам терпеливо сносила это бедствие: сам Эйнштейн в пятнадцатом году играл вторую скрипку в оркестре, — первую вел один грек из Госплана, которого ей однажды показали в театре.

В такие часы Арсений Сергеич шутил сквозь зубы, что отец перекладывает на музыку свой очередной доклад в ВСНХ.

...И вот лицо Сергея Андреича отобразило гнев: драндулета не было на обычном месте. Там на могучем бронзовом крюке висел портрет длинноносого начальственного человека в берете и с выпяченной губой; из-за плеча выглядывала скверная его длинномордая собака. И хотя человек был одет в гофрированный атласный камзол, с буфами и красной оторочкой, а на руке имел перстень,

было ясно, что это сам Штруф и есть, лишь в ненатуральном своем виде.

— Я просил не трогать моих стен, — сдержанно сказал Сергей Андреич и сделал решительный шаг к обезображенной стене; вдруг он заинтересованно, даже с подобием свиста, втянул в себя воздух: — Позволь, но ведь это сам твой Осип и есть, я узнаю его унылый сизый нос. Анна, да ведь это же глумление!..

Жена торопилась оправдаться:

— Это портрет Франциска Первого... очень редкий. В Ключи висит только копия этого... Я хотела сделать какой-нибудь интимный подарок.

В действительности все обстояло проще: в ее комнатах просто не хватило стен на французского короля. Еще вчера вместе со Штруфом она поражалась мастерству и чуткости безымянного портретиста. Да, это был тот блистательный неудачник, но позади уже оставались грустная Павия и альказарское пленение; душевная болезнь уже притушила его глаза, смяла симметрию лица, и даже новеллы его веселой сестры, лежавшие на острых коленях, не могли рассеять смертной меланхолии.

— Да, да, это, конечно, Штруф. Теперь я сама вижу. Именно нос совсем как у Штруфа...

И, точно учуяв, что честность его подвергалась сомнениям в глазах постоянной клиентки, тот явился немедленно сам и уже расшаркивался в дверях. Нос его одевали роговые очки, и за их топазовой дымчатостью пряталось то главное, для чего он жил, а жил он, говоря по секрету, надеждой на возвращение утраченных акций. Центр его тяжести обретался где-то в коленях, вздутых пузырями и всегда подломленных вперед. И еще — всегда, где бы он ни стоял — у окна или даже на улице, в майский ли полдень или в ноябрьские потемки, лицо его было освещено неровно, смутно: такое освещение будет, если человека запихать под бильярд, что, по его словам, и проделала с ним судьба.

Явно, человек этот гибнул, и сперва не сознавал, а потом даже понравилось, и то, что вначале было ударом судьбы, теперь стало его профессией.

— Не правда ли, похож? — разом уловил он нить разговора, но подойти ближе ему, видимо, не позволяло бла-

горазумие. — Федор Андреич допытывался, не потомок ли. Я отрекся, потому что бумаги утеряны, а карточки хлебной за такое родство лишат. Но я всецело согласен с вами, Сергей Андреич! Что общего имеет ваше имя с битым французским королем? Это даже компрометирует в такой обостренный момент, когда, знаете, интеллигенцию... Э, да что мне вам говорить! Вы слышали, Вараввин и Брюхе арестованы!.. Этому портрету место где-нибудь над лестницей, на хорах, исторические сюжеты следует содержать в темноте: обольстительно и благородно. Но повесьте лампочку в шестнадцать свечей, и очарование исчезает, а остаются рыла какие-то и кровь, кровь!.. Нет, лучше я вам приведу безобидную собаку. Редчайшей породы, хотя и маленькая... но ведь собаки растут быстро, как бамбук! Кстати, простите, что я без воротничка... — заключил он, прикрывая горло с жилистым кадыком.

Он говорил так длинно потому, что опасался — как только перестанет, тут его и выгонят.

Сергей Андреич кивнул на стену:

— Где мой инструмент?

— Он упал, — ответила жена с внезапно состарившимся лицом.

— Так, — очень твердо произнес и вдруг прорвался: — А короля выкинуть!.. такое... такое надо резать в ямах и заливать хлорной известью. А вам уголь грузить. Грузить некому, а вы лодырь... стыдно!.. — Он задохнулся и провел ладонью по лбу: — Выдай мне белье, Анна, я схожу все-таки в баню.

Все устраивалось, таким образом, ко всеобщему благополучию.

Когда Сергей Андреич вышел, мадам переждала минуту и обернулась к Штруфу с язвительным лицом:

— Я разделяю вполне гнев мужа. У меня самой идиосинкразия на такие лица. Сергей Андреич против покупки вашей вазы. Он вообще не терпит греков...

— Это невероятно!.. — отшатнулся Штруф.

— Да, но он может себе позволить это, милый Осип Бениславич! — играя пенсне, молвила мадам.

— Имя Сергея Андреича котируется очень высоко. Я бы даже сказал: — это готика! — И он покашлял, почтительно склоняясь. — Я слышал также, что он вступает в партию?

Мадам загадочно улыбнулась:

— Нет, это сплетня. Есть люди, которым выгодно бросить тень на него. Вы наследили, надо вытирать ноги. Итак, до свиданья, Осип Бениславич.

Штруф опустил голову и грустно глядел на левый свой башмак. Он был бескаблучный, со шнуровкой от самого носка, такие употребляют для коньков. Осип Бениславич думал о том, что недалек день, когда все откроется и старинные клиенты, тыча всякими словами, погонят его взащей. Вдруг он поджал отвалившуюся челюсть и вскинул голову:

— Прекрасно... Итак, собачку я вам затащу на днях!

## Глава 4

Дело начинается со старой баньки, что стояла в низинке у реки, в стороне от уличных протоков, — ветхое одноэтажное зданьеце, притаившееся среди безглазых фабричных корпусов. Они зычно ревели по утрам, они дышали в небо грузною летучей чернотой, они владычили на всю округу — банька же ничем не заявляла о своих древних неоспоримых правах. Простой и синий, синей синего моря опоясывал ее кушачок веселой вывески, и четыре хватистые буквы плыли по ней, как из простонародной сказки парусатые корабли. В людные торговые дни, когда останавливалась гремучая жизнь корпусов, во весь спуск, до дощатого банного заборчика, выстраивались бабы с яблоками и пыряющими в нос квасами, носатые молодцы, с жесткими мочалками и карамелистыми мылами, выползали подпольные старцы с вениками, и тогда пахучий, в меру перебродивший товар их песенно шумел на речном, низовом ветерке. Сквозь замазанные известью оконца сочился смешной звук — помесь голоса, растворенного в гулком банном духу, и еще воды... великолепной воды, которая льется! Приходил сюда главным образом рабочий люд да еще угрюмая солдатская братва из соседней казармы, ибо на окраине стояло место. Так что, когда вспылало октябрьское пожарище, заведение пустовало, и Матвей Никеич Черимов, пожизненный банщик и сторож чужой раскладенной одежды, всю суббо-

ту высидел бездельно, изредка вздрагивая и просыпаясь от громов дальней пальбы.

Парился тогда в горячем отделенье один только отставной, на деревянной ноге, полковник, столь великий любитель, что, когда действовал он, никто другой не смел взобраться к нему на полок из-за жары. Парился он обычно сам, в мокром картузе, парился до того крайнего градуса, пока не грозило ему обратиться сразу в невесомое, газообразное состояние. Отпарившись же, пристегивал ногу, выползал в раздевальню и отлеживался часами, накрытый простынею; из-под нее ужасно, подобно указательному персту, торчала в пространстве его незатейная, на кожаном ходу, култышка. Был он молчалив, безвреден, кроме войны, не умел ничего, век доживал на пенсии и, будучи одиноким, на баню тратил все свои досуги... А тут, случилось, смешанный отряд рабочих и солдат отыскивал пристава, местного душителя и грозу; бежал тот от расправы и близ самой бани растаял как бы в ничто. Они вошли, шестеро, со штыками наперевес, прямо с перестрелки, за один тот день пропахшие въедливым военным запахом. Они увидели на лавке цветной, начальственный околыш и, хотя не было на нем ненавистой кокарды, засмеялись, всякий по-своему, на все об одном и том же. Они посмотрели на Матвея Nikeича и подмигнули ему на мокрую дверь, из-под которой доносилось плесканье. Они втиснулись туда все шестеро разом, одинакие, как братья, молча и деловито; задний заметно шатался от усталости. Вышли они оттуда через минуту, слегка смущенные и потные от банной духоты. Они ушли, не оглянувшись на Черимова, который продолжал сидеть на лавке со строгим неподвижным лицом.

Розовую мыльную пену, расплеснутую по скользким ступеням, скатили водой, и потом очень скоро все забылось. Матвей Nikeич был банщик и, чтоб не волноваться, удивления до себя не допускал. Самое снятие царя несколько его не поразило; оно походило на снятие одного устаревшего монумента, которое ему удалось наблюдать и которое ему в высшей степени понравилось: генерала тащили, а тот покачивался и упирался, но вдруг упал, и вот раскололись на части бронзовые его шаровары. Видел он также, как вскрывали угодника в соседнем

с его деревней монастырьке, и один приезжий из города для пущей наглядности скоблил мощи перочинным ножичком, но и это на него не подействовало. Одна только полковничья кончина произвела на него решительное действие. Он стал прислушиваться к разговорам людей, по-прежнему переполнявших баню в субботние дни. Голые, они бывали в особенности откровенны и не стеснялись выражать своими словами то, что волновало их в те поры. Раз Матвей Никеич спросил о знакомом слесаре, ранее не пропускавшем ни одной субботы. Ему ответили, что убит на деникинском, и тут же прибавили, что пора бы и ему, Матвею, повоевать маленько за рабочую власть.

— Куды мне, я банщик. Барабаны, что ли, таскать! — И отвернулся, покраснев.

До того случая был он этакая бородатая амеба, дикарь; из деревни выписали его мальчишкой; не видя ничего, кроме голых спин, он и сам с течением времени становился банным инвентарем. Если банька пустовала, он сидя спал, и кошмарные сны сказочного Анепсия-царя были детскими выдумками в сравнении с его видениями. Даже в молодости снились ему не бабы, не сражения, не обновы, а нечто лукавое и множественное: например, рыбы в пиджаках, либо сто тысяч архиереев единовременно, либо поле; а по нему ползают рогатые улитки, либо просто щека, но громадная и выбритая до такого лютого непотребства, что Матвейка отражался в ней весь, в натуральную величину. Тяжелей свинца была его подушка от застрявших в ней несуразиц... да и мало ли какие чудища бродят в дремучих лесах сновидений! С возрастом стали ему сниться бороды всевозможных покроев, как в парикмахерской, на парижском листе, различных мастей и вывертов, орда, целое нашествие бород, такое шерстистое ликование. Тут он и сам от безделья стал отращивать себе бороду, и довольно успешно, и некому его было остановить.

Родни у него не было, брат умер еще до возникновения этой шалой прихоти, а племянник, прожив у дяди полгода, сбежал на тот же самый крошечный стеклянный заводик, где работал и его отец; не терпел племянник ремесла, к которому начал приспособливаться

его дядька. Матвей тогда не огорчился: «Молодели не жaley; щипаная-то, она кустистой растет!» Позже, еще совсем малолеток, племянник дрался на фронте, после чего неимоверными усилиями выбирался вверх по ступеням науки, а дядька все спал, выжидая своего часа. И поистине, нужно было выстрелить в него из мортиры, чтоб пробудить. Изредка, заезжая в столицу, Колька Черимов забегал навестить дядьку на его дырявом чердаке. Он присаживался на узкой койке и долго, пристально, прищуриваясь сквозь кулак, разглядывал своего несговорчивого родича. Тот сидел перед ним, большеротый, с огромными ноздрями, к людям прохладный, насмешливый, наблюдатель жизни, кошель неистребимой звериной силы.

— Никак, бороду мою смотришь? — выговаривал он наконец.

— Хороша, ты из ней ровно из багетовой рамы выглядываешь!

— Полезная вещь, — с тем же ядком соглашался дядя и поглаживал ее бережно. — Надьсь в кино звали сыматься. Трешницу давали и пищу.

— Просто шелк... — все покачивался, стиснув зубы, племянник. — С такую и горла не простудишь: ровно в валенке. Не кури только, а то спалишь ненароком!

— Ничего, я ее храню.

В сущности, он нарочно рядился перед племянником в дикарскую свою наготу. Уже с год он обучился грамоте, и хоть с опозданием, но узнал, за что — не умерщвленный во многих знаменитых кампаниях — погиб безвинный полковник. Нарочно, чтоб пуще раззудить Кольку, он рассказывал в подробностях, как в свободные дни играет на дворе с ребятами в орлянку стертыми николаевскими пятаками; тот дрожащей рукой поглаживал растерзанный краешек одеяла, на котором сидел. Порою хотелось ему тряхнуть дядьку за плечи и кричать, кричать ему в ухо, как на митинге, — о, какую, дескать, лопатую мешать ленивые твои мозги! Но чердак был гулок и просторен, крик человека терялся тут, под глухую тесовую обшивкой. Тогда он молча снимал со стены и, в который раз, принимался разглядывать выцветшую от времени фотокарточку, где изображен был какой-то военный в



полной форме и при усах. И еще там висело — но не девушка в венчике, не ангелок с пасхальным яйцом, а сам писатель Короленко, которого полюбил Матвей Никеич из-за его чудо-бороды.

— Выпиваешь? — улыбался Черимов и кивал на полку, где, подобно матери с младенцем, стояли винная бутылка и крохотный стакашек.

— На ночь растираюсь. От воды хрящики мои ноют.

— Это оттого, что спины чужие трешь, нагибаешься.

— Ты не кричи, а то прачкину девочку разбудишь. Тут у нас за перегородкой прачка живет.

— Почему берешь со спины? — вдумчиво осведомлялся племянник.

— Рупь. Приходи, с тебя половину по родству... — И вот грозился разбухлым пальцем: — Чего, чего мурчишь? Я дую, да вон башка-то как смоль. А ты и учен, а эвон вокруг ушей-то ровно паутинкой оплело. — Так пренебрежительным спокойствием мстил он этому мальчишке за попытки сманить его на фабричку, откуда самого его уже увела судьба. — Ну, ты посиди тут, я тебя не гоню... — И начинал при госте шумно укладываться на ночь, а однажды, к пущей его досаде, даже и молитовку вслух почитал.

— Все озорничаешь, все путляешь... ось, гадюка! — оборонялся племянник, нехотя берясь за шапку. — Погоди, дохлестнет и до тебя.

А жизнь менялась; расплавленная, она текла, застывая в причудливые, неожиданные формы. Банька хирела, потому что соседние заводы, расширяясь за счет чужих владений, выдавливали ее из низинки могучими кирпичными плечьями. Матвей Никеич видел больше, чем мог понять, но явственно чуял за этим затишьем расхлестнувшуюся, почти бездонную пучину. Одного ему хотелось, чтоб уж скорей. Бывало, ночной и близкий, колотился в крышу дождь, чердак наполнялся вздохами и шорохами, и тогда, лежа на твердом своем одре, он раздумывал, как все это случится — в землетрясении, в потоке или же под видом пожара. Возраст его как бы остановился, он не старел, даже не лечился ни разу, а просто старался не заболеть; всякий зазевавшийся микроб погибал в нем немедленно, как в печке. Но раз, выбежав в стужу за ве-

ником, он подхватил детскую какую-то простуду и неделю провалялся у себя на чердаке. Прачкина девочка раз в день приносила ему воды. Отощавший и страшный, он лежал один, и вдруг ему пришло в разум, что эдак легко и умереть. Кстати, мучила еще боязнь, что молодой банщик Кеша, новое его начальство, не поверит в его болезнь. Поднявшись до срока, он оделся и, как прежде, отправился на работу. Достигнув спуска, где улочка ломалась, он остановился, не узнавая места.

Пыль, летучая известковая дымка парила над низинкой. В ней уже не маячило привычное синее пятно с буквами, огромными, как в букваре. Баню разбирали, а заодно срывали церквуху, с которой она соперничала по субботним дням, кто в себя народу больше приманит. Соперницы погибали вместе, пыль их мешалась и зыбко поднималась на ветер. Артель каменщиков хозяйственно копошилась на оголенных стенах, и один с остервенением и с намаху вклинивал железный лом в окаменелую от времени кладку. Матвей Никеич простоял здесь долго, мешая проходу людей и прицеливаясь вниз потерянными, впервые раскрывшимися глазами. Желанная гроза пришла; она опаляла его веки; пророчества племянника сбывались. Он вспомнил каменную плесень на стене баньки; она то рыжими письменами, то дерущимися гарпиями распространялась по кирпичу. Еще он вспомнил чахлую сиреньку, что торчала в окне раздевальни, и вдруг прислонился к стене: у него задрожали колени. Когда же спустился, там выворачивали котел — круглую, оборжавевшую посудину, у которой он кормился долгие годы. И он помог людям выкатить ее на катки, потому что всегда надо помогать живым побеждать мертвое.

За выслугу лет его перевели в баню высшего разряда, ближе к центру, с огромными окнами, мозаичными полами и всякими водяными ухищрениями. Но то была уже не прежняя языческая мильня, капище тела и веника, а просто санитарное учреждение комхоза. Народ сюда ходил почище, но Матвею Никеичу понравился лишь один — стремительный, с рыжеватинной человек. Повествуя племяннику о новом знакомце, Матвей Никеич сказал: «Публика чистая и все с пузырьками. В иного руку всодишь — еле вытащишь; скоро жиреют, скоро и колеют.

А этот тощеват и, судя по масти, горящий человек. И на чем в жизни догорит, про то не хватат моей мысли...» Посетитель, видимо, тоже не прочь был поговорить с людьми на римский манер, в голом виде, когда ни различие одежд, ни житейская чиновность не мешают простой человеческой искренности. Первая их беседа, недолгая, состоялась о табаке и мухах, а вторая о покойниках; Матвей Никеич полагал, что разумнее производить похороны ночью, чтоб не осквернять дня. Третья заключалась в рассуждении и истолковании разных мечтаний. И тут выяснилось, что втайне от начальства мечтал Матвей купить себе подходящую гору, со всем лесом, каменными зубьями и зверьми, и чтоб сесть на ее макушке и смотреть, и чтоб дикие грозы округ, и чтоб толстые молнии, ломаясь и щепясь, беспрестанно жгли и клонили эту землю. Уединение на горе свойственно было, таким образом, им обоим; должно быть, именно поэтому, придя с противоположной стороны, и встретился Матвей со Скутаревским.

...Было близ полдня, когда Сергей Андреич вошел в баню; в раздевальне висело всего с дюжину пальто, и одна, между прочим, кожаная тужурочка. Банщики скучали; один сидел и от безделья шупал себе нос, хотя нос был вполне обыкновенный; другой читал статью в газете. Делал он это с великой тщательностью, и, когда Сергей Андреич уходил, тот смотрел все в ту же страницу. В зале стояла утренняя, незадышанная свежесть, — самые усердные парильщики появлялись позднее, к закрытию. Намереваясь выпарить из себя всю простуду зараз, Сергей Андреич сразу же спросил себе Матвея Никеича, и паренек, оторвавшись от газеты, сообщил, что Матвей тут больше не работает, а почему так получилось — объяснить не сумел. Тогда Сергей Андреич отправился прямо в жаркое отделение. Здесь было пусто, обильно пахло раскаленным камнем, в высоких окнах дымчато и розово светился сентябрьский денек... Он пошел за угол, за шайкой, и вдруг разглядел в сумерках распаренное глянцевитое тело, довольное и усталое; верхнее освещение делало его короче и толще. Рядом, на пестрой мозаичной скамье, вопреки правилам комхоза, стояла бутылка с квасом, и в ней продолговато и массивно отра-

жался упитанный бок толстяка. Все это выражало почти эпическое спокойствие совести, и нужно было обладать неуживчивостью Скутаревского, чтоб разглядеть сокрытую азиатскую улыбку позади такого торжественного, безоблачного благодушия.

— А, — сказал толстяк вместо приветствия, и подбородок его, широкий и плотный, заметно раздвоился от улыбки. — Вот, приказано потеть. Сахар, сахар, родной мой, донимает. Восемь процентов, смекаешь? Скоро буду сладкий, как свекловица...

— Ага, значит, и ацетоны есть? — сдержанно откликнулся Сергей Андреич.

— Что ты, оборони бог! — И, налив стакан, с маху выплеснул его куда-то в усатый промежуток между носом и подбородком. — Ну, что в Сибири?.. почему жизнь?

## Глава 5

Это и был Петрыгин, брат его жены и когда-то лучший друг, но первый хмель дружбы давно прошел, и осталась одна горькая похмельная фамильярность. Впрочем расхождение их началось вскоре после того, как покидали с себя студенческие тужурки; тут и обнаружилась первая трещина. Скутаревского потянуло на новый факультет, и сперва он очень бедствовал в скудной должности ассистента при каком-то институтишке; да и впоследствии, сделавшись преподавателем, не особенно жирел. Петрыгин же сразу ввинтился в житейскую машину, точно для полной исправности только и не хватало ей этого новехонького с крутой нарезкой шурупа. Обставляясь на первых порах, он и лицо себе выдумал благородное, но в меру, чтоб не отпугивать приятелей, и репутацию весельчака и выпивохи, хотя никто нигде не заставал его с бутылкой. А легче всего давалась ему удалая его беспечность, на которую, как на звонкую монету, покупал доверие людей. Фортуна благоприятствовала трактирщику сыну; первый же его хозяин, предприимчивый и просвещенный фабрикант, правильно учитывал перспективы распространявшегося электростроения. Молодой инженер поехал в Англию наостриться на — тогда еще пере-

довой — английской промышленности, чтобы с барышом применить на практике у благодетеля и будущего тестя. Петр Евграфович не рассказывал никогда, как получал он этот чек из рук покровителя искусств, дарований и отечественных мануфактур: один стоял, другой сидел, но тот, который стоял, еще вдобавок и посмеивался. Так, со смешком, он укатил, молодой, проворный, с русым кудрявым пушком вокруг розовых щек. Вернулся бритым, с желтинкой под глазами, вывез, кроме знаний, еще великий страх перед Европой, который впоследствии его и повалил. Тут как-то неприметно и породнился он с хозяином на почве общего дела и любви: молодая буржуазия умела покупать нищих, не снижая их взлета, не ущемляя их щепетильного достоинства.

В то время успешно заканчивал свою диссертацию; факультеты пригодились ему наконец. Тема ее, которая неотвратимо возникла у него из следствий Максвеллова закона, сталкивала в нем электрика и математика. Через изучение электромагнитных колебаний, добираясь до сущности всяких колебательных явлений, он уперся в главу, которую, как ему тогда казалось, невозможно было обойти. Дело шло о причинах свечения и электрической самозащите глубоководной фауны. Именно эту главу, над которой на протяжении лет неоднократно издевался Петрыгин, Сергей Андреич заканчивал у него на даче. Вычурная эта и дорогая коробка стояла высоко над рекой. Вечерами принято было наливать чай до одури и безуступчиво спорить обо всем, что, естественно, поразному отражалось в сознании теоретика и практика.

Тогдашние их распри протекали бурно и весело; всякая отвлеченная формула, которую обозначал просто интегралом, представлялась завтрашнему шуруину его либо качеством металлического бруса, либо атмосферным расширением в котлах, либо кинематикой движущихся шестерен. Сразившись в одной области, они хватались за другое оружие, и молодость, слепой и дерзкий поводырь, таскала их с одного обрыва на другой. Случалось, речь заходила о социальной борьбе, и тогда, потешаясь над эскековским уклоном будущего зятя, Петр Евграфович указывал с видом превосходства, что только практическая наука и техника способны менять лицо жизни, что

все дело в совершенстве машин, а не в классовой борьбе, что изобретение ткацкого станка, например, дало человечеству больше, чем любая социалистическая программа; он уже и тогда высоко ценил свое инженерское звание. Гость кусал губы и сопел. Трещинка на дружбе была еще тоненькая, как на той аляповатой сахарнице, что бессменно торчала на столе. Порою, желая блага приятелю и действуя на дрянное чувство, Петр Евграфович распахивался перед ним во всем своем житейском блеске; Сергей Андреич видел кроме дачи — выезд, весьма сараистую квартиру, саженного Гюбер-Робера в позолоченной раме, самовар с затейливыми ручками из благородной кости, всяких обстановочных посетителей в котелках, но злая щелочь нищеты ни в малой степени не разъедала его фанатического упрямства. Молодой ученый вступал в жизнь без лавров, без триумфальных арок, даже без лишней пары штанов: буржуазия еще не видела, за что ей следует платить этому угрюмому босяку.

Тем же летом к Петрыгину приехала сестра, курсистка Аня. Она была чернявая, вроде жужелицы; некоторое неблагополучие с ушами она искусно драпировала блестящими, точно лакированными волосами. Стояла затянувшаяся весна; легкий зной перемежался с дождичками; ежевечерне влажная дымка стлалась над полями внизу. Все цвело — кусты, лужи, дворник Ефим, небеса, жирная остролистая, как бы нафабренная трава вокруг крокетной площадки, деревья цвели, птицы... казалось, еще ночь — и зацветут вовсе неодушевленные предметы. А едва по небу глубокие, с грустинкой, проступали ночные взмывы облаков, начинался звонкий, как бы с арфы, ветерок, — балдел от такого изобилия красот... В такую-то ночь Аня пришла к нему в беседку.

Она считала себя передовой девушкой, мораль она сводила к чисто физиологической гигиене. Она сказала, что молодость длится до поры, пока не чувствуешь бремени материи, из которой сделан; удивился, про это он нигде не читал, ему понравилось. Она запутанно выразилась, что мешчанство — неперемнное качество каждого индивида на одной из Гераклитовых ступеней; смолчал, потому что, кроме электронов, он не интересовался ничем, и все греки представлялись ему одинаковыми гип-

совыми лицами. Она спросила, нравится ли она ему; он признался сконфуженно, что, в общем, она довольно благоприятно действует ему на сетчатую оболочку... В полночь началась гроза; беседка не протекала только в одном месте, над кушеткой, где спал молодой человек. Аня задержалась. Она ушла на рассвете, босая... прыгая через лужи. Сергей Андреич стоял на пороге, смотрел, как мелькают ее твердые желтые пятки, и смятенно теребил какие-то цветы, высокие и мерзкие, точно сделанные из ломтиков семги. В кустах шумели дрозды... И ему очень хотелось догнать Аню и извиниться; он еще не верил, что это уже навсегда. За утренним чаем все перемигивались; челядь подносила ему первому. Тетка, которой Сергей Андреич и раньше желал тихого конца, посреди бела дня завела аристон. Петрыгинская собака до непотребства семейственно лизала ему руки; он отдергивал их, она рычала. Сергей Андреич со страхом ждал, что сейчас ему вынесут пахучий, в копну размером, фиолетовый букет. Но он мирился и с этим, он уважал любовь. Через две недели диссертация внезапно потребовала лабораторной проверки. Он уезжал не один. В коляске у Скутаревских, между колен, сидела та самая собака, подарок зятю. Сам хозяин в чесучовом пиджаке стоял у калитки, махал рукой и посмеивался. Веселое его настроенье разделяли и присутствовавшие при последнем подношении — садовник, кучер, помянутая тетка, мальчишка с мокрыми вывороченными губами и еще какой-то разносчик с ягодами, похожий на Григория Богослова.

Когда коляска тронулась:

— Эй, эй? — закричал Петрыгин. — А отчего все-таки рыбы-то светятся? — и дошел до того, что даже погрозил пальцем.

Молодая жена сразу прибрала к рукам нищее достояние мужа; курсы она, разумеется, бросила. Ей удалось очень скоро приспособить молодого ученого к делу, и верно, положение семьи заметно улучшилось. Целый день супруг что-то изобретал, писал популярные учебники, а жена незамедлительно пристраивала к жизни; большинство его изобретений разбиралось нарасхват мелкими отечественными фабрикантиками. Так, капитулируя понемножку, обменивая на рубли свой юростный талант

и научную прозорливость, он жил в чаду подозрительных хлопот и совершенно чуждых ему волнений. Марксистский свой кружок он оставил по недостатку времени; так орех, пуская росток в лесной подзол, разламывает стеснительную скорлупу. Петрыгин со стороны направлял практическую деятельность сестры. Он уже оплывал, все глубже уходя в тестеву коммерцию; оптимизм его рос по мере увеличения числа акций в предприятии тестя. Тем временем привычный всем кончался, из него вылупливался другой, и этот новый страстно ненавидел прежнего. Через два года, очнувшись от душевного беспомыслия, он застал себя в приличной квартире, украшенной помянутыми бюстами; это было и недорого, и благородно. В минуту его протрезвления посреди комнаты стояла ванночка, и в ней, разбрызгивая мутную воду, барахтался большеухий младенец — «оправдательный документ любви», как посмел пошутить при этом Петрыгин, и ошеломленный даже не обиделся. Целый час он ходил и все разглядывал бюсты, щупая у них за чем-то холодные, меловые носы, а потом глядел на свои пальцы. Из соседней комнаты доносилось довольное урчанье мальчика и плеск воды. Это было очень торжественное слово, оно произносилось впервые: сын. Украдкой и по рассеянности набекрень он надел шляпу и вышел. Он шел по улице, и мальчишки смеялись над ним. Он зашел в трактир и впервые в жизни, под оркестрион и в одиночку, напился как извозчик. Он придавал случившемуся огромное значение. Раньше ему казалось, что всякий человек самым своим существованием оправдывает существование отца; теперь он узнал, что сам отец должен оправдать свое существование перед сыном. Круто повернул свой быт, сказала наследственная в его характере жесткость; он вернулся к своим диэлектрикам, на которых специализировался. Предельно опростясь, он несколько лет провел над работой, и все его впечатления не выходили из тесного круга лаборатории. Однажды его выселяли за просрочку квартирной платы; в другой раз его чуть не убило при испытании высоковольтного трансформатора. Семья кормилась на копейки, а Сенник уже подрастал; мальчику хотелось игрушек, мальчик заболел, и не было дров, — тайно от мужа жена топила пе-



чурку толстыми ежегодниками разных ученых обществ, которые старательно на книжных развалах подбирал муж. Жилье их походило на бивуак; посреди единственной комнаты стояла сооруженная из дров и досок тахта; из нее росли зеленые скрученные пружины и жесткий жалящий волос. Сбоку, на сковороде, горела и смрадила колбаса, сверху на веревке сушилось бельецо Сеника, а в окно заглядывала висячая вывеска зубного врача, умершего год назад. Требовался величайший такт жены, чтобы отклонить снисходительную помощь брата. Анна Евграфовна даже не имела времени обратиться к мужу за позволением. Часто, возвращаясь с работы, бессонный и ошалелый, он бывал в особенности нелюдим; в труде он был до маниакальности одержимый человек, — ввинчиваясь в жизнь, он уставал до обморочных состояний и, может быть, имел право на свою грубость.

И тут крупная фирма купила право реализации большой работы Скутаревского по теории пробоя изоляторов. Начало века совпало с порою могущественного разворота электротехники. Человек с бешеной быстротой копил свои знания; он нападал на стихии в открытую, разбивая их поодиночке, и природа не нишала, выдавая свои тайны. Ему уже понравилось летать, но он еще хотел разговаривать через пространства, разглядеть невидимое и взвесить невесомое. Кривая количества механической силы на одного человека двинулась вверх почти по вертикали. Промышленность бурно электрифицировалась; речь заходила уже о высоких напряжениях, о больших расстояниях, о выработке тока в мощных единицах. Открывались новые области, рушились привычные понятия о выгодности, силе и существовании энергии... самая экономика меняла свое лицо. А на горизонте, еще неуклюжие, начинали тлеть первые катодные лампы. Именно область Скутаревского таила в себе буквально блистательные возможности; его успехи могли бы обогатить щедрого покровителя; он шел и сам расставлял вехи, по которым робко и с запозданием двигалась отечественная наука. Комета стремглав поднималась к зениту, и уже из Сименсштадта разглядели ее жестокий взлохмаченный профиль. Две, на протяжении полутора лет, работы о перенапряжениях и защите от токов короткого замыка-

ния доставили ученому имя. И тогда-то пришлось кстати гибкая антреприза жены. Муж как бы выстуговивал одну из самых грозных колонн, на которых покоился космос, жена продавала на сторону драгоценные и бесчисленные стружки. Первое время, наголодавшись и еще не веря в удачу, она дешевила; позже она образумилась, и тогда началось это.

— Знаешь, о нем говорят все, — доверительно признавалась она брату. — Знаешь, он совсем бесноватый. Что это... талант?

— Кусай, кусай свое счастье... — сконфуженно поучал брат и сравнивал успех с выменем коровы, которое, если не выдоить, совсем перестанет давать молоко.

Деньги ворвались в квартиру Скутаревских в виде мебели, картин, нарядной одежды; деньги были из бронзы, кости, мрамора и хрусталя; деньги становились бедствием, которое следовало преодолевать. Их приносили скромные, вежливые люди; они кланялись, они произносили приятные вещи, они интересовались здоровьем мальчугана, они готовы были здороваться за руку с прислугой. О Скутаревском стали писать в большой технической печати. К нему приезжали с визитами именитые иностранные коллеги. Он консультировал почти в десятке предприятий. Он устанавливал стандарты в международной электротехнической комиссии. Его сманивали в Америку, прельщая судьбой знаменитых беглых соотечественников. Ходили слухи о его кандидатуре на Нобелевскую премию. Он заседал в военно-промышленных комитетах. Его имя ставилось в ряду Яблочкова, Габертейля, Маркони и Лангмюра. Его знали министры, боялись студенты и уважали дворники. Громкое имя его учителя, русского профессора-тяжеловоза, тускнело и коробилось, как имя Деви рядом с Фарадеем... Лихая эта метелица успеха длилась до самой революции; она слепила и мешала работе, которая была его целью, подвигом, схимой и единственным путем к самоутверждению.

Самому ему не удавалось насладиться вдосталь ни славой, ни тем звонким сырьем, из которого она делается. Правда, никто не видал его больше в обтертом пиджаке; правда, он сменил галерку, к которой привык со студенческих лет, на четвертый ряд партера; он купил

себе фагот; он стал чаще ходить на концерты громкой и трагической музыки, которую любил. К остальному он не имел ни вкуса, ни причуд; стремглавый человек, который, по утверждению врагов, логарифмы Гаусса способен был читать как увлекательный роман. Он не считался с недругами, которых вдоволь наплодила зависть, как не считался с соседями, упражняясь на своем ужасном драндулете. Однажды, наигравшись этак досыта, он очнулся и снова огляделся вокруг себя. Квартира его была огромна и походила на музей. На столе лежал ворох писем с советскими и иностранными штемпелями; они пришли кружным путем: Советскую страну уже заперли блокадой. Вдруг он открыл, что знаменит, но это не пощекотало его тщеславия, как когда-то получение кафедры.

Он выбрал одно, с фронта, от сына; оно доползло по оказии: **оттуда** не получали писем. Густились душные летние сумерки. Электричество не горело, и Петрыгин язвил в эту пору, что единственное освещение в улицах было от автомобилей Чека... Как был — в сюртуке, потому что собирался вечером заехать на именины ко вдове старого учителя, обидчивой и сварливой старухе, — вышел в более светлую гостиную прочесть письмо. Еще мальчишескими словами Арсений писал о разном — о товарище по приключениям Николае Черимове, о каком-то смертельном перелеске, где он перележал бой, о неизвестном Скутаревскому Гарасе, а меньше всего о себе, потому что сказать о себе было ему нечего. Между строк он как будто даже благодарил отца за то, что тот настоял на его отъезде в те места, где решалась судьба революции и, следовательно, мира. Вместе с тем ему доставляло как будто удовольствие баловаться гремучими большевистскими идеями; его детский еще ум обольщали молниеносные карьеры командармов, и ему понравилась бы любая война: ее пот, ее кровавая вонь дурманили его незрелое воображение... Прочтя, Сергей Андреич неосторожно прислонился к тонконогой этажерке, и, так случилось, какая-то бесценная статуэтка зазвенела осколками у него в ногах; в сумерках невозможно было догадаться, чем была раньше эта звенящая дрянь. Вещь стояла на самом видном месте, и, смешное обстоятельство, жена так и не вспомнила о ней больше никогда. Он воровски рассовал

по карманам острые куски и, разогнувшись, почувствовал, что голоден. Ступая на цыпочках, открыл дверцу буфета; там в закоптелом алюминиевом котелке кисла на доньшке пшенная каша. Он понял, что, несмотря на знаменитость, ему нечего есть. И почему-то именно это сообщило ему веселое и ясное настроенье.

По дороге в гости он заехал в институт; тощая, колдовского вида сторожиха принесла ему чай и пирожок из неизвестного вещества, съел его с изумлением. И уже он собирался наконец к обидчивой имениннице, когда ему позвонили из Кремля. Говорил секретарь человека, с именем которого были связаны светлейшие надежды одной и животный страх другой, гораздо меньшей половины человечества. Вождь просил профессора заехать к нему по делу; он обещал не задержать разговором. За Скутаревским прислали машину, и через несколько минут ужасной какой-то неловкости — по коридорам, запутанным, как мозговые извилины, — его ввели в большую нежилую комнату; еще следов разбитого режима не успели соскоблить со стен. Увидел человека, каким его знал весь мир, очень простого и еще тем удивительного, что самые сложные технические замыслы или громоздкие философские обобщения звучали совершенно понятно для каждого в его речи. Он не удивился сюртуку Скутаревского, но улыбнулся, и Сергей Андреич все ждал, что посреди беседы он снимет с себя пиджак и повесит на спинку стула; в равных обстоятельствах так поступил бы он сам. Духота еще не спадала; обгорелое московское небо шелушилось сохлыми скоробленными облачками. Понял улыбку собеседника и неожиданно для себя закурил папиросу из стоявших на столе. Свидание происходило в присутствии другого, невысокого и коренастого человека, которого впоследствии встречал почти на всех правительственных фотографиях. Ленин интересовался работами ученого; он проявил достаточную осведомленность в мировой постановке вопроса; по-видимому, он знал все наперед и искал лишь подтверждений.

— Вы работаете над передачей мощных напряжений?

— Я ишу, — сказал Скутаревский.

— Слушайте... дайте нам эту силу. Ваша помощь позволит нам вдвое ускорить процесс! — Ленин имел в виду электрификацию, план которой только еще возникал.

Он привел на память письмо Энгельса к Бернштейну от 83-го года по поводу опытов Марселя Депре, впервые передавшего по проводу десять киловатт на пятьдесят километров. Энгельсу казалось тогда огромным ничтожное количество транспортированной энергии; он полагал, что это в корне изменит взаимоотношения города и деревни, и не преувеличивал значения этого открытия. Кашлянул; первая в жизни папироса терзала ему горло. Вдобавок Энгельса он знал только понаслышке, Бернштейна знал другого, того зубного врача, вывеска которого заглядывала когда-то в сырую его пещеру. Ленин ждал ответа; его быстрый взгляд, как бы ионизирующий пространство перед собою, остановился на сухих мускулистых пальцах Скутаревского, щупавших карман с осколками разбитой статуэтки. задвигался и покраснел; его ответ выражал лишь меру его смущения...

— Пока мне нечего давать. Я ищу, и я не шарлатан...

— Ваш отец, мне передавали, был портной? — непонятно спросил тот, третий.

— Он был скорняк, — шумно вздохнул Сергей Андреич. Наступила пауза; человек в военной форме принес пачку перепечатанных на машинке бумаг, но, прежде чем взяться за них, Ленин распорядился, чтобы временно никого сюда не пускали. И пока он бегло просматривал их, черкая или делая отметки на полях толстым синим карандашом, огляделся. Большая, во всю стену, висела десятиверстка бывшей империи. Карта была старая, на добротном миткале, годная хоть столетия провисеть в прежнем российском департаменте. Но вот ее беспощадными карандашами расчертили на фронты, округа, энергетические бассейны, прокололи в тысячах тех самых точек, где и в действительности прикоснулись к телу России небрежные, подкованные сапоги интервентов или свирепые плуги революции.

...перпендикулярно к длинному, для небольших заседаний, столу находился другой, поменьше, и понравился придиричивому Скутаревскому чрезвычайный на нем по-

рядок. Только теперь он заметил: в углу стола стоял стакан чаю — в нем еще не растаял сахар, и лежал белый, уже забытой формы хлебец с сыром. Редкостное для того времени угощение подчеркивало значительность беседы и служило одновременно как бы границей, за которой стояло — не свой. И хотя он понимал, что именно так и обстоит оно на деле, профессора обидела эта подчеркнутая любезность; она толкала его на сухую и краткую вежливость; в конце концов, его даже тешило, что случайно он оказался в сюртуке для такой знаменательной беседы.

— Вам предлагали пост в правительстве июньской буржуазии?

— Да. Я отказался.

— Это делает честь вашей политической проницательности! — тонко и — показалось Скутаревскому — хитро сказал тот, третий.

— Да нет... просто кадетов не терплю! — И если бы проанализировал себя теперь, то среди причин отыскал бы непобедимое отвращение к тем, кого обогащал многие годы. — Миру сегодня клистирами не поможешь.

Это была кульминационная точка разговора.

— Значит, вы разделяете и средства, которыми мы боремся?

— Да, но... — Они слились в один звук, в новое понятие, эти две противоречивые частицы. — У меня имеются кое-какие сомнения...

— Вот видите, — весь подаваясь вперед, засмеялся вождь, и чуть скрипнуло под ним камышовое сиденье стула. — Если бы вы были свой, наш, у вас не было бы никаких сомнений!

И вдруг, минуя все переходы, он спросил Скутаревского, в чем испытывает тот нужду для скорейшего и успешного завершения работы. Он задал вопрос и, точно предвидя декларации гостя, откинулся поудобнее на спинку стула, засунув большой палец за плечевой вырез жилетки. Лампочка телефона несколько раз вспыхивала на столе, и только в первый раз Ленин посмотрел на нее чуть вопросительно и не взялся за трубку. Профессор начал спокойно, сообщением той великой технической идеи, которая оправдала бы и еще большую резкость.

Он расходился по мере того, как вспоминал обиды, нанесенные науке; кожаное кресло, где он сидел, раскаляло его, как печь; сюртук душил этого требовательного ремесленника. Его речь смахивала на декларацию, которая местами переходила в браваду... Лаборатория при техническом училище, где приютился он с учениками, стала ему тесна. Дорогие опытные трансформаторы стоят прямо на открытом воздухе, не защищенные даже навесом. Городская станция не отпускает потребного количества тока и зачастую выключает без предупреждения. Нет ни литературы, ни самых насущных измерительных приборов. «Мы принуждены мастерить свои аппараты на деревянных гвоздях...» Сотрудники голодают, и еще недавно один из лучших его учеников был арестован за мешочничество. Наука дичает, становится на четвереньки, и, конечно, со временем потребуются новые Франклины и Вольта, чтоб сдвинуть с места застрявшую колымагу... Ленин слушал, улыбался и постукивал карандашом так, словно пробовал крепость его отточенного синего жала. А распаялся, чуть не опрокинул чай, бубнил, гремел, забывая год, сквозь который проходила страна. Двое по ту сторону стола не прервали его ни полусловом; оба знали приблизительный спектр тогдашних настроений интеллигенции; воззрения даже лучшей ее части можно было бы выразить формулой: благословляю тебя, громила, ибо громишь дом, не милый мне... И тогда-то все обернулось по-иному. Ленин предложил построить новый, со своей собственной подстанцией институт, специально для работ Скутаревского и его немногочисленных учеников. Сергею Андреичу предоставлялись выбор места, оборудованья, составление эскизного проекта и даже самая смета. Неожиданная щедрость потрясла ученого; взволнованный, он встал и снова сел. Потом он поднялся уходить, и, странно, уходить ему отсюда не хотелось.

— ...кажется, я вам тут сукно прожег на столе, — заметил он, неодобрительно глядя на сгоревший окурочек.

— Ничего, — засмеялся Ленин и прибавил, когда был уже на пороге: — У нас сейчас плохо с одеждой, но мы приложим все возможные усилия достать вам костюм полегче.

В суматохе чувств так и не понял шутки.

Неписанный их договор исполнялся до шепетильности точно: через три дня молодой военный человек доставил Скутаревскому костюм, но он был какой-то непозволительно клетчатый для ученого и не по росту короток; впоследствии его отдали носить вернувшемуся Сенику, который сразу принял в нем какой-то стрекулистский оттенок. Потом, после двухмесячной беготни, бессонных ночей и бесконечных заседаний, сразу наступила толчея подстегнутой стройки. Жил на стройке и, по преувеличенным рассказам, так и спал в сапогах. Безотличный от прорабов, он следил сам даже за кладкой. У него выросла тропическая, густого кирпичного отлива борода. И одно только ему давалось в меньшем совершенстве — искусство ажурного русского загиба... Когда иссякали материалы или бастовали оголодавшие строители, он звонил по телефону, номер которого благоговейно запомнил на всю жизнь. Работа была засекречена, а вместе с нею и сам Скутаревский; за границей думали, что он умер. И правда, эпоха взметнула иные имена — организаторов, полководцев, трибунов. Слава Сергея Андреича звучала надтреснуто, и главная выгода этого заключалась в возможности работать в полном уединении. Химера воплощалась в широкую квадратную башню, почти копию амперовской лаборатории в Женевилье, но с теми улучшениями, которые подсказал сименсштадтский опыт. Все оборудование шло из-за границы. Сквозь окопы войны и рогатки блокады сюда привозили осциллографы, — тогда еще совсем новинки, зеркальные гальванометры, редчайшие компараторные аппараты и те высоковольтные, до миллиона вольт, трансформаторы, которых в ту пору не имели еще и немцы. В плюгавые окрестные флигельки, очищенные от всякого кладбищенского населения — неподалеку находилось староверческое кладбище, — вселили сотрудников будущего института, и в голове Скутаревского уже роились планы о создании целого научного городка на этом могильном месте.

В этот год он жил грубо, всемерно уплотняя свой день. К нему перестали ходить, даже Штруф не просачивался дальше кухни; Сергей Андреич виделся только с сотрудниками, но ни Ханшин, ни Геродов не могли бы



похвастаться близостью с ним. Несколько ближе, да и то лишь впоследствии, он сошелся с Черимовым. У молодого и старого не замечалось ни в чем особых расхождений, но примечательно, что и при свиданиях с Петрыгиным, очень редких правда, дело обходилось без больших столкновений. Вряд ли то была взаимная деликатность или боязнь Скутаревского, о котором кто-то пустил злостные слухи, или, наконец, уважение к старой дружбе. Она исчерпалась сама собою, потому что, как это всегда бывает, приятели узнали друг друга до ненависти четко.

Случилась, однако, полудетская на даче, за ужином, схватка, не стоившая упоминанья, если бы ею не был нанесен последний незаживляемый шрам их прежней близости. Вечер был тихий, прозрачный, как бы на паутинке нарисованный. В открытую дверь доносилось яростное щелканье бильярдных шаров. Дело началось со скуки, хоть и винишко торчало на столе, а от анекдотцев желчная отрыжка оставалась на губах; дело началось с разногласий в суждениях по поводу второго закона термодинамики. По существу, каждому было наплевать — кончится или не кончится через мириады лет бессмысленное звездное круженье, и нужно было застарелое раздражение одного и другого, чтобы бывшие приятели наделили простую математическую фикцию, интеграл особого вида, такой живую образной плотью. Сергей Андреич отстаивал формулу Милликена о космосе, извечно обновляющемся изнутри себя; за Милликеном стояли монументально и Гераклит и Джордано Бруно. Точку зрения Петрыгина, который держался пессимистической доктрины Клаузиуса, он считал вредной и даже нигилистической. Он не желал верить в тепловую смерть этой великолепной машины не только потому, что там, на пороге конца, маячили безумные призраки покоя и, следовательно, начала и, следовательно, кого-то Третьего, стоявшего вне суммы элементов мира; он не собирался опровергать ортодоксального богословия, он только верил в сокрытую от него изворотливость протона, во всяческую молодость, в тот лучистый могучий вихрь, который представляет собой Вселенная. Петрыгин глядел тускло и грустно: пессимизм его увеличивался и рос по мере увеличения сахара в моче — и все-таки посмеивался.

— Ох уж эти мне диалектики! — примирительно вскричал он, перегибаясь через стол и подливая Скутаревскому красного винца. — Они воюют против перпетуум-мобиле здесь, на земле, чтоб охотно и полностью приписать его вселенной. Сергей Андреич, брось, стыдись... ты же русский человек, куда тебе в марксисты!

Жены их не принимали участия в споре; одна думала в эту минуту, что Петрыгин состарился вдвое быстрее своего приятеля, другая о том, сумеет ли достать хорошие обои для предстоящей переклейки квартиры. Но обе поняли, что имена и идеи — только первые попавшиеся ножи, которые пришлось по руке этим двоим, из одного поколения, по-разному, но уже смертельно раненым людям.

Петр Евграфович имел право посмеиваться; он сидел тогда на видном месте, откуда разбегались нити управления по целому сектору электрификации. Высокое, хоть и незаметное положение доставляло ему тем в большей степени душевный покой. В свое время он уходил по забастовке из профессорской карьеры, но его вдруг вызвали, упрашивали принять новую должность, и он успел согласиться в ту самую секунду, когда уговаривающие уже собрались махнуть на него рукой. Из своего кожного, почти госплановского кресла он с любопытством взирал на зловещую высоту, где пока еще уверенно балансировал его зять. И теперь, встретясь в бане, он с великим биологическим интересом наблюдал этого голого человека, жилистого и подвижного, будто весь начинен был пружинками.

Тот продолжал стоять, точно зазорно ему было сидеть рядом с шурином своим.

— Вот ездили принимать Арсеньеву станцию. Кстати, кто пропускал проект?

— Как и все ему подобные, проект проходил через мои руки, через Энерготорф. А что... — И раздумчиво глядел в угол, где эшафотно, в постоянных сумерках, возвышался полук.

— Я опротестую эту станцию, — резко бросил Сергей Андреич. — Я ее, к чертовой матери, опротестую...

Петрыгин лениво шевельнулся; он вовсе не отказывался от беседы, потому что не отпотел еще положенно-

го срока, но требовал соблюдения хотя бы тех внешних приличий, к каким обязывало их общественное положение. Угроза Скутаревского рассмешила его; станция уже пошла в эксплуатацию, пускай — в силу затраченного капитала, а Сергей Андреич слишком отошел от строительной практики дня, которую сурово корректировала вздыбленная советская экономика. В тот период вся технология материала и людей подвергалась пересмотру, и при этом, например, неожиданно обнаружилось, что человек всегда может больше, чем ему приказывают. И он улыбнулся с той великодушной ласковостью, с которой сильнейший из двух прощает другу его непредумышленную дерзость.

— Ты повышаешь голос... и даже вид у тебя стал какой-то полотерский. Это значит, родной мой, тебе надо в отпуск. Нельзя до такой степени пренебрегать своим здоровьем. И потом, знаешь ли, глухого песней, а большевиков работой не удивишь!

Он замолчал, прислушиваясь к гулкой банной тишине. Где-то за полком капля за каплей заунывно и звучно падала охлажденная вода. И опять Петр Евграфович посмеивался, потому что нет ничего глупее ссоры двух пьяных и голых людей.

## Глава 6

Он знал твердо, что когда-нибудь упадет, и самая высота определит силу падения. По-видимому, из лучших родственных побуждений он решился заблаговременно спасти племянника от последствий неминуемой катастрофы; падая, мог увлечь всех стоящих поблизости. Крепкая и вряд ли только родственная связь между дядей и племянником стала очевидна Сергею Андреичу на примере сибирской электростанции; Петрыгин с его многолетним опытом не мог не видеть чудовищных промахов Арсеньевой работы. Когда на обратном пути Скутаревского постигли некоторые грустные догадки, он решил поближе сойтись с сыном, чтобы разглядеть и оценить его по справедливости. В семье Арсений Сергеевич жил особняком; отец не любил к кому-либо навязываться на дружбу, тем более к сыну; Арсений также не страдал от-

кровенностью, мать же попросту не смела расспрашивать любимца. Отец и сын, живя в одной квартире, встречались не чаще раза в неделю. Их краткие беседы всегда отличались шутливой любезностью; Сергей Андреич никогда не вдумывался в смысл подчеркнутой осторожности молодого Скутаревского. И когда недобрые слухи доходили до отца, ему, по его загруженности работой, выгоднее было считать их просто сплетнями.

Сергей Андреич жил трудно. Втайне он стыдился своей славы. Ему хотелось сделать много, а выходило мало. Его работы были ничтожны в сравнении с задуманным, потому что — так ему казалось — всякий исписанный лист — только испорченный лист. В жизнь он ворвался, как грабитель, жадный и неуступчивый, хватаясь за все, и только много позже растерялся от представившегося ему изобилия. Тогда он решил, что растерянностью этой и сигнализирует о себе приближающаяся старость. Вместе с тем он знал, что недоступное его косноязычным формулам осуществимо уже потому, что об этом мечталось именно ему, Скутаревскому. Так, эгоистически выделяя себя из непрерывного человеческого потока и живя как бы воспоминаньями будущего, он завидовал своему не очень отдаленному потомку, который без усилий достигнет всего, над чем бесплодно корпел он сам. В такие-то часы и гнусавил на все четыре этажа его фагот; тогда-то, после долгого промежутка, он и вспоминал о сыне.

Как часто, возвращаясь с работы, он заходил в детскую комнату и шикал при этом на огромные свои башмаки: безмерно важное существо покоилось в крохотной белой кровати. Подолгу, до головокружения, стоя в темноте, он слушал ровное дыхание спящего ребенка. Это был сын — громадное слово, налагающее больше ответственности, чем друг, сильнейшее, чем единомышленник, — он и понесет в будущее, как эстафету, дерзейшие замыслы отца. Со временем новизна впечатления сгладилась, волнение улеглось, и, думая о сыне, уже не испытывал страха перед лотерейной неизвестностью судьбы. Мальчик часто болел, его капризами держался распорядок дома, и когда Сергей Андреич увидел его однажды при дневном свете, ребенок сидел на полу, утомленно поглаживая рдеющие свои уши. Они были петрыгинские, велики и мягки; это

стало первым знанием ребенка о самом себе, и еще в детстве, когда этот неуместный росчерк природы приписывали его повышенной музыкальности, он всякий раз ревниво и настойчиво искал уши у приласкавшего его гостя. Музыкантом он не стал, Петрыгины не обладали слухом, а уши остались. Всем обликом своим он напоминал дядю, но когда тот начал уже стареть. От отца к нему перешла лишь молниеносная его вспыльчивость, но без отцовского обаяния, достигнутого годами нужды и работы. На службе он считался передовым инженером; его быстрой карьере способствовало зычное имя его отца. Разумеется, не такого отпрыска ждал себе Скутаревский, и, когда высшая ставка была бита, прежняя надежда выродилась у него в равнодушное любопытство. Ему приходило в голову и раньше, что человек имеет право не походить на ту стандартную модель, которую придумал для него тупой и честный доброжелатель.

Выходя в тот день из института, он смутно помнил, как утром, давая распоряжения по хозяйству, жена обмолвилась о предстоящей вечеринке у сына. Сергею Андреичу показалось занятной мысль прийти незваным и поразвлечься у молодежи. После поломки драндулета никаких иных развлечений ему не оставалось: спектакли и концерты начинались слишком рано. Пирушку сына он представлял себе приблизительно такой же, какие бывали в давние годы студенчества: соберутся, выпьют кислятинки, пошумят про народ и Волгу и разойдутся в умилении о себе и о дивном будущем родины своей. Самая возможность окунуться с головой в собственную юность развеселила его... По дороге домой он купил какой-то рыбы в панцирной коже и несколько бутылок знакомого с юности винца. При этом даже кольнула досада, что не захватил с собой Черимова, который давно уже собирался навестить товарища. Поднимаясь к себе в этаж, он из хитрости несколько изменил походку и подвинул шляпу набекрень, чтоб чересчур трезвым видом не спугивать приподнятого настроения пирушки.

Дверь ему открыла сама Анна Евграфовна; она испугалась его вида и того надтреснутого баса, которым он спросил, тут ли принимают гостей. Она намекнула, что у Арсения собралась исключительно молодежь, но муж

только подмигнул ей, как бы говоря, что он сам не водится со стариками... Кто-то читал нараспев стихи. Вешая свое пальто поверх вороха разной одежды, Сергей Андреич прислушался — он недолюбливал поэтическое племя, в старое время ему доводилось изредка полистать их книжки, и всегда его изумляло, как у них хватает совести воспевать эту громадную российскую пустыню, посреди которой кощунственно лежит разбитое мужицкое колесо, безмерность солончаков, куликов на топях, незадачливую импотентную любовь, ядовитый пепел несовершенных желаний и, наконец, это нищенское уныние северной весны; из книг, далеких от его науки, Сергей Андреич перечитывал только Рабле. С некоторым огорчением он признал по голосу того бледного князца, гимназического Арсеньева товарища, который в каждое свое появление надоедал ему, бывало, стихами. На свое счастье, Сергей Андреич услышал лишь заключительные строфы, пропетые с такой чрезвычайной интонацией, что становилось даже как-то неловко за эту чрезмерную и непрошеную откровенность:

...женщины наши гаснут,  
ботинки наши изношены,  
поэты расстреляны,  
знамена истлели...

Стройтесь, батальоны мертвых,  
играй поход, барабанщик...  
Здравствуй, черное солнце  
полуденной стороны!

Держа вино на вытянутых руках и плохо соображая о происходящем за дверью, он вспомнил одну прогулку с тем самым Брюхе, судьба которого таила в себе такие печальные сюрпризы. Случилось это полгода назад, на майской демонстрации; вдвоем они гуляли по городу, наблюдая бесконечные людские колонны и шепотом обмениваясь впечатлениями. Когда мимо проходил отряд физкультурниц, обтянутых пестрыми спортивными фуфайками, Брюхе защекотал усами ухо Скутаревского: «Новое племя, обратите внимание, и даже оболочки другие. Грудастые-то все какие, тетки, а совсем еще девочки.

Икры-то, икры-то какие! Тут уж, батенька, без лирики, без лютни, а все просто, как в инкубаторе...» Было холодно по-майски, еще снег лежал в полях; плотные, голые икры девушек розово светились под солнцем, и этот грубоватый румянец вызывал желчное осуждение старика, который еще в бытность за границей задумывался о сущности коротких юбок, тут же объяснил, что всякий молодой класс, шагающий к победе, обязан выставить именно таких — огромных и грудастых. Он обязан рожать много и бурно, его дети должны быть прожорливы и румяны, его матери — могучи и плодородны. Европейскую моду на плоскогрудых он расшифровал просто: им уже незачем... Брюхе взглянул на него, как на черта. И уж если угасали женщины и замолкали поэты — значит, были они из того Геркуланума, которого очертанья почти утонули под пеплом времени. Минуту он колебался, стоило ли ему вступить в это сомнительное торжество, но дверь распахнулась, и его высокая костистая фигура стала видна всем. Он вошел...

...он вошел, улыбаясь с особой приятностью, что ему всегда плохо удавалось; он даже пришаркивал, чтобы вышло посмешнее. Его присутствие могло нагнать тоску на молодежь, но, по счастью, оказалось, что вся она достаточно зрелого возраста. В просторной комнате, прокуренной до последней пакости, качались какие-то лица, качались на тощих шеях и гудели. Чтец еще стоял в эмоциональном потрясении, пронзительно глядя на широкое блюдо, где остатки колбас и севрюг мешались с окурками. И оттого, что одна распитая бутылка бесстыдно лежала прямо на тахте, рядом с девушкой, в прическе которой замечался прискорбный беспорядок, Сергей Андреич заключил, что явился в самом разгаре вечеринки. Его встретили вопросительным молчанием, а девица громко засмеялась. Сергей Андреич узнал ее, она часто ходила к Арсению; все ее лицо было воспалено, точно обожженное солнцем, и как будто затем лишь было ее лицо, чтобы носить эти непрестанно алкающие губы. Мужчины смущенно привстали, женщины переглядывались. Сидеть остался только один, — откинувшись затылком на спинку кресла, он насмешливыми глазами взирал на смятение гостей. Ясно, он презирал эту пеструю ораву;

его совсем заурядное лицо было неподвижно, и только в губах, сломанных тайной издевкой, читалась темная, недобрая путаница. Сергей Андреич дружелюбно поклонился этому рано лысеющему человеку, — так вот оно, это острое, ранящее слово: сын.

— Это мой пай, — развязно произнес Сергей Андреич, складывая покупки на свободный угол стола. Никто не откликнулся ему. — Не помешаю?

— Просим, просим... — сказали несколько голосов, и потом, после паузы, некая личность в роскошных брюках и с головою круглее глобуса пропела искусным петушиным голосом: «Просим!»

— Я прошу вас, садитесь же! — настороженно попросил Сергей Андреич и виновато ждал, пока все уселись на прежние места.

Из приличия назвав себя, он уселся было в дальнем углу комнаты, и тотчас же помянутая личность стала лить желтое вино в стоящий перед ним стакан.

— Я — тамада. В переводе означает распорядитель пира! — И личность поощрительно склонилась.

— ...приятно! Профессор, — шутливо отвечал Сергей Андреич.

— Придется выпить, — прогремела личность, на ладони подавая стакан. — Догнать и перегнать...

— Я ведь не пью совсем, — уклонился Сергей Андреич, отставляя колени в сторону, потому что стакан покачивался и вино выплескивалось через край. — Разве уж по-студенчески?

— По-студенчески, — механически повторила личность и, когда Сергей Андреич выпил, очень мелодично, в такт последнему глотку прищелкнула языком. — Теперь вторую.

Сергей Андреич попытался решительно отвести наглую, с пузатыми ногтями руку, в которой покачивалась посудина, но личность не отступала. У нее было круглое плоское лицо, на таких особенно успешно выращиваются бакенбарды; и еще казалось, что, если надеть на него штаны, никто не поймет сначала — в чем шутка. Минутой позже Сергей Андреич вспомнил: этого самого болвана он провалил года полтора назад на выпускных испытаниях. Студент не знал... да, он не знал формулы об



электрическом смещении; попутно, рассчитывая на профессорское снисхождение, он посмел упомянуть о близком знакомстве с Арсением. Насколько Скутаревскому помнилось, он провалил его с чувством исполненного долга и даже спросил на прощанье, не болен ли студент малярией: болезнь эту почитал почему-то лодырной. Но вот роли переменялись, и...

— Прошу, — повторила личность с равнодушным лицом.

— Но мне нельзя... мне запрещено! чудак вы! — из последних сил оборонялся профессор.

— Тогда с медицинской целью! — бесстрастно сказал глобус, а колено Сергея Андреича слегка подмокло.

Сердито пожевав губами, он выпил вторую и исподлобья огляделся. Гости обступили их кружком, глаза на такое редкостное и даже истории достойное событие. Веселье разгоралось, барышни хихикали. Сергей Андреич чувствовал себя жуком на булавке, которого все тычут пальцами. С непривычки вино ударило ему в голову, и тогда он поймал на себе пристальный любопытный взгляд сына. Обрадовавшись поводу, он кивнул Арсению как бы для установления связи, но тот не изменил выражения глаз и отвел их на какую-то незначительную точку.

— Третью, профессор! — деловито провозгласил тамада, на просвет разглядывая бутылку.

— Вы портите мне брюки, — сдержанно сказал Сергей Андреич, уже помышляя о бегстве.

— А ну, под Омар Хайяма!

И тотчас же, в сопровождении выискавшихся охотников, стал читать заунывно и нараспев что-то не очень членораздельное, но действительно искрившееся восточной, ковровой пестрядью. Там упоминались цветы, улыбки, девушки, и все эти словесные розы раскидывались с такой щедростью лишь затем, чтоб заглушить резкий сивушный запах. Сергей Андреич хмурился; становилось понятно, по какому признаку подбирал себе Арсений друзей. Все они были с какими-нибудь органическими пороками, с неблагополучием рта, носа или ушей, а лица иных и вовсе напоминали безжизненные стеариновые муляжи. Хайям все длился, а глобусный

шар покачивался, флуоресцируя, поворачиваясь фазами: так, неожиданно Сергей Андреич увидел Южную Америку, висящую в виде уха. И вот он понял, что непременно промнет кулаком этот назойливый глянцевиый картон, если тот произнесет еще хотя бы слово.

Но вместо этого он засмеялся.

— А ну, читайте... быстро... закон об электрическом смещении, — строго приказал Сергей Андреич, уставляя длинный палец в растерявшегося тамаду. — Ну!.. полное смещение сквозь любую замкнутую поверхность, — подсказывал он, и злые ноздри его играли, — в направлении изнутри наружу... ну, чему равно? Я знаю, для вас электричество — это если сургуч потерять о штаны...

Личность поблекла и растерялась; Сергей Андреич переходил в наступление, и никто не спешил на помощь к избиваемому. Барышни снова смеялись, но кружок редел, потому что следующий удар Скутаревского мог прийтись по любому из них. Кто-то догадался запустить граммофон, тотчас же несколько пар, склеившись, каталептически заходили по комнате. Длинный стол с остатками закусок оказался сдвинутым к стене; комната наполнилась шарканьем ног и шипеньем разъезженного эбонита, а перед Сергеем Андреичем сидел уже он сам, Арсений. То ли от вина, то ли от сознания, что сейчас произойдет очень значительный разговор, он был бледен и неестествен, но насмешлив. Возможно, несмотря на всю неприязнь к отцу, он трусил этого прямого и грубоватого человека.

— Что ж, выпьем, — сказал, разойдясь, старший и придвинул бутылку. — Пьешь?

— *Nisi falernicum*<sup>1</sup>, — и вызывающе взмахнул бровями. — Пришел посмотреть? Да, живу смешно. Чего ты все на Нинку смотришь... нравится?

— Где ты ее достал?

— Так, зацепил мимоходом. Эй, Нинка, ты отцу нравишься! — покричал он, обернувшись, и та прищурилась с готовностью. Они по-мужски, скрытно посмеялись, отец и сын, но и это не прибавило близости. — Хочешь курить? — И протянул коробку.

---

<sup>1</sup> Только фалернское (лат.).

— Вот ты даже не знаешь, что я не курю. Дверью в дверь живем, а как чужие.

— Чужие... Это похоже.

И умолк; так умолкают, вспомнив о покойнике. Тут оправившийся тамада наклонился к Арсению спросить о добавочном винном запасе.

— Пошел вон... и потом уйми того вертлявого купидона в углу! — внятно прошелестел Арсений.

— Откуда ты их набрал, Сеник? — все шурился отец. — Ведь это все прохвосты, у них финки в карманах!

Тот оглянулся на танцующих, и опять Сергей Андреич удивился тому ужасному равнодушию, которое светилось в глазах Арсения. Танец был прост, понятен и доступен даже при ожирении сердца; когда-то очень модный в Европе, теперь он сходил со сцены, но весть об этом еще не докатилась до Арсеньева захолустья.

— Да, ты, пожалуй, прав. Все это — подполье. Беру тех, какие есть, — и глотнул отцовского вина. — Где ты купил такую мерзость?

— ...по-моему, ничего... кисленькое.

— ...такое пьют на открытии бань! — Он налил себе другого. — Мне сказали, ты недоволен станцией?

— Я заявил себя при особом мнении. В конце концов это порочит всю нашу корпорацию. Я уже не говорю о резервах, которые бессмысленны...

— Да ты не оправдывайся, отец. Дело-то уже сделано! Ты слишком быстро усвоил официальную терминологию на эти вещи. Ты обвиняешь, не зная условий, в которых это происходило. Впрочем, у нас в случае катастрофы всегда привыкли искать виновников, а не спрашивать, почему это произошло. Я читал твое мнение, ты заражен той же подозрительностью, но ведь ты же никогда не строил котлов...

— Мне пришлось краснеть за тебя, но пока я не обвиняю, — чужим голосом и с ударением вставил Сергей Андреич.

— Нет, ты обвиняешь!.. молча, по-интеллигентски. И ты забыл, где живешь. У нас да без резервов! Это в России-то, где без болотных сапог к соседу в гости не пройдешь. Дядя рассказывал, он еще доцентом купцу одному чертежи делал. Так он ему, подлецу, вчетверо закатил, вчетверо... а тот

ему в благодарность Тьеполо прислал. Помнишь, которую в музей отобрали? Тяжел, но вынослив тот сапог, в котором она шагает, матушка, по своим историческим болотам. Я же на этой штуке неврастению заработал. Торфяную станцию приказали проектировать на парафинистом мазуте. Я сделал четыре проекта и до последнего момента не знал, будет ли станция разрешена. С оборудованием четыре месяца крутили — заказывать здесь или импортное. Турбину, как невесту, выбирали... и это называется плановостью? Энтузиастическая истерика, отец. Конечно, наше дело выполнять директивы... Да, к чему это я? Прости, я выпил лишнее и все соскакиваю с мысли. Но почему ты молчишь?

— Я слушаю тебя, очень интересно. Ты продолжай...

Скупое, точно пасту из тюбика, Арсений выдавил из себя кусок улыбки:

— Ты знаешь, что Брюхе арестован?

— Я ждал этого, — почему-то вырвалось у старшего Скутаревского.

— ...вот, вот. А Брюхе выдающийся металлург, в любую минуту его возьмут хоть к Круппу. Впрочем, все это неинтересно. У меня что-то в голове сломалось... кажется, в вино нынче для цвета и вязкости примешивают шеллак!.. погоди, я вспомнил... Я рад этому разговору, дальше все яснее будет. Вот: не уважаю тебя, не хочу лгать, молчать не хочу. Я перестал тебя уважать, когда ты... не отозвался никак на расстрел Игнатия Федоровича. Трусость, ладно, это еще понятно... нет, я знаю твоё рассуждение о том, что государство вправе рационально распределять запасы, так сказать, людской материи. И если опыт не удался, следует сполоснуть колбу и выплеснуть в раковину... а может быть, и просто разбить? Это ведь твои слова: нечего горевать об утрате каждой отдельной особи... я еще мальчишкой слышал. Ты ведь и раньше прощал этой земле все: войны, дома терпимости, крестовые походы, мечтателей в стиле Чингисов и Торквемад... И это не от безвольного великодушия, не от ослабленности интеллигентской, а потому, что для тебя это лишь электрохимические процессы... Эй, не хамить! — прикрикнул он какой-то паре, которая в увлечении этой двойной молекулой наскочила на него. — Даже не политэкономия, свирепую мораль которой мы все ощу-

щаем на себе, а просто движение атомов по Лапласовым координатам, игра сложного химического реактива, совокупность миллиарда физических законов, электронный ветер... вот что такое для тебя мир! Помнишь, мы ехали в машине, и ты засмеялся, сказав: мы едем — это только название процесса, к которому мы сами не имеем никакого отношения! И тогда все ясно: закон Гей-Люссака — это добро или зло? Это нужно или не нужно? Ха, мораль даже не из биологии, а из физики: ты выращиваешь ее внутри твоих газотронов. Но внутренне ты чувствуешь, как это нечестно по отношению к жизни, и оттого ты слушаешь меня! Что ж, чтоб жить теперь, каждый обязан выдумать себе подходящую философийку.

— Ты зубр, Сеник, ты просто зубр. Но ты ругаешься интересно... продолжай!

— Вот и я для тебя только колба... но ведь и все они то же самое, а? А человечество в целом — соответствует ли оно твоей догме? — И снова стрельнул в отца злым смешком. — Скажи мне, оплот советской власти, где тот человек, для которого все это делается?

— Что ж, Арсений, не цитатами мне с тобой разговаривать. Но давай вернемся к земле! Почему же, если ты самолично наблюдал всю эту выюгу дурачества, вот с парафинистым-то мазутом... почему ты не закричал? Ведь тебе же деньги платят...

— ...донести? Ты меня не учил этому. — И вдруг, точно обозлившись на свою оговорку, в открытую набросился на отца: — А ты сам? Вы ездите, критикуете, вожди, а сами обследуете причины свечения рыб? — Он нарочно хотел обидеть его петрыгинской фразой. — А где... где твоя высоковольтная магистраль Донбасс — Москва, о которой шумели в газетах? Где твои многоуважаемые труды по передаче без проводов? Уж если так, вожди, — пожалуйста к нам, на улицу, в наши суматошные, истеганные будни, в разрытые карьеры, в дырявые бараки наши.

Сергей Андреич молчал, — возражать было бы бессмысленно, да и нечем, к тому же пора было кончать этот затянувшийся разрыв. Никто из них не нуждался в продолжении беседы. Рассеянным взором Сергей Андреич смотрел на сына, на его узкие плечи, на возрос-

шую бледность лба с испариной утомления и думал — неужели это и есть концовка того ненасытного рода искателей, который он лишь собирался начать? Должно быть, какой-то захудалый предок высунулся из Арсения любопытствовать на новую жизнь; отец не прикасался к алкоголю, но прадед, кажется, не умел подавить в себе губительной склонности. Опыт с сыном не удался... А ему так хотелось повеселиться, пошуметь, попеть высоким дискантом, как в юности. Он встал и уже не пытался казаться веселым.

— Ну, вы кобелируйте тут, я пойду... — Он заметил неприязненную гримаску сына. — Ты извини, я груб на слово... Твой отец профессор, а мой — скорняк. Я тихонько, не прощаясь!

— А то посиди. Они сейчас перестанут танцевать. Я прикажу перестать...

— Я рано встаю, Сеня. Вот дождру только бутерброд и пойду. Я не обедал нынче... — Он жевал вяло, лососина имела привкус стоялой олифы.

Сын отошел к окну; отец искоса наблюдал, как сомнамбулически пробирался он между танцующих, наступая на ноги и бранясь. Сергей Андреич оглянулся на шорох; в кресле, рядышком совсем, сидел тот князец, который потчевал стихами друзей в начале вечеринки. В лице его, тусклом и пыльном, как герб фамилии, которую он носил, светилось тоненькое, лисье любопытство; часть разговора с Арсением он успел захватить и выслушал с удовольствием. Проходя мимо, Сергей Андреич задержал на нем свой тяжелый, незрячий глаз:

— Давно пишете?

Тот польщенно поклонился:

— Давно-с. Вам понравилось?

— Где вы теперь?

— Я?.. Переводчик в гостинице для иностранцев. — И опять, с надеждой: — Понравилось вам?

— Ага. — жевал лососину. — Что же не пьете? Такие стихи пишете, а не пьете. Вам запоем пить надо. У вас, наверно, и папа пил... — Тот безмолвствовал, как простреленный. — Онанизмом занимаетесь? — У поэта отвалилась челюсть, и весь он дрожал. — Непременно занимайтесь! — И пошел.

Близ рассвета его разбудили песней; она проникла даже сквозь одеяло, в которое с головой закутался. Тут у него проскочили две мысли: первая — что нет особого греха в том, что сибирская станция несколько лишена облика вполне современной установки; вторая — намекнуть Черимову на душевное нездоровье его бывшего товарища, а при случае крупно поговорить и с шурином.

## Глава 7

Когда при встрече, много лет спустя, они перечисляли обстоятельства их первого знакомства, оба не могли вспомнить — кто именно стоял на их левом фланге: красные или белые; одинаково могли быть и зеленые, а вероятнее всего, черная атаманская дивизия... Два разбитых, исковерканных отряда слились в один. Будущие друзья встретились за плоской тощих солдатских щей. Молчание нечеловеческой усталости было их первой беседой. У Черимова не было ложки, у Арсения нашлась лишняя от пропавшего без вести товарища. Оба были мальчишки, их могли бы сблизить озорство юности или благоговейное восхищение Гарасей... Но дружба началась позже: их связали страх и чары одной безумной ночи...

Так обнюхиваются и звери на узкой лесной тропе; было, значит, что-то в лице Арсения, подсказавшее Черимову — не свой!

— Ты из Москвы? Я тоже. Твой отец кто?

— Мой? Учитель. — Голос Арсения дрогнул от непривычки лгать: было бы долго объяснять тому грубоватому самородному парню тонкое профессорское ремесло.

— О, значит, ты чистой масти. У меня дядька есть, тоже не грязной работы. Он людей моет, грязь с них обскребает... — и захохотал, точно яблоки на гулкий пол чулана просыпались из мешка. — Покурить ма?..

Отряд кочевал подобно сотням таких же, безымянных, партизанских... ими тогда всклубилось чуть ли не все население Сибири. Видно, не особо нуждался в комиссаре отряд, — комиссарил у них, избранный за великую его грамотность, Сенька, а командовал сухонький, земляного цвета старичок, мирный пчеловод, у которого

атаман заперол старуху в поучение сельчанам, прятавшим красных от расправы. В то утро старик искал в лесу отроившихся пчел и не слышал выстрелов атаманского набега. Придя домой, он обривнял просто руками хозяйкин холмик, который небрежно накидали атаманцы, раздарил медоносное свое богатство соседям, поклонился селу — хатам, гумнам и скворешням его, надел кожух, рожок с порохом, взял шомпольное ружьецо и пошел с ним на охоту на атамана. Был он самый смиренный человек на земле, жил простецким законом, обожал пчел, и всякое, даже о самом малом, слово его теплилось восковой свечой. И уж если вышел он добывать чужой крови, стало быть, сама земля оскорблена была в своем естестве, и начиналась народная война... Отрядишко подобрался по начальнику — всякая неграмотная голица, ветру родня; ребята звали старика ласкательно Гарасей.

Тайга окружала их, как западня, как мать, как вечность. Из поверженных, полусгнивших стволов, в разворотах, в распадах, обок могучей папороти, выбивались новые великаны поколенья; могила одних служила колыбелью прочим. И когда громадное вечернее солнце пламенило хвойные верхушки, тайга влекла в себя неотступно, как простая, мужественная песня... Фронт простирался необъятно, много раз пересеченный болотами, и по-над ними, подобно царскому орлу, у которого срубили одну лишь голову, кружил помянутый атаман со своей отборной, косоглазой дружиной. Порой, оголодав, сникал он к земле, и тогда впереди неслись — вспугнутое зверье да острей сабель бабьи вопли, а позади стлалось легкое бездымное зарево, — мужицкие деревни кудревато горят, чистоплотно, залиvisto... Все не удавалась Гарасина охота: отряд, через посредство Черимова, иные получал оперативные задания, да и шибко летали сытые атаманские кони. Но, чуть отдых, Гарася выходил на опушку и прилежно обнюхивал воздух на четыре стороны света: то ли уж обезумел, то ли по запаху надеялся отыскать законную свою добычу — «...а пахнет он сладким заграничным табачком и чуток вроде как резинковой пригарью!» — проникновенно поучал Гарася, и ребята слушали тревожно, как шорох, как одинокий выстрел, как всплеск рыбы на вечерней реке. Воистину



роскошный существовал в Гарасином воображении атаман: крыльями, как у орленка, топорщились эполеты, и малиновый ментик за плечами цвета алой, пролитой им неповинной крови. Много лет спустя, со скуки листая журналичко семнадцатого года, Черимов наткнулся на его портрет и долго не мог перевернуть страницу; порубленный атаман еще жил; его раздвоенный подбородок вздрагивал от близости горячего черимовского мяса; его агатовые под черно-бурой бровью глаза еще улыбались и двигались на выцветавшей бумаге.

...Однажды повезло: отряд наткнулся на легкую атаманскую полубатарю. Видимо, одурев от удачи, ринулся Гарася с отрядом в тыл батареи; он был мужик, ходил по прямой своего сердца, и ни Черимов, ни кто другой не успел удержать его от неминуемого. Батарея обернулась принять негаданных гостей на картечь. Кто-то крикнул, и тотчас же в ослепительном грохоте дрогнула сама планета. В этот двенадцатиградусный угол пулевого разлета попало все храброе Гарасино воинство; искрошенное, оно осталось висеть на проволоке, как бы поклоняясь величию непобедимого. Следующие залпы были излишни, но ворон боится живых глаз и охотно клюет мертвые... Ночью Черимов со Скутаревским выкрали Гарасю из-под убитых. Когда взошла овальная малиновая луна, они увидели: Гарасе не повезло на поединке. Шрапнельная пуля засела в животе, лицо опалилось, и даже пороховой его рожок оторвало с ремня ударом. Он был еще в сознании и вспоминал покойницу жену:

— ...дородна была... так они ее заголя драли... — И все косился, с изумлением и ненавистью, на простреленный свой живот; он прожил еще немало часов, но то были последние его разумные слова.

Оставлять живого на звериные, по клочкам, похороны не позволила партизанская совесть. Товарищи переплели скрещенные руки и, усадив старика, бережно понесли. Старик бредил, но бредили и они; он стал тяжелее; огромные его сапоги, подкованные железом и носками вовнутрь, болтались и били их в колени. Чуть не плача, они разули его, но равновесие изменилось, и он вовсе стал падать; они, не сговариваясь, поддержива-

ли его сомкнутыми плечами. Так началась эта странная дружба; крепкое сплетение их рук, плотное, как в клятве, длилось всю ночь, которая выпала длинной столетья. Комаром, гнусом и еще чем-то тонкостным, со щекотными усиками, облепляло их опухшие лица; нельзя было обмахнуться, не потревожив старика, и следовало идти все дальше, — еще чудился застрявший в ушах малиновый звон шпор и дробный топот копыт по дороге. Никто не знал троп, и оба не умели прочесть на деревьях старые, заплывшие засечки, отметины корейцев, добывателей женьшеня... Они шли, качаясь от одури, жажды и огня, пожиравшего изнутри, а следом волочилась луна. Они были совсем мальчишки, и, когда на ночлеге Черимов стал разводить костер, чтоб отогнать гнуса, молодой воспротивился: в полубреду мерещилось — в световой их островок вхлынет тьма, перепутанная с казаками, и смоев их вместе с горящим сучьем. Они спорили долго, пока не повалил их сон. Утром они не нашли возле себя Гараси, — старик ночью уполз за куст и там умер; так же, ища себе укромного места, делает всякий вольный зверь. Старик лежал на животе и, далеко откинув руки, как бы стучался в непарадную дверь земли. Новые друзья закопали его в яме, вырытой руками. Не было даже ножа перерезать толстые трубы, по которым текли смолистые соки Уссурийской тайги: они просто засунули его под корни и забросали песком.

...Фронты распались, дороги назад стали свободны, на восток уже проникали советские люди и книги, и лишь у Забайкалья, где все теснее смыкал предсмертные круги атаман, их провели сокрытыми, обходными тропами. Домой они вернулись сумрачным мартовским утром, без багажа, в рваных шинелях, в серой солдатской коросте. Арсения сразу увела к себе мать; из дальней комнаты слышались всхлипыванья и усердные, точно целый батальон родственников собрался там, чмоканья.

Черимов стоял в прихожей один: он долго и безуспешно шаркал ногами о коврик, пытаясь вытереть дырявые, проволокой подвязанные подошвы. Он робел гипсов на шкафу, белых как покойники, он пугался обилия вещей, назначения которых не знал; уже он подумывал о бегстве, когда в дверях, взволнованно кашляя, показался сам.

— А, догадываюсь. — Он махнул пальцем. — Сенник писал мне. Он там, с матерью. Ну, входите, ушкуйник, поговорим. — В мыслях своих он не особенно верил в приключения этих мальчишек. — Ну рассказывайте, кого убивали?.. вы ведь и есть Гарася?

— Не, Гарася загнулся. А я Колька, он, наверно, и про меня писал, — вздохнул Черимов, продолжая стоять, а в глазах читалось грустное: эх, покормил бы сперва.

Об этом не раз приходилось просить в простых крестьянских хатах, куда заводила волчья партизанская судьба: там эти слова выговаривались просто, глаза в глаза и сердцем в сердце, а здесь вдруг одеревенел язык, точно стыдно было признаться в голоде перед чистым, нестреляным человеком.

— Да, итак... — делал вслух свои наблюдения Сергей Андреич; седой пряди на виске, душевной царапины той ночи, он не разглядел сперва. Гость находился в том юношеском возрасте, когда еще смешная, неопрятная лезет из щек борода. — Родных у вас... тетки, например, или там золовки, конечно, нету. — Он считал, что ловко умеет разговаривать с простонародьем. — Вид у вас азиатский вполне, ха, у Гензериха, наверно, бывали такие адъютанты... имеете намерение устраиваться в Москве?

— Ось, гадюка... сапоги сочатся, — укоризненно, в одно слово, произнес Черимов, глядя на следы, уходившие под дверь.

Вопрос хозяина он расслышал, но не опровергал его заключения; он решил, что дядька умер: именно такие людские бревна единым махом сгорали в сыпняке.

— У нас, в институте, — продолжал Сергей Андреич, — найдется для вас место. Я помогу вам устроиться. Нам нужен честный, расторопный рассыльный. Не заливаете?

— Вот, не подойдет, — грустно сказал Черимов, переступая с ноги на ногу.

Сергей Андреич пожал плечами, и, хотя внешность собеседника не внушала подозрений, он бегло поинтересовался, нет ли у него малярии. Его поразило черимовское заявление о намерении учиться; это не вязалось с репутацией головореза, которая сложилась у него по преувеличенным отзывам сына, — Арсений романтически приукрашивал действительность.

— Да... но учиться следовало раньше, а вы там с Сеником фортеля творили. Впрочем, у него имеется, по крайней мере, средняя школа, у Сеника. А у вас и того нет... — Он не отговаривал, а только сомневался. — Трудновато будет...

— Ничего, — тихо сказал тот и страдальчески покосился на дверь, из-за которой доносился торопливый дребезг посуды.

Скутаревский рассмеялся: вот так же и Деви собирался нанять в переплетчики пришедшего к нему Фарадея. Было ему смешно, потому что и сам таким же оборвышем пришел в жизнь, вихрастым, в ломоносовских опорках, с одною пока несбыточной мечтой — стать машинистом при настоящем шипучем паровозе. Он развеселился, и, по правде, это у него выходило честно и заразительно.

— Это хорошо, знаете, валяйте. Я вам скажу по секрету: в мире нетрудно, судьбы нет, но себя... себя надо брать за холку и этак к земле, к земле! — И он энергично рванул воображаемое. — Жить вы будете у меня... Чего же вы стоите?... Раздевайтесь, снимайте свою попону, здесь не украдут! И пойдем завтракать, я тут проголодался с вами... Ну-с!

— Не могу, — глотая слюну, молвил Черимов. — По-есть охота, а... не могу!

— Торопитесь?

— Не, на мне штанов нет, — выпалил тот и даже зажмурился; даже лицо у него стало какое-то отвлеченное. — Они были, бог душу вынь, но... мы их третьего дня на сало сменяли. Полустанок Егорово, слышали? Фельдшеру... а полустанок Егорово.

— Потрясающе! — от души тешился Скутаревский. — Но ведь без штанов нельзя. Без штанов даже на войне неприлично. Черт, даже памятники в штанах. Так, значит, фельдшеру Егорову?... Слушайте, штаны я вам дам. Но, позвольте, значит, их и у Сеньки нету? Эй, Арсений... — закричал он, лицом к двери, — ...убивец!

В кабинет, с руками, полными ножей и вилок, вбежала горничная в наколке; даже и на голодном режиме того года мадам соблюдала этикет.

— Они в ванне, — строго сообщила она.

Сергей Андреич посмотрел на грустное, давно не мытое лицо, все еще торчавшее перед ним, и комически развел руками:

— Вот видите, они уже в ванне! — И в первый раз, без особой выгоды для сына, сравнил их со стороны.

В профессорском доме, однако, Черимов прожил только неделю; от дальнейшего гостеприимства он благоразумно уклонился. Анна Евграфовна чересчур откровенно запирала от него ящики, и, кроме того, привкус чужого, хотя бы и сладкого хлеба никогда не приходился ему по нраву. Вторую неделю он прогостил у знакомого задельщика со стекольной фабрички, где когда-то и сам тянул драты. В эти раздумчивые дни, шатаясь по улицам, он составлял план своего дальнейшего наступления. Мир был огромен, рыхловат и богат; он был подходящим материалом для беспокойных его рук. К дядьке вовсе не тянуло; голод привел его на ту же фабричку, и целых полгода, по старой памяти, он выдувал какие-то головоломные флаконы для всяких пахучих специй. Восхождение его началось с рабфака, вступительная наука показалась простой, она запоминалась легко, как номера партбилета и нагана. Потом стало труднее, учебе придавалась фронтовая значимость; самый мешок не успевал вместить ссыпаемого в него зерна. Черимова спасал только спорт. Ему дали стипендию и послали учиться выше. В течение шести последующих лет он не имел никакой личной жизни; вежами в его однообразных буднях служили лишь прочитанные книги. Он читал все подряд, и даже, если ветер нес по улице клочок печатной бумаги, его тянуло заглянуть в него. Ему удалось заслужить уважение профессоров, один оставил его у себя для продолжения научной работы. И когда однажды инженер Арсений получил из неизвестности брошюрку с безвестным именем Черимова, он и не подумал, что автор ее и есть Колька; он свалил это на неряшливость почты и даже не заглянул вовнутрь.

Черимов не оглядывался назад, и, только внезапно получив бумагу о назначении в институт, где когда-то ему предлагали место курьера, он оценил огромность пройденного пути. На минуту мальчишеской радостью захватило его дух и захотелось скорее показать себя в новом, обструганном виде человеку, одобрение которого стало бы ему высшей похвалой. Государство еще не имело достаточного количества ученых, ему не из чего

было выбирать, и сама по себе посылка на ответственную должность не могла считаться признанием высокой пригодности... На столе лежала толстая пластина зеркального стекла; все еще держа в руках путевку, он опустил глаза и там, среди неподвижных отражений, увидел прежде всего жесткую, волевою складку у себя на переносье, почти шрам, который нанесла ему жизнь. Дальше, под стеклом, лежала бумажка с аккуратным расписанием дня; в три предстояло заседание; он опаздывал. Радость окончилась, он поднялся совсем иным человеком, и стало грустно, что никто в мире, кроме Арсения, не посмеет назвать его по-старому Колькой.

Черимовское назначение в заместители задержалось на целых полгода; вначале предполагалось командировать его просто для научной работы, когда же выяснилась необходимость приблизить деятельность научных учреждений к экономической практике дня, смысл посылки круто изменился. Петр Евграфович, ухитрившийся своевременно узнавать обо всем, предупреждал Сергея Андреича через сестру о назначении комиссара и даже сопровождал это крайне нелестными характеристиками; Анна Евграфовна с перепугу что-то забыла, что-то придумала сама, и до Сергея Андреича дошла такая ахинея, что и смеяться не стоило.

Новое начальство пришло к институту пешком, в свежее январское утро, задолго до полудня; оно позвонило у ворот и спросило заместителя директора, но тот еще не приезжал. Черимов прождал час, погулял по коридорчикам, перечитал прошлогоднюю, но за чисто вымытым стеклом стенгазету, потом отправился бродить по институту, и, хотя все здесь было засекречено, никто его не остановил. Только у входа в высоковольтный зал стыкнулась с ним хлипкая, облезлого вида особь: «Вам к Скутаревскому?» — «Да, к нему», — машинально ответил тот и прошел мимо. Где-то в углу позади черных трансформаторных цилиндров мерно и оглушительно пощелкивала энергия; эхо обманывало, и казалось, что прямо над самой головой лопаются баллоны с озоном. Гулкое это помещение не имело ни одного окна; слепительный лампикон покачивался посреди прохладного пространства, точно отдуваемый ветром от движущегося Скута-

ревского, и всюду — в темной глубине масляного бассейна, в отполированной меди разрядников, глазурированном кафеле стен — одновременно раскачивалось отражение звезды. Поднявшись по винтовой лестнице, Черимов увидел Скutareвского. В одном жилете, наклоняясь над перилами, он грозил пальцем монтеру внизу; та же звезда раскачивалась у его ног в маслянистом глянце пола.

— ...того, имейте в виду, что алкоголь проводник, понятно, Касимов? В следующий раз вон... — Он обернулся и увидел Черимова. — Э, кто? — Он потер лоб. — А, припоминаю... это вам я штиблеты дал.

— Вы мне штаны дали, Сергей Андреич, — поправил Черимов, здороваясь.

— ...штаны? Да, в полоску. Хорошие штаны. Штиблеты — это тому, прыщавому. Не знаете, где он теперь?.. Хм, не знаете. Ну, принесли назад?

— Нет, износил, — засмеялся Черимов. — Вот приехал представляться. Официально прихожу к вам заместителем, а по существу учеником...

— Я слышал, да. Значит, подучились? — он вскинул пристальные глаза. Он был в работе, и еще шел от него жгучий ветер из глаз, из самых его растопыренных пальцев. — Но ведь у меня есть заместитель по хозяйству, Селянов, слышали?.. Моложавый такой, в золотых очках...

— О нем было уже постановление, Сергей Андреич. Видите ли, он оказался бывшим прокурором судебной палаты. В свое время он обвинял группу товарищей, в которой был и...

— Прокурор? — И сишло, простуженно захохотал; машина внизу перестала хлестать слух своими разрядами, и теперь это был единственный во всем зале звук.

Скutareвский стоял боком к Черимову, но вдруг повернулся и брюзгливым, чуть прищуренным глазом смерил своего будущего помощника. Всякие, даже такие чудесные превращения человека он считал естественными: к людям он относился до жестокости строго. Несомненно, имелись у этого молодца в жалком мятом галстучке особые качества, оправдывавшие его назначение.

— Он был странный человек, Селянов. И хотя я люблю чудаков, но, черт, нельзя же в кабинете у себя паянсы раскладывать... все-таки тут не судебная палата.

Так вы говорите, прокурор? — И опять захохотал. — Вот, охрип совсем, плохо топят, — рвал он как ни попадя слова и вдруг уперся холодным, сухим вопросом: — Формулу Пика помните?

— Нет... я работал последнее время по аппаратостроению.

— Так вот, Пик наврал, — заметив смущение Черимова, неохотно бурчал Скутаревский. — Коронирование идет лишь до полумиллиона вольт, а дальше все его рассуждения летят к черту. Чудно это вышло: ассистент наш от семейного огорчения уронил разрядник и испортил форму... Впрочем, вот, Иван Петрович, объясните сами товарищу. Знакомьтесь, это Геродов!

Здесь, на этой длинной галерейке, был не один; за пультом стоял пожилой человек, в синем комбинезоне, скромный и приятный взгляду. Он нехотя оторвался от вычислений, которые чертил карандашом на листке, сбоку мраморной доски; он был в очках, которые чудовищно увеличивали его глаза.

— ...получилась метина, триста целковых убытку, карикатура в газетке, — знаете, как это у нас? — пояснил он. — Но результат стоит больших тысяч... потому что если изменить формулу токоведущих частей...

— Да, понимаю.

Черимов рассеянно кивал, разглядывая ораву чудовищ, хозяином которых становился.

Скутаревский снова свесился вниз:

— Ханшин, не уходите... сейчас начинаем. — Он мешковато помялся, припоминая институтские непорядки. — А с курьершами ладить можете? У нас их достаточно, но они учатся управлять государством... черт, я не против: когда они выучатся, я уже умру. — И с любопытством покосился на собеседника, как тот примет эту пробную шпильку, но тот промолчал, лишь опустив глаза. — Но пока мне нужны просто курьерши. Очень тяжелая жизнь, знаете, тяжелая. И потом отучите эту балду... вон, внизу, пить. Убьет током, а меня засудят за недосмотр... Иван Петрович, прошу...

Возрастая в силе, подобно сирене, поднялось гуденье снизу. Люди отступили по углам и, кажется, стали меньше ростом. Похоже было, будто мириады электрических



существ заторопились выйти на скользкую полированную медь. Так продолжалось четверть минуты, пока электрические брызги не прорвали тишину.

— Триста восемьдесят тысяч, — сказал глуховатый голос у пульта.

— Шпарьте дальше.

Еще с минуту длилось ожиданье, напоенное низким трансформаторным гудом. Вдруг поток скачущих молний, свивающихся в слепящий столб, родился между полюсами. Обнаженная, сконцентрированная до физической плотности, мчалась к своему равновесию энергия, и треск ее походил, как если бы тысячи остервенелых людей рвали на клочья летящую, распластанную в урагане ткань. Злое, обжигающее глаз божество это остро пахло озоном. Лампирон на мгновенье затмился. Иван Петрович разомкнул цепь и отошел от пульта. «Опять пятьсот восемьдесят», — жестяным голосом сообщил он в опустошенной тишине.

Скугаревский стал надевать пиджак:

— Так вот, оставайтесь, молодой человек. Помогите ему посрамлять иностранца.

Разумеется, это было также пробной штучкой старика и, возможно, экзаменом; по крайней мере, так понял Иван Петрович внезапное исчезновение директора. Во всяком случае, повествуя об истории открытия, он углублялся в такие дебри, точно и Черимова заодно с Пиком собирался устыдить в невежестве. Несколько позже, узнав поближе тогдашнего собеседника, Черимов понял, что это была просто страховка себя перед незнакомым коммунистом... Он действительно остался, — этим закончилась научная карьера прокурора и началась собственная черимовская биография; все предшествующее Черимов считал лишь подготовкой к ней... Впрочем, вначале его появление в институте ничем почти не отразилось на внутренних распорядках; слишком много из того, что не касалось непосредственно научной работы, было запущено. И, как позже формулировал в своей речи Черимов, общественная жизнь слабо индуктировалась могучими токами, которые струились за стенами лаборатории. Только через неделю, на первом производственном совещании, Черимов выступил со словом, которое

еще ни разу не звучало в этой нарядной, заставленной шкафами зале. Вступительную речь держал Ханшин, не старый еще ученый, малоизвестность которого объяснялась пока не столько отсутствием таланта, сколько соседством яркой славы Скутаревского. Черимов имел достаточно времени и материала для изучения среды, которую ему поручено было перепахивать.

Вначале Черимов улыбался украдкой наивному пониманию событий и значительным, даже страстным интонациям Ханшина. Оратор прихрамывал на каждом политическом слове, слишком непривычным для области, в которой он работал. Единственно чтобы скрыть ненарочную свою и вовсе не злостную улыбку, Черимов время от времени кивал утвердительно головой и записывал что-то в блокноте. Так он записал: заехать к дядьке Матвею... договориться с райсоветом о жилплощади... купить носки и нитки, — Черимов был холост. Как и Ханшин, Черимов сидел в президиуме собрания, чуть позади оратора, и фигура Ханшина была видна ему целиком. Нищета сквозила в нем даже со спины; поношенный пиджак был по-клоунски узок и короток ему; сухие, с круглыми ногтями, руки костисто торчали из рукавов, гладко выбритые щеки подпирались старомодным крахмальным воротничком, белой и жалкой ветошкой, изглоданной во многих жавельных стирках.

Речь Ханшина действительно далека была от тех образцов, на которых учился Черимов. Говорить он не умел, жесты не соответствовали смысловым кускам, — мысль его не шла синхронно с жестом; он кричал незначашее и шепотом пытался передавать громовость. Он начал с того, что вот века человечество жило, безумно, позорно растрачивая свои силы, не умея по справедливости удовлетворить потребности всех. Новую эру истории надо же когда-нибудь начинать, — честь и труд великого запева рабочий класс предлагает науке делить отныне совместно. Он упомянул, что мир еще не оправился от потрясений недавней войны; и хотя моральные раны заживают на человечестве быстрее, чем на собаке, — именно так определил он циничное забвение и не всегда мудрое ликование уцелевших, — раны на экономике еще гноятся, смертельно заражая обреченные социальные

организмы. Горькое и целительное лекарство, которое применила в отношении себя Россия, все еще отвергается политической медициной Европы. Разность систем и политическая ситуация требуют от советского хозяйства величайшего напряжения, и оттого план реконструкции, рассчитанный в целом на энтузиазм коллектива, упирается в доблесть каждого по отдельности.

— ...вчерашний день не хочет закатываться добровольно, — декларационно ударил он словом. — Мы поможем ему в этом, сделав науку неистощимым арсеналом для пролетариата... — Тугим, еще не смятым платком он вытер запотевший лоб и сконфуженно залистал бумаги перед собою.

Аудитория молчала, она ждала Черимова. И по тому, как оживленно, при его появлении, задвигались блики очков, зашуршала невидимая бумага, заволновались люди, минуту назад чопорные и неподвижные бонзы, стало понятно все. В его речи хотели услышать отголосок сокрушительных директив; его приход рассматривался как начало разгрома, дисквалификации института, падения Скутаревского, и кто-то уже острил, что самое здание отдают под столовую губотдела коммунальщиков.

Это была сложная смесь подозрительной настороженности, порою даже вражды и вместе с тем терпеливого внимания, с которым в иное время они приглядывались и к повадкам своих электронов. Доклад Черимова выслушан был в безупречной тишине.

— Класс никогда не кончает самоубийством, хотя умиранию своему способствует сам, — тезисно начал Черимов и, глядя в затылок Скутаревскому, почему-то подумал, что она сильно слиняла за эти десять лет, пламенная его рыжеватина. — Его гибель, естественно, вызывает судороги в смежных организмах, и в этом заключены причины сомнений, страха и зачастую прямой враждебности их жизнетворным силам революции. Истинно передовой ученый не может быть реакционером по самой конституции своей... — И, дерзко перечислив имена, он беглым взглядом окинул всех тех классиков естествознания, которые — одетые в тяжелые дубовые рамы — выглядывали из книжных простенок.

Он запнулся; в этой аудитории митинговый прием не мог сойти за нужную политическую убедительность; не

умея пока обойтись без бойкой, захватанной фразы, он машинально потер висок, и этот жест простого человеческого раздумья переломил настроенье аудитории, хотя бы временно, в его пользу. Программа речи была велика; необходимо было показать, как синтезировались в марксизме достижения естественных наук, подчеркнуть роль ученых в Советской стране и проиллюстрировать примерами, как всякий приходит к социализму через данные своей науки. Выгоднее было начать с параллелей между отношением правящего класса к науке в старое и новое время, и, хотя это выходило из пределов взятого им отрезка времени, он не удержался помянуть имена Галилея, Бэкона и Джордано.

Он не пренебрегал и мелочами, потому что и они убивают наповал. В его свидетельской шеренге стояли и Попов, которому морское ведомство расщедрилось на триста рублей для опытов; и Зинин, имевший несчастье в царской Казани впервые отыскать анилин; и Бессемер, умерший в нищете; и Фарадей, которому узколобый лорд отказывает в пенсии; и Менделеев, который по совместительству работал дегустатором вин у московского купца Елисеева. Следствия обозначили причину, он стал говорить об импотенции капиталистической системы, которая не в состоянии ни насытить до мудрости своих художников, ни реализовать рекорды своих наук. Это говорил простой рабочий, и тем суровее была его прокурорская речь, что прямолинейному разуму его недоступны были смягчающие обстоятельства...

Никогда еще не доводилось ему говорить так разбросанно, и никогда он не получал таких аплодисментов. Аудитория знала примечательную черимовскую биографию и теперь дружественно приветствовала человека, в такой мере потрудившегося над собой. Его вступление в институт Скутаревского могло считаться триумфальным, и собрание подходило к концу, когда произошел эпизод, который один мог рассеять весь черимовский успех. Среди поданных записок оказалась одна, без подписи, и Черимов, торопившийся закончить, с разбегу прочел ее вслух. Анонимный автор просил напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко.

Было так, точно выстрелили вдруг в Черимова из аллегорического букета, который подносили внезапные почитатели его большевистских талантов. С осунувшимся от неожиданности лицом, голосом очень спокойным, даже улыбочатым, Черимов предложил анониму назвать себя. Зал зашумел, задвигался, мнения резко разделились, и, хотя это и было то самое, чего втайне добивался Черимов, праздничность заседания была бесповоротно сорвана.

— Я предлагаю автору записки назваться хотя бы письменно, — повторил Черимов, и взгляд его остановился на симпатичном Иване Петровиче, с которым познакомился на хорах у Скутаревского.

Тот сокрушенно протирал очки и качал головой, осуждая возмутительную неприличность поступка в столь благородном сообществе. А тем временем звонил со злым и сконфуженным лицом:

— Я требую немедленно... назваться этому гражданину. — Видимо, было ему не до грамматики. — Оскорбительный вызов этого... — он пожевал воздух и попробовал вырвать записку из рук Черимова, но тот не отдавал, — ...этого, с позволения сказать, пипифакса позорит всех нас...

Снова в зале поднялся шум, смешанный с раздражением и смехом: какой-то не в меру смешливый человек громко пошутил, что ворота института уже заперты и самый институт оцеплен войсками; некоторые поднялись уходить.

— Я сожалею, — все еще улыбался Черимов, — о трусости моего безграмотного корреспондента. У меня имеется лишний экземпляр биографии Бебеля. Я мог бы послать ему эту книжку даром. Бебель сам был социалист, и, насколько я помню, фраза эта... — ни реплика, ни шорох не прервали паузы, которая у него вышла сама собой, — приведена у покойного ныне врага нашего — Бисмарка. Отмечу, кстати, что на Уссури я охотился на одного, также покойного ныне, атамана, который ругался много цветистей и, по моему убеждению, современной... — Он сел и кивнул Ивану Петровичу, который открыто хлопал ему, кажется, больше всех.

После перерыва Скутаревский отыскал Черимова в коридоре и демонстративно, точно заключал договор дружбы, похлопал его по плечу.

— Вы здорово выросли... хотя так говорят, конечно, только с детьми, которые провинились. Знаете, мне не жалко тех штиблет. Что?.. нет, не жалко. Вы, кстати, дайте-ка мне ту поганую записочку... я его сейчас расшифрую, я его в конторе по почерку отыщу.

— Пустяки, Сергей Андреич, — засмеялся Черимов, но записочку все-таки решил сохранить. — Просто злоба обывателей никогда не соответствует их грамотности...

— Ну, вам виднее. — Он накрутил на палец бородку. — В отношении Уатта вы, конечно, пригладили, а насчет Менделеева я проверю, да, насчет Менделеева.

Когда через месяц высшее начальство спросило у Сергея Андреича о его новом заместителе, он удовлетворенно пробубнил, что неизвестно, почетнее ли быть учеником Скутаревского или учителем Черимова. Таким образом, все закончилось к обоюдному удовольствию сторон.

## Глава 8

За весь этот срок фронтовые друзья не повидались ни разу и, хотя отрасли их деятельности почти соприкасались, даже не слышали друг о друге. Укрепившись в институте, Черимов зашел однажды к Кунаеву, который неделю проводил на съезде в Москве, и потом они вместе поехали к Скутаревским; Кунаев давно искал более близкого знакомства с Сергеем Андреичем, которого издали уважал и ценил. Жили они все в том же переулочке, и тот же гипсовый Олимп таращился на посетителей при входе. **Старика**, как его называли заглазно, не оказалось дома. Арсений брился перед зеркалом, у матери сидел Федор Андреич... В первое мгновение, пока не разглядели друг друга в подробностях, оба искренне обрадовались встрече; они даже обнялись бы, не будь Арсений в мыле, — во всяком случае, рукопожатия им не хватило, чтоб выразить всю радость о воскресающей дружбе. Потом, когда восклицания иссякли, они уселись вместе на тахте, как бы готовясь к целой неделе обстоятельной беседы.

— А это Кунаев, всеобщее наше начальство. — Черимов не преувеличивал; удивительно круто поднималась

кунаевская звезда. — Смотри, Сенька, какая орысина! Знакомьтесь, непременно станете друзьями...

Тот мешковато пожимался, озабоченно шурился на завешанные картинами стены и все косился на дверь, в которую должен был войти отец.

— Ну, вырос ты, как-то поширел... а башка все та же, цыганская. Служишь где-нибудь по артистической части? — допытывался Арсений. — Ты ведь петь пробовал... А как со слухом?

— Нет, я по научной... Да неужели же Сергей Андречич ничего не рассказывал обо мне?

— Мы разошлись немножко, — потупился Арсений. — Так это ты и есть?.. тот самый Черимов?

В памяти он держал его совсем другим — задиристым и не без азиатчины парнем, к которому в мыслях всегда относился чуточку свысока; не без самодовольства и даже ставя себе в заслугу, он припоминал тот отдаленный, у костерка, вечерок, — о, эти незадышанные, еще горьковатые вода и воздух юности!.. — когда он сбивчиво и с жаром вдалбливал в Черимова простенькие сведения об амебе. Лекция не выходила из пределов популярного учебника, но Черимову и это было откровением, а Арсению, если покопаться поглубже, приятно было сознавать, что кто-то на свете знает еще меньше, чем он сам. Теперь его постигло странное ощущение, будто перешагнули через него, будто в знакомых с детства стихах любимую строчку подменили плоской и несозвучной. У Арсения нашлось честности сообразить, что новая его эмоция вовсе не похожа на прежние юношеские соревнования... У него на стене висел в рамке давний рисунок дяди на знаменитый пушкинский сюжет о двух музыкантах, молодом и старом; Арсений всегда поражался ничтожеству одного и беспечности другого. И вот наяву из душевных сумерек в сумрак вечера прошмыгнула сутулая тень Сальери; тогда пятнистый румянец проступил по его щекам.

— ...Женат?

— Нет.

— Но уже, конечно, в партии? — напряженно спросил Арсений.

— А ты, конечно, нет? — в тон ему улыбочато откликнулся Черимов и тогда, стремясь избавить приятеля от ответа,

прибавил дружески: — Ты брейся, брейся, а то сидишь в мыле, как судак в подливке. Спешить?.. Заседанье?

— Нет, я в театр, — быстро солгал Арсений, и теперь ложь ему удалась гораздо легче, чем десять лет назад. — Дают Игоря...

— Может, и нам поехать? — раздумывал Черимов, вопросительно глядя на Кунаева. — Никогда не слышал этой оперы. Говорят — здорово, а?

Перестав бриться, Арсений с горящими ушами смотрел через зеркало на Кунаева. Тот колебался:

— Не выйдет у меня со временем, пожалуй... Вечером Семен обещал забежать.

И опять Арсений мазал себя пушистой пеной и, хотя успокоился в отношении театра, все еще не мог примириться с новым Черимовым, который в плане житейском становился теперь рядом с ним. Из вежливости он спросил его, как все это произошло; тот отделался шуткой, — не любил говорить о себе. Между тем Арсений видел, что, даже поднявшись на эту высокую гору, он пока еще одышкой не страдал. Заметна была, наоборот, подчеркнутая тщательность в повадках, в речи, costume и в отлично выбритых щеках; украдкой, по старой привычке, он пригляделся к черимовским ушам: они были нормальны, мочка великолепно закруглялась вверх, они были чисто вымыты. «Бойтся, что заподозрят... догадываются о банной родне», — снисходительно решил Арсений, хотя и знал, что это клевета. То была лишь опрятность механизма, сознающего свою ответственность. «Вот оно, племя младое, незнакомое...» — еще определил он и тут же почувствовал, что отношения их никогда не станут прежними.

— А ты молодец, Николай. Ты... ловко. Нет, отец не рассказывал, нет. — Он сам брил себе шею, слегка касаясь бритвой. Тонкие эластичные подтяжки, с рисунчатой выделкой, упруго натянулись, и Кунаева всерьез щекотнула смешная догадка, не сделаны ли они из дамского материала. — Слушай, Николай, а ведь через два месяца ровно десять лет... И вот встретились, как это говорится, во втором воплощении. Странная штука жизнь... и есть в ней все-таки тайны, Николай, которых мы так никогда и не узнаем.



Черимов насмешливо покосился в его сторону, и вот уже ни один из них не испытывал сожаления, что со времени давней разлуки они не обменялись и письмом.

— Да, это похоже на тайгу. Все перегнило, и стало расти другое. Занятно, конечно...

Арсений перебил его:

— А помнишь, мы собирались навестить Гарасю... — Он с особой мягкостью произнес это слово. — Знаешь, я даже хотел разыскивать тебя. Вдруг как-то накатило: ехать, ехать, ехать... Поедем, а?

— Я не помню, о чем ты?

— Когда мы зарывали старика, мы дали обещание посетить его через десять лет. Через два месяца — срок. — И он распространился о Гарасе, возвышая его чуть ли не до былинного старчища, который с рогатиной, один на один, вышел на интервентов; он утверждал, что не пришел еще Гомер этого грозного человеческого бунта, потому что зачатки поэм только раскиданы по ветру и многое пока не проросло; скучную Гарасину гибель он возвышал до подвига, и если в конечном итоге выходило у него не плохо, то оттого лишь, что о смерти и самое дурацкое мудро. Он героизировал все подряд, потому что тем самым и себе, существованию своему создавал оправданье, теплое и уютное, как селение горнее. — Едем?

— Пустяки, Сенька. Старик не обидится, он полежит еще. Мы были тогда щенками, он поймет. А полководец он плохой: за один удар все войско свое потерял... Работать надо, Арсений, а мы все спим.

— Ну, впрочем, мы не спим... — с ироническим холодком поправил Арсений.

— Я сказал — спим, — резко бросил Черимов. — Мы делаем мало, даже если мы делаем много. Мы еще не понимаем смысла переворота, который произошел. Мы допускаем чудовищные резервы... помнишь, Фома, сибирскую торфянку?.. — И, почему-то смягчась, прибавил: — Я злой нынче...

— Да, ты сердитый сегодня. Ты и меня в оппортунисты вклеил, — тихо упрекнул Кунаев.

— Я на Ширинкина нынче обозлился... да ты его знаешь, Фома! Он из наших, мы кончали вместе. Давеча захел к нему и... черт его знает, какая расстроилась у него

секреция. Понимаешь, Арсений, его одолели вещи, хватательный инстинкт развился, а ведь как дрался-то в Октябре... то есть он депеши по городу под выстрелами таскал еще мальчишкой. И оказался дьявольской пустоты человек. Так он для заполнения дырки вещи в нее впихивает: сервант купил ореховый, абажуры — как юбки кокотки... банкетки, годные только для разврата. И понимаешь,хватило хамства: пианиной хвастался... — Он нарочно исказил слово, чтобы оскорбительней вышло. — Стенвей, говорит, ранних номеров, а всего полтыщи. «Играешь?» — спрашиваю. «Нет, говорит, а для параду». И подмигивает, скотина, взятку дает... «Может, говорю, ты за этой лакированной штукой и на баррикаду лез?» Молчит, молчит... «Ну, говорю, шагай в жизни и портфель свой крепко прижимай к боку, чтоб не вырвали».

— Да, ты злой нынче, — со рдеющими ушами согласился Арсений. — А может, у него мечта была, а ты пришел, надругался да еще, поди, окуроч на клавише оставил.

— Окуроч я ему в китайскую вазу засадил, — сурово поправил Черимов.

— Я хотел сказать, всякий имеет право на свою радость, — неуклюже сформулировал Арсений.

— ...Что-о? — И хохотал, но уже не яблоки, не антоновка незрелая, а хрустящая галька пересыпалась в мешке. — Не имеет... он обязан классу... в нем моя, плебейская кровь. Если мы... если мы проиграем...

— ...хотя это вряд ли, — внушительно вставил Фома.

— ...проиграем — иеромонахи Европой станут править, смекаешь?

Арсений все брился, но дрожала его рука. Уже саднило кожу, а он все брился, потому что следовало в эту минуту спиною стоять к другу и не показывать лица. И он чувствовал, что брань, назначенная для другого, самого его хлещет по щекам. Он заговорил, волнуясь и срываясь с голоса:

— А если усталость?.. Мы босыми ногами шагаем по истории, а ты думаешь — не больно. И разве стыдно говорить об этом? Была молодость, романтика, теперь — государство, закон. И потом, ведь социализм-то — ведь это для человека. Я даже допускаю его право сидеть и

рисовать домики, если ему надоело воевать, бороться, не спать ночей, если ему надоело нравиться тебе и ежеминутно заслуживать твое одобрение. А может, он хочет, я к примеру, на Малайском архипелаге срубить собственноручно баобаб.

Черимов опустил глаза; было ему стыдно перед Кунаевым за эту словесную размазню. А тот сидел в полном изумлении и все слушал, все слушал.

— Баобаб — это оригинально, но голландцы визы не дадут, — пошутил с кривой усмешкой Черимов. — Ведь ты это про себя! Ну, милый, какая там романтика! В отряде ты был всего три месяца, в двух-трех перестрелках...

— Нет, я и раньше... — отмахнулся Арсений, словно отбивался от руки, которая его раздевала.

— ...я и не спору. Ты рано начал воспоминаниями жить, товарищ. Вчерашняя романтика всегда хуже сегодняшней. Романтику мы делаем сами. Слушай, Арсений, брось ты этот музей, в котором живешь. Уезжай куда-нибудь на стройку, где каждая строка стоит иной твоей фронтовой страницы... Ты слышал что-нибудь об ударниках? Иди в массы, растопи свой лед, не буксуй зря... Вот Кунаев начинает большое дело на Урале. Он тебя возьмет... Возьмешь его, Кунаев?

Кунаев привстал с серьезным и решительным видом; он был огромен; крупные рябины искажали самый овал его лица; похоже было, будто в детстве жевал его какой-то дикий восточный мор и, поломав зубы, бросил. Арсений близоруко щурился и все не мог понять, почему неприятна ему уверенная, литая кунаевская сила.

— Давай чернила и бумагу, — сказал Кунаев дружелюбно и зычно. — Счас я напишу тебе назначенье... хотя постой. Едем послезавтра вместе. Я тебя окуну в эту домну по самую макушку. Я твоего отца крепко чту, на большой палец, во.

Арсений молча вытирал бритву, острие ее заманчиво щекотало палец, а Черимову стало скучно. Он опять отошел к шкафу и зорко рассматривал Арсеньевы книги; одолевало его непонятное желание отыскать то, чего там не было. И все еще грязной казалась бритва Арсению... Он слабо пошевелил губами: переродиться. Но надо слишком крепко умереть, чтоб родиться заново. Вода лишь полгода

бывает камнем, а потом снова течет. В эту минуту он почти читал черимовские мысли. Первая была: «Как мало общего у него с отцом»; вторая была очень длинная, ленивая и кончалась сочным зевком. Смута и растерянность охватили Арсения. А ведь он искренне берег в себе воспоминание о фронтовой поре как феерической смеси опасностей, случайностей и лишений. Не имея ни силы, ни желания вторично пережить все это, он, однако, не согласился бы вымести из памяти этот драгоценный сор. Он поистине любил отчаянных и погибших друзей: мертвых любить приятно и необременительно... Теперь же стало так, точно они ворвались к нему, эти не очень милые фронтовые призраки, и растоптали уютный уголок, где он взлелеял свое лирическое тщеславие. Вдруг прозрев, он понял, что всегда, заодно с Черимовым, презирал чуть-чуть и Гарасю; он вспомнил, как в потаенной мысли своей, умирая от усталости, он дивился в ту ночь угрюмой Гарасиной живучести; он вспомнил свои ноги, сбитые в кровь корявыми мужицкими сапогами, разбухшие лошадиные трупы посреди романтических пейзажей; он догадался, что ничего не изменилось бы в мире, если бы и его самого расклевала горбоносая падальная птица... Раздетый догола, не смея даже кричать о грабеже, Арсений насильственно улыбался и молчал. Молчание это было одинаково томительно для всех троих.

Вдруг он сказал:

— Чудно... а теперь, может быть, ту пихту уже срубили на экспорт.

— Это Гарасину? — неискусно подхватил Черимов. — Но, позволь, ведь мы его закопали под листовницей.

— Да нет же, ты забываешь. Это дерево я как сейчас вижу. Чуть наклоненное бурей, корье растрескалось, вершина двойная... и рядом другая, потоньше. И еще почему-то шпора там валялась, а чья — неизвестно. И надо признаться, мы оба испугались ее...

— Вот шпоры не помню, — очень настойчиво и вежливо ответил друг и, потягиваясь, встал, чтобы не садиться больше. — Ну, ты извини, мы ведь мимоходом забежали. Еду в командировку. Что делать, партии не хватает своих инженеров. Да надо еще к дядьке забежать, поругаться. Ничего, что мы задержали тебя в театр?

— Театр?.. — смутился Арсений. — Нет, я еще поспею ко второму акту.

В эту минуту вошла мать в сопровождении Федора Андреича. Она не сразу узнала Черимова, который суховаато поклонился ей на пороге. Только после, по конфузливой торопливости, с которой сын побежал провожать гостей, она вспомнила того бесштанного Арсеньева спутника, от которого панически прятала серебряные ложки. С теми же красными ушами, что и сын, она стояла спиной к двери и слушала ужасное молчание бывших друзей. Его не могли заглушить, конечно, поскрипыва- нья нового кунаевского полушубка.

Впрочем, Арсений сказал:

— Снег не идет?

— Нет, опять потеплело. Когда Фома надевает шубу — наступает оттепель, — и все не мог попасть в рукав, в котором оторвалась подкладка.

— Этот галстук на тебе заграничный? — из последних сил старался удержать что-то Арсений.

Кунаев попрощался и вышел на лестницу, Черимов не расслышал Арсеньева вопроса, и тут что-то вскипело в нем самом:

— ...а ведь я ехал напиться с тобой, Сенька. Ведь мы с тобой сизопузых ворон вместе жрали...

Скользя рукой по убегающему блику перил, Арсений побежал было за ним:

— Ты приходи, Николай, непременно приходи... — «До свиданья!» — кричало навзрыд Арсеньево сердце. «Нет, навсегда...» — отзывалось неслышное эхо снизу. Тогда, оскорбленно улыбаясь, растирая в пальцах потухший окурок, Арсений вернулся к себе. В продолжение всего этого нежеланного посещения его одна тревожила боязнь — а вдруг Черимов да еще этот монументальный большевистский праведник останутся на весь вечер? Часам к десяти молодой ждал гостей. Никогда ему еще не приходилось стыдиться своих знакомых, ни по суду не опороченных, ни по службе, но едва только сопоставлял их с Черимовым — разом выяснялось их большее, чем даже расовое, отличие. Внезапно Арсений схватил с подзеркальника газету и пальцем отыскал отдел театральных объявлений; еще немного, и брызнула бы кровь из заку-

шенной губы. В опере давали **Кармен**... Арсению представилось, что Черимов все же уговорил Кунаева поехать на **Игоря**; он увидел, как наяву, — при миганье уличного фонаря Черимов показывает Кунаеву то же самое место в газете, и они смеются, смеются неуклюжей лжи словившегося друга. Арсений только учился лгать, и первые уроки давались ему с трудом.

— Ну, здравствуй, — басисто сказал Федор Андреич, не замечая расстроенного племянникова лица. — Кто это был у тебя, такой резкий, неприятный, многообещающий самурай?

Арсений с удивлением к необычному слову поднял глаза.

Федор Андреич курил, созерцая длинный, кудреватый смерч над собою. То был высокий жилистый человек, с белесым, равнодушным лицом и лысой шишковатой головой. Изредка судорога какой-то страсти, никогда не получившей удовлетворения, подергивала его рот. В его руках было что-то от челюстей, которые жуют, пальцы его беспрестанно двигались, как бы ища какую-то утраченную форму. Ничто, кроме пятнышка берлинской лазури на тыльной стороне ладони, не подсказывало о его ремесле. Дядя приходил по пятницам. Ремесло его кормило плохо. У брата он подкармливался.

## Глава 9

Расставшись с Кунаевым, который ни за что не хотел обмануть своего Семена, Черимов долго еще простоял у ворот. К Арсению он зашел с намерением просидеть до ночи, но близость не удалась, и теперь вечер оказывался свободным. Редко за последнее время случалось, чтобы он не имел места, куда пойти. Он почти забыл про Ширинкина, хотя это разочарованье должно было переосилить остальные огорчения: все предшествующие годы они, в сущности, шли в одной запряжке. Почему-то истерика Арсения взволновала его гораздо больше, хотя именно здесь ничто не противоречило его, Черимова, партийной логике: что ж, самый хлеб и воздух их детства были различны; но разрыв с другом заставил и его самого

переоценивать значительность партизанских лет, которым приписывал так много. Нет, не они сформировали его окончательно; корни причин лежали глубже... Так, отталкиваясь от незначительных происшествий, он добирался до истоков.

Некоторое время он колебался — не поехать ли в театр; он достал часы. Рассеянные тени снежинок порхали по циферблату; подобные насекомым, они роились вокруг мутного фонарного светила. Вечер был уже на исходе девятого... да и не хотелось хоть издали, хоть взглядом еще раз повстречаться с Арсением. Еще стоял он в нерешительности, когда переулочный сумрак пробили два ярких света; у дома остановилась машина. Черимов едва успел отойти от светового потока за угол, — мимо него быстро, почти падая вперед, пробежал на лестницу сам Скутаревский. Снег пошел гуще; в свете фар он валом валил. Черимов поднял воротник и торопливо вышел из переулка; даже ступая на трамвайную подножку, он не был уверен, что намерение его осуществится до конца.

Он спросил кондуктора, доедет ли этим номером до Бутырок: расстояние было значительное, а он, за исключением района, где провел детство, плохо знал Москву. И едва взял билет, вдруг испытал странную щемящую, много лет неизвестную ему робость. Эта шершавая розовая бумажка давала право на самое удивительное путешествие; он глядел на нее и затаенно улыбался, как бывает лишь во сне. Кондуктор, пожилая женщина, с кожаной сумкой и опухлыми от холода пальцами, внимательно смотрела на него и так же, отраженно, улыбалась.

Он заметил ее улыбку и сурово отвернулся к окну... Москву заносило снежком, и было уже так, точно загулявший исполинский штукатур прошелся со своей бадейкой по улицам. Размытые вьюгой и ночным освещением, мелькали площади, автомобили, дома, но Черимов видел только собственное отражение в запотелом окне вагона. Жизнь неслась вспять, здания, церкви, светящиеся вывески кино бежали сквозь него, не задерживаясь, не оставляя следа, как круги по воде. Он не узнавал ни одной из этих путаных каменных извилин, но вдруг проскочил какой-то деревянный дом; его черная крыша, надвинутая, как картуз мастерового на темный бревен-

чатый лоб, молниеносно отразилась в памяти тысячью образов, пестрых и радужных осколков. Одновременно кондуктор прокричала знакомое слово, и все стало понятно. Окраина подступала вплотную, а с нею и самое детство. Точно боясь пропустить остановку, он побежал вон из вагона.

Все-таки обманула зрительная память; он сошел слишком рано и долго тащился по снежной, залитой светом мостовой, едва угадывая названия пустынных улиц; строительство окраин началось с удвоенного освещения. Он шел, и снежинки щекотали его лицо. Вереница новых домов на углу, где он должен был сворачивать, сбила его с толку, — ему далее показалось, что он заблудился. Впервые они мешали ему, эти новехонькие, с газонными площадками, под гранит отцементированные корпуса, в создании которых участвовала и его собственная воля. Они заслонили от него грустное, темное детство, в которое он приходил с той же целью, с какой листают пожелтевшие и чем-то бесконечно милые страницы дневника. Его разочарование очень походило на то, которое тотчас по его уходе испытал и Арсений; он тоже предпочел бы видеть прежнего Черимова, в красной штопаной рубашке, веселого и быстрого, как лесной костер. Действительность оказалась снисходительной к людской слабости: едва свернул с уличной магистрали, разом споткнулся о какой-то скользкий бугор, — глушью так и пахнуло в лицо. Редкие тусклые фонари ломано отражались в слегка запорошенных грязях проулка. Дальше, между покосившихся заборов его почти безошибочно повело проснувшееся чутье. Стало меньше домов и больше деревьев, черными плодами торчали на ветвях спящие птицы... Он увидел слабо освещенные ворота, у проходной будки стоял сторож; он покосился на опрятное пальто Черимова и неохотно указал, где именно берут пропуска. Путешествие в детство продолжалось, но так трудно было вступить в него, не помолодев.

Разом, тысячами мелкостных впечатлений окружила его знакомая обстановка. Из просырелой, низкой постройки выбивался клин воспаленного оранжевого света; мириадами осколков он дробился в груды стеклянного шлака посреди фабричного дворика. На деревянной



изношенной лестнице светилась открытая дверца в самую гуту, и, еще не вступив в нее, Черимов ощутил на лице привычный холодок сквозняка: двери из-за жары не прикрывались и зимою. И еще, невольным толчком памяти, он вспомнил, как, бывало, через эту именно дверь неслась на улицу песня про то, как знаменитая русская Катя еще серпом, еще вручную жала рожь высококую и что с нею произошло потом. Песня мешалась с расплавленным стеклом, и, застывая, оно становилось звонким, слегка зеленоватым на просвет; крестьянский облик всегда лежал на этой крохотной фабричке. Теперь Черимов заставлял напряженную, злую тишину, и из нее скалился яростный рев форсунок... Так, через десять лет всяких странствий, он вступал в исходную обстановку, и, когда хрустнул под ногой стеклянный осколок, он испытал легкий озноб волнения.

— К Топыреву здесь пройду?.. — спросил он у человека, который спускался с лестницы. Топырев был приятель отца и черимовский крестный.

— К которому... молодому?

— Нет, к старому. — Молодого Топырева он не знал вовсе.

Человек посмотрел на него ехидным, щурким взглядом и помчался дальше.

...Почти ничего не переменялось на этом наивном осколке разбитой планеты. Новые, до конца механизированные заводы возникали на еще нетронутых местах, и бессмысленно было бы расширять или чинить это давно устаревшее сооружение. Со времени черимовского ухода здесь повесили лишь тяговые трубы вентиляции да еще проббили люк для спуска продукции прямо в протирочную. Та же самая печь, низкий глиняный каравай, заполняла почти целиком тесное пространство; у этой жаркой громады ребенком, бывало, спал Черимов, когда работал его покойный отец; мужицкие сапоги и тяжеловесная песня, смешанная с бранью, баюкали его некрепкий сон, служили лаской матери, которой совсем не помнил. Это и была гута, слово — близкое, как родина. Горячий свет расплавленного вещества выбивался из круглых амбразур, и самые отражения на лицах гутарей слепили и обжигали отвыкшие черимовские глаза. Он огляделся,

и вдруг — точно утончилось огромное пространство годов и книг, которые он миновал, — он увидел Федьку, приятеля ребяческих лет, о существовании которого не вспомнил ни разу. Тот внезапно воспрянул во весь свой рост, и в памяти тесно стало от этого гигантского горбоносого парня. Федька был потомственным стекольщиком; его дед и отец продули свои легкие в вычурные стеклянные пузыри, и даже фамилия его соответствовала производству: Бутылкин. Мускулистый и, видимо, опытный задельщик, он ловко метался между чугунной формовкой и круглым оконцем печи; под сквозной майкой размеренно двигались рычаги и шестерни этого осатанелого механизма.

Давно — и в тот торжественный день рабочим щедро выдали на водку — хозяин посетил заводошко с молодой женой; директор учтиво называл ее мадам. Владелец был известный парфюмерщик, фабрикант, товары его производства в изобилии шли на Ближний Восток, но мадам благоразумно не употребляла специй своего супруга. Впрочем, ей понравилась, кажется, огненная суетня, которою она кормилась, она заметила даже, к умилению директора, что это напоминает сошествие святого духа на апостолов. Она была права: зрелище ночной гуты действительно походило на тот малопонятный сюжет, который часто изображался на дешевых церковных картинках. Набрав стекла на длинную железную трубку, рабочий долго крутил и раскачивал ее в воздухе, чтобы придать форму гибкому комку этого расплющенного солнца; только пианист смог бы оценить искусную игру его пальцев. Потом он всяко катал ее на доске, потом вдвухал воздух, потом медленную эту, еще светящуюся каплю обжимали формовкой — и здесь Федыкино лицо раздувалось вдвое от натуги дутья, а нос пропадал в мякоти вздувшихся щек... и вдруг на конце трубки оказывался замысловатый флакон для неприхотливого покупателя. Так усилиями пальцев, легких и щек происходило рождение наивной и сомнительно нужной вещи.

— По-моему, это Бутылкин там мечется? — шепотом спросил Черимов у работницы.

— Сатана-то?.. Он у нас ударник... — и отвернулась, потому что и сама была ударницей.

Стороной, сгибаясь под пляшущими языками уплотненного огня, Черимов добрался наконец до старинного своего приятеля.

— Федька! — тихо позвал он, и сердце его упало к ногам горбоносого.

Тот покосился; его грубоватый профиль силуэтно застыл на оплавленном оконце гуты. Он смотрел долго; остывающее стекло белело, свисало к полу, и струйчатый, шипучий шел от пола смрад.

— Чего вам?.. Вы мне мешаєте работать... — глуховато проговорил он, но не отводил взгляда. Сбивали его с толку добротное пальто и заграничная кепка.

— Колька я... — шепнул Черимов, обнажая голову, и терпеливо ждал, пока тот его признает. Его тянуло вырвать трубку из Федькиных рук и выдуть хоть бы колбу, вспомнить покинутое ремесло, губами прикоснуться к юности, но ему стыдно было, и несвоевременной своей, уже интеллигентской прихоти, и людей, которые с любопытством окружали его. Он крикнул просительно: — Помнишь, как ты меня из воды раз вытащил?..

— Ну-у?.. — протянул тот недоверчиво, и озорная вспышка озарила их губы одновременно. — Во, дух с тебя вон! — И вдруг перевел глаза на трубку; трескалось на ней остывшее стекло. — Ну, катись, катись на квартиру... все там же. Вот, после смены поговорим.

...Он пришел туда через полчаса, когда Черимов уже познакомился с его женой, молодухой такой же зубастой и расторопной, как и муж. Догадливая, она ухитрилась даже и в этот поздний час заставить стол всякой самодельной наспех снедью; чернявая, с перекошенным донцем, бутылка дешевого кагора орнаментально покачивалась посреди стола. Комната приятеля была опрятна; ни одна вещь, назначение которой не было проверено, не засоряла ее. Но окно выходило прямо на кирпичный брандмауэр с помойкой внизу, и Черимов понял, что и в летнюю пору хозяева живут без дневного света и свежего воздуха.

Хозяйка догадалась, видимо, о ходе черимовских мыслей: она сказала, что доживают здесь последний месяц, а потом переезжают в нарядный, новый дом, где будут чистые, еще пахнущие штукатуркой стены и окна,

еще забрызганные известью. И глаза ее при этом улыбнулись, может быть оттого, что сквозь эти новые окна она уже видела и новый мир. Только и было их разговора... Федька вернулся усталый, с губами, черными от железа, и тотчас же ушел за ширму мыться.

— Потянуло на прежние места? — кричал сквозь плеск воды хозяин. — Какие тому косвенные причины?

— Соскучился вот... Что у тебя за чертеж тут наколот?

Бутылкин вышел к гостю в чистой рубахе, с лицом, еще красным от грубого полотенца. И так как сразу начинать разговор о самом главном, не прощупав гостя, было ему затруднительно, он с удовольствием объяснил свое изобретение. Работницы при мойке продукции бьют стекло и режут руки; автомат, уставленный флаконами, должен переворачиваться над целой сотней фонтанчиков.

— Понимаешь? Тебе смешно, поди. Теперь в больших чинах ходишь, Николай Семеныч.

— Ты меня еще превосходительством зови, а то обижусь.

Тот рассмеялся, держа Черимова за плечи. Они вглядывались друг в друга, взаимно проверяя, много ли унесли бегучие воды этих лет. Не тот стал и Федор: насквозь прожелтела кожа, усилилась профессиональная чернота зубов, огрубели мозоли от старых ожогов на руках; она не молодила, безостановочная гонка реконструкции, но удивляла при этом ясность глаз, пронзительных и очень спокойных.

Их дружеское препирательство продолжалось и за столом:

— Сбежал ты от нас, дух с тебя вон. И всегда так... Придет сюда — просто шувалик верейский, а выбьется наверх — пряником назад не заманишь. Шел бы к нам в директора, а? Что, какие тому причины? Там, на новостройках, легко, а ты вот на нашей диковинке промфинплан сыграй: вспотеешь.

— Да я видел вашу диаграмму в конторе. Плохая кривая, ты не обижайся. Так дышит больной... И потом качество: смотри, нам из-за границы всякие приборы приходят — стекло, поди, чище.

Бутылкин угрюмился, задетый за живое:

— Так ведь они сурик в варку дают, а у нас и поташу не достанешь. Да и то на экспорт тянемся, эх... — Он опустил глаза и с минуту молча боролся со словом, которое хотело взорваться в нем. Вдруг он поднял улыбающиеся как ни в чем не бывало глаза: — Ну а ты... вроде профессора, что ли?

— Вроде, Федька, вроде... — и жевал по очереди все, что стояло на столе, от селедки до фисташек.

— Небось, учеников своих шпыняешь, — смеялся Бутылкин, разливая кагор по узеньким, не по винишке, рюмкам. Не долив, он отставил бутылку и взглянул одну на просвет: — Вона, брак в продажу пустили... пузырьки-то, ровно рыбка плеснулась. А помнишь немца? Прошибешься, бывало, счас он: «Дай ляпки». Да по ладошкам-то вальком... обстоятельный мастер был.

— Меня он все больше по заднице.

— Тоже не вредно. Ты не ревел никогда, а ему становилось обидно. Ну, давай за свидание наше... и чтоб не в последний раз... Черт, уж дай хоть пощупать-то тебя... — все ревился Бутылкин, сияя от удовольствия. — Костюмчик-то — чистый коверкот, а вот об известку где-то вымазал. Не научился с хорошим-то обращаться, серая ты душа!

И уже тянулась со щеткой, чтобы вычистить, Федькина жена.

— Вот, — вспомнил вдруг Черимов и про себя подумал, что всегда найдется куда пойти человеку, — вот, гляди, Федор.

Он достал из кармана приготовленную было для Арсения тоненькую брошюрку в зеленой обертке; это был перевод на французский язык его первого научного труда об асинхронных аппаратах, на обложке крупным курсивом парадно чернело имя Черимова. Бутылкин вытер руки и, осторожно раскрыв посередине, заглянул вовнутрь. Книжка полна была таинственных формул, корней, латинских и греческих букв, сложных математических функций — замысловатый их орнамент совсем недоступен был Бутылкину. Он вообще боялся всяких чисел, которые, кстати, после революции магически стали обрастать нулями; с контрольными цифрами пятилетки, которой отдавал самое главное свое — молодость, он

еще справлялся по необходимости, и, хотя смысл годового производства комбайнов был не менее сложен, чем эти интегралы, там его во многом выручал природный инстинкт пролетария.

Бутылкин поднял внимательные и строгие глаза:

— Это твое, Николай?

— Мое, мое... вот тут и имя поставлено, видишь? — и тыкал пальцем в страницу. — Ассистан Тшеримоф, — это я... я, Колька. Ассистан де ланститю. — Никогда ни раньше, ни впоследствии не вел он себя таким мальчишкой: но здесь он не боялся уронить свое достоинство. — Это в Париже напечатано... видишь?

— Это хорошо, — важно и значительно сказал Бутылкин. — А ну, прочти вот тут! — и пальцем, наобум показав строку, целую минуту пристально вслушивался в музыку неведомой науки и чужого языка. — Это очень хорошо, что в Париже, — тихо повторил он. — Ты дай мне это, Колька... полезно этой книжкой кое-кому в нос ткнуть. Дай.

— Это первый экземпляр, Федор, авторский... но ты возьми, возьми, — обрадовался Черимов, и, по мере того как лирическим посвящением заполняла его рука страницу, лицо его все более меркло.

Точно такую же книжку, но еще не переведенную, он в свое время посылал и Арсению, — с тем же чувством безвредного, дерзостного юношеского хвастовства. Но, сидя в гостях у Арсения, как ни разглядывал он его книжные полки, так и не нашел маленькой своей, в розовом сарафанчике, брошюрки. «Не туда посылал, не там, значит, и признания искал!» — подумал он мельком и жалел, что не имеет возможности с корнем выдрать оттуда намелко и нежно исписанную страничку. Его сутулило чувство поздней горечи и стыда за себя... Он дописал и дул, чтоб скорее просохли чернила.

— Чего ж помрачнел, может, почету мало? — веселился Бутылкин. — Так ассистан, говоришь? Эй, жена, чурка фабричная, кланяйся, потчуй ассистана. Вот, развеселил меня, Колька...

Черимов сидел с опущенными глазами.

— Я, брат, с похорон нынче... вроде как с похорон, — поправился он. — Вот я сажу у тебя, пью кагор, похва-

ляюсь... меня даже развезло от чувств, а ведь сегодня я похоронил друга, даже двух. Так вот и объезжаю родные могилки.

— С чего же так? Какие тому косвенные причины? Теперь умирать глупо, и уж во всяком случае преждевременно. Кто такие?

— Первый — Ширинкин. Ты его должен знать, он...

— Ширинкин — сука, — определил Бутылкин, и лицо его стало твердо, как бицепс перед ударом. — Я к ним вечером раз зашел, в одну печальную нашу годовщину зашел, а там у них танцевали. Ноги я видел под портьеркой, и хорошо, дух с меня вон, что нагана со мной не бывало. Ничего, падалицы не желей, надо кушать и червячкам. Давай, кто второй?.. Вали их в братскую.

— Второй — мы на фронте были вместе. Сын теперешнего моего начальства... и учителя моего. Он был такой подходящий парень. Знаешь, Федька, если изменяет вождь — это страшно, и если друг — не менее тяжело тогда. — Он воспользовался тем, что жена Бутылкина пропала куда-то. — Давай уж на искренность: даже плакать хотелось от злости.

— Что ж, поплачь, балда, помочись, — грубо отрезал тот. — Кто мы... машины?.. энтузиастические будильники? А сколько еще слиняет впереди. Да еще давай бог чтоб в открытую. А иной совсем рядом стоит, а присмотришься — тот самый и есть, который первым плюнет в революцию... если случится это.

Черимов безмолвствовал и чутко слушал, как похрустывает мятный пряник на зубах Бутылкина. Рука его машинально теребила какую-то бумажку, найденную в жилетном кармане; она так износилась, что даже не шестелела.

Бутылкин заговорил опять; он предлагал оплакать их всех сразу в один какой-нибудь пасмурный выходной денек; он не собирался, подобно Европе, ставить монументы этим неизвестным солдатам, у которых не хватило ни доблести, ни честности перед классом. «Ерунда, слабые пускай дохнут. Важен окончательный результат. А ты грустишь... и какие тому причины?.. Косвенные вижу, а прямые где?» — и замолчал, щекоча друга тоненьким, тихим смешком.

— Вот ты и ученый, тебя напечатали за границей, а хочется мне тебя по шее, Колька, пригнуть маненько и этак. Кто же строит на деревянных балках, которые вдобавок уже стояли целую вечность? Не очень я круто заворачиваю? Ты скажи... Я, конечно, не знаю этих людей, мне трудно. Мы вот берем свой хлеб просто рукой, а они берут вилкой и сперва кладут на тарелку... — Он внимательно посмотрел на гостя. — Ты пей кагор-то, ассистан.

— Нет, ты, конечно, прав, Федор, — и стал говорить, как трудно вырезать у целой прослойки застарелые опухоли некоторых отживших эмоций; они связаны со всем инвентарем культуры, а он хрупок, — не рожать же заново своих Эдисонов и Ньютонов. И еще, чуточку сомневаясь — понятно ли это Федору, говорил, как страшно в культуре непобедимое давление мертвых.

— Ничего, ты говори... об этом мне все понятно.

— ...и я выкладываю все это... вот, об осторожности, не потому, чтобы навязать тебе, а для того, чтобы ты опровергнул, если найдешь неверным.

Самым подробным образом он рассказывал о Скутаревском, о его делах и сомнениях, об институте и людях в нем, о путях и целях, к которым движется наука, и, странно, рассказ его носил несколько вопросительный оттенок, точно перед Черимовым сидел человек, способный поставить правильный диагноз. Их разговор затянулся, и вдруг Черимов вспомнил, что хозяину рано вставать, — целые тонны кипящего стекла ждали его поутру. Они вышли на улицу. Все было бело от снега, и потом такая морозная прозрачность наступила в природе, что всякое сказанное слово приобретало здесь ту первоначальную глубину, которой в обычных обстоятельствах не имело никогда.

— ...а где жена-то? — Черимов вспомнил, что не попрощался с Федькиной хозяйкой.

— У нее курсы вечерние. Хочет конкуренцию тебе делать, — засмеялся Бутылкин. — Смотри, снег-то... на таком плясать хорошо, а?

— Я бесконечно рад, Федька, что увидел тебя... твою рожу с этим пятном от раскаленной брызги на щеке, с этим желваком на обожженных пальцах. А у меня, смотри, руки совсем белые стали.



— Со временем у всех белые будут, отмоем. Тут тебя старик Топырев вспоминал.

— Что ж ты его не позвал нынче? — оживился Черимов.

— Да нет, он помер... Вот, старики уходят, и мы становимся в первую шеренгу... жутко и весело, жутко и весело. Надо глядеть, Николай... но ты валяй, действуй: мы тебе верим. — И вдруг в сторону: — Черт, звезды замечательные какие... Жутко и весело!

Черимов возвращался пешком; трамваи уже отправлялись в парки. Ему было жарко, необыкновенно приятно по любому поводу, даже немножко мучил избыток возникающих сил. Пола его распахнутого пальто чертила длинную линию по снегу, наметенному вдоль заборчика. Он шел и думал совсем о другом: «Хоккей требует времени, придется бросить хоккей, но можно еще заняться лыжами...» Там, в конце улицы, стоял милиционер, и, еще не приблизившись к нему, Черимов уже знал, что у него красивые, крутые плечи и очень симпатичные глаза, — «...если вас не затруднит, пройду ли я этой улицей к институту Скутаревского, товарищ?» — мысленно спрашивал он, и тот отвечал неслышно: «Я вижу, товарищ, вы хватили кагорцу у приятеля на радостях встречи, так что не упадите, сегодня скользко». Проехал грузовик, пыхтя и буксуя на снегу. «О, колеса, бегущие вперед!» — подумал Черимов. Он шел, организатор жизни, и то по-мальчишески скользил на обнаженном льду тротуара, то останавливался и подолгу глядел на собственные следы на снегу. Яркий электрический свет делал их выпуклыми и сверкающими; поистине они были великолепны и значительны, следы человека, который идет.

## Глава 10

Радость Скутаревского по поводу появления Черимова в институте носила несколько показной оттенок. Нетрудно было при более тесном соприкосновении взглянуть в новом заместителе скрытое упорство при проведении определенных целей, которые внешне прикрывались полным подчинением научным — и как будто не

только научным — установкам директора. Кое-что из слухов уже дошло до Сергея Андреича, и втайне он опасался, что могут прислать еще более строптивного. Поэтому он и не торопился вводить Черимова в курс своей личной работы, которую почитал последним своим, перед закатом, свершением. Она держала его подобно железному каркасу, не давая стариться или уставать, или сгибаться перед препятствиями; он продолжал вести ее в сотрудничестве почти только одного Ивана Петровича. Новому заместителю была известна, разумеется, тема работы, которая в связи с темпами развития народного хозяйства требовала особой срочности для своего разрешения. Она была почти невероятна; ее осуществление произвело бы величайшую перестройку в системе транспортирования энергии, да и в роли самих энергетических баз, но она поглощала лучшие научные силы и, почти целиком, бюджет института. Первым черимовским заданием было застраховать ее другой, параллельной работой. Уже через несколько месяцев пребывания в новой должности он поставил в высших инстанциях вопрос о постройке опытной линии высокого напряжения; он знал, ему не откажут. Наверняка осведомлен был об этом и рассматривал такое начало черимовской деятельности как намеренное распыление сил.

Кроме сравнительно мелких вопросов — об изоляторах, о трансформаторных маслах, о проблемах кабеля, управления при помощи реле — институт был загружен основной работой по передаче сверхмощных напряжений; огромный портрет Ленина, вдохновителя великих дел, висел над самым столом Скутаревского. Дело касалось использования удаленных топливных бассейнов и тех десятков миллионов киловатт, которые бесполезно, гремячей пеной бегущих вод исходили зря на дикостных реках Сибири; конечно, только прямое осуществление темы Скутаревского могло оправдать название института, сверкавшее белой эмалью на широких, строгого стиля воротах. Уже начавшаяся проектировка высокомошных советских гидростанций, весьма превышающих мировые образцы, с новой силой поднимала в энергетике вопрос о способах электропередачи. Неудачи в области борьбы с потерями, неминуемое явление перенапряжения, ряд

специфических затруднений с передачей постоянных токов, неминуемых для тогдашней, даже передовой, науки, толкнули Сергея Андреича искать выхода другими путями. Черимовские опасения были основательны; по прямой аналогии дело обстояло так же, как если бы человечество, минуя все промежуточные ступени в развитии машиностроения, сразу шагнуло бы к современному аэромотору от неуклюжей уаттовской машины. Определяя вчерне и по слухам, не проверенным вполне, тема Скутаревского заключалась в практическом разрешении передачи энергии без проводов.

Безымённый сибирский краевед придал этому делу надлежащее ускорение; именно он прислал в некое советское учреждение большое, о двенадцати страницах, письмо, — к посланию прилагался отрывок школьной карты, по которой синей венозной жилкой протекал Енисей. Крохотный кружок — Елтуска, не то бывший казацкий острог, не то безвестная стоянка утлых рыбацких посуды, имел тоненькую приписку красными чернилами: **здесь и строить**. Судя по образной объяснительной записке и густоте горизонталей, сделанных от руки, тут смыкались два высоких массива, и в промоину между них, свиваясь в водовороты и жгуты, бежало текучее Енисеево тело. Место и прельстило госплановского корреспондента. В те времена хозяйственные центры еще не имели точных характеристик советских рек, а краевед вдобавок обещал выслать дополнительные свои сорокалетние наблюдения за режимом реки, точную кривую колебаний ее уровня, и это не могло не повлиять на выбор места в случае благоприятного решения. Даже по присланному клочку можно было заключить, какое значение для края будет иметь постройка мощной гидростанции на указанном месте. Оного краеведа искали, слали письма, и по последней справке выяснилось, что есть то бывший механик, местный ссыльный старожил, пятидесяти восьми лет, женат, налог уплачен, в предсудительном родстве не замечен, торговлей не занимался, в профсоюзе состоит...

Получив нагоняйное разъяснение, ездили тамошние портфельные люди совместно с краеведом на Елтуску, варили уху, любовались суровыми енисейскими красота-

ми, а помолодевший краевед пел прямо как птаха лесная. Сиверко был, ветер вскидывал распластанных чаек, и еще круче вздувались за поворотом тучные, многожилные мышцы реки; кстати, разъяснил старик на радостях, что, вопреки утверждениям ученых-лингвистов, самое слово **Енисей** принадлежит к языку одного давно исчезнувшего племени, помянутого лишь в летописях Рашид-Эддина, и означает — **дорога к мужеству**.

— Записывайте, прошу вас... — крикливо приказывал этот фантастический бородач, и седина его, отмеченная назад обрывным ветром, была того же енисейского отлива. — Записывайте: напор от девяноста до двадцати пяти, расход до тысячи кубометров в секунду и даже у истока не понижается меньше трети. Имейте в виду, огромное внутреннее море отлично регулирует поступление воды, прошу вас.

Грунт вулканический, мощная полоса трапов. Высота правого берега, прошу вас, тридцать метров, ширина пролета — полтора километра, записывайте. Сел вокруг нет, затопляй хоть на двести километров, воздух приятный, вид подходящий, прошу вас... — И странно его горловой, несколько неприятный голос, каким обычно купцы в самозабвенье расхваливают свой товар, раздаваясь на тысячи километров вокруг, погоняющим эхом отдавался в ушах Скутаревского.

Кроме политического — смысл стройки заключался в дешевой, по полкопейке за киловатт-час, энергии для соседнего завода высокосортной электростали; щедрые черные руды, алуниты, каменная соль, леса — вдоволь всего наткано было поблизости. Самое слово **соседство** следовало, однако, понимать в сибирских масштабах. До Малой Рютинки, где предполагался завод, лежало северной тайги километров шестьсот, да еще кочкарника столько же, да еще неопределенного пространства восемь дней пути. При этом высчитали, что, даже включая стоимость столь дальней передачи, законная норма энергии обойдется дешевле, чем одна доставка тонны самого ближнего угля франко-завод. Тут начинались всякие технические дебри; принимая в первом приближении, округленно, по тысяче вольт за километр, линия, при всех ухищрениях, должна была иметь напряжение

не менее восьмисот тысяч вольт. Вопрос о кабеле на такое расстояние отпадал сам собою, да вдобавок и не были еще построены соответственные механизмы. А ввиду того, что таких проблем насчитывалось уже с полдюжины, работа Скутаревского принимала характер крупнейшего общественного явления, и ни одному золотоискателю так не захватывало дух от огромности представавшего богатства.

— Мы недостаточно смелы, — сердито бурчал он, когда разрешение на опытную линию было получено; он догадывался, что Черимов вступил в блок с верхним этажом, где работал Ханшин со своими учениками. — Я понимаю, зачем вам это понадобилось. Это трусость, милейший **Александр Петрович**. Я сам уже смеюсь над тем, как это было легко, вы постигаете? Это носится в воздухе, разработку этого вопроса в Европе задерживает кризисная конъюнктура.

— Вы работаете на вечность, — строптиво упирался Ханшин.

— Чушь, я работаю на Енисейку! — Именно так обозначалась в интимных разговорах будущая станция на Енисее.

Ханшин умолкал; на его стороне была достаточная часть сотрудников института, и моральная поддержка их давала ему право на такое несговорчивое молчание. Он также промолчал, когда в учреждении был введен почти деспотический распорядок, — сторож у ворот не смел называть своей фамилии; и если не случалось протестов или даже прямого бегства, то лишь оттого, что самая работа в этом институте содержала в себе высокую научную честь. Выходных дней Сергей Андреич себе не позволял и, сказать правду, с удовольствием лишил бы их и своих сотрудников; все чаще по гулким коридорам слышался рассыпчатый грохот его брани, он нервничал и подстегивал всех; видимо, к концу подходила его работа. Но смысл теперешнего ханшинского молчания был совсем иным, — он видел, как это из громадной научной проблемы становится личной драмою Скутаревского.

— ...посмеются потомки. Поймите, пошло и оскорбительно, — твердил он, — тянуть медную проволоку на полторы тысячи километров, когда силу можно передать в одно дыхание, в одно дыхание!

Черимов тоже молчал; о потомках он слышал не впервые. Сложный затянувшийся процесс происходил с его учителем, и он не знал, что на секретном душевном языке Скутаревского имелся специальный термин для него — **гора**. Тем более стоило вдуматься в жизнь этого удивительного чудака. Большая часть его дня тратилась в лаборатории, остаток делился поровну между лекциями и сном. Вместе с тем он успевал побывать на заседаниях, чтоб прокричать свое мнение о недостаточности темпов, и на электростанции, где по его чертежам изготовлялись газотронные выпрямители для предстоящего опыта. Зачастую он возвращался домой за полночь; остывший ужин, накрытый салфеткой, ждал его на столе; он съедал эту домашнюю преснятину стоя... Черимов слышал также, что иногда, не чаще раза в месяц, к Скутаревскому заходил Геродов, ближайший его помощник, правая рука в той работе, которою собирался вернуть государству свой долг. Он приходил с черным, необыкновенной формы, футляром, и тогда в особенности плотно замыкались стеганые занавеси, а Анна Евграфовна торопилась уйти из дому. Сергей Андреич снимал со стены фагот и на стульях, по-домашнему, раскладывал нотные тетради. Из футляра вылезала выгнутая, подобная чудовищной улитке валторна Геродова. Старики устраивались молча; потом одновременно надувались щеки, и грозная игра эта начиналась. Усердно, в четыре руки и в два рта они играли обычно старинную бытовую музыку, преимущественно немцев семнадцатого века, простенькие, как ситчик, тирольские танцы или бурные охотничьи песни; так в Чехии когда-то упражнялись бродячие музыканты, суматошно, шумно и от всего сердца. Это была вторая по счету дружба Скутаревского, и то, что вначале представлялось почти неестественным, теперь стало приятным для обоих: туманен музыкальный язык. Игра велась с передышкой по четверти часа.

— Я буду ругаться с заводской администрацией, Иван Петрович, — говорил Сергей Андреич, продувая фагот. — Не следовало брать шефства над институтом, чтобы угощать такой скверной продукцией... кстати: кривизна зеркала, по-моему, чрезмерна...

— Я довел ее до тридцати, — откликнулся Иван Петрович, переворачивая нотный лист. — С заводом ругайтесь,

конечно: у нас без ругани не уважают. Мне кажется, Сергей Андреич, не плохо было бы еще раз повторить опыт Пусье.

Еще целых полчаса шло их музыкальное заседание или, скорее, соревнование инструментов. Валторна вздыхала, и не зря: она уходила из жизни, как романтическое ощущение действительности; фагот хихикал и пищал, — он еще оставался как ехидный и злой гротеск, полезное оружие в эпоху социальных завоеваний.

— Мне надоели эти простоватые опусы, — провозгласил однажды Иван Петрович. — Мы бубним дрянно, как балалаечники на балагане. Мы не пошли дальше Гайдна, как в политике, черт возьми, наша публика не пошла дальше Керенского. Пора нам, Сергей Андреич, сыграть нечто всерьез, вкрупную, более достойное нашего житейского опыта и страданий. — Здесь он сделал внушительную паузу. — Воистину вы играете на драндулете, а я — на прямой кишке. В следующий раз я попробую достать и принести скерцо Прокофьева для четырех фаготов; недостающих я приглашу из одного оркестра. Попробуем... — Ясно, только между истинными друзьями могла возникнуть дерзость такой рискованной пробы. — Между прочим, приехал один замечательный пианист... Петр Евграфович собирается затащить его к себе. — Потом личико Ивана Петровича приобретало вдруг некое лисье, выпытывающее выражение: — Кстати, Арсений Сергеевич дома сейчас?

— Арсений пошел к одной даме; кажется, она дает ему уроки французского языка... — И намекающе подмигивал. — Ну, меня что-то в сон клонит...

Так, балуясь, они обсуждали вопросы музыки, техники, политики и половой морали, все сразу. Безоблачный день этой занятой дружбы совсем не предвещал довольно сумрачного вечера. Иван Петрович уносил свою валторну, а Сергей Андреич, если было поздно в театр, посвящал остающийся час перед сном — прогулке; машиной он правил сам, это было его последним увлечением. Так уж установилось, ехал он наобум, не справляясь заранее с маршрутом или программой, и оттого казалось, будто на ощупь ищет какой-то своей удачи.

В том же слякотном ноябре выдался один в особенности пасмурный вечерок. Скутаревский злился: в расчетах

напряжения оказалась путаница, и усилитель не пропускал определенной полосы частот. Наступили сумерки. К драндулету не тянуло. Шофер довез Скутаревского до театра; в оперу был у него абонемент. Место свое он отыскал, когда занавес уже поднялся; шел второй акт. Опера была ему знакома со студенческих лет, и одной арии, сделанной из легкомысленных державинских стихов, он даже привык подпевать. Он сидел и рассеянно думал о совсем другом; из ложи был ему виден курносый виолончелист в оркестре, и Сергей Андреич нечаянно сообразил, что курносый играет, в сущности, на логарифмах... должно быть, он имел в виду те сложные математические соотношения, на которых строится фортепьянная клавиатура. Мысль понравилась ему; ему захотелось представить себе, какая получилась бы музыка, если бы изменить основание логарифма. Вряд ли можно было отнести к эстетике этот прямой рефлекс его профессии; но очень часто он даже Вагнера, любимого композитора своего, воспринимал именно так, математически, как трагическую, полновесную формулу бытия. Совсем легонько, вполголоса, он стал напевать диковинную, впервые им придуманную музыкальную фразу.

— Это вы мне? — возмущенно спросила дама рядом, очень длинная женщина.

— Нет, я себе, — сдержанно буркнул он.

Аплодисменты посреди акта прервали его теоретические занятия; он стал глядеть на сцену. Происходила как раз музыкальная история с графиней, — Сергей Андреич сравнивал это удивительное по мастерству и физиологической выразительности место лишь со вторым актом «Золотого петушка», когда Додон поет **чижика**. Фаготный лейтмотив старухи перекрывал все оркестровое звучание. В иное время это вызвало бы у Скутаревского громкую усмешку, но теперь ему не нравилось все — от этих зашитых в парчу шеголей до фальшивой и неопрятной позолоты театра. Конечно, спектакль был прежде всего трудовым процессом, и Сергею Андреичу сегодня никак не удавалось забыть, что все это члены профсоюзов, получают по разряду, имеют жилплощадь в жактах, страдают от жен, катаров и самоуправства домкомов... только этим можно было объяснить, что вдруг в придиричливом мнении Ску-



таревского на целых четыре такта отстала медь. Удовольствие, таким образом, выходило слишком популярным; Сергею Андреичу стало не по себе, он заворочался, и...

— Скажите, кто поет Германна? — спросила длинная, очень длинная дама.

— Здешний председатель месткома, — благожелательно ответил он.

— Благодарю вас... — И с ненавистью посмотрела на беспокойные руки соседа.

Злость не проходила; веки отяжелели; сумасшедшие ветры в этот вечер сталкивались на его душевной горе. Неожиданно он поднялся и, наступив на ногу длинной, очень длинной даме, пошел вон. Он почти презирал дирижера за самовольную нюансировку, которой никогда не писал композитор; вдобавок тот огрублял текст, преувеличивал темпы и местами допускал понижение баса на целую октаву. К черту театр, — поездка за город на хорошей скорости представлялась ему теперь куда полезнее. Пожилой человек в раздевальне с уважением подал ему пальто. В коридорах гудели вентиляторы, и крик из зрительного зала походил на предродовой. Сергей Андреич застегнул пальто. Ненадежный еще снег сменился надоедным осенним дождичком. Мостовые блестели, неисчислимые огни отражались в обширных, неопратно мокрых плоскостях площади. Ночной город слабо гудел, — то была реторта, в которой никогда не затухало пламя, то есть жизнь, то есть необъяснимое электронное клочкотанье. Это было настоящее, и картонные, на столлярном клею, малахиты во дворце престарелой графини представлялись убогими перед глубинами неподдельных каменных кулис, перед громадами растворенных во мраке зданий, перед небом, сделанным прочно и всерьез из добротных и клубящихся облаков... Сергею Андреичу почудилось, что в такую-то ночь и может произойти с ним железная и обжигающая необыкновенность.

Он отпустил шофера, женатого, положительного человека, и сам вступил во владение рулем. По одному виду, с которым коснулся рычагов управления, Алексей Митрофанович понял, что если не случится беда покрупнее, то в эту ночь профессора непременно оштрафуют. На всякий случай он пытался влезть на сиденье рядом.

— Езжайте домой. Трамвай за мой счет. Вас накормят. Машину доставлю сам.

— Заносит шибко, Сергей Андреич: мокро. — Боязнь за машину была уместна: уж он-то знал хорошо, что штучки Скутаревского не доведут до добра. — Может, закрыть машину?.. не газуйте только!

— Мерси, — скрипнул тот и разом запустил мотор.

Его рвануло, и потом началось это. Провожаемый руганью прохожих, он быстро миновал центральные улицы. Ближе к окраине, где уличное движение почти замирало к ночи, он дал на пробу большую скорость. Мотор работал исправно. Город снижался и тускнел, брусчатка сменилась бульжным горбылем, домики мелькали и мельчали с каждой минутой пути, стало больше деревьев, и запахло картофельной ботвой, автомобиль качнуло на колею, и потом началось ровное шоссе гуденье. Он прибавил свету в фары и газу в поршни, мокрый ветер с удвоенной силой хлестнул ему в затылок. Поля жидкостно заструились мимо, вещество их стало совсем другое, стекло запотело, и, хотя дождик перестал, крупные капли измороси продолжали стекать со шляпы за воротник. Скользящий летящий мрак охватил его, и так успокоительно было смешать с ним свои собственные сухие ненасытные сумерки. Он улыбнулся, то есть рот его стал тверже, тоньше и длинней.

— ...сделайте столько же, как мы! — непостижимо кому крикнул он, и ветер тотчас искрошил его жалобный и вовсе не дерзкий вызов.

Мысли шли отрывочно, возникая по мере того, как выпрямлялось и не требовало повышенного внимания шоссе: раскатанный влажный глянец гудрона любое мгновение готов был вздыбиться стеной и рухнуть на Скутаревского. Мысли шли приблизительно так: «Полет — вот естественное состояние человека, все остальное — лишь кошунственное отступление от нормы. Умирать надо в полете, вбегая в первоначальное вещество и растворяясь в нем без остатка. Иван Петрович все-таки остаток вчерашнего еще в большей степени, чем он сам; странно, почему он напутал в расчетах ртутников и так откровенно соврал тогда, в принципиальном споре, относительно даты умовской смерти. Конечно, весь его энциклопедизм — дутый.

И, черт, почему он так подло трусит смерти? Со временем, разумеется, его заменит... Черимов?» И вот оно назвалось наконец, это слово, заслонявшее от него мир. Только ученик! Но как молодо и страшно звучит это рядом с беззубым и тяжеловесным названием старости — **учитель**. Он увидел себя со стороны — смешным, как на линялом дагерротипе, в длинных, гармоникой, брюках, в футлярного покроя сюртуке, в скрипучих резиновых штиблетах; и рядом — Черимова, хваткого, молодого, почти звереныша; в его сердце, как в кожаной кобуре, наглухо запрятан партбилет; он знает, зачем дано ему присутствовать в мире; он имеет идею, и, если даже самый счастливый шаг не направлен к ней хотя бы по кривой, он не делает его вовсе; он имеет право говорить, прячась в броню всегдашней улыбки, — о, стареющую славу Скутаревского еще не постигла глухота! — «Старик ворчит, старик учит, старик спешит... ему осталось мало». Мало, потому что и тысяча лет — нищенская доля для освоения этого мира. Он-то хорошо знал, Сергей Андреич, что лишь тогда и потянуло его спускаться с горы, когда почувствовал свежесть и жадность новой, идущей ему на смену расы. Так вот он, этот новый Фарадей, благожелательный, сдержанный и скромный подмастерье. Что ж, каждый призван когда-нибудь сыграть смешную роль Сальери, Деви или Саула. — Из мрака вынырнул громадный воз сена; возница не проснулся от гудков; едва успел выпрямить рванувшуюся на сторону машину.

Здесь шоссейный настил был еще свеж; громко забрызгали в крылья камешки из-под колес. Блуждающий свет фар пролиновался потоками мелкой, бегущей под колеса щебенки. На переезде через линию сияли мутные, как бы ватные, луны фонарей; продолговатая тень машины метнулась мимо, и, точно стремясь настигнуть ее или ветром разодрать себе лицо, пустил на предельную скорость. Ветер запел в ушах вровень нижнему до на драндулете. Хлястик воротника больше забился в щеку, свет заколыхался впереди, бензин взрывался и стучал, — еще толчок, и машина разотрется о воздух. Ученик был прав, учитель торопился, но не потому, что догоняло сзади, а потому, что **ждало** впереди. Он почти не сбавил скорости на повороте, — нравилось ему изредка подраз-

нить судьбу, — и когда в прыгающий пучок света попал безликий, точно из бумаги вырезанный силуэт, он не успел... Стремглавое, свистящее пространство прорезала чья-то выкинутая рука, и визг мокрого щебня достиг его ушей. Шла ночь, — можно было, притушив задние огни, мчаться дальше и впотайную вернуться в город другой дорогой. Остановясь вдалеке, не выключив мотора, он бежал назад, суматошно разметая ветер руками. Несчастье было очевидно; в минуту встречи ему почудился крик; по-видимому, он задел кого-то крылом. Он бежал и все старался вспомнить адрес ночной больницы, мимо которой однажды проезжал.

Женщина сидела на краю шоссе и растерянно глядела на бегущего человека. Когда он приблизился, она уже выбралась из шоссейной канавы. Она была жива, все обстояло благополучно, следовало возвращаться домой. Чиркнув спичкой, он оглядел свою жертву: «шатаются тут по шоссе». Вспышки хватило на мгновенье, но он успел рассмотреть, что это была девушка, вначале она показалась ему старше. Девушка — это было для него понятие чисто возрастное; уж он-то знал, что девушек вообще не бывает. Мешковатая, сконфуженная робость сквозила в движениях, которыми она отряхивала с себя слякотную грязь. Лицо ее было очень простенькое; губы еще не сформировались в нем; брови виновато вскинулись на лоб: верно, ей хотелось плакать...

— Я вас ушиб?

Голос его звучал грубо, почти враждебно; он уже раскаивался, что задержался зря.

— Нет, я упала. Я сама упала. Я испугалась... это ничего. — Она могла бы прибавить, что у нее от слабости закружилась голова, когда понеслись из-за поворота стремительные солнца фар.

— Куда вы шли?

Неопределенно она кивнула вперед, на дорогу:

— Туда, в город.

Скутаревский возмущенно пожевал губами; действовала первоначальная инерция испуга. В конце концов ему никогда еще не доводилось подшибать девушек.

— Нельзя же так... ходить. Ладно, я вас подвезу. Есть у вас какой-нибудь чемоданчик?.. Давайте, я не украду. —

Он удивился: — Нету? Тогда идите за мной так. — Он с раздражением обернулся: — Да не отставайте же!

Она подчинилась сразу; она шла несколько позади. Снова пакостный мелкий дождик замигал в глаза, усадил ее рядом, за стеклом здесь меньше дуло. Потом хрустнула какая-то педаль, они помчались. Тотчас за перелеском шоссе выпрямлялось на многие километры; сидел недвижно, положив на руль огромные, в черных рукавицах руки. Он ехал и думал: «Конечно, ее обидел любовник, прораб с местного строительства; у него пестрые усы, мокрые сапоги и длинные руки». Потом ему стало стыдно такой догадки, — девушка была моложе. «Наверно, выгнал отец, у него в провинции домик, курятник с целым выводком цыплят. Папаши и детки, старая история. Завтра она нажалуется прокурору, папашку вышибут со службы, и прораб будет ходить к дочке, уже не опасаясь наследить в комнате». Это ему тоже не понравилось, а третьего варианта он пока не видел. Он поерзал на сиденье, но молчал. Разглядывать ее или расспрашивать — в каком профсоюзе состоит, кто, почему, по которому разряду получает — было все равно что деньги требовать за провоз.

На линии, пока ждали прохода поезда, он впервые, искоса, взглянул на нее. Автомобиль вплотную упирался в полосато раскрашенное бревно. В ярком свете фар видно было, как на нижней его стороне тяжело ходят, срastaются и падают вниз крупные капли измороси. В отраженном свете лицо девушки почти флуоресцировало. Она была стриженная, губы строго поджаты; на мелких кудряшках, выбившихся из-под мужской кепки, искрилась ночная влага. Девушка дрожала, одетая в непромокаемое пальто — особый сорт быстро намокающей ткани; дрожь ее он чувствовал плечом. А поезд шел нескончаемо, товарный, и вез он, должно быть, какую-то неспешную зимнюю кладь.

Скутаревский коснулся ее мокрого рукава и отдернул руку, — кажется, это превосходило меру допустимой вежливости.

— Вы озябли?

Она вздрогнула и наугад стала шарить ручку дверцы. Он громоздко удивился:

— Куда вы?.. Я спросил только — вы озябли?

— Я — устала.

Потом шлагбаум поднялся, и капли стружкой побежали вниз. Машина рванулась дальше, к мутной короне зарева, поднимавшейся из-за округленных куп. Больше они не перемолвились ни словом до самой заставы. Город приближался не сразу, но зато неотвратимо, как судьба, и сперва мимо тащились грузовики, целый обоз, громово сотрясая промозглую, пустынную тишину. Он выждал, пока позади затихли рев и дребезг этих ночных, чернорабочих моторов.

— Ну... вам какая улица?

Опять она заторопилась, точно ее гнали, и неумело, на всем ходу, стала открывать дверцу:

— Мне тут... Я тут спрыгну. Тут недалеко...

Скутаревский сердито затормозил машину; ему хотелось прикрикнуть на спутницу, беспомощность которой стойко сопротивлялась его злости.

— Номер дома-то вы, по крайней мере, помните?

Она смешалась окончательно:

— ...не то сорок семь, не то семьдесят девять. Я помню: семерка. — И вдруг прибавила совсем по-ребячески: — Все равно, вы только не сердитесь... я тут и слезу.

Скутаревский подумал так: «Я дурак с вислыми ушами, я собираюсь бросить на улице сшибленного... и, да, да, изуродованного человека!»

— Надо же знать адрес, по которому идешь в жизни. Но слушайте... — Он прислушался к самому себе: третий раз на протяжении этого месяца заставляло его такое сердцебиение. — Слушайте, как вас там?.. У меня в квартире есть кушетка, на ней никто не спит, без клопов. Я не жулик, я старомодный, высокочтимый дед. Взгляните на меня, каков я... Я даже, говорят, похож на кормилицу, черт возьми... Да вы слушаете меня? — Она глядела куда-то в сторону. — На улице спать нельзя, вы умрете, и потом — милиция. А завтра — пожалуйста, ищите в жизни свою семерку.

Кажется, ей было уже безразлично, куда и зачем ее повезут.

— Да...

Рывок автомобиля усадил ее на место. Задерганный мотор рычал; вел его на полном газу и вдобавок усердно

притормаживал, — покрывки то и дело визжали на голлом камне. В несколько крутых и бешеных виражей — тут улицы спирально поднимались вверх — он достиг дома. На гудок выбежал шофер — посмотреть, что за беда приключилась с хозяином, пропустил девушку вперед; еле заметно она прихрамывала. Молча они поднимались по лестнице. Давая ей ночлег, он вовсе не был обязан занимать ее разговорами. Видимо, она прежде него почувствовала ужасающую двусмысленность их молчания:

— ...это на котором этаже?

— Скоро. На четвертом. Ползите.

Они вошли тихо, крадучись, как воры. Была ночь, на всю квартиру хозяйственно тикали часы; изредка в красном дереве футляре поднималась озверелая возня: не подслушиваемые никем, минуты грызлись, — которой первой отметить самое чрезвычайное, на протяжении десятков лет, происшествие в доме Скутаревского. У сына горел свет. На шорох он вышел сам, без воротничка, с зеленым козырьком над глазами.

— А, это ты! — И, мельком, но зорко скользнув по спутнице отца, ушел к себе; глаза его по-библейски были опущены вниз.

В столовую Сергей Андреич почти втокнул ее и жестом показал на диван, на котором предстояло ей спать.

Он даже потыкал кулаком в обивку, мягко ли; было мягко. Потом он отправился к жене, где помещался обширный бельевой комод, обрюзглый символ семьи, христианского государства, вчерашнего дня. Выдвинув ящики, он небрежно, по-мужски, потрошил их, комкая крахмальные тряпки и раскидывая по креслам; впервые он заявлял права на этот пузатый предмет, которого всегда чуждался. Жена проснулась; она увидела Сергея Андреича за необычайным для него делом; она спросила лениво:

— ...что тебе?

— Простыни. Всегда ты их запихиваешь на самое дно!

Спросонья она не поняла его раздражительного тона. Сергей Андреич испытывал великое смущение; слова не отлипали от его губ, а язык стал неповоротливым и полосатым, как давешний шлагбаум.

## Глава 11

В институт он уехал в обычное время, жена еще спала; он вообще приходил на работу первым. И сразу, едва вошел под гулкий купол, где ждали его макеты будущих чудес, забыл все, что произошло накануне. Вспомнил только к полудню, вспомнил случайно, когда увидел красные, иззябшие какие-то руки курьерши, подававшей ему чай. Теперь забвенье давалось ему не так легко; он выжидал целый час, пока утихнет, но не утихло: он позвонил домой. Голос жены, более испуганный, чем оскорбленный, сообщил, что девушка ушла рано утром, совсем неслышно, и не возвращалась. Она заговорила об этом сама, прежде чем Сергей Андреич успел выдать себя вопросом. К телефону поминутно кто-то присоединялся; Сергей Андреич слышал в трубку басистое шипение, и потом еще порхающие женские радиоголоски надоедно щебетали на проводе. Скутаревскому так и не удалось расспросить про обстоятельства ее исчезновения.

— ...но в квартире все цело. И даже масло в буфете осталось нетронутым! — торопилась порадовать жена.

— А ты... ты не гнала ее? — тихо спросил муж.

— Я даже не видела ее. Мне только Сеник сообщил... — очень раздельно, как будто задумываясь, сказала жена, и тут их разъединили.

Тоска сомкнула ему губы: а что бы мог сообщить своей родительнице этот так называемый сын? У него могли возникать лишь догадки, и, ясно, одна возмутительней другой. Так представлялось на первый взгляд: он привел женщину ночью и даже не посмел познакомить ее с сыном; он очень старательно закрывал ее от Арсения собственной спиной... было о чем подмигнуть: старик заиграл, старику захотелось с толком прожевать остатнюю порцию жизни; и, уж конечно, гайки в нем поослабли, вещество разума подоржавело, если не постеснялся ночью тащить с улицы в собственную семью эту тощенькую добычку. Арсений, при его взглядах, наверно, даже и не осуждал: «Все мы станем старичками, все мы плотоядные». И вот Сергей Андреич вспомнил, как, стоя с девушкой на площадке лестницы, он постыдно долго искал ключ, затерявшийся между листками записной книжки;



как трепетал от мысли о его потере, потому что первую на ночные звонки просыпалась жена; как испугался появления сына и каким недобрый взором проследил его уход. Так, постепенно разгоревшись докрасна, он наконец ожесточился на самого себя: чего именно он опасался? Преждевременных упреков, бесконечных, тусклых объяснений или, наконец, той скандальной словесной плесени, которая неминуемо вспучится вокруг его имени? Но разве он обокрал ребенка или спрелюбодействовал, как ливрейный хам под каретой у барина?.. Должен же был произойти когда-нибудь этот запоздалый бунт, и, по правде, уже вводя незнакомку в дом, он уверял себя, что приготовился ко всем последствиям.

А они уже потянулись: Сергей Андреич у всех замечал улыбки, ибо принято улыбаться чужому удовольствию. В его догадке не было ничего невероятного, — шофер, как человек обстоятельный, всегда был не прочь в подходящей компании обсудить своего хозяина. Сплетничал же он Сергею Андреичу про Ханшина и юркую, под вуалькой, дамочку, которая в заключение пошлого анекдотца оказалась собственной ханшинской женой. Именно теперь где-нибудь в раздевальне могли строиться коллективные домыслы относительно его приключения на загородном шоссе. Что ж, пускай: необыкновенность может случиться даже с извозчиком. И вдруг, отодвинув в сторону расчеты аппаратов, которые сегодня не удавались никак, он отправился в обход по лабораториям института: такие обходы случались сравнительно редко и почти всегда предвещали грозу. Он шел тихо — мимо длинных измерительных столов, мимо черных, сталактитного вида цилиндров, в которых таинственно преобразовывалась энергия, мимо шипящих проводов и оранжево светящихся ламп. Его встречал низкий гул машин и почтительный шепот людей, безымённых участников его славы; судя по ведомости на зарплату, которую подписывал вчера, количество их за один месяц увеличилось еще на сотню. Все отличалось отменным порядком, и пружине, натуго закрученной разговором с женой, не на чем было расхлестнуться.

Он вошел в длинный, коридорообразный зал и задержался у входа. На подоконнике сидел молодой человек в

свитере и энергично жевал пустую булку; он был розов, в прекрасном настроении и располагал, по-видимому, превосходным кишечником. Сергей Андреич приблизился, и тогда тот вскочил навстречу.

— Что у вас тут делают?

— Завтракают...

Скутаревский кашлянул и строго взглянул на часы-браслет: было восемь минут сверх полдня.

— А в свободное время?

Тот смутился:

— Работа специального назначения, Сергей Андреич.

На самодельном постаменте стояло сооружение, конструкция которого зародилась однажды в голове у этого слишком молодого человека. Солнце, минутное, расслабленное, ноябрьское, вступало в широкие окна лаборатории, и темная, чуть в лиловость, тень аппарата причудливо рисовалась на известковой стене.

— Да, помню. Объясните... — приказал Сергей Андреич. — И проживите сперва: вы расходуете хлеб на мой пиджак.

Тот скомкал булку в кулаке.

— Начало вы знаете... только вот здесь я несколько перестроил. Вольфрам тут сгорает без остатка, а температура его плавления...

— Да, три тысячи. Дальше.

— ...а так как пары вольфрама не проводят тока...

— Ага, понимаю. Вы способный малый, берегите кишечник... — усмехнулся и, довольный, двинулся дальше.

Не останавливаясь, он прошел насквозь несколько лабораторий. В лаборатории длинных линий производился расчет Большого Кузнеца; в малом высоковольтном происходил дождь, — шло изучение масляных контактов; в конструкторской чертили секретный, в самом первом варианте, прибор.

— Ну... — сказал Сергей Андреич, подходя.

— Вот делаем автоматический осциллограф, — начал заведующий.

— Это для электростанции?

— Да. Мы все-таки отвергли французскую схему. Они ставят один бачок, вот здесь, потом растроб, потом второй... секцию на секцию... но вот насосы бьются, стекло.

Похлопочите, Сергей Андреич. Стеклодувы не поспевают, ждем по неделе...

Он взглянул в лицо заведующего; тот волновался, и какой-то нервик дьявольски пульсировал у него под глазом.

— Пустяки, — сказал Скутаревский. — Я видел у Эдисона ответственный прибор, сделанный из гвоздика и веревочки. Понятно?

Тот дрогнул и закусил губу:

— Гвоздик и веревочка?.. во всяком случае, этого вполне достаточно, чтоб повеситься! — И нервик снова забился, точно его пощипывали.

— Потрудитесь не острить в моем присутствии. Я человек тупой, знаете, без юмора... — и шел дальше.

Он спустился в монтажный цех. Те же безвестные люди в синей профодежде, верные спутники величавой кометы, кропотливо собирали механизмы, идею которых Сергей Андреич десятилетие выращивал в мозгу: пожалуй, это и были его руки, черные, рабочие руки. Он остановился возле одного, и тот заговорил, конфузясь пристального директорского внимания:

— Месяца через полтора закончим монтировку. Часть была уже готова, но Иван Петрович изменил весь колебательный контур.

С поджатыми губами Сергей Андреич наблюдал его старанье:

— ...да вы сделайте тут просто муфту, без всяких присадок, так. Кстати, вы знаете, что именно вы делаете?

Тот вскинул прищуренные глаза:

— Во всяком случае, этим можно убивать.

Скутаревский сказал сухо:

— Да, поскольку всякий наш успех разит врага... даже хорошо пришитая подошва. Я очень прошу помнить это при назначении сроков, товарищ...

Так, после полуторачасовой прогулки по институту, он возвращался в свой кабинет в том же спутанном и сумрачном настроении. Он застал над своим столом Ивана Петровича и ждал на пороге, пока тот его заметит; он пожалел, что вошел слишком рано.

— Вы не помните, куда положен чертеж антенны? Все дело, конечно, в неправильной кривизне зеркала-

ла... — смущенно заговорил Геродов; издали очки Ивана Петровича чрезвычайно увеличивали; каждый глаз представлялся размером в четверть лица.

— Откуда вы, такой румяный? Да вы постареете ли когда-нибудь? — Так нарочно прятал в шутку внезапное подозрение, но вдруг пошел напрямки: — Вы хорошо знаете шурина моего?

— Как вам сказать... мы с ним записаны в один и тот же жилищно-строительный кооператив. И мы оба с ним в ревизионной комиссии...

— Будьте добры, — четко сказал он, — узнайте у него как-нибудь легонько, между делом, откуда он знает о ходе моих работ. И кстати, предупредите всяких наших болтунов, которые по старческой нерадивости и немощи моей завелись у нас в институте. Мерси.

Тут позвонили по телефону из правления; говорил сам Кунаев. Он вызывал Скутаревского на срочное заседание. На повестке стояло обсуждение крупнейшего электромашиностроительного комбината. Это было не только выдающимся событием в личной жизни Кунаева, но и происшествием для всей системы советской электрификации; он волновался и торопил. Сергей Андреич так и не закончил своей ссоры с Иваном Петровичем; он вызывающе запер бумаги у него на глазах и уехал немедленно. Как и предполагалось, обсуждение выдалось бурным, в особенности когда дело коснулось мощности агрегатов. Тогда устанавливалась американская мода укрупнять котлы из идеального расчета — по турбине на котле, и в памяти Скутаревского маячила трехвальная чикагская турбина на двести восемь тысяч киловатт. Нашлись, однако, противники гигантизма, и Сергею Андреичу стало где проявить свой темперамент... Повестка вышла длинная, отвращение к прокуренной этой комнате овладело им. Прения вступили в область, чуждую ему: шла общая экспертиза проекта: о заводах будущего комбината, о проблемах транспорта и грузовых потоков, — он от безделья принялся чинить желтый огрызок карандаша.

Широкое окно без занавесей, прорубленное смелым архитектурным примером, находилось как раз перед ним. Там, за голыми сучьями тополей, падая с зенитной

высоты, наступала ночь, и только где-то вдали, на закраинах горизонта, еще желтела смутная полоска неба, желтая — как желт по осени тугой гусиный жирок. То был любимый его цвет, кадмий; он напоминал ему о природе, о гусиных перелетах, об охотах, на которые езживал в молодости, о сугробистых перелесках с можжевелиной на опушке, о том жадном, головокружительном волнении, с каким смотрит горожанин на незатоптанные одуванчиковые полянки. Несколько позже, вздохмаченные тоской, образы эти уплотнились в явственные и знаменательные ощущения. Как наяву, он увидел мокрую скамью общественного сада; в стылых зябких лужах смутно дрожали громадные латунные звезды. Скамейки были пусты, и у той, которая сидит на ближней, ознобный ветер ершится в рукавах. В свое время его вовсе не беспокоила в такой мере судьба Черимова, который точно так же уходил от него когда-то в весну и бездомную, нищую юность. Тогда он думал, что это пустяки; всякая зрелость начинается с одной какой-то одинокой полночи, — так в ледяную воду погружают светящуюся сталь. Но была, значит, разница, и в ней заключалась та необыкновенность, которую он знал со всей страстью стареющего человека... Он все чинил карандаш, пока не порезался.

Капелька крови на пальце вернула его внимание к яви. Говорил Петрыгин; Сергей Андреич не заметил, как и когда он появился здесь. Только что в речи его сверкнул отточенный каламбур, и собравшиеся оживились, платя дань ловкому его остроумию. Скутаревскому показалось, что как раз сегодня у шурина в особенности фальшивое лицо, — он изучил достаточно тот пестротный словесный панцирь, в который Петр Евграфович прятал наиболее уязвимые куски своих выступлений. Не дождавшись перерыва, вышел в коридор, к телефону.

— ...не возвращалась? — спросил он, красный как мальчишка.

— Нет... — Жена, видимо, недоумевала, радоваться ей, огорчаться ли мужней откровенности. Впрочем, она прибавила едко: — Если хочешь, я оденусь и покараулю ее у ворот.

— Какая чушь! — и тут же бросил трубку.

Подошел Петрыгин.

— Кто это у тебя сбежал?.. И что у тебя с пальцем? — спросил он весело и не дождался ответа. — Почему ты не заглянешь никогда? Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями...

— Нет, я заеду, пожалуй. Возможно, у меня будет к тебе дело, — отвечая своим мыслям, сказал Сергей Андреич.

— Вот, вот, заходи. Кстати, я письмо тебе одно прочту от Жистарева. — Это и была фамилия его предпринимчивого тестя. — Чудно, мы с тобой при встречах петушимся, а ведь, в сущности, на одно ядро прикованы...

...Отсидев заседание до конца, Сергей Андреич сразу поехал домой и, едва вошел, сразу заглянул в гостиную, — диван был пуст. На пробу он подергал ящик буфета, где хранилось столовое серебро, — ящик был заперт. Анна Евграфовна не любила менять привычки, в особенности если это касалось гостеприимства. В ту же минуту, как нарочно, появилась она сама.

— Слушай, Сергей, я не знаю, куда она ушла. И ты понимаешь, мне неловко было ее догонять... — сказала она почти озабоченно, но он и не пытался опровергать ее подозрений. — Принесли из починки твой... — Она чуть не сказала **драндулет**. — Я повесила его на место. Ты рано вернулся...

— Да, разболелась голова. Три часа в прокуренной комнате. Кстати, теперешний табак, по-видимому, ради экономии мешают с крапивой...

— Ты давно не принимал своего лекарства, Сережа. Ты помнишь о других, но нельзя же до такой степени забывать и о себе. Ты стал очень добрень, Сергей... — В ее интонации это прозвучало как — **стареть**.

Он выдал себя гримаской неудовольствия, — было ясно, о какой болезни она вспомнила. В руках жены уже торчал цветной аптекарский пузырек с грязной полоской рецепта. Лекарство это он принимал полгода назад, когда в особенности дало себя почувствовать многолетнее переутомление. Ну да, она намекала на его возраст, и желтая бездарная склянка выражала весь остаток слабнущей власти жены и семьи. Да, это был рычаг власти, угнетательное орудие, инструмент для подчинения, — он решил всемерно сопротивляться.

— Ты уезжал бы чаще за город... проветриться. Вот ты работаешь, работаешь, а потом тебя арестуют. Ты же болен, ты очень болен...

— Да, — сказал он и, вынув руку из кармана, показал палец, обмотанный платком; кое-где коричневатым темнели на нем пятна. — Я сильно порезался, принеси мне йод и бинт.

Она пошла с неохотой, а он стоял и смотрел на ее пятки в домашних, без задников, туфлях; они были желтые, цвета гусиных плюсен, и такая же тоска загрызлась где-то в ребрах, как в тот бесчестный вечер, когда она пришла просить ребенка и потом накрепко приклеилась к его руке. С тех пор кожа ее огрубела, у нее стали расти усы, милая родинка, из-за которой он проглядел остальное, превратилась во взрослую, с волосиками, бородавку. «Устрица...» — бессмысленно сказал и, во исполнение какой-то необъяснимой потребности, пощупал твердый угол шкафа, у которого стоял. Все оставалось по-прежнему; гипсовые гении равнодушно смотрели поверх его затылка. Им было скучно, ничто не грозило им, и даже в случае победоносного завершения этой смешной трагедии им пришлось бы только потесниться, чтоб уступить место гипсовому Скутаревскому. Гомер и вовсе завалился носом в угол, и черт его знает что он вынюхивал там. Из шкафа сквозь запертые дверцы сочился скверный запах... и вдруг Сергей Андреич почувствовал, что если не уйдет немедленно, то ножом или камнем с мостовой примется разбивать это дубовое сооружение, чтоб узнать наконец, какая семейная святыня воняет так. Сергей Андреич посмотрел на порезанный палец и смирно двинулся к себе.

Через несколько минут в квартире послышались первые скрипы и глухое, засурдиненное ворчанье. Жена вскинула на нос пенсне и прислушалась. Муж упражнялся на драндулете. Она улыбнулась и, налив рюмку воды, недожарившей рукой капала туда лекарство, — как много слез, плакучих рек и бесплодных разговоров заменяли собой десять капель этой пустяковой жидкости. На пятой по счету капле она мысленно решила переговорить с Сергеем Андреичем об одной старой персидской миниатюре, которую недавно предложил Штруф. На вось-

мой она вздрогнула и остановилась, сбившись со счету. Звук драндулета был необычайный, и, хотя никого во всем свете не напугал бы он, она прислушивалась к нему с расширенными глазами; такое знал, может быть, только Чайковский, когда в жутких местах своих партитур он нажимает на фаготы. Нечто чешуйчатое, чего втайне боялась все эти тридцать воровских лет, потому что крала, крала ежедневно из Скутаревского, теперь скрежетало и царапалось в ее дверь. Потом оно выдулось через черный, точеный рот фагота; вот оно родилось, оно приняло наконец форму маленького человечка, который существовал, разумеется, только в ее исхлестанном воображении... Генеалогия человечка была путаная; это была смесь из детских розовых сказок и поздних, старческих страхов, беспощадных, как убийцы. Оно имело видимость самого Скутаревского, но в преуменьшенных до карикатуры размерах; оно носило его пиджак, его рыжеватую бородку; его забрызганный веснушками лоб. Теперь оно вышло из комнаты Сергея Андреича, угловато порхая, цепляясь за вещи, которые тревожно звенели, оно подвигалось, оно шествовало со стиснутыми кулаками в направлении ее комнаты, на разгром и разорение ее бесценных фарфоров и хрусталей. И точно в подтверждение, внезапный дребезг посуды за дверью оглушил ее. Она распахнула дверь: горничная с белым лицом взирала на разлетевшиеся по полу черепки.

— У меня гвоздь в каблуке... я об ковер... — бормотала она.

И хотя мадам готова была избить ее жестоко, помужски, все же с облегчением притворила дверь. Звук струился тише; он выражал сожаление и, может быть, какую-то искалеченную надежду; наверно, вот так же — робко, на ощупь — пробовал свое изобретение, фаготного предка, тот самый феррарский каноник... Но девушка не воротилась ни к ночи, ни на следующее утро; возможно, она отыскала утерянную семерку. День случился суетливый, клочковатый по впечатлениям, и вся суетня его не вела, собственно, ни к чему. Потянуло в баню, но Матвея Никеича опять не оказалось на законном месте: слухи об избрании его в высокую должность подтверждались. Удовольствие беседы по поводу мировых загадок



не состоялось; он сидел в одиночестве на высоком полке и растерянно думал, что только у огня, равная воде, имеется такая же очистительная способность. В мокрых ступеньках безнадежно мерцала отраженная ноябрьская белизна... крыши за окном стояли вновь запорошенные снегом. Очередная лекция прошла вяло, это был скучноватый раздел о гиперболических функциях. К себе в учреждение он попал лишь к сумеркам, и, когда несколько месяцев спустя попытался восстановить подробности этого исключительного дня, в память ему приходили лишь незначительные мелочи. Стучали во дворе плотники, производившие перестройку флигелька для Черимова; потом всплыло сияющее и потерянное одновременно лицо Ханшина, у которого родился сын несколько неожиданной для родителей масти, — радость отца была единственным способом скрыть замешательство перед фокусом природы; потом неожиданно предупредили о посещении замнаркома. Сергей Андреич положил трубку с удовлетворением: визит начальства приходился вовремя.

Тот приехал через час, когда Скутаревскому уже надоело ждать; он вошел быстро, окруженный секретарями, улыбающийся и по-военному четкий. Церемониал их знакомства был пересыпан краткими, ни к чему не обязывающими любезностями. Замнарком был молодой, в новой должности ходил всего лишь месяца два, и ему было нелегко вести беседу с человеком, который говорил с Лениным. Позже, когда все уселись, дело пошло быстрее. Гость делал вид, что заинтересован работой института вообще, но так случилось — разговор пошел лишь по линии собственной работы Скутаревского. Было очень тихо, секретари сидели выпрямленно и неподвижно; из нижнего этажа доносилось сухое пощелкивание энергии: в изоляторной лаборатории били очередную сотню изоляторов. Недружелюбно косясь на секретарей, которые что-то записывали, Сергей Андреич вполголоса рассказывал о принципах, на которых строил разрешение задачи.

— Вам, конечно, известны работы Александерсена и Тесла? — перебило начальство, и с удивительной приятностью сошло с его уст знаменитое имя радиста.

— Да, их опыты глубоко поучительны. Хотя я считаю, что Мейснер и Арко ближе к успеху.

И опять тянулась длинная, неразборчивая для постороннего лекция о свойствах высоких частот; формулы переплетались сложными шестернями; длиннейшие периоды, насыщенные ужасными математическими иероглифами, чередовались с определениями, звучащими как заклинания. Сергей Андреич усердствовал, точно замнарком обязан был, несмотря на свой возраст, знать все это; Сергей Андреич вел его по самым сучковатым дебрям, как бы указывая: «Вот видишь, я ничего не скрываю, но раз уже приехал проверять, на что тратятся деньги, так держись!» Молодое начальство успело прославиться скупостью, и было полезно между делом нажать в самое его болезненное место. Черимов, который присутствовал при свидании, несмело догадывался, что директор намеренно прячет под научным шифром какую-то основную сущность своего открытия. Ему показалось также, что высокий посетитель то дремлет, то теряет терпение; глаза его отяжелели, выправка утратилась, и он курил папиросу за папиросой, чтоб выдержать до конца взятый им стиль почтительного внимания.

— Что такое фединг, простите, Андрей Сергеич? — пошевелился он наконец.

— Это... замирание волны в атмосфере, — жестко усмехнулся Скутаревский.

— В общем, я... понял. И вы скоро надеетесь произвести пробу, Андрей Сергеич?

— Я полагаю, через месяц вчерне закончится монтаж.

— Отлично... Что вам потребуется для этого? Я имею директивы, Андрей Сергеич, всемерно идти вам навстречу.

Скутаревский развел руками:

— Совсем немного. Поле в тридцать — сорок квадратных километров и ну... хорошая, без лишних глаз, ночь. А вообще требуется немало. Нас загрузили уймой работ, а смету оставляют прежней. Об этом я буду ставить вопрос особо. Может быть, товарищам угодно будет пройтись по институту?

— Если вы позволите, Андрей Сергеич...

— У меня довольно трудное имя... так что зовите меня лучше по фамилии, — сказал Сергей Андреич, вставая и косясь на смущенного секретаря.

...Домой он отправился только к вечеру. Машина стала на ремонт, — он шел пешком. И вот здесь, при слиянии двух переулков, увидел ту, мысль о которой не покидала его все эти дни. Она ждала у самого подъезда дома, где жил Скутаревский; ждала, видимо, не первый час, с отчаянием заглядывая во все проезжающие автомобили. У нее был вид провинциалки, заблудившейся в большом городе. Он подошел к ней сзади, когда она, держась за металлические поручни, почти с отвращением глядела на пестрые, дородные сокровища в витрине овощной лавки. Она узнала его по отражению в стекле перед собою и растерянно обернулась.

— Ну, нашли вы свою семерку? — спросил он, строго уставляя на нее палец.

Она молчала, опустив руки, застигнутая врасплох.

— Давно вы тут?

Она молчала. Он понял что-то и подергал свою бородку.

— Я задержался... всё заседания.

— Я проходила мимо... — торопливо начала она.

— Да, да, конечно! — Он удивленно втянул воздух. — Чем это пахнет от вас... миндалем? Вы ели миндаль? — И вдруг догадался о самом главном: — А вы вообще ели что-нибудь сегодня?

Она виновато засмеялась, ежась от снежного ветра, который за поворотом так и играл мелкими вихорьками.

— Я разговариваю сегодня не с первым, но вы первый спросили, хочу ли я есть.

В этот поздний час возвращалось со службы чиновное племя. Скутаревского и девушку толкало людским потоком, разъединяло, они поминутно меняли места. И уже один, со странным лицом в виде дубового листа, даже остановился, живо заинтересованный неестественными выражениями их лиц.

— Пойдемте все-таки, — сказал он и заранее отыскал в кармане ключ.

И снова они поднимались молча, как в заговоре. Беспочинный стыд связывал их крепче всяких признаний. Жена, точно ждала за портьеркой, вышла навстречу.

— Вот отыскал беглянку, — развязно сообщил Сергей Андреич.

Анна Евграфовна ответила, не разжимая губ:

— Ну и отлично. Я вам накрою сейчас; мы уже ото-бедали... — Она ушла и больше не показывалась.

Величайшая суматоха охватила Сергея Андреича; размашисто, куда-то торопясь, он опустошал буфет и все подряд, без разбора выставлял на стол; никто не узнал бы его в этой новой роли. Надо же было накормить голодно-го, иззябшего человека.

— Тут есть телятина холодная... девушкам телятина полезна. Еще рыба... несколько затейливого цвета. Хм, рыба хороша при насморке. Потом коньяк... — Он одумался и спрятал бутылку на прежнее место. — Вы ешьте, слушайте. Я совсем разучился говорить с голодными. На голодного нельзя кричать...

Она подняла глаза:

— Зачем кричать?

— Но это же бездарно — не есть целый день.

— У меня нет денег.

— Да, но... хлеб можно красть.

— Я не умею... — и благодарно улыбнулась.

Она ела робко, отщипывая кусочками, а он украдкой разглядывал свою добычу, — все еще томил неуклюжий Адамов стыд. Она была совсем девчонка; женщина не начиналась в ней вовсе. Но уже в ее девичьих коленках, неуверенных и слегка удлинённых, сказывалась та, дру-гая, которая непременно придет.

Сергей Андреич стал вглядываться попристальней, понаглей: в конце концов луна принадлежит всякому, кто смотрит на нее. Ему понравилось, как она прятала от него свои красные, с обгрызенными ноготками руки; ему было приятно видеть, как вместе с едой в девушку возвращалась жизнь: неверный анилиновый румянец заблуждал по ее худым щекам. Он решил приступить к допросу.

— Вот, живите, шпарьте. Тут много комнат и непропорционально мало людей. Воды вам сырой или кипяче-ной? Пейте сырую, ничего. Кстати, почему вы сбежали из дому в город, где у вас ни души?

Не дожидаясь куска, она быстро поднялась с места. Сквозь порванный чулок розово сверкнула царапина, след их первой встречи.

— Не спрашивайте, я уйду.

Скутаревский прищурился; тело его испытало ощущение, подобное электрическому толчку. Было от чего смутиться: уже она ставила ему условия, и он не смел не выполнить их. Он быстро придумал себе в оправдание, что ему и нет особой нужды знать ее прошлое.

— Хорошо, я не буду, — буркнул он, беря рукой кусок телятины. — Давайте знакомиться. Итак, вас зовут Женя. Моя же фамилия длинная... так что иные путают, а дураки острят!

— Вы... вы! — И она привстала с выражением испуга и восхищения: она успела прочесть его имя на медной табличке.

Ее глаза влажно блестели, в сущности, она сидела уже больная; когда поздно ночью после двух заседаний подряд он вернулся домой, девушка бредила. Без подушки, откинув голову назад, она лежала на отведенном ей месте скутаревского гостеприимства, совсем одна, и двери к ней были плотно прикрыты, почти забаррикадированы: мадам желала подчеркнуть невмешательство в личную жизнь мужа. Глаза девушки терялись в сизой дымке, рука свисала до полу, губы спеклись и стали тверже корки на хлебе. Тут же, на полу, вывалиясь из руки, лежало надкушенное яблоко, доесть которое госте так и не удалось. Сергей Андреич гневным, громоподобным шагом прошел к себе и рванул телефонную трубку. В квартире было тихо, точно все вымерло, но он знал точно, что спрятавшиеся родственники изо всех щелей слушают его разговор. Он кричал в телефон нарочито громко, насилу сдерживая бешенство, — ему оставался шаг, чтоб начать разрушать эти вещи, одна ненависть к которым доставляла ему сердцебиение. Оставлять больную женщину без помощи казалось ему низменным, и если причиной этому была семья, значит, против семьи и был направлен его бунт... Этажом ниже жил детский врач, с которым Сергей Андреич всегда раскланивался при встречах: его не оказалось дома. Тогда он вспомнил о другом, с которым однажды, в гостях у Петрыгина, вел нескончаемый спор об архитектуре. Тот приехал через полчаса, огромный, обрюзглый; и такое изобилие кожи было у него на лице, что одна губа заходила за другую. Раздевшись, он с

монументальным достоинством прошел в гостиную, где лежала гостя Скутаревского.

— Здесь и живете?.. и фининспекторов не опасаетесь? Я бы все-таки часть уничтожил бы, а часть рассовал по знакомым! — посоветовал он сиповато и потер руки просто так, из приятности встречи. Потом он начал сморкаться, а Сергею Андреичу и слово вставить было некуда. — Ну-с, рассмотрим девушку! — и стал расстегивать блузку Жени. — Дочь? — спросил он еще, щупая пульс.

— Не совсем, — мрачно ответил хозяин, стараясь глядеть в сторону, но кое-что все-таки попадало в поле его зрения.

— Так, так, отлично. Корь, значит... Вы видите эти возвышенные круглые пятна, вот здесь, над соском? Да-с, детская болезнь, корь... Вероятно, и конъюнктивитик небольшой имеется. — Он сунул всю пятерню в глаз Жени, и, точно облитое кровью, сверкнуло глазное яблоко под его толстыми перстами. — Так и есть, отлично-с. — Привычно, раздобывшись бумажкой, он писал рецепт, изредка поглядывая на пациентку; кажется, еще и еще хотелось ему терзать ее. — Ну вот... способ употребления прочтете на рецепте. А пока раздеть — и в кровать. И потом, разумеется, почистить желудок... Это прежде всего! Я заеду на днях. Не благодарите. Женщины у вас найдутся?

— Я постараюсь найти, — с мятым лицом вставил Сергей Андреич.

— Н-да, ну вот... — Ему хотелось, кажется, посидеть, продолжить беседу, которая, будучи достойным почтенного человека времяпрепровождением, вместе с тем не особенно заставляла думать.

Но продолжал стоять, любезности особой не проявлял, два пальца правой руки держал в жилетном кармане, и врачу пришлось идти в прихожую.

— Знаете, вы все-таки были неправы тогда насчет Америки. Вы забыли, что эти скайскрайберы давно вышли из моды. Новая их архитектура — это усеченная ассирийская пирамида, но помноженная на двухтысячелетнее могущество техники. Знаете, этак, с лабораториями на террасах, со спортивными площадками, детскими яслями, оранжереями. А у нас по-прежнему клопы-с. И по больным ходить страшно. Я, конечно, в Америке

никогда не бывал, но я видал на картинке в **Огоньке...** знаете, с оранжереями. И я думаю, что...

Сергей Андреич ежился, потому что холодом несло с лестницы через предупредительно распахнутую дверь.

— Вполне допускаю, вполне.

И как только щелкнул за ним замок, вышел сын. Заметно было: его тяготил предстоящий разговор. Он начал с деликатного заявления, что его отнюдь не интересует, кого именно Сергей Андреич водворил на неизвестных условиях в свою семью, но, конечно, имело бы смысл отправить ее с корью в больницу.

— Я благодарю тебя за совет... но откуда ты узнал, что у нее именно корь? — пронзительно спросил отец, глядя в лоб Арсения.

Тот вспыхнул, неопределенно разводя руками; не сознаваться же было, что вместе с матерью стоял он тут же, за дверью, носовым платком заглушая дыхание. И тепло ее старого тела мешалось с его теплом... И, значит, действовал еще этот заговор страха и ревности, раз он порешился до конца высказать опасения матери своей:

— Я не утверждаю, что она воровка, но шпионкой она может быть вполне.

— У тебя имеются точные сведения?.. А ты уверен, что ты сам не шпион при мне? — взорвался отец.

Арсений отвернулся и улыбнулся, потупив глаза.

— Знаешь, ты довольно странный человек, отец, — сказал он напоследок.

— Да, характер мой всегда отличался некоторым своеобразием. — И опять ушел к телефону.

Он догадался вдруг, что все в доме его ненавидят; это было новостью для него, ему стало грустно и тошно... Сергей Андреич, впрочем, не особенно долго испытывал смущенье; потом он вспомнил, что всегда в жизни ему не хватало личного секретаря. Случалось, что неделями корреспонденция его оставалась нераспечатанной и потом зачастую выметалась вместе с сором. Правда, это случилось, кажется, всего два раза за тридцать последних лет, но, при его нагрузках, это несколько не уменьшало потребности профессора в секретаре. В связи с культурной реконструкцией всюду чувствовался острый недостаток в развитых и способных работниках; ясно, Сергей

Андреич не мог не радоваться своей находке и тем более не смел гнать в больницу бездомного человека, в полезности которого не сомневался.

## Глава 12

Перемена жизни Матвея Никеича наступила задолго до того, как произошли в его бытии некоторые фактические смещения. Она началась с упорных раздумий по поводу мирового течения дел, трамвайного движения и, пожалуй, хлеба, в котором действительно чаще обычного стали попадаться окурки. Позади внушительной первопричиной всему маячила тень одноногого полковника. Случился день, когда вода показалась ему шероховатой, а он понимал толк в воде. То была для него вовсе не разнузданная стихия, укрощаемая водопроводчиками, а некое добродушное существо, доставлявшее ему пропитание и имевшее лицо того, кто в нее смотрит. За долгие годы он изучил ее повадки, запах, вкус, — он знал даже, добрая она сегодня или злая, — знал тем хитрым профессиональным чутьем, которое никакому трезвому не поддается учету. В помянутое утро вода царапала ему тело, точно поглаживал его кто-то колючей власяницей, а предстояло парить толстого и высоких чинов человека; тот разнеженно лежал на скамье, и кожа его поблескивала, глянцевитая, как на его портфеле. И хотя процедуру эту приходилось совершать, может быть, в тысячный раз, Матвей Никеич медлил у крана, столбнячно разглядывал самого себя. Никаких заметных изъянов на нем не было, а причины лежали глубже; сомнение в важности древнего своего ремесла совпало с острым раздражением кожи. Позже, дня через три, после банки асфальтоподобной мази, все обошлось, но рубец на памяти остался.

Как раз подошли пере выборы в Советы. В раздевальном зале, напористые, атаковали банщиков лозунги с длинных красных полотнищ; бегали уполномоченные, составлявшие списки, а Матвей Никеич сонным глазом, издали, из бороды, как из леса, наблюдал утомительную людскую суетню. В особенности раздражал его молодой расторопный Кеша, который, став заведующим, домо-



гался еще утвердить свое величие в мире членством в столичном Совете депутатов. Матвей безмолвствовал, не принимая участия в хлопотне; и, когда подбежал к нему за мнением уполномоченный, Матвей нарочито зевнул ему в самое лицо.

— Ну, а ты как насчет того, чтоб Кешу в Совет продвинуть? — спросил тот, задоря, подхлестывая взглядом.

— Нам что, мы всему благодарны, — размашисто буркнул Матвей и еще раз зевнул: точно геенна выглянула из бороды. — И черту поклонимся, лишь бы яйца нес.

— Ну, а если двуглавый птенец из яйца-то вылупится? Матвей помолчал.

— Две-то головы, обожаемый товарищ, мене пожрут, чем тысяча дурацких. — И пошел по своему делу.

...Но в самый день перевыборов он отправился вместе с прочими посмотреть, как именно станет происходить возвышение Кеши; зрелище это прельщало его больше, нежели обещанный после собрания концерт. Он уселся в уголке, близ отопительной батареи, и не спускал глаз с Кеши, который действительно проявлял такую активность, что страшно было на человека смотреть. Заседание шло обычным чередом, и вдруг Матвей ясно расслышал свое имя, произнесенное с эстрады тем самым уполномоченным, который столько раз безразлично пробегал мимо него. И тотчас же внимание всего зала повернулось в его сторону. Все еще недоумевая, Матвей Nikeич привстал и с вопросом «чего-с» оглянулся назад, но позади была стена; любопытство зала относилось именно к нему. Он попытался вслушаться, но там, на помосте, шла пестрая трескотня уже других фамилий, список кандидатов в районный Совет от коммунальщиков. И только по окончании голосования он понял, что свершилось непоправимое, и во всяком случае высочайшая из доступных его разуму катастроф.

В перерыве он побежал к уполномоченному, который тут же и поздравил его с доверием товарищей. Матвей Nikeич выслушал его, помешанно блуждая глазами:

— Отмени, товарищ, отмени... в своем ты уме? Какой я правитель? Лежу в жизни бездвижно, как говядина...

Человек глядел в упор и улыбался; со времен Гражданской войны много людей пропустил он сквозь себя и

вплотную изведаль, какие качества прячутся в таких мрачных, густобровых кряжах.

— Работал ты всю жизнь? — Но Матвей молчал. — Много ты накопил домов, фабрик, поместий... много? И потом, довольно ругаться, старик: помоги и сам дурацким-то головушкам. — И дерзко, не попросившись, отвернулся; напоминание это сразило Матвея окончательно.

Одно время хотелось ему выскочить на эстраду и прокричать наотрез о своем отказе. Но было неловко проявлять почти Кешино мальчишество при такой знаменитой бороде; кстати, начинался концерт, и трое с багровыми лицами уже втаскивали на помост черную краюху рояля... Все первое отделение высидел он не шелохнувшись — и не оттого, что в новом звании двигаться представлялось неудобным, а потому, что страшно было еще раз привлечь к себе всеобщее внимание. Втихомолку обдернул он рубаху, пригладил бороду и еще раз попробовал вникнуть в происходившее вокруг него. Барственного вида человек во фраке пел что-то угрожающим голосом и глядел на Матвея, который все поглаживал бороду, как пригревшегося кота. Матвей побагровел, волнение не унималось, и музыка заглушалась теми громовыми звуками, которые извергались внутри него. Небывалая буря подымалась на душевной его горе; в последний раз обегал он мысленно свои владения и дивился их ужасающей тесноте. Гора стала совсем махонькая, чирышек на истинной земле; ветер взметал над ней мусор, пыль нес в глаза, и глаза слезились... Из бури высывалось насмешливое лицо племянника — «погоди, дохлестнет и до тебя. Еще в газете напечатают...». И тотчас же новый страх внедрялся в его воображение. Ему представала передняя газетная страница, и там, посреди, красовался собственный его, Матвея Черимова, портрет. Получалось неплохо, но зато огромное место, где можно было бы посадить телеграмму с фронта индустриализации, занимала нечесаная его борода. Весь мир смотрел, и все народы — черные, белые, желтые, одни попозже, другие пораньше, — смеялись, и каждый тянулся пощупать уцелевшее чудовище... и вот грохот смеха разбудил Матвея.

— О чем это они? — спросил он Кешу, который из секретных побуждений уже подсел к нему.

Кеша сидел грустный, — так его никуда и не избрали.

— Да вон Москвин про пушку рассказывает, — печально объяснил он, облизывая пересохшие губы.

— Ты не серчай, Кеша, — сказал Матвей, подумав. — Тебя на будущий год прямо в Совнарком назначат.

Мало ему было, видно, Кешина унижения.

Из зала он вышел последним, когда уборщицы со щетками пригоршней высыпали на работу. И хотя совсем не тянуло домой, он очень скоро оказался у дома; крепче привязи держала его многолетняя привычка. Он поднялся к себе и пошарил под деревянной ступенькой; ключа там не было, равно не отыскалось и в карманах. По щелчке света судя, дверь стояла незапертой, и вдруг ему отчетливо нарисовалось, что племянник сидит тут же, за дверью, и, с восхищением потирая руки, ждет дядькина возвращения. Не оставалось сомнений, что, конечно, и вся остальная советская власть в полном составе уже знает о Матвеевом избрании... Тихонько, держась за стенку, Матвей спустился вниз и снова двинулся вдоль улиц. На хитрость он отвечал хитростью; племянник напрасно караулил свое торжество. Буря внутри как будто утихала, и снова он оставался наедине со своими мыслями. Самое обстоятельство избрания, на которое еще неделю назад глядел как на лукавую игру высокого начальства, теперь раскрывалось в совершенно неожиданном сечении. Сейчас это означало полное, безоговорочное признание тех, над кем он втайне потешался. Громовое слово, произнесенное эпохой, приблизилось, и уже от самого Матвея люди ждали теперь важного умного слова, которое еще не народилось в нем. Он растерялся, это походило на пытку доверием. Наконец он вспомнил, что десятки раз костерил советскую власть за то, что не догадается устроить в раздевальне достаточное проветриванье; сотни людей, проходивших сквозь баню, оставляли тяжкие смертные запахи, из-за них-то Матвей и пренебрегал в такой степени людьми. Слово было найдено, первое, конфузливое, но собственное: вентилятор... и сразу стало, будто прибавилось силы в руке. Но все-таки оставалось чувство, словно ограбили

его втихомолку: не на кого становилось жаловаться, не с кем стало хитрить.

Он ходил по городу до ночи, потому что и племянник отличался значительным упорством; наверно, посасывая в одиночестве тощую, хлюпающую — ибо высыпался крапивный табак — папироску, он придумал целый короб отточенных, ликующих слов: горше брани было б ему племянниково одобрение. Наконец стало ему понятно, что Колька ушел. И верно: когда вернулся, Кольки уже не было; ключ торчал в скважине с внутренней стороны. Он огляделся еще с порога, — нигде не валялось ни окурочка: унес с собою. Все еще висела открытка армейского героя в полном военном облачении. В темноте он взял ее со стены, не глядя: ядовитый цветной глянец прилипал к его вспотевшим пальцам... Он даже не разорвал, а растер героя в труху и спустил в норку, к мышкам; потом запер дверь и достал из-за плинтуса крохотный секретный мешочек, замотанный ниткой. Крепко сжав сокровище в кулаке, он прислушался. Было тихо на чердаке; на железную крышу налегло толстое ватное одеяло снега. Зубы Матвея Никеича нашарили ниточку и перекусили; на ладонь вывалились три непонятных металлических кружка; никто в целом свете не ведал, какая тайна покоилась теперь в Матвеевой ладони. Снова почудилось шевеленье за дверью, даже не самый звук, а лишь как бы тень его в Матвеевом воображенье.

— Это ты, Кеша? — почти ласково спросил Матвей, подкравшись.

Там молчали, Кеша был хитрее. Беззвучно отомкнув запор, Матвей наотмашь, всем плечом распахнул дверь; обитая железом, она насмерть уложила бы всякого, кто пытался поймать Матвея врасплох. Но дверь стукнулась о косяк стены и вышибла кусок штукатурки; за дверью не стояло никого... Он зажег свет и разжал ладонь: из нее блеснул желтый глазок и потух. Там лежали три заповедных золотых монетки, скопленных еще давно, но последнюю он купил у знакомого айсора, чистильщика обуви, два года назад, когда побежали слухи о скором падении советской власти. Кажется, этот желтый, ленивый металл был гигроскопичен: он вобрал в себя все Матвеевы страхи о нищей старости; он питался душевною его

теплотою, а сам оставался холоден и неподвижен, но какое-то магическое доставлял он успокоение: то был скорее талисман, чем клад. Но он становился уликою против Матвея Никеича, от него исходил злой, смутительный ветерок. Первой мыслью было выкинуть монеты сквозь форточку в рыхлый снег ночного переулка. Он одумался: внизу мог караулить Кеша; две он припрятал бы, а о третьей стал бы кричать, и тогда к позору внутреннему присоединился бы внешний, вовсе не нужный. Тогда он решил спрятать э т о еще глубже — в камень, в дупло дерева, которое растет, спрятать и забыть, но и это оказалось недоступным, потому что спрятать следовало от самого себя... Разложив монетки на столе, он пытливо разглядывал их; они носили портреты царей, отца и сына; лик отца был одутловат от водки и сытной жизни; плоский профиль сына почти вчистую стерся от жадных людских прикосновений. Цари глядели равнодушно, мимо Матвея, во мрак сырого угла, откуда появились, как фантомы. Оба были с бородами, и это в обидной степени роднило их с Матвеем.

Здесь и крылась причина тех метаний, которые захватили его на целую неделю. Было ему так, будто на огромном пространстве, где одиночный человек растворяется без остатка, громоздко дефилирует все трудящееся человечество. Впереди шагают вожди, маршалы международных красных армий, ученые... И между ними издалека видна седеющая голова Скутаревского; ораторы шагают, председатели районных Советов, управдомы, заведующие банями... И все старается вылезти наперед, поближе к вождям, проворный Кеша. Несут знамена, гремят мильонотрубные оркестры, и медь их сверкает, как уголье в пожаре расхлестнутого кумача. А на одном из флангов поспешает и он сам, Матвей Черимов, в своей просторной бороде. И будто всякий, опережая его, норовит потрогать этот пушистый признак Матвеева самодовольства, которым он в столь роскошной степени отличается от всех... Ночь Матвей проворочался без сна, а утром отправился на работу; неделю он был угрюм и как бы болен, участливое вниманье сослуживцев фабриковалось, разумеется, из зависти. Позже он решил, что о нем благополучно забыли: игра оказывалась игрою.

И как раз в этот момент великого душевного облегчения, к самому закрытию бани, ему доставили делегатский билет. Он никогда так не уставал: все рушилось бесповоротно, пленение было окончательное, — теперь он стал тоже советская власть.

Город одевался в сумерки и предпраздничное затишье: какой-то чрезвычайный съезд собирался с утра заседать в столице. Матвей крадучись — не подсматривает ли племянник — спустился в парикмахерскую: две приступки сводили вниз, к застекленной двери. Ободранная комната полна была ожидающих в очереди; бородатых среди них не было никого. Матвей присел последним, сокрушенно наблюдая, как тает на валенках снег. Усатый человек с механической быстротой колдовал над головами клиентов. Посверкиванье ножниц утомляло глаза до дремоты, но Черимов бодрствовал и сидел, сокрушенно затаив дыхание, точно самое отстрижение головы предстояло ему. Парижского листа с бородами уже не значилось на стене; теперь там висели красавицы с продолговатыми лицами и глазами зябкими, как у пойнтеров, — четырнадцать штук; одна глядела в Матвея с таким выражением, что даже багроветь начал было Матвей. В ту же минуту широким палаческим жестом мастер пригласил его в кресло.

— Бороду... — сказал Матвей и затекшими пальцами сделал поясняющий жест. — Голи меня начисто.

— Напрочь? — повторил парикмахер и, прежде чем успел ему ответить Матвей, отхватил ножницами половину. — Усы также напрочь или подумаете? Или, может, просто на шведский манер? — Он бурчал, почти лаял, точно невероятное делал одолжение.

— Подумаю... усы не трожь, — глухо отозвался Матвей и закрыл глаза, чтобы уж не видеть.

Он ощущал мелкий холодок, заливавший его щеки, и пронзительное лязганье железа, ерзающего по лицу. Матвей Никеич старался думать о постороннем, например о снеге или о щах, но не удавались мысли, точно вместе с волосом отстригал и мысли парикмахер... Не иначе как парикмахерова семья проживала тут же, при заведении; пышная, царицеподобная старуха в платье занавесочного ситца выносила оттуда кипяток. Все это

время там, за фанерной стенкой, гудел примус, а теперь вдруг навскрик заорал проснувшийся ребенок, и оттого, что Матвей был специалистом по снам, он быстро сообразил, — наверно, ребенку приснилось что-нибудь страшное, например, огромная материна грудь, и в ней нет молока. Объяснение показалось правдоподобным; он даже вообразил себе этого младенца, голенького, без признаков волосиков, каким скоро станет и сам, и вдруг открыл глаза.

Прежнего Матвея там уже не было; прежнее, прошлое космами валялось тут же, под сапогом. А парикмахер говорил с моложавым, густобровым, на манер каторжника, человеком и в третий раз спрашивал, охорашивая его рукой, как бы продукт собственного изобретения:

— ...ным одеколоном спрыснуть?

Матвей не слышал; лицо его стало чистое, как полянка, и что хочешь строй на ней — санаторий для ответственных работников либо киоск с прохладительными напитками. Губы его кривила растерянная улыбка, которую прежде столь надежно прятал он в бородище, как в глубоком кошелье. Матвей вышел вон, и даже со Скутаревским, который один не посмеялся бы над его переменой, не хотел он встретиться в эту минуту. Он вышел, и тотчас же, чего никогда не случалось раньше, почти впритирку к нему промчался грузовик; Матвей насилу отскочил, — получалось, что теперь, в новом облике, и давить его можно безнаказанно. А город уже сиял иллюминацией, красное зарево подымалось над центром, и почему-то казалось, что столица празднует именно острижение Матвеевой бороды.

Ночью он, по старой памяти, видел сон. Будто борода не осталась на полу, под чужим башмаком, а он завернул ее в лист писчей бумаги и принес домой. И будто бы она, мертвая, пышно лежала на столе, а прачкина девочка тоненько спрашивала, теребя Матвея за локоть:

— Дедушка, она дохлая?

Преувеличенные эхом сна, слова ее прозвучали чудовищно. Да, все отправлялось в переплав: жизнь, старый банный котел, золотые портреты царей, — и вот уже самого его ополаскивало жаром из приближающейся домны.

## Глава 13

Черимов узнал своевременно о дядькином возвышении и нарочно не появлялся на его чердаке, давая время оформиться событию; да он и не стремился праздновать победу, в которой заранее был слишком уверен. Кстати, пока ездил на конференцию в Ленинград, дел у него накопилось и без того множество, а когда переехал во вновь отделанный флигелек, по соседству с институтом, нагрузки его сами собою утроились; тащился всякий люд просто на огонек. В особенности зачастил к нему Иван Петрович, который не мог не заметить повышенного интереса, проявляемого к нему Черимовым. Сидя как бы в великом интеллигентском смятении, которому Черимов не смел не прийти на помощь, он, вовсе не болтун, без умолку распространялся о коллегах, о Скутаревском, с которым разошелся накрепко, о его работе, а Черимов принимал всякие сведения с видом учтивого внимания и признательности: многого он вовсе не понимал в новой для него среде. Иван Петрович бывал задумчив, часто и пламенно рассуждал о необходимости идеологической перестройки инженерства, а порою проявлял склонность потрясать вопросами:

— Николай Семенович, скажите правду, вы все еще верите в мировую революцию?.. и не устаете? — и прилипал темным обволакивающим взглядом.

Искусительному своему вопросу он придавал капитальный, почти шекспировский оттенок, который, по его расчетам, не мог не льстить этому невежественному выскочке и выдвиженцу из рабочей гущи; впрочем, Иван Петрович мнений своих не выдавал даже жене.

— Верить?.. Зачем же, я не только верю, я делаю ее каждый день мой, каждый час... — улыбался Черимов, пока Иван Петрович с сострадательным участием покачивал головой.

Не мудрено, что в институте начали поговаривать о новом блоке и даже о дружбе между молодым партийцем и старым специалистом. Выдача мелких секретцев помогала Ивану Петровичу маскироваться самому; Черимов видел его маневры и недоумевал — что ему было маскировать, мещанину, влюбленному в жену и прочее



имущество, бездарному профессору, которого по прихоти приблизил к себе Скутаревский. Иногда, впрочем, Черимов бывал признателен Геродову; тот вполне своевременно сообщил о катастрофе, которая свалилась на благополучный дом Скутаревского. По мнению Геродова, разлом семьи становился обычным явлением; из каких-то своих соображений он даже одобрял поступок Сергея Андреича, развязно утверждая, что заодно с властью человека над человеком был скомпрометирован и брак, отчего ветхое это здание, имевшее возраст самой собственности, и шаталось, ежедневно взрываемое у фундамента. Черимов рассуждал так: душевная суматоха, исполненная истерик и крикливых мелочей, могла скверно отразиться на работе Скутаревского. Приближалось испытание аппарата, на постройку которого брошены были все научные и бюджетные средства института. Оставлять Скутаревского одного посреди таких вздорных обстоятельств представлялось вредным, и хотя Черимов всячески избегал встреч с Арсением, он все же отправился в их невеселый переулочек. Он застал там полный разгром; молодой отсутствовал третьи сутки, мадам уехала к брату, к кухарке пришел временно исполняющий обязанности мужа, а по пустым комнатам, подобно коршуну на падали, лапчато вышагивал Штруф; кажется, особой целью его прогулки было проникнуть в гостиную, где лежала Женя.

Увидев Черимова, он засуетился, расшаркался и даже как будто изменился в колере:

— Штруф, обеднелый любитель искусства. Единственно, что утешает меня, это — что Большая Балахна, по слухам, построена на деньги, вырученные от продажи моих коллекций. Рад, всегда рад... Очень приятно... с кем имею честь?

— Вы что тут делаете? — неучтиво прервал Черимов; кое-что он слышал о Штруфе и от Скутаревского, но гораздо больше от одного приятеля, следователя по уголовным делам.

— Промерз и вот забежал к друзьям погреться. А вы, я так догадываюсь, наверно, Черимов. Рад, крайне рад. Счастлив класс, который имеет таких... — Он перебил самого себя. — Лично я также очень стремлюсь слиться

с пролетариатом, но, странно, он не хочет... разрешите как-нибудь навестить и побеседовать?

Тут Женина сиделка вышла из комнаты:

— Прогони ты его, гражданин... осилил совсем. Стоял бы на лестнице и ждал, а то все тычется... Стащит чего, а мне, старой, отвечать.

— Позвольте, гражданка... — заартачился Осип Бениславич, и даже челюсть у него затряслась в негодовании. — Я попрошу...

— Ну-ну, ступай, ступай... — не совсем мягко заулыбался Черимов, и тот бежал, бормоча под нос себе, что нет, не свойственно великодушные современным победителям.

Кое-что Черимову удалось разведать: резче, чем когда-либо, проходила граница между враждующими государствами. Анна Евграфовна развернула широчайшее наступление, отказывалась принимать корреспонденцию на имя мужа и в довершение утесняла даже сиделку, большущую и робкую старуху. Ежедневные распри походили на вылазки или патрульные столкновения, и это еще в большей степени усиливало смешную аналогию войны. За три с половиной недели мадам совершила глупостей больше, чем за все остальное время замужества. Примирение стало невозможно, даже если бы Женя, наивный предлог разрыва, исчезла совсем; взрывчатые слова наделали уйму колоссальных воронок на этом поле, никогда, впрочем, не предназначавшемся для буколических прогулок. Бестактные телеграммы Сергея Андреича с запросами о здоровье Жени окончательно взбесили жену; она помчалась к брату за советом. Сломался трамвай, — она пересела на автобус; лопнула камера на колесе, — она вскочила на извозчика. Она ворвалась как ветер, на люстре зазвенели подвески, и легкие занавески с окон рванулись за нею; она ждала участия и валерьянки, но брат выслушал ее почти с зевотой.

— ...но ведь выгнать меня для этой девчонки он не может? — торопилась излиться Анна Евграфовна, тиская руку брата. — Я советовалась с Галактионовым. Ты знаешь Галактионова, который в **Мумвите**? Он говорит, что половина жилплощади все-таки моя...

— Ясно, твоя... — вяло подтвердил Петр Евграфович, катая по столу продолговатый сверток, который не выпускал из рук.

— И вещи... я собирала их по крохам, менялась, обманивала. Отдать их ей он не посмеет. — Она стиснула крепче неживую руку брата. — Петр, ты невозможен... у тебя картина вверх ногами висит. Ведь это же Тропинин...

— А?.. да, — вздохнул Петрыгин, но поправить ему было, по-видимому, лень. Самая картина была ему вовсе не любопытна, он давно пережил ее, его больше интересовала ее массивная, золоченая рама. — Вещи?.. Да, с ними всегда неприятности. Ну, и как, хорошенькая?

Анна Евграфовна потрясенно скинула с носа пенсне. Вряд ли, понятно, Петр Евграфович поверил бы оценке этой резвой дамы, которую знал в совершенстве, да еще в суждении о таком рискованном предмете. Ясно, Женя была отвратительна, но Анна Евграфовна понимала и сама, что у Евы, например, спина была, конечно, в волосах, а ведь все же соблазнила Адама... Она посмотрела на брата с раздражением, ударяя его по руке ободком пенсне.

— Она вся какая-то мальчишка. Она развела заразу на всю квартиру. Ей что-то там впрыскивают. Она не уходит. Она нагло лежит на моих простынях... Я не понимаю: раньше какого-то банщика приводил, а теперь... Нет, знаешь ли, я заявлю в уголовный розыск.

— Ты говоришь — в уголовный? Н-не советую... Кстати, где вы собираетесь жить на даче? В Халюзинке все-таки сыро и комары.

Было ему не до семейных осложнений сестры. Он очень постарел за последний год, — большинство его тогдашних радостей происходило от исправности желудочного тракта, но и он портился вконец; сахар увеличивался, Петр Евграфович становился как сахарный завод своего собственного имени, диета граничила с издевательством. На опыте познавший тяжесть возраста, он не особенно верил во внезапную страсть Скутаревского: потухшие вулканы извергают лишь копоть и грязь. Вместе с тем с самого дня помолвки он взирал на Скутаревского как на обыгранного простака и угадывал, конечно, что

когда-нибудь все это взлетит на воздух... Одновременно ему каждую минуту грозил обыск; ни от кого не были секретом его дружественные отношения с Брюхе, а следователи подозрительны. Пока сестра живописала неурядицы, он мучительно придумывал, куда бы спрятать этот небольшой, подозрительного вида бумажный сверток. По содержанию вряд ли он заслуживал затрачиваемого времени, но при некоторых попутных обстоятельствах именно он мог стать жестокой и неоспоримой уликой. Наиболее разумным местом представлялась именно золоченая мякоть рамы, но на раме-то как раз и попался Игнатий Федорович: как ввалились, так сразу и принялись пилить раму. Где же, однако, сверток был спрятан у Брюхе?.. Минутами это возвышалось до кошмара, хотя никогда раньше Петрыгин не был подвержен обывательской панике. Воображение рисовало, как на глазах рама взрывается и сверток с этим бумажным золотом, грохоча, вываливается наружу. Он устал, он отдал бы даром, если бы не воображаемые пренебрежительные, издалека, взгляды тестя... Словом, молнии Анны Евграфовны не жгли его. Кроме ползучей душевной плесени, разговор этот последствий не имел. Тогда она испугалась, самонадеянность покинула ее, — домой она возвращалась пешком. Всю следующую неделю насквозь она вызывающе шила себе какие-то кособокие, на жалость позывающие передники: по ее мнению, это был последний и единственный способ толкнуть мужа на пересмотр своего решения.

Женя поправлялась медленно. Температура спадала, и сиделка получила разрешение на ночь уходить домой. Выздоровление ее больше всего походило на пробуждение от сна. Однажды она приподнялась на подушке и огляделась. Комната, поразившая ее вначале высокомерной, почти ледяной роскошью, теперь была совсем пуста; более того, в ней выступила спрятанная дотоле гнусность. На ободранных стенках, с которых таинственно уплыли картины, обнажились бесформенные, подобные трупным, пятна, какие оставляет всякая прочная, долговременная семья; в них отвратительно зияли раскрошенные гвоздевые раны. Мебели не было вовсе, кроме ее дивана; вместо люстры кособокая шестнадцатисвечная

лампа спускалась на грязном шнуре. Рисуночатые солнечные ковры, накиданные наспех, не прикрывали, а лишь усиливали степень безобразия. Женя пожалала плечами... Должно быть, за время ее болезни растворилось в самом воздухе венецианское стекло, распались в прах зеленые бронзы и даже глазурированная, с отбитым краем, персидская ваза, синева которой единственно развлекала глаз, не стояла на прежнем месте. Женя еще не знала, какая скорбная семейная пучина подкарауливала ее выздоровление. Военизируясь по мере обстоятельств, Анна Евграфовна вещь за вещью выбирала из комнаты все; мадам работала и по ночам, испытывая при этом то же болезненное наслаждение, какое сопутствовало их приобретению. К чести ее, она не прибегала покуда к помощи сына и сопротивлялась лишь в меру своих женских сил.

Сиделка ушла обедать, из-за стены, сонно растворяясь в зимней тишине, просачивался деловитый речитатив швейной машинки... Держась и хватаясь за стену, Женя спустилась с дивана; хрипящая музыка диванных пружин приветствовала ее пробуждение к жизни. Женя подошла к окну; все было бело; истрескавшийся после оттепели снег сверкал под солнцем, как разбитое зеркало. Осторожно привстав на табуретку, она открыла форточку: снежным легким знобом ударило ей в плечо, от зимнего солнца исходил голубой ветерок, у нее закружилась голова. Сзади вошла сиделка, Женя не обернулась на шорох. Сиделка громко вздохнула и не оттаскивала ее от форточки; сиделка вела себя необычно — ласковая эта старуха, истоптанная покойным мужем, обладала верблюжьей неповоротливостью. Женя оглянулась и, соскочив, крепко оперлась рукою в подоконник: она упала бы.

Вместо сиделки в раскрытой двери стояла пожилая женщина, чернявая и в пенсне со шнурочком. Женя видела ее только раз, но и того было достаточно, чтоб понять: это был самый большой ее враг. Не мигая и этак не без змейцы женщина смотрела куда-то на локон Жени, который шевелило усиленным сквозняком.

— ...вы что? — испуганно спросила Женя.

— Я жена Сергея Андреича, — сказала та очень просто. — И я пришла спросить, что сегодня готовить на

обед. Я ходила на рынок и не могла достать мяса на голубцы, которые любит Сергей Андреич.

Это было ее действительным намерением; период неистовства сменился полным упадком сил и преувеличенной уступчивостью. Инстинкт подсказал ей, что смиренные станут самым грозным оружием против соперницы, которая, кстати, и сама не подозревала о новой своей роли.

— За что вы меня обижаете? — заливаясь бледной краской, улыбнулась Женя.

— Не гоните меня... я уже старая... мне будет трудно в жизни, — продолжала Анна Евграфовна, теребя кухонный свой передник. — Я умею голубцы и компот...

— Перестаньте! — растерянно крикнула Женя. — Я же уйду... я не виновата, я заболела. Я скажу Сергею Андреичу, что мне пора. Я вечером сегодня уйду...

Здесь-то и наступил перелом этой неискусной комедии.

— ...не смею отговаривать вас, милая, — с новым оттенком подхватила жена, делая шаг вперед. И все смотрела, смотрела испытующе и жадно в девическую Женину грудь, прорисовавшуюся в сорочке. — И я обязана сказать правду. Он невысказанный человек, он груб, яростен, жесток. Я не слыхала от него ласкового слова, даже когда ходила — Сеником...

— Зачем, зачем вы мне это говорите? — почти плакала Женя, делаясь сутулой и такой же старой, как жена. Ее гипнотизировали два едких и быстрых блеска, ей было бесконечно стыдно, полуодетой, под этим недобрым, изучающим взглядом. — Я сказала вам, что уйду...

— ...у него только электроны... и вас нет, и меня, и Сеника, а только электрические бури блуждают по земле, да, да! Он сжирает людей и выплевывает кости. Он бросит вас, как меня. Он ненавидит людей, только погубив их, пробует любить. Когда он любит — точно каблучками железными по телу ходит... Я состарилась на другой же день после венца... пожалейте свою молодость. Вы выйдете замуж за комсомольца, стройного и молодого. Зачем вам нужны чужие объедки? Он почти плешистый, — я жена, я вижу все. Его сила показная, он весь в смятении. Эта работа его — последняя, ей он приносит

в жертву все. Из-за нее он забывает спать, есть, ходить в баню, этот азиатский человек...

И вдруг Женя выпрямилась, — внезапно захотелось подтвердить, что она моложе и сильнее.

— Я все-таки отказываюсь понимать вашу дерзость, — уже спокойнее произнесла она. — Какая же вы кухарка — в пенсне? Вам надо иметь очки, я выдам вам денег на их покупку. И потом, я запрещаю приходить сюда без зова. Картофель на сегодня готовить! Ступайте...

Последние слова она прокричала в пустое пространство перед собою: Анну Евграфовну точно сквозняком вынесло. Ответный удар Жени объяснялся вовсе не тем, что Анна Евграфовна пыталась разьяснить смысл нового ее положения, а лишь желанием вступить за оклеветанное имя человека, которого робко издали уважала. Еще до встречи с ним ее уважение было больше той благодарности, которую испытывала впоследствии. Познакомилась она с этим именем по скудным газетным заметкам да еще по учебнику физики, который однажды удалось ей купить у букиниста; книга была распродана и становилась редкостью. Спортивной, танцующей походкой Женя несла ее по улице в один неповторимый полдень апреля, и все глядели с улыбкой в ее сияющее лицо... А то была вовсе не клевета, а лишь преувеличенная страхом правда, и в этом была сила Анны Евграфовны. Женя еще не понимала той мерзкой ситуации, в которую попала; что нужно было ей в этом угрюмом каземате, куда занесло ее обидой и волной? И вот, с быстротой зайчиков на стене от расплесканной лужицы, заиграли обрывки мыслей: учиться... путевка... зеленоватые глаза Жиженкова, которые выпихнули ее в глухую ночь, на безлюдное подмосковное шоссе. И рядом с ненавистным его именем всплыло новое, прозвучавшее как событие: **Скутаревский**. Когда в провинциальном воображении ее возникали неточные образы будущего — на круглых, сверкающих площадях, где снуют бесшумные электровозы, под стальными конструкциями эстакад среди сытой глянцевитой зелени и памятников, которые, того гляди, откашляются и начнут свой громовой вечер воспоминаний, в свете иллюминационных транспарантов, славословящих суровые, безулыбчатые имена, — постановление последнего,

конца второй пятилетки, Съезда Советов — бежит веселая, нарядная толпа. Там, посреди людского потока, шел и Скутаревский, хозяин электронных армий, весь как бы в полете, дальних плаваний капитан, и волосы седовато извергались вверх, как дым над Везувием, который она видала на картинках. Возраста мечтания не имеют.

С рассказа о том растрепанном учебнике и началась их беседа, когда вечером Сергей Андреич зашел к ней; он выслушал, улыбаясь ее искренности, от которой давно отвык. Эту самую распространенную из своих книг он не любил: она была написана в пропащий год, когда Петрыгины опоили его тошным хмелем женитьбы. Он спросил лишь:

— Вы не могли написать мне? Я послал бы... Давно это было?

— Давно. Я начала готовиться заочно... давно. О, теперь я тяжелей стала на целую тонну. Я не тренировалась целый год.

— Это оттого, что вы болели, оттого. — Она не возразила. — Вы, значит... как это теперь говорится, физкультурница?

— Я бегала на сто метров. У меня только секунда до рекорда.

— Для этого надо иметь хорошее сердце, — сказал и посмотрел на ногти. — А книга плохая, написана для денег. Ну, как вы тут без меня?..

В эту минуту он ничем не походил на портрет, за несколько часов перед тем нарисованный его женою. Женя решила рассказать про посещение Анны Евграфовны, — это было непреодолимое, женское. Сергей Андреич выслушал недвижно, лишь глаза его да скулы стали как-то деревенеть к концу. Было мгновение, когда он сделал нетерпеливый жест, точно собирался крикнуть: «Хочешь, я разгоню этот сброд?..» Он не крикнул не потому, что неспособен был на это, а лишь оттого, что решение не созрело в нем полностью. И так, все шло своим чередом, и только неоднократные выступления жены надумили его на разрыв, которого он не собирался совершать. По возвращении из Ленинграда, например, он не ответил бы — беленькая или черненькая эта самая Женя. Он создавал ее наново в своем воображении, он одевал



ее сам, по своему вкусу, и девушка становилась умнее, старше и скучнее. Сергей Андреич шумно прошелся по комнате.

— Да, это, конечно, грязь. Я прошу извинить нас, прошу. Я приму крутые меры...

— Виновата, конечно, я. Эта болезнь... но я уже могу ходить. Я уйду завтра. Вот... ноги еще плохо держат и бедра ноют... — прибавила она с виноватой улыбкой.

Он рассердился:

— Но куда вы пойдете, черт вас возьми? И что вы умеете в жизни, кроме как бегать свои сто метров?.. Где вы станете жить?

Более взволнованная, чем смущенная его криком, Женья зашевелилась, и пружины под нею ворчали ревниво и глухо.

— Есть общежития... я не знаю пока. Я шла сюда учиться, но организация не дала путевки. Ну, и еще там, другое. Я буду учиться и работать, так делают сотни тысяч, я не слабее их.

Голая ее пятка выбилась из-под одеяла; она была розовая: «желтая — это потом». И вдруг, прежде чем она успела пожелтеть в его воображении, Сергей Андреич спросил грубовато:

— Вы можете секретарем? Но... у меня действительно имеются секреты, о моей работе много болтают. Вы будете как чугунный замок. Имейте в виду, я человек трудный... имейте... Ну?

Кажется, ее испугало предложение Скутаревского.

— Вы ищете **личного** секретаря?

Он круто отрезал, чтобы разубедить ее в худшей из догадок:

— Личных дел у меня почти нет.

И тотчас же сиделка, войдя с тарелкой бульона, сообщила, что хозяина требует в прихожей гражданин Труп. Настроенье Сергея Андреича сразу омрачилось, едва понял, кого она именовала так. Прислонясь плечиком к знаменитому шкафу с олимпийцами, ждал его собственной персоной Осип Штруф, и, в добавление к неожиданности, не один. Рядом, сверкая огненными глазами и необыкновенной масти, сидел на привязи циклопических размеров пес. Он был умный и породи-

стый: при появлении Скутаревского он вопросительно взглянул на комиссионера, кусать ли ему рыжего или это только потом.

— Довольно дурацкая повадка — ходить в гости с дикими зверьми и по ночам, — рассудительно отметил Сергей Андреич.

Штруф учтиво откланялся:

— Не бойтесь, я его придерживаю, — и тотчас шепнул псу некое магическое слово, после которого тот сразу приобрел как бы картонную наружность. — Я к вам одновременно по трем сверхсрочным делам.

— Ничего не покупаю, — сказал Сергей Андреич.

— Ничего не продаю, — отозвался Штруф и прибавил многозначительно: — Хотя есть вещь, за которую вы схватились бы и которая не весит ни грамма, но я не отдам ее даже за этот мир.

— Тогда входите, черт возьми. Полкана на гвоздь! — И, впустив гостя, плотно прикрыл дверь.

Не дожидаясь приглашения, Штруф уселся на койке и с видом усталого достоинства придвинул стул Скутаревскому — так, чтобы сидеть лицом к лицу. Теперь он имел вид почти торжественный; веки его часто и чувствительно моргали; воротник густо был припудрен перхотью.

— Меня обидеть трудно, Сергей Андреич, уже потому, что я бесконечно предан вам. И хотя это преувеличение основано главным образом на полном бессилии моем, вы можете быть вполне уверены, что я не плюну вам в чернильницу, когда вы отвернетесь. Как ваше здоровье, такое и политическое? — И, не дожидаясь ответа, гнал дальше: — Я пришел извиниться. Ту маленькую собачку, которую я обещал вам в минуту слабости, я проел. То есть продал, разумеется, но горьки мне были эти деньги, как самое собачье мясо. Взамен я мог бы предложить этого совершенно прирученного дога... или притащить альбом с моими собаками, чтобы вы могли выбрать...

— Нет, — кратко высказался профессор.

— ...равным образом я мог бы взамен предложить вам поммер, великолепно сохранившийся. Это древнейший предок того фагота, которым вы, без сомнения, прославите себя в той же степени, что и наукой. — Речь его

звучала почти изысканно, но язык, к сожалению, заплетался. Во всяком случае, было бы варварством прервать руганью или пинком такое ученое вступленье. — Я смею догадываться, что это и есть первое творенье того великолепного мессера Афранио дельи Альбонези, каноника, который впервые догадался перегнуть трубку неуклюжей бомхарты пополам и сложить ее наподобие связки фাগотто. Отсюда и название! *Lei carisce?*<sup>1</sup>

— Говоря скромно, чтоб не обидеть, вы пьяны нынче, — вставил Сергей Андреич, несколько потешаясь.

Гость тонко улыбнулся: гаеры, паяцы, шуты гороховые всегда бывали аристократами даже среди истинных королей!

— Исключительно из заботы о здоровье. Пью давно, и уж не один гипнотизер на мне сломался. Но... водка промывает капилляры и, по слухам, растворяет крахмал.

Нужно было все же иметь чрезвычайные основания, чтоб для начала обнаруживать такую наглость.

Сергею Андреичу стало жарко от гнева и тесно в воротничке; он расстегнул его и ослабил галстук.

— Я знал, что вы шут... но ничего, щекочите меня. Мне интересно ваше мозговое устройство.

Штруф встал, поклонился и продолжал, прокашлявшись:

— Собаку, значит, вы не хотите. А жаль: отменной марки. Медали ее родителей занимали пространство в два с половиной квадратных... и я бы советовал потому, что в плане ваших электронных теорий человек не имеет преимуществ перед собакой. Я позволю маленькое отступление. Бесконечность, полагаю я, рассчитывая на ваше снисхождение, прерывиста: волны, линзы, интервалы бытия... островки! Научному человеку это должно быть понятно. В ней висит некое извечное вселенское руно, а перпендикулярно к нему проходит плоскость, разделяя будущее от прошедшего: словом, проекции этих линий на плоскости и суть мы, люди и собаки, но вот я, Штруф, вопрошаю: кто сказал, что эта плоскость одна?.. — Он потер лоб, кашлянул и сконфузился. — Простите, я запутался, забыл один тут поворот... Поворот к бессмертию!

---

<sup>1</sup> Понимаете? (*итал.*)

Я хотел сказать, что ты только рябь на воде, следы от чьих-то дуновений. Все это, впрочем, к тому, что собаку эту я оставлю бесплатно, но с условием — я буду навещать ее в праздничные дни.

— Я уже сказал — нет, — засмеялся профессор.

Без тени смущения Штруф почесал верхнюю губу.

— Второе дело — серьезнее. Я собираюсь говорить о вашем брате. — Он сделал паузу, соответствующую важности момента. — С некоторого времени я живу у Федора Андреича. Он приютил меня с простотою истинно гениального человека, когда меня раскулачивали в шестой и уже в последний раз. Надо отметить, что он очень уважает вас: он считает, что вы безмерного величия человек, а он только тень ваша. Я стал, в свою очередь, его тенью, — таким образом, мы с вами родственники. Долгое время мы упражнялись с ним в трудах и размышлениях об искусстве. Я изучил его в подробностях. Это почти кит, но кит наполовину дохлый. Если его не поддерживать, он сломается. Он задумал смешную вещь...

— Чему вы улыбаетесь? — теряя терпение, осведомился Сергей Андреич.

— Я отвечу словами Мотаннабия: пусть тебя не вводит в заблуждение улыбающийся рот.

— Мотаннабий — это вы выдумали сейчас!

Лицо Штруфа посуровело.

— Я читал эту книгу в девятнадцатом году, в трехдневном ожидании поезда, на станции Арзамас, — торжественно объявил Штруф. — Помню, на полу лежали вповалку люди, три сотни человек, из них, наверно, штук сорок в сыпняке и уже мертвых. Я помню также ночь, блеклое окно станционного фонаря и страницу арабской книги, почему-то закапанную стеарином. И я понял этого тысячелетнего араба...

— Мне неинтересно про араба, щекочите меня на другой манер.

— Хорошо, я умолкаю, хотя я такой же царь вселенной, как и вы... Итак, после одной шумной беседы ваш брат с маху кинул в меня ножом. Волнение помогло ему промахнуться. Мне стало жалко его: мир так тесен, что даже и Штруфа, мертвого, в нем спрятать некуда. Я извернулся и сказал: я не смею умирать так рано... и я

прощаю тебя, знаменитый артист. И я намерен уйти от него совсем. Скоро я буду окончательно свободен, чтоб не присутствовать при его художественных мытарствах. Я могу быть полезен всякому в диапазоне от няни — до мозольного оператора. Если хотите, я буду жить у вас.

— Мерси, не вышло, — твердо и не без юмора ответил хозяин. — Кстати, смахните... у вас клоп на воротнике.

— Да? — удивился тот и, зажав в пальцах, прибавил: — Нет, это просто черный хлеб. Итак, теперь следует пункт третий... — Он нерешительно погладил колено, желвачки под его глазами дрогнули. — Вы переживаете сейчас трудный процесс распада семьи. Я вижу это, милый профессор, и страдаю вместе с вами. Я обязан прийти на помощь.

Скутаревский брезгливо шевельнулся:

— Послушайте, вы, царь вселенной... вы эти свои штучки бросьте!

— Одну минутку терпенья! — Штруф слегка отодвинулся, и в голосе его зазвенела какая-то жестянка, уцелевшая от общей ржавчины. — Итак, я имею предложить вам для удобства некоторых перемен... купить квартиру. В центре города, у застройщика. Голландское отопление, электричество, водопровод, утепленная уборная, окна в сад. Весной — совершенный рай. Вполне подходящее помещение для переживаний. Я бы даже мог начертить план, если бы вы...

— Ступайте вон, гадкий дармоед вы... — с непостижимой вялостью произнес Скутаревский, вставая.

Вслед за ним поднялся и Штруф; не было в нем и тени смущения за эту уже последнюю в их отношениях неудачу.

— ...если вы пожелаете, — совершенно спокойно досказал он. — Шестнадцать сажен полезной площади, ванна требует небольшого ремонта, — колонка распаяна... И думайте крепко, потому что телефона у меня нет, а конкурентов шестеро. Я не обижен на вас, потому что уважать меня — значит, не уважать себя. Не смею задерживать долее... — И вышел, не разжимая пальцев, унося свое с собою.

Из прихожей донеслось урчанье отвязываемого пса, потом ерзанье калош, потом громкий шорох, точно два огромных тела одновременно протискивались в тесную

дверь. Сергей Андреич выскочил в прихожую, когда в проходе исчез безволосый, какой-то спиральный хвост пса.

— Слушайте, вы!.. — крикнул Сергей Андреевич.

Тот обернулся неспешно и в галстук Скутаревского глядел даже величественно; он был раздающий блага жизни и, пожалуй, презирал принимающих.

— На будущее время... меня зовут Осип Бениславич, — внушительно, на всю лестницу, сообщил Штруф; на площадках лестницы к нему возвращалось достоинство, на улице же он бывал просто неприступен. — И потом прошу быстрее, я спешу: у меня дома сука родит...

— Меня интересует, Осип Бениславич... — тихо, стыдясь лестничного эха, сказал Скутаревский, — сколько стоит ваша квартира?

Штруф помолчал.

— Давеча она стоила двадцать семь. Теперь она стоит ровно тридцать тысяч, Сергей Андреич. Я должен поправить свое здоровье, расшатанное вашими выходками.

— Но это безумно... никто не имеет таких денег! — вспыхнул профессор.

— Да... но и коньяк подорожал. Теперь, надеюсь, вы поняли: вопрос о вашем здоровье — вопрос о вашей кредитоспособности. Я не могу бросаться такими суммами... — И, поклонившись еще раз, с беззаботным видом сытого человека стал спускаться с лестницы.

Он спускался медленно, давая Скутаревскому время думать, и пес его помахивал хвостом так, как поигрывает тросточкой перед почтенным человеком всякий гуляющий и пули достойный прохвост.

## Глава 14

Первое возмущение схлынуло, и осталась досада: обций тон и мотивировки Штруфа заслуживали, конечно, мордобоя, но Штруф ушел и унес с собою последнюю возможность покончить с этим не в меру затянувшимся семейным анекдотом: уехать подальше от шкафа с пропылившимися парнасцами стало насущной потребностью Скутаревского. Но квартир в городе не было, и средства, отпускаемые на строительство новых домов, не

покрывали острой жилищной нужды. Поэтому предложение Штруфа представлялось особенно заманчивым и могло не повториться. Правда, отыскать этого шелкопера было легко, — со своими фантастическими товарами он мотался по десятку знакомых, — стоило только свистнуть. И Сергей Андреич свистнул бы, и даже с признанием застарелой вины перед Штруфом, имея он только в достаточном количестве деньги. Но вот денег-то и не было! Зарплаты его хватало лишь на утоление насущных потребностей, сбережений не было вовсе, и даже если бы раскидать с молотка смехотворные сокровища Анны Евграфовны, требуемой суммы все равно не набралось бы. Впервые Сергей Андреич с такой остротой чувствовал отсутствие денег на текущем — так, кажется, зовется это у порядочных людей — счету. И, несмотря на свою житейскую неумелость, он довольно быстро сообразил, что в таких случаях деньги занимают у приятеля; следовало только выбрать самого денежного и членораздельно объяснить ему случившуюся нужду. Дальше все шло по правилам логики, нормальной для всякого наивного, провинциального человека.

Тот выписывает чек и, игриво трепля смущенного друга по плечу, сует ему в жилетный карман бесценную хрусткую бумажку. Потом Сергей Андреич грузит на извозчика книги и чемодан с бельем, ставит между ног араукарию и, троекратно расплевавшись со своим вчерашним днем, по-студенчески перебирается на новое жилище. Женя приходит часом позже, с цветами, совсем не похожими на те, которые были в страшное утро его фактической женитьбы; она прячет их в прихожей: приличному секретарю, качества которого должны совпадать с качествами арифмометра, лирических эмоций не полагается. К концу дня все тот же Штруф, помолодевший от чужого счастья, привозит дешевую, бамбуковую например, мебель. Он еще сердится, но лишь для вида. Стулья скрипят, гнутся, их пахучий лак прилипает к пальцам, но все это в гомерической степени способствует ребячливой радости новых жильцов. Вечером Сергей Андреич читает Жене свое очередное сочинение о трансформаторных маслах; его изобретательность соперничает с остроумием. Длиннейшие формулы легко укладываются в прелестные

ямбы и анапесты. Женя слушает с упоением, поджав под себя ноги и кутаясь в мягкий пензенский платок, — в раскрытую дверь вместе с затихающим гулом города плывет влажная вечерняя прохлада... Женя спорит, она сторонница несколько иного направления, но он говорит строго: «Ну, ну, пора спать, товарищ секретарь... утром потрудитесь отправить в типографию гранки...» Она уходит нехотя; ей жалко, что в прочитанном куске рукописи только шестьдесят страниц, и еще ей хотелось бы, чтобы поиграл хоть немного на фаготе. Он догадывается и берется за инструмент; вот он держит фагот, как ружье, на изготовку; вот он играет **священную** человеческую **весну**. Все, весь мир видит в фаготе лишь гротескное, да и склонен понимать свой инструмент лишь как комический оркестровый голос; Женя впервые раскрывает в нем сходство с лирической, простодушной свирелью Пана. Кажется, это и распаивает ее душу. Играй, играй, лесной старик, шевели склеротические пальцы, пой про благословенную жизнь, которая пускай становится тысячекратно шире и разливистой... И вот живет, но ему хочется еще больше ущемить себя железной дисциплиной, слиться с толпами, которые со сжатыми губами идут на штурм, свершать для них, бороться и... любить? Ресницы Жени дрожат, но время приказывает расходиться; тонкая фанерная дверь надежнее проволочных рогаток разделяет их до утра... Весь этот комплекс канареечных ощущений проскочил в нем за то краткое мгновенье, пока он раскрывал перед собою книжку с записанными номерами телефонов. Он начал с А и сразу надул нижнюю губу.

На эту букву были помечены главным образом сухие казенные люди, как определил он с первого взгляда, а казенному истукану не откроешься; он перевернул страницу без сожаления. С буквы Б начинался разнобой: Брюхе был уже недосыгаем, у Брасова была умильная морда ксендза и давленные клюквенные губы паяца, Бобович уехал в Туркестан на новостройку. На букву В вовсе не было людей, а лишь названия учреждений, каждое из которых произносилось так же трудно, словно напильником проводили по зубам... Логика его терпела ущерб, он залистал странички быстрее, выписывая на бумажном клочке возможных кандидатов в благодетели. Иные



были отвратительны ему: у Граперонова М. Н. всегда нестерпимо пахло изо рта чернильным карандашом; Граперонова М. Н., этого цинического бонзу в шелковой шапочке, потому что зябла лысина, он вообще беспричинно презирал. Вездесущие Давильцин и Зуммер были, по существу, невежды и авантюристы, несмотря на значительные посты, куда их выбрали для заполнения новой мебели ленинградского треста; откровенная контрреволюционность Кортенки коробила Скутаревского; Мумарев, нелюдим, жадюга и заика, все равно не даст. Талицын — такой тощий и плоский, точно спать ложился в книгу и прикрывался кожаным переплетом, — непременно кашляет в кулачок и — кхе-кхе, скажет, я подумаю... Сергей Андреич испытал дробненький холодок в лопатках: друзей у него в наличности не оказывалось, и это было страшно. Дальше он перелистывал страницы уже с вялым любопытством, по старой привычке доводить научное исследование до конца... Его улов был небогат, на полях остались выписанными лишь две фамилии: Девочкин и Петрыгин. Иван Иеронимович Девочкин — это было смешно, весело и величественно; известный хирург, гремевший в свое время в обеих столицах, демократ, любимец студентов, надежда своего поколения и умница, всегда искренне, подружески и, как старший, несколько покровительственно относился к Скутаревскому. В общем, Сергею Андреевичу все-таки везло, он схватился за телефон.

К телефону долго не подходили; потом откликнулась жена Ивана Иеронимовича.

— Это я.., — засмеялся Сергей Андреич, заранее радуясь удаче. — Вы, наверно, думаете, что я умер. Ерунда, все-таки я пригласил бы вас на панихидку.

— Нет, я не думала этого, — без выражения ответила жена Девочкина. — Да, здравствуйте...

— Иван Иеронимович дома?.. или загулял? Мне его по делу на минутку...

— Нет, его нету... — Она помолчала и затем сказала с упреком: — Иван Иеронимович помер.

— ...как? — гаркнул, почти падая на аппарат, и какая-то пелена отделила его на мгновение от живого мира. Его обожгло это известие, но как-то сразу он примирился с ним и дальше, может быть, скучал. — Когда?..

— Месяц назад; об этом было в газетах... — И, почувствовав, что незнание Скутаревского правдиво, стала рассказывать о последних минутах мужа — обстоятельно, нудно и с бесконечными повторениями, как умеют только вдовы.

Описание последних минут Девочкина заняло более получаса. Сергей Андреич слушал ее дряблый старческий голос со стыдом и досадой; шутка, которою он в начале разговора приветствовал вдову, звучала явным балаганом. Вдове же приятно было рассказать другу покойного все мельчайшие детали болезни; потом она начала плакать в телефон, и принужден был произносить соответственные утешения такого банального стиля, что едва положил трубку — осталось ощущение, точно воду на гору таскал. И хотя монументальную тень Ивана Иеронимовича не так-то легко было выселить из памяти, он решился на дальнейшие поиски. Оставался только Петрыгин... Правда, он приходился родным братом женщине, которую профессор покидал, но Петр Евграфович не мог не понимать, что в разрыве этом заключается и освобождение сестры из мучительной и скверной истории; кроме того, уж он-то наверняка владел свободными средствами!

Ехать на поклон к Петрыгину, конечно, было противно. Даже и в годы молодости, когда подступали официальные случаи, Сергей Андреевич старательно избегал таких посещений. Консервативный, мелочный уклад шуриновой жизни отвращал его в высочайшей степени. За последние годы тот и сам не настаивал, чтобы грустное это родство трансформировалось в прежнюю дружбу, а и вовсе обрадован был бы любой оказии навсегда вычеркнуть его из памяти. Конечно, тот выразил бы притворное, немножко чопорное удивление, но, в сущности, возликовал бы от возможности быть полезным заносчивому зятю: конечно, он предложил бы немедленно послать за ним машину, если только нуждается в разговоре наедине, а собственный его **бьюик** окажется, например, в ремонте. Как бы то ни было, Петр Евграфович знал, что такое гостеприимство не останется без щедрой оплаты. В общих условиях того года самый факт посещения Скутаревского представлял собою вещь, из которой предприимчивый делега мог выцедить всяческий барыш.

Встреча их могла быть крайне любопытна. Знаменательный банный разговор так и не получил завершения, каждый верил, что за ним осталось последнее слово. Правда, сибирская райстанция, по сведениям Черимова, работала бесперебойно, и потом по почте однажды Сергей Андреич получил резолюцию на залитой чаем, нарочито неряшливой папиросной бумаге: «...принимая во внимание повышенную влажность торфа, при которой котлы не дают полной своей мощности, а также удаленность от центра и слабую квалификацию местных технических сил, признать, что увеличение резервов в данном случае оправдывает себя». Без сомнения, бумажка была послана по требованию Петрыгина, — может, даже сам и в конверт заклеивал, — со специальной целью утереть нос Скутаревскому. Но Сергей Андреич, охладев к сыну, и не собирался скандалить по поводу подозрительного казуса; новые подоспевали заботы, и далекая сибирская торфянка давно закуталась в крепкие сибирские туманы. Надо сказать, что забвение далось ему без особых усилий совести. Сын — это еще болело, но уже как прошлое. Дорога к Петрыгину была свободна, и Сергей Андреич хотел думать, что поездка туда не составит для него жестокого и унижительного компромисса. И тут-то снова разыгралось потревоженное его воображение.

Старинный с бездарной декадентской облицовкой дом, где безвыездно существовал Петр Евграфович, каждым камнем своим наводил уныние. Это начиналось с богатой и затхлой лестницы, которая не мылась, видимо, со времен Октября, — со шербатых ступенек с выкраденными плитками, с мутных стен, где зияли линиялые потеки плевков. Кажется, обитатели этой обширной братской могилы, разочаровавшись в справедливости, и не добивались более в этом мире красоты. И верно, жили здесь разные люди со стреляющими двойными фамилиями, старомодного покроя и безвозвратно умерших профессий. Мнемонически Сергей Андреич запомнил: дверь в дверь с Петрыгиным помещался один когда-то чудовищно знаменитый адвокат, но слава изошла из него, как воздух из резинового чертика, — скорбную скоробленую кожицу его иногда встречала Анна Евграфовна у брата на лестнице, когда кожица спускалась проветриться и по-

гулять. Жизнь спрессовала обитателей, как туркестанский изюм, в тяжеловесные тюки; давно они утратили собственную форму и цвет; они путешествовали в будущее с тем же равнодушием, с каким несется в космическое пространство весь неживой инвентарь планеты... Стоялая вонь прошлого шибала здесь в нос гостя, как из детского пугача. Распахивалась забронированная полдюжиной замков дверь, и ошеломленный посетитель видел себя во весь рост, как бы изъеденного рваными чумными пятнами: осыпалась с зеркала древняя екатерининская амальгама. Квартира Петрыгина являлась логическим продолжением лестницы. Потом начиналось шествие по низким, как бы сужающимся коридорам, густо заселенным вещами. Иное валялось на полу, неторопливо ползя к помойке; иное, запакованное в рогожи, пылилось на самодельных полатах; иное с обезьяньей ловкостью держалось на стенах. Все это были вместительные резервуары давно погибших эмоций: люстра, вазы, аристон — большая музыкальная шкатулка, невероятная пищаль, из которой сам изобретатель не посмел выстрелить ни разу, и, среди прочего, общежитие мелких хрущовых жучков, ловко сделанное в виде чучела морской птицы. Этими вещами, как на бирках крепостных мужиков, отмечались грозные происшествия тех лет. До войны вещи выглядели осмысленно, но вот сломалась ножка у павловского столика, и починить его было некому. В тот год, одновременно со знакомым краснодеревщиком, призвали и Платошу ратником второго ополчения. Неожиданно упала люстра и придавила любимого кота. Потом пошли черные газеты и белый снег последней **российской** зимы. Запасали сахар и крупу в огромные севрские вазы, которыегодились впервые в жизни. Продавали почти даром французскую эротическую библиотеку Евгения Евграфовича, растерзанного солдатами на фронте; спекулянт, который обменивал ее на муку, униительно долго рассматривал похабные картинки, хохотал, трогал пальцами, чтоб удостовериться, а владельцы библиотеки стоя терпеливо ждали его решения... Замерзла уборная, лед пробивали старинной пищалью, и тут бабушка Екатерина Егоровна умерла от сыпняка. Стреляли с соседней крыши по юнкерам и прострелили ящик аристо-

на; Платошу пристрелили еще раньше. Домком отобрал пианино для детских яслей. Петр Евграфович отморозил ногу в очереди за мороженой картошкой. Продали диван, продали сервант, продали люстру, обменяли на мыло бронзового Пигмалиона... Потом переменялось: купили диван, купили буфетик, починили аристон, купили пианино, купили... это был нэп. Потом опять продали, уже накрепко. Чаше приходили старьевщики, барахольщики, антикварные проныры, соглядатаи, Штруфы и просто глядуны. Ужасный дом этот лихорадило; он уже не примечал событий, но только бредовую, блошиную скачку вещей, закрутившихся в буревом смерче...

Сергей Андреич испытывал томительную скуку, когда видел икону в углу петрыгинского кабинета, повешенную на виду. Сам Петр Евграфович давно разуверился во всем, икона служила ему лишь средством вызова, протеста, своего рода стенкой, за которой отсиживался до поры. Но не скуку, а прилив ярости чувствовал Сергей Андреич, когда видел аристон, под который праздновали его женитьбенную сделку. Вещи стояли мрачнее могильных памятников, но, он знал, в секретном ящичке одной из этих деревянных развалин хранились бесценные тридцать тысяч, необходимые ему для вступления в новую жизнь. Запустелое место требовало к себе уважения, и следовало заранее побороть свою непримиримость. Может быть, даже придется раскланяться с адвокатской кожицей или спросить о здоровье содержимого в неряшливом капоте, которое проскользнет посреди разговора по коридору. «Редкий гость, редкий гость...» — заговорит хозяин, весь играя, как призма, когда, тонкий и сочный, падает в нее луч. А сам будет думать: «Неспроста, неспроста... зря не пойдет к Петрыгину». Потом он заведет политический разговор, в котором пошлость искусно сочетается со сплетней, а Скутаревскому останется — поддакивать? Ну да!.. ведь это он придет к Петрыгину просить денег, а не наоборот.

Словом, Сергей Андреич трижды брался за трубку и всякий раз, точно тяжесть ее превышала его силы, не мог оторвать от рычага. Прямая необходимость, ибо бушевала на кухне жена, снова гнала его к аппарату, и он шел, презирая в себе минутную слабость. Еще неизвестно, однако, сдался ли бы он на петрыгинскую милость,

когда прозвучал телефонный звонок. Трубка едва не выпала из рук: ему везло, звонил сам Петрыгин, и в голосе его, слегка порхающем, не отражалось и доли прежней неприязни. Очень спокойно, вполне с тактом, он приглашал зятя поехать за город, в деревню, в глушь и снег, на лисью охоту.

— Тебе полезно, родной: ты заплесневел, как груздь без засола. Небось, и мысли скверные лезут. В наше время чаще следует думать...

— ...о спасении души? — засмеялся Скутаревский, потому что ему тоже стало жарко и весело.

— Нет, но об умственной гигиене.

— Да, ты прав, — бормотал Сергей Андреич, размышляя, что, наверное, с таким же ребяческим ликованьем обставляют друг друга жулики при дележе добычи. Разыгрывая видимость сопротивления, он прибавил на всякий случай: — Да, но у меня завтра...

— Возражения не принимаются. Ехать сегодня, — перебил Петрыгин. — Все... валенки, ружье, лыжи... все будет на месте. Возьми зубную щетку и полотенце. Я заеду за тобой через час.

И сразу, вразбивку, точно опасался, что сбежит, принялся расписывать про исключительные условия охоты, про замечательного егеря, которого держал на жалованье, про его теплую избу, про красоты зимнего леса, про удовольствие от стакана гретого вина и про вековую мудрость мирных деревенских шей. Чтобы быть ближе к делу, согласился уже с первого слова. Нейтральная уединенная обстановка вполне согласовалась со щекотливой темой разговора. Кроме прямых выгод, представилась еще побочная — на сутки оставить Женю наедине со своими мыслями. Сергей Андреич замечал, что из понятных подозрений она избегает даже глядеть на него; и правда, он несколько громоздкими приемами нанимал себе секретаря.

Все происходило именно так, как пообещал Петрыгин. В назначенное время он ждал Скутаревского в машине Энерготорфа, посмеивался, потирал руки и шумел.

— Влезай, влезай... Ну, что у тебя нового? Так и не узнал, отчего рыбы светятся?

Сергей Андреич с размаху вдавился в кожаное сиденье, машина скользнула из переуллка.

— Ну, ты, вероятно, уже все слышал, — и покосился на шофера. Но Петр Евграфович не стеснялся:

— По городу ходит про тебя уйма слухов, но сплетня разжигает аппетит. Черт, прямо шекспировские страсти. Сестра рассказывала, ты даже зубами скрипишь по ночам и сервизы бьешь?.. Кстати, она молоденькая? Где ты ею раздобылся?

Он спросил об этом вполголоса, сделав неуловимый жест и с тем доверительным мужским акцентом, который допустим только между старыми приятелями. И, выстрелив в него новым хохотком, уставился наивным оком — попало ли. Лицо Сергея Андреича жестко чернело на фоне мелькающей улицы. Он молчал, и Петр Евграфович понял, что стиль беседы следовало подобрать иной. Игра велась вкрупную, и требовалась повышенная деликатность к тому, кого собирался обыгрывать. Тут захватила их вокзальная суматоха. Облака сквозного пара подымались к лампионам, одышливо пыхтели паровозы у перрона, и где-то на путях, убежавших в безлюдную тьму, скупым дорожным криком перекликались отходящие поезда. Наступала зимняя ночь; она заглядывала сюда полукруглым куском неба, из которого, медлительные, танцуя и порхая, неслись снежинки. И хотя вот тут же, в двадцати шагах, за кирпичным углом багажного домика шумел город, все обычные мысли растворились в волнении неожиданного путешествия... Еще раз Петр Евграфович попытался установить душевный контакт со спутником своим.

— ...слышал? Прогресс. Банщики единодушно идут в управление государством. Я про этого, про родственника комиссара твоего. Понимаешь, выбрали в райсовет... Я встретил его на днях в жилищной секции. Обрился, физиономия — совершенный ростбиф и с этаким морковным гарниром. Странно, как в начальство — так прыщи. «Когда попаримся?» — говорю...

— ...а он? — быстро, с возмущением спросил Сергей Андреич.

— Он сказал: «Не задерживайте, гражданин». Но я не уходил... Он замигал, чудак, и отвернулся.

— Радуюсь за Матвея Никеича, — суховаато сказал Скутаревский.

Петрыгин дружелюбно коснулся его руки:

— Ты всему теперь радуешься, положение твое такое: тебя купили. Нет, не на деньги... но тебе верят безоговорочно, а это самая страшная монета.

— Чудно ты говоришь: совсем как твой тесть, с той же хрипотцой даже. — Скутаревский посторонился от моторной тележки, груженной ящиками. — Давай не будем об этом... Ну, как твой сахар?

Петрыгин оборвался; установившийся метод впервые не оправдывал себя. Обычно дело начиналось также со смешной историйки, со скептических намеков, с рассказов о передовизме старого хозяина, а кончалось серьезным и вполне деловым разговорцем о желательности экспедиционного корпуса на Кубани и, в случае дальнейшей удачи, восстановлении частного капитала в России. Уж он-то крепко знал по самому себе: в русском человеке всегда и всякие найдутся дрожжи. Но, очевидно, была ошибочна первоначальная установка... Охотникам удалось занять место у окна, и тотчас же Петрыгин закрылся газетой, а Сергей Андреич глядел на бегущую вереницу подорожных елей за окном и размышлял в том смысле, что наступление на петрыгинские деньги следует начать не ранее утра. Пока над бескрайним полем стояло еще застылое зарево Москвы, пока мелькали в памяти названия знакомых станций, донимали городские заботы. Потом стало бледнеть все оставшееся позади — сказывалась многомесячная усталость, а выйдя в снежное безмолвие полустанка, вздохнул глубоко и протяжно, точно просыпаясь от трудного затянувшегося сна. Морозный, ни даже шорохом не засоренный воздух неприятно покалывал лицо; тишина щемила сердце и сообщала телу сознание ужасающей его неповоротливости. Да и вообще — очарование деревенской жизни, больших расстояний, птичьего щебета на заре, сурового житейского уклада и монументальной скудости впечатлений было всегда ему чуждо.

— Вот она, великая купель, — тяжелою, в пустоту перед собою, вздохнул Петрыгин, едва ступив с платформы на хрусткий, незатоптанный снег.

Просторные мужицкие дровни ждали тотчас за переездом. Охотники улеглись на сено. Егеров сын, он же и обкладчик, парень в огромном замороженном кафтане,



подсупонил лошадь и на ходу заскочил в передок. Путешествие началось с глубокого оврага, куда вдруг, как в сон, понеслись сани; потом наступил длительный подъем на гору и безбрежная за нею иссиня-серая ночь. Лежа на боку, кряхтя на ухабах, Петрыгин расспрашивал возницу о деревенских новостях, снисходительно — о ребенке, который родился у егеря на прошлой неделе, нажимисто — о колхозах и о настроениях мужиков и, наконец, с зевком, — о самой лисе.

— ...обложена. Два круга сделала... маялись с ней до вечера. Теперь не уйдет, — сказал паренек, останавливая конька и скидывая рукавицы.

По колено проваливаясь в снег, он сделал несколько шагов в поле и, наклонясь, пощупал снег. Там раскидистый — три пучком и один в остатке, — еле приметный проходил лисий следок. Накрест захлестнув его кнутом, он молча вернулся к саням.

— ...есть? — таинственно спросил Петрыгин.

— Третья. Днем спугнули: скоком шла... — бросил паренек.

Лес наступил сразу, и с ним дремота. Крепче вина убаюкивали восемнадцать скрипучих километров по ровной лесной дороге. Егерек подстегнул, и комья снега из-под копыт полетели на седоков. Черные ветви елей со свистом хватались за дугу. В сонном сознании Сергея Андреича они уподоблялись то указательному персту, то густым усам покойного Девочкина, то — неожиданно — браунингу, — и среди гипертрофированных этих образов не уместилось ни одного, имевшего непосредственное отношение к ремеслу или чувству. И даже самое слово **Женя** растворилось без остатка в синем этом безбрежии, которое оттого стало хрупким и напряженным, как стальная струна.

## Глава 15

Лиса шла краем леса.

Всю ночь она петляла у деревни, выслеживая еду. Но морозомхватило еще с полудня накануне; серый ветер ударил с севера, сдувая снег и вороньи стаи с голых, звонких вершин. Охота не удавалась, — куры задолго до сумерек забрались на ночлег... Там неглубокий овражек под-

ступал к самым задворкам, и в нем, вокруг незамерзающих родниковых промоин, частый и непроходный теснился ивнячок. Лиса ждала терпеливо; она куснула мерзлое корье, чтоб горечью умерить истечение слюны, и опять ждала. Голод томил ее; глаза ее стали умнее. Она решилась сделать здесь лежку до рассвета, когда головатый белый петух, нарядный ерник и хлопотун, выйдет в обход своих владений. Она почти любила его, это была давняя неутоленная любовь; она начиналась от самой его шеи, одетой гибким и жирным пером, и через томительные, красного цвета ошущенья кончалась горячими, сочными костями, одно воспоминание о которых вызывало одурительный зуд в лисьих деснах. И вот она уже промяла брюхом снег, но тут въехали с разгону пошевни в овраг, и впервые за много пустых лет с убийственной удачью брэнчал под дугой бубенец. Лиса вспрыгнула, переметнулась через ручей и легким скоком пошла в поле. Наст уплотнился после недавней оттепели, и круглая ее, полусобачья лапа почти не взбивала снега. Среди поля лиса остановилась, вскинув короткие темно-кадмиевые уши, и слушала затихающий звук, уже на две трети разбавленный тишиной и расстоянием. Потом, когда истаял, источился он о шершавое пространство, она поднялась в лесную чашу, домой.

Здесь было глуше и надежней. Запоздалая синица с писком перелетела на ветку, роняя снег на лису, — почти грустно та проследила ее полет. Стояла зима, и ни майского жука, ни тетеревиного яйца вокруг. Сумерки густели, небо предвещало холодную ночь; ранние звезды покрупнели, стали точно вымытые, и вот в каждом лисьем глазу отразилось по звезде. Походкой ленивой, даже мешковатой с голодухи, она побрела к норе. В сущности, обширный, многоизвилистый дом этот, вырытый в песчанистом бугре, принадлежал барсуку, но тот спал и не выражал недовольства против теплой и пушистой затычки: пронырливый зимний ветер добирался до него. Нора была совсем близко, — в просвет между деревьями виднелся громадный, синий провал обрыва. Лиса подошла не сразу; по дороге она обнюхала надломленное бурей дерево, но запахи были привычны: клейкий, четкий — промерзлой смолы, и еще сытный, маслянистый, крепко профильтрованный снегом — прошлогоднего копытня.

Ничто не содержало угрозы и не таило опасности, но лаз в самую нору был заткнут снегом и хворостом. Лиса коротко взвизгнула и быстро отошла. Синие звезды падали сверху, порхали между ветвей, и в такт им начинало покачиваться тонкое ее тело. Это был голод, и он пересиливал страх. И хотя совсем не время было мышковать, лиса рванулась в другой край леса — там, на хлебном поле, у опушки, она учуяла однажды под снежной кочкой мышиный выводок. Она не ошиблась, она думала запахами; к острому аромату травы, которую надо жевать при поносной болезни, потом — кататься, примешивался тот, ершистый, востренький, каким пахнет по зиме всякий звериный подшерсток.

Весь этот путь она прошла в прыжок; оставалось лишь спуститься по отлогому скату... и вдруг остановилась, вся подавшись на хвост. Тело ее напряглось, готовое отдаться стремительному прыжку. Длинная веревка пересекала ей путь, вся увешанная красными угольчатыми тряпками. Стало уже темно, и она скорее учуяла, чем распознала, цвет, потому что именно красное есть цвет хитрости, цвет ее вкусового смысла и завершения. Промороженные, скоробленные на морозе да еще смоченные предварительно карболкой, флажки изгибались, тряпичными остриями устремляясь в глубь леса. Мирный низовой вихорек беззвучно покачивал их... Лиса смотрела: каждой шерстиной своей чуяла она это безличное, смертельное лукавство. Не трусость, а вековой опыт ее дедов — ладных огнистых рослых кобелей, ускользнувших от помещичьих борзых, от лесных пожаров, ухромавших хотя бы на трех лапах из зубастой железной челюсти, разверстой на снегу, — проснулся в ней. Нетравленная, нестреляная, она смотрела даже весело; она еще не ведала лихих повадок Романа Ильича. Идти наперерез веревке или проскочить под нею было физически еще труднее, чем бежать против вьюжного ветра.

Летучим, неспешным скоком, потому что самая ночь сулила безопасность, она сделала две обманных петли и там, где еще накануне изгрызла постную жилистую птицу, снова вышла на флажки. Они стали совсем черными, и это также было только цветом ее ощущения. Тогда она метнулась напрямки, в овраг, но и там, по всему спуску

в низину, шелестели черные кумачные лоскутки, настриженные аккуратной рукой егеревой жены. И опять лиса не посмела перескочить через опыт своих предков и родичей; также не могла она понять, что круг этот — ее последнее смертельное кольцо; она не умела объединить в целое уйму одинаковых по качеству, но разрозненных во времени впечатлений; она догадывалась лишь, что счетом хитрость не одна, что хитростей много. Надеясь утром найти какой-нибудь незатянутый прогон, она вернулась в лес и сделала лежку прямо в снегу, под угревой рогатого палого корневища.

То был крупный зверь, двухгодовалая сука, чистая огнянка по масти. Щемило ей соски, набухающие на брюхе, а чуть солнце — она шаталась, как пьяная, посреди сверкающих снегов, и тогда звезды падали в ее глазах даже днем. Ее длинная, по-волчьею раскрытая шерсть отливала в краснину, как верховая шелуха сосен в закате. Все о ней по ее собственным следам вычитал егерь Роман Ильич; ее петли и сметки были почти волчьи, но петель было вдвое против волчьих. И когда на лыжах гонялся за ней до изнеможения, до тех же звезд в глазах, до сосулк на седеющих висках, знал, что гоняется не зря. Дважды она уходила из круга; Петр Евграфович заставлял ее на третьем, и не то чтоб ему везло, просто он был самый щедрый из клиентов Романа Ильича. Но хотя Петрыгин во всем старался блюсти старобарскую видимость, не уважал Петрыгина Роман Ильич. «Мышкует, рыльца не щадит...» — говаривал он и еще ниже склонялся за каждую лишнюю пятерку — прятал глаза... Умирало старинное егерское, равно как и банное, ремесло; мельчали лисы и пропадали, — всякую осень он с трепетом выходил на порошу — прострочило ли ее следком. За последние годы, впав в ничтожество и бедство, Роман Ильич возненавидел свой тяжелый и неровный хлеб. Семья состояла из семи, приезд охотников совпал с появлением восьмого; это он оглашал ревом избу, когда, непривычно застегивая на себе патронташ, выходил ранним утром убивать рыжую. Впрочем, Сергей Андреич слышал только голос самого Романа Ильича, который шел сзади и бубнил с желчным и горьким хвастовством про бывалые охоты с какими-то мифическими французами.

После кислого запаха избы — то ли от роженицы, то ли от горшка вчерашних кислых щей, выплеснутых собакам, — морозный воздух одурял до головокружения. Та же лошадь, что и ночью, понесла их по раскатанной дороге к лесу. Двое старших сыновей, вряд ли в будущем егерьки, в брюках, запущенных поверх валенок, бежали за ними на лыжах. И опять Петрыгин лежал на боку, трясясь лиловым мясом щек, лицо в лицо Скутаревскому.

— ...итак, у тебя большие перемены в жизни, — сказал он, потому что глупо было глядеть в глаза приятелю и молчать.

— Да, я решился на разрыв. Выхода другого я не вижу. Я уеду сам, оставив ей все. Арсений зарабатывает достаточно...

— А ты не пробовал пойти на примиренье? — Он и сам понимал, что вопрос глуп, но дорога была длинна и слова не купленные.

Можно было не опасаться быть подслушанным. Егерь целиком был поглощен разглядываньем снега по сторонам; он работал там, где другим предоставлялось удовольствие. За поворотом стало зашибать ветром; Роман Ильич поднял узкий егерский воротник, и теперь только встречный от ветра и леса шум наполнял его уши.

— Я понимаю, конечно, — продолжал Петрыгин, — жена — это да! Это уклад, семья, сосредоточенность в работе, собственная крепость... но нельзя же двадцать лет жевать одну и ту же кашу: кроме каши, например, тонкий организм требует еще компоту, фиалок, нарзану, стихов, черт возьми! Но стоит ли сокрушать теплые, обжитые стены, чтоб сделать часовую прогулку вне их? Это только греки для своих триумфаторов проламывали стены, да и то — опившись вражеской крови... Слушай, родной: ты купи ей, девчонке твоей, брошку с бирюзой, недорогую... я видел в магазине уральских самоцветов... купи, насладись и отпусти. Еще и благодарить будет. Я тебе расскажу такие камуфлеты своей юности, что ты... А с сестрой я тебя помирю моментально. — Он был уверен, что Анна Евграфовна простит мужа вприпрыжку и даже с благоговением. — Вот вернемся, я ей позвоню, и все будет в порядке, а?

Насчет брошки — это, разумеется, была лишь пробная дерзость, но по тому, как зашевелился вдруг Сергей Ан-

дреич, по злому его взгляду он понял, что девчонка стоит внимания, а решение зятя бесповоротно: ловец человеков, он изучил его в подробностях. Когда ворвался в жизнь, он один был как целый легион гуннов; в каждом жесте его трепались воинственные лоскутья, чадили походные костры, ржали стреноженные кони. Потом культура разрубила на части эту орду и срастила наново куски, но сила, толкавшая орду, еще не разрядилась. Потребность, которую свирепо подавлял работой и которую не истощило время, проснулась в нем и немедленно требовала насыщения. Видно, розовая лирическая жижица вконец залепила все извилины этого замечательного мозга.

— Примирение невозможно, потому что не было и ссоры, — сдержанно пояснил Сергей Андреич: соскочить с дровней было ему некуда, белое поле стлалось вокруг. — Это копилось давно — старая отрыжка, но я был просто занят эти тридцать лет подряд. И, пожалуй, ей со мной тоже бывало трудно. Моя работа казалась ей безрассудством, она устроила мне сцену, когда я отказался от преподавания в гимназии упитанным онанистам. Ей более к лицу был бы писчебумажный магазин в Париже... и потом, на другой же день после свадьбы в ней поселился какой-то скверный микроб стяжательства, который за последнее время еще усилил свою вирулентность. Она повесила у меня в комнате паршивого короля и, кажется, Штруфова родственника. Я сообщаю тебе лишь факты, и я имею право на мое бешенство... — Именно стихийная разбросанность обвинений показывала его крайнюю непримиримость.

Наступила тишина, прерывистая и хрусткая: так искрятся щетки на роторе. Проехали деревушку, затонувшую в снегах. Дорога спустилась на пойму, и уже стал виден густой черный массив, где, мечась среди флажков, ждала своего заряда лиса.

— Словом, тебе надоела интеллигентная жизнь и захотелось остренького, — задумчиво молвил Петрыгин, смахивая снег с воротника. — Ты говорил об этом с Арсением?

— Он вышел из того возраста, когда это могло повредить ему. Мы тут как-то познакомились с ним и, надо сознаться, не понравились друг другу.

— А ты посеки, посеки молодого человека! — тихонько посмеялся Петрыгин и, так как собеседник ничем не ответил на новую дерзость, продолжал много серьезней: — Ты большевик стал, миляга... но ты ж пойми, социализм тебя застанет в богадельне. А по существу ты же ницшеанец, сибарит, анархист даже... черт, на какую чечевичную похлебку ты меняешь свое первородство!

— Но как ты можешь работать с такими убеждениями у них? — строго спросил Сергей Андреич.

Тот посмеялся длинно и загадочно:

— С точки зрения морали я не нахожу ничего предосудительного в том, чтобы под влиянием нагана отдать не только знания, а и кошелек.

Сергей Андреич собрался было выругаться сообразно случаю, но тут Роман Ильич остановил лошадь и бесшумно вскочил на лыжи. Лес принял их молча, точно и он был в створе на рыжую, только стукнула о полоз лыжа, пока егерь набирал сена для лошади, но звук был расплывчатый, сонный, как след, запорошенный снегом. Гуськом, мимо деревьев в белых рваных чехлах, охотники вошли в чащу. Целую вечность, полную щекотных мальчишеских ощущений, шаркали по глубокому снегу лыжи, и вздрагивали, роняя хлопья, можжевелы, задеваемые ружьями. Потом, скинув куртку, Роман Ильич отправился с сыновьями в последний раз проверить круг, а Петрыгин поставил Сергея Андреича на номер, бросив предварительно жребий.

— Вот убьешь — отдашь горжетку сделать для девчонки. Этакий жаркий пушок будет у нее на горлышке... — не сдержался он напоследок и взглядом спокойным, даже таким, каким ласкают всякую добычу, окинул Скутаревского.

...и сразу замкнулись все выходы из этой белой тишины. Он зарядил и прислонился к толстой, взводистой сосне, у которой стоял в засаде. До гона оставались минуты. Поверх ветвей, нарезанных егерем, видна была пушистая, кочкастая просека; стайка тонконогих березок, наклоняясь по солнцу, перебежала ее. Ожидание поглощало все остальные мысли; как бы в дымке дальнего плана он представлял себе ясно — бежит лиса, но вспыхивает страшный красный звук, и проворный, гибкий зверь, вертясь, визжа

и умирая, кусает свой измочаленный дробью хвост... Сергей Андреич не заметил, как начался гон; в низком соба-чем лае он не узнал сперва насмешливого голоса Романа Ильича. Лай раздавался теперь из всех углов леса, он переходил в лихое, нарастающее уханье. Воздух стал голый, стеклянный. Лес проснулся, и там, где стоял Петрыгин, настороженно щелкнул затвор. Повинуясь звуку, вскинул ружье и тотчас же узнал свою цель. В черноте стволов, не-ряшливо и как бы сажей нарисованных на белой холсти-не, мелькнула нарядная кадмиевая шкурка и пропала. Он ждал петрыгинского выстрела, но зверь, видимо, переме-нил направление. И вдруг вторично, уже в ближнем краю просеки, увидел лису. Покачивая опущенным рыльцем и как бы вынюхивая снег, она решительно шла прямо на Скутаревского; красный хвост ее подрагивал на ходу. В ту же минуту, повинуясь инстинкту и почти не целясь, зако-стенелым пальцем он дернул спуск. На долю мгновения все выключилось из памяти; потом в поле его зрения сно-ва попало гибкое рыжее пятно. Той же деловитой поход-кой лиса уходила в ложбинку, за пни и бурелом, — потом пропала, как бы не дождавшись второго выстрела. Из-за деревьев показался бегущий Петрыгин, и мякоть его со-дрогалась на бегу, как вода в пузыре.

— Эх, спуделял, мазло присноблаженное! — закричал он с сожалением. — А я уж загадал было на лису. — Он зажмурился, прижимая руку к нагрудному карману на шубе. — Погоди, сердце у меня хамит... Как же ты?.. ног-то она тебе не отдала?

Кстати, поразмело сугробистое небо, и лыжная колея заискрилась в солнце ломаным атласным глянцем. Он улыбался, опираясь на ружье; нагледевшись в детстве на мытарства отца, одно наблюдение сохранил он навеки: живая лиса стояла все-таки больше дохлой горжетки. И еще: ни мыслинки не было в голове, а только одно, огромное леса, ощущение — «пускай, пускай все рыжее безбольно гуляет в мире». Он улыбался собственной хи-трости, в которую, правда, поверил только после выстре-ла. И как зверь накануне в ночь не умел обобщить на-блюдений, так и ему самому неприметно было сходство лисьей судьбы с его собственной. Все теперь стало ему нипочем — и вздохи Петрыгина, и укоризненное молча-



ние запыхавшихся егеревых сыновей. Роман Ильич искал следов дрови на снегу и, не найдя, побежал по следу, выводившему из зафлаженного пространства.

— Ни кровиночки, — сообщил он, вернувшись. — Видно, впервой на зверя-то! — Но он не сердился, потому что **хвостовые** все равно оставались за ним, да и лиса сохранилась в резерве для настоящего стрелка. — Ну, мчимся на второй круг.

Суждена была в тот день неудача: со второго круга лиса прорвалась до выстрела, и, пока наспех затягивали третий, подступил вечер. Неуклюже и громадно день заваливался за горизонт, как простреленный и кроткий зверь, и багровеющее солнце напоминало кровоточащую рану на нем. Стрелять стало темно, лошадь глядела назад. Возвращались в молчании, и только близ самого дома повеселил их младший егеренок. В посинелой руке он тискал варешку, которую поминутно прикладывал к уху. Там держал он какую-то подбитую зимнюю пичугу, она ершилась в варешке, и нравилось егеренку непокорное, щекотливое ее шевеленье; так и гулял он с ней, как с песней. Вскочив к отцу в пустой передок, он искал глазами добычу и долго после того с озабоченным вниманием взирал на чудаков с ружьями.

Главное объяснение произошло только после ужина. Все происходило согласно обещаниям Петрыгина. Дымилась щи и тлели рубиновые огоньки в стаканах красного вина. Скутаревский прищуренно глядел в угол на играющих котят.

— Итак, — начал свой последний абзац Петрыгин, — ты решил уехать. Но куда?

— Об этом я и хотел говорить с тобой. Мне нужно мало, конура...

— ...но с ванной, — брюзгливо подсказал Петрыгин.

— Да, по возможности с ванной.

Топилась печка в комнате, мокрые валенки исходили паром.

— Хорошо горит, — зевнул Петрыгин, подумал и еще раз зевнул. — Любовь... диктатура материи... не знаю. Я видел однажды любовь в окне подвала. С женщины тек пот. Мужчина был волосат, и у него была тощая спина мученика. Эта двойная молекула...

— Прости, мне не нравится твоя ерницкая практика. Тот очнулся и трезво взглянул на Скутаревского:

— Да, я не к месту. То был уже конец, а мы пока еще о начале. Все это от мудрости: вот он, безалкогольный напиток, которым все мы утешаемся в старости... И так, конура... но конура стоит денег. А денег наличных нету. А денег надо много. Так?

— Штруф предложил мне купить квартиру. Она стоит тридцать тысяч, и эти деньги я хотел просить у тебя.

— Да, конечно, жаль упускать случай... — вяло сказал Петр Евграфович и встал.

Сделав несколько шагов по комнате, он остановился и взглянул на Скутаревского. Тот глотками отпивал вино, смотрел остаток на просвет, и тогда по губам его плескались уютные домашние огоньки. И опять Петр Евграфович принялся за свои виражи, чему-то улыбаясь и прищуриваясь. Комната была тесна, вся заставленная пузатыми крестьянскими укладками. Остановясь у стены, он долго взирал на вылинявшую фотографию: егерь пластовал убитого медведя. Из-за рамки, точно жерла наведенных орудий, чернели круглые крестьянские клопы... Потом, пощелкав языком, он снова принимался ходить, и в стоящем шкафчике, уставленном всякой домашней утварью, откликнулись ему тихие перезвоны разбуженного стекла. И вдруг, когда Сергей Андреич предполагал уже, что Петрыгин, парализуя просьбу, предложит ему только треть суммы и уж во всяком случае не больше половины, тот туманно объявил, что ему, Скутаревскому, вообще небывало везет в жизни.

— Деньги... это большие деньги! — И жестокая нотка скользнула в петрыгинском голосе. — Но Анна сестра мне, а с тобою мы пережили длинную дружбу, от сладкой пены до ее тошного и горького осадка. Деньги я тебе достану... но деньги эти не мои.

Скутаревский перебил с горячностью:

— Я дам расписку, доверенность на получение зарплаты. Наконец, я согласен на любые проценты.

Петрыгин посмеялся:

— Э, дело не в том... но они принадлежат человеку, которого нет в Москве. Его нет в Москве, он уехал, но он вернется. Он вернется не ранее полутора лет. Срок для

тебя достаточный, правда? Но если он вернется раньше, ты, конечно, не подведешь меня. К тому же... — Он сделал паузу как бы затем, чтоб разглядеть линиялые, усатые фигуры на фотографии, позади распяленного медведя. — Работа твоя, наверно, будет премирована, судя по тому интересу, который она вызывает в правительственных кругах.

— Ну, Иван Петрович преувеличивает этот интерес! — настороженно и с ударением на имени отпарировал Скутаревский.

И опять Петр Евграфович не выразил и тени смущенья; безошибочное чутье подсказывало ему, что теперь, после сделанной затравки, с зятем можно не церемониться. Станция в Сибири оказывалась пробным камнем, и Петр Евграфович имел основания бесстрашно запускать в Скутаревского всю свою ухватистую руку. План его, упрощенный до банальности, в целом напоминал давешнюю облаву с флажками, но теперь судьба обернулась по-иному. Переменив направление, лиса шла прямо на Петрыгина, не торопясь и не догадываясь ни о чем; словом, Петр Евграфович имел время прицелиться достаточно точно.

И уже на другой день, расставаясь на московском вокзале, он крепко сжал зятеву руку и поздравил:

— Ну, с новосельем, значит. Между нами говоря, завидую тебе. Но я стар, питаюсь овощами, спать укладываюсь в десять, и весь я такой, точно жидким мылом меня налили. Плоть свою ненавижу, в которой душа и тонны мертвого сахара разболтаны... вместе!.. Если хочешь, я достану тебе сразу тридцать пять тысяч: пять — для Анны, ей будет трудно первое время.

При этом он сообщил, что денег этих у него нет пока при себе, их следовало еще доставать; на секретном языке это означало, что они спрятаны в надежное место. Во всяком случае, их можно было получить на неделе, уведомляясь за день по телефону.

## Глава 16

Теперь оставалось только отыскать Штруфа, всучить ему деньги и договориться о покупке. О том, что обиженный в самых гуманных качествах комиссионер мог

заупрямиться или вдруг полезть на дыбы, у Сергея Андреича и мысли не возникало. Он платил чистоганом настоящие трудные деньги, из которых значительная доля шла, без сомнения, на пропитание самого Штруфа. По слухам, оказавшийся полезным жулик этот по-прежнему обитал у брата Федора, и, хотя поездка сопряжена была с некоторыми неприятностями, Сергей Андреич пошел и на них — не поручать же было щекотливого этого дела институтскому, например, секретарю.

Братья виделись так редко, что иные считали их попросту однофамильцами, и ни один этого вначале не опровергал. Оба вылетели рано из вонючего отцовского гнезда, слишком разнились их оружие и философические установки, с которыми они вышли на большую дорогу жизни. И, как все люди, сделавшие сами себя, оба мало нуждались в родственниках... Федор Андреич начал крепко, не хуже брата Сергея, — не зря называли их тогда братьями-разбойниками. Его академическая работа **Аввакум в Братском остроге под Байкалом** была откровением для своего времени, даже, пожалуй, манифестом. Это была грубая, почти натуралистическая повесть о некоем абстрактном, поруганном человеке, переданная с небывалой для начинающего живописца силой. — Стиснув зеленые цинготные губы, огромный распоп сидел на гнилой соломе, вкомпонованный в угол тесной земляной ямы: в этих удручающих зеленых тонах была выдержана вся картина. Зажав скуфью в кулаке, он одним горящим глазом следил за крохотным серым зверьком, обнюхивавшим его дырявый сапог. Зверек был голоден, распоп — огромен. Кажется, эпиграфом служило то самое место его жития — «мышей много, я скуфьею их бил, только и было оружия...». Сверху заглядывало краснорожее пашковское воинство. В общем, неясно было, на что намекал художник этим яростным бунтовщиком, который с автократом Никоном и с зубатыми придворцами его хотел биться и которому довелось воевать с мышами. Но, должно быть, на этой работе скрестились общественные настроенья тех лет. Реакция давила, русская интеллигенция, беспрограммно приветствовавшая первую революцию, искала всякой формулы своим смутным метаньям. Федор получил заграничную командировку,

медаль в атласном футляре и выгодный заказ на портрет одного почтенного старца, который собирался умирать с минуты на минуту.

Перед отъездом в Италию братья-разбойники встретились; молодой физик приехал проводить молодого художника. Сергей Андреич сознался откровенно, что ему не нравится распоп даже в большей степени, чем модный, с широкими отворотами летний костюм брата. Оба петушились, ни один не желал из родственности пойти на уступку.

— Это не картина, а сплошная аберрация пространства и твоего таланта, — пояснил Сергей. — Всякое вдохновенье... только пойми меня правильно!.. следует десятикратно фильтровать разумом. Эта безумная кобыла в такой овраг сослепу закинет, что и костей не соберешь.

Сергей исходил из правил своей науки, Федор смеялся, — костюм приятно обтягивал ему талию. Успех научил Федора Андреича смеяться чуть свысока.

— Ну, милый, наука открывает только то, что душа уже знает. — Не без щегольства он выдернул на ладонь золотые часы: поезд отходил через минуту. — Милый, человечество дошло до предела познания. Странно, что оно еще не летит во всех смыслах. Что ж, прыгни в этот голубой омут вселенной, и ангел знания пусть поддержит тебя!.. — Он был молод, дерзок, многословен, шумен и еще по-артистически, священно, глуп.

Расстались надолго, от Федора не приходило вестей. Единственное письмо его содержало путаные и пошловатые разглагольствования об итальянском Ренессансе; он писал о чудесном, густо наозоненном воздухе его и даже, видимо, после чересчур сытного банкета, что-то о восстании мертвых; он подчеркивал, кстати, что когда мысленно покидаешь Ренессанс, то как бы уезжаешь из столицы; за восторженной словесной шелухой слышалось, однако, его смущенье. И правда, по возвращении он первым делом отправился взглянуть на себя в академическую галерею. Было так, точно после солнечного утра он вернулся в затхлый и темный чулан; **Аввакум** показался ему неуклюжим ублюдком варварской северной фантазии. Это обширное и слишком быстро ставшее знаменитым полотно старело так же быстро; черной кисеей

подернулись угасшие краски, но все это только потому, что и самая тема успела выцвести. Реакция породила в искусстве бесплодный и вычурный эстетизм; новое поколение истерически громило Скутаревского за литературщину; газеты по-разному, но, в общем, сочувственно описывали страдания молодого прыщеватого человека с Балчуга родом, якобы задержанного у картины с ножом; но была в том и доля правды, — прямая пластическая цель была подменена безвкусным рассказом о никому не нужных отребьях протопопа. Федор Андреич объявил друзьям, что он решил драться за подлинное искусство; вторая его работа — **Женщина за туалетом** — была принята с недоумением, хотя дело объяснялось просто: объектом послужила одна знатная апеннинская синьора, обожавшая начинающих живописцев. Но некоторые по старой привычке искали скрытых намеков и в этой стареющей, торжественной и печальной особе. Последующие работы, мрачная **Смерть Петра**, идиллический **Сенокос** и окончательно безличные **Рекрута**, показали всем глубокий и преждевременный кризис художника. Никто уже не утверждал, что автор хитрит и прячется, но все при встрече с художником участливо опускали глаза. На выставку пришли друзья — вся эта недобрая шпана, обрадованная явным провалом сильнейшего соперника, шумно и неопрятно целовала Скутаревского в щеку, поздравляя с успехом... и всем было немножко стыдно, а больше всего ему самому, виновнику торжества; в конце концов ему хотелось сбежать, захватив свои изделия подмышку. Долгое время никто не покупал картин Федора Андреича.

Вынужденное трехлетнее молчанье помогло молодому мастеру собрать силы, и, так могуч был первый его успех, о нем еще не забыли. Новая его небольшая картина — **Забастовка**, сделанная как бы с закушенными губами, едва не была забракована жюри. Адвокаты боялись скандала, который, разумеется, нарушил бы пору либерального того перемирия. В тени низких фабричных корпусов теснились рабочие, а посреди двора, в кольце их, стоял некрупный человек в чесучовом пиджаке. Солнце припекало его округлую, взмокшую спину. Он ждал. Взгляд его, чуть скошенный назад, на открытые ворота,

выражал озабоченное нетерпение. Туда же с хмурым тяжеловесным любопытством смотрели и рабочие. Кучер за воротами торопливо отводил в сторону вздыбившихся фабрикантских коней; в коляске сидела нарядная девушка. Она была испугана; она уже видела то, чего не видел никто из стоящих на дворе. И хотя все там было спокойно — только востроносенькое облачко плыло над чахлой землицей, — уже чудился зрителю дробный, на всем разгоне, топот казацких копыт. Мастерская палитра и ироническая светотень делали эти две группы выпуклее и злее, чем любая листовка, которые обильно раскидывались в ту пору по царской провинции... Картина наделала шуму; на нее взирали как на дурное пророчество о грядущем и спешили пройти мимо. Сюжет ее почитался почти неприличным посреди безоблачной, казалось бы, политической погоды. Интеллигенция страшилась того, в подготовке чего сама участвовала в течение полутора веков. Один журналист записал разговор, подслушанный у картины: «Пора, пора, батенька, деньги в заграничные банки переводить!» И, хотя по мотивам ущемленного самолюбия Федор Андреич назначил баснословную цену, картина была продана в первый же день.

На чеке та же, что и на предыдущих, таких же розовых и емких, стояла подпись. Он пытался разобрать имя своего неизвестного мецената. «Жирей и старья!» — прочел он по первому разу, и ему стало не по себе, точно на ухо шепнули правдоподобную пакость. Совпадением транскрипций объяснился этот сокровенный намек: фамилия мецената и петрыгинского тестя была Жистарев. Умный, жилистый этот старик, внезапный любитель живописи, покупал и все последующие работы Скутаревского. Он чувствовал его силу и не торговался никогда; впрочем, делал он это через своего доверенного, скопца, с личиком, похожим на горсть спрессованной шепталы. Жистарев предпочитал действовать внедрением роскоши, тем самым способом, каким доисторические китайцы умирляли воинственных северных соседей... Незадолго до объявления войны, после пьяной пирушки, утром однажды Федор Андреич ворвался в квартиру мецената, кажется, он собирался потребовать отчета. Не снимая шляпы, высокий, лысеющий, с че-

люстью чуть набок, потому что держал в зубах нечто потрескивавшее и дымучее, похожее на бризантный шнур, он шатко вошел в просторную комнату и ждал хозяина, опершись на рояль; на пороге стонал пожилой жистаревский камердинер, поглаживая вывихнутую руку... Потом Федор Андреич увидел человека с лицом мыслящего лакея и с бескровным лбом, сутуловатого и корректного, — такого никогда нельзя застать в халате; может быть, он даже и спал в этом несмятом, как бы чугунном сюртуке, в который в скором времени должна была бы облечь его история. Он вошел тихо; водянистые глаза смотрели более чем равнодушно.

— Пришел познакомиться и объяснить, — прокричал из табачного облака Федор Андреич, распространяя вокруг себя алкогольную суматоху своей мансарды.

Тот скрытно улыбнулся куском лица, видимо предназначенным только для этой цели. Он все понимал наперед и скуку предстоящего разговора мог побороть лишь повышенной снисходительностью.

— Слушаю вас. — Он поклонился, морщась от скверного дыма.

— Вы буржуа, я артист... — громово приступил Федор Андреич; расплывчатая тень сигары, которую он жевал, неряшливо двигалась по его щеке.

Тот перебил его:

— Погодите, снимите шляпу, вам легче станет думать. — Он сказал это просто и совсем не обидно. — При этом подобная сигара, сконструированная из окурков и торфа, может скомпрометировать художника даже большей славы, чем вы. По своему дарованию вы имеете право на лучшее. Курите! — и открыл ящичек особенных, каждая в золоченой бумажке, папирос. — Я слушаю вас...

Он бережно взял за краешек сигару Скутаревского и, не меняясь в лице, выкинул в сад. Было утро несравненной голубизны, зеленая прохлада плескалась за окном, а желтое лицо Федора Андреича блестело, точно парафиновое.

— ...а я артист! — уже с гораздо меньшим апломбом начал Федор Андреич. — Вы покупаете все мои произведения. Я требую... я требую... — Несколько протрезвясь, он забыл, в чем именно состояло его требование.



Жистарев поклонился:

— Я согласен, что цены были непомерно низки. Вы хотите переоценки?

— Нет, я требую объяснить, что это значит... — тише и даже как будто теряя в росте, бросил художник.

Снова кусок лица, пришитый к скуле, под глазом, задвигался в улыбке.

— Мне нравятся вообще раскрашенные картинки, — с якобы бестактной искренностью сказал меценат. — Сделанные кисточкой мне нравятся больше, чем сделанные карандашом. — Еще не старик, он старчески качнул головой. — О, мне бы ваш темперамент! Вы, наверно, безумно нравитесь женщинам... но если бы у меня была вторая дочь, я не отдал бы вам ее! Вы всегда останетесь нищим.

Федора Андреича даже в жар бросило.

— Я не понимаю... — бормотнул он.

— Вы находитесь на опасном пути, молодой человек! — Право называть так Федора Андреича давала ему разница не только возрастов, но и состояний. — Надо служить кому-нибудь одному: искусству или... заниматься социальными реформами. Ваша **Забастовка** организовывает, вы понимаете это? Это улыбающееся, на переднем плане, обращенное к публике лицо рабочего — это вызов! Словом, я умоляю вас, молодой человек, вернитесь к подлинной красоте!

— Это толстая чековая книжка или количество лакеев в доме дают вам право советовать художнику? — снова, бледнея во лбу, взыграл Федор Андреич.

— Тогда я уничтожу вас, — сухо вато сказал Жистарев, и ящик с папиросами закрылся. Он переждал минуту крайнего художникова ошеломления. — В балансе у меня имеются на сегодня восемнадцать ваших полотен. И они отлично горят. Они не блещут, но в них заключена ваша творческая юность. А вы не так уж молоды, молодой вы мой человек!

Федор Андреич сидел тихо, с паршивым ощущением, будто ему не слишком больно, но достаточно явственно дали по загривку.

— Это варварство! — сообразил он наконец, впервые проникаясь страхом перед священным правом собственности.

— Это всего лишь общественная гигиена, — скучно и тоном взрослого поправил собеседник, а ящичек с папиросами медленно стал раскрываться. — Вас ведет безудержная резвость в ногах. Попридержите их в молодости, они больше пройдут в старости. Курите, курите... я люблю дым хорошего табака!

Уже другой, рослый и надежного сложения лакей принес им кофе. Лакированный китайский подносик дрожал в неимоверных дланях, созданных для иной, более грубой и решительной работы. От хорошего кофе Федор Андреич стал как-то смиреннее и общительнее. Вдобавок драка с лакеем повела бы единственно к порче светлого летнего костюма, который он впервые надел для предстоящего визита. Хозяин также прояснил, разошелся, показывая коллекцию своих Тинторетто, очаровал, проводил до дверей и, хотя это было уже слишком, сунул на прощание в карман художника весь ящичек с папиросами. При этом он предложил поехать с ним вместе за границу. «Вам, как творцу, должно быть понятнее это поспешное, но все же недурное творение Господа Бога. Я говорю про мир! Художники — как дети, они ближе к богу. Коммерция мне мешала до сих пор заняться изучением этой не вполне добросовестной махинации с человеком как он есть. Поездка ничего вам не будет стоить, но вы обязаны будете разъяснять мне смысл некоторых встречающихся явлений...» Compliment и самое предложение были туманны и шероховаты, но меценат от века владел правом на чудачество, и Федор Андреич согласился на эту сделку, хотя, по существу, она значительно превосходила те пределы, до которых он мог опуститься.

Позже, уже в дороге, к ним присоединился Штруф, тогда еще мот и хлыщ, предпринявший обширное путешествие для изучения расовых отличий у женщин всех стран; денег хватало у него также и на собирательство предметов искусства. И уж, видно, суждена была такая пакость: Федор Андреич не умел отказаться вовремя и от его деликатной расточительной щедрости. Роковое пророчество на чеке сбывалось в несколько измененном виде: он лысел и старел. Он даже как-то **обурбонел**, по его выражению. На самую работу времени почти не оставалось; безрассудно было трудиться над тем, что возмож-

но было купить в гораздо лучших образцах. Творческая струйка порвалась, как у гоголевского портретиста. На протяжении нескольких лет он сделал портрет одного сенатора и еще два громоздких пустяка: **Шествие сатиров**, этакую нетрезвую переключку с Рубенсом, да еще **Творение Евы** — вопрос, который его в высшей степени занимал. Именно такими, грамотными и бесполезными, вещами определялся дореволюционный путь в академики, но тут застигла его война. Свирепая и чреватая последствиями, по внутреннему убеждению Федора Андреича, бойня эта отрезвила художника.

Он задумал холст, который был бы как крик, как выстрел в тылу. Тогда-то Жистарев, своевременно заметивший идейное отдаление художника, и заказал ему свой портрет: размер, замысел и цена его были чрезвычайны.

...По-видимому, еще не распалась в Скутаревском от благополучия его творческая желчь, которую всякий из нас в своей пропорции примешивает в краски и без чего не бывает художника. Не случись война, этот портрет, застрявший в петрыгинском кабинете, поставил бы имя Скутаревского в первом ряду общественников-живописцев. Он писал его долго: старела модель, и портрет тенью следовал за нею. Но революция опередила художника; к тому времени умирающий класс уже поднял забрало, и всему миру ясно стало одряхлевшее его лицо... — Произошло это под Полтавой, в имении Жистарева. Одетые в кумач клены заглядывали в окна; багровые блики играли в глянце дорогих обоев, в зеркальных библиотечных стеклах, в столовом хрустале, в водянистых зрачках Жистарева. Шла осень. Старик ежился, кутал ноги в плед, больше от предчувствия, чем от недугов: пружина жизни его была долгая. Иногда в окна моросил дождь и вкрадчиво, умоляюще царапались ветви; трещал дуб в камине, да еще надтреснуто, точно ломаемые пальцы, похрустывал голос старика. Сеансы проходили в неровных, вспышками, беседах; к этому периоду и относились судорожные афоризмы Жистарева, вроде — «хорошие люди — это те, которые не знают, что люди дрянь» или «окончательным героем окажется тот, кто на обломках культуры станет отпускать человечеству обеды по четвертаку и с горилкой». Его фабрики были

уже отобраны, его лакеи разбежались, его зять предусмотрительно забыл о тесте, а вокруг последней его резиденции, имения, уже похаживали, хозяйственно присматривались деловитые окрестные мужички.

Он говорил еще, — застопоренная мысль его текла толчками:

— Я переполнен впечатлениями и опытом, как виноградным соком гроздь. Ее форма закончена, ее семя созрело. Я не знаю, кто выпьет ее и, охмелев навеки, сотворит вещи, которым нет наименованья. Я знаю лишь, какие причудливые формы принимают пространство и материя в бреду. Нет, я слишком стар, чтоб говорить утешительные комплименты даже моей собственной орде...

Работая молча, Федор Андреич не показывал своей работы до самого конца, но однажды этот день наступил, и старик подошел к холсту. Последнее солнце бабьего лета ударяло в окна, и черная тень старика легла к приножью портрета. Вряд ли это была биография класса, скорее памфлет, порою сдержанный и почти правдивый, сказанный с запальчивостью все еще не созревшего мастера. Человек Жистарев стоял во весь рост, с чековой книжкой в протянутой руке: этот человек покупал. В его бесстрашном, чуть асимметричном лице разболтаны были все страсти мира, но они уже нейтрализовали друг друга, — процесс в этой колбе закончился. По замыслу автора, то был бы лучший канцлер своему классу, но лекарь этот пришел слишком поздно, когда класс уже издыхал. Весь фон портрета, чуть зеленоватый, как в аквариуме, был записан сценами, представлявшими попытку коллективного социального анализа. В сущности, это была многопланная записная книжка художника, комплекс его замыслов и социальных представлений, не всегда проверенных точными знаниями, но блестящих по форме: смесь недоумений, осуждения, вопросительных упреков. Родословная эта начиналась сверху; с грузных, теплых, почти фламандских кусков, заливных луговин, тучных коров на них, беспечных и пьяноватых бургеров с круглыми, засаленными бородами; в них оставалась пища, ее выклевывали жирные, с курдюками, птицы. Казалось, сам мужицкий Брейгель гнал оравы своих персонажей по изломанной диагонали холста. В этой эпиче-

ской, изобильной процессии, ликуя, вопя и поедая друг друга, двигались караваны, лошади, купцы, гуси, обжоры, облака, деревья, похожие на беззаботных толстяков, куры, смешные и как бы пьяноватые жуки, толстобрюхие ребята и какие-то рогатые, наверно съедобные, улитки. Ничто не сокрывалось от взгляда Федора Андреича: дома распахивались, чтоб показать свое уютное пахучее чрево, мягкий полусумрак и угарное тепло патриархальных очагов; воды разверзались, обнажая тяжкое гибкое серебро рыб; в прозрачных, зализанных благополучием полях на глазах у всех прорастало жирное, истекающее маслом зерно... Дальше, еще не забывшие озорных песен предыдущего века, торжественно и монументально шли отцы и зачинатели ремесел, цеховые ордена — кузнецы, чеканщики, пивовары, гранильщики, типографщики со своими станками на квадратных плечах, медники, бочары с лекалами и правилами, цирюльники и наемные солдаты, увешанные несложным еще инструментарием для военного убийства. Задние еще тащили на себе неуклюжие горны, точила, мехи, бочки, клещи, тигли, первобытные бомбардоны, а передние уже останавливались у машин, которые все грузнели, множились, уплотнялись в темные массивы, становясь лейтмотивом и даже философским тезисом. Чем дальше, тем тяжелее обычного становилось атмосферное давление. Лица бледнели, все более однообразясь и походя друг на друга: сплетение частей делалось теснее, но краски гасли, и происходило это вовсе не от бессилия художнической палитры. Изнеможенные, мглистые люди несли распятыя, румяных мадонн и жилистых страсготерпцев; иное из этой гвардии святых, истерзанное, измочаленное, в непотребстве тащилось еще в рубищах, иное в непристойной божественной наготе с нимбом, а иное, уже бритое, приделось в сюртуки, а кое-кто ехал даже в рессорных колясках. И чем заметнее серели лохмотья рабов, испачканные копотью, разъеденные кислотами, тем ярче расцветали — темная киноварь кардинальских одежд, разбавленный ультрамарин полицейских мундиров и фиолетовые краплаки чиновничьих воротников, — повторялся живописный прием **Забастовки**. То был, пожалуй, расцвет; все отличалось полнотою и крайним благолепием; только у Схуабрука можно было

б отыскать такую действенную во всех частях, цветистую множественность человеческой мошканы. Тех, которые валились, просто перешагивали; кричавших заглушали литавры оркестров; он действительно гремел и оглушал, медный кадмий Скутаревского... Поток увеличивался, обиходный инвентарь совершенствовался, пушки удлинялись, армейские штыки обогатились знаменательными желобками... Городская площадь, расшитая бисером, вызвала бы меньшее удивление зрителя, чем эти бесчисленные толпы, разделанные с тщательностью старинного миниатюриста. Ликование становилось судорогой, вожди в крахмале и цилиндрах уже не осмысливали дальнейших маршрутов человечества, и не хватило бы всей меди в земле — заглушить крик и отчаяние путеводимых ими. И здесь-то, на переднем плане, стоял человек, последний в ряду... и что покупал он? На его отечных, дрябловатых щеках, еле приметный, играл багрец; это клены за окном окрашивали картину; это и было то, чего недосказал из ложного целомудрия художник.

Жистарев смотрел долго, покусывая губы, и резвая склеротическая струйка на его виске билась и двигалась, как голубой разорванный червячок.

— Да, это уже не вполголоса, — отдельно сказал он потом. — Я зря возил вас за границу, Федор Андреич. Художника из вас не получилось. Вам следовало продолжать ремесло вашего отца. Всякий честный хлеб сытен. Это даже не пасквиль, это безграмотность... вы не знаете истории. К тому же и я не Филипп, и вы не Веласкес! Я сожалею, что оплатил эту плохую литературщину!.. — И он с тоской осмотрел стены, уже не принадлежавшие ему, — он бежал из них неделю спустя.

Его бешенство звучало великолепно; позже, увеличенное в гомерической прогрессии, оно вылилось в свирепом напоре интервенции. Ярость врага должна была воскресить Скутаревского, но он испугался ее. Никак не давался ему второй слог уже задуманного и наполовину произнесенного слова. Он не разгадал еще умной в отношении себя игры Жистарева. Много позже, после первого тура истории, Федора Андреича вызвали на таможенную для получения посылки. Штемпель Медоны закапан был сургучом, и сперва ничего нельзя было понять. Тамо-

женный агент распорол упаковку и заглянул вовнутрь. Его лицо стало озабоченным, — на такой товар нигде не разъяснялась пошлина. Объемистый ящик доверху был полон мелкими обрезками картин; искромсанное лицо девушки из **Забастовки** склеилось с отчищенным сапогом одного из **Рекрутов**. Так отсылают свою продукцию профессиональные головорезы.

Агент ждал объяснений. Федор Андреич попытался дать их. «Я художник», — сказал он.

— Несите так... — ответил тот, разводя руками. — Это и не текстиль, и не краски, и не картины. Забирайте ваше счастье и... Следующий!

Притащив посылку к себе в мансарду, Федор Андреич стал распутывать свои воспоминания. Теперь это был художник всего о двух полотнах: **Аввакума**, о котором не хотел и думать, и **Канцлера**, пропавшего в безвестности: у Петрыгина в гостях он не бывал никогда. Кроме того, Осип Бениславич по секретному заказу Петрыгина замазал сиеной весь фон и вымарал чековую книжку; человек на холсте стал иным. Казалось, он утомленно, вторично на протяжении всего христианского периода истории то ли просил о хлебе жизни, то ли вопрошал об истине; рука его была до жалостности пуста... Федор Андреич от гнева подумывал даже пойти в добровольцы, но тогда не было никакой подходящей войны. Ночью он достал папки своих последних работ и наедине, пока храпливо бурчал во сне его ужасный нахлебник, разглядывал их. Тот же уверенный, почти офортный штрих вводил, однако, в заблуждение. Правда, он и теперь мог служить образцом для молодых живописцев, подменявших живопись ходовой темой, но рука мастера стала тяжеловесна, в ней не оставалось прежней дерзости, которая, как вешний ветер, яснит небо творения. Он листал эти незаконченные картоны и кидал на пол, к ногам; то были эскизы и композиции, детали задуманных полотен, листья дерева, не прошумевшего никогда; красноармейцы с винтовками, а также и без оных, почтительные и равнодушные наброски наркомов и героев труда — а он знал, как это можно сделать! — кроки зверей для зоологического атласа, иллюстрации к халтурному роману, обложечная шелуха для популярных брошюр, открытки... Все это были только

талоны на суровый хлеб художника, недолговечные лохмотья таланта, попавшего в приводной ремень.

Он разбудил Штруфа и, тряся его за плечи, шептал ему, полузадушенному:

— Где мой талант, а? куда ты его дел?

А тот не понимал спросонья, в отускневших зрачках отражался ужас перед расправой:

— Я не брал, я не брал... ты поищи!

Месяцем позже Штруф простил Федору Андреичу его выходку: он знал и сам, как трудно даются первые годы гибели. Кроме того, ему негде было бы жить. Федор Андреич замкнулся в себе; он ничего не понимал, никто не приходил ему на помощь; вещая черимовская фраза, сказанная однажды при нем, — «так платят за сращение с классом, который умер», — ничего ему не объяснила. Он соглашался только внешне, потому что нечем ему было возразить. Так среди бела дня заставала его ночь.

Тогда он вспомнил о брате; со времени той мимолетной размолвки они не беседовали как следует ни разу. В памяти Федора Андреича свежее был образ рыжеволосого Сережки, с которым вместе, бывало, босыми ногами разминали мех в мастерской отца. Это было давно, может быть — на заре мира. Величественные нагромождения его уже тогда звали к себе юного мастера, но в те времена банки ваксы, горсти мела и флакона ядовитых красных чернил хватало ему, чтоб рассказать о чудесном своем пленении. Он рисовал горы, которых никогда не видел, реки или неохватные пространства, еще не заселенные человеком; потом он стал размещать на них то смешное племя, которое его окружало — заказчиков, мастеровых, провинциальных пьяниц — они блаженно леживали в канавах, и за позированье им не приходилось платить, — старух, чиновников, слепцов и, наконец, отца, нелюдимого отца, битого нуждою так, как не бьют на ярмарках конокрадов... Теперь имя Скутаревского нес один Сергей Андреич, а Федор жил в его обширной могучей тени. По-видимому, Сергей отыскал тот самый ключ к жизни, который Федор так бесшабашно утерял. Итак, Федору Андреичу понадобилось вмешательство разума; однажды он пришел к брату — высокий, торжественный, в стареньком черном галстуке, — так идут на



капитуляцию, а Сергей Андреич собирался в концерт, и у него был свободный билет. Брата он принял радушно, но с той родственной небрежностью, как будто они расстались только вчера.

— А, птаха вольная!.. Ну как, все благополучно? — спросил он, как бы заранее предписывая ответ, и тут же предложил на музыку поехать вместе.

Благополучие было явное: Федор Андреич явился на собственных ногах, в том же несокрушимом телесном здравии; штопаный костюм его выглядел вполне пристойно, лысина по-французски была прикрыта беретиком. Совместная поездка в концерт избавляла от нудных расспросов о прошлом.

— У меня есть разговор к тебе, значительный и единственный, — виновато объявил Федор в первом же антракте. — Закончился какой-то существенный цикл моего развития. Сделай милость, удели часок, больше мне не с кем.

— В каком же это смысле? — покосился старший.

— Может быть, это будет исповедь.

Сергей Андреич согласился на просьбу Федора скрепя сердце, подозревая, что тут, по-видимому, предстояла развернутая исповедь художника по традициям доброго старого времени, то есть по душам, с призывом человечества во свидетели, с признаниями во всяких тухлых секретах, со всеславянским надрывом, с сосанием пуговицы на жилетке собеседника, — тошная словесная мазня, от которой у обоих надолго остается душевная изжога. Сергею Андреичу, очевидно, по грубости души, недоступны были такого рода удовольствия. Он осведомился, озабоченно наморщивая лоб:

— ...а может, тебе просто денег надо? Милльон я, разумеется, не смогу... но, возможно, на днях премийку одну клюну. Бери пока, а? Все одно, по секрету говоря, жена Тицианов закупит, по рублю за штуку. Тут у нас жулик один завелся... — Он передернулся от веселой внутренней издевки. — Кстати, а малярки у тебя, братец, нет?

Тот отклонил подачку с негодующим благородством истинного артиста. Правда, бывшие роскошества его истаяли; брюки стали вдвое тяжелее от заплат; со Штруфом, который пришел однажды ночевать, да так и застрял на

диванчике, он проживал уже остатки... но тогда-то, на безденежье, хитроумный сожитель и вовлек его в занятия на промежуточной ступени между чистым искусством и неприкрытым мошенничеством. Произведения старых мастеров всегда были дефицитным товаром, но всякому обывателю с фантазией лестно было повесить Корреджо у себя над кроватью. Затея Осипа Бениславича в том и состояла, чтоб восполнить этот вопиющий пробел. Действовал он как будто даже из высоких побуждений — «Классиков живописи в широкие массы!», но Федору Андреичу приходилось крепко зажмуриться, чтоб не видеть истинных основ нового предприятия. Дело вскоре наладилось, деньги потекли, среди дураков оказалось множество очень почтенных, и Анна Евграфовна охотно стала первой клиенткой... Может быть, впервые на земле ограбленные бывали счастливы. И понятно, Сергей Андреич не догадывался ни о чем, если соглашался как-нибудь при оказии навестить брата в его логове самолично... На этом обещании дело надолго оборвалось, и можно было думать, что нужда в беседе с глазу на глаз отпала. Тем временем обстоятельства заставляли торопиться с покупкой комнаты, но телефона у Штруфа не было, а переписываться с ним почтой Сергей Андреич благоразумно избегал, приходилось самому отправиться к Осипу Бениславичу.

Нужно было входить через двор и дважды перелезть через пирамиды саней: здесь помещалась транспортная база райсовета. Уже при входе, где в убийственную для носа помесь скрещивались примусная вонь и кошачьи воспоминания, чувствовалась концентрированная нищета. Это был не особый какой-нибудь дом, а просто дом с жильцами малого или вовсе никакого значения. Словом, дом этот был уже обречен, уже имелся проект нового нарядного здания на этом самом месте и твердый список будущих обитателей в нем. Сергей Андреич шел в прошлое... Значительную часть дома занимал лестничный пролет: огромное пустое пространство, а по стенам его, взвиваясь к этажам, лепилась железная ступенчатая галерейка. Электричество не горело. Ввинчиваясь вверх, Сергей Андреич остановился передохнуть. Было тихо. Держась за шаткие перильца, он глянул вниз, в теплый

жилой мрак. Видимо, в полуподвале помещалась прачечная, она также вливала свою долю запахов в этот без того переполненный каменный сосуд. Все вместе создавало впечатление, словно неизвестный солдат, рябой и огромный, как война, сушит внизу свои изопревшие ноги. Сергей Андреич решил, что даже в случае безвыходной нужды он повторит свою вылазку сюда не раньше года. Но пока все-таки приходилось претерпевать все эти неминуемые неудобства большой перемены. Сергей Андреич торопился повидать Штруфа на мгновение, попросить о придержении комнаты до получения денег и бежать без оглядки. Вдруг какой-то человек, перемахивая через ступеньки, налетел на Сергея Андреича и, покуда, бранясь, отыскивал спички, тот спросил его о Штруфовом жилище; оказалось, что это сам Федор Андреич и есть.

— Тут у тебя ногу сломаешь!

— Пробки перегорели. Каждую неделю так. Ты ко мне? Тогда нам еще один этаж остался...

— Председателя домкома надо тянуть: заелся, значит. Они, голубчики...

— Так это я и есть председатель! — радостно сообщил Федор Андреич и за руку, как добычу, тянул наверх брата; оба дышали тяжело.

И так был силен напор одного брата, так глубоко виноватое чувство в другом, что сбитый с толку Сергей Андреич тотчас забыл про Штруфа и лишь рукой махнул на потерянный вечер.

— Итак, мы расстались с тобой... Когда это было?.. на чем мы остановились?

— Пойдем, пойдем... у меня свечи есть, — торопил младший.

И верно, свечей отыскалась у него целая пачка. И едва три из них загорелись, сразу стало видно, что панichesкие настроения старшего Скутаревского были преждевременны. Вместо ожидаемого вертепа налицо была обычная художническая мансарда, — в широчайшем и низеньком окне мерцало смутное поле московских огней. Много холстов, один к одному, стояло у стеклянной этой стены; один холст стоял еще на мольберте — драный кусок простыни не прикрывал его целиком, и левый не-

вообразимо зеленый уголок отточенно блестел из-под ее края. На рояле, по черному лаку деки, рядом с палитрой и пузырьком сиккатива, поблескивала тонкая селедочная чешуя; самой селедки уже не было.

— Вот давно все собирался просить тебя, — по ассоциации вспомнил Сергей Андреич, глядя на разбрызганную чешую; перламутровым воспоминанием дальней юности отливала она в колеблющемся пламени свечи. — Напиши, если сможешь... напиши мне стол, наш длинный стол, накрытый с одного конца, помнишь? И вокруг мы, все шестеро — Егор, Антоша, Поля, Никифор, покойники, потом ты и я. И на углу отец... но только ты помнишь его руку?

— Я напишу, я напишу, — заторопился навстречу его желанию Федор.

— ...руку, всю в коричневых ожогах, жесткую руку его. И на столе селедка. Ее съели, осталась голова. Она почти лилова, потому что сумерки; и у нее круглый рот, будто в пении. Ты не забыл, как, бывало, она похрустывала на зубах? Жалко, запаха краской не передашь. Я оплачу тебе холст и краски.

— Конечно, конечно... я передам и запах. Но ты садись, садись! — И придвинул порожнюю табуретку. — Тут сквозняки, ты не снимай шапки-то, не снимай. Спасибо, что пришел меня послушать. Хотя теперь я уже спокойнее: кажется, я изобрел выход...

Он еще долго стоял перед шкафом, шаря по полкам, заваленным бумагой; потом с озабоченным видом выставил на стол бутылку красного вина и хлеб; ничего больше не было в доме. Сергей Андреич из деликатности отвел глаза. «Эк, словно в Эммаусе! Ну вот, начинается!» — подумал он с непостижимым нытьем в челюстях.

— Собственно, я пришел узнать насчет... — начал было он. — Видишь ли, у меня...

— Я все, все расскажу, я не утаю ни крупинки, — перебил Федор. — Итак, ты щедро даришь мне свой вечер. Ведь мы с тобой не говорили столько лет, но ты пришел, доверился, а совсем, совсем меня не знаешь. Ты спросишь, что я такое нынче? Но ведь, чтоб понять — что есть человек, надо спросить — чем он был. А именно прошлого-то я стыжусь. Ты молчишь, не задаешь во-

просов — спасибо. Оно у меня бесплодно, как пустыня, и каждый вчерашний день в ней лежит, как падаль... до сегодня, до этого чердака преследует меня этот заразный смрад. Я кричу туда, назад, но даже эха нет: мертвое не откликается!.. Дай я налью тебе вина, и выпьем за детство, милую сообщую нашу страну, из которой исходят все дороги. И еще, отдельно, за будущее, куда они ведут...

Он отхлебнул жидкой, терпкой черноты из стакана, и тотчас же с обезьяньей уверткой передразнила его тройная на стене тень; она как бы замахивалась на неподвижную тень брата. Стало очень печально и совсем удаленно от жизни. Тем суровее покачивались и коптели высокие огни этих трех свечей. Украдкой Сергей Андреич разглядывал брата: желтое, почти натриевое пламя огня делало его лицо безжизненной и, во всяком случае, старше: как-то не верилось, что он способен был произнести сейчас большие слова. Слишком явен был его тупик... и вдруг обостренным беспокойством рук он напомнил ему мать, но когда та уже не поднималась с постели. Впрочем, только последний ее месяц и помнил с особой четкостью Сергей Андреич; лицо ее он уже забыл. Ее знобило; отец накидал ей в ноги пушистых соболей, лисиц и белок, — она умирала в чужом роскошестве, и какое смертное отчаяние блесело в ее глазах, когда обращались они на шестерых оборванных и нищих детенышей! Дети не резвились, они догадывались; они шурко и затаенно глядели то на тоскующие, ищущие бескостные руки матери, то на быстрые руки отца, колдующие руки мастера. Сутуловатый, молчаливый отец метил мелом и машинально сшивал свои шкурки: он ждал. И тогда мать начинала говорить — вот так же горячо, бестолково и сбивчиво, потому что за время болезни мысли ее слежались даже до иероглифической плотности. Но было в Федоре и еще нечто, что, по ребячеству, проглядел в матери Сергей.

— ...не знаю, с чего начать. Я ведь не философ, и я не растрогать попусту тебя хочу... ты поправь, если заврешь. Знаешь, художники думают лохмато! Все на других хочется свалить вину, в прятки с собою играю... и ненависть к прошлому у меня сочетается с растерянностью перед будущим. Черт, а ведь в том и гениальность, чтобы

осознание насущных нужд эпохи связать с предвидением будущего. Значит, наши октавы не совпадают, постой!.. В чем же дело? Я осудил, я же знаю, как несчастно, как нечестно жили люди. Брат, всю жизнь мне хотелось написать одну книгу — о прошлом. Ее надо напечатать на алюминии: бумага станет прогорать от слов. Она началась бы с истории одного чудака, который призывал человечество к братству и с этими словами, крича их, пошел на площадь, но его поймали, избили в полицейском участке и выдавили глаз... именно глаз, правый! И он умолк, как Абеляр. Но и опять я отстал, как со своим **Канцлером**. Они обогнали меня! Так повествуется в Библии: но правда изверглась и поглотила ложь. По предъявленному счету уплачено сполна. Но сам-то я до сих пор остался неоплаченным и в стороне от общего потока. Но чушь, конечно, я не Абеляр. Ты понимаешь, понимаешь меня?

— Н-не совсем, — точно втягиваемый в водоворот, признался Сергей Андреич. — Ты проще, проще. Ты вообще, что я монтер, пришел звонки проводить!

— Ну, монтеру я не стал бы этого говорить, и потом, это же совсем просто, — усомнился тот в его искренности.

— Нет, нет, — ухватился другой. — Ты не хитри, ты нараспашку иди, не застегивайся. Ты дайся ветерку! — А втайне подумал, что это относится и к нему самому.

— Ладно, тогда я иначе. Слушай, братан милый. Мир этот громаден, и я полагал, что без благоговения или наглости в нем ничего не поймешь. В том и суматоха моя, что я потерял одно и не приобрел другого. А про волю к преодолению и преобразованию его я забыл. Не знаю: может быть, я слишком поддался на успех, а всякий истинный художник жаден. Я брался за все, я писал сенаторов, архиереев, великосветских шлюх... и всякую иную пыль и моль с гнилого николаевского горносталя. Я писал картины, на которые следует глядеть только после сытного обеда с ликерами. Я боялся заставить думать других, потому что это обязывало думать и меня самого. Ну, понятно теперь? Мне платили, меня хвалили, меня приглашали на приемы... черт, даже пробовали оженить на одном печальном останке великокняжеской любви. Нужно было сочинить абстракцию, чтобы жить, — вот я

и старался. Я искал краску и форму, чтобы наготу свою одеть. Э, да и мало ли теперь еще голых ходит по земле! Словом, мне нечем оправдаться, брат...

— ...и еще надо узнать, чем он стал, — на давешнюю его мысль отозвался Сергей Андреич. — Ты покажи мне его, нынешнего. Вот, например, что у тебя тут?

Он сдернул простыню с мольберта и, взяв подсвечник, долго, чуть исподлобья, глядел в условное четырехугольное пространство перед собой. «Во, точно из самолетной кабинки смотришь!» — была первая мысль Скутаревского. За лугами в тонкую прочерненную полосу леса садилось солнце. Оно уже скрылось, но все еще длилось воспаление неба; сумерки были — точно осыпался огненный цветок; и на всем — на листе ближнего дерева и на одинокой кровле за ним, на облачках и даже в самом воздухе — еще тлели пламенные его лепестки. Федор молчал, он ничего не мог прибавить к этому, уже сказанному.

— Что это? — спросил брат, ткнув свечкой в направлении холста.

— Это?.. Закат. — И смутился.

— Нет, я не о том. Краска какая?

— Это кадмий.

— Хм, не узнаю кадмия, — грубовато отрезал Сергей Андреич. — С чем ты его мешал?

— Может быть, со старостью моей? — тихо спросил Федор.

— Нет, но почему ты боишься ощущения в целостном его виде и замазываешь сажей, чтоб не узнали? Ты сказал однажды, и мне тогда это показалось напыщенным, что кровь в революции смысла со слов и понятий их истрескавшуюся пошлую лакировку. Ты сказал тогда, что к образам вернулась их первичная суровая чистота. Вот и покажи!

Стеарин стекал ему на пальцы, он не замечал, Федор ответил не сразу.

— Прости... я, конечно, преклоняюсь, у тебя великое право зрителя. Но ведь это было бы грубо.

— Ага! — подхватил Сергей. — А где ты видел такое количество пустующей земли? Это не картина, а обвинительное заключение. Пошли к прокурору, указав рай-

он, и председатель этих мест вылетит к черту из партии!.. Молчишь — значит, это ложь!

— Ты хочешь, чтобы я изобразил комбайн на этом поле? — настороженно спросил Федор и костяшками пальцев постукивал в стол. — Но тогда я обману тебя же, мой зритель. Моя картина состарится прежде, чем высохнут ее краски. Тогда ты будешь глядеть на свой вчерашний день и вопить об отставании искусства. Я даю тебе золотую монету, эталон, человеческое ощущение, а ты хочешь иметь купон от облигации внутреннего займа!.. Прости, я не умею иначе.

— Значит, ты полагаешь, что там, за перевалом, не родится новое искусство? — Сергей Андреич и сам понимал, что употребляет во зло безропотное уважение брата. В конце концов то, что составляло мильон терзаний для одного, было только предметом отдыха для другого, который требовал вдобавок, чтобы отдых этот убаюкивал, как удобное кресло.

— Так продолжать, значит? — спросил Федор, накидывая простыню на мольберт.

— Да, да, изложи в популярной форме, изложи, — дернулся Сергей, скovyривая с ногтей застылые блестки стеарина.

Неуловимый сквознячок бродил по чердаку; самое наличие такого широкого окна производило термические перемещения воздуха. И хотя все было мирно — о, как сражались и безумствовали тени на стене!

— ...меня познакомили с Гонельбергом. Ты, наверно, слышал про его банкирскую контору. Это был скромный с виду, сутулый даже, но вполне железный человек. Представь себе майского жука, но только в пиджаке искристого умбрового цвета. Видимо, и его железа коснулась любовная ржавчина. Женщина, прямо сказать, стоила своей цены, я видел ее: ошеломляла ее хрупкость... С такими, много позже, могуче и небрежно играли в Питере загулявшие матросы с восставших кораблей. Что-то французское было в ней, я даже помню одну ее фразу — «...но птицы убитые поют никогда». Гонельберг с ума сходил, ржавчинка-то, она бегущая. Он выстроил ей роскошный особняк в уединенном месте, — сумасбродная по замыслу вещь, которую даже и взорвать нельзя,



потому что это была уйма очень скверно организованного, но тщательного человеческого труда. Словом, подрядчик сколотил себе каменную громадину из материалов, которые успел скрасть; Гонельберг видел и смеялся, его как бы щекотала людская подлость. Расписать и оформить ванную комнату пригласили меня. Что ж, я пришел и заломил, потому что банкиры — сукины дети... Слушай, брат, именно теперь, после всего этого, ужасно хочется жить. Хочется и... как-то совестно. Признайся, тебе тоже совестно меня?

— Нет, почему же... живи, не возражаю, — второпях отпихнулся тот и усмехнулся, — ведь вот, и самокритика как будто, а ловко выходит у тебя, точно хвастаешься!

— Гонельберг сказал: «Вы цены себе не знаете!» — и удвоил сумму. Я осатанел, мне захотелось перекрыть его хамскую щедрость. Я заперся и два месяца не впускал никого. Я обложил комнату розовым мрамором. Я сделал весенний сад, — эскизы у меня валялись для одной задуманной работы. Ветви, тяжелые от лепесткового серебра, набухшие цветами ветви обнимали это место шатром; бежали ручьи, и радужные птицы, которых не было и у Ноя, которых забыл сотворить Ягве, пели в высоте... ты понял мой умысел? Но когда этот Адам увидел, он испугался, и даже пиджак на нем повело. «Что вы наделали! — шепнул он. — Уберите, уберите это... мадам любит только осень!» Я обозлился и выругал его, я крикнул ему: «Это стоит денег, господин Гонельберг!» Он ответил мне, что не собирается торговаться. Итак, они железными когтями содрали со стен мою весну, а мрамор выковыривали ломami. Помнишь, Медичи однажды приказал гению изваять группу из снега, но там...

— Погоди ты, не отвлекайся, Федор, — жестко прервал Сергей и вино, которое собирался пить, поставил обратно на стол, точно дохлую муху увидел в нем. — И ты, вдохновясь, переделал на осень?

— Нет, слово даю, нет! — закричал Федор, искательно хватая руку брата. — Я ушел, клятвенное слово даю, — и дрожал весь. — Тогда я и сделал **Забастовку**. А потом жизнь пошла наперегонки с самой собой; в единицу времени событий протекало больше, чем может уловить медлительный глаз художника. Усложнялось самое ве-

щество искусства. Мы же не зеркала, к которым можно подойти и подкрутить усы сообразно вкусу и разумению, а тоже фабрики, брат. Самые насыщенные происшествия только сырье для нас, даже не полуфабрикат. Но я очень хотел понять, и я искал... я искал на ощупь. Я меньше тебя, и у меня нет общей дисциплины. Ты имеешь метод, ты ведешь большую науку, — я делал это кустарно. Одно время я служил в музее; я охранял камни, которые ненавидел; ежедневно я смотрел эти знаменитые холсты в бесценных рамах, которые презирал, не понимая. Я все искал: в какой пропорции эпоха примешивалась в их краски. Я изучил разлитую по холсту желчь Кея, падение складок в таких будничных шелках Терборха, могучую пасмурь Рейсдаля, кровавые, ростбифом писанные натюрморты Снайдерса, шекспировские мяса Иордана, я искал в полотнах...

— Незнаком, незнаком... — строго бормотал Сергей Андреич, и все хотелось крикнуть ему: не играй, не играй, не прячься... разве перестала течь в твоих жилах мужицкая кровь?

— ...я смотрел часами на Питерса, который звучит из рамы, как колокол, — наконец закончил перечисленье Федор, вытирая испарину с желтых залысин лба. — Потом, оглушенный, я бросился к книгам... ведь и раньше, случалось, валились древние боги, когда наотмашь ударило их гневной человеческой волной. Я дошел до того, что находил сходство с веком Феофила, разрушающего библиотеку Серапиона, с эпохой Абу-Бекра и Омара, на десятки тысяч верст опустошающих окрестности Мекки, Алариха, черт нас всех возьми, которому ночная измена открыла Саларийские ворота... Но верь, брат, я их не открывал! Позволь, я путаюсь, но ведь не законов же ищем мы, а лишь своеобразия в их процессах и чередованиях. Тогда я бросился туда же, но другим путем. Я шарил по сухим, точно на меди вырезанным трактатам Пачиоли, Леона Альберти, да Винчи и других, этих Эвклидов старой живописи. Там было много о функции центрального луча в зрительной пирамиде, о движении сочленений, о светотени драпировок, даже рецепты, как делать драгоценные кисти из усов котят, но там ничего не было о движениях восставших к социализму масс, о взаимо-

отношениях формы и содержания, о роли искусства в общественной жизни, о пятилетке... Книги умерли... вот они, эти жирные трупы! — и гневно тыкал кулаком в толстую книгу, одетую в потрескавшуюся шагрень. — Конечно, я не там искал; истина всегда впереди, всегда за пределом взгляда... и надо безостановочно идти, чтоб надеяться догнать ее, постоянно убегающую. Я растерялся совсем, — а может, выход в том, чтоб стать участником жизни и половину поступающего сырья перерабатывать самому в суровом переднике чернорабочего? Но с чего начать, в стенгазете рисовать Чемберлена? — Он сделал передышку и скрипуче прошелся по комнате. — Я осудил, но этого мало; сейчас могут жить только люди, способные служить, как провод, без износу! Суровые времена, брат милый. В эту острую мою минуту пойми меня правильно, брат. Бывает и другое, бывает, когда художник перерастает свое могущество и вчерашних красок ему не хватает. Все мне понятно теперь, от шелеста газетного листа — через сотни лирических обвалов — до грома народных демонстраций. И тогда, глядя в одряхлевшие холсты, которые ежегодно почтительно кроют лаками, чтоб не осыпались, я чувствую себя мальчишкой, фанфаронишкой и неудачником. Бывает и так: виноград жуешь, а точно веник жуешь — ощущение. Может быть, в стали при последней закалке выгорел весь углерод, и воспоминанья — вот пузырчатый, негодный шлак их. Тогда и вкус познания, и зоркость взгляда — все ни к чему. Должно быть, я стал глупее: тенденция, схема, цель, содержание... я запутался; слушай, быть может, я сгнию, но то, что вырастет на мне, будет велико. Порою мне казалось, что я умру от этой растерянности...

— Пустяки, ты погибнешь от разрыва сердца, — все больше веселел Сергей Андреич, по мере того как тот бился и кидался в него обломками самого себя.

— Почему ты думаешь так? — угрюмо возрился тот.

— У тебя сложение такое, — засмеялся Сергей.

Федор Андреич посмотрел на просвет бутылку — она была пуста.

— Вот, ты издеваешься, и ты прав. Брат, я пришел в последнюю ничтожность: надо было жить. Конечно, я апеллировал бы к народу, если бы они знали меня.

Я зарабатывал хлеб мой как умел, но я не умел льстить, как Рафаэль, и лгать, как Веласкес: я бездарнее. Я писал брандмайоров, спасающих горящий газолин, — на меньшем не мирился заказчик; мне приносили подозрительный локон волос и просили сделать образ супруга, попавшего под трамвай; я работал с фотографии, со слов, с заочного письма и, наконец, просто так, по наитию. Я утешался тем, что это будет висеть в нахальной раме, засиженное мухами, а история не любопытна к побежденным! Меня кормил мещанин своим кислым, с клочьями нечесаных волос, хлебом. Тогда я взбунтовался против него! Тебе было весело и раньше, теперь ты станешь хохотать. Я пустил в ход накопленные знания, и, знаешь ли, так вниз по плоскости скатывается шар, следуя законам ускорения. Подводя итоги, мы сообща с жуликом, которого ты, кстати, знаешь, стали выделять классиков. Мы скупали старые паркетированные доски и трудились. Я научился делать любого старика быстро и в любой манере; из десятка картин одного мастера я компоновал одну, новую, и, черт, сам Остроухов бледнел от потрясения при виде моих работ. Они превосходили подлинники и в сыром виде, а подписи, копоть времени, старинку, трещинки, все эти кракелюрки искусно производил мой компаньон. Иногда мы записывали эти произведения варварской мазней, а потом ножом и скипидаром открывали на глазах у бледнеющего мещанина, и он за доступную цену видел чудо, смел прикоснуться к нему, тащить домой и вешать над комодом с клопами. О, война так война! Сюда приходили жадные люди, крадучись и как бы в одышке от волнения; им хотелось за грош купить солнце, и, дьяволы, они уносили его, завернутое в газетный лист. Мы только рекомендовали им в течение пяти лет не показывать никому по сложным политическим причинам: о, Штруфовой фантазии хватило бы на десяток современных писателей! Мещанин платил, он голову жертвует за тайну, потому что душе его еще более, чем желудку, нужна прочная, питательная жвачка... Одно время мы так же изготовляли греков; кустарь сдавал нам свои горшки по трешнице, а мы слегка гравировали их под дряхлость, я расписывал богами и героями, а Штруф ставил их в сложные химические компрессы и

держал в зависимости от пористости и возраста. Вот, ты хмуришься, а ты сможешь объяснить мне, почему это **не-хорошо**? Разве слепому не будет и в ненастную ночь светить луна, если ему об этом сообщит любимая девушка? Мы делали людское счастье, черт возьми, и брали ровно столько, чтобы иметь нищенский хлеб — делать его и завтра. Один мой Буше висит в частной галерее за границей; владелец прислал мне ящик красок в прошлом году и копию музейного сертификата о подлинности моей подделки; в другой раз я продал в миниатюре **Творение Адама** из Сикстинской капеллы, и дурак вывихнул ногу на лестнице, торопясь от страха, что я раскаюсь и побегу отнимать... — Он смущенно поглядел на брата, потрясенного столь откровенной философией и все еще не смеющегося. — Сергей, прости меня... того Рембрандта, что у Анны Евграфовны в комнате, я делал вот на этом мольберте.

— Неплохо, неплохо... — неопределенно удивился и при всей своей отдаленности от искусства понимал, что так оно и должно быть, когда любимое ремесло скомпрометировано в самой своей основе. — Ну, а Франциск... этот носатый хлюст с собакой?

— Тоже я делал. Мне Осип и позировал. Я не люблю твоей жены, Сергей.

— ...и долго? — невпопад спросил Сергей Андреич.

— Этот долго, этот две с половиной недели. Матерьялы долго подбирал.

Вечер явно затягивался, а незадавшаяся, свернувшаяся на водевиль исповедь все еще не подходила к концу. Следовало еще ждать пространный абзац про Жистарева, но Федор уже устал; он дышал тяжело, — так выходит воздух из проколотого мяча. Все-таки удобнее было бы списаться со Штруфом по почте, и теперь Сергей Андреич мысленно костерил себя за неуместную подозрительность. Стало ясно, что Штруфа не дождаться, что покаяние грешника незаметно вырождается в бахвальство загнанного человека, что пора уходить. Да тут еще толчками стал зажигаться свет: где-то ввинчивал пробку монтер. Эффект исповеди разом пропал, свечи горели тускло, и черные волокна копоти струились с набухших фитилей. Сергей Андреич откровенно зевнул. За дверь

раздался громоздкий шорох, точно слон шел на цыпочках. Покраснев, Федор Андреич привстал навстречу. Саженный мужчина в бобре спросил секретным голосом про какой-то **портретик**. «Готово, готово...» — засуетился хозяин, бросаясь в угол. Сергей Андреич отошел к окну. Позади шелестела газета и сопел посетитель; нужна была повышенная любовь к искусству, чтоб, при такой комплекции, вползать на Штруфов чердак. Он ждал минуты, когда тот уйдет, — чтобы уйти самому. Уши его рдели; нечаянно он становился как бы сообщником достаточно скверного дела.

Рама, вделанная в обширный проем окна, обмокала; пухлая плесенца ползла с нее на самую стену; известка становилась дряблой и синеватой на цвет. Трескалась, гибла эта древняя человеческая пещера, и пока еще страшно было выйти из нее художнику под голое суровое небо... Сергей Андреич легонько оперся рукою о выступ стены, и кусок известки, точно положенный со стороны, остался у него на ладони; в изломе, если поднести к глазам, вполне различимо было его грубое, крупитчатое строение. Может быть, когда-то это дышало, двигалось и росло в гибких, еще студенистых телах горбатых рыб, зубатых птиц и трусливых волосатых человекоподобных. Природа непостоянна в капризах, она все шарит чего-то совершеннее и скаречно экономит на веществе. Может быть, со временем и собственный Скутаревского позвонок, державший так надменно его сухую спину, войдет составной частью, смешанный с глиной, в монументальный, еще не родившийся, еще неизвестного назначения предмет. Но и это не выпадало из стройной логической цепи. Старый человек уходит из жизни, его молекулы образуют новое социальное и биологическое вещество, и самая его форма становится чуточку пародийной в сравнении с будущей, более совершенной. Пускай!.. и в эту минуту не было в нем сопротивления закону: вся его порода поляжет плотным геологическим слоем на берегах будущих величественных рек, детство которых он удостоился видеть. «А рисунок?» — шелестело позади него из бобрового воротника. «Вы торгуетесь, точно покупаете подержанные брюки, гражданин!» — издевательски холодно шептал Федор Андреич... Потом,

когда дверь захлопнулась за любителем искусства, Сергей Андреич обернулся.

— Они знают твою фамилию, эти... покупатели? — спросил он враждебно.

— Нет, только Штруфа! — догадался тот, вспыхнув.

— Кстати, Штруф скоро вернется?

— ...Штруф? Но его нету. Я выгнал его. Он питался мною. А зачем тебе Штруф?

## Глава 17

Запутанная эта тропка приводила, таким образом, к довольно сомнительной аванюре, но Скутаревскому и в голову не приходило, что все это можно было устроить гораздо проще. Несомненно, наркомат помог бы в поисках жилья ученому, работой которого крайне дорожило общественное мнение страны, но стеснялся обращаться туда с личной просьбой. Это была даже не ложная чопорная деликатность, не опасение поставить себя в бытовую зависимость от начальства, а прежде всего стариковский стыд за тот образ жизни, которым просуществовал столько лет. И уж во всяком случае разговор этот подтвердил бы в полной мере те сногшибательные слухи, которые ползли по городу. Началось с пианиссимо: будто Сергей Андреич в связи с семейной и идеологической перестройкой бросает академическую работу и идет — по одной версии — директором строительства будущего электромашинного комбината, по другой же — якобы уполномоченным по хлебозаготовкам на Северный Кавказ. Этим хотели сказать, что от Скутаревского можно было ждать чего угодно в тот период. К подобным явно дурацким выдумкам присоединились другие, круто посыпанные более пахучим перцем.

Никто не знал, откуда они, ибо Петр Евграфович никому не передавал своей беседы со Скутаревским, и, разумеется, не его была вина в том, что пара старых его приятелей оказались пошлыми болтунами. Фривольный шепоток, пущенный во благовремени, приобрел скорости сверхъестественную резвость. Поговаривали, что Сергей Андреич подобрал себе дочку одного ликви-

рованного нэпача просто на бульваре, куда выкинула ее классовая судьба, и сразу же накопил ей платьев, контрабандных чулок, уральских брошек и еще чего-то, почти преступного при строгих советских нравах. И, наконец, такую шапочку приобрел слушок, будто любовная добычка Скутаревского не достигла еще совершеннолетия... Погуляв по городу, сплетня постучалась в институт под видом плоского разговорца, которым крайне приятно было перепихнуться где-нибудь в буфете или в уборной. Научному авторитету директора высокочастотного института стала сопутствовать слава отъявленного сердцееда и даже любителя молодятинки. Кажется, эти ходячие мертвяки, потому что вонять с успехом можно и стоя, старались просто свалить Скутаревского домашними средствами, ибо — вставши на труп — всё на полголовы выше станешь.

Потом наступила благословенная тишина, и в ней, точно вдруг в барабаны ударили, объявилось, будто кто-то и где-то не подал Скутаревскому руки. Сергею Андреичу разом припомнили все его ужасные революционные суждения, которые, будучи до детскости смешными в глазах истинного большевика, способны были, однако, распугать многих из его среды. Словом, социальная прослойка извергала Скутаревского как инородное тело; он оставался совсем одинок, щепка на высокой приборной волне, а травля не уменьшалась. Черимов видел все эти мелочи и молчал, выжидая какой-то особенной минуты. Но дело заключилось все же редкостным для научной среды скандалом. Как-то в начале февраля, в один очень роскошный полдень, Черимов присутствовал при беседе нескольких молодых сотрудников института; ели бутерброды в буфете, разговаривая о разном, и тут Иван Петрович рассказал между прочим о своих наблюдениях над Скутаревским. Лукаво поигрывая омонимами — жена и Женя, причем открыто именовал последнюю любовницей, он преподнес один драматический узелок: того, что при возрасте Скутаревского хватало для жены, не хватит, разумеется, для Жени. Это могло оказаться и правдой хотя бы потому, что слово Ж е н я звучало во сто крат нежнее.



Все даже перестали жевать от неловкости; один Черимов, сидевший на подоконнике, продолжал улыбаться. Потом он протянул руку... и сперва все поняли его движение так, будто он хочет вынуть бутерброд изо рта Ивана Петровича; именно улыбка черимовская ввела всех в заблуждение. Только по сочности звука поняли, что произошло нечто более существенное. Получилось понятное замешательство, причем Иван Петрович казался более перепуганным, чем оскорбленным выходкой Черимова. Всем были известны их частные встречи, начало несомненной дружбы, чего Иван Петрович, к слову, никогда не опровергал; должно быть, дружба эта была очень своеобразна, раз она столь эффектно начиналась с мордобоя. Мгновенно оживив в памяти свои беседы с этим колючим коммунистом, Геродов вспомнил кстати, что при встречах всегда особенно много говорил он сам, а Черимов только слушал да улыбочато поигрывал в молчанку. Пожалуй, не было ничего удивительного в том, что ученик вступился за учителя, но зато и не было спасительной уверенности, что **только** это было причиной скандала. Молчание угнетало, надо было сказать что-нибудь.

— Я старше вас, Николай Семенович, — произнес Геродов, берясь за очки и оглядывая их: стекла чудом остались целы. — Вам должно быть стыдно за эту неуместную... и вовсе не позволительную шутку.

— У меня такое предчувствие, — тихо ответил Черимов, улыбаясь одними глазами, — что в ближайшем времени я еще раз дам вам по морде.

Тут прозвучал звонок, и представление кончилось.

Происшествие означало или скандальный уход обидчика, или немедленную отставку обиженного, но Иван Петрович медлил. Представлялось ему неразумным в такое ответственное время из ложного самолюбия покидать институт; Иван Петрович никогда не слыл мелочным человеком. Притом если бы Черимов употребил полную меру негодования, а следовательно, и удара, то, при его физической силе, от Ивана Петровича остались бы... как это называется? да, **ошметки**. Следовательно, сила гнева была неполная. Черимов просто рассердился, что может случиться со всяким. В душе Геродов расце-

нивал, конечно, иначе смысл буфетного события; Черимов был до точки организованный человек, и немыслимо было, чтобы он порешился на избиение научного сотрудника, так сказать, без согласования с инстанциями. По врожденной догадливости этот молодой человек мог пронюхать что-нибудь глубже, и тогда обещание Черимова повторить удовольствие принимало совсем иные очертания. В суматохе Иван Петрович упускал из виду прямолинейную, вспылчивую черимовскую молодость. Внешне-то, пожалуй, внюхиваться было не во что. Правда, за неделю перед тем произошел один невинный, не лишенный забавности эпизод в институте, но нужна была маниакальная подозрительность, чтобы вывести из него какие-либо заключения.

Вечером однажды, вернувшись в институт на ночную работу, Сергей Андреич не нашел у себя в кабинете одной тетрадки. Он искал везде, спрашивал у заместителей, лазил за шкафы, волоча за собой электрический шнур, громил уборщиц, но утерянного так и не нашел. Тетрадка была клеенчатая, вроде тех, с какими мучаются школьники, из плохо проклеенной, линованной бумаги, сплошь исчерченная формулами и небрежными набросками от руки; в этой цифровой неразберихе заключалась суть многолетней работы Скутаревского. Уже собирались сделать заявление в соответствующую инстанцию, но через сутки тетрадка оказалась на прежнем месте, в запертом ящике, который Сергей Андреич старательно обыскал накануне. В это утро Иван Петрович проявлял повышенную суетливость, даже услужливость и, неожиданно, на целых сорок рублей взял билетов осовавиахимовской лотереи.

— Вы верите в нечистую силу? — спросил у Черимова Сергей Андреич; кроме Ивана Петровича в кабинете присутствовал и Ханшин.

Привыкнув к витиеватым вступлениям учителя, тот молчал. И тотчас же Иван Петрович разъяснил прелесть, что речь идет о чертях, колдунах, суккубах, оборотнях и прочей рогатой чепухе.

— Нет, я имею в виду нечистые силы, вполне доступные для советского суда, — в раздражение поправил и тут же рассказал про историю пропажи и появления тетрадки

ки. — Я не знаю, может быть, следует поставить солдата с заряженным ружьем, но охраните меня, товарищи, от непрошеного любопытства.

Несколько мгновений длилось довольно пакостное замешательство; потом Ханшин сообщил, становясь добротного красного оттенка:

— Я должен извиниться, Сергей Андреич. Делая доклад третьего дня, я нечаянно захватил ее вместе с бумагами, но наутро принес к вам на стол... Вас не было, я положил ее сбоку, рядом с двумя колбами... отчетливо помню их. Потом я ушел.

— Очень смешная история, товарищ Ханшин, — ехидно заметил и смотрел, ища сочувствия, в сторону Геродова. — Детектив какой-то... пропавшая грамота. Где же она могла быть сутки после этого?

— Фотографирование ее требует времени, а в ней много страниц, — резко сказал Иван Петрович, решаясь на разрыв с Ханшиным, который продолжал стоять с опущенными глазами.

В тетрадке, даже если бы попалась специалисту, все равно было бы ничего не понять; на том дело и кончилось, но вечером, тотчас после пощечины, прямо со службы, Иван Петрович зверем бросился к Петрыгину. Свиданья их происходили нередко, — оба они, как уже выяснилось, входили в ревизионную комиссию того кооперативного дома, который совместно с другими заканчивали стройкой в текущем году. У Петрыгина сидели еще две каких-то сконфуженных личности, назвавшиеся нечленораздельно. Иван Петрович впервые видел Арсения Скутаревского. Хозяин поил их чаем с медом; тут же на столике стояло блюдо антоновских яблок — одни они, щекастые, бородавчатые, восхищались взгляд в этой скорбной комнате. Свет многосвечной настольной лампы падал на них, и желтые светящиеся блики играли на усталых лицах гостей. Иван Петрович с нервным беспокойством смотрел, как обстоятельно обсасывал ложку один из них, облепляя ее губами, причем губ становилось сразу как бы впятеро; этот гость был шаровиден, и даже брюки на нем были какие-то круглые. В силу некоторых секретных обстоятельств Иван Петрович предпочел бы, чтоб замышленный разговор

произошел без свидетелей. Заговорили сначала о нехватке кирпича, кровельного железа, цемента — обыкновенный обывательский конверсасьон, как определил Петрыгин, с жалобами на советскую власть, которая все строительные материалы отдала целиком индустриальным предприятиям.

Прямо над гостями нависал в тяжелой раме вострый, сухопарый, стриженный под бобрика, человек с повелительными водянистыми глазами и в сюртуке. Весь свет сосредоточился на яблоках, и оттого глаза человека смотрели как бы из темной, беспредметной пустоты; изредка и вперемежку все взглядывали на него, и у всех осталось ощущение, что именно портрет этот, сделанный с предельной выразительностью, председательствует на случайном петрыгинском совещании.

— Кто это? — озабоченно спросил Иван Петрович, пристраиваясь, однако, к медку.

Петр Евграфович поднял глаза:

— Да, ведь вы не встречались... Это тесть мой, Сергей Саввич, член городской Думы и... — Он умолк, давая время гостям припомнить все остальные чины этого незаурядного человека.

— Он и теперь в Москве? — басовито осведомился шаровидный.

— Нет, он в Медоне. — Петр Евграфович не пояснил, что это такое: они отлично знали это парижское предместье и без него. — Великий человек, а вот закатился тускло, как башмак за койку.

— Великий человек — это тот, шестерни которого совпадают с шестернями века, — учтиво подхватил Иван Петрович, мысленно отказываясь от задуманной беседы. — И уж если...

— Ловко сделано, — еще обмолвился шаровидный, прищелкнув пальцами. — Такой не задумается целый класс растворить в кислоте и спустить в реку.

Петрыгин улыбался, поглаживая колено.

— Работы Федора Скутаревского, вот и подпись... — с удовольствием, как в улику, он ткнул пальцем в место на уголке, где четкое, без инициалов, стояло знаменитое имя. И странно, всем стало легче при упоминании этого имени. Петр Евграфович помолчал и вдруг сказал твердо

и солидно: — Послушайте, родной Иван Петрович, нам необходимо привлечь и Ханшина.

— Я не понимаю вас, — вздрогнул Геродов и, как ужаленный, взглянул на Арсения, но тот неопределенно опустил глаза.

Игра в недомолвку не удавалась.

— Ничего, — успокоил его Петрыгин. — Жена уехала в Кисловодск. Никто не слышит.

— Но ведь Ханшин не пойдет без Скутаревского, — сквозь сжатые губы процедил Иван Петрович.

— Ну, Скутаревского я, по-родственному, беру на себя, — засмеялся Петрыгин.

И вот тогда-то произошло это.

— ...а я не желаю! не желаю! — неожиданно, фистулой визгнул Геродов и сам испугался своего визга; нервы его не выдерживали. — Я не хочу больше... эта дурацкая история с тетрадкой походит на провокацию. Я...

Его истерическое вступление прервали часы; сперва в них захрипело, будто спрятанный в ящике кто-то расправлял молодцеватые металлические усы; потом, торжественный и самодовольный, начался бой. Глухое звуковое колыханье до последней щели наполняло комнату. Одна волна не утихала, пока не начиналась другая, которая также не торопилась, а всего ударов последовало одиннадцать. Оборванный на полуслове, Иван Петрович с ненавистью глядел то на этот подлый продолговатый предмет, то на его владельца, иронически созерцавшего гостеву ярость.

— Гнусные часы, — вымолвил он потом.

— Философические часы, — веско поправил Петрыгин. — Но я слушаю вас.

— Словом... я ухожу и порываю все. — И прежние высокие ноты заматались в голосе Ивана Петровича. — Они уже бьют меня по щекам, и стоит, стоит. Я стал седой пакостник, я стал чехол с вас, просиженный, старый чехол, из которого пыль выбивают кулаками. Лицо... вы видите, какое у меня стало лицо?... у меня уже неделю ночует Штруф, и я не смею его выгнать. У меня черные руки стали, руки черные стали у меня... Я боюсь, я слушаю все шаги на лестнице, я сплю не раздеваясь. И у меня жена! — кричал он, глядя в померкшие глаза Арсения.

Кстати, жену он помянул лишь от слепой ревности к тому непременно усачу, который, в случае провала, заменит его в супружеской кровати. Он кричал, и двое остальных также начинали волноваться, у них дрожали пальцы и выплескивался из стаканов чай. Кучка намелко изжеванных окурков в пепельнице и вокруг нее свидетельствовала о крупном разговоре, который состоялся перед появлением Ивана Петровича. Клубок вредных сомнений, завершившийся сегодня истерикой Геродова, грозил перекинуться и на остальное петрыгинское войско, — и вот хозяин гневно закусил свой круглый ус. Лицо его стало жестко, один глаз уменьшился против другого, а пальцы сами собою складывались в кукиш.

— А Гастона Галифе хотите?.. — тихо спросил он, и эхо отдаленного пушечного выстрела раскатилось в его словах.

Только магией, только колдовством можно было бы в такой срок добиться подобных превращений. Иван Петрович укрощено склонил голову. Арсений закрыл глаза, а толстый похудел неузнаваемо: слово вонзилось ему в самые внутренности. И опять, в тишине, Петрыгин жевал свой ус. Половину двенадцатого звонили насмешливо часы. Человек в золоченой раме выглядел суше и пронзительней; возможно, он выжидал, следует ли и ему произнести веское свое слово. Петрыгин по очереди оглядел свою паству; изредка балуя их необходимыми подачками от высокого лица, которого не называл ни разу, он время от времени избивал их страхом. Взрывчатая смесь трусости и злости, на которой он вел свою машину, могла когда-нибудь погубить его самого, и он никогда не перегревал ненадежного человеческого котла; но никогда раньше и не случалось такого смятенья.

— Интеллигенты, боборыкинское слово... — твердо сказал Петрыгин. — Вам следует вылить по стакану брома за шиворот. Но мне жаль вашего костюма, Иван Петрович. Кстати, это тот заграничный, который я привез вам? Прекрасно сидит. С такую внешностью вам бы только девушек обольщать, а вы хныкаете.

— Мы не хныкаем, но в конце концов эти пять драг заказывали не мы! — выпалил шаровидный и весь разрядился, и губы его повисли, как уши.

— Вы обыватели по преимуществу. Ну что же, *polenti basculus*!<sup>1</sup> Мне нужна сернокислотная промышленность, а вы партизанили на районной торфянке. Я даю задание по коксобензолу, а вы мне о производстве суспензориев. Где чертежи аргуновских разведок? — И он загремел без опасения быть подслушанным в соседней квартире: вся конспирация его и состояла в том, что он действовал в открытую.

Трудно было предположить подобный темперамент в этом оплывающем сахарном человеке; не было здесь ни патриотической елейности, ни истерических призывов к активному героизму; презрение фонтанировало из него обжигающим словесным фейерверком. Вероятно, в приливе прозорливости, видел он, как из пыльного этого кабинета фразы его выпрыгивают в учебники истории для будущих классических гимназий; скучную политическую отвлеченность он умел вскинуть до степени латинского разящего образа. То была ясновидческая феерия или припадок старческого слабоумия, демагогическое шаманство или откровение в грозе и буре... И вот, как в сказке, еле поспевая за судьбой и словом, плывут иностранные вымпела к ленинградским воротам революции, топчут грузные сапоги интервенции, шумят казацкие плавни на Дону и колышется мужицкая Сибирь. Турбины вчерашней пятилетки десятками выходят из строя, лопаются маховики, сбиваются с такта моторы. Эта грозная забастовка машин переходит в стихийное помешательство промышленности. Интоксикация государственного организма повышается работой отраслевых центров, кровообращение между городом и деревней нарушается, и вот уже сорок тысяч человек стоят в очереди за куском сохлой кукурузной булки. Все проявляют необычайную самодеятельность, все произносят слова, семян которых вчера еще вовсе не подозревали в себе, в каждом шевелится по Мак-Магону. Имена, обстоятельствами истории растертые в геологический ил, встают, смыкаются разрозненные пылинки, и вот под гром военных оркестров стройный тридцатилетний генерал в треуголке и ботфортах шествует от моря до моря... — Должно быть,

---

<sup>1</sup> Не желающему — палку (*лат.*).

он видел и карту перед собой: иначе попросту нетрезвы были бы его вполне осмысленные жесты. Его импровизация, однако, вряд ли доступна была для серьезного обсуждения.

— ...мы отдадим здесь, вобьем клин сюда и сдвинем там. Мы окажем помощь восстаниям, купим лимитрофы, само небесное воинство и, наконец, луну... Луну, черт возьми, и устроим на ней мировую бордель для православных воинов!..

Иван Петрович сидел смирно, как в парикмахерской, с замиранием сердца вслушиваясь в рокотанье хозяина; кажется, у него начиналась мигрень. В присутствии Петрыгина он просто растеривал себя, а заодно с волей и свое ученое достоинство. Шаровидный вообще чувствовал себя так, точно Петр Евграфович просунул ему руку в живот и чугунною пятернею тискает ему желудок. Арсений щурил глаза; пожалуй, так не разговаривал даже Минин, да и дядю он заставлял впервые с этими словами на устах. Разгром был полный, оставалось праздновать победу.

— Вы... вы безумный старик! — шептал Иван Петрович, трусливо вытирая петрыгинские брызги с подбородка, и голова его тряслась; было ему так, точно на прыгающем лафете везли его куда-то в грохочущую, полную жерновов глубину. — Но кто тот, под кого вы наряжены?.. но ваша программа?

— Ненависть! — в ураганной тишине шепнул тот, и в эту минуту было в нем даже от самого Питта.

В полном безмолвии Петр Евграфович поднялся и пошел к этажерке; и Катон не уставал так после словесных погромов Карфагена. В узком зеркале, поставленном в простенок, Иван Петрович, сгорбясь, наблюдал, как небрежно, почти вслепую хозяин заводил аристон. Потом он нажал сбоку рычажок, и тонкие зубцы внутри ящика заиграли отрывистыми, мелодичными звуками. Сразу стало так, точно в прошлое отворилась замурованная дверь. Старая спокойная цивилизация с наивными идеями и неповоротливой техникой вступала в это затхлое пространство, замкнутое, как магический круг. В памяти странные происходили сдвиги и расщепленья, а вещи выглядели новее. С плавным шепотом проходи-



ли нарядные пары котильона, шуршали жесткие юбки с турнюрами и платья со смешными буфами на рукавах; застыло гнулись мужчины в складчатых брюках и усах, требовавших дорогих фиксатуаров и ежедневного при-смотра; механически хохотали перетянутые жеманницы с проволочными валиками в волосах. Петр Евграфович молодец под это треньканье; сахару в моче не оставалось и в помине; юностный, как озимь, пушок покрывал одряблевшие щеки, но глаза оставались грустны и неподвижны. Он сидел скромнее всех, глядя в расшитый экран у камина; вещь была итальянской работы, она изображала охоту на кабанов, — ликуя и смеясь, охотники били зверя, изогнутого, как пружина. Вдруг он обернулся и сказал с лаской, которая как удар бича:

— Кушайте яблоки, господа.

Но Ивана Петровича среди гостей уже не было, и, странно, никто не заметил его панического исчезновения. По лестнице он спускался бегом. Адвокатская кожица, возвращавшаяся с прогулки, сочувственно посторонила; гражданин мог спускаться от дантиста, который, кроме исключительной физической силы, славился зверством врачебных приемов. С тем же лицом, распугивая прохожих, Иван Петрович вернулся домой. Действие петрыгинских чар проходило, но еще порядком потрясывало от одного воспоминанья. На всем — от крыш до островерхих уличных фонарей — мерещились ему надетые разных размеров треуголки; то именно и страшно было, что лица под ними были угловаты, бездушны и множественны. Теперь для успокоения требовалось ему только услышать голос Скутаревского; этот не умел фальшивить, и самый тон его разяснил бы несчастное положение, в котором очутился Иван Петрович. Не раздеваясь, он кинулся к телефону; номер был занят. Сердце до мозолей колотилось в ребра. Весь осунувшись, Иван Петрович почти в истерике колотил по рычагу, звонил еще и еще, все с прежней удачей. Потом обессилив, он сутуло сидел под аппаратом, выжидая, пока отцепится от Скутаревского не в меру разговорчивый абонент. Позже, когда его соединили, он услышал голос Черимова, и уже одно это служило недобрым предзнаменованием.

— Сергеандрейча! — в одно слово прошептал Иван Петрович, губами прижимаясь к эбониту, и, когда того не оказалось дома, прибавил, отрезвев и с зевком, наспех придуманным для пущей убедительности: — Это вы, Николай Семенович? Добрый вечер... Передайте ему, что я достал наконец скерцо для четырех фаготов. И если только вечер у него свободен...

— Ладно! — неопределенно коротко сказал Черимов и прекратил разговор, а Иван Петрович долго еще прислушивался к шелесту в трубке.

Все рушилось. Там, в секретном свидании, заочно решалась его участь; прятался от человека, с которым годы работал вместе. Не оставалось сомнений, Черимов нарочно поехал к нему на квартиру, потому что не в институте же, не близ чужих ушей было вести подобный разговор. Где-то на особой страничке черимовского блокнота, куда, наверно, в порядке самокритики заносит свои партийные грехи, жирным карандашом записано было: **разъяснить** Ивана Петровича. Ну да, так и возникают пухлые казенные дела, так пишутся доносные бумаги. И вдруг представлялось иное: поверх домов, пронзительно скрипя в рессорах, качаясь на незримых глазу ухабах, мчится за ним черная герметическая карета... И тут со страху окончательно мутилось у Ивана Петровича в глазах. Но эти неопишуемые пантомимы трусости кончались у него обычно протрезвлением. Улик явных не было, значит, ничего существенного не грозило; самое большее — могли выгнать со службы с волчьим билетом; и уж на крайний случай оставалась спасительная возможность донести самому ровно за сутки до того, как все откроется. История с пропавшей грамотой, как ее ни интегрируй, ничем не указывала на его причастность. Опять же умный вор спустился бы этажом ниже, где помещались лаборатории особого назначения. Следовало держаться до царственности неприступно, — вот как следовало держаться! Случись на месте Геродова сам Петрыгин, он не постеснялся бы и в суд подать, ибо вовсе не такими методами полагалось вести работу среди ученых.

Все произошло иначе. Расписываясь накануне в ведомости по зарплате, Черимов увидел там и расписку Геродова. Буква со славянским витиеватым росчерком по-

казалась ему знакомой. Пошарив в жилетном кармане, он выудил оттуда истлевшую окончательно бумажку; на уцелевшем клочке та же самая буква встречалась четыре раза подряд. То была анонимная записка о Бебеле, которую он получил в памятный день своего появления в институте. И когда, в довершение всего, аноним оказался вором да еще сплетником, тут-то у него и зазудело в руке.

## Глава 18

Дело заключалось в том, что ученик решился вмешаться наконец в судьбу учителя, который теперь, очумев от любовных эмоций, мог наделать непоправимых глупостей. Правда, старик несколько запоздал, и, задержись Иван Петрович у Петрыгина на полчаса, произошла бы смешнейшая, просто водевильная встреча, которая в один мах рассеяла бы все геродовские страхи. Черимов приехал без предупреждения; в случае неудачи представлялась возможность взглянуть краем глаза на самую виновницу многих предстоящих бед. Задолго до встречи он испытывал враждебность к ней, потому что, хоть и питал отвращение к сплетне, только на основании ее и мог составить мнение свое о таинственной девице. Он увидел ее сразу, едва вошел. Низко склонившись под лампой, она правила гранки.

— Меня зовут Черимов, — грубовато сказал гость. — Сергея Андреича нет дома? Ничего, я подожду.

— Хорошо, тогда сидите.

— А ваше разрешение требуется? — с некоторой уловкой пошутил он, намекая на нечто им обоим известное.

Она удивилась:

— Ну, тогда постойте... или ходите, все равно.

— Я предпочту посидеть, товарищ... товарищ?..

— Зовите меня просто Женя, если понадобится. — Она рассеянно взмахнула на него ресницами, и было так — точно птицы взлетели на плечи ему синей стайкой. «Эге, — подумал Черимов, — начинается».

Девушка молчала. Работа была спешная; девушка торопилась. Ничем не соответствовала она тому образу совратительницы, который Черимов составил себе по

романам дореволюционного образца. У тех бросалась в глаза явная, так сказать, товарная ценность; их неукротимый запах приманивал с достаточного расстояния; походкой балованной кошки, с перехватом в талии, как гитара, они проходили среди усатых и вполне семейных мужчин, и эти усачи, владельцы фабрик, железных дорог и поместий, бросались в самоубийства, разоренья и дуэли... Девушка, сидевшая за столом, напоминала переряженного мальчишку; совсем не девическая угловатость сквозила в каждом ее движении. Стриженные кудряшки падали до самой бумаги, закрывая лицо. Черимов видел лишь острое, не вполне сформировавшееся плечо да еще старательные ученические пальцы с обгрызенными ноготками. Несоответствие это дразнило его и сбивало с толку. Необходимо было со всей строгостью разоблачить неискусную маску инфантильности, хотя бы это повлекло ссору с самим Скутаревским.

— Вы правите гранки. Значит, вы знаете предмет?

— Я сверяю по рукописи.

— Отлично, а вот зарплату вы получаете или просто так? — Подняв голову, она морщила переносье и не понимала; он смутился: — Я объясню. Я предан Сергею Андреичу и еще не решил своего отношения к вашему появлению в его жизни.

— А зачем вам это нужно?

— Чем торговал ваш отец? — вопросом на вопрос, со следовательской прямоотой настиг он ее.

Действительно, она оказалась сбитой с толку.

— Все-таки не понимаю, — и рассеянно перебирала гранки. — Правда, он продал шкаф, когда отобрали лишнюю комнату... — Вдруг она рассмеялась, точно насмешливый бубенчик забился в ее горле, а Черимов обратил внимание и на то, какая настороженная тишина отвечала ей из-за двери, с половины Анны Евграфовны. — Вы чудак, Сергей Андреич рассказывал, как вы пришли к нему в первый раз. Не обижайтесь, он любит чудаков. — Пожалуй, она уловила что-то из черимовского намека. — Кстати, вы всех секретарей допрашиваете таким образом?

Но Черимов на ответную уловку не поддался: тот же отказался наотрез, когда Черимов предлагал ему в се-

кретари испытанную работницу, активного участника девятьсот пятого года и Гражданской войны. И во многом этот молодой человек был прав, хотя и не представлял еще полностью, в какие смешные формы уложилась здесь жизнь... Фронтная линия не стиралась; подобно снайперу у амбразур, жена караулила каждое движение на неприятельской территории. И там, где понять не хватало ума, приходила на помощь изобретательная мелочная ревность. Вещественной плотности мрак навис над этой нескладной семьей: десятки самых сокрушительных догадок предоставлялось жене накроить из него... В ее новом унизительном безделье они служили ей злыми, линючими игрушками. Сперва она кинулась к сыну, но детям всегда тягостна и непонятна огромная, страшная, как библейский ковчег, кровать родителей. Арсений сторонился интимных подозрений матери; вдобавок период этот совпал для него со временем острого душевного разлада. И тогда, чтобы подсчитать перед войной свои резервы, Анна Евграфовна пошла продавать часть своей коллекции. Она понесла большое, золоченой глины, мавританское блюдо; такие появились, когда христианская реставрация запретила испанским маврам употребление столового золота... В магазине, полном хрупкой и вычурной выдумки, стыдясь и волнуясь, она долго развертывала проношенную простыню, в которую была завернута вещь. Приказчик ждал, отвернув глаза в сторону: он понимал философические причины суетливого и совершенно независимого от людской воли блуждания вещей.

— Сколько гражданка хочет за эту неудобную разризованную тарелку? — спросил он потом с учтивым равнодушием, которое цепенило.

Второпях она назвала ему сумму, преувеличенную в сравнении с той, которую задумала. Впрочем, она не смутилась: вещь была редка, а с **них** всегда надо спрашивать. Приказчик сдержал улыбку; инструкция предписывала максимальную вежливость с клиентами. Он взял небольшой, килограммов на семь, бюст Наполеона, что валялся на полу, вытер ему лицо тряпочкой, как бы помогая высморкаться, не спеша поставил на место и ответил только после всей этой донельзя обидной процеду-

ры. Он посоветовал хранить на дому это блюдо, которое, будучи парижской подделкой, являлось, по-видимому, бесценной семейной реликвией. «Вы положите на него фруктов, когда придут гости, — это будет самое недорогое и изысканное украшение стола».

Никакое иное оскорбление не могло сравниться в силе с этим снисходительным сочувствием. Но первая неудача не сразила ее; слишком трудно было примириться с мыслью, что целая жизнь, со всеми заботами, усилиями и беготней, шла насмарку. В другой раз уже в сумке, с какими ходят на базар за овощами, она понесла две итальянские майолики; они были тяжелы, до магазина их тащила на себе домашняя работница. Труды ее пропали зря; приказчик подтвердил, что вещи — почти шедевры прекрасной флорентийской, но уже позднейшей, к сожалению, подделки. И опять, было бы гораздо менее обидно, если бы он попросту ответил ей в глаза: «Идите вон, вы только безвкусная дура, мадам». Но Анна Евграфовна не сдавалась; деньги у нее еще имелись, и продавать она шла вовсе не потому, что не хотела жить на средства сына; с тем большей настойчивостью, хоть и таяли в ней запасы мужества, она продолжала идти на приступ. Серебряная допетровская панагия, с сертификатом о принадлежности одному из Филаретов, оказалась просто медальоном работы современного вологодского мастера по черни; птичья фамилия этого искусника, названная приказчиком, вызвала в воображении некоего тощего человека с острым носиком и вороватым хохолком бородки. В бесценном Броуре, которым Анна Евграфовна собиралась потрясти музейных экспертов, отыскивали манеру одного ловкого жулика, который заканчивал свою художественную деятельность на рыбных промыслах в Соловках. Потом удары посыпались чаще: персидская, царственная по краскам миниатюра объявилась раскрашенной фотографией, врезанной в слоновую кость, а редчайшая, династии Мингов, китайская курильница — просто берлинской пепельницей. Как в старинной легенде, золотые червонцы на глазах у нее превращались в гадкие вонючие черепки. Линяла бронза, кость оказывалась деревом, фарфор — лакированной терракотой. Мадам уходила вся в пятнах, близоруко натыкаясь на посетите-

лей, иногда грозясь жаловаться, а ее уже признали в магазинах и ждали, как развлечения, ибо поистине явление становилось необыкновенным. Здесь, у прилавков, она познакомилась со знаменитыми историями поддельных румынских медалей, чешского эпоса, петровского стекла и, наконец, с сатанинским именем Леона Хохмана, одесского ювелира и автора прославленной скифской тиары. Тот же самый приказчик, сжался однажды, предложил ей продать целиком ее смешную коллекцию фальшивок в какой-нибудь провинциальный музей... Катастрофу следовало сравнивать только с горным обвалом. Минутами Анне Евграфовне как будто даже становилось стыдно: работал, как лошадь, втаскивая на подъем неуклюжую семейную колымагу, и целая куча прохвостов сидела в ней, кормясь от неумных щедрот его жены. В действительности каждая вещь окутана была для нее драгоценными эмоциями, но магазин платил деньги не за эмоции, а за вещь. Как в бреду, проходили перед ней образы — Курцмана, неутомимого антикварного ловкача всех времен, потом седоватого черноглазого Кара-Бушуева, поставщика великих князей и всесветного авантюриста, который, слегка попользовавшись, передал покупательницу Штруфу; теперь самое имя Осипа Бениславича вызывало в ней острые приступы мигрени.

Была удивительна быстрота, с какой Анна Евграфовна приспособилась к новой роли; по утрам она привычно уходила из дому в обход знакомых магазинов, зная все наперед. Она блуждала до изнурения, нагруженная вещами, — по ночам и усиленные дозы веронала не доставляли успокоения. Единственный сладостный смысл этого самоуязвления представлялся лишь в том, что, унижаясь так, она унижала жену Скutareвского. Еще быстрее сбежала с нее чопорная, хваленая ее интеллигентность. Иногда впотьмах открыв свою дверь и не поднимаясь с кровати, она с бьющимся до боли сердцем ловила ночные шорохи. Старые двери, которые не смазывались никогда, эти сторожевые деревянные псы семейного очага, неминуемо взревели бы, если бы Сергей Андреич по-воровски, крадучись, отправился в ночную охоту на любовь. Только это разъяснило бы ей, вдова она уже или нет, но ничто, ни писк, ни стон не нарушали ровного дыхания ночи.

Утомясь от книг, которыми даже в чрезмерном изобилии снабжал ее, Женя спала без всяких сновидений. Она готовилась в вуз и, конечно, нигде не успела бы сделать столько за такой короткий срок; усиленные занятия служили единственным оправданьем ее нового положения. Вовсе неспроста Сергей Андреич рассказывал ей о Черимове, которого когда-то приютил; впрочем, о поспешном бегстве его он умалчивал. Ему хотелось создать видимость обычности для редкостного случая, каким являлось вселение Жени в семью. Впрочем, живя в одной квартире, они зачастую не виделись неделями; встречи их происходили главным образом вне дома и сперва в общественной столовой, куда сходились в конце дня, — время установилось само собою, без сговора. Здесь не было опасений встретиться со знакомыми; обеспеченные люди его круга даже и случайно не заглядывали сюда. Вряд ли это походило на свиданья. Пыльная пальма, на войлочной шее которой висело откровенное приглашение платить вперед, свешивала лакированные космы, — украшение несвоевременной этой дружбы! Пределы их бесед суживала сама обстановка: за торопливой едой, составленной из серого хлеба и сурового стандартного бульона, недоступны были никакие лирические отступления.

Иногда, впрочем, им давали компот.

— Это бунтует старичье, — сказала она по поводу одного шумного судебного процесса, которым долго читались газеты.

— Я тоже старик, — усмехался Скутаревский, вылавливая сладковатые тряпочки урюка. — Вы еще молоды, ноги ваши как молодые березки, а руки... — должно быть, возраст давал ему право говорить это... — а руки как трубы, по которым струится нежность.

Смутясь, она грызла скользкую, сладкую косточку.

— Но о вас столько говорят, вас хвалит даже молодежь. — «Требовательная, нещедрая молодежь» — прозвучало в ее голосе.

— Ну... стариков она хвалит, лишь когда они безопасны для нее.

Конечно, он ждал возражений, горячих и убедительных, а Женя не знала, что именно так принято в его кругу.



И так уж установилось, беседу вела она, а он, стремясь изучить ее, не перебивал и полусловом. Привыкнув к нему, она не стеснялась высказываться даже там, где требовались знания, которых она не имела. Зато всегда как бы свежим ветром дуло от нее; он сдувал слежавшуюся пыль с привычных понятий предшествующего поколения, и тогда в особенности становились видны раковинки времени на них, трещинки и червоточинки. Всякий раз это звучало для него по-иному. Она говорила: «Сперва младенец, потом старик; это глупо организовано, следовало наоборот. Я представляю себе так и почти вижу: вход в пещеру, и все следы близ нее ведут в одну лишь сторону. Дело начинается с костей, с россыпи, с оскорбительного и смертного тлена. Что-то происходит, я не знаю — что, но вот старики выходят из своего подземелья поодиночке или же настолько крепко слежавшимися парами, что на каждом еще видны отпечатки его супруга. — А он понял так, что это она про Анну Евграфовну. — В их морщинах еще лежит время, земля и ночь. Они начинают с великого знания, свершений и мудрости. Они расстаются именно потому, что любят, и они молодеют тысячекратно в награду за все не сделанное. И так, ликуя и смеясь, они постепенно растворяются в голубое ничто...» Он молчал, ему была любопытна эта, не додуманная до конца фантазия юности. Она говорила: «Послушайте, Сергей Андреич, я прочла наконец. «Илиада» — это очень скучно. Никто не прочел ее два раза, но почему об этом стыдно говорить?» А он переводил ее слишком искреннее признание на тяжеловесный язык собственных научных рефлексов: «Что ж, вот умерла Ньютонова механика... угасли, отвердели достижения Лагранжа и Декарта. Омраморет все, и самый мрамор источится зеленым ветром новых весен. Храните жизнь!» И хотя старая культура на его глазах становилась знаменем реакции, он взирал подозрительно и недоверчиво на ростки новой, для которой уже освобождалось место.

Изредка совсем другие ветерки выбегали из этого ясного, ни морщинкой не прочерченного лба:

— А вы знаете, Сергей Андреич, когда происходил первый съезд партии?

— Видите ли, у меня крайне странная голова: цифры держатся, а вот даты... — И уже самому было неловко, что осведомлен хуже ее о таком почтенном дне.

— Я буду взамен ваших давать вам уроки политграмоты... хотите?

Он обеспокоенно двигался:

— Прекрасно... даже непременно. И мы начнем... вот, у меня послезавтра совещание, а потом сессия академии... вот после сессии и начнем, идет? Да вы просто из поколения французских просветителей. Впрочем, теперь это в моде: я на театре видал — пионерка просвещает профессора-зубра. И все плачут, публика, директор и даже кассир внизу трешницами утирает слезы...

С удивлением, которое перерастало в отчаянье, он замечал: привязанность к этому бездомному существу крепла в чувство, которое он всегда поносил и от которого отрекся бы публично, на площади; у него нашлось бы меньше средствами самой математики доказать всю неосновательность этих обвинений: впервые она солгала бы, эта правдивая и, в общем, неприятная старуха. С тщательностью, которая определяла его старорежимную совесть, он все глубже прятал в себя, как в землю, это робкое зерно. Тем больше становилось шансов, что когда-нибудь оно вырастет в дерево, тяжелое от песен, птиц и ветвей: была еще плодородна скутаревская земля. Существо его раздвоилось; никто, пожалуй, не поносил себя так за эту запоздалую страсть. «Это маразм!» — кричала одна половина и свистящим эхом отзывалась другая: «...или эпос». Как человек с нечистой совестью, он краснел и злился в присутствии Жени, а она робела от его внезапной грубости, которую, по неопытности, не понимала. Но, кажется, он молодел; кажется, он начинал верить в обратимость процесса, о котором шутливо фантазировала Женья. Гора его, этот окостенелый горб, сглаживалась; он забывал о ней; его душевное существо выпрямлялось. И прежде всего это сказывалось на работе: сборка аппарата подвигалась к концу, и в ближайшем месяце следовало ждать первой пробы.

Помянутые обстоятельства не были известны Черимову, и уж во всяком случае об этой девушке он знал гораздо меньше Скутаревского, который хоть пространные

гипотезы составлял в избытке на ее счет. Пребывание Жени в семье Скутаревского стоило размышлений, а Черимов, как и следовало ожидать, относился порицательно ко всяким психологическим выкладкам. Он помолчал, потом взялся за трубку телефона.

— Мне надо позвонить в одно место, — нерешительно объявил он.

— Моего разрешения не требуется! — засмеялась Женья.

Он нахмурился:

— Но вы работаете.

— Да... но вы же не уверены, получаю я за это или просто так...

Он отвернулся.

Номер телефона принадлежал одному его приятелю, капитану хоккейной команды. Неоднократные победы связывали их подобьем особой дружбы, с тою существенной разницей от обычной, что время не действовало на нее никак. Там, в команде, Черимова и знали не иным, кроме как в белой фуфайке и с клюшкой, сдержанного и за счет сдержанности своей меткого парня, всегда послушного команде капитана. Наверно, к телефону подошел он сам; Черимов называл его по фамилии, прибавляя официальную частицу **товарищ**. Разговор затянулся; по-видимому, в этот именно час Иван Петрович безуспешно добивался Скутаревского. Черимов объяснял, почему за последние месяцы он ни разу не появился на тренировочные занятия; таким образом, он не мог участвовать в розыгрыше междугородного первенства и, в крайнем случае, просил исключить его из команды совсем. Кажется, это была размолвка. Женья спросила:

— Почему вы бросаете команду? — Взгляд ее выразил одновременно и упрек, и сочувствие.

— Занят, мне не хватает суток. Кроме того, у меня образовалась своя, очень спешная работа. — То было первое упоминание о его собственной работе.

Она помолчала.

— Я тоже. Я хотела взяться за лыжи, — вдруг доверилась она. — Но мне нельзя.

— Есть и женские команды, — настороженно прищуриваясь, возразил Черимов.

— У меня... Мы грузили ящики на субботнике, и я сломала ключицу. Потрогайте... вот тут узелок. — И вся потянулась к нему, а он не сдвинулся с места, подозревая и в этом неловкий женский маневр. «Читал, читал, бросьте эти штучки», — хотелось сказать ему. Поверить в сломанную ключицу — означало поверить и в субботник, то есть отказаться сразу от удобной, всеразъясняющей гипотезы. И может быть, он протянул бы руку, недоверчивую руку Фомы, если бы в эту минуту не вернулся... Он вступил, высокий, чуть сутулясь от своего роста, шумный, и тотчас же ясность и как бы примирение наступили среди молодых; он казался веселым и довольным, — часовой разговор с Петрыгиным никак не повлиял на его самочувствие. На улице вдобавок у него произошла встреча, которую сам он почитал почти чудесной. По сыпучему переулочному снегу тащился воз, полный ящиков; прошлогодние яблоки перевозили со склада. Среди переулочной тишины, в оттепельном воздухе текла волнительная река пенистого яблочного аромата. И, так уже совпало, было возу и Скутаревскому по пути. От самого петрыгинского подъезда он шел следом, как бы посреди обширных яблоневых садов, тронутых слегка рыжеватинкой осени; негибкие уже ветви тяжело клонились под тяжестью спелых и нежных плодов. А грузчик шел рядом, счастливый хранитель московских гесперид, и напевал о своем. И все это — и минута, и ощущение! — было неповторимо и недоступно никому другому, как слово, сказанное наедине с собой.

Самое свидание с Петром Евграфовичем, происшедшее почти тотчас же по уходе Ивана Петровича и остальных петрыгинских гостей, не могло, конечно, содержать сколько-нибудь увеселительных моментов. Утром Петрыгин, со слов Штруфа, сообщил Скутаревскому в институт, что квартира с окнами в сад все еще стояла непроданной, хотя покупатели якобы осаждали комиссионера день и ночь; ванну за это время успели починить, а Осип Бениславич, хоть и почитал себя обиженным, соглашался уступить тысячу с общей суммы; он благородно шел навстречу семейным затруднениям знаменитого ученого. «Свой уголок ты уберешь цветами и пригласишь дружишек на коньяк», — намекнул Петр Евграфович: уже

хромая всеми своими колесами, он продолжал поддерживать установившуюся репутацию всемирного выпивохи. Мимоходом, возвращаясь из института, Сергей Андреич зашел за деньгами, которые уже давно ждали его; поднимаясь по лестнице, он мысленно порешил даже не снимать пальто. Но Петр Евграфович, дабы не уронить славы своего гостеприимства, втащил его в комнаты и потчевал чаем — предыдущие посетители не успели вылизать всего меду.

— Я, батенька, не чумной, ты меня не бойся, — говорил он, вводя его под руку туда, поближе к тестеву портрету. — У меня тело чистое, даже без пупырышков. И потом, насколько я понимаю в анатомии, я не девушка... так что обольщать тебя не стану.

— Э... а лису-то как я промазал! — наобум сказал Скутаревский, ибо не знал, с чего начать.

— Ничего, пускай пока ходит: через недельку я до нее доберусь! — успокоил Петр Евграфович.

Все было тихо и чисто; окурки вымели и даже комнату успели проветрить; ничто не напоминало о бурном шквале бунта, страха и угроз, который прокатился здесь совсем недавно. Все улеглось, и на лакированную крышку аристана успел осесть тонкий налет пыли. Сергей Андреич взволнованный, прошелся по комнате, и, едва увидел эту старомодную музыкальную игрушку, разом, расщепленное на тысячу мелких ручейков, вспыхнуло в нем воспоминанье. Уж он-то помнил, какая злобедная жеманная усмешка записана там, на острых зубцах и пронзительных иголках машины. Он помнил с юношеской ясностью все и, кроме прочего, помнил — студент с продранными локтями сидит в коляске с молодой женой, стыдясь нищего, позорного своего торжества. «Итак, Серж, запомни этот час на всю жизнь: мы отъезжаем в будущее», — сказала жена по-французски, с носовым пономарским прононсом, от которого еще блевотнее стало во сто крат. Стояла и без того засушливая пора, да еще этот живучий пес, которого он насилу извел впоследствии, почти обжигал колени. Сергей Андреич сидел молча, втянув голову в плечи и весь потный от чрезвычайных переживаний. В его положении лучше всего было не оглядываться... О, как он ненавидел теперь это будущее,

которое стало прошлым... и тем сильнее все существо его сжалось к предстоящему прыжку. Ему хотелось верить, что гора его остается позади, а с нею — напрасное, долголетнее клубление силы и хмельная, погиблая пена славы, поглотившая его молодость.

...и еще, если всматривался зорче, видел он теперь тонкую опушку березового леса и насыпь, убегающую в тусклую, робкую еще весень. Видел еще редкую мало-кровную травку на нефтяной земле между шпал, видел смыкающуюся в математической неизвестности пару рельсов, уже дрожавших от приближающегося поезда. И на них, лицом вниз, видел он Анну Евграфовну с черным, как бы обуглившимся лицом: она ждала. Образ этот, сложившийся из бытовых, книжных и всяких прочих наслоений, и был центром его интеллигентского страха; этот вполне выдуманный образ цепенил ему мысль и служил шлагбаумом на пути к будущему; он повторялся, с каждым днем обогащаясь новыми подробностями. Так, однажды он узнал эту травку между подгнивающих шпал; то был **кочеток**, пастушья сумка, — его треугольные семенные коробочки служили неотъемлемой деталью детства: возле отцовской скорняжной, между крыльцом и заборчиком, был один метр глухого пространства, густо заросший этой беззатейной живностью, — там прятались, играя в жуликов, ребятишки... Несколько позже, тотчас после петрыгинского звонка, он рассмотрел еще одну подробность: в руке Анны Евграфовны, зажатое последним рефлексивным движеньем, поблескивало ее пенсне, которое прежде всего должно было разбиться в возрастающем гуле колес... Но стоило только вздохнуть глубже, во всю грудь, и дурманящий тот мираж прекращался. Он не только пугал, он и возмущал Скутаревского, как жестокий, ростовщический процент к его традициям, привычкам и культуре.

Потом в выдвинутом ящике стола он увидел самые деньги. Они лежали аккуратной стопкой, перевязанные ниточками, захватанные сальными пальцами нэпа, банковские пачки, дряблые тусклые лепестки, из которых он собирался свить свой любовный шатер.

— Это они? — спросил Сергей Андреич. — Грязные какие!

— Да: деньги. Портфеля ты не захватил с собой? Придется рассовать по карманам, и сразу станешь толстый, как я. Уж тогда тебя и пулей не прошибешь.

— Можно забирать?

— Разумеется, — деловито подтвердил Петрыгин. — Но ты хотел расписку написать... хотя, в сущности, это не обязательно.

— Нет, зачем же... давай бумагу, — сдвигая в край стола чайную посуду, перебил, и тотчас же Петрыгин поддал ему листок гляцевитой прочной бумаги и автоматическое перо.

Вздываясь вверх, побежали крупные, быстрые строки: «Я, Сергей...» Он только это написал, а потом остановился:

— На какую сумму писать?

— Как условились. Тридцать минус одна, но зато, полагаю, тебе следовало взять для Анны, ну, тысячи три... на первое время. Потом я стану давать ей периодически. Всего пока тридцать две тысячи. Ты хочешь пересчитать?

— Нет, это не важно... — И писал дальше, что вот он, берет тридцать две тысячи с обязательством...

Вряд ли возможное при трезвом дневном свете испытал он ощущение в ту минуту. Будто, видимый изовсюду, сам он бежит по бескрайному снежному полю, а за ним, спрятанный в укромном кустарничке, следит один, только один, немигающий, без блеска, черный глазок. Беспокойство овладело им и уже вовсе непонятное томление; а объяснялось это, может быть, тем, что в ручке не оставалось чернил, перо раздражающе царапало бумагу. И пока Петр Евграфович торопливо набирал в нее чернил, у Сергея Андреича сам собою придумался новый вопрос:

— Кстати, я так и не узнал, чьи это деньги?

— Ты берешь их лично у меня, потому что они доверены были мне.

— Но если с тобой случится... я не знаю что. Если, к примеру, тебя счавкает автобус... Я же не могу согласиться на уплату предьявителю.

— Но ведь ты и пишешь, что уплата производится не ранее полутора лет, — брюзгливо возразил Петрыгин.

— Это безразлично. Предъявитель может оказаться шелкопером, которого я и на порог к себе не допущу.

Петрыгин действительно начинал сердиться, как всякий, впрочем, охотник, которого перед самым выстрелом отвлекает посторонняя, недостойная внимания мелочь.

— Пустяки, родной. Переезжай со своей красоткой, наслаждайся и в счастье свое не подмешивай сомнений; и без того оно горькое. Мне верится, что после переезда ты даже начнешь писать сонеты... то-то посмеемся. — Но тот все еще медлил с распиской, и Петр Евграфович понял, что необходимо разъясниться полнее. — Деньги принадлежат вот ему. — И он небрежно ткнул в портрет тестя. — Поэтому тебе придется возвращать монеты только ему, а вернется он, по моим расчетам...

Портрет казался много живее, чем в тот последний раз, когда с женой сидел в гостях у Петрыгина. В его пожухлые было краски воротилась прежняя жизненная яркость, а в водянистые глаза — надежда, которая тогда почти угасла. Кроме многих явных и секретных специальностей, Осип Бениславич занимался также реставрацией картин, и Петр Евграфович нанял его промыть загрязненный лак на тестевом портрете. В тот именно час, когда распластанный тесть лежал на столе и по нему ерзала смоченная в скипидарной эмульсии губка, принесли хозяину телеграмму. Она кратко сообщала, что старик умер в Медоне, — старик этот и был тесть. По-видимому, в одно и то же время в Москве — посвистывающий Штруф, а под Парижем — плачущие родственники обмывали покойника. Была поэтому отточенная и знаменательная ложь в словах Петрыгина, когда он уславливался о возвращении долга мертвецу.

И он промахнулся, утомясь, должно быть, на усмирении Ивана Петровича. Он сказал э т о зря, он стрелял слишком рано, он напрасно понадеялся на твердость своей одряхлевшей руки: красный зверь уходил. Следовало открыться много позже, уже после переезда Скутаревского на новый парадиз, когда он испил бы хоть глоток от сладостей уединенья. Теперь оставалась единственная возможность всучить эти деньги зятю — признавшись, что промышленника Жистарева уже не существует на



свете. Но тогда пропадала бесплодно золотая эта дробь и весь предварительный умысел, хитроумный, как охота с флажками... Тут Сергей Андреич поднял взгляд и понял, что черный испытующий глазок, чуть расплющенный веком, принадлежит именно Петру Евграфовичу; лицо шурина было асимметрично, одновременно лицо пройдохи и мудреца.

— Если тебя затрудняет расписка, можно обойтись и без нее... — Дрогнувшим голосом пробасил он; басил, — значит, все еще сердился. — Мне достаточно твоего слова...

— Нет, ты погоди, — молвил рассудительно Сергей Андреич, откладывая в сторону перо. — Кажется, я раздумал брать эти деньги... кажется.

— Как, ты отказываешься от квартиры? — вяло спросил стрелок, который стоял на номере. Он дышал тяжело, неравномерно: зверь уходил, охотник понимал это, и становилось скучно.

— Нет... но я, знаешь ли, обойдусь.

И, намелко разорвав записку, вспомнил очень своевременно, что Черимов уже давно ждет его дома. Поспешность, с которой он стал прощаться, показалась Петрыгину просто неприличной:

— Оставайся хоть чай-то пить. Не берешь денег — ну и черт с тобой: в другом месте достанешь. А такого меду... Эх, оба мы старики, а о ревматизмах-то еще и не поговорили!

— Нет уж... там у меня, дома, делегация еще ждет, забыл совсем.

Он лгал, не заботясь о правдоподобности: лишь бы выбраться из болота; он лгал, — он уже перешагнул, зажмурясь, через то красное и спутанное, что громоздилось на воображаемых рельсах... Уходя, он оглянулся в последний раз. Комната была квадратна и казалась нежилой. Тусклый свет еле пробивался сквозь матерчатый абажур. Мертвый корректный человек внушительно смотрел из рамы вослед уходящему, и у Скутаревского надолго осталось клейкое впечатление, точно спина его измазана известкой. Вот тогда-то, на его удачу, точно дождичком sprysнуло, и подвернулись сани, нагруженные яблочным ароматом.

## Глава 19

Женя скоро ушла. И как только остались одни, Черимов напрямик пошел на беседу, которая вдруг по наитию пришла ему в разум. Долго и сперва беспорядочно он выюнил по околицам и начал издали — о той же сибирской торфянке, но с тем различием, что секреты были, хоть и без его помощи, уже разгаданы. Пожалуй даже, секрет разгадался сам собой: крайние, почти штурмовые формы принимала в стране классовая борьба. Правда, многое объяснялось пока или дурачеством, или анекдотическим головоуятием, которое, конечно, также входило в организованный план интоксикации народного хозяйства. Черимов выразился приблизительно так:

— Я уловил наконец то, на что вы намекали тогда Кунаеву, Сергей Андреич. Я выверил все и нашел ту дырку, куда частично утекала наша энергия и деньги. — Слово «я» прозвучало здесь множественно. — Все расчеты и варианты в сметном и материальном планах были составлены теоретически правильно, но у меня имеется целая вереница особых фактов, которые я могу представить в любое время. А если принять во внимание, что Брюхе дал некоторые указания... — и стал закуривать, и спички у него не зажигались. «Этими вещами не шутят, товарищ!» — строго вставил и сам удивился, как искренне это у него вышло. — ...дал указания на Ивана Петровича, который является частым гостем Петрыгина...

— ...и вашим! — вставил еще; он ничего еще не знал о происшедшем мордобое.

Возможно, Черимов и впрямь не слышал его реплик.

— Арсений же доводится племянником инженеру Петрыгину и, больше того, по службе подчинен ему.

— А я ему довожусь отцом. А вы мне приятелем, как преждевременно толкуют некоторые. А Матвей Никеич дядькой вам... Этак вокруг земного шара объехать можно в поисках злодея, молодой человек.

— Арсения видели в театре с одним дипломатическим, так сказать, человеком.

Скутаревский вспыхнул:

— Вы... вы сами следили за ним, товарищ заместитель мой, или поручали третьему лицу?

Как бы утерев свою дерзость, Черимов угрюмо разглядывал рыжие, всегда рыжие ботинки Скутаревского. Глупо было рассчитывать на интимную близость с этим тяжеловесным чужаком. И не то чтоб обида, а просто стыдно ему стало за прежнюю искренность, которая родилась в его неизвращенном сердце. Потом, прищурясь, он перевел глаза в окно, но скулы его дрожали.

— Я ничего не покрывал, — глухо сказал. — Мнение свое я записал особо.

— Да, но вы зашифровали его... чтобы впоследствии иметь отговорку.

— Чушь! — завопил, сжимая кулаки. — Вздор... я только не делал выводов, но это мое человеческое право.

И хотя бесконечно тошны были Черимову такие собеседования, он шел на все, только чтоб добиться уверенности в чистоте самого Скутаревского.

— Давайте в упор, лицо на лицо, Сергей Андреич!.. Думаете, меньшая на вас лежит ответственность, чем на мне? Потомками с вас спросится больше, потому что вы можете больше, и вы это знаете. Я говорю на том самом языке, на котором вы настаиваете. И кроме всего... — он усмехнулся почти вызывающе, — вы достаточно скомпрометированы в глазах всей этой шпаны своей работой для советской власти. А ведь всегда труднее платить по запущенному счету.

— Я не понимаю, — заворчался Скутаревский, увертываясь от пронзительной этой откровенности. — Я хочу сказать, например, что всего полтора часа назад я сам был у Петрыгина, имейте это в виду. — Все недоставало в разговоре какой-то последней точки, и он с маху поставил ее: — Вы сознательно включили в эту темную... да, **темную** цепь Арсения?

Подтверждалась давняя черимовская теория: старая мораль, основанная на рабском, нечестном сострадании к человеку, весь комплекс старинных и ложных представлений о дружбе, родстве и общественных отношениях мешает Скутаревскому вести свою, правильную, линию в этом деле. Порою трудно приходилось старику, как четвероногому — сразу ходить на двух, и вот, взглядываясь в учителя, почти шептал ему ученик: «Смелее, милый... сегодня ты еще споткнешься, но завтра это станет твоим рефлексом».

Теперь все становилось ясно: «Сын мой, он сын мне и даже больше, чем я сам...» — кричали сухие, скоробленные листья по осени, skutаревские слова.

— С Арсением я буду говорить особо, если он захочет. Сперва я хотел о вас. Передавали, что вы собирались опротестовать станцию?

— Да... но, к сожалению, я мало смыслю в этом деле.

— А если бы вы, при равных условиях, были в партии? — резво бежал Черимов, и собеседник одышливо следовал за ним.

— Но я и не состою в партии.

— А почему, что вам мешает? Вот Петрыгин, например, подал же заявление о приеме.

Скутаревский дико взглянул на Черимова; теперь он сидел весь накрепко вперед, точно врытый в землю по пояс, он рвался из нее наружу. Чаше, чем могли предположить окружающие, он задавал себе тот же вопрос, когда пускался в некоторые мысленные странствия за пределы своего ремесла. Должно быть, в том и состоит трагедия всякого учителя — с радостью и ужасом взирать на опережающего и вот уже ведущего ученика.

— Не принимайте, не надо... гоните его! — Он спохватился и закусил губу. — Я могу отвечать только за себя. Видите ли, для вас смолоду не было другого пути; для меня же это только завершение огромных бурь, смещений и катастроф... которые, черт возьми, может, и не произошли? И потом, разве вы думаете, что партбилет оправдывает мое научное бесплодие? — Он сводил проблему опять-таки к личной своей драме. — Но, странно, я волнуюсь сейчас, как тогда, когда говорил с Лениным! — заключил он потерянно.

То была, конечно, правда — для него, для Скутаревского, каким он был, — и штурм прекратился. Черимов умолк, чтоб позже — а теперь он знал наперечет уязвимые минуты Скутаревского — возобновить атаку. Потом он спросил тихо, потому что это нужно было не только для него, и он не надеялся получить ответ:

— Это не допрос... но зачем вы все-таки ходили к Петрыгину?

...и вот тогда-то случилось — выслушав до конца, Черимов предложил учителю переехать к нему во фли-

гель. Сергею Андреичу доставались две, вернее — полторы комнаты, потому что одна была совсем плохонькая и угловая, вполне пригодная, однако, для человека, который дни свои проводит вне дома. Сам он соглашался потесниться в соседнюю такую же; при том ограниченном количестве вещей, каким он обходился в жизни, это не составляло для него затруднений. В его конфузливом предложении, сделанном легко и с дружескою прямою, заключался блистательный выход из положения. Сергей Андреич заволновался, жал ему руки, отдал ногу в попыхах, допытывался — какой ему смысл вселять к себе такого живучего беспокойного старика, и, в заключение, сунул в карман коробку сигар, подарок одного заморского коллеги. Черимов сигар не курил и коробку взял с намерением порадовать при случае Федьку.

— Все-таки странно... разумеется, таково их положение в мире, но большевики ничего не делают без умысла. Полагалось бы отказаться, но, будучи хитрее, я принимаю: жена по ночам подходит к моей двери и нюхает, я слышу ее сопенье. Крайне раздражающий фактор, знаете ли. Но по дряхлости своей я поеду не один, а с секретарем. — Он пытливо взглянул в лицо молодого, но тот ждал: в глазах его сиял невинный день.

— Я вам как раз две комнаты и предлагаю.

Скутаревский задумчиво посмотрел на стену:

— Между прочим, как вам известно, я играю на фаготе. И, надо сказать, я неплохо играю, но к фаготу, вообще говоря, надо привыкнуть, я бы даже сказал — притерпеться. Помните стишонки: «хрипит удавленник фагот...»

Черимов смеялся:

— Ничего, я тоже заведу что-нибудь гремучее: мне нравится барабан, я непременно куплю и для полноты впечатления увешаю колокольчиками, но, к сожалению, его негде поставить. Кроме того, я исполняю некоторые уссурийские песни, казацкие думки. И, по отзывам, пою неплохо, хотя, надо признать, голос у меня в высшей степени самородный.

— ...самородный... — раздумчиво повторил Скутаревский. — Кстати, вы уже написали донесение на Ивана Петровича?

Черимов ошеломленно пожал плечами.

...Итак, наконец это произошло. Предупрежденная всего за час до переезда, Женя куда-то исчезла. На обнаженных стенах обнаружались гвоздевые дыры и летучие космы пыли. Черимов с видимым удовольствием перетаскивал поближе к себе тяжелые книжные связки. Грузовик, взятый из института, одним колесом наступал на тротуар. Колючая тишина стояла на половине Анны Евграфовны. Извозчик, синяя личность в заерзанном халате, нес на вытянутых руках электрический прибор и приговаривал: «Почтенная вещь, почтенная». Вытащил он ее вполне благополучно и грохнул о пол только на новой квартире. Араукария, едва ее подняли, сразу осыпала всю свою хвою, — двадцатилетний процесс закончился; так и оставили ее торчать сохлой вешкой на скутаревском пути. Сергей Андреич торопился: в окна глазели рожи. Черимов поехал на трамвае. Валом валил снег. Пассажир в бобровой шапке плотно сидел в санях, держа инструмент свой между колен, на манер старинного мушкетона, и сопел в поднятый воротник. Прицепившись сзади, мальчишки разных размеров гирляндой ехали за ним на коньках. Было чудно Сергею Андреичу начинать все сызнова, со студенчества, с одиночества, с некрашеного соснового стола. Будущее было смутно и влекло к себе скорее не радостью, а тайной... Внедрение в черимовский флигелек произошло только к сумеркам, книги свалили в институтскую библиотеку, и час спустя уже квакал фагот на новоселье. Его мелодия звучала непонятно, вся в каких-то психологических бемолях, срывах, мнимостях: походило, будто, просыпаясь, большой волосатый человек бубнит что-то с закрытым ртом. И еще: несколько раз мелодия подкрадывалась к одной и той же высокой ноте и всякий раз обрывалась, — так задают вопрос, на который не бывает ответа. Сергей Андреич не преувеличивал: только черимовские нервы способны были выдержать в один прием такое количество звуков. Чертя свое, набирая тушь на рейсфедер, он слушал за перегородкой и покачивал головой: «Новое место обживает. Вот и объясни Федьке эту чертову механику — в чем тут дело и какие тому суть косвенные причины». Женя появилась к вечеру, робкая и насто-

роженная; у Черимова, который открыл ей дверь, нашлось такта встретить ее шуткой и не расспрашивать ни о чем.

...Через неделю все вошло в норму. Новое место обустроило и новые обычаи, и, пожалуй, самым примечательным было то, что жить теперь можно было с незапертыми дверьми: красть у них стало нечего. Первому просыпавшемуся приходилось готовить чай, и Сергей Андреич, после нескольких, не вполне удачных, опытов дружбы с примусом, стал подниматься позже обычного. Пили чай, потом расходились до ночи; зачастую оставался в лаборатории и на ночь, когда никакие посторонние разряды не мешали его экспериментам. Однажды, вернувшись невзначай, он застал у себя гостей. В каморке его, затканной слоями табачного дыма, подобно жукам в коробке, гудели люди. Горячась и грызя окурки, Федор Андреич спорил с Черимовым и Женей, которые сомкнутым строем нападали на него. В стороне, сохраняя строжайший нейтралитет, с монументальностью горы возвышался Кунаев. «Но... — на потеху своих собеседников вещал в лирическом припадке художник, — вот я прохожу по земле, как тень от облака, и истлевает тень, а почему?.. и кто мне ответит?» — «Все дело в том, какого облака вы были тенью». И уже в том одном была их правда, что Федору Скутаревскому впопыхах нечем было возразить. Приехавший со строительства на побывку, как солдат с фронта, Кунаев расширенными глазами взирал на смятенное тыловое существо, не понимал, не сердился, но и не доверялся целиком на запальчивую декларацию художника. «Вот черт... а почему, действительно, приспичило ей истлевать? Занятно... ну вали, вали еще». Черимов, который уже догадывался о наличии в мире Жистарева, улыбался и рассеянно, почти рефлексивно рисовал профиль Ленина на столе. Оказалось, Федор Андреич заходил много раз в отсутствие брата; оказалось, заручившись согласием Жени и Черимова позировать ему, он задумал новый холст, **Лыжников**, который, по искреннему его убеждению, должен был послужить ключом к новому искусству. Сергей Андреич постоял в дверях, задумчиво потирая переносье, потом отправился готовить чай.

С терпением истинного ученого он мыл посуду, которая проявляла гнусное намерение выскользнуть в раковину. Дверь стояла неприкрытой; слоистый дым табака и рваные клочки беседы достигали его и тут. С вялой и необычайной для него скукой Черимов добывал Скутаревского-художника, и слова представлялись Сергею Андреичу тусклыми, как из прошлогодней газеты. Он подумал: «Сейчас изречет об ампутированной ноге, которая долго болит после того, когда ее уже и нет вовсе». И верно: тот сказал. Кто-то вошел сзади, и Сергей Андреич, обернувшись, застал взглядом Женю.

— Ну, зачем же вы... — смущенно заговорила она. — Идите к ним, я домою посуду.

Он шутил: «Ничего, я сам... обрабатывайте там этот лысый полуфабрикат. Я в этих делах бесполезен, Женя. Кстати — вас зовут!..»

Черимов повеселевшим голосом кричал в дверь: «Женя, идите скорей... послушайте, что он только говорит!»

— Я сейчас, — откликнулась Женя и притворила дверь за собой. — Давайте мне блюдо. Я моложе, давайте.

Усмехаясь, он отвел мокрые руки за спину:

— Я это слышал. Притом же вы опоздали, это блюдо последнее. Чего вы хмуритесь?.. ну, о чем вы думаете теперь?

Она подняла голову, и свежестью пахнуло ему в глаза:

— Я давно хотела говорить с вами, Сергей Андреич. О, как неправильно живете вы и... разве вы не видите, что делается вокруг? О вас много говорят, но... я не сказала тогда, — и много смеются.

— Кто же этот смешливый и насмешливый — Черимов?

— Нет, нет же! — с горячностью заступилась она. — Он славный... и он талантливый...

Он улыбнулся ее вспышке, а мысль метнулась: девчонка, девчонка, старься скорей!

— В его годы я сделал больше. — А еще подумал: «Ага, ты становишься уже несправедлив». — Что же они говорят?

— ...что вы никогда не кончите своей работы, потому что это и невозможно; что вы растрчиваете народные



деньги, спекулируете своим именем и из упорства обманываете Совет народного хозяйства.

— Я не виноват... мои электроны не подчиняются декретам правительства, они разбегаются прежде, чем я успеваю запрячь их.

Дверь отошла, стал слышен артистический, — и только брат с гримасой боли услышал в нем судорогу, — вопль Федора Андреича: «...вот так, живем и цедим сквозь себя текучее время и засариваемся». Его перекрыл могучий и честный хохот Кунаева, который в простоте душевной полагал, что тот выколенивает все это нарочно.

— Вот, и вы точно так же, — скороговоркой, не помня себя, шла ему навстречу Женя. — Почему... почему вы не бросите свой драндулет? Иван Петрович, я слышала сама, говорил, что вы играете, как рыжий в цирке...

— Позвольте, что такое драндулет? — нахмурился он.

— ...они говорят, что слушать вас можно только под хлороформом... нет, это еще не все! Почему вы оставили меня у себя? Ведь я не Черимов, правда?.. Я не умею ничего, мне только в билетерши с моими знаниями. И все думают, что вы...

— Ну, ну, что они думают по этому вопросу? — спросил он грубо, и щеткой привстали его усы.

Она стояла к нему вплотную, глаза в глаза: лицо покраснелось, а брови двигались, как бы рефлектируя раскидываемые слова. Его ноздри раскрылись, он с любопытством вдыхал ветерок с ее волос, который пахнул дешевой, с детства знакомой карамелью. В сущности, происходило крушение; свирепую аварию терпели привычные его установки, «Сенька-то был прав!» — полоснулось в голове, и даже покраснел, хотя никогда раньше не стыдился своих воззрений, внушенных ему великим знанием. Перерождался в нем тот самый мир, который он воспринимал именно как безличный комплекс электромагнитных явлений; лишь протяженность и время играли направляющую роль при этом. Никогда в мысленных его тайниках не возникало тревоги, что завтра же совсем иную форму — дерева, облака или девушки! — примет это уплотнившееся пространство. Но вот карамелистый и уж вряд ли электронный только ветер подул со стороны из-за хаотических кулис материи, и беспредметный туман, в

котором жил до сегодня, заколебался; рваные клочья его оторвались, поплыли, на лету принимая неожиданные вещественные очертанья. Как бы заново, но только преуменьшенное до крайней мелкости происходило зарождение мира. Глазами прозревшего еретика он увидел блюдце, осколки его у своих ног, лоб девушки, Очень простой, никем не целованный лоб, увидел смешной пушок на дрожащей от негодования губе и, в приближенном зрачке ее, — помолодевшее отражение самого себя. Он тянулся к нему: оно стояло такое легкое, несбыточное бывшее!

...его губы как бы склеились; неравная то была борьба, потому что трудней всего преодолевать себя. Кажется: неоспоримое какое-то право имел он на нее: вот он хотел, вот он достиг. Он шел с горы и на пути встретил последнее дерево, за которым предстоял спуск в прохладную, бесплодную и сумеречную долину; тем более стоило продлить это бесконечно малое мгновенье, отдохнуть в его тени, хотя бы и сопровождалось это многократно оклеветанным ритуалом любви. Кстати, он достаточно смутно представлял себе, как все это происходит. Кажется, теперь уже не играют на лютнях; теперь проще, теперь ходят в кино и, подслеповато щурясь на плоскую, всем телом мигающую красавицу, жуют пакостные, липучие леденцы; потом целуются в подворотнях, по-собачьи, наугад тычась губами в мокрые от снега воротники; потом следует обычная химия любви, пока дело не втекает в законное русло судопроизводства и алиментов. В суматохе он даже забывал разглядеть — не стоит ли перед ним только кургузая портняжная болванка, наделенная им теми же мнимыми эмоциями обожания и любовного трепета, какими, хоть и в малой мере, он одевал когда-то и старую свою жену. Женя молчала, она требовательно ждала ответа. Тогда, подумав, он тяжеловесно переступил с ноги на ногу, и осколки блюдца захрустели у него под подошвой.

— Я очень мудрую, когда касаюсь этих тонких дел. — А смысл был иной, а смысл был — «ведь теперь же не ночь, а ясный день, Женя. Видите ли, мой день и ваша ночь не совпадают».

— Но я постараюсь понять вашу мудрость! — кивнула она, принимая вызов.

— Нет, но, помните, у Фауста... «вся мудрость мира меньше одного твоего слова». Я не хочу говорить банальностей, потому что, если они не испугают вас, я расстанусь с вами, Женя.

Она прислушивалась, сурово сдвинув брови.

— ...я уже старый воробей. Слушайте меня: я изучил эту материю в пределах, доступных нынче человеческому мозгу. Я видел электронные души тел, Женя. Мои пальцы утончались по мере того, как обострялось зрение и повышалась жадность... прекрасная человеческая жадность — знать! Держа атом в руке, я уже пытался — хотя бы любопытства, а не власти ради! — отколупнуть ноготком его электроны. Я окружил материю капканами, и вот, в крайнее мгновенье, когда я ею овладевал средствами ее же силы, она взорвалась, она ударила меня в глаза, и там, где витали в пустоте невесомые частицы, я увидел лужайку, какой-то декларационно-наивный курслеп на ней и девушку в белом платье... — Конечно, понятие девушки в этом месте следовало толковать расширительнее. — Это случилось задолго до того, как я встретил вас на шоссе. Так всегда: название приходит потом! На старости э т о всегда несчастье, но кто же смеет противиться попыткам своего воскрешения? Больше того, я до немоты рад, хотя и выражаю сие длинно и нечленораздельно. Видите ли, девочка, сейчас я даже моложе и глупее вас. — Ему так и не удалось подобрать слова, чтобы передать свое тогдашнее ощущение: оно походило на одно место вагнеровской увертюры к «Фаусту»; есть там некий исполинский всхлип, точно разрезают медного человека, чтоб сделать заново, и он кричит, потому что рвутся его медные сухожилия... Он выразил это по-своему: — Я знаю одно место в музыке, где есть радость и знание всего вперед и благословение всего, что неминуемо приходит за ними следом.

Почти испуганной теперь казалась Женя. Минуту назад она еще не знала, какую пещеру открывает детским ключиком, каких призраков, десятилетия запертых в неволе, выпускает наружу; и вот они дикостной толпой ударились в нее, — она зажмурилась и отступила. Ей стало холодно, в ее потемнелых зрачках отражалось лишь расплывчатое смущенье.

Он заключил иронически эти медные стенанья:

— Вот видите, а меня еще в директорах держат. Гнать таких надо железной метлой. Рекомендую посечь меня в стенной газете. Ну, пойдемте, а то я вас перепугаю вконец. Неофит Федор уже готов, и пора его отпаивать чаем.

Из чайника со свистом выбивалась струя пара. Он взял его и торжественно понес; Женя следовала за ним со стопкой посуды в руках.

Отсутствия их никто не заметил. Держа руку на колене Федора Андреича, Фома Кунаев врубал в него свои слова, и каждое слово надолго оставалось в памяти, как зарубка, сделанная топором:

— Чертило ты! Я дам тебе клуб, через который проходят в сутки двадцать девять тысяч человек... Строители... армия, армия... я дам тебе лучшие краски нашего производства, дам тебе стены, на которых никогда не было еще написано ничего, — голые, грубого штукатурного зерна стены. Ты влезешь на леса и... и вали, действуй. Милый, да не трактора от тебя требуются, а ты своими словами дай, чем мы дышим и побеждаем чем. — Он передохнул и с конфузливym изумленьем подмигнул Черимову: — Во, Николай, здорово я говорить стал... прямо без запинки и даже по вопросам искусства, а?

И, видимо, столь велик был его запал, что и после появления Сергея Андреича, которого он дожидался давно уже, он продолжал мять так и эдак вялую художническую руку, как бы затем, чтоб или приласкать, воодушевить, или уж взять ее поухватистее, вырвать из сустава, да и написать ею все э т о самому. Федор Андреич сидел неподвижно, глядя в пол, и какая-то сокрытая жилка чувствительно пульсировала в его лице. «Да, да, — думал он, — уйти надо, прикоснуться к основам всех тех вещей, из которых складывается жизнь будущего века».

## Глава 20

Так, спускаясь с горы, он оставлял друзей, семью и старинные привычки. Полагалось радоваться, что вот спадают стеснительные обручи, мешавшие росту человека. Но все представал почему-то иной образ: с рас-

кидистого и шумного дерева облетали скоробленные листья, а для новых еще не наступило весны. Напрасно, простерши голые сучья, шарило оно по зимней пустоте и цеплялось за ускользящий ветер, — крепко держала корни промерзлая земля. Попутно вспоминались такие стишки у Арсеньева князца: «Человек ухватился за бурю, а она ему руки напрочь!..» И еще бился на ветке когда-то полновесный и звучный, сохлый теперь и последний листок — сын. Слово это росло, тяжелело, принимало не изведенную еще форму, слово это могущественней оркестра сопровождало первый его крутой житейский поворот, и вот умерло, и вот повисло на последней нитке. Но, значит, сыновьям прощают и большее! — Тотчас после черимовского сообщения Сергей Андреич готов был лично поехать к Арсению, предупредить об опасности. И хотя ему нравилось, что Черимов с таким упорством стремится к обнаружению черного сибирского дела, Арсений был ему роднее по веществу; и, даже целиком разделяя черимовское намеренье, он тем не менее хотел, чтоб только одного Арсения миновала горькая последующая участь. Впрочем, через сутки обстоятельства переменились. Черимов наткнулся на разъяснения второй, уже петрыгинской экспертизы, и счел за лучшее объяснить тем временем с бывшим шурином своим непосредственно.

Вечером, по окончании работ, он позвонил ему из институтского кабинета, и, показательное обстоятельство, в той же степени, в какой происходила здесь хлопотливая душевная суетня, голос Петрыгина звучал с сытой и уверенной ясностью:

— А, это ты, советский Фарадей!.. читал, читал про тебя. Бросай к чертям своих рыб и приезжай. Вали как есть. Будут все свои и еще... — он назвал знаменитого иностранного пианиста, застрявшего на гастролях в Москве. — Что он делает из Листа, если бы ты слышал! Ах, подлец... Аналитиков не терплю, но у этого если буря — так это трактат по метеорологии, соловей — так ведь каждое перышко на нем разберешь. Ну, приезжай, будь душка! И потом, чуть не забыл, как ты устроился с квартирой? Осип пошел на уступки и скинул еще четыре тысячи... я его прижал, стрекулиста!

Слова его, разбрасываемые с торопливой и подозрительной щедростью, засорили весь провод; Сергею Андреичу некуда было вставить даже восклицания.

— Перестань, — впихнул он наконец одно. — У меня деловой разговор.

— Вот приезжай, и поболтаем. Погоди, я уронил запонку... где же она, черт! ах вот... нет. Да, кстати: лису-то я убил — богатейший зверь! Шкурка за мною!

— Дело в следующем, — энергично приступил Скутаревский. — Я настоятельно и уже в последний раз прошу оставить Арсения в стороне от твоих предприятий.

Последовала краткая пауза, Петрыгин молчал, но не клал трубку: возможно, он все еще искал отскочившую запонку.

— Не разумею, о чем ты... во всяком случае, этот разговор не для телефона.

— ...или я расшифрую тебя к чертовой матери! — с бешенством заключил Сергей Андреич.

Петрыгин несколько оправился от первого удара:

— Мне трудно говорить с тобой в таком блатном тоне. Ты что, запил, что ли?

И опять чрезвычайная по напряженности наступила тишина. Провод был чист, и, представлялось, неисчислимые электронные орды на нем ждут лишь сигнала, чтобы ринуться криком или бранью в ту или иную сторону. Порывами было слышно в трубке одышливое кряхтенье Петра Евграфовича; возможно — уже стоя на коленях, он шарил по полу свою запонку. Кто-то пришел к нему, и хозяин пробурчал в сторону: «А, входи, входи, не наступи только... я потерял одну вещицу». И затем снова нуднейшее длилось молчанье.

— Так вот, — без прежней благозвучности закрипел петрыгинский голос. И если бы на амперы и омы перевести его ярость, провод докрасна нагрелся бы от перегрузки. — Ничем не могу помочь тебе, ты уж сам... Я уже советовал тебе: ты — голову меж колен, да и посеки, посеки молодого человека веничком: на то и власть родительская!

Спектакль прекратился в самом интересном месте. Действительно, экзекуция, производимая строгим родителем над провинившимся инженером, могла рассме-

шить в иное время даже самого Сергея Андреича. Петр Евграфович уже вддел на место галстук поверх отысканной наконец шейной кнопки и уже разговаривал с племянником, потому что именно его он просил об осторожности, а Сергей Андреич все стоял у телефона; спазма мешала ему крикнуть достойный ответ на дребезжащее петрыгинское остроумье... Петрыгин, в меру позабавясь с Арсением над сумасшедшим стариком, перешел к темам, более для него любопытным, — но временами все еще тянула внимание его назад непобедимая паническая сила.

— Вздор, у меня тоже есть заслуги, я тоже важный, Но все-таки как подлеют люди... Ты извини, что это я про твоего отца. Впрочем, ты, конечно, напрасно в открытую поссорился с ним. Помиришь, пойдя к нему первый, ты моложе, помиришь: при желании он может быть очень вредным. А как ты думаешь, способен он на какую-нибудь такую низость?

Арсений не отвечал, а дядя пристально взгляделся в племянниково лицо. Тот казался больным, но это происходило скорее от запущенной и неожиданной для такого щеголя неряшливости в одежде, чем от явных каких-либо признаков нездоровья. Лицо его было плоско теперь и невыразительно; надо было вглядываться, чтоб рассмотреть, какое судорожное раздумье вписано в это колючее, небритое пространство. «Проигрался!» — определил Петр Евграфович, хоть до него доходили только очень смутные слухи о беспутном Арсеньевом поведении. И оттого, что это был самый благовидный предлог платить члену организации, как племяннику, он тут же порешил дать ему денег еще, кроме той тысячи, которую вручил в предыдущем месяце. «А все-таки как быстро лысеют все Петрыгины, — подумал он потом. — Гормона, что ли, в них волосяного не хватает?» И правда, лысина на Арсении заметно расползалась со лба, и потому оставалось впечатление, будто желтое его лицо занимает слишком много места на голове.

— Ну, как мать? — вскользь спросил дядя.

— Мать ничего. Она странная.

— Ты присматривай за ней! Утрата не велика, но привычка в старости... Она обезумела совсем.

— Да, я замечал.

— Постой, а с чего ты-то мрачный?.. проигрался или по службе что-нибудь? Я слышал, тебя зовет к себе Кунаев. Воспользуйся, это марка. Я тоже получил на днях занятное одно предложение...

— Что-нибудь опять по шпионажу? — тихо спросил Арсений.

И сразу стало очень нехорошо. Петрыгин раздумчиво почесал за ухом, искоса взглядываясь в племянника. Все-таки хоть на четвертинку, но было в том и от скутаревской темной крови. В горячечных условиях времени можно было и от Арсения ждать всякого. Петр Евграфович от изумления даже забыл, какое именно занятное предложение выдумалось у него по ходу разговора. Никогда в их среде деятельность его не называлась так. Реплика Арсения прозвучала бы совсем грозно, если бы, однако, он сам не засмеялся первым. Впрочем, смех его не звучал никак — то были просто нервные и недобрые подергивания губ при обнаженных деснах.

— Я пошутил, — смеялся Арсений. — Мне любопытно стало, испугаешься ты или нет.

— ...но ты стал плоско шутить, милый. И ты вообще не нравишься мне за последнее время. Ты совсем распустился. Побриться, например, следовало тебе, направляясь в гости, а? Если это от желудка, а именно он — отец всяких пакостей, так его чистить надо, мыть его, сукина сына, как носовой платок. Я почти вдвое старше тебя, но, гляди, держусь.

— Тебе легче, — опять еле слышно молвил племянник. — Ты скоро умрешь, дядя, и все счета уплачены, а мне еще жить надо.

— Ну вот, поперло скутаревское! — захохотал Петрыгин, суеверно косясь по сторонам.

— Нет, ты не смейся. Я нарочно пришел пораньше, чтоб обсудить все. Слушай, я знаю, ты не веришь мне. Тонешь и тянешь... ты приставил ко мне тень... она прячется, но я-то знаю, что это Штруф. Он ходит за мной везде, но ведь он дурак, пойми же это. Ты убери его от меня, мне противно.

— Ерунда, — вспыхнул тот. — Это ты сам смотришь за собой, это совесть твоя, Арсений. Но ты же болен,



Сеник, болен! — Защурив один глаз, он с фальшивым равнодушием прошупывал взглядом этого окончательно чужого и даже враждебного человека. «Черт, они демобилизуются!» — билось сердце. — И вдобавок, если бы я тебе не верил, я не пригласил бы тебя сегодня.

— Я пить буду, дядя.

Петрыгин ласково гладил его по голове:

— Ничего, в молодости все сойдет. Запрись и пей.

— ...я изобью его! — навскрик, со сжатыми кулаками рванулся Арсений, и крик его совпал со звонком в прихожей.

Петр Евграфович поднялся и принялся торопливо надевать пиджак: хитрить больше становилось некогда.

— Избить?.. — Он подумал. — Ничего, избеи, Штруфа можно.

Кто-то раздевался в прихожей — так шумно, точно фанеру сдирали с краснотеревой мебели. На всякий случай Петр Евграфович потрепал племянника по плечу, и в этом жесте сказалось все — и уверение на ближайших днях обсудить все в подробностях, и обещание убрать Штруфа, и безусловное согласие на уплату карточного долга. Разговор прекратился; в комнату просунулась волосатая фигура Бакулина, в прихожей пискнул тощий голосок младшего Граперонова, а за ними, точно пользуясь открытием двери, полезли и остальные. Но вот вступал уже и сам артист, герой торжества, шуркий, сверкающий, снисходительный и любезный, как фокусник, едва слышно, потому что богатый курдский ковер устилал эту часть комнаты. Не задерживаясь нигде, он обходил выстроенный ряд этих старороссийских столпов, эти колодные шкафы мудрости и знания. Его быстрая в рукопожатии, властная рука обжимала по очереди все остальные, протянутые ему руки, обилие рук — то толстые, с белыми и круглыми, как майские личинки, пальцами, то тонкие, безжизненные и безличные, точно лепестки, высушенные среди страниц толстых фолиантов. Самое рукопожатие его было примечательно: он как бы облеплял чужую руку гибкими своими мускулистыми шупальцами, оно длилось всего мгновенье, но в том, другом, чего-то становилось меньше; потом тем же эластичным движением он выкидывал прочь иссосанную, опустошенную конечность.

— Очень приятно... — прочувствованно зашелестел чей-то голос в стороне, и Арсений, повернув голову, еле узнал в этом переряженном человеческом обрубке самого Ивана Петровича. Тот был неузнаваем; точно чем-то смазанный, он сиял весь; что-то даже текло с него; весь он мелко, шарнирно двигался и, подобно барышне, сжимал в руке платок. — Переведите, переведите ему... может быть, он заглянет и ко мне. У меня жена также ужасно любит музыку и Европу; Европу даже больше, чем музыку. Она очень милая... объясните, объясните ему, — и второпях искал среди гостей добровольного переводчика. Голос его прерывался; видимо, лютая тревога последних дней лихорадила его, и оттого все бывалое достоинство его истошилось.

Остекленевшими глазами он ласкал суховатую, почти военную фигуру пианиста, который неторопливо вкапывал в рукав вывалившийся бриллиант запонки.

— *Qu' est ce qu' il dit?*<sup>1</sup> — обращаясь ко всей шеренге гостей, сразу спросил артист.

Шеренга заколыхалась.

— Он говорит, что будет счастлив видеть вас у себя, и в особенности рекомендует вашему вниманию свою жену. Со своей стороны могу подтвердить: чрезвычайно милая женщина и крайне удобная квартира... — так перевел Арсений, прежде чем кто-либо другой отозвался на трепет Ивана Петровича, а вся шеренга так и замерла в чаянии почти международного скандала.

Но гость кротко улыбнулся, — точно где-то в сумеречном отдалении взмахнули зеркальцем; опыт подсказывал ему — они всегда восторженны и милы, эти жены провинциалов, а не все ли равно, из рук которой Бовари в тысячный раз получить признание. Последнее выступление приурочивалось к концу следующей недели, и жизнь представлялась полной всяких безопасных утех. Впрочем, злое неприличное лицо Арсения несколько более, этнографически, заинтересовало его, — с такими лицами бывали, наверное, террористы в царской России, но и это ему было скучно. Он продолжал улыбаться, как бы говоря: «Ты варвар и тошное существо: ты радуешься,

---

<sup>1</sup> Что он говорит? (*фр.*)

что обидел человека старше себя. Молчи, дурак, и восхищайся!» — и пошел дальше, ища глазами инструмент. Тотчас же вся шеренга, до хруста продавливая паркетную мозаику, двинулась за ним.

Задержась на минуту, Петр Евграфович тотчас подошел к Арсению: следовало хотя бы скандал пресечь в самом начале, потому что стало уже поздно гнать его вон, этого свихнувшегося, по-видимому, родственника.

— Слушай, ты с ума сошел! — шепнул он племяннику, тиская, почти выворачивая ему плечо; наверно, этим хотел он выразить всю степень бешенства своего. — Держи себя прилично или иди домой, проспись, чудище музейное!

— Мне безумно надоело твое подполье! — сипло ответил племянник.

— Ну, я прошу тебя, садись вот тут и слушай. Это действительно эпохальный артист.

Все совершалось, как в тумане, но туман этот исходил из самого Арсения. Громоздкие манекены в усах, в сюртуках, в резиновых баретках, неправдоподобные, как галлюцинации, усаживались по креслам — и то ли дерево скрипело у них и под ними, то ли тугой, сгибаемый при этом крахмал. Сквозь тяжелые плюшевые гардины ни шорохом не просачивалась сюда жизнь. Стало тихо, как в подвале. Из соседней комнаты, мягкие, под педаль, донеслись аккорды: артист пробовал инструмент. Ужин и чествование предполагались позже. Промытые подвески люстры распространяли по стенам и лицам радужные, скользящие блики. Хозяин деловито прошел к часам и, всунув руку в гремучий ящик, остановил маятник. Самое время замерло, и тотчас же физиономии этой ассамблеи стали важны, кукольны и надменны. Над круглым столом, за которым сидел и Арсений, беспешными клубами стал жертвенно подыматься дым. Пианист ударил по клавише — нижнее ми, и тотчас же щедрой пригоршней гения рассыпалось звучное, прозрачное зерно. Оно ворвалось в подвески люстры — и те закачались, по-новому преломляя свет, оно упало и в людей, и бесплодные, выжженные луговины в них мгновенно поросли ликующими простонародными толпами. Арсений горбился и курил, жадно заглатывая

дым; бурные звуковые пассажи глубоко вдавили его в кресло.

Тихая, вполголоса, шла за круглым столом беседа. Тут были все свои, и оттого люди не стеснялись называть вещи их не вполне благоразумными, но зато подлинными именами; вначале Арсений не обращал на них внимание... Целыми страницами литавр начиналось то восстание, о котором играл пианист. Но порою музыка снижалась до шепота, почти до пасторали. Живое и уже накаленное стремилось изойти в гибком и плавном движении; еще не наделенное материальностью, оно по размаху своему походило, наверно, на ту первоначальную магнитную волну, которая когда-то, как судорога, простегнула инертное вещество еще не существующего мира... И время от времени Арсений, как замороженный, вслушивался в слова, произносимые над самым его ухом; они входили в его мозг легко, острому ножу подобно, оставляя после себя черные, бескровные, колотые раны, Никогда еще не доводилось ему прикасаться так близко к вещам, самое наименование которых он всегда слышал с отвращением и ужасом. Даже доверяя племяннику исполнение важных поручений, Петр Евграфович никогда не раскрывал до конца, не показывал могильных дантовских глубин, куда все они гуськом нисходили: не хотелось ему до поры смущать юношеское его воображение. Главную ответственность он давно взял на себя; он называл это своим **крестом** и верил, что одна лишь история сумеет вознаградить его за понесенные труды. Здесь, куда они добрались за два года, стояли вечные сумерки, и рваный клоч голубого полдня над головой стал недосяжим и невероятен, как чудо. Почти поэт, когда дело касалось обращения прозелитов, он лгал, как пророк, создающий новую религию, и втайне знал, что, если бы не тонны мертвого сахара в крови, в аорте, в мочеточниках, может быть, он и был бы тем молодым, тридцатилетним, в жестких солдатских ботфортах и непреходящей треуголке.

Арсений горбился давно; непреходящее ощущение полета вниз поселяло в нем мучительное расслабление. Сознание непоправимой ошибки наступило у него много раньше, но уже значительно позже того, как дядя связал

его той самой веревкой, которую постоянно чувствовал на своей собственной шее; недовольство Петрыгина социальным порядком выразилось уже в ряде значительных актов: сибирская торфянка была только скромным беллетристическим эпизодом, не стоящим своих чернил. Распад Арсения начался не со страха, как обстояло с Иваном Петровичем, а с мучительного сознания измены самому светлому, что еще сохранилось в его душе. И все Гарася вставал в его памяти, простреленный, но еще живой только потому, что не совсем пока утасла ненависть к белому атаману. «Сволочь, сволочь...» — кричал призрак, и Арсений поднимался на ноги, пока мягкая рука Петрыгина не толкала его снова в болото.

— ...Донбасс, Кизел, Ленинград... вот, — настойчиво шептал голос рядом.

Арсений яростно принимался слушать музыку. Артист очень своеобразно понимал Пятнадцатую рапсодию Листа. Высокая техника, вполне достойная похвал и львиных гонораров, помогала ему делать из произведения то, чего никогда не писал композитор. Исполнитель подчеркнул минорность марша; тихую лиричность средних частей он раскрывал как величайшее разочарование народа; самое восстание становилось не творчеством, а лишь трагедией пришедших в движение масс. Ирония переходила в прямую издевку, и тогда по клавишам, проваливаясь в мостовинах и давясь друг от друга, бестолково и отвратительно бежала расстреливаемая толпа. Его искусство, таким образом, принимало сознательный политический оттенок; Арсений плохо знал музыку и принимал на веру его циническое толкование. Он слушал с закрытыми глазами — принято думать, что это удесятеряет зоркость, но в усталых от пьянок и бессонниц зрачках плавали только медлительные цветные пятна — как бы копошились и терлись друг о друга толстые непрозрачные молекулы. И вдруг поверилось — он властен уничтожить все это одним мановением век, набухших и болезненных. Стоило раскрыть глаза, и все расплывется, все станет наоборот, и опять победная юность вложит в руки его романтическую винтовку...

— Да, когда они умирают — они герои, а когда хотят есть — обыватели! — шипело рядом.

Он раскрыл глаза; действительность была сильнее, и нечем было ее сокрушать. Невыразимого благородства — ибо ложь любит опрятные гнезда! — старик повествовал про свой доклад в высоком учреждении, но теперь он подходил к нему иначе, раскрывая и заостряя его в обратном смысле, и самая враждебная критика не могла равняться с его собственной, трезвой и беспощадной оценкой. Тяжелые, чуть разъехавшиеся глаза Арсения передвинулись на него, и тот, мгновенно умолкнув, с явной растерянностью начал поправлять галстук. В течение последующей, очень недвусмысленной паузы все присутствующие уставились на Арсения.

— Простите, мы с вами незнакомы! — сказал один, глядя в бегающие его зрачки и вызывающе протягивая руку.

Он сидел по другую сторону стола, и хотя, чтоб дотянуться, требовалась рука длины невероятной, он все-таки дотянулся, жировая каемка вокруг его глаз проросла багровыми ниточками жилок. По-видимому, ему просто хотелось удостовериться в фамилии, и тут-то могли произойти соответственные случайности, но все обошлось вполне благопристойно. Ничто не прервало игры великого артиста.

— Я просто хочу спать. Я не спал две ночи... — сказал Арсений, отдергивая руку и развинченно направляясь к двери.

«Тухлые, тухлые...» — гадливо двигались его губы, и была тоска, и было ощущение, точно огромное животное, чавкая и шумя, обнюхивает ему сзади запотевший затылок. Мимоходом он заглянул в соседнюю комнату: артист слился с роялем, в рояльном глянце покачивалась суровая — точно именно ему доводилось усмирять восстание! — и вместе с тем изысканная голова. Черный лак его туфель сверкал, и казалось, это смутное множество склоненных слушательских лиц отражалось в нем.

## Глава 21

Автомобиль артиста стоял у подъезда; в полированном кузове с причудливой сломанной перспективой отражался глухой переулок. Проходя мимо, Арсений

машинально взглянул в это зеркальное подобие. С черным, неузнаваемо длинным лицом выглянул оттуда плоскостной человек и, неслышно колыхаясь, стал удаляться; откидываясь назад и сгибаясь, заскользили там отражения фонарей. Так и не поняв, что, в сущности, произошло, Арсений свернул на большую улицу. Издали она казалась иллюминированной; при свете множества временных лампированных шла починка трамвайного пути. Люди спешили опередить ночь; кучка запоздалых зевак, сбившись у развороченной мостовой, молчаливо следила за происходящим. Лица их были оранжевы и задумчивы; кажется, вовсе не это трескучее неистовство ночной работы привлекало их, а только необыкновенное зрелище огня, которым протаивали промерзлую брусчатку. Забыв про неясную первоначальную цель, ради которой бежал с дядина концерта, Арсений безотрывно глядел на это знойное невещественное порханье стихии. Широкая, ленивая река керосинового огня расплывалась по мостовой, поленья дров, разложенные в ней, полыхали, не оставляя угля. Жар ударял Арсению в подбородок, щеки и переносье. Рассеянно, рефлексивно Арсений пошарил в карманах папиросы и, не найдя, сразу забыл о них. Человек рядом, которого он толкнул локтем, внимательно посмотрел на него. Он был в очках, и соответственно уменьшенные блики огня разбежисто играли в выпуклых стеклах. Глаз его не было видно, но было что-то бесконечно отвратное во всем облике его.

И, опять не разобравшись, в чем тут дело, Арсений повернулся спиной и двинулся в противоположный переулок.

Точных намерений он не имел никаких, кроме как отыскать Черимова, но зато желание было как бы завуалировано, и следовало долго напрягаться, чтоб вспомнить. Там, в переулке, строился дом; дощатый заборчик с предохранительным навесом далеко выпячивался на мостовую. Если взглянуть, и на нем еще играли тени удаленного огня. Здесь, на высоких деревянных мостках, Арсению снова приспичило курить, и опять на дне кармана пальцы его ощутили только сохлый и пыльный сор табака. Неравномерный поскрипывающий шорох заставил его оглянуться. Человек в очках не вполне уверенно

приближался к нему по мосткам, и, так как разойтись было негде, а пропустить мимо, сойдя на мостовую, не пришло в голову, Арсений двинулся дальше. Он бессмысленно завернул за угол, пересек площадь, и снова сложный лабиринт старомосковских переулков принял его в себя. Всюду было темно; старинные, с крестовинами, газовые фонари давали свету ровно столько, чтоб не наткнуться на них в потемках.

...Начальный замысел его был приблизительно таков: рассказать Черимову обо всем без утайки и прятков. Конечно, одна только эта решимость не означала Арсеньева возвращенья в покинутую семью. Сперва, конечно, будут длиться нескончаемые расспросы, потом обстоятельная беседа у следователя по особым делам, потом тюрьма и деготь всесветного позорища... но зато — жизнь, ее ветер, ее солнце, ее нескончаемый бег! Остаться посредине больше не хватало сил, потому что даже самые раздумья о Петрыгине и хотя бы о Черимове, например, физически расслабляли его. Простая безысходность приводила его к тяжелой и мрачной двери, оползти которую напрасно стремился его рассудок. Двухлетняя ревностная деятельность по заданиям дяди не давала заметных результатов — даже несмотря на то, что Арсений в конце концов сидел в самом сердце индустриализации; оно работало по-прежнему, бесперебойно и могуче. На поверку Черимов оказывался прав: класс в непреклонном восхождении преодолевал без усилий сопротивление людской горстки. И вдруг — в болезненном его воображении вставали грохот и пороховая мгла новой интервенции; он видел детей, сожженных газом, людей, изгрызенных бактериями, раскаленный металл, танцующий посреди опустошенных городов. Он колебался, и раздвоение это грозило катастрофой; кроме того, еще не постигнув высокого петрыгинского искусства мимикрии, он в каждом взгляде, направленном на себя, чувствовал угрозу. Он метался от призраков, созданных собственным воображением, и за ним ежеминутно гналось то самое, от чего нельзя уйти, как от тени.

Но свидание с Черимовым влекло за собой возможность встречи с отцом. И то площадное слово, которое вызрело, наверно, из отцовской горечи, теперь могло



стать последней мерой распада Арсения и, возможно, преступления. Занятнее прочих было тут именно то обстоятельство, что как раз отец, советский профессор Сергей Андреич Скутаревский, представлялся ему главным врагом. Конечно, лучше было поступить иначе, написать письмо, нет, просто вызвать Черимова по телефону и... Впервые он вспомнил, что имелся невдалеке закрытый клуб научных и технических работников. И если только в ответ на его великодушие — за это слово цепко держался он! — Черимов протянет ему руку дружбы и даже, возможно, согласится сопровождать его в искупительной поездке к Гарасе, в тайгу... о, какой замечательный рисовался ему на земле мир и в людях, без различия пола, возраста и класса, благоволение... Тут же он сделал еще заключение, что удобнее всего будет вести этот разговор все-таки на улице, — мало ли в столице нейтральных и укромных мест. Несколько овладев собою, он стал искать глазами пивную или аптеку, где обычно стояли телефоны-автоматы, и только теперь осознал обстановку этой поздней и последней своей ночи.

По существу, то было московское Сити, когда-то зубатый форпост Азии и главный ярмарочный штаб. С древнейших времен именно здесь, среди множества товарных складов и банковских контор, возникали планы торговых наступлений, и кованое, немеркнувшее золото кремлевских башен высилось над ним, как и в Олеариевы времена. Здесь в суете и грохоте множились неуклюжие российские миллионы и вырастали угрюмые, в бородах и тонкосуконных поддевках, шишковатые негоцианты. Ни один караван с товарами, направляясь с востока ли на запад, возвращаясь ли с севера на юг, не миновал этих приземистых, вполне прозаических строений. Чугунными ставнями, коваными шиповатыми воротами, бородатými варварами в пахучих и жарких овчинах охранялась эта бывшая крепость торгового капитала, где веками все хаотически наслаивалось друг на друга: кирпич на кирпич, кость на кость, рубль на рубль, репутация на репутацию. Еще гнили где-то в каменных погребках рыхлые серые книги ресконтро, мемориалов и балансов, полные цифр и азиатского величия, а в оттепельные ночи выбивались сквозь узорчатые

амбразуры увесистые запахи прошлого и призрачной ватагой бродили по переулку, — запахи ивановских ситцев, восточных пряностей, экзотических всяких смол и москательных специй, бесценных древесных пород и туркменской каракульчи.

В том распластанном, словно каменный ящер, доме, где полтора века помещалась контора Жистарева, деда, отца и покойного ныне внука, ютилась теперь парикмахерская губернского объединения инвалидов. Четыре неполноценные, полуголые восковые красавицы улыбались в ночь с точеных деревянных подставок. Бородатый сторож, тулуп которого монументально вращался в тротуар, неспешно разглядывал эти искусные и обманчивые подобию: должно быть, при этом, не в силах воздержаться от невыгодного сравнения, размышлял он о далекой своей колхозной жене в домашней пестрядинной юбке. Никто ему не мешал; мышцы его были могучи, ночь обширна, дело его было пустяковое. Район не имел жилых помещений, и забрести сюда в неурочное время мог только пьяница либо явный вор. Арсения, когда он проходил мимо, бородач проследил волосатым, неодобрительным оком; Арсения точно ветром несло, и сторож видел, как почти тотчас же следом за ним прошел другой, в очках.

Тусклое фонарное бельмо светилось у ниши древней московской стены. Замокшая в прошлую оттепель известка покрылась пушистым инеем и темными пятнами, причудливыми, как тень несуществующего. Под фонарем, зябко засунув руки в карманы, торчала та же знакомая фигура очкастого. Заметив Арсения, человек отвернулся к нему спиной: теперь тень его вонючей лужицей сползала со стены. Возможно также, он просто изучал старинную кирпичную кладку. И хотя Арсению путь был мимо, сквозь проломанные ворота на площадь и дальше, наискосок, его почему-то безмерно раздражил этот одинокий, измученный человек. По кривой описав полукруг, он сзади подступил к нему вплотную.

— Послушайте, вы... — внятно и немного волнуясь сказал Арсений. — Мне это неудобно... вы две недели блуждаете за мной, а я не желаю вас знать. Ходите в жизни как-нибудь иначе... или вам нужно что-нибудь от меня? Говорите, я выслушаю вас.

Тот стоял и стоял, как будто вовсе не его касалось дело. Сквозь протертое пальтишко даже взглядом прощупывались худые, голодные его лопатки, и весь он был как битый, с облезлым задом, из бродячего зверинца копеечный зверь. С внезапной злобой схватив за плечи, Арсений повернул его лицом к себе; тот повиновался с легкостью, точно специально приспособлен был вращаться на месте.

— ...в конце концов, вы вмешиваетесь в вещи, которых не имеете права узнавать. Я иду к женщине, она замужняя. — Он запнулся. — И вы думаете, я не узнаю вас? Я знаю, вы — шулер, вы Штруф. Вы носили матери моей всякую дрянь. Теперь вы боитесь, что я донесу, что я предам ваше хамство, вашу жадность... Но что вы станете делать, осиновая балда, если я действительно пойду туда?... станете стрелять? Дурак, они услышат. А ну, выньте руку из кармана.

Тот продолжал молчать, — кажется, не существовало слова, которым сейчас можно было бы обидеть Штруфа. В эту ночь он был на своем посту, и знаменитая болтливость его оказывалась только маской, под которой он устало прятал свою многотрудную деятельность.

— Ты немой? — скривился вдруг Арсений; с ума сводила мысль, что действительно никто в целом свете, никакая мораль не воспрепятствует ему избить сейчас этого человека. — Ага, я понял, ты собака дядина... ты Трезор, Полкан, Жучка... хлеба хочешь? Куш, куш... велю!.. А что, если я тебя сейчас в очки?..

Человек сжался и отступил к стене, он стал еще короче и униженнее, но глядел в самые зрачки, суетливые зрачки Арсения. Он как бы говорил: «Да, я молчу, но ты бойся меня, я такой же трус, как ты!» Было здесь, значит, что-то и от правды, — круто повернув, Арсений наперерез прошел старую эту площадь и снова очутился в кривом и нелепом переулке. Путем, которого еще не осознал, он тащился на полную капитуляцию; он был путаный и не прямодушный, этот путь; он был даже достоин издевательства, если только прилично издеваться и над предсмертным смущеньем. Но тут негаданно возникла еще догадка: Черимов, едва узнает, в чем дело, конечно, откажется говорить с ним, уже поставившим себя

вне закона. «Ха, и у него своя карьера!» Следовало искать дорогу прямее, но воля его не пружинила никак, точно связанная. И вдруг он увидел Ивана Петровича; в распахнутой шубе, приседая и прячась в поднятый воротник, когда попадал в полосу света, тот мелко и деловито передвигал ножками, — он бежал прямо на Арсения. В полной тишине, ибо утих ветер, звучно пришепетывали его калошки. Видимо, он очень спешил: очки его сбились с переносья, а в левое стеклышко глядела бровь; поглощенный своими соображениями, он не различал подробностей окружившей его ночи. Арсения он даже полой задел и не заметил, только мелькнул востренький, совсем белый, совсем покойнический его носик, да еще развязавшийся галстук мелькнул, — снова в черную тень, как в доху, запахнулась сутулая его фигурка.

Ничего в том предосудительного не содержалось: квартира Ивана Петровича находилась невдалеке, и, если бы провести к ней прямую от Петрыгина, переулок этой встречи пришелся бы как раз посередине. Было занимательно другое — что так рано мог закончиться петрыгинский ужин, тем более что Иван Петрович не имел в обычае вылезать досрочно из-за сытного стола. И потому ли, что самый этот район наводил на подозрения, или оттого, что вспомнился недавний бунт Ивана Петровича, Арсений ощутил потребность догнать его и порасспросить о дальнейших намерениях. Вопрос ставился так: кто кого обгонит, и, пожалуй, если бы Иван Петрович пришел к финишу первым, Арсению оставался один чистый деготь безо всякого романтического гарнира... Он двинулся вперед и, когда обегал обширные, нежилые госиздатовские склады, снова увидел Штруфа. Точно заранее угадывая все маршруты Арсения, тот терпеливо поджидал его в воротах дома, прислонясь к железной, ржавой решетке. По швам рвал и раздергивал его кашель после той короткой и жестокой перебежки, и напрасно, чтоб заглушить его, он прижимал ко рту жеваную войлочную тряпицу своей шляпы.

— А, — усмехнулся Арсений, — снова ты здесь, Авель. А видел, куда Каин побегал? Ивана видел, в каком он простреленном виде помчался? Что ж, разделись пополам, как амеба, и беги за нами в разные стороны... ну!

Пропали твои надежды, твоя удача, поместья, акции и рудники... Ты стоишь опять посреди безумной пустыни, когда кругом потенциально расстилаются сады. Черт возьми, ты умер прежде, чем в тебя выстрелили, но комментарий к тебе составлен при жизни. Что ж, снова и снова факирствуй, изобретай, продавай своих Рембрандтов, открывай желатиновые производства слабительных пилюль, составляй ликеры из морошки, чтоб голодной мякиной набить свое брюхо... ха, дядя Федор рассказывал мне про твои мытарственные предприятия! Ты уже мнимость, абберация органического пространства, ты сдохнешь где-нибудь в подворотне, захлебнувшись своей гнойной слюной... ты будешь валяться лицом вниз в этой нечистой луже, и псы с облезлыми ребрами будут обнюхивать тебя...

Штруф безмолвствовал, все это он знал и сам и не обижался; он был уже мертвый, и так как мертвей мертвого не бывает, то он и не замечал дальнейших своих видоизменений. Арсений задыхался словами, морозный пар клубами выстреливал из него; уже обозначившаяся душевная сломанность мешала ему освоить самоубийственность такого беспамятного, одностороннего поединка. Мнимая беззащитность этого человека, с которым можно все, дразнила его; вдруг он протянул руку, сдернул с него очки и брезгливо кинул под ноги.

— Очки, дурак, — это же бездарно и наивно. Ты бы еще бороду гороховую приклеил себе на харю! — засмеялся он, когда хрустнуло у него под ногою. — Какой же вполне современный шпик пойдет нынче на такую банальность? Ну... идите прочь, вы мне вполне противны! — и вскочил на извозчичьи сани, что тащились по переулку.

Он едва не свалил извозчика, но малый тому не удивился, ибо, несмотря на возраст, имел достаточный опыт и знал прежде всего, что события дня никогда не походят на происшествия ночи. Сидя боком в санях и держась еще за спину извозчика, Арсений со злорадным любопытством глядел назад. «Гладиатор!» — конвульсивно шевелилась его челюсть... Человек вышел из ворот и пошел следом. В чайные хорошего прибавка и, видимо, уловив смысл игры, извозчик подхлестнул, —

сани рванулись. Штруф двинулся быстрее, простирая руки вперед и как бы ловя ускользящую добычу; было слышно, как мешалось его клокочущее дыханье с кашлем... Выехали из потемок на светлый проезд; сани резвее покатались под уклон. Одно время еще видно было, как, не помня себя, вдогонку бежал тот, почему-то уже без шляпы, — взрывчатый кашель разрывал его на бегу, как гранату, он скользил и, если бы поскользнулся, наверно, не встал бы никогда. «А не догонит нас баринок!» — с грустным весельем молвил извозчик и еще раз уже с жестоким вдохновеньем подстегнул конька. Потом все исчезло в снежной пыли, и, когда Арсений вылез наконец из саней, оказалось, что Штруфу тогда, в самом начале их милого разговора, он не солгал: он приехал именно к женщине, с которой изредка, в выходные дни, делил свои досуги. Но он выполнял и другое свое намерение: расспросить Ивана Петровича обо всем... Да, это был тот самый подъезд — вычурная арка над входом, фасад, обложенный керамическими плитками, нахально красный абажур управдома в правом нижнем окне. Кто-то выглянул в окно второго этажа, и Арсению показалось, что он узнал востренький силуэтик Ивана Петровича на замороженном стекле. Было ясно, он успел вернуться, и, хотя таким образом острота ситуации миновала, все же любопытно стало разведать, что именно произошло у Петрыгина по его уходе. Все это был, впрочем, только шифр: говоря в упор, требовалось ему попросту удостовериться, что Иван Петрович уже дома. Он стучал в дверь с осунувшимся лицом. На стук вышла жена Ивана Петровича.

Судя по той неряшливости, с которой она была одета, по растрепанным ее волосам и по некоторой вещи, которую держала в руках, она не ждала никого, кроме мужа, в этот поздний час. Она открыла дверь, однако, только через минуту каких-то странных шорохов: и все-таки — улыбалась, запахиваясь в старенький, с облетевшими пуговицами халатик, пестрый и тем сильнее напоминавший подержанное оперение какой-то экзотической птицы.

Так воркуют голуби:

— ...ты? Почему же не предупредил по телефону?

— Муж дома? — напряженно осведомился Арсений.

— Нет, входи, входи... глупый. Но ты совсем безумец: в такое время... Тише, прислуга спит.

Подчиняясь властному ее шепоту, он осторожно снял пальто и комом сунул его на кресло в прихожей.

— А муж дома? — повторил он вопрос.

— Ну, иди же... Ты не приходил так давно. Был болен?..

— Я здоров, как черкасский бык! — попытался засмеяться он и все стоял, что-то припоминая. Через мгновение он разгадал эту глухую и зудящую потребность: к рукам прилипло скверное ощущение после прикосновения к Штруфу.

— Я пойду вымыть руки... — сказал он.

— Гадкий! Ты прямо с работы? — Она поняла его именно так, как и следовало в подобных обстоятельствах, легонько, с намеком, она подтолкнула его в плечо: — Там на полочке мыло... а полотенце, длинное, с бахромой, над ванной. Тебе нужен тазик?

Вряд ли она имела время сделать что-нибудь над собой за этот короткий срок, но, когда Арсений вернулся, она выглядела совсем иначе: кажется, это и называется волшебством любовниц; та же самая небрежность теперь легко сходила за интимный и нарочитый беспорядок, предназначенный для коротких, бурных и желанных встреч. И даже отсутствие пуговиц приобретало какой-то подчеркнутый, вполне уместный смысл. Это и была женщина, ради которой всячески, с цирковой изобретательностью извивался Иван Петрович. Еще совсем молодая, крупная, почти как ее кровать, которая возвышалась тут же рядом, она уже вступила, однако, в ту зрелость, когда для душевного здоровья не хватает одной только известности мужа или уважения управдома к его супруге.

— Садись, садись... и я сяду, вот тут есть свободное место, — и вскочила на его колени. — Но как ты догадался? Мне так хотелось, чтобы ты пришел! Но почему же ты небритый? Разве ты не должен уважать меня?.. Хочешь вина? — И на крохотный, шаткий столик поставила начатую мужем бутылку.

Он курил и, может быть, оттого, что пришел вовсе не за этим, удивлялся ее жеманному бесстыдству, ее праву обнимать его, щекотаться атласистой кожей, сидеть на

его чужих, острых и неудобных коленях. Когда-то его смертно одуряло это отсутствие всякой сдержанности, откровенная душевная нагота, всегдашняя готовность на ласку и даже якобы лирическая видимость, которую она ухитрялась придать этой случайной интрижке. То же самое представляло ему теперь как вульгарная и неприкрытая похоть. Минуту назад, мыля руки в ванной, он видел на стене розовую целлулоидную коробочку и в ней две одинаково истертых, две супружеских зубных щетки; и потому, что символ этот перерос теперь свои смысловые пределы, ему стало противно и скучно.

Она не понимала ничего в его лице:

— Слушай, говорят, у тебя завелась другая? Но разве мои губы бледнее ее губ?

— Твой муж ушел в шапке? — спросил он вдруг.

— Нет, в шляпе. Мне сказали, что сегодня тепло, и я велела ему идти в шляпе.

— Ага! — Он вздохнул свободнее и тогда только понял, что нет, не высокие философические раздумья терзали его, а просто страх.

— Я боюсь, что он скоро вернется, — вкрадчиво, в самое ухо говорила чужая жена. — Он сейчас на заседании у Петрыгина. Кажется, это твой дядя? Муж ужасно его не любит.

— Потому что любит тебя.

— Да, я знаю. — Она выпрямилась, вспомнив о муже; глаза ее стали темны, как полуподвальные окна. — Он забавен и трогателен. Он трус, но он убил бы тебя, если бы вернулся сейчас. И ты знаешь... — Она приникла к его уху, дразня шепотом и щекоткой шелковистых своих кудряшек.

Бывало и раньше, она рассказывала ему сбивчиво и с прерывистым женским хохотком секретные подробности о муже. Ей нравилось доставлять любовнику ядовитую радость издевки. Таким образом они совместно и не раз тешились над старомодным арсеналом старческих ласк, но теперь это на Арсения не действовало никак. Он безглаголиво кривил губы.

— Перестань, это похабно очень, — прервал он ее.

— Но я тебе ничего и не сказала! — обиделась и отреклась она. — Он любит, потому что хочет второго ребенка. Первый был от прежней жены. Ему очень хочется.

— А тебе?



Она подумала:

— Ему поздно, а мне рано.

— Но ты часто изменяешь мужу? — тихо, смеясь и разливая вино, спросил он.

Она с негодованием блеснула глазами:

— Никогда! — И, кажется сразу поверив в это внезапно сорвавшееся слово, заменившее то, чего в ней никогда не было, прибавила: — Как ты смеешь?

Обиженная, разочарованная в Арсении, она стояла у кровати, спиной к нему. И так легко было бы замять эту несвоевременную размолвку, но тому и в голову не приходило встать и подойти к ней. Новая догадка шевелилась в нем: разумеется, он ошибся тогда, в переулке, — тысячи людей снабжены в жизни заурядным лицом Ивана Петровича.

— Так, значит, он ушел в шляпе, а это был... Ну, дай же мне поесть, ты обещала.

Она ушла и долго не возвращалась. Он сидел неподвижно; неживая, почти мертвенная желтизна заливала его лицо. В углу поскреблась мышь, и не ее, а только быструю тень ее — не увидел, а лишь ощутил Арсений, скосив глаза. Безабажурная лампа на подоконнике не горела; голый электрический патрон отражал чужой золоченый лучик. Вспомнилось, как давно, в день последней ссоры с отцом, глобусоголовый приятель рассказал ему на ухо поучительный опыт: если всунуть живую мышку в патрон и включить свет... Его передернуло, как и тогда, точно от скверной отрыжки. Все тело его физически болело, и не проходило ощущение соседства с огромным животным, которое тупо уставилось ему в затылок. Он огляделся; в простенке между туалетным зеркалом и бельевым шкафом висела черная лакированная коробка; он спокойно подошел и, сняв трубку, долго ждал ответа. Чужая жена не возвращалась; возможно, она плакала, по-бабьи положив голову на кухонный стол. Сонным голосом телефонистка назвала свой номер. Сложив ладонь рупором у микрофона, Арсений смотрел на пальцы; они бились как под током и почти утерли чувствительность.

— Прошу вас... — произнес он внятно и вдруг назвал то слово, которое в это время швыряло Ивана Петровича по безлюдным московским улицам: — Гепеу!..

Прошла неопределенная пауза. На подзеркальнике лежала головная щетка, полная серых вычесанных волос. Собираясь в гости, Иван Петрович приводил себя в порядок у туалета жены. Потом Арсению ответили с коммутатора. Он молчал. Щетка была черного дерева; щетина ее проносила ложбинкой посреди от долгого употребления. Девушка на коммутаторе сердилась: по-видимому, она ясно слышала прерывистое дыханье Арсения. Снова и снова называла она свой номер.

— Простите, нас соединили по ошибке, — выпячивая губу, произнес Арсений и положил трубку.

Все мысли и впечатления съехали куда-то на сторону, как шляпа на пропойце. Щетка, по-видимому, служила Ивану Петровичу и в молодости, но тогда волос в ней оставалось меньше, и еще они были черные. Какой-то главный период в жизни Арсения был закончен, он узнал об этом по ноющему ощущению всех своих клеток. Он покорно, с угнетающим чувством преемственности, пригладил этой щеткой волосы на себе, неслышно оделся и пошел вон, но, едва открыл дверь, сразу наткнулся на самого Ивана Петровича. Тот возвращался с блуждающими глазами, точно в параличе, точно со сражения. Галстук его тряпочкой свешивался из кармана распахнутого пальто. Жена ошиблась: из боязни застудить голову он надел все-таки шапку. И странно, он опять, даже тут, не заметил Арсения, точно так же как и тот, покидая подъезд, не увидел в подворотне иззябшего и уже дважды обманутого Штруфа... Осип Бениславич стоял в тени крошечного домика, окна которого слабо светились сквозь густые занавески. Летели искры из трубы, поднимались в кристаллическую замороженную синеву ночи и не потухали, а примерзли к черноте небосвода и оставались жить — как в детском сне! — мерцающими звездами.

Но, значит, он все-таки учуял Штруфа!.. На перекрестке двух улиц, концы которых уводили в черное ничто, Арсений дождался спутника своего за углом.

— Не ходите за мной больше. За мной сейчас не надо следовать... — шепнул он почти просительно.

И впервые на протяжении этой ночи Осип Бениславич опустил бывалые свои глаза.

## Глава 22

Институт Скутаревского переживал кризисную полосу. Настоянием руководства вся его основная работа сведена была к решению все той же несбыточной темы.

Очень немногие — и Иван Петрович в том числе! — верили в успешное ее завершение. Правда, индикаторная лампочка этого чуда уже горела; за месяц ее перевидали многие, от наркома до одного пронырливого журналиста, и все имели возможность удостовериться, что действительно к эбонитовому ее постаменту не вела никакая проводка. Фокус этот стоил громадных денег, лампа светила с достаточно тусклым миганьем, и на этот неверный маяк направлял громоздкое тело своего корабля... Так продолжалось вплоть до известного ханшинского бунта, в форме которого вылилось давнее недовольство верхнего этажа. Требуя выделения своей лаборатории, он подчеркивал опасность — при наличии тогдашних условий выдавать стране такие ответственные векселя. Беседа происходила с глазу на глаз, и Ханшин откровенно указывал, что в случае возможного провала непременно найдутся люди, которые постараются придать делу характер научной диверсии. Отличаясь прямолинейностью и чрезмерной трезвостью воззрений, сторонник честной, но консервативной школы саморазвития, он втайне осуждал почти дилетантскую дерзость патрона, и, хотя по убеждениям своим держался на ином, чем Арсений, даже враждебном ему фланге, одна и та же формула руководила ими.

— Не понимаю вашей фронды, не понимаю. Вместе с тем я не стану дискутировать с вами во всесоюзном масштабе, — торопился Иван Петрович. — Вы — педант, вы боитесь риска. Но большевики тоже рисковали в Октябре.

— Да, — певуче соглашался тот, приглаживая свою неистовую седину. — Но вы знаете, каких это стоило средств!

— Ерунда! — сердился Иван Петрович. — Те же средства были бы потрачены и в случае неудачи... средства!

И тут, пожалуй, расхождение могло бы иметь непредвиденные следствия, ибо Иван Петрович, всплыв, заявил визгливо, что никто еще не знает — научный или

политический блок сформировался в верхнем этаже. Это произошло еще до мордобойного эпизода, и видимость дружбы с Черимовым, которую всюду демагогически выставлял Иван Петрович, имела здесь крайне существенное значение. Ханшин багрово молчал и шупал себе колени. И это маленькое, пожалуй, недоразумение ускорило течение начавшегося процесса. Все же, соглашаясь на автономию ханшинской группы, попытался усилить себя привлечением Черимова. Тот с удовольствием принял эту высокую честь — совместной работы, но не войны против Ханшина. Тогдашний раскол, который даже вряд ли заслуживал такого несправедливого определения, он считал не только естественным, но и полезным для роста института. Тут же выяснилось, что и на работу с директором он смотрел несколько утилитарно, потребовал возможности для себя работать над одной смежной проблемой и при всем уважении к Скутаревскому вопрос об этом поставил с дерзкой решительностью.

Сергей Андреич просто за голову схватился:

— Все идет дыбом... Давеча подъезжаю на извозчике... он, обернувшись, спрашивает меня, извозчик: и к чему эдакая башня построена? Смехота! Этот синий человек тридцать лет не видел ничего, кроме хвоста своей лошади... и некоторых побочных явлений... и вот!

— А может быть, — улыбнулся Черимов детской его гневливости, — может быть, целых три таких года он потратил лишь затем, чтобы добыть частицу средств на вашу башню.

— Постная чепуха! Надо понимать, о чем спрашиваешь.

— ...надо говорить так, чтоб понимали! — почти весело заключил Черимов; кстати, всякую истину он принимал в строгой зависимости от ее резонанса во мнении масс.

Стычки эти служили как бы введением к дальнейшему разговору. Черимов не объяснял, как, после одной ничтожной беседы с Кунаевым, возникло у него это намерение. Назначенный директором крупнейшего комбината, куда как раз и призывал Федора Андреича творить свои живописные шедевры, он жаловался на невозможность плавки металла в необходимых газовых условиях:

проблема — тогда еще не совсем решенная. И вот Черимов, неоднократно наблюдавший перегрев специальных антенн Скутаревского, задумал сделать высокочастотную спираль, чтобы перенести тепло в самую гущу расплавляемого металла.

Сергей Андреич нахмурился, едва понял своего ученика:

— Вы имеете в виду использовать высокие частоты, но это уже известно...

— Да, но я не гордый. Достаточной реализации это не получило нигде...

— Институт построен не для целей металлургии. Или вы имеете директиву?.. — Слово это в применении к науке приобретало у него вообще ругательное значение.

— Он построен вообще для содействия социалистическому строительству и обороне, — напомнил Черимов самый жесткий и существенный параграф устава.

— Вы изверг. Ладно. Я остаюсь один, прекрасно... — ворчал Скутаревский, вставая и покрываясь пятнами. — Я всегда был один. Все идет дыбом. Извозчики ревизуют науку, ученые занимаются производством электрических чайников, да.

...Так целых полгода прошло под знаком бесплодных поисков. Правда, кроме лампочек на эбонитовом пьедестале вертелся теперь, и довольно бойко, вентилятор, условный агрегат, но требовалось еще много времени, волн и даже мускульных усилий, чтоб отвлеченную идею, предел дерзости века, воплотить в послушную и выгодную машину. Сергей Андреич подвигался медленно, шаг за шагом, повторяя судьбу всех ранее проделанных открытий. От неясных догадок, носивших порою почти галлюцинаторный оттенок, он шел к формулам, тугим и изящным, как разбег волны, и дальше опять вниз, к разочарованию, к неуклюжим, несовершенным машинам, наивным для бородатых детей игрушкам, за которые заранее стыдно перед потомками... Стране, впрочем, было безразлично, каким словом начинена была его искательская ярость.

Теперь вчерне это было построено, но самая проба скутаревской аппаратуры происходила уже в отсутствие Ивана Петровича. Известие о его аресте было для

всех полной неожиданностью, которой, однако, никто почему-то не удивился: незадолго перед тем Иван Петрович выступил с одним научным докладом, который своевременно был разоблачен как враждебная вылазка; последнее время он производил впечатление охваченного нервной лихорадкой. Но истинных причин и поводов не знал никто, и оттого подготовка к отъезду происходила в подавленном безмолвии; в черимовских выступлениях усматривалась, — хотя все ему согласно поддакивали, — некая дипломатическая игра. Под наблюдением самого начальства артель упаковщиков заканчивала обшивку последних механизмов. Наиболее крупные грузы были отправлены раньше, и где-то на перегоне Сумга — Терпенево уже двигались на юг многие тонны организованного металла, бесценные документы десятилетних усилий. Самый опыт предполагалось произвести в заброшенной, дикой усадьбе; в годы народной войны гостевали здесь посменно партизаны всех цветов, и, когда схлынула последняя волна, в старинном с колоннадой доме этом не оставалось ни скотины, ни курицы, ни цельного окна. Туда, в отремонтированный флигелек, приезжали на летние месяцы лечить нервы работники местного финотдела, а с ноября по апрель зимовало здесь воронье чуть не со всей губернии. Отдаленность места диктовалась свободой маневрирования и необходимостью провести эксперимент в полной чистоте. Ток предположено было взять частью у местной фабрички, частью у самого городка, и с тем непременно расчетом, чтоб на машинах было не менее требуемого количества киловатт. Первая партия учеников Скутаревского уже полторы недели жила в усадьбе. Ежедневными телеграфными сводками они уведомляли его о ходе подготовительных работ, и, когда Женя вошла в лабораторию, держал еще не распечатанной последнюю из них.

По обязанности новой службы она бывала здесь и раньше, и всякий раз это обманчивое башенное пространство, в котором крик оставался шепотом, а полного голоса хватало только у машин, поселяло в ней детскую робость; здесь, пожалуй, и коренилось ее безоговорочное подчинение Скутаревскому. И оттого, что еще не знала назначения их всех — рубчатые шпильки трансформаторов,

одетых в богатые алюминиевые шубы, могучие конденсаторы, напоминавшие сытых животных, прикорнувших по уголкам, — и так похоже лоснились их лакированные кожуха! — все это мнилось ей образами из сказки, которую она выдумала сама. В первый раз сегодня она не заметила их, как не заметила и беспорядка, обычного перед путешествием. Десятки длинных, в рост человека, ламп торчали на деревянных козлах, и упаковщик, подстегиваемый окриками, с паническим лицом нес одну из них прямо на Женю, ничего не видя перед собою. Она обошла все, ища глазами Сергея Андреича, и вдруг увидела его в узком проходе на металлической галерейке, в группе людей. Их было трое, там никто не мешал им, и только этим объяснялось такое неудобное место для беседы. По фотографиям в окнах, мимо которых проходила не раз, она узнала в одном из них наркома; именно о нем ей пришлось однажды отвечать на испытании по политграмоте как об одном из первых маршалов Красной Армии; он приехал запросто, без всякой свиты, — значит, это его длинный черный лимузин и видела Женя из окна кабинета. Нарком казался веселее, меньше ростом, но коренастее, чем сложился он в воображении девушки. Но и на это она не обратила сейчас никакого внимания. Разъятый на куски в суматохе суеты и спешки, до нее донесся только обрывок разговора:

— ...нет, это в Казани сгорели катушки, а в Ростове произошло перекрытие на корпус...

— Вы объясняете это теми же причинами? — Нарком покосился вниз и тут увидел Женю.

Он взглянул на нее с кратким и пристальным любопытством; должно быть, всякие рассказы докатились и до наркомского порога; только после того он с новым вопросом обернулся к Скутаревскому. Тот сразу заметил Женю, которая делала жесты и звала вниз.

— Вы ко мне, Женя? — строго и вслух спросил он. — Я занят.

Его сердитый оклик не заставил ее скрыться немедленно; ее известие стоило, видимо, вниманья. Угловато извиняясь перед начальством, быстро, почти прыжком он спустился на несколько ступенек. И казалось, в эту минуту все слушали это, и никто не слышал. Внима-

тельно и сурово, циркулем расставив ноги, Сергей Андреич принимал ту отрывочную скороговорку, которую всунуть ему в сознание торопилась Женя. На мгновение лицо его расслабилось, точно развязался какой-то душевный узелок, и влажная тень смежила его глаза. Он взялся за перильца, потому что легко было поскользнуться на гладких, за десятилетие до глянца отшлифованных ступеньках. И снова он готов был слушать еще и еще, хотя вверху ждал его нарком, но Женя уже кончила.

— Благодарю вас, ступайте. И еще раз позвоните на станцию относительно поезда! — приказал он вполголоса и, поднявшись, продолжал прерванный разговор.

Нужно было слишком хорошо знать его, чтобы заметить, что он стал уже не прежний; рот утерял свою злую форму и постарели глаза. Он говорил, слегка запинаясь, потому что другая мысль, точно опрокинутые чернила, заливала ему мозг. Но тот, другой, спутник наркома проявлял повышенную и требовательную любознательность:

— ...но все-таки вернемся к началу. А если остановиться на прежнем... ну, как вы это назвали в прошлый раз?

— То есть пучок в газе? — как бы сквозь туман вспомнил профессор. — Нам не полагается мечтать вне предела научных и допустимых на сегодня норм.

— Почему? — допытывался тот. — Вы можете рассчитывать на полное наше содействие.

Скутаревский перебил его:

— Потребуется импульсная установка на... позвольте, я сейчас соображу... минутку. — Он подергал бородку, и что-то хрустнуло в нем, как в арифмометре. — Потребуется двести пятьдесят тысяч киловатт. Возможно, в конце четвертой пятилетки... — Острота не удалась, он сдался и опустил глаза.

— Ну, с вашей помощью мы надеемся добиться этого в конце второй? — вопросительно, полусерьезно засмеялся нарком и, щурясь, ждал ответа.

Скутаревский молчал и, хотя решительно уверен был в своей правоте, снова и снова избегал давать хотя бы слабые гарантии успеха.

— Может быть, перейдем в кабинет? Там можно сидеть... — утомленно сказал он потом, вдруг навалиясь на



перила. — Эй, осторожно, не матрац тащите! — закричал он вниз, где в сплошной мягкий ящик устанавливали трехметровое параболическое зеркало. И опять никому не были понятны ни теперешняя его вспышка, ни давешний Женин испуг.

Они стали спускаться.

— Вы уезжаете сегодня вечером?

— Да, у нас специальный поезд.

— Черимов едет с вами?

— Нет, на него я оставлю институт.

— К слову, как вы расцениваете его?

— Он смотрит на науку как на свою партийную обязанность.

— Это плохо? — улыбнулся нарком: сужденья Скутаревского он знал давно.

— Это — мало.

...Их беседа длилась еще полчаса; кожаные кресла лениво вздыхали при всяком движении. Сумерки медленно переходили в вечер, а вечер в весну. За окном пулеметно грохотали отъезжающие грузовики. Позже сюда подошли Черимов и Ханшин, мирная беседа немедленно переросла в спор, и в этом десятиминутном страстном поединке разбежисто наметилась вся блистательная будущность института. Скутаревский сидел против окна; оно было круглое и напоминало иллюминатор; за ним пространственным конусом уходила территория научного городка. Частично ему видны были также серенькие окраины дома, колокольня, поднявшая вверх линияю шею жирафы, и еще круглые трамвайные часы у остановки. Все это скользило лишь по поверхности сознания, но вот зажглись фонари, и яркий, внезапный проливень света напомнил Сергею Андреичу о времени сильнее, чем стрелки на светящемся циферблате. Он поднялся со спокойствием, которое впоследствии, когда все стало известно, заставило женский персонал института приписать Скутаревскому жестокие качества, которых тот никогда не имел.

— Я прошу извинить меня, — произнес Сергей Андреич, с хрусткой твердостью ставя слова. — У меня произошло несчастье, и до отъезда я хочу... — он поправился: — я должен посетить еще одно место.

Нарком поднялся, за краткое время рукопожатья горячее тепло его руки не успело согреть оледенелых пальцев Скутаревского. Оба они были почти одноклассники, оба понимали друг друга трудно, точно переключались через экватор, и оба шли, по существу, к одному и тому же, если взглянуть снисходительными, век спустя, глазами.

## Глава 23

«Мужество, мужество...» — повторял он, не попадая в калоши.

И метнулся на улицу — быстро; его сердце разорвалось бы, если бы он хоть немного ускорил движение. Вот она снова воротилась к нему, его кометная стремительность, но для какой горестной обязанности! На безлюдной площади, откуда после базара расползлись крестьянские возы, он взял таксомотор. Места, куда он мчался, не должен был до времени знать никто, а тем более институтский шофер. Он распахнул кабинку так, словно брал ее штурмом; молодого парнишку за рулем ошеломило властное, немногословное приказанье пассажира. Машина помчалась вопреки всем обязательным постановлениям; на одном повороте насилу ускользнули от грузовика, выскочившего из переулка, а на другом чуть не изувечили разносчика. На долю секунды перед радиатором мелькнула его корзина, полная непонятого оранжевого, брызнувшего во всех направлениях товара; визгнули тормоза, парнишка успел завернуть руль до отказа. И пока милиционер записывал фамилию шофера, успел закупить мандаринов, из раскиданных по мостовой. Карманы пиджака уже раздулись, а он автоматически все еще пихал туда мятые, пахучие плоды; совсем не было уверенности, что они смогут пригодиться в ужасном месте, куда он торопился, но надо было чем-нибудь занять растерявшиеся стариковские руки.

Снова они помчались, и снова нетерпение пассажира пересилило шоферский страх перед столичной милицией. Каждая промедленная на перекрестке минута умножала душевное смятение Скутаревского. Неразборчивое известие, которое он сорвал с бледных, искусанных губ

Жени, странным образом подтверждало его прежние опасения. Нужно было собраться с силами и во что бы то ни стало для себя найти немедленное, тысячное по счету доказательство своей непричастности к этому ужасному поступку Анны Евграфовны; он уже не сомневался, что мчится на последнее свиданье с женой. И как только принимался распутывать противоречивый клубок своих тайных помыслов, раскаянья и сожалений, воображение тотчас рисовало ему одну и ту же картину — сумеречное перевозимное пространство с рельсами, уходящими в закат; хилая, неправдоподобная травка пробивалась между шпал сквозь политую мазутом щебенку... и там лежало ничком большое, еще живое, но уже затихшее человеческое тело, — сестра Петрыгина, но мать его сына: жена. И он торопился, как будто еще было время добежать, припасть на колени, оторвать ее руки от длинного, розового железа, уже гудящего от приближения слепого, катящегося навстречу груза.

— Скорей... или пусти, я сяду сам за руль, — бормотал Сергей Андреич, кладя подбородок на плечо шофера.

Наконец в ветровом стекле появился серовато-скорбный дом столичных несчастий и развернулся во всю ширь старинного, с колоннами, фасада. В открытую дверцу ворвались гудки машин и множественный скрежет дворницких скребков. Воздух пестрел снежинками, и они заранее пахли горьким больничным запахом. Скутаревский ринулся по ступенькам подъезда, на ходу снимая пальто, взамен которого ему уже издали протягивали жестяной номерок. Потом, не попадая в рукава, он впихивался в узкий, заштемпелеванный халат. «На малых ребят шьете, на ребят-с!» — бормотал он, как в судороге, расправляя плечи. По несколько ступенек в прыжок, на удивление швейцара, он стал подыматься вверх — так в молодости, бывало, каждый раз приступом брал он крутую университетскую лестницу. На площадке вверху он остановился, прижимая руку к боку; лицо его сморщилось и десны обнажились. Сердце больно колотилось, старость его была беспокойная, ему было тесно в этом порывистом, неукротимом старике...

Возможно, все это происходило и не так, но, когда впоследствии атаковали его воспоминанья, именно в таком

порядке чередовались подробности тягчайшего его дня... Дверь к дежурному хирургу была белая, простенькая, простекленная чем-то пузырчатым и голубым. Взрывчатое хрипенье доносилось из-под двери. Пусто было, корректно очень глянцевели масляные стены. На пороге встретился с женщиной, которая уходила: по лицу ее видно было, что сама не знает, где будет через час. Он не уступил ей дороги, он не понимал уже ничего. Линолеумная дорожка доводила до самого стола. Хрип объяснился просто: врач сморкался старательно и хоть не в согласии с правилами врачебной науки, зато с чисто научной пунктуальностью. В стеклах его очков натужливо тряслись зеленоватые отблески абажура. Вообще во всем была эта утешительная зеленоватость, даже в коротко остриженных, выпуклых ногтях хирурга. Не двигаясь, одними глазами он указал на эмалированную дощечку с уведомлением, что прием посетителей заканчивается в пять.

— Моя фамилия Скутаревский. Я уезжаю через полтора часа.

— Ага!.. — Кажется, так именовали того популярного химика, о котором как о достойнейшем кандидате в Академию он читал в газетах. Химия, по разумению врача, представлялась смежным с медициной ремеслом; они были некоторым образом коллеги; следовало проявить любезность, он привстал, приветствуя знаменитость поблескиванием стекла. Это был чистенький здоровячок, яблокощекий, работяга, и потому все ему до дьявола нравилось в жизни. На поле его халата, у кармана, темнело крохотное, в горошину, пятнышко: йод. Но одна мысль, что это и была кровинка из жены, влила холодок в пальцы Скутаревского.

— Садитесь, прошу вас. У нас кто-то имеется с вашей фамилией.

— Жена, — сухо объявил он. — Моя жена.

— Не припоминаю, нет... — раздумчиво проговорил тот. — ?.. — и пальцем водил по списку, отыскивая там похожее слово. — Молодая?

— Мне звонили час назад от соседей по старой квартире и сообщили, что ее отвезли к вам, — кусая губы, объяснил.

Врач принялся за список заново:

— Видите ли, это случилось в дежурство Сироцкого. Вы, наверно, слышали это имя. Он тоже писал что-то по

химии. Ага, вот нашел, но тут значится мужчина. Есть у вас в семье мужчины?

— Нет, — отрезал Сергей Андреич. — Это жена. Дайте сюда.

И сам шарил пальцем по скорбному списку новоприбывших, застигнутых посреди жизни разочарованием, мезью, коробкой консервов или трамвайным колесом. Но там, среди прочих, каллиграфически зияло лишь одно имя, не оставлявшее никаких сомнений. Инициалы были те же, это мог быть один Арсений... Где-то тут же, за стеной, рядом, на бывалой больничной койке корчился как будто знакомый и вместе чужой человек — чужой, потому что не прежний, не цельный уже. Воображение, сорвавшееся со всех цепей, корнало Арсения так и эдак, делало кровавым обрубком или удлиняло петлей, в узлы завязывало смертной корчю.

— Так, значит, это Арсений и есть? — вслух спросил себя, а врачу показалось, что глаза у него взорвались, и из самих разорванных глазниц текут по-старчески обильные слезы. — Это же сын, ясно! — И всей ладонью бил по измятому списку.

— Я же вам говорил, что мужчина. А мужчину я застал уже на операции... — сочувственно указал врач. — Он лежит в седьмой Б, припоминаю. У него все время сидела мать, она уехала полчаса назад.

— Что он сделал с собой? — перебил Сергей Андреич, дергая лацканы распахнутого своего халата.

— ...он? Как же, он стрелялся! — не без удивления сообщил врач. — И, черт, стрелялся-то как-то неряшливо: впихнул в себя пулю как попало!

И оттого, должно быть, что это была единственная возможная в его положении любезность по отношению к будущему академику, он рассказал со слов Сироцкого.

Несчастье произошло на рассвете. Молодого человека подобрали на улице с отмороженной рукой. Никто не слышал выстрела, кроме ликующего, издыхающего от одышки Штруфа: этого не знал Сироцкий! Пуля прошла наискосок, задев сердечную сумку и полость плевры, скользнула по ребру, пробила печень и застряла в малом тазу. Искать ее не стали, дабы не отягчать последних часов раненого. «Печень... — цепляясь за слово, пошевелил губами и с

негодованьем на память, которою не мог уже управлять, вспомнил: — Столыпина тоже в печень!» Представлялось кощунственным это неуместное воспоминанье, но он даже увидел этот газетный, двадцатилетней давности лист, услышал его хрусткое утреннее шуршанье...

— Я мандаринов ему принес... разрешается? — разбитым голосом спросил он еще.

Тот замялся:

— Уж не знаю. Видите ли, ему сделана лапоротомия. Хотя... Словом, есть данные, что к ночи показатели сердечной деятельности...

— Я хочу его видеть, — непреклонно сказал Скутаревский.

— ...я распоряжусь, чтоб вас провели. В таких случаях мы не препятствуем... — Он взялся за трубку и сперва сказал кому-то, кто дождался в телефонной очереди: — Да, но только впереди не двойка, а тройка. Что? Да, она выздоравливает. Пожалуйста.

И опять впечатления шли рваными, нестройными клочками: как будет, если разрубить книгу вдоль, поперек, по диагонали и читать подряд перемешанные треугольные обрешки. Человек, тоже в халате, шел впереди; лысый его затылок был худ, рыж и в веснушках. В углу, на первом повороте, уборщица мокрой тряпкой затирали линолеумный пол. Тихо очень было. В радиаторе отопления глухо шипела вода. В нишеобразном углубленьи дежурная сестра пудрила от безделья нос, — чтоб не заснуть. И удивительно, Сергей Андреич теперь вовсе не примечал въедливого больничного запаха, который напугал его вначале.

— Здесь, входите тихо, — шепнул провожатый и приоткрыл дверь.

Он вошел, скорее — протиснулся в щель.

Молочный свет был тускл, а потолок однообразен. Одеяло сползло с кровати. Оно было сурово и шершаво на ощупь, когда отец хозяйственно взялся за его край, чтоб поправить. На столике рядом не стояло ничего — ни пузыречка, ни коробочки, и эта пустая стеклянная поверхность безнадежности сильнее всего, как бы наотмашь, поразила Скутаревского. Но, в сущности, и предметов здесь не было никаких, то есть они не запечатлевались в

мозгу; в комнате помещалось одно лишь невесомое, искалеченное и бесформенное ощущение — сын. И глядеть на него почему-то избегал первое время отец. Потом он опустился на стул, единственный, и осторожно, краем глаза, покосился на лежащего. Тот раскрыл глаза и, судя по рывку бровей, что-то понял, но не издал ни звука.

— Вот, пришел проститься, — разведя руками, сказал Сергей Андреич. — Я уезжаю сегодня. Хочу испытать счастье свое и рукоделье испытать. Если оно оправдывается, великая польза будет народу. Тебе, наверно, запрещено говорить, запрещено? Ты молчи, говорить стану я... я пойму по глазам!

Одеяло не прикрывало Арсения и наполовину; отцу виден был его приподнятый, тщательно пробинтованный живот и ледяной на нем пузырь. Видимо, размеренно заканчивался в этом недвижимом теле начавшийся необратимый процесс. Так вот как оно происходит, это! Вряд ли Арсений уже имел право на свое старое, живое имя. Вещество его стыло и угасало; оно видоизменялось; оно больше не нравилось самому себе; оно просилось в поля, пространства, чтобы, растворясь в кислотах и ветрах, снова когда-нибудь воспринять — безразлично: деревом, облаком или простенькой полевой ромашкой. Распадались его сложные соли, потухали магнитные поля, клетка теряла электрический заряд свой, и самый мозг превращался в бездейственное, стеариноподобное вещество. И потому весь разговор с сыном следовало считать, пожалуй, разговором наедине с собой.

— Возможно, мы не увидимся больше. Я пробуду там не меньше полутора недель. Ты сделал так, как хотел. Говорят, что всякий человек умирает, когда ему это необходимо... Враки, Сенки. Настоящие люди живут так, что не умирают и после смерти!

Какое-то вялое слово шевельнулось на лиловатых губах сына, и не его уловил отец, а лишь усилием рассудка понял, что это и есть цвет цианоза. Впрочем, лицо Арсения стало живее, и какая-то лихорадочная влажность появилась в запавших глазах. Но была ли это боль или просто несогласие с доводами отца, было не понять сразу.

— Ты не возражай, я же и не навязываю своего мнения тебе... туда... в дорогу. Я знаю меньше тебя, я борюсь,

я живой, и никто не знает до конца. Больно мне только, что так быстро закончилось скутаревское. Еще говорят: человек — производная его среды... но кто же сделал тебя таким, Сеник? Всегда мы были врагами, а почему? Я никогда тебя не обижал... хотя, правда, и приласкать тебя у меня не хватало времени. Я помню тебя, когда ты краснел даже при слове чужой неправды. В кого ты пошел, не знаю. Твой дед был скорняк, прадед тоже, еще крепостной. Барин Шереметев променял его на рысака! Их труд был изнурителен и вонюч. И нужно было долго мочить в известковом молоке, мазать овсянкой и мять, прежде чем рыхловатые тошные кожи становились хлебом. Он был скуден, его не хватало даже детям: земля, на которой мы росли, была бесплодна и тоща. Но никогда в нашем доме не раздавалось жалобы. Отец нещадно бил за это, он приговаривал: «Копи в себе, копи...» Я понял смысл только взрослым... Я боюсь, мне горько утверждать, Арсений, он бил за это, кажется, и мать. Знаешь, матери чувствительны, им всегда трудно глядеть на голодного ребенка, а нас было пятеро — кроме меня. Отец!.. Мы никогда не видали его спящим; он все скреб что-то и шил. Он сшивал свои ночи и дни, самого себя пришивал к чужим мехам. Вот я старик, а до сих пор мне снится его длинная, неустанная рука. И мы тоже мокли в этом зольнике... и то, что впоследствии мы познали разумом, мы познали прежде всего шкурой, которую выдубили голод и нищета... и снаружи, черт возьми, и с бахтармы! Мы выросли, милый, прочными, черствыми, жестокими. Нам невнятно то, над чем еще двадцать лет назад взасос рыдали всякие **такие** барыньки. Мы смеемся над этим, мы солдаты, Сеник... Конечно, я сознаюсь, я говорю не то, что есть, про что я хотел бы, чтоб оно было. Но ты понимаешь меня: мы не можем уважать истерических поступков.

Ему трудно давались слова, шея его вспотела, поминутно он поправлял усы, и каждый раз не сразу понимал, откуда он взялся — настойчивый мандариновый запах, но именно эта непривычная тяжесть в карманах подтверждала место и трагическую цель его прихода сюда.

— Молчи, молчи, Сеник. Я вижу, чем ты хочешь мне возразить, но не в партбилете же дело. Я тоже только



профессор, с чудачествами которого приходится мириться, и, когда наркомы говорят со мной, они хитрят, они информируются обо мне у Черимова, а не у меня самого. Но зато они и не требуют от меня столько, как от рядового, кровного пролетария. Я делаю сам, кустарь, как умею, мою жизнь. Да, ты прав, я выстроил громоздкую оправдательную философию там, где они руководятся почти инстинктом. И в конце-то концов, может быть, они правы: ведь дядя твой, Петрыгин, факт или не факт?.. ты хмуришься. Хочешь, я уйду?

— Сиди... — Он не сказал этого, он только сделал знак глазами и опять закрыл их; недвусмысленные хрипучие обертоны появились в его дыханье; видимо, внутреннее кровотечение продолжалось.

— Так, значит, это правда... вот, о чем пишут в газетах! Я долго не верил сам, потому что — подорвать величайшую попытку перестроить мир — разве это правда? Правда — организовано сжигать народные усилия? Правда — сибирская твоя электростанция, правда? Должно быть, политика делит мир совсем на иные молекулы, чем делим его мы, механисты, — так сказать, физики и химики...

Арсений издал какой-то звук, даже не слово, и еще вслед за тем несколько таких же; ослабевший его голос был удален безмерно: их разделяла уже не только разница воззрений.

— Да, ты не знал тогда еще и сам, — понял его отец, — но после, после ты молчал? А ведь мы с тобой простые, низкие, мастеровые люди: что заработаем, то и едим. Какое нам дело до тех жуликов, что потеряли навсегда свои несправедные сокровища! Драться за них нечестно, а нищему — и вдвойне позорно. Ну где же та людская шелуха, которая тебя окружала и вела... а ты думал, что ты ее ведешь! Впрочем, прости, Сеня, я ведь не агитировать тебя пришел, но так уж вышло. Ты же камень-то бросил, и вот брызги из меня летят. — И он рассказывал стыдную историю своей битой надежды во всех ее подробностях. Они были как потухающие уголья, уже не раздуть их. И даже та разящая деталь, что он видел и знал все и молчал — когда мать украдкой жгла его толстые книги, чтоб согреть больного ребенка, Сеняка! — уже никого теперь не обожгла.

Когда он взглянул на часы, до поезда оставалось сорок пять минут, а следовало еще захватить домой, взять бумаги и переодеться. Он поднялся торжественно; татарские его брови треугольчато нависли над глазами. Потом он поклонился — низко, словно клал обратно в землю то, что однажды напрасно взял из нее. Рот его раскрывался сам собой наискосок, как разодранная рана: нужно было больно ударить по нему, чтоб замкнуть его.

— Ну, прощай, и ты тоже прости меня. Я мог бы вызвать к тебе еще врачей, но поздно... да и вряд ли это нужно тебе. Ну, не буду мешать, ты хочешь, наверно, сосредоточиться. А мне — ехать, я не могу отменить поезда. Прощай, Сенька!

Арсений лежал с закрытыми глазами, да Сергей Андрейч и не нуждался в ответе. Кстати, все труднее становилось раненому думать: заодно с телом он прострелил и мысль свою... Еще недавно ему казалось: посещение безвестной Гарасиной могилы даст ему новую силу жить. Но ехать было трудно, ехать было далеко, и тогда, должно быть, он и выбрал эту самую краткую к Гарасе дорогу. И возможно, для него это было честнее и проще, чем служить классу, которого не понимал... Дверь за отцом закрывалась медленно; хотелось приказать ему вдогонку, чтобы не резали потом, — отвратительно было Арсению самое представление о скальпеле патологоанатомов, но, в сущности, то было даже не предрассудком, а лишь последней зацепкой за жизнь. Дверь закрылась; в безразличной тишине белой комнаты растворились отцовские шаги. На ходу сдергивая с себя халат, побежал по коридору; времени оставалось катастрофически мало. И пока спускался бегом по лестнице, взволнованно ероша усы, встретился с человеком, который быстрым, зорким взглядом обмерил его и отвернулся. Под наглухо, до самого горла застегнутым халатом ловко двигались великолепные военные сапоги; видимо, один и тот же пошел на них кусок кожи, что и на портфель, слегка поскрипывавший на ходу. Человек этот явно боялся опоздать, равно как и Скутаревский. По-видимому, то был следователь по особо важным делам.

...Шофер зажался. В счетчике глухо отщелкивались гривенники и рубли. Пассажир грохнулся на сиденье, и

тотчас же заскрипели в машине вставные челюсти. Скутаревского качало, возносило к матерчатому небу, ударило о стенки на поворотах. Неподвижные подобья линз, смотрели впереди себя его подпухшие глаза: последние дни, в связи с отъездом, он вставал рано; может быть, ему хотелось спать. По сознанию елозили какие-то размытые зрительные композиции все того же вещества, трагический распад которого он только что наблюдал. Он не отказывался от своей электромагнитной теории жизни... но если это самое вещество скорбело и ныло в нем теперь, если оно могло неистовствовать в зависимости от того, в каком сочетании стояли две заостренных металлических полоски на белом экране циферблата, если, прощаясь с Женей, он долгим и трудным взглядом задержался на ее надломленных детских губах — не значило ли, что новое, высокое, неизведанное качество приобретала та неживая материя, которую он знал, подвергал измерению, сгущению или рассеянию, которую прогонял через раскаленные нити ламп, видоизменяя по капризу, и которая пестрила теперь в его мозгу условными понятиями — то залетающих к нему кристалликов воды, то грубого бульжного вещества, по которому несло такое же мертвое вещество машины, то студенистой, непоседливой плазмы, налитой в английского сукна с бархатной оторочкой мешок — себя самого.

## Глава 24

Кроме этого прямого официального назначения поездки и по другим причинам была насущно необходима Скутаревскому. Она была бы бегством от самого себя, если бы главный, решающий перевал в его судьбе уже произошел; а когда-то в гостях, у Подушкина, он полагал в простоте душевной, что уже перевалил вершину. Это, впрочем, походило на правду, легкую и тем более обманчивую; все главные удачи были уже пройдены; низкое солнце стояло позади; затухало фанфарное эхо скутаревской славы, которая ни в ком уже не будила ни зависти, ни жажды соревнования; новые корявые самородные имена подбирались к зениту, и знаменье старой

обветшалой кометы не пугало уже никого. И когда в отдалении объявилось это квадратное, предназначенное для опыта, сорокакилометровое поле, он ринулся туда до срока, лишь бы скорей принять бой и опередить судьбу... Нет, именно навстречу ей бежал он, потому что удача сулила ему благополучное завершение и всех остальных его чаяний.

— ...профессор желает чаю? — спрашивал человек напротив.

— Может быть, попозже, товарищ... товарищ? Я все забываю...

— Меня зовут Джелладалеев... трудная фамилия, она дается легко только актерам: я заметил. — И улыбался, как бы извиняясь.

— Вы, что же, бурят или узбек?

— Я туркмен. Так я все-таки закажу чай. — Весь разговор происходил расплывчато, как во сне.

Поездку эту при желании можно было истолковать и как бегство от Жени, если бы представляла теперь какое-нибудь значение его запоздалая страсть. Требовалось слишком много всякого рода созвучий, чтоб из нее получилось то прекрасное стихотворение, которое издревле на все лады, то в ярости, то в ревности, то в издыханье, повторяет человечество. А прежде всего требовалось равенство, и, хотя он всячески добивался этого, равенство их было мнимое. Из двух сторон слабейшей явно была Женья — безымянная девчонка, провинциальное существо и пока еще только замысел человека, макет его любви, выдуманый в унылой семейной каморке, с голыми ногами и еще у самого старта бегуныя. Может быть, ее и не было вовсе, и только мысленные, силовые лучи Скутаревского, пересекаясь, образовали этот милый и ненасыщающий призрак. Ее мечтанья определяли ее самое. Ей хотелось иметь полупустую, свободную от вещей комнату и простой, непременно кленовый в ней стол. Там неправильным треугольником разбросаны — наган, плитка шоколаду и ветка елочки в стакане; вот они, рифмы к девушке из поколения, которое пришло на смену Сергею Андреичу. Может быть, если найдется место, на столе лежит еще книжка Скутаревского; у Жени нет знаний прочесть ее, и оттого книжка всегда нова в ее воображе-

нии. Булка и яблоки — вот ее пища, пища богов и кроликов. Желание делать пользу, еще не сформировавшееся до профессии, — вот ее простенькая и отдаленная цель... Та же самая беговая дорожка у него оставалась пройденной. А он был знаменитость, член горсовета, научный, так сказать, отец целой оравы сотрудников, директор, вождь, дед, индивидуум, величина!.. и хотя бесхвостая, но все еще комета. И так уж получалось: весь его житейский путь ступенчато приводил его к ее жесткой, нищей, еще не смятой кровати. Он разъярился бы, если бы ему показать, во что обратилась его борьба с **горой** Скутаревской и какими тяжеловесными смыслами он нагрузил случайную, шальную встречу с миловидной девчонкой.

Нет, еще следовало спорить об истинных причинах, которые увели его из семьи, которые заставили его, подобно вору, в запертом кабинете разглядывать анкету Жени. На этом пухлом, соломенной бумаги, листе он отыскивал третий вариант догадок, которого не мог заранее предположить. Она была дочь мелкого кооператора, член юношеской организации, — выход из нее она пространно объясняла отказом в путевке на учебу. Ее посылали на работу, которая не прибавляет знаний и не молодит; тогда она решила пробиваться сама и пешком отправилась в столицу из крохотной подмосковной провинции. Анкета не требовала таких подробностей, и если Женя шла на такую щедрую откровенность, значит — знала, кто первым прочтет ее признания. И снова — бежать от нее теперь означало бежать ей навстречу.

— Поезд сильно запаздывает из-за заносов, — повторил спутник; сказать он хотел что-то совсем другое, и, в сущности, первая его реплика была о том же.

Сергей Андреич впервые со вниманием всмотрелся в провожатого своего. То был сухощавый, в военной форме, ловкий и чем-то замедленный человек; с самого начала пути он был внимателен, вкрадчив и молчалив, — должно быть, эти качества и способствовали его успехам в военном ремесле. Культура и городской отпечаток смыли с него прежнюю кочевую смуглость, и даже некоторая раскосость глаз представлялась скорее признаком индивидуальным, чем расовым. Только руки его, огромные, темные, с застарелыми желваками и рубцами в ладони,

указывали, откуда он пришел в свое высокое воинское звание. И, глядя на него, думал рассеянно: черт их знает, какие стихийные национальные залежи раскопала эта неистовая власть!.. Страдая от безмерного уважения к имени ученого — и тут просыпался в нем кочевник, впервые увидевший могущество человека в мире! — Джелладалеев поминутно неуклюже и трогательно старался развлечь чем-нибудь черное профессорское раздумье; его секретно предупредили перед отъездом о постигшей Скутаревского катастрофе... И вот, как бы отдавая дань вежливости, Сергей Андреич смотрит в окно и сперва видит в черноте стекла только блестящие пуговицы проводника, устанавливающего стаканы. Потом он различает огоньки в снежных полях, клубы темных кустарников под насыпью и снег; накануне пронеслась метель. И, точно в порядке обмена вежливостью, каждый думает друг за друга. Джелладалеев думает, что взгляд Скутаревского направлен в сторону его провинциальной родины: там в уездном городишке еще стоит, наверно, скорняжный домик и на березовой окраине, под круглым дешевым камнем лежит отец. Он вполне согласен: прекрасная ночь для обходного, наступательного маневра! И действительно, небо было на редкость черное для конца зимы.

— Откуда вы знаете Кунаева? — слегка наклоняясь вперед, спрашивает Сергей Андреич.

Собеседник улыбается, и Скутаревскому видны его крупные, кое-где в золото одетые зубы.

— Он был военкомом той бригады, которой командовал я. Это давно, еще на польском фронте. На всякий случай мы не порываем связи. — Его непривычный уху акцент придает железную значительность его речи.

— Великолепный экземпляр человека! — говорит Сергей Андреич.

— Настоящий пролетарий, — на свой язык переводит его спутник, и ему, видимо, приятно говорить о друге с таким известным человеком.

Скутаревский думает вслух:

— Странно: поезд идет, минуются какие-то баснословные полустанки, а мы так мало знаем про отдельные части паровоза, который нас везет. Кунаев!.. он так всю жизнь и пробегает в своей кожаной куртке. Черт, и не холодно ему?

Спутник смеется:

— Нет, он привык... он любит холод. Текущей зимой товарищи, шутки ради, на съезде подарили ему в складчину полушубок, и через неделю он опять...

— Пожалуй, это и правильно: надо, чтоб человеку было неудобно — тогда он ищет!

— ...было племя в Средней Азии, таа-зы. Они надрезали ухо себе перед битвой, чтобы быть яростней. Повидимому, это будит злость...

Так, приятно поговорив, они мысленно снова разбредались в разные стороны. Оба глядели в окна, и, хотя укачивали мягкие бархатные сиденья, вовсе не хотелось спать. В продолжение целой полуминуты оба видели за леском перебегающее на облаках клочковатое зарево: дружным костерком полыхала где-то невдалеке деревня, но ни один не обмолвился и словом. Опять текла в окне однообразная полоса древесных насаждений, и Сергей Андреич снова возвращался к своей горе. Сошествие с нее представлялось ему непосильной задачей: черная тень как бы от громадного каменного облака неотступно висела над ним в пути.

— ...выйдем на станцию, профессор! Погуляете... а я тем временем ругану кого следует за опозданье.

Желтый, скучный свет, налитый в круглую склянку, сочился на обширные сугробы; перрон был завален ими. Снегопад еще продолжался, но хлопья стали необильные, мокрые, — последние остатки высыпала из кузова своего зима. Беззвездная тишина куполом обступала станцию, но всюду, вплоть до красного семафорного огонька, пространство было затоплено мужиками с лопатами и в лаптях. На соседнем пути ждал очереди другой поезд, также застрявший из-за заносов.

Люди с окаменелыми от сна лицами проворно сновали от поезда к вокзалу и обратно, таща что-то в бумажках, бутылках и чайниках. У каждого была в этой ночи своя суровая дорога, — ни один даже не оглянулся на девочку, которая отбилась от матери и плакала на высокой стеклянной ноте. Рядом с нею стоял транспортный, в долгополой шинели, чин; он поглаживал маленькую по голове и любознательно поглядывал на бесстрастного иностранца, который торжественно нес куда-то в

неизвестность рыжий чемодан, оклеенный ярлычками заграничных отелей. Сбоку его вприхромку бежал волосатый, местного происхождения дед в мохнатой шапке, которая служила как бы естественным продолжением самого лица. Он совал в руку иностранца грязную, полуистлевшую записку — прочесть. Никто не потешился этой занятой двоицей, да, пожалуй, и некому было в суматохе, кроме одного старичка в укромном уголку, близ багажного сарайчика. С напыщенным и демонстративным благородством он держал в вытянутой руке серую пенсионную булку.

Скутаревский шел неторопливо, вразрез привычке, точно производил смотр этой голой ночной правде. Булка в рваной vareжке насторожила его внимание. Ему показалось, что это плохая булка.

— Халло! — сказал он, останавливаясь, потому что имел достаточно времени.

— Меняю на мыло, — шершавым простуженным голосом ответил старик и пристально глядел мимо, на проплывающий чемодан иностранца.

— А деньгами от своих принимаете? — испытующе поинтересовался Сергей Андреич, раздраженный то ли вызывающей нищетой, то ли редкостной лодырной разновидностью.

И уже шарил по карманам мелочь, когда дернули его сзади за рукав. Он обернулся с недоумением, которое рассеялось не сразу. Трудно было после долгой разлуки признать этого усатого здоровячка в тулупчике нараспашку. Ясно, он был тоже не из здешних; ясно, он был из соседнего поезда; он испытующе взирал на Скутаревского, и под дремучей бровкой его теплилось смешливое, хитрецкое лукавство.

— Пойдем, Сергей Андреич!.. это жулик. Тут разведки большие идут, руду ищут, иностранцев много, — вот на них он и охотится. Он и на прошлой неделе тут стоял, тогда только толстая книга у него была. У него здесь двое ребят работают... Бывший, негодный человек он, — пойдем. — И смеялся, смеялся, тешась недоумением Скутаревского. — Ты меня, Сергей Андреич, завсегда в одной коже да в бороде видал, вот и не признал сразу. Пойдем, я чайком тебя угощу. Чай у них, надо сказать,



местного производства, но ведь горяченькое... Огонь-то везде греет!

Было невероятно встретить здесь, в черноземном захолустье его, Матвея Nikeича, соучастника многих банных, в римском стиле, бесед. Но тот, вчерашний, был иконописен, почти отшельник, и по неповоротливости разума объяснялся лишь тезисами, которыми и действовал словно топором: порою только щепка от него летела, да и маловато бывало пользы от топора. Какая-то решительная подмена произошла в нем за зиму, — слова у него рождались легко и звучно, точно пересыпаемое зерно; приятна была его горячая, без тени кумовства, радость, с которой он подошел, и, когда распахивался на нем незастегнутый тулупчик, обнаруживалась ластиковая рубаша, вся в мелких, нарядных цветочках: только птичьей песни и недоставало на ней. И наконец, вовсе уж примечательно было, что вот бывший банщик ведет в буфет общеизвестного физика, чувствительно поддерживая под локоток.

— Слышал про тебя, Матвей Nikeич. На высокого коня вскочил.

— ...а баньки-то жалко: у воды всегда привольнее. Да вот, оказия какая, послали подшефный колхоз проведать! — щебетали птички, что прятались где-то в Матвее Nikeиче. — Музыку им привез, радио, книжки...

— Ну, и как на поверку?..

Матвеева ладонь оторвалась от рукава, и профиль его стал сломанный, сумрачный, сердитый. Из-за угла ветром ударять начало на платформу; Матвей застегнулся на все крючки, и сразу умолкли в нем птичьи хоры.

— Разно, милый, разно. Дураков честных много развелось. Проныры не страшно, его видать, и пятерня сама к нему, как к магниту, тянется, а честный — спрятанный. В день, как уезжать, трусики в кооператив привезли, черные в розовую полосу. Это накануне-то сева... и ни гвоздя, ни сахаринки на всю округу, а все только трусики!.. малость покричать еду в столицу.

И вдруг перечислять принялся скучные, темные цифры невыполненных процентов, а Сергей Андреич слушал с жадным, сконфуженным вниманием. И не то поражало его, что Матвею интересно все, чего сам он трусливо

сторонился, а — что по своей воле убежал из надменной дикарской пустыни в самую толкотню сложнейшего социального маневра. Он шел и улыбался, — может быть, в ответ мыслям своим о великом одиночестве человека на земле. И всегда так бывало: жизнь оказывалась хитрее его предположений, и, даже зная механику и расстановку участвующих сил, он никогда не умел предсказать подробностей последующей минуты. «А Лаплас-то все-таки диалектики и не нюхал... Жизнь никогда не упрощается до параллелограмма».

Они выбрали место у стены, выкрашенной диким, первобытным колером и сплошь в отеках сырости. Тотчас Матвей Никеич убежал за обещанным угощением. Шумно было, как нарочно, и в шуме этом приглушенно мерцал дребезг комендантского звонка, когда открывали дверь. По полу, густо заслеженному снегом, струился мокрый холодок; в дверь поминутно входили. Он огляделся, — кабинетного человека, его всегда отпугивала откровенная простонародная жизнь; да и теперь давалась ему трудно крепкая, настойная новизна ощущений. За соседним столиком, в углу, сидела плотницкая артель. Их было пятеро. Тяжелое ремесленное снаряжение — монументальные фуганки, скобеля и пилы в берестовых чехлах — вросло, казалось, в их серое, бывалое тряпье. Суровая праздничность лежала на их лицах, — с такими когда-то, при царях, пешеходило на богомолье неграмотное российское племя. Бородат из артельщиков был лишь один, наверно — самый смирный и пуганый. Селедка, по штуке на брата, красовалась на столе, замкнутая в сторожевой круг из пяти стаканов. Они ели, действуя руками и зубами, и терпеливо запивали ситро... Имелся там и шестой, но стакана на него не было. Он был чужак, бывший человек, им заведомо пренебрегали. Старинная, еще диагоналевого сукна, поддевка носила на себе печальные следы хозяиновых скитаний: ночевать ему, видимо, приходилось где попало. Весь он был явно гиблый, и одни только валенки с калошами, которые невыразимо сверкали резиновым лаком, могли служить предметом зависти для этих путешествующих в социализм мужичков.

Он сидел грустный, кося нетрезвый глазок на соседей, эпическое спокойствие которых возмущало его.

Время от времени он сдергивал с головы лепешистое подобье кепки с жокейским козырьком и, щелкая ею по краю стола, требовал себе вниманья:

— ...и вот, скажем, продал я доктору Саломатину последние полпуда масла, а дальше? Многоуважаемые люди, что со мной будет дальше?.. Кончина?.. но я же не хочу! И отродясь мне не везло: други мои все жулики, папа мой погибнул от продолжительного туберкулезу, в грабиловку я девять раз попадал, и даже фамилия моя с неприличной буквы начинается. Одна мама только и осталась у меня: глядите, жулики!

Всхлипывая, он тащил из кармана заерзанную фотографию пожилой и дородной женщины, в кофточке на выпуск и с полнокровным добряцким лицом. Карточка застревала в лохмотьях кармана, и это обстоятельство будило в нем пьяную досаду. Мужики безразлично брали выцветшую картонку, сумрачно глядели на его маму, передавали соседу; один пробормотал под нос себе: «Н-да, возразить не имеем... мама и есть!» Другой просто попробовал картонку ноготком, — картонка оказалась жесткая. Карточка обошла полный круг и улеглась на краю стола, никого не взволновав. Плотники сидели без движения, точно боялись растратить попусту заготовленные на продажу силы. Только один, самый рослый и щетинистый, уговорчиво откликнулся ему:

— Да нам не надо, что ты говоришь-то, не надо. Нужен ты нам, как пляшивому гребень, пра-а. И чего ты бьешься, опоздалый ты в жизни человек? Плотники мы, на Магнитку едем. У нас вся волость там, во! — И, поразмыслив над судьбой опоздалого человека, прибавлял тихо и настойчиво куда-то в самое темя мамина сына, усаженное редкими розовыми волосиками: — Продад бы ты валенки-то, милый ты гражданин, куды тебе такая роскошь, пра-а...

Тот не отзывался, и тогда круговой, скупой — точно стоил денег, начинался разговор; так на зимнем ветру шуршат сохлые листья:

— Сказывано: гора лесом поросла, и из-под ей берут железо.

— Катькин деверь пять сот заработал. И гармонь-трехрядку, — нежно, как свирель пастуха, пел другой.

— Там уж не подремлешь, — глухо и угрожающе прибавлял третий, щупая окоченелую ветку туи, что стояла тут же в кадучке. Он понюхал пальцы и досказал зловецше: — И вода-то, поди, ржавая от железа.

Четвертый, что беспокоился о валенках, погибающих зря, отзывался с созерцательной усмешкой:

— Чудно, огромные миллионы, и все спешат. Даже блоха, конкретно, шибче кусать стала. Это тоже хотя!

Пятый, в бороде, ершился, поправлял пилу, и без того накрепко, до боли привьюченную за спиной, и конопатый носик его заметно белел от волнения.

Скутаревский развернул было газету, но тут вернулся Матвей, нагруженный черствыми прошлогодними яствами: самоубийственно было бы поглотить и половину их, но, должно быть, расточительная радость встречи одолела прочие соображения. Едва они принялись за дело, снова, уже не без буйства, затормошился гражданин в диагоналевой поддевке. Сергей Андреич с любопытством обернулся: чем-то напоминал Штруфа этот человек, — один и тот же цвет был у этой горелой человеческой трухи... Вызревал в нем поглощенный хмель, и, видимо, фининспектор со всей его оравой приснился ему за краткое мгновение дремоты.

— Эй вы, еноты!.. вот он я, дивуйтесь, последний нэпман на вашей паршивой земле. Один торчу, как на песке былинка... Эй, почему сполоха не бьете? Где, я вас спрашиваю, где Гаврилов Петр Савельич?.. где Букасов Ганя и его бесценный товар на семь тыщ довоенным золотом? Сожрали... еноты вы, еноты! Ну, до мово не доберетесь, крепко спрятано. Ага, молчите, прошибло? Вот я ухожу от вас, и отныне станете вы жрать маргарин по карточкам, купидоны вы, сукины дети!

И опять никого не затронула его ругань; кстати, не шибче шепота звучал в общем грохоте подшибленный его голосок. Но что-то темное и жесткое мелькнуло в лице Матвея Nikeича и тотчас растворилось в краткой, даже восхищенной усмешке. Консервная коробка, которой хотел он заняться ввиду отказа Скутаревского, так и осталась стоять с воткнутой в нее вилкой.

Он покачал головой, как бы преклоняясь перед мужеством такого небывалого удальца.

— Ишь ты! — И снова великое множество птичек проснулось в его голосе, но теперь птички были железные и с зубами. — Живешь ты и ничего не страшишься. И где ты обитаешь, такой веселый... в гости бы к тебе побывать!

Тот хохотал:

— ...живу. В крепости обитаю. Наезжай, выпьем! У села Люксембургова хуторок в лесу, знаешь? Богданов я, слышал?

— Ишь ты, Богданов. Как же, как же... — уважительно бормотал Матвей и огрызком карандаша, который вдруг родился в заскоружлой раковине его ладони, записал что-то в книжечку. — Люксембургово... это в Ульяновском районе? Очень хорошо. Ну, запасай угощенье, приеду...

Но писал он еще долго, плохо владея непривычным инструментом, а последний нэпман следил растерянно за кривыми строками, прыгавшими по мятому листу. Мужики отвернулись: они были ни при чем, они ехали на Магнитку... Значит, так и не суждено было на этот раз побеседовать о высоких предметах; едва успели наладить прерванный разговор, подоспел Джелладалеев, — поезд их отправляли вне очереди, через две минуты. Матвей побежал проводить их до вагона. И как только поднялись, гражданин в жокейской кепке резво побежал сбоку, хватая Матвея за рукав и умоляя вычеркнуть его из книжечки: разом протрезвила его трусость. Не ведал он ни имени, ни чина этого молодежавого старика, но воистину страшна была в его положении любая сделанная про него запись. С вытаращенных губ летели какие-то изуродованные паникой слова и, наконец, очень неожиданная формулировка, что, кроме всего прочего в жизни, является он **детским отцом**.

— Да не проси, приедем... — отмахнулся от него Матвей Nikeич и уже у самого вагона в последний раз взглянул Скутаревскому в глаза: — Племяннику ничего про меня не рассказывай. Пушай ране времени не ездит...

Поезд двинулся, Матвей Nikeич проводил его пристальным, хозяйственным взором. Когда он обернулся, нэпмана уже не было: возможно, с высунутым языком мчался он на хуторок перепрятывать свои сокровища. Неторопливо Матвей вернулся к опустелому пиршеству.

Плотники еще сидели. Кучка обсосанных селедочных костей лежала на фотографии нэпмановой мамы; они закрывали ее целиком, и только руки мамины виднелись из-под объедков, обрядно сложенные на животе, как и полагается мертвецу, а сбоку уже кралась к ней желтоватая лужица ситро...

Матвей Никеич обмерил плотников глазами, — те сидели выжидательно и терпеливо.

— А ну... уехал мой гость. Большой головы человек. Малому у нас особого поезда не дадут. Ну, садись доедать, ребята...

## Глава 25

Временное руководство институтом пало на Ханшина, и тогда возникла обманчивая очевидность, что только мешал ему ближе сойтись с Черимовым. После отъезда директора сразу совпали их практические устремленья, и хотя то было простой случайностью, но именно в этот период времени институт передал народному хозяйству два крупных своих достижения. Первое относилось непосредственно к высоковольтной передаче по проводам; второе, черимовское, было то самое, на которое надоумил его Кунаев. Почему-то как раз в отсутствие Скутаревского поползли злостные слухи, что в начальство назначается Черимов, а бывший директор получит только лабораторию; требовалось проявить немало усилий, чтоб затушить эту провокационную сплетню в зародыше. Черимов и сам понимал, что только при общей технической отсталости можно было назвать открытием его изобретение; за границей подобные аппараты уже вступили в фазу промышленного использования. Вдобавок открытие это, расцененное провинциальной печатью как научное событие, целиком вытекало из работ самого Скутаревского над высокими частотами; не было особой хитрости в том, чтобы воплотить их в тигель, спирально обтянутый проводом вокруг футеровки. Так уж, видно, полагалось — почитать Рентгена и пренебрегать безвестным именем Ленера! Повторялась давняя история с учеником, который надоумился использовать отвлеченный от практики опыт учителя... Впрочем, причины всеоб-

щего восхищения лежали, пожалуй, в другом плане; от института давно уже ждали конкретной работы, и опубликование двух новостей этой газеты восприняли как частичную оплату давно просроченных векселей.

Об этом больше шумели в широкой печати, чем в научных кругах; газеты же приводили краткую, но поучительную биографию молодого ученого, украшенную, правда, не перечислением научных работ, а указанием на количество его общественных нагрузок. Кстати, метранпаж перепутал фотографии, и заместителем Скутаревского оказался пожилой детина в окладистых усах и промасленной кепке. Черимов же объявился старшим мастером станкостроительного завода, перевыполнившего квартальную программу. И все читали, и никто не замечал — даже сам фотограф. По-видимому, фокус этот мог приключиться и в действительности, и, как острили матерые анекдотчики, перемена произошла бы без особого ущерба для дела. Таким образом, враги черимовские, каких он успел вдоволь себе приобрести, метили поверх него в некоторые вещи посущественнее... Один, получив газету, много смеялся и за обедом так и объявил во всеуслышанье, что в его отсутствие рубль разменяли-таки на двугривенные.

Меньше всех участия в этой шумихе принимал сам Черимов. Яростный противник всякого **прометейства** — и этим словом он попадал сразу в Скутаревского, — он по-прежнему всюду отстаивал взгляд, что под любым изобретением должна подписываться вся масса сотрудников, а не один только его вдохновитель; принимая же во внимание преемственность технической культуры, он не прочь был поделить свою победу и со всеми теми, кто до него истратил жизнь свою на том же поприще. И если тешило его что-то в этот день, то не скоропалительная слава, а скорее пути, которыми она делается. Утром, еще в кровати, он просмотрел газету, иронически улыбнулся на заголовок статьи «О наших будущих академиках», проверил — напечатано ли запоздалое соболезнование Скутаревскому по поводу постигшей его утраты; редакция объявления составлена была туманно. Впервые выспавшись за всю декаду, Черимов зевнул и потянулся: кстати, гибель бывшего приятеля не особенно огорчила

его; ничто не противоречило черимовской логике, которая, конечно, была в данном случае его собственной, конституциональной логикой. Притом же дружба с Арсением осталась написанной на вчерашней странице, а жизнь неоднократно заставляла его перелистывать и не такое. Он откинул газету и опустил ноги на пол. Они были сухи и жилисты, ноги спортсмена; приятно было самому испытать на ощупь, как плотно и гибко одевают мускулы их костную арматуру. Вдруг он засмеялся, вспомнив недавний сон, который длился всю ночь и — о сон партийца молодого! — состоял из одного не совсем почтительного разговора с Каутским. Старик бубнил что-то о перерождении, Черимов злился и наседали; и, хотя уже успели померкнуть ночные настроения, рука еще оставалась сжатой, точно не хотела расстаться с клочком чужой пушистой, начисто выстиранной бороды.

Должно быть, возню его услышали за перегородкой.

— Николай, — кричала Женя, — где чай?

По ее расчетам, очередь вести хозяйство приходилась сегодня на него.

— Об этом следует спросить вас, Женя.

— Я готовила вчера.

— Но вчера я не пользовался вашими трудами. — И правдоподобное возмущение слышалось в его голосе. — Я уехал на завод, когда вы еще спали. Вчерашний день не в счет.

— Вы становитесь лентяем, товарищ Черимов. Это вдвойне позорно для рабочего, который...

— Да, но я являюсь вашим начальством. И даже получаю на тридцать рублей больше вас.

— Ага, день начинается с неприкрытого зажима самокритики...

Так забавлялись они этой ребячливой перебранкой. И, может быть, оттого обоим было радостно, что то был первый день весны. Цветные блики во множестве врывались в узкую, гробового покроя, клетушку Черимова, и до безрассудства весело было читать по ним — о ворчливых, вспененных потоках, о раскисшей за городом и пахучей земле, о воробьях, суетливо чирикающих на проталинках, обо всем, что с неистребимой силой каждому припоминается однажды в год... Черимов открыл фор-



точку, и стоголосый весенний гам, размолотый колесами далеких трамваев и гремучих грузовиков, вступил в комнату. Стало еще веселее в этом знобящем снопе воздуха, и теперь почтенный и затхлый титул академика звучал фальшивой монетой в сравнении с его нетитулованной, ничего пока не свершившей молодостью. Почему-то вспомнился ему тут Федька, которому так и не имел времени передать ящичек скутаревских сигар, но чем это было связано с весной и молодостью, так и не понял... Это был выходной день института, — в записной книжке не помечено было ни одного заседания; утренняя работа в лаборатории могла сегодня занять не более получаса. Приятно было неторопливо обдумывать, как истратить неслитанное сокровище дня. В институте его, однако, задержали; кроме того, среди почты он отыскал ту самую открытку с бородатым писателем, которую, помнилось, много раз держал в руках. «Поздравляю с ангелом дорогого племянника!» — писал дядька, и Черимов понял, что Матвей Никеич в свою очередь предпринимает контрнаступление на него.

Из лаборатории Черимов вернулся только к полудню. Дверь оставалась незапертой. Тонкие междукомнатные перегородки не составляли препятствия звуку, да еще такому пронзительному. По-видимому, у Жени сидел гость еще неизвестный Черимову, — он и говорил, предоставляя Жене возражать лишь в те кратковременные передышки, когда самому ему захватывало дух от скороговорки.

Голос ее дрожал:

— ...Когда я уходила, вы сказали мне: скатертью дорога!

— Да... но мы не предполагали, что ты дойдешь до того, чтоб стать любовницей спеца. Мы не хотели исключать тебя только за твой отказ ехать базным работником, и потому на сегодня ты позоришь организацию!

И опять Женя пыталась защищаться, — так барахтаются в воде утопленные котята:

— Это неверно, он учит меня. Я учусь. Я ушла от вас учиться.

Но все больше раскалялся гость в своем правоверном гневе:

— И это неумно, дорогой товарищ. Он не репетитор, чтоб тащить за уши наших недорослей: это уклон, от которого пора отказаться вчистую. Он должен оправдать ту цену, которая за него дана, — эти штучки пора бросить! Мы и без тебя овладеем наукой и научимся делать своих академиков, как паровозы, да, да!.. и станки. Да мы уже имеем их, своих пролетарских академиков. — Лозунг этот он тем же утром прочел в газете, но, разумеется, не мог предполагать, что сам этот будущий академик с улыбкой слушает его за дверью. — И если бы ты отличалась большей политической грамотностью, — да, да!.. ты поняла бы, что спеца надо использовать на все сто... нет, на тысячу процентов!.. по специальности. Я бы даже разгрузил их ото всех общественных нагрузок, я бы их, напротив...

Кажется, на этот раз Женя собралась с силами:

— Ты опять глупости говоришь, Ефим! — Она не посмела указать, что глупость эта и оскорбительна. — Он не из тех, которых мы собираемся судить. Слушай же меня, слушай... или... или я уйду от вас совсем и выгоню тебя сейчас!

— Ага! Стиль твоей угрозы вскрывает твою классовую сущность!

— ...я выросла вдвое с тех пор, как попала к нему. Я сама постепенно вступаю в научную работу... — И, судя по шелесту, наверно, листала свои тетрадки, полные учебных записей. — Он хвалит меня...

— Понятно: семейственность... — хрустнул мальчишеским негодованием Женин собеседник.

Он сообразил, что слишком размахался и результатов мог добиться обратных тому поручению, которое имел от своего начальства. Смутясь, он долго кашлял, хмыкал и шагал по комнате.

Женя вдруг спросила его:

— Тебя послал Жиженков?

— Это не существенно.

— Я спросила потому, что организация в целом не могла поручить тебе таких слов. Это грубо, грубо... Когда я вернусь, я сделаю одно сообщение про вашего Жиженкова.

— Ага, итак, ты возвращаешься!

Черимов тихо прикрыл дверь и вышел. Он прошелся по двору, осмотрел работы по расширению нижней,

кабельной мастерской, постоял просто так посреди двора, запрокинув голову в небо, посвистал, потер щеки, которые щекотало морозцем и солнцем, усмехнулся мысли, что вот ему уже и тридцать один, а он все еще не женат: никогда не удавалось больше получаса в месяц выкроить на любовь. Весна лежала кругом, как огромный голубой сугроб... но, должно быть, всегда обманчивы первые ощущения весны. Морозом схваченный снег был хрусток и льдисто-шероховат; он крупитчато рассыпался в ладони, и тогда казалось, что держишь на руке горстку жидких, текучих искр. И хотя в небе полное, как желток в эмаливой сковороде, лежало солнце, до настоящей весны было еще далеко; Черимов был голоден, и тем объяснялась неожиданность сравнения. Он подумал, что междугородный хоккейный матч, объявленный за месяц вперед, наверняка состоится. И оттого, что заранее решено было провести этот день совместно с Женей, он еще раз зашел домой.

Гость еще сидел, но беседа вступила в фазу настороженного перемирия.

— ...я хочу вернуться такой, чтобы Жиженков не посмел меня гнать, как это случилось...

— Оставим личные моменты, — перебил тот, — и резюмируем сказанное. Ты должна перевоспитать своего спеца, дать ему веру в работу и сделать ее возможно более интенсивной. Мы не определяем заранее формы ваших отношений, но... — опять стрельба из детского пугача послышалась в его голосе... — детей от него не нужно. В этот переходный период, когда старая интеллигенция в целом...

— Как тебе не стыдно, Ефим!

Кажется, перемирие кончалось, и Черимов решил войти: без вмешательства третьей державы драчуны не унялись бы до вечера. Хоккей начинался через полчаса, и потом, следовало все-таки выручать Женю. Гость встретил его пристальным, колючим взором, что ему, вообще говоря, плохо удавалось. Был то смешной парнишка, безусый совсем, с необыкновенной по густоте и размерам шевелюрой, и еще казалось, что веснушек у него на лице было больше, чем самого лица.

— Женя, нам пора.

— У нас серьезный разговор, — беспощадно отразил гость.

— Случайно я слышал часть его, — сказал Черимов, напуская на себя то же самое выражение: он боялся расхохотаться на эту вихрастую, щенячью юность, в которой отдаленно узнавал вчерашнего себя. — Вы напрасно мучаете Женю. Она несет очень полезную и зачастую весьма ответственную работу...

Паренек посмотрел на Черимова с пренебрежением: крахмальный воротничок и отлично выбритые щеки этого молодца внушали ему необоримое подозрение. Для него это и был осколок той страшной среды, из которой он поклялся Жиженкову вытащить Женю. Он опять запетушился еще непримиримей и задиристей, решась, по-видимому, разить наповал:

— Да, я понимаю, на что вы намекаете... — Он приметил жесткую, недобрую гримасу в черимовских губах. — Вы... член партии?

— Да... но вы-то игумен, что ли?

Тогда Женя, оправившись, перезнакомила их. Паренек смутился, услышав имя, которому два часа назад отдал дань своего выдержанного классового восхищения; он покраснел, привстал, сунул руку и вытащил — посмотреть время — часы. Они были громадны, с необыкновенно громким сердцебиением. Заметив молниеносную улыбку Черимова, он заволновался еще более, стал совать часы в кармашек, но она уже не влезала назад, эта мальчишеская улика. Теперь он много откровеннее посматривал на дверь. Чувства его поверглись в окончательный сумбур. Был он из той части молодого поколения, которая, не попав в Гражданскую войну, тем большее благоговение испытывала перед ее героями. В конце концов неизвестно, из подражания им или от непримиримой левизны убеждений он носил такие негнущиеся в складках скрипучие кожаные штаны. Теперь он готов был броситься на шею этому человеку в чрезмерно белом воротничке — последний сразу приобрел иное, уже похвальное значение. Поэтому он сказал, сдвигая дрожащие брови:

— Да, я где-то читал про вас в газетах. Я постараюсь вспомнить. — И вдруг с разбегу, как в детстве — голо-

вою в живот старшему, уткнулся подозрительным взглядом: — А где борода?..

— Это я побрился! — засмеялся Черимов, хлопая его по плечу: все дело заключалось в метранпажевой ошибке.

Это была полная капитуляция, но и уходя тот еще ершился, хмурил сросшиеся у переносья брови и грозно пообещался еще раз произвести такой же переполох. Не мудрено, что на Женю он произвел самое неизгладимое впечатление. Она казалась задумчивой в продолжение всего дня и, даже сидя на матче, больше вглядывалась, пожалуй, в свои собственные мысли, чем в то стремительное действие, которое происходило на льду.

Там за республиканское первенство дралась с Минском та самая команда, в которой когда-то состоял и Черимов. Старых игроков осталось только двое, остальные — была сменка, все незнакомая ему молодежь. Еще не впрягшиеся полностью в жизнь, они средоточили на мяче все свое неизрасходованное неистовство. Минутами почти падая, опрокидываясь под острым углом, — и тень насилу поспевала за ними, — они стремглав чертили размягченный солнцем, легкий лед. Должно быть, в том и состояло искусство игры, чтоб подражать мячу, который молниеподобно вычерчивал сложную геометрическую звезду. Порою он прорывался сквозь условную черту ворот, и тогда пел свисток — протяжным и как бы голубоватым тоном, который не противоречил ни матовому искренности льда, ни глубокой, разбежистой синеве неба. Плотные шеренги зрителей обступали место того чрезвычайного состязания. Каток принадлежал металлистам, и можно было догадываться, что веселое это соревнование служило лишь завершением каких-то других... Черимов глядел впереди себя сощуренными, отяжелевшими глазами; когда-то и он сам отдавал этому полю пенистый излишек юности своей, но вот она миновала... и, когда с налету, хрустя и брызгая льдом, к нему подбежал кипер команды, он испытал беспокойную, ноющую тяжесть в ногах.

Может быть, признал тот издали знакомую, с наушниками, черимовскую шапку и неизменный белый свитер за распахнутым пальто?

— Вот, втыкаем Минск. И довольно успешно. А лед плохой... — сообщил он и помахивал клюшкой, тренируя руку на удар.

Черимов снисходительно кивал ему и смеялся беззвучным стариковским смехом:

— Это кто там... Ленька Козлов?

— Он самый, фанерный директор... Что ж, старик, навсегда, значит, сбежал? — И слегка подмигнул в сторону Жени, как бы улавливая смысл происшедшей перемены.

Но тут над самым ухом вновь пронзительно запевал голубой свисток и снова начиналась головокружительная гонка.

Впервые и совсем по-новому Черимов покосился на свою спутницу, которую великодушию его поручил учитель. Вряд ли она расслышала намек или заметила пристальное разглядыванье соседа. Слегка закинув голову, она как-то вскользь и жмурясь от света смотрела в небо. Захватывало дух от его пространственности. Могучее гуденье наполняло эту круглую, вращающуюся неподвижность. Над совсем просохшими крышами домов, поверх деревьев, у которых теперь страстнее, чем неделю назад, изгибались сучья, острым журавлиным клином летела самолетная эскадрилья. И образ этих невидимых пропеллеров, высверливающих дорожку в ветре, будил в ней такое же безмерное желание полета. Вдруг она вспомнила товарищей, которых покинула, и тотчас подумала, что там, в безвестном провинциальном кружке, скоро, может быть, через неделю, начнется тренировка. Она увидела себя в трусиках и с голыми ногами, она ощутила под ступней плотную, еще сыроватую дорожку трека и жгучий, много раз изведанный сквознячок бега на коленях; она услышала клейкий запах, исходивший от березовой рощицы, что вправо от спортивного павильона, — и с грустью, которая не печалила, решила, что теперешней их коммунке скоро придет конец. Что-то заставляло ее, как и Черимова, приписывать этому первовесеннему месяцу могущество, которым тот никогда не обладал. А еще не прилетели грачи и зябли ноги от близости льда; еще синие афиши возвещали о втором хоккейном матче, с Харьковом, и самые дни напоминали скомканные, неудавшиеся улыбки.

И, точно следуя генеральному изотермическому плану, солнце вдруг окуталось в мутное кашицеобразное облако. Лед и небо потускнели, подуло холодком, Черимов застегнул пальто; вспомнилось, что Федор Андреич настойчиво приглашал их обоих посетить открытие выставки, которую устраивал совместно с несколькими товарищами по судьбе и ремеслу. Ни от кого не было секретом, что его **Лыжникам**, которые должны были стать центром общественного внимания, моделью служили Женя и Черимов. Обоим это было в новинку — чужими глазами взглянуть на себя, и если бы даже знали о размолвке с художником, которую они унесут с вернисажа, все равно любопытство пересилило бы. Какой-то неостылый кусок давешнего солнца, волшебный его потенциал, еще держался в них. Они поехали на автобусе и всю дорогу, свирепо гримасничая, лопотали на каком-то забавном тарабарском наречии, которое придумалось само собою. Сухоньякая старушка из породы тех, которые обмывают покойников и обожают постоять в очередях, востроносенькая и с кузовком, благоразумно отсела от них на другое место; почему-то это придало новой силы их беспричинному озорству. И то ли действовал на шофера хмель вчерашней вечеринки, то ли сын — розовый и двенадцатифунтовый — у него родился накануне, — вел он машину с таким преступным форсом и мастерством, что старушку на рытвинах так и возносило к потолку. Скоро она выползла совсем и, хоть мало весила, вчетверо быстрее понеслась вперед опустелая колдовская эта коробка.

...Они сразу увидели себя. Картина была огромна и по замыслу представляла эскиз одной из фресок, заказанных Кунаевым. Линия оврага композиционно делила холст по диагонали, и первое впечатление от нее было — движение и еще уйма лилового, закатом подсвеченного снега. Близка была весна, в мгlistой гуще можжевела потухала заря. В лесистую низинку, полную округлых сугробов, скользила лыжница. Она была прекрасна, и, волшебством гения, черный цвет ее свитера представлялся почти розовым. Длинное ее тело, утерав равновесие, почти переломилось и напруглось; казалось — еще мгновение, и она с разбегу зароется в этот белый хрустальный пух. И станови-

лось ясно, что в небе, разлинованном киноварью и золотом, происходило лишь наивное подражание этой скромной земной девушке... Сзади, согнувшись перед спуском туда же, в овраг, стоял юноша; возможно, Черимов и в действительности был когда-то таким; под белым, грубым тканьем его фуфайки угадывались великолепные, горячие мышцы, а на сумеречном снегу хищно чернели загнутые носки пьекс. Он ждал минуты, чтоб скользнуть вниз и там, где еще пылали снежные розаны в заячьих следах, поймать девушку. После изобилия в пореволюционной живописи батальных лубков, наивность которых равнялась их злободневности, радовал взгляд этот сверкающий апофеоз молодости и беспрестанного движения вперед. И уж во всяком случае никто до Федора Скутаревского, исключая разве фламандцев, холсты которых весят многие старинные пуды, не давал такого буйного и легко-го торжества одушевленной материи...

...но у холста стоял человек с сутулой спиной; по пиджаку прорисовывались подтяжки и кривая унылая кость его позвоночника. Мелко облизывая губы или почесывая щеку, он выписывал в книжечку уязвимые места картины. Он был из тех, кого выгоняют из искусства с великим запозданием, только после многих лет их разрушительной деятельности. Целлулоидная оправа его очков светилась много ярче его тусклых глаз, вплотную собранных у переносья. Постоянно испытывая некую необъяснимую обиду, он находил утешение в том, чтобы наводить цепенящий страх на вдохновенье, и верно — это он прорабатывал перед смертью Шунина, громил Евлашевского, сломал Василья Зеркальникова, и если уцелели прочие, то по причинам, вовсе от него не зависящим. Так он торчал здесь, и зрела в нем начальная, ставшая классической впоследствии фраза статьи: «Нужны ли такие произведения пролетариату? Нет, они не нужны ему...» Участь Федора Андреича была решена; крупнейшая его ставка была осмеяна. Сам он стоял в уголке с покорностью во взоре и жевал себе палец. И опять, как в годы молодости, приходили приятели, целовали его, великодушно афишируя близость к зашиканному художнику; одни исчезали, их сменяли другие



с неверными, жуликоватыми глазами, а ему мальчишески хотелось поверить в успех, — не тот, которым покупал его Жистарев, а в тот истинный успех, происходящий от признания огромной массы людей из другого социального этажа. Мутная одурь накатила на него от приятельских поцелуев, и вот уже сам не знал — успех ли это, или просто жалость, или, наконец, дружеский испуг перед размерами той хулы, которую завтра изрыгнет на него рецензент.

Встреча с Черимовым обрадовала, его, — все-таки это был свидетель его искренности и душевного переворота. Это свидание служило как бы концовкой многих их бесед об искусстве, о его высокой роли в революции; не всегда эти споры протекали мирно, но всегда оба они становились умнее после них. Федор Андреич засуетился: он раздернул штору, чтоб уловить остатки угасающего дня; он шумливо повел гостей к своим работам, и тотчас же критик неподкупно вышагнул в дверь. Посетителей оставалось мало. Теперь они трое, художник и его модели, стояли молча, с опущенными руками, перед картиной; она еще пахла краской.

— Вот, — сказал Федор Андреич, и губы его дрогнули, как у подсудимого перед последним словом. — Мало свету только...

— Нет, света достаточно, — уклончиво возразил Черимов и про себя отметил старомодную тщательность работы. — Совсем недурно. Но зачем у нее разорвано трико на коленке? Если сегодня мы и выпускаем не всегда приличную продукцию... Но ведь вы рассчитываете, наверно, что картина проживет дольше пяти лет.

Значит, провал был обеспечен, если и этот судья осуждал бесповоротно. Внезапно разгорячась, художник заговорил что-то очень туманное и далекое от черимовской специальности, о теории пятен, о могущественной силе детали, доставляющей правдивость произведению, о распределении цвета, о какой-то там хрупкости живописной плазмы, о тысяче вещей, совсем лабораторных и потому не понятных никому, кроме него самого.

— Да... но в каталоге это помечено как проект фрески... Тогда — зачем сумерки? Пускай будет наш полдень, пускай лед горит и плавится под нашим солнцем...

И тут же намекнул, что совсем не плохо было бы подчеркнуть производственную специфику картины.

— Что вы, что вы! — И даже руками замахал в полной панике Федор Андреич. — Что бы осталось тогда от моих лыжников? Именно сумерки...

И опять, в десятый раз, уже с меркнувшей убедительностью и нехотя он пытался объяснить, что помимо литературного содержания всякое произведение должно диктоваться и задачами чисто живописного порядка, если только... если... Он замылся, не желая ссориться в последний раз. В стремлении доказать свою правоту он открывался в гораздо большей степени, чем позволяло ему артистическое самолюбие. В пример он приводил торжественную, сумеречную силуэтность **Охотников** Брейгеля, которого втайне почитал единственным учителем своим. Решаясь даже на банальность, многократно скомпрометированную, он твердил что-то об абсолютности этих неистлевающих слов — весны, зимы, любви и смерти, ревности и радости — тех камешков-голышей, из которых на берегу вселенского неведомого моря выкладывает свои причудливые узоры художник. И уже в припадке художнической агрессии он грозил душевную цингою тем, кто хоть раз пренебрег всем **этим**. Самые образы его были чужды Черимову, практику и стороннику точного мышления, но он тем охотнее кивал, чем больше не соглашался. Усталость и место мешали им заострить этот спор до очередной стычки.

Заодно они обошли и другие полотна, и тут выяснилось, что Федор несколько опрометчиво выбрал себе окружение; его компаньон, целиком увязавший в подражании дурным образцам всеевропейского живописного распада, изображал почему-то только обвислых женщин с непотребными лиловыми грудями; вряд ли это было только женоненавистничество. Рабочий и его жена стояли перед одним из таких сногсшибательных опусов; мужу было смешно, но он крепился, и напрасно жена деликатно доказывала ему, что **такое** случается в жизни, что у ее соседки после родов была такая же в точности грудь... Постояли они также у одного необыкновенного моря со шлюпкой на восьмигранных волнах; мелкое свое жульничество автор подавал как наступление на буржуазный

академизм. Две тоненьких вузовки глядели на этот хаос, бесстрашно намалеванный прусской синькой, и одна, наиболее впечатлительная, произнесла вслух: «...как не страшно на лодке в такое море ехать!» Черимов стал прощаться; минуту Федор Андреич расспрашивал его о брате, которого так и не успел повидать после катастрофы с Арсением. Он искал, кстати, спутницу Черимова, но та уже вышла, — вузовки узнали в ней лыжницу по портретному сходству. Выставка помещалась в здании педагогического музея; кассирша считала выручку, мусоля пальцы языком. Сумерки плотнели. Воздух походил на сырую вату. И когда Черимов вышел следом за Женей, совсем уже закончилась эта неопытная репетиция весны.

Ветер дул вдоль реки. Они шли по набережной. Обоим хотелось идти пешком и молчать. Пустынные, приземистые дома, бывшие лабазы, однообразно тянулись по их пути. Желтую старинную штукатурку шелушила непогода. На реке, продолбив дырочки во льду, сидели неунывающие рыболовы в ушанках и проплатанных чуйках.

Женя сказала:

— Как быстро это проходит... — И рукой в заштопанной перчатке махнула впереди себя, где танцевали редкие, запоздалые снежинки.

Занятый другим, Черимов не ответил. Картина Скутаревского не понравилась ему: все-таки она была не о том, за что героически боролась сегодня страна. Но, странно, она не забывалась, она волновала его, и не только по тому знаменательному действию, что вторично на протяжении дня открывала ему глаза на Женю. С почти аскетическим осуждением он вспомнил сдержанный эротизм Лыжников, наглухо зашитый в этот суровый снежный мешок. Он думал: разве это только — молодость? Но удивительно, теперь уже не противоречила его ощущениям спрятанная тенденция холста. И еще оставалась подсознательная уверенность, что где-то за кустами, отстав от молодых, плетется на широких канадских снегоступах сам Сергей Андреич. Но, как ни искал по памяти, не находил и намека на присутствие третьего лыжника. В художественном воображении они умещались только

вдвоем, — третьему не было места, хотя бы то и был собственный его брат... Черимов шел чуть впереди и вдруг спросил, — туго натянутая струна прозвенела в нем:

— ...итак, вы полюбили его, Женя?

Было, может быть, и нечестно действовать в тылу у Скутаревского, но теперь Женя представлялась не только простой, пришедшей из неизвестности девушкой, но и частицей той отдаленной цели, из-за которой оба они состязались. Она ответила сразу, точно ждала вопроса:

— Не знаю, Николай. — Ей не хватало средств объяснить, как она понимает это огромное, так затасканное старым миром слово. Что это?.. взаимное, жестокое притяжение клеток, или преувеличенное уважение, или благодарность за ласку, или недуг, происходящий от одиночества, или просто флуоресценция того клейкого, недолговременного вещества, в которое все мы одеты?

Старик на углу у проломных ворот, в которые лениво тянулась вереница ломовых саней, продавал мороженые яблоки. Они набили карманы этой дешевой сладстью, и в карманах стало холодно, точно купили всю зиму. Путь их был долог, как нескончаемо мог тянуться их молчаливый разговор. Мерзлая яблочная мякоть долго щекотала зубы, прежде чем раствориться в призрачную, водянистую сладость; кое-где на непромороженных бочках еще сохранялся острый йодистый привкус.

— Я не знаю, — повторила она. — Ужасно шпрот хочется! — И снова умолкла. Шагов через сто она сказала еще: — Он ласков ко мне, а я с детства жила плохо. — Входя на мост, она продолжала: — Нельзя же говорить такие вещи просто так. Не слушайте, я говорю для себя. Например, он сказал, что ноги мои похожи... нет, не думайте, он никогда не видел их! Но он говорил мне слова, от которых теряешь рассудок. Нет, я не знаю, Николай!

Она посмотрела на надкушенное яблоко; фу, как десны от него щемит! Щемило десны и отдавалось в сердце.

Сама того не понимая, она по-детски выдавала тайну, на которую, в сущности, и сама не имела еще права; Черимова так и обдало жаром посреди знобящей, колючей мокряди.

— И... и он вполне честен в отношении вас, Женя? — напрямую спросил он.

Она остановилась и взглянула на него исподлобья. В ее глазах желтоватым отблеском ветреной вечерней зари светились упрек и горькая, обиженная нежность. Вдруг, наморщив лоб, она щелкнула его перчаткой по руке:

— У вас нос стал совсем синий. Он озяб, как беспризорник. Суньте его в варежку и молчите... молчите!

И сразу точно сгинула взаимная их, неестественная настороженность, сразу точно и не было злых этих, пронзительных сумерек и временного отступления весны. Сплетя руки и чуть раскачиваясь, напевая вполголоса ту полувоенную песню, которую поют обычно колонны демонстрантов, они шагали прямо по мостовой, и весело им было продавливать на мерзлых лужах тонкий ажурный ледок. Должно быть, светит солнце и в сумерках, потому что весна человеческая делается изнутри.

## Глава 26

Тот же самый вечер в трехстах километрах южнее застал Скутаревского на открытой веранде. Она помещалась во втором ярусе усадьбы, на кровле нижней террасы, и с нее всегда был виден старинный во всем своем вековом размахе липовый парк. Радиусами от площадки разбегались аллеи, испятнанные почернелым, ссевшимся снегом. Отлого понижаясь, они сводили к реке, которая круглила здесь свое русло, а за ней, на высоком нагорном берегу, ступенчато теснилось сплошное чернолесье. Старый владелец усадьбы обладал достаточными средствами, чтобы даже в этой перенаселенной полосе поддерживать прихоти ради такую романтическую глушь. И хотя, появившись он теперь, никого не испугал бы ни вельможный пропойный бас, ни разузоренный драконами китайский его халат, мужики стереглись почему-то осваивать эти чудовищные просторы. Лес походил на заповедник, и среди прочей живности, по слухам, доживал в нем скорбный век какой-то престарелый, здешнего происхождения черт. Дотошный собеседник мог вывести также при желании, что партизанская орава, гоняясь тут за одним неуловимым мамонтовским осколком, изловила якобы

случайно вместо него этот шерстистый предрассудок и целый месяц потехи ради возила его с собой. И таких будто бы вещей насмотрелся он в гостях у них, что поседел до самого хвоста, прежде чем догадался прогрызть свой тюремный мешок... Весь этот пестрый фольклорный ералаш отчасти развлекал провинциальную скуку, в которую окунулся вдруг Сергей Андреич, — все это приносили закутанные в шали и овчины бабы вместе с молоком и яйцами, в лукошках и крынках, на усадьбу.

Отсюда, сверху, в особенности занятно было наблюдать нехитрую, волнительную механику весны. Стихийно и множественно журчало по ночам, и, странно, никогда не сливались в целое эти разрозненные, резвые голоски. Иногда призрачная дымка, из которой родятся стихи и первые, еще неумелые апрельские облачка, заволакивала низинку, и тогда заметнее на плешивых бугорках проступали робкие, как бы прилизанные волоски зеленой травки. Расплющенное, точно после наковальни, но быстро стынувшее солнце опускалось невдалеке, — в такие вечера смутно, как в музыке, реял образ юности... расплывчатый и нежный звук, который периодически, как волна, то гаснет, то возникает снова на весенней тишине. Пожалуй, то был первый вечер, когда зелень рванулась на штурм с шершавых, набухлых ветвей; наступила дружная оттепель. К ночи густым туманом стало заволакивать усадьбу, и такова была его плотность, что, верилось, птицы застревают в нем, и самые крылья превращались в плавники. Когда Сергей Андреич вышел на веранду, он не услышал обычной перед ночью птичьей гомозни. Точно уничтоженный, лежал перед ним мир. Даже вороны, к вечернему кружению которых так привык он в последнюю неделю, замолкли где-то в ветвях. Все было тихо, и, если судить по проемам в этом сизом, бесплотном молоке, видимые предметы соединились совсем по-иному, образуя дикостные сочетанья.

...Он вспомнил другой вечер: садилось солнце, и рядом, в комнате, докашливал свои сроки его учитель, огромная глыба мяса, костей и знаний. Он умер через два дня, не доехав до места, предписанного врачами. Это было на озере Неми, в Дженцано, под Римом. Гостиница, где они остановились, стояла над обрывом, и на проти-

воположной стороне этой розоватой пространственной чаши, полной садов и виноградников, дремал старинный монастырек; в закате он был призрачен, мистичен и мал. Сергей Андреич увидел его впервые из узкого окошка уборной, но запах выветрился за эти тридцать лет, и сохранилось впечатление ясной свежести: жизнь была впереди, и ждали его прихода еще никем не штурмованные твердыни... Пиджак Сергея Андреича просырал, непокрытая голова стала влажной. Стеклопанная дверь позади, обвисшая с петель, прошуршала по дощатому настилу веранды: Джелладалеев подошел неслышно и стал рядом, чуть впереди. Сергей Андреич покосился на него с досадой: нечего было в Дженцано делать Джелладалееву. Глаза туркмена глядели сурово и трезво из-под тяжелых век; впервые Скутаревскому было неинтересно, куда они смотрят так, эти слегка притушенные монгольские глаза.

Джелладалеев обернулся.

— Профессор может простудиться: туман! — сказал он с улыбочкой военной четкостью, которая вряд ли соответствовала его тогдашнему настроению.

— Привык, чепуха. Меня извести можно только азотной кислотой, и то лишь мешая ее с разочарованиями.

— Сыро! — И озабоченно окинул взглядом высокие, почти гейхеровой схемы антенные столбы, маячившие в тумане. — Все готово, можно начинать.

Они вернулись в комнаты. Не посвященному в замыслы экспедиции трудно было бы сразу освоиться с тем, что происходило. Была длительная подготовка, стоившая жизней, денег и многолетней борьбы, строились машины, одна непостижимее другой; первоначальная, вполне крылатая идея загрузилась множеством смежных утилитарных задач... и все это средоточилось теперь в одной комнате головоломным нагромождением стали, вольфрама, ртути и стекла. Были потрачены лучшие годы жизни, и любая ярость, возникшая в нем, немедленно переключалась в эти все еще недосказанные моторы... и все это затем, чтоб запустить вентиляционную установку на противоположном берегу да зажечь сотню неярких полуваттных ламп. Но и эта простенькая иллюминация послужила бы триумфальным украшением для небывалой

человеческой победы... Два лаборанта в синих комбинезонах застыли с опущенными руками возле машин; один был хром, он так и стоял, перевесясь на короткую ногу. Они ждали распоряжений хозяина. Третий сдержанно спорил о чем-то с механиком, твердя ему по рупору вниз, откуда несло слышимое всем телом равномерное гуденье. Моторы уже работали, и здание, не рассчитанное в целом для такой судьбы, слегка дрожало. Он проверил охлаждающую аппаратуру, обошел измерительные приборы и у одних бормотал что-то, в последний раз проверяя на память расчеты, у других сердито пощелкивал в стекло, как бы выгоняя стрелку. И Джелладалеев следил за ним; он волновался, как никогда, даже в плену у Джунаида; но был приятен ему этот никогда не испытанный холодок в лопатках.

— Давайте ток, — сухо приказал и, отойдя к окну, прибавил совсем прозаически: — Кто-нибудь ступайте наверх.

Как были — без шапок, они рванулись все трое, потом остановились в нерешительности; потом хромой опередил прочих, и слышны были с деревянной лестнички его сбивчивые, неверные шаги. Он не обернулся. В окно было видно немного. Смерклось, и в молоке тумана как бы разболтались жидковатые лиловые чернила. Два черных кабеля временной проводки взбежисто уходили в его гущу. Глиняная ваза с былой куртины высовывалась из-под снега, обок сохлому будылю чертополоха. Все было ясно, расчеты достигали предельной математической четкости. Сперва шелкнула искра выключателя, и секундой позже на низкой боевой ноте загудели трансформаторы. Потом у всех было минутное, необычайное только для Джелладалеева, ощущение, точно громадные порции жара им насильственно нагнетали в ноги. Скоро это прошло, тогда что-то хлестнуло над крышей — обманчивый шок, происходивший единственно от напряженного ожиданья чуда. Машины работали полным ходом; наверх в антенное зеркало остервенелым потоком лилась энергия. Вибрируя высокой частотой, она срывалась с металлической сетки и дальше шла волною, образуя свирепые магнитные поля и бури. Первичный хаос силы, заключенный в жесткие, властные берега, могуче



вонзался в беспредельность. В эфире начинался беспорядок, почти крушение; замолкали телеграфы и визжали радиоприемники... И опять все это было только наивным воображением Джелладалеева. Стало совсем тихо; только, одновременный и краткий, раздался вороний крик, и снова, внятная всему телу, пульсировала тишина.

Не оборачиваясь от окна, Скутаревский ждал торопливых шагов лаборанта, караулившего сигналы наверху. Шагов не было, и крика о победе не было, ничего не было. Время толклось на месте, и можно было постареть даже за краткий срок этого ужасного смущения. Очень медленно Сергей Андреич повернулся назад; вдоль лица его пролегла черная усталая складка. Едва заметным жестом приказав выключить ток, он раздраженно взялся за трубку телефона. Линия вела на тот берег реки, где в охотничьей сторожке стояли приемные агрегаты.

— Хо-да-ко-ва! — раздельно произнес он. — Ну да, позовите мне эту балду!

Еще он ждал полминуты, кося глаза на черную лакированную коробку конденсатора. Кажется, никто не дышал. Джелладалеев украдкой поглаживал облезлые мавританского рисунка обои, которыми отделан был этот почти танцевальный зал; он гладил и потом украдкой нюхал зачем-то ладонь.

— Слушайте, Ходаков, — вяло — и это звучало хуже ругани — заговорил Сергей Андреич. — Проверьте клеммы... да, и все вообще соединенья. Нет, это лишнее. Что?.. антенну я ставил сам, а вы свою работу проверьте. Через десять минут, по часам, повторяем.

Не глядя ни на кого, он поднялся на веранду. Туман стоял гуще, пропорция чернил в нем стала больше. Из тумана тянулись к перилам скрюченные иззябшие сучья конского каштана. Лаборант, с руками — рукав в рукав, задумчиво перекидывал папироску из одного угла рта в другой.

— Огней не видно, — как бы оправдываясь, заявил он. — И кто-то там зажигал спичку.

— Мерси. Идите наденьте пальто.

Эти десять минут тянулись нестерпимо долго. Похоже, будто Сергей Андреич боялся возвращаться туда, где решалась судьба не только его изобретения. Его погнало

ознобный, пронизывающий холод ночи. Он вернулся как раз в тот момент, когда позвонил Ходаков, виноватым голосом он сообщил, что действительно в переключателе антенны, по недосмотру механика, не было полного контакта. Опять включился ток, и стало происходить главное; всему остальному в мире предоставлялась лишь роль свидетеля. Теперь стоял у самого пульта, ревниво следя за тем, чтоб накал на лампы задавался не сразу. Медленно раскаляясь, они начинали светиться неопытным желтоватым светом. Жеманно покачиваясь, стрелка напряжения ползла к своему пределу. Джелладалеев улыбнулся; судя по времени, уже сияли белесо сквозь туман контрольные щиты, но все еще не бежал вниз с ошеломительной вестью хромой наблюдатель, не звонил дубина Ходаков. Чудо не состоялось; возможно, его отменила сама непогода. Скутаревский сам прервал ток и, цепляясь ногами за провода, бросился осматривать механизмы. Все было в строгом согласии с его собственной схемой. Он закусил ус и вдруг, выхватив листок из блокнота, тут же, при свидетелях, чертил рваные какие-то иероглифы, понятные ему одному.

— ...да, но в знаменателе остается то же Q! — вопро- сительно и бешено прохрипел он, и все слышали эту скорбную, в сущности, формулу его поражения.

Еще и еще в продолжение той весенней ночи, уже не надеясь на удачу, они пытались докинуть энергию до хо- даковского берега. И каждый этот неминуемый провал отнимал у Скутаревского какую-то частицу его уверенно- сти в себе. Да тут еще позвонил этот бестактный негодяй и спрашивал, скоро ли начнут вторично испытывать ап- паратуру. Ласково поглаживая рубчатый эбонит трубки, Джелладалеев слал его, Ходакова, ко всем чертям. Ночь стояла за окном, как облако смертное; стекла увлажни- лись с внутренней стороны. В соседнем флигеле, где по- мещалось временное общежитье московских гостей, уже чадил самовар на столе, свистел свою песню, потухал, и грел его снова, раздувая сапогом, могильного вида стари- кан в николаевской папахе, и опять утекало животворя- щее самоварное тепло. Снова начинали урчать моторы; по хлипкому зданию передавалась их ненасытная дрожь, и старик суеверно качал головой на стену, за которой

происходило это. В третий раз, не шадя одежды и рук, Сергей Андрейч собственноручно лазил вокруг установки и непонятным образом успел вымазать где-то маслом свой нарядный, совсем летний галстук.

— Не выходит... вот сука, не выходит, а?.. — бормотал он, и все более астматическим становилось его дыханье.

То была отцовская повадка — бубнить так, когда не удавалась подборка либо когда расходились швы на подпревших шкурках. И он сам, сын скорняка, замечал это трагическое сходство, и вот его ударяло тухлым воздухом детства — снова и снова ветер был из-под Тулы!.. — когда все великое таинство науки представлялось ему простым, почти игрушечным шаром, полным колес — как полно всевидящих глаз божество из ассирийской космогонии. Так он ползал вокруг омертвелою своего металла и уже не мог сосредоточиться на обманувших его цифрах. Давление в груди не проходило; что-то замкнулось в нем на короткую, — должно быть, в этом заключалось физическое проявление его смятенья. Весь темперамент, который могущественно толкал его на одоление цели, теперь, после отпора, тянул назад. Уже он сомневался не только в правильности гениальной схемы, но и тех путей, по которым доньше деспотически вел свою науку. И вдруг с тоской, которая реально уместилась где-то в развороте реберной клетки, он почувствовал, что вот жизнь прошла, а он так и не узнал, отчего в конце концов светятся рыбы.

Он вылез, постаревший и черный; он вытер руки о тряпку, которую подал лаборант; он сказал только одно слово:

— Спать.

...Два следующих дня потрачены были на точнейшую, почти заново, регулировку машин. И хотя все стремились поддерживать в себе некрепкую, фальшивую бодрость, никто уж не обожествлял, как прежде, этого безумного, слоюм на слой наращенного металла. Было в эти дни тускло и бездельно очень. Дождичком покропило, и, точно у фокусника, на деревьях обнаружались первые липучие листочки. Приходила огромная конопатая баба с лукошком утиных яиц. Звонили с фабрички, у которой брали энергию, с запросом — скоро ли кончат свою галиматью. жалел, что не захватил с собою драндулета... Как-то на

рассвете старший механик слышал в парке гугнивое тете-ревиное лопотанье. Небо было полосатое; разлинованное лучами восхода, оно, кажется, пахло можжухой. Утро вы-зревало тугое, рубчатое, весьма похожее на исполинскую тыкву. Ходаков ходил на ток и убил птицу неизвестного сорта. Ключки недавнего тумана и неудачи еще держались в людях. Однажды, внезапно совсем, такое с полудня за-сияло солнце, что Джелладалеев даже знойную родину свою вспомнил. После обеда он уговорил Скутаревского пойти к реке. Почти болтливый в этот день, он ни сло-вом не обмолвился о случившемся несколько дней назад. Только изредка ловил на себе его зоркий под монгольски-ми ресницами, мерцающий взгляд.

Джелладалееву нравился этот молчаливый в беде че-ловек. Он вообще любил гордых, — с ними легче перено-сятся несчастья, а счастье можно разделить и с собакой. За свой недолгий, в сущности, век он повидал много с юношеской поры, когда батрачил далеко за Бухарой, до последней, хитрой и пока еще бесплодной охоты на Ибрагима. Его любознательному разуму нравилась так-же эта замусленная, с прожелтевшими листьями, книга жизни, от которой иные стареют, иные сходят с ума, а он испытывал неодолимую жажду дочитать до конца. Видел он азиатские эпидемии у себя на родине — собаки пожи-рали трупы, видел безумие голодных стад на оледенелой земле, саранчу и ураганы видел, и никогда еще не бывал в таком тесном соприкосновенье с трагедией науки, перед которой благоговел.

Они прошли по аллее, держась снежной полосы вдоль опушки: ноги прилипали к вязкой глине дорожки. Без умолку болтая обо всем, Джелладалеев ориентировал разговор по случайным, рассеянным репликам Скута-ревского. Терпко, хмельно пахло прошлогодним листом; деревья стояли как околдованные и — казалось — с опу-щенными руками. Везде еще проникало солнце, и оттого изовсюду посверкивали острые ручейные глазки.

— Весна... это когда дуреешь, и не совестно, — не об-ращаясь ни к кому, значительно признался Сергей Ан-дреич.

— ...а у нас сейчас, — подхватывал Джелладалеев и, вдруг мешая слова двух языков, принимался за длинное

и путаное повествование — о долинах благословенных азиатских рек, где розовыми кострами цветут тамариски, об астрагале и джужугуе, суровых и могучих травах пустыни, и тогда бесплодные, подобно маятнику, качающиеся в веках пески, мнилось, согреты были не солнцем, а его собственной физиологической нежностью к родине, покинутой навсегда. Осмелев, разойдясь, он звал профессора поехать с ним хотя бы на неделю, хотя бы затем, чтоб сесть на корточках у древней караванной дороги, глядеть в мерцающую от жары даль и, запустив пальцы в раскаленный песок, вспомнить весь тот путь, которым шел человек от своей колыбели.

— Я и сам давно уж не был там. А завтра, может, грянет то самое, что грянет когда-нибудь и заметет Джелладалеева. А тебе совсем любопытно будет: с горы виднее! Ты много знаешь. Наш бог, Худдай, знает меньше тебя. И ты отдохнешь. Будешь верхом ездить, дугар слушать, шурпу хлебать! — И нежданно — так кристаллизуется перенасыщенный раствор — заканчивал вежливо: — Не пугайтесь, профессор: шурпа — это просто лапша ваша!

— Это потом, после... когда все закончим. Черт возьми, истинная жизнь — это когда некогда даже умереть!

На этот раз никто не ответил ему; Сергей Андреич обернулся. Стоя на одном колене, Джелладалеев держал в ладони мертвую птицу. Это была ворона. Ими сплошь был усеян участок парка, где они находились, и какой-то лесной зверек уже принялся лущить их. Следовало пристальнее разглядеть лишь одну, чтоб понять, что случилось и с остальными. Перо птицы было слегка опалено, и птица казалась темнее своей натуральной окраски.

— Бросьте... падаль, — махнул рукой Сергей Андреич, задерживаясь на мгновенье. — Луч прошел несколько низко, а они ночевали тут, в вершинке. Итак, вы объяснили про шурпу, а дугар?..

— Интересно... птичка... я не знал, — вдумчиво твердил тот и некоторое время нес птицу на ладони, то распяливая, то снова складывая мертвое ее крыло.

Потом они сидели на ветхом каменном диванчике, и, хотя все благоприятствовало тому, уже не возвращалась к Джелладалееву весенняя его лирика. Он держался любезно и замкнуто; прежняя военная выправка появилась

в его плечах. Может быть, и умнее было молчать в это время, в этом месте, поскольку тишина включает в себя все, что можно произнести в ней. Из нагретого камня скамьи приятное тепло сочилось в ноги; она была широка, и ленивый зеленый бархаток мха расплзался по ее щербатым боковинам. Мутная, верткая вода подступала к самым ступеням, и такое же возникало влечение ступить на нее, как смотреть в большой, спокойный огонь, или прыгнуть с обрыва, за которым голубые луга и цветы, или, как вчера, коснуться смертельной клеммы, где невидимо струится энергия.

— Значит, принцип все-таки не скомпрометирован? — молвил наконец Джелладалеев.

Вопрос был из тех, которые еще не раз должны были ему поставить в будущем. Он собрался отвечать долго и сердито — о причинах первой неудачи, о негодности ионизаторов, достаточных лишь в пределах лабораторного опыта, о том, что, может быть, потребуется порвать крепкие сцепляющие резинки в атоме, взорвать, наконец, целый тоннель воздуха и в нем пропихнуть бесшумный электрический поток. Он не успел произнести и трети: по аллее, прыгая со снежного островка на островок, приближалась Женья. И по тому, как сжался и растерянными глазами, уже не скрываясь перед чужим, глядел туда, Джелладалеев понял, что напоследок судьба дает ему наблюдать старость великого человека, — именно таким, несмотря на все, уместался в его воображение. Он ошибался: просто сказывалась у Сергея Андреича нервная перегрузка последних дней.

## Глава 27

Чем ближе подходил он к ней, тем тяжелей становилась его походка. От Джелладалеева отошел юноша, а к девушке подошел старик, величественный и хмурый.

Приезд Женьи заставлял его врасплох; попросту он не знал, что с нею делать. После неудачи, которая в глазах широкой обывательской массы ставила под сомнение весь его научный путь, он готов был анализировать то, что уже неподвластно было грубому механическому расчленению. И хотя он жал ей руки, пытаясь согреть крас-

ные, избывшие на ветру пальцы, сам он терялся от мысли — зачем ему еще этим лишним персонажем засорять свой трагический и без того тесный балаган.

— Вы... как?

— Приехала вот.

— Что случилось?

— Просто так, к вам! — И по глазам видно было, что ждала начальственной, но не очень грозной воркотни.

Он захватил губами ус и жевал его, глядя в сторону.

— Ну, как там? — Конечно, в институте уже могли прослышать о его поражении: Джелладалеев ежедневно отправлял куда-то письма, а родных у него не было в мире. — Что там нового?

— Все в порядке. Николай рассчитал Касимова за пьянство. Потом его вызвали по делу Петрыгина. Пристройка...

— ...он взят? — жестко перебил Скутаревский.

— Да. У него нашли валюту в полом валу музыкального ящика. Пристройка третьего дня закончилась. Ханшин, возможно, получит премию.

— Да, я читал.

Ясно, она ничего не знала пока о происшедшем, но, значит, и у нее таилась какая-то догадка, если не решалась в упор спросить о самом главном. Они молча пошли к дому; говорить сразу стало не о чем. Вдруг услышал, как в стоптанных калошах Жени всхлипывает вода.

— Я промокла, — улыбнулась она на его вопросительный жест и невесело покачала головой: — Даже чулки мокрые...

— Вы от станции?..

— Да, шла пешком. Я без вещей. Колхозник запросил сто рублей, он ехал порожняком...

— Сколько вы шли?

— Три часа.

Он замахал руками, зашумел, не давая произнести и слова:

— Тогда марш домой. Надо растереть, да. Черт, такая пора... эти, как их?.. коклюши ходят. — И свирепо тащил за рукав.

Всякое сопротивление взбесило бы его; в эту минуту было в нем что-то от старой, задушевной няньки с боро-

давкой на щеке. Невольно в голову ей пришло сравнение: тогда, после вернисажа, она также промокла, и весь вечер — долгий вечер ребячливых и преступных, так ей мнилось, утех — она высидела с ощущением ноющего холодка в коленях. И за весь вечер Черимов, который сам был в прочных, битюговой кожи, сапогах, даже не поинтересовался, почему она жметя к нетопленной печке и дрожит. Объяснение давалось просто: молодость не боится; и, странно, именно небрежением этим был ей Черимов в особенности близок тогда.

Сергей Андреич притворил дверь и бросил на стулья насквозь просыревшую кожаную куртку Жени.

— Ну, разувайтесь... — грубо закричал он. — Чулки долой!.. и это калоши, это калоши?.. — И неистово совал палец под оторвавшуюся подошву. — Куда вы деваете деньги, которые вам платит институт?.. проедаете на сладостях? Вы что, разжалобить меня, что ли, хотите?

В чемодане у него отыскался вместительный флакон с одеколоном; потом оттуда же он извлек жесткую щетку и, стоя рядом, командовал, точно и это входило в обязанности главы института:

— Это почти спирт. Лейте в ладонь, так. Трите щеткой, трите... ступню... докрасна!

— Но щеткой больно! — напуганно сопротивлялась она. — Это же щетка для головы!

— Жарьте, черт с ней: коклюши ходят. Еще спирту. Э, да не так, дайте сюда... — И готов был действовать сам.

Внезапно, раскашлявшись, он отвернулся. Они были совсем наедине, и казалось, все население дома затаилось в ожидании чего-то. Ноги девушки были голые. Растерявшись от его паники, она вовсе не береглась от его взглядов. И наконец, даже любительски он никогда не интересовался медициной настолько, чтоб оправдать свое присутствие здесь.

— Девчонка вы! — рывкнул он напоследок и, сам на себя дивуясь, вышел вон.

Это настроение старческой неловкости в отношении к Жене он сохранял в течение всей этой недели, которую они еще прожили на усадьбе. За весь этот срок только однажды, и то лишь после тщательной перемонтиров-



ки, Сергей Андреич попытался произвести эксперимент. Возможно, он пользовался отсутствием Джелладалеева, который лично поехал ругаться на фабричку; тамошние хозяева энергии проявляли досадную нетерпеливость и то возлагали на Скутаревского ответственность за невыполнение промфинплана, то ссылались на участвовавшее хулиганство в поселке из-за постоянного мрака... Опыт прошел с прежним успехом, и это даже не огорчало. Хромой уехал на тот берег ловить рыбу. Ходаков настолько старательно предохранял себя коньяком от простуды, что и в действительности заболел. Кстати, как-то произошло, в заключение разбили один из тиратронов, — все к одному! Разумеется, пора было бросать бесполезные потуги атаковать пространство, которое оставалось в прежнем, безличном равновесии. Сергей Андреич ходил и шупал свои механизмы; они были холодны, они утратили тепло, которое он им отдал. Пространство зеленело, наполнялось смутительными запахами, но в ту ночь, когда Женя сама пришла к Скутаревскому, оно было ледяное, с синцой и даже не без оттенка величавой надменности, — это самое пространство!

Луна стояла в чисто выметенном небе, и еще какая-то острая звезденка делила с нею власть в этой ночи. Было очень удивительно, что в первый раз за последние двадцать лет вспомнил о ней, о луне, об этом романтическом придатке. Луна, которую обычно начинаются всякие истории, у него замыкала полностью завершённый круг. Какие-то незрелые, неполноценные образы засоряли его сознание, и то ли нестерпимое ледяное сиянье, то ли малокровие мозга порождало их. После двух бессонных ночей, пока настойчиво и порою почти на ощупь отыскивал свою ошибку, организм противился сну. Разбеги этих образов лежали где-то раньше, и вдруг начинало верить, что о Петрыгине, например, он догадывался давно; всегда, даже в самом ничтожном противоречии сочился из Петра Евграфовича какой-то ядовитый гормон, достаточный, чтобы и эпохальные граниты разесть. Только при том ироническом отношении к понятию классовой борьбы, которое в целом отличало всю прослойку Скутаревского, даже история с сибирской станцией не пробудила его. Теперь же, наедине с собой и в

свете краткого Женина известия, в особом значении представляли и мохнатая личность Штруфа, и вселенские махинации шурина. Он вспомнил, как однажды при отъезде за границу Петр Евграфович сунул ему письмо в карман и равнодушно попросил бросить его в ящик в Берлине; фамилия адресата была русская. Он вспомнил и покраснел. А темная их игра в связи с событиями его личной жизни!.. в конце концов его, заболевшего нежностью к этой девчонке, они обыгрывали, как воры подгулявшего фрайера, опоенного марафетом. И тут почему-то всплывал в памяти портрет чужой мамы, залитый сидро и загаженный селедочным объедком. Тогда, дразнясь и негодуя, он задавал себе вопрос, как повел бы он себя, если бы еще раньше, до петрыгинского ареста, обобщил в целое уйму мелких, мимолетных улик. Молчал бы он, деля ответственность за дело, которое сам почитал омерзительным, или...

...он даже видел этого следователя. У него был крупный, чувственный нос и чернявые усики под ним, точно подмазанные сажей; допустимо, что он был тенью того, которого встретил на лестнице у Арсения в день несчастья. Должно быть, понимал и следователь, кто именно сидит перед ним, и потому держался необычного тона вынужденной и рассеянной вежливости. Он был весь подобранный, без задоринки, и, хотя сидел за глухим письменным бюро, отчетливо видел его синие бриджи и полулаковые, в обтяжку, сапоги. Разговор происходил скорее целыми понятиями, чем словами, и потому хрупкую ткань этого никогда не состоявшегося разговора невозможно было переложить в слишком огрубленные слова.

«Итак... вы были уверены в успехе вашего эксперимента?»

«Да, это легко, но мы не умеем».

«Вы знали, какое значение это может иметь для народного хозяйства?»

«В гораздо большей степени, чем можете предположить даже вы».

«Но опыт, оправданный в ряде предварительных испытаний, все-таки не удался?»

«Да. По уверению Ходакова, на контрольной установке развился некоторый крутящий момент, но при той

мощности, какую мы имели на отправительной станции, ходаковское наблюдение... вернее, результат его я считаю недостаточным».

Следовал как бы провал не то памяти, не то воображения, но зато дальше все шло с полной ясностью:

«Итак, регистрирующих приборов не было. А Петрыгин знал схему вашего аппарата?»

«Не допускаю. В тетрадке, которая пропадала, заключался первый, отвергнутый впоследствии вариант. Выводы и формулы я записываю вкратце: у меня хорошая память».

«Но крупный специалист сумел бы догадаться о путях, которыми вы шли?»

«Но они же были неверны!»

«Это безразлично».

«В таком случае — да».

Опять шел перерыв, и связь нарушалась. Воображаемая комната с глухими дверьми, коврик в углу, закапанная чернилами бюварная бумага — все растворялось в кислотном свете луны. В поле зрения оставались только чужие пальцы с выпуклыми, коротко остриженными ногтями; они бесшумно барабанили в подоконник, и потом в развитие всего этого возникал завершающий вопрос, уже издавека, и этот голос следователя — был его собственный голос:

«Но почему все-таки опыт окончился безуспешно?»

Потом таяла и рука, и тот же равномерный мутный раствор луны заливал мысленное пространство. Жизнь, придававшая движение ему, была такова: кошка, крадучись, пересекла лунное поле за окном, — она была худее своей тени. У черной опушки парка она сделала крутой прыжок, и тотчас же тишину пронзил ее ранящий вопль. Ей ответил другой, точно такой же; ее взъерошенный любовник был размером с песка. Тени сблизились, отвернулся. И в ту же самую минуту вошла Женя; старательно, всем телом, она притворила за собой дверь. Он рассердился бы, если бы она неоднократно не предварила возможности своего прихода букетиком подснежников; ей приходилось долго блуждать за ними по парку, и в то утро он нашел у своей кровати всего четыре цветка в скоробленном кленовом листе. Тот же, что и тогда, на

аллее, полной солнечных пятен и ручейков, был смысл ее появления, оттого и диалог их остался тем же самым:

— Вы ко мне?

— Вот, пришла. Не спится.

Он усмехнулся зло:

— Что ж, жалко стало?..

— Нет, просто так. — И в сторону глядели ее чуть озабоченные таким приемом глаза.

— Ну, садитесь, и давайте говорить. — Они сели друг против друга, и потому, что это очень походило на прием у врача, спросил басовито, приглаживая усы: — На что жалуетесь?

Она засмеялась, и смех звучал подбито; ей не понравилась его шутка.

— Расскажите... что вы хотели и что вам не удалось.

— Я не умею.

Она все узнала; уже упаковывали наиболее ценные приборы, и то, что оставалось посреди бывшего машинного зала, более походило на груду металлического трупья после Пантагрюэлева побоища. Именно жалость и неясное сознание своей вины заставляли ее преувеличивать степень поражения Скутаревского; даже и теперь ценность некоторых его побочных достижений никто не посмел бы подвергать сомнениям. Но ей потребовалось собрать все скудное женское великодушие, чтоб притащить ему в каморку свой простенький, розовый еще, провинциальный веночек победы. Во всяком случае, отдать себя ей было легче, чем дать веру в конечное осуществление его замыслов. И теперь, когда думала о нем, он представлял в ее воображении не прежним, командармом электронов, видным за тысячи километров, а одиноким сгорбленным человеком, который посреди страшной ночи держит на ладони светляка с мучительным бессилием разгадать, почему это?

Скутаревский смотрел на нее пристально и строго; она заволновалась. Следовало немедленно и любым образом объяснить свой приход сюда.

— Мне кажется... вы можете считать, что я люблю вас. — И сидела, вся дрожа и покорно сложив руки на коленях.

Он продолжал молчать, но тень какой-то беспощадной насмешливости прошла в его лице. Она повторила еще тревожнее:

— Если вы хотите... то живите со мной!

Сергей Андреич отвел глаза к окну. Было тихо. Глухая ночь благоприятствовала преступлениям, и даже Джелладалеев не узнал бы ни о чем. Непроизвольная гримаска скользнула в нем и замерла где-то в пальцах.

— Вы дитенок, Женя, — засмеялся он, чуть отодвигаясь в сторону. — И не грызите ногтей... знаете, я не создан для лунных происшествий. Я старый, равнодушный человек, и никаким стихотворением не прошибить меня. — Он задержался, сцарапывая какое-то пятнышко с колена. — Поэзию я всегда считал забавой лживых, бородатых младенцев. Детство мое не благоухало. В жизни я шел слепой, — так живут лошади в шахтах. Я работал, изобретал всякие штучки, но жизнь я прожил наедине. Жена мне не мешала в этом. Сын? Это даже не оплошность, это неряшливость... всякий отец, черт возьми, имеет право на такое жестокое слово! Я холостяк-с, я даже цветов гнушался, и надо признать, вы родились из меня в тот самый миг, когда во мне умер я прежний. Знаете, новые идеи никогда не поселяются на падали: они как полевые цветы...

Ее трясло раскаянье; она сказала сломанным голосом:

— Я не понимаю, что вы говорите...

Его нижняя губа брезгливо выпятилась:

— Проще — значит площе. Я не имею права на вас, дорогой товарищ. Будучи нелюдимым, я прожил одиноко. Такое состояние продлится, по-видимому, и впредь. Наверно, я умру один. Меня похоронит милиция. Гроб оклеят красненькими обоями. Черимов, если ухитрится сбежать с заседания, скажет благоразумное слово о попутчике, которому приспичило вылезать на таком неказистом полустанке. Вы застудите ноги на похоронах и получите насморк... Я приказываю вам купить новые калоши! — И устремил на нее длинный палец. — Фагот мой полгода провисит в комиссионном магазине, потом его уронят...

— Это неправда, неправда!.. — закричала она, хватая его руку.

— Вот, зная, и все, — заключил он, нарочно исковеркав слово. — Мой вам совет, товарищ, сойдите с кем-нибудь еще.

Некоторое время она еще сидела, склоняясь на сторону со стула. Так сидят убитые — перед фотоаппаратом судебного врача. Спазма жгла ей горло. Вдруг, как бы вспомнив что-то, она быстро поднялась и пошла в глубь комнаты, но внезапно повернулась и ринулась в дверь. Лестница в верхний этаж, где ей отвели кровать и угол, приходилась над самой его койкой: ее ступени служили потолком в этой тесной, гробовой нише. Шаги звучали, срываясь, через ступеньку, похожие на всхлипы; они были такие, точно комьями кидали на него плотную, могильную глину. И верно, маленький осколок старой, рыжей шпаклевки свалился ему на колено. Он лег поверх одеяла и лежал, следя, как ореольно светится в луне его ботинок. Выпихнуть Женю из комнаты оказалось много легче, чем из памяти, но он-то знал, что поступил правильно. И он не того боялся, что завтра же целая сотня лицемерных и ревнивых глоток гаркнет хором: «Вот он, глядите, палач, который взял юность Жени!» — о том, что произошло в его отсутствие между Женей и Черимовым, он догадался сразу! — он просто страшился увидеть себя еще раз, уже иного, в ее расширенных, обезумевших зрачках.

Вдруг он поднялся и огрызком карандаша на форзацном листке книжки чертил свои знаки, тангенсы, логарифмы и греческие буквы, и опять распяленным рыбьим ртом зияло в знаменателе то же самое Q. Ошибка его диссертации на вечность, которую мысленно писал столько лет, таилась в самом начале ее... Луна передвинула свои тени и пятна. Совсем рядом, над головой почти, раздался страдальческий крик кота. Тогда, облизав иссохшие губы, Сергей Андреич комком прикорнул на койке и на этот раз заснул сразу, крепко, как у окопа оставшийся неубитым солдат.

## Глава 28

Экспедиция вернулась в последних числах апреля обычным пассажирским поездом и уже без тени той таинственной торжественности, которою сопровождался

отъезд. Не оправдавшая себя аппаратура, багаж бездельников, ползла где-то малой скоростью, потому что в самом разгаре была посевная, и по дорогам сплошь двигались сельскохозяйственные грузы, тракторы и зерно. На вокзале приезжих встретил Ханшин и, точно так же как и Женя несколько дней назад, ни словом не обмолвился о неудаче, уже прошумевшей на Москве. Стараясь не глядеть в переутомленное и более чем когда-либо высокомерное лицо хозяина, он шел чуть позади: жердистые ноги его слегка пришаркивали. Казалось, он стал еще длиннее, потому что шубу уже сменил на пальто — ветхое, многократно проштопанное неумелой рукой жены и слишком уж, не по-летнему даже, короткое пальто. Почему-то все глядели на него, на его проглянцевавшую от времени шляпу, на треснувшие по сгибам, но до блеска отчищенные ботинки: в таком стиле одеваются благородные нищие за границей. И только потом замечали Скутаревского; он шел с поднятой головой, глядя прямо перед собою и, может быть, не видя ничего: так отправляются в изгнание. Значительно отстав, мелко пришептывала подошвами смущенная его свита. Кстати, Жени не было среди них; она уехала на сутки раньше вместе с Джелладалеевым... Шофер, все тот же Алексей Митрофаныч, со сконфуженной вежливостью приподнял фуражку, но, сказать правду, требовалось много усилий и тренировки, чтобы изобразить участливость на таком неподходящем инструменте, каким являлась беспечная его, удалая рожа.

— Ну, как у вас тут, в пучинах научной мысли? — громко спросил Сергей Андреич, шумно влезая в машину, и, когда Ханшин попытался подать ему единственный и тяжелый чемодан его, прибавил чопорно и резко: — Не утруждайтесь, благодарю вас, — и сам одной рукой втянул свой багаж в кабинку.

— Но я же моложе вас! — с упреком сказал Ханшин.

— Тем более опрометчиво тратить свою молодость на такие безделицы.

Все три его реплики били по Ханшину, ч неизвестно еще, которая больнее. Ханшин покраснел, стал сморкаться, и даже шофер понял, что это только для отвода глаз. Усаживались, не произнося ни слова. Часть сотрудников

поехала на трамвае. В целлулоидных окошках, забрызганных дождем, прыгала Москва. Она была неузнаваема сегодня. Впервые, может быть, за два века так основательно перекраивали щербатую московскую мостовую, сдирали с нее грубую булыжную дерюгу, свидетельницу и летопись первых мятежей и поражений, всегда напоминавшую о мелком, сыпучем, слегка захлебывающемся цокоте казацких эскадронов по ней. Улицы сплошь были разворочены под брусчатку, — Алексей Митрофаныч ехал переулками.

— Большевики-то! Матушку-то, Москву-то... — усмехнулся Сергей Андреич.

Кажется, Ханшин понял это как приглашение к разговору.

— О делах института переговорим сейчас или позже? — сдержанно спросил он.

— Дайте мне хоть умыться с дороги! — бросил и снова обернулся к окну.

Беспорядочная московская толчея происходила в окне. Хлебная очередь, верблюжий горб напоминающая очертаньями своими, жалась от непогоды к стене. Лужи рябились среди свежих, только вчера насыпанных холмов. Машину качало на них, как шлюпку в бурю, — Алексей Митрофаныч чертыхался и скорбно, заедино с рессорами, вздыхал. Общей перестройки не миновали и переулки; их ковыряли ломами, дырявили автоматическими сверлами, их покрыли траншеями для бетонных труб новых коммунальных сооружений. Чернее ила, плотнее камня был песок под столицей; и еще, — даже профильтрованная сквозь века, — сильно пахла древняя московская история. Иногда обломками гнилого сруба, кубышкой бородатого скареда или грудой костей и черепов проступала она здесь, и людям некогда было обменяться по поводу их молчанием или тем шекспировским вопросом, каким принято встречать такие находки. Но как раз одну такую желтую костяную чашу, края которой обгрызло время, держал в руке землекоп и улыбался. Волосы взмокли на нем — от пота ли, дождя ли; он устал, и наделил его мыслью: измена, разлука или верность сводила с ума когда-то эту голову?



— Участие Ивана Петровича в петрыгинской банде доказано? — скороговоркой осведомился Сергей Андреич.

— Полностью.

— Черимов здесь?

— Он на два дня уехал в Ленинград.

— Большую премию получаете?

— Я отказался от нее.

Открытой враждебностью пахнуло от честной ханшинской откровенности. Скутаревский умолк, потому что все сильнее, по мере приближения к дому, становилось ощущение загнанности и одиночества. Судьба его мнилась в образе серого сараистого здания, каким виделся ему уже сквозь изморось главный корпус института. Машина содрогалась на деревянном настиле, последнем остатке московского средневековья; грязной жижей так и стреляло из-под лохматых и полусгнивших пластин. Он вышел первым и подумал, что небо изгнания — всегда пасмурное небо. Мокрый старик в громадном угловатом брезенте почтительно поклонился директору, прибывшему из командировки. Он кланялся так низко, точно прощался или в землю хотел закопать знающие свои глаза.

— Здравствуйте, сторож, — хрипло и важно произнес, кося одним глазом в сконфуженное лицо старика. — Ну, что нового?

Была подозрительна неуместная болтливость сторожа:

— В порядке-с. Вот, улицу начали мостить... А еще вчераш произошло, ходил весь день, а в валенке мокро. Думаю, с чего бысь промокнуть? Вечером, судите сами, снял-с, а там, оказывается, мышь заполз. Уж так надо мной смеялись...

Дождь заметно усилился, барабаня по брезенту старика, и в лицо Скутаревскому летели мелкие отраженные брызги. Он продолжал стоять и слушать о необыкновенных подробностях мышьиной гибели, стараясь вникнуть в оттенки чужого, насильственного веселья. И рядом, сутулясь и разглядывая пузыри на лужах, молчаливо мокнул Ханшин.

— Да, это редкостный случай! — сказал наконец Сергей Андреич и медленно пошел вперед, чуть прихрамывая, потому что отсидел ногу за длинный путь от одной окраины к другой.

...и вот дверь закрылась. Оставшись наконец один, он разделся и придирчивым оком осмотрел свою каморку. Неприметной пленкой всюду налегла пыль. Раскрытая книга свешивалась с края стола. Он заглянул в нее; то была брошюра о высоких частотах того самого английского коллеги, с которым изредка, в год по письму, но зато написанному с латинской монументальностью, переписывался Сергей Андреич; это его сигары, через посредство стольких рук, получил наконец безвестный ударник Федор Бутылкин... На столе, он только тут приметил, остался след чьей-то маленькой руки: женщина стояла тут, опершись в край стола. Слишком мало было вероятно, чтоб сюда, понюхать место его нового несчастья, приходила в его отсутствие жена. Тогда он допустил неприятную и бездоказательную догадку: Женя! Не сходилось только в мелочах: кажется, девушка не знала английского языка, и еще меньше тот предмет, которому посвящалось содержание книги. Значит, она приходила проверять его, значит... Он позвал гневно: «Женя!» Ничто не отозвалось ему ни снаружи, ни изнутри; девственное это слово уже не доставляло ему ни радости, ни покоя, как будто иссякла его магическая сила.

...висел фагот. Он сдул с него пыль и украдкой от самого себя приложил к губам. Звук был мерзкий, и даже простенький Джемми не удавался пальцам, недвижимым, как мертвецы. Клапаны немотно и немощно жевали воздух, точно умер маленький злой человечек, населявший волшебную эту трубу. Скутаревского спугнул затаенный стук в дверь: пришел бухгалтер подписывать чеки.

— Ну, наконец-то! — в радости завопил он и притирал редкую волосяную паутину, облеплявшую его затылок. — И между прочим, совсем лето!

— А по-моему, дождь идет, — откликнулся, перебирая цветные бумажки. — Что это?

— А тут расплатная ведомость по перестройке. А это ассигновки заводу... мы задолжали, потом я заболел, а Николай Семенович тем временем уехали. Знаете, без хозяина и железо-то вдвое ржавеет... Как съездилось?

— Мерси, недурно... — И с отвращением смотрел на желтые, верткие, прокуренные пальцы, подсовывавшие ему бумагу. — Ну, что вы задумали?

Тотчас, услужливый и востренький, обдергивая тощий москвошвеевский пиджачок, бухгалтер засуетился, попросил **особого** слова, и уже по одному виду его, происходившему от секретности и вдохновения, Сергей Андреич понял, что тот прибежал с доносом. Был он отроду незадачлив, бездарен и убогую карьерку свою мастерил как умел.

— Сядьте, — брезгливо сказал Сергей Андреич и даже указал пальцем, — вот тут сядьте...

Так и оказалось: сбирались тучки, кое-кто уже метил на высокое скутаревское место. «Знаете, Сергей Андреич, травка на порубях и дубки обгоняет!» Бухгалтер чуть не плакал от задумчивости; по его словам, какие-то ватаги недоучившихся молодых людей действовали сообща, ходили дюжинами, кидались под ноги Скутаревскому, со спины били, выступали только хором и с лихим доносным удальством миражили в глазах у высокого начальства. Они, на великое размахнувшись, якобы и Арсения Сергеевича вспомнили, и Петрыгина приплели...

— Дела-то какие, Сергей Андреич. Уж они пролетарскую физику выдумали и под этим соусом Ньютона прорабатывают. Галилея на прошлой неделе так разносили, что и на суде ватиканском так его, поди, не чистили!

...объяснили неудачу преступным замыслом, Женю мазали дегтем и, наконец, отыскали двух отступников в стенах самого института, которые, хоть и под присягой, подтвердили бы небывалый зажим самокритики со стороны директора, распутство совершенно римского масштаба и вдобавок застарелый механистический уклон. По институту ползли темные слушки, будто по этому поводу уже сдана в газеты разносная статья и будто тотчас по напечатании ее Скутаревского снимут с руководства институтом. Мотивировалось это, однако, вовсе не тем, что теперь, в подмоченном виде, он уже не годился стоять во главе научной армии, а якобы необходимостью сохранить время Сергея Андреича целиком для научной работы... Скутаревскому становилось жарко и противно; изредка взглядывая на пляшущий рот бухгалтера, он молча рисовал какие-то равнобедренные треугольники по пыльной глади стола.

— А не врите? — бледными губами спросил он вдруг, и лицо доносчика стало сразу такое, точно ему пообещали расстрел. — Ну ладно, давайте... что еще там у вас?.. Деньги в Харьков перевели?

Посещение все же вернуло его к действительности. Тоненькая бухгалтерова ложь кое-где припахивала правдой. Еще минуту по его уходе он сидел, как пришитый к месту, и вдруг распрямился. Газетой, смоченной из чайника, он смахнул пыль, и в мелком глянце подоконника сверкнула рассеянная предмайская просинь: погода разгуливалась. Потом он мылил щеки и выскребал рыжее мочало, нарощее на них. Ага, его обходили! Он вымылся и вышвырнул из шкафа другой костюм, поновее; пухлая белая плесень на вздувшемся кармане привлекла его внимание. Это был тот самый пиджак, в котором он навещал Арсения перед путешествием сына к Гарасе. Мандарины сгнили, и коричневатая жижа в тонком и длинном пушке — вот все, что осталось от сына! Вывернув карман наизнанку, он выскребал ее ножом оттуда, все еще припахивавшую апельсиновой коркой;годились остатки теплой воды от бритья... Заодно, сразу вступая в разгон запущенных дел, он сделал в этот день первый обход своего хозяйства.

Опять он шел, — бегло, как страницы, листал лаборатории. Он поднимался по лестницам, спускался в просторные, облицованные кафелем стойла машин и всюду видел одно: люди ходили как приторможенные. Как и прежде, почтительный шелест катился перед ним, но провожали его шепотком и перемигиваньем. Искали знака обреченности, признака скорого падения, которым, впрочем, заканчивает всякая звезда. Все это находили в той сонливой величавости, какая дается только глубоким старикам. За весь свой путь не отдал ни одного распоряженья. Дверь в свой кабинет он открыл рывком; в этой комнате, застланной линолеумом и с круглым башенным окном посреди, родились его беспримерная гордыня и жажда соревнования с потомками, которые вот он ездил хоронить в собственных обломках своих. Все было по-прежнему, и Ленин из дубовой рамы шурился на судорожное хождение Скутаревского. Женя сидела на том же месте, где он оставил ее перед отъездом, в белой блузке

и над кипой спешных бумаг: ничего не произошло. При его появлении она поднялась, и был безмерно понятен ей его сухой, начальственный кивок.

— На три часа разговор с Ленинградом, — приказал старик. Рука его бесцельно барабанила в гладкое, холодное стекло. — Завтра же с утра доклад Ханшина. Делегацию американских шкрабов отменить. Я не Папа Римский, и дом этот не музей наглядных пособий. Так и скажите им... вы, кажется, знаете по-английски?

— Я учусь, — ничего не подозревая, ответила Женя.

— ...Черимов?

— Он приезжает завтра... От него получена телеграмма о полном согласовании плана параллельной работы с ленинградским филиалом. Тут накопилась корреспонденция... — И подала целый ворох писем, проспектов, журналов и брошюр.

Так они и остались лежать нераспечатанными. Профессор писал, марая листы, кряхтя и бормоча себе под нос: по-видимому, удавался ему стиль бумаги, которую сочинял. С жадностью губки она вбирала в себя отравную скверну его тогдашних настроений.

— ...и потом позвоните Вилькинду и скажите, что я не согласен с приказом номер двести четыре. Могут выметать меня железной метлой!

— Слушаю.

Буря продолжалась; выражения менялись в лице Скutareвского — так по тенистой болотной черноте бегут прорвавшиеся сквозь грозное облако лучи.

— ...калоши купили наконец?

Она опять приподнялась; озороватая ласковость его плохо вязалась с образом того, кто обидел ее накануне.

— В кооперативе не было моего номера.

— У вас большая нога?

— Нет, но я не ношу туфель на французском каблуке.

— Великолепно-с!

И опять писал, щурясь, причмокивая, покручивая бородку так, словно совсем собирался вывинтить ее с места.

Утром приехал Черимов, и Сергей Андреич вручил ему свое рукоделье, когда тот забежал к нему поздороваться. Посланье и по почте с успехом могло достигнуть

адресата, высокое наименование которого заставляло быть кратким и осмотрительным. Черимов быстро пробежал его глазами и, досадливо крикнув, с самым покорным видом присел на стол. Он очень торопился; то был бешеный день партийца, ответственного за громадное предприятие, но это, ребяческое по существу, обстоятельство заставило его временно отбросить все другие дела. Литературное творчество Скутаревского всегда отличалось скупостью; за два часа только восемь гневных и горьких строк изошло из него. Заявление Сергея Андреича заключало в себе просьбу об отставке.

— В чем же дело, Сергей Андреич? — И сидел, смиренно сложив руки на коленях.

— Спешу, пока не выгнали!

Черимов грустно потупился, чувство юмора редко покидало его. Вместе с тем походил на обожженного и завопил бы даже при самом осторожном прикосновении. С терпеливым и задумчивым видом Черимов разорвал конверт и наискосок, одну за другой, отрывал узкие ленточки фиолетовой подложки.

— ...так чего же вы молчите? Я надеюсь, пенсию-то мне дадут! Домов я не нажил, брильянтов не накопил. Гоните меня, гоните, пролетарская физика!.. И уж если в профессора не гожусь, так в сторожах сойду. Уж во всяком случае исправнее буду этого вашего Зайкина, который ногами мышшей давит в валенках!

Из одной полоски Черимов успел свернуть тоненькую трубочку, наподобие лучинки, а из кармана извлек костяной мундштучок.

— Да-с! — наступал Сергей Андреич. — На вашем месте я написал бы донос на меня. Одним ударом можете соорудить карьерку... кстати, это практикуется! Опыт-то все-таки не удался, а почему? А может, я нарочно?.. А может, я не желаю давать вам в руки это? Иван Петровича помните? — И зловеще подмигнул округлившимся глазком.

Трубочкой Черимов чистил мундштучок и делал это с демонстративной почти откровенностью. В сущности, он был беззащитен в эту минуту. Конверта как раз хватило, чтобы вычистить беззатейную костяную штучку до конца. С видимым удовлетворением он положил ее в карман.

— А заодно с институтом берите и Женю: наши с вами карты ясные. Вам пора семью, уверяю вас. Сын будет, удовольствие будет... себя в нем, как в зеркале, станете узнавать. Ну вот, я кричу, а он смеется! — И растерянно развел руками.

Черимов и вправду не мог сдержать усмешку.

— Вот, курить из-за вас начал, Сергей Андрейч. Отравляюсь никотином, юность свою укорачиваю...

— Так, пошучиваете. А енисейскую-то линию придется тянуть на проводах.

— Но мы же верим вам безусловно, Сергей Андрейч. Мы довольны уже тем, чего вы добились. И мы уверены, что вы станете продолжать вашу работу.

Скутаревский снова взорвался, но, кажется, это были уже остатки:

— Но я не могу сам! Я беден, а мои машины стоят денег. Я не имею личных средств. Я гол, молодой человек, и теперь я уже не дал бы вам пары штанов...

— Не к Аэгу же вам обращаться за субсидией. Да заграничные фирмы вряд ли и дадут на науку столько, сколько сможем мы даже в конце этой пятилетки. Слушайте, я говорил уже кое с кем. И потом, я устрою вам свидание с...

— Чушь!.. — И весь в пятнах отошел к окну. — Брать больше денег я не смею. Я тоже знаю, какие это деньги, молодой человек. А потом меня, как Ньютона, четвертовать станут!.. Но я еще живой, я еще сплю пока не в урне, а в кровати. Я не дамся на себя ярлычки наклеивать. Крови, что ль, они моей хотят?.. так ведь стар я, и кровь моя не сытная. К черту, в сторожа! — Он передохнул, что-то замкнулось у него в груди; потом он сел, легкое удушье не прекращалось, — это было только начало будущей его астмы. — Имейте в виду, что и впредь я буду ставить это центральной проблемой института. И я гайки в этом доме еще потуже подкручу.

— Ну вот и правильно! — обрадовался было Черимов и, взглянув на часы, стал слегка потягивать на себя дверь. — Вот и действуйте, Сергей Андрейч...

Тот не унимался:

— Разумеется, мы задолжали... и вы думаете, что вы с Ханшиным расплатились? Чепуха-с, молодой человек,

фанера-с! В социализм идут не такими шагами... уже если идти. Социализм — это человек во весь рост, это человек, уже навсегда вставший с четверенек... и только там гордо будет звучать это слово — человек! А вы элементы Лекланше изобрели, чересчур жизнерадостный вы мой товарищ академик!

Как бы махнув рукой на просроченное заседание, Черимов властно и дружески притянул к себе учителя.

— Успокойтесь вы, добрый и взрывчатый мужик, — сказал он тихо и с такой пронзительностью, что обмякла разом в Скутаревском вся его обида. — Лезете вы на рожон, замахиваетесь на меня, но я же кроткий человек, и обидеть меня легко! — И опять смеялся не выпуская плененной его руки. — Я знаю, вам больно сегодня. Но даже если и не вы, так другой двинет эту несбыточную штуку вперед.

— К черту, я никому не намерен переуступать своих прав!

«Как медленно растут в старости, и с каким страданием это сопряжено, — думал Черимов, — и то, что в молодости легко и просто, какой свирепой трагедией развертывается в старости!» Он додумывал уже вслух:

— Занятно, что, если бы мы сегодня победили окончательно, вы были бы совсем наш, но догнать нас было бы вам во сто крат труднее. Догоняйте же, Сергей Андреич, догоняйте пока...

Их разговор затянулся, и даже легкий оттенок задушевности, непривычный обоим, появился в нем. Не подозревавший в себе таких талантов, Черимов только диву на себя давался. Ханшин дважды подходил к кабинету и безуспешно дергал запертую дверь... Заодно уже, пользуясь обстоятельствами, Черимов попробовал уговорить старика выступить на заводском собрании: в текущем месяце завод перезаключал свой шефский договор с институтом. Над этой новой формой революционного сотрудничества Сергей Андреич всегда, хоть и благодушно, посмеивался.

— Лекцию им, что ли, читать? Так ведь не поймут.

— Не то, — подталкивал Черимов. — Это только предмайское общезаводское собрание ударников. И не лекция им нужна, а слово ваше, появление ваше. Вот вы и расскажите им про семимильные шаги в социализм.



— Не умею, я подумаю... я ругаться с ними буду на счет того трансформатора! — сообразил он вдруг, высвобождая руку. — Кстати, чуть не забыл, — он сделал вид, будто не замечает, как заливаает краска черимовские щеки, — Женя заявила мне вчера, что уходит. Ей предлагают койку и харч в вузовском общежитии...

— Да, я слышал, — сказал Черимов, кутаясь в облако табачного дыма.

— Ей надо прежде всего учиться. А институт дал ей слишком много нагрузок... Я не возражаю против ее ухода. Распорядитесь о моем новом секретаре!

— Хорошо, — сказал Черимов.

## Глава 29

И вот через два дня она пришла к Скутаревскому проститься. Она совсем не видела его эти дни. Как когда-то в молодости, он забирался теперь на ночь в лабораторию, теперь уже не один, а с тою сплоченной группой учеников, которых собрала его увядающая слава и которые остались верными ему. В этот день, ввиду предстоящего майского праздника, занятия прекратились с полудня, и в здании института стояла запустелая тишина. Два исполинских иллюминационных транспаранта с лозунгами пятилетки зажглись на соседнем корпусе, и, когда Женя шла к Сергею Андреичу, всюду, где она проходила, на столах, стенах и приборах светился мерцающий, размноженный никелированными поверхностями и стеклом багрец. У малого высоковольтного зала, откуда пересекающимися треугольниками выступала световая кулиса, она постучала. Ей навстречу вышел тот хромой ассистент, который заместил собою Ивана Петровича. Он мельком недоброжелательно взглянул на нее и ухромал вспать.

— Мне Сергея Андреича на минутку, — вдогонку ему сказала Женя.

Тот вышел через секунду в жилете, без воротничка и с нетерпением, которое заранее обрекало на неудачу задуманный ею разговор.

— Я пришла поблагодарить. — Она смутилась его гримасы, выразившей степень раздражения за прерванную

ради пустяков работу. — Федор Андреич звонил насчет машины. Он едет сегодня...

— Отлично. Дальше!

— Все бумаги я сложила на столе в углу. Сверху два немецких письма требуют срочного ответа... это по поводу аппаратуры, которую мы заказывали.

И опять Сергей Андреич с видом учтливового терпения переступал с ноги на ногу.

— Я ни в чем не виновата перед вами. Я так хотела помочь вам...

Он топнул ногой:

— Вам непременно нужно, чтобы я подтвердил вам это?.. или вы думаете, что ничего не случилось бы, если бы новым козырем в игре не упали вы? Вы мой миф, Женя, миф, попавший в машину. Вы пришли, и вот вы уйдете!

— Но мне жалко уходить отсюда...

— Вам предоставляется право вернуться сюда через десять лет, как вернулся Черимов. Учитесь, ищите в жизни свою семерку... Меня вы не застанете, наверно, но будет кто-нибудь другой. Все благополучно. Я тороплюсь... Возьмите машину, если надо!

— Я на трамвае, у меня мало вещей...

Он ушел, оставив ее в темноте и на полуслове. Хромой пробежал мимо нее, падающий и быстрый, как гном, таща какой-то размером со свою голову стеклянный шар. Женя все стояла, потом медленно пошла, и сразу все на ее пути, чему она по-детски еще совсем недавно сообщала души и раздавала имена, теперь приобрело холодную машинную величественность. Она стала чужой здесь, она ошибалась всегда: здесь никогда не было мечтанного сада, не было и сохлых хотя бы деревьев здесь; от века тут была пустыня, и на песке ее, среди математических письмен, начертанных ветром, лежали и зрели моторы, лысые, вычурной формы колбы и какие-то механические уроды — рабы, которых пошлет на одоление природы освобожденный человек. Она шла, изредка останавливаясь и слушая эхо своих шагов; она шла, и никто не догонял ее, чтоб вернуть.

Только через полчаса Сергей Андреич заехал за братом, и похоже было на то, что время свое он планирует не

по предстоящему заседанию, на котором должен был выступать, а по отходу поезда, на котором к Кунаеву уезжал Федор Андреич. С чемоданом и рюкзаком за спиной тот ждал его на тротуаре, у фонаря.

— Садись, эй, странствующий артист! — закричал Сергей Андреич, распахивая дверцу. — Где же твои мольберты, подрамники?..

— Кунаев дает все... он, чудака, потребовал, чтобы я ехал к нему почти голый!

Машину затирало толпой. Уже с вечера беспорядочным пока гуляньем начинался предстоящий праздник. Темной угловатой вереницей текла толпа. Алый жар струился вниз с электрических щитов; их было много, и целое багровое половодье поднималось в небе над центральной частью столицы. И не свежим воздухом, идущим от прозябающих за городом полей, ознобляло, а тем, пожалуй, волненьем, которое внушает всякая монолитно движущаяся, объединенная одним очень простым словом толпа. Было глуховато и торжественно; просунув руку, отстегнул оконную слюду, и смех, смешанный с задиристым треньканьем струн, стал влетать в почти непрерывное гуденье автомобиля.

— Сюда не хватает оркестров и красок, которые еще надо изобрести. Со временем это выльется в форму небывалого карнавала, и... это новое просвещенное язычество, идущее на землю, я благославляю, брат! — И Федор покосился на Сергея, но тот слушал внимательно. — Знаешь, я почти вижу эти гибкие, цветные ленты народа, который пляшет, веселится и поет. Май — это день обновления и свободы, это праздник роста и сева, это торжество молодости и неукротимой веры в свои силы... На одной из кунаевских стен я сделаю это шествие новой весны!

Скутаревский иронически покачал головой:

— Что с тобой сегодня?

— Да, волнуюсь. Это очень трудно, начинать сначала... Я боюсь...

— Кунаева?

— Нет, себя. Я не хочу сделать мало, а много — я не вижу для этого ясности в самом себе. Знаешь, всегда художник пользовался полуфабрикатом, который ему по-

ставляла заслуженная, испытанная фирма: жизнь. Сегодня он стоит перед взорванными и разрытыми карьерами, которые еще дымятся. Его сырье сегодня — первородная руда; надо долго сушить ее, сортировать, сплавлять, чтобы сделать ее послушной руке ваятеля. Вот почему, Сергей, даже малое неуменье сегодня звучит как преступное косноязычие.

— Ага, душа, значит, отступает перед разумом. Что ж, твори... Только без кипарисов, без позолоты, — одуванчиков, и честности побольше!

Они стояли друг против друга на перроне, как много лет назад, но оба уже с седыми висками, старики, и прежняя тема их повторялась почти дословно. Сергей Андреевич взглянул на часы; заседание на заводе длилось всего только час, и поезд Федора отходил через две минуты.

— Итак, что же ты будешь делать у Кунаева?

— Не знаю. В договоре стоят — полдень, стройка, баррикада, шествие, весна, то есть все те эпосные слова, которыми класс начинает свою историю. Но внутри себя я вижу только массу пересекающихся линий, из которых одни идут вверх, вырастая за пределы моих картонов, иные бьются на месте, затухая в агонии, иные идут вниз, чтобы уступить место новым, которым дано просечь великие пространства впереди...

Поезд пошел быстрее, шагнул вперед:

— За тобой долг: сделай мне воспоминание, о котором я просил тебя!

— Да... — и махнул рукой.

Истратить вечер так, чтобы не осталось вовсе времени для выступления на заводе, не удавалось. Опоздать туда оказывалось еще труднее, чем убежать от самого себя. Судя по тревожному, все более усиливающемуся ощущению, заседание там, куда он такими окольными зигзагами направлялся, все еще продолжалось. Но, даже давая адрес шоферу, он мысленно приказывал ему не торопиться, и тот понимал его полунамеки. И правда, ломило в затылке после целого дня работы, целительнее кавказских полдней была ему эта фантастическая первомайская ночь. И опять на судорогу походил маршрут его ночной поездки. Он заехал к зданию, куда сотни раз вбегал рыжим, неистовым студентом; он побывал в переул-

ке, в котором, как в тюрьме, высидел значительную часть жизни; он сделал десяток километров по шоссе, по которому, может быть столетие назад, вез Женю, — и снова оказался все на той же уличной магистрали, о которой не забывал ни на мгновенье.

Снова они ехали по переулкам, среди скудных, только вчерашней посадки, скверов. Прохладная тишина, вымытая дождичками накануне, казалась прозрачной, и в ней, как бы потягиваясь, деревья расправляли свои спутанные, уже тяжелеющие сучья. Потоки электрических огней, свитых в гирлянды, гербы и звезды, мелькали время от времени в проемах улиц, и опять лиловатая мгла, обступавшая машину, расширяла пределы воображения. Этой короткой ночи, неотличимой от многих таких же, она придавала почти эпическое звучание. Казалось, самая планета ускоряла свое вращенье, и центробежная сила выталкивала из нее цветы, алые знамена, зелень и неутомонную, певчую человеческую породу.

— Езжайте скорей! — сказал Сергей Андреич.

Заводские ворота, наряженные в кумач, светились. И хотя десятки раз Сергей Андреич проходил в них, сегодня труднее обычного было перейти границу заводской территории. Задрапированная тканью, убранная цветами лестница повела его наверх. Зал был полон, и часть рабочих теснилась у дверей.

— Вас ждут, — улыбнулась работница, поставленная на проверку билетов.

— Я от института...

— Да, я знаю, товарищ! — Улыбка ее, от глаз внезапно распространявшаяся по всему лицу, напомнила ему Женю той поры, когда он впервые пришел к ней после болезни.

Его ждали давно и из-за опоздания изменили повестку. Только что закончился доклад заводского комитета. Дав музыке прогреметь свое, председатель собрания, цыганского обличья человек в снежно-белой косоворотке, привстал и назвал имя директора высокочастотного института. Зал затих; его искали глазами, о нем шептались, пока из толпы, запрудившей все выходы, он пробирался на трибуну.

Это была самая наивная, из фанеры сколоченная мебель; кривобокий графин с питьем ораторов нетрезво покачивался на ней при каждом движении. Завод был детищем пятилетки, и клубный зал, по замыслу строителей — венец архитектурной техники, был еще недостроен. В центре этого монументального полукруга, полного глаз, света и неподвижного ожидания, стоял теперь Скутаревский, ища глазами Черимова, который непременно должен был затаенно улыбаться в гущу этих людей.

— Товарищи... — полувопросительно начал он, сурово поджимая губы.

И как будто только теперь имя его достигло внимания аудитории, его прервали грохотом рукоплесканий. Было так, точно взорвалось длительное недоумение, разделявшее их до этой минуты. И, может быть, не его самого, а именно эту удивительную частицу времени приветствовал овациями зал. В этом небывалом приеме, значительно превосходившем меру той дипломатической деликатности, которую старательно и незаметно подготавливал Черимов, выразилось многое — и прежде всего приглашение разделить свою временную неудачу на миллионы долей, каждая из которых утратит тогда свою ядовитую, отравную горечь. Сергей Андреич сбился и молчал, и вот уже не знал вовсе, что он сделает сейчас: расскажет ли историю возникновения своего института, десятилетний юбилей которого приближался, или действительно выберит завод за качество высоковольтного трансформатора, построенного по его заказу, или, наконец, отвечая на неистовство этой распахнутой дружбы, объявит институт ударным: сейчас он одинаково был готов ко всему. Сердце его колотилось зло, аритмично, точно после крутого спуска с горы, точно перед путешествием в грозную и обширную страну, которая белым глухонемым пока пятном обозначена на картах.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### От составителя

Данное собрание не без оснований можно было бы назвать «Неизвестный Леонид Леонов». Многие тексты, вошедшие сюда, широкий читатель увидит и прочтет впервые.

Так, рассказ «Деяния Азлазивона» не входил ни в одну прижизненную книгу Л. Леонова.

Повесть «Унтиловск» впервые была опубликована в журнале «Москва» уже после смерти писателя, и до сих пор в книги Л. Леонова не попадала.

Поэма «Запись на бересте» ни разу не издавалась с 1926 года — со времен первой журнальной публикации.

Фрагменты дневников Л. Леонова также известны лишь по одной журнальной публикации почти десятилетней давности.

Роман «Барсуки» с послесловием, написанным автором в 1993 году, публиковался единственный раз, в составе сборника избранных произведений.

Многие помнят, что был второй вариант знаменитого романа Л. Леонова «Вор», но мало кто знает, что окончательный вариант — третий, и он, смею вас уверить, самый лучший. Выходил в каноническом своем виде «Вор» в первый и последний раз в 1994 году и с тех пор стал библиографической редкостью. Здесь вы имеете возможность познакомиться с романом в том виде, который завещан нам автором.

То же самое можно сказать о великом романе «Пирамида» — вышедшем в том же, 1994 году, и ни разу, — о, времена! и нравы — о! — не переиздававшемся.

Безо всяких преувеличений можно сказать: у вас в руках уникальное собрание сочинений великого русского писателя.

На сегодняшний день выходило шесть собраний сочинений Л. Леонова:

— Собрание сочинений в пяти томах. Харьков: Пролетарий; М.: ЗИФ, 1928—1930. — Собрание сочинений в шести то-

мах. М.: Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), 1953—1955.

— Собрание сочинений в девяти томах. М.: ГИХЛ, 1960—1962.

— Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература, 1969—1972.

— Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература. 1981—1984.

Однако присутствие в данном собрании главного произведения Л. Леонова, над которым он работал более 40 лет — романа-наваждения «Пирамида», окончательных вариантов других его романов и неизданных текстов позволяет нам на всех основаниях говорить об этом издании, как о не имеющем аналогов.

Отметим, что редакция не ставила целью представить сочинения Л. Леонова в полном составе — это отдельная и кропотливая работа.

Сюда не вошли публицистика Л. Леонова (далеко не полностью представленная в его, изданных при жизни, собраниях сочинений), драматические произведения, киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли», а также, практически неизвестное читателям, эпистолярное наследие: на сегодняшний момент опубликованы только письма Л. Леонова к литературоведу В. Ковалёву («Из творческого наследия русских писателей XX века. М. Шолохов, А. Платонов, Л. Леонов». СПб.: Наука, 1995).

Наконец, в данное собрание не включен ряд его прозаических произведений, самое крупное из которых — роман «Русский лес».

Отсутствие данного романа объясняется в первую очередь тем, что после первого издания («Русский лес». М.: Молодая гвардия, 1954), он публиковался в течение более чем тридцати лет едва ли не ежегодно, причём, массовыми тиражами. Так, «Русский лес» входил во второе (дополнительным томом), третье, четвертое и пятое собрания сочинений. Отдельным изданием при жизни писателя выходил в 1955, 1956, 1957 (два издания), 1958, 1961, 1965 (в двух книгах), 1966, 1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1983, 1986, 1988 (два издания) годах.

Переиздавался роман «Русский лес» и в наше время — сначала отдельным изданием («Русский лес». М.: Изд-во Государственного университета леса, 2000), и в составе трёхтомника избранных произведений Л. Леонова (Сочинения в трех томах Т. 1: Русский лес. Главы первая — восьмая. Т. 2.: Русский лес. Главы девятая — семнадцатая. Т. 3: Повести. Рассказы. М.: Издательский дом «Синергия», 2008).



Таким образом, роман, безусловно, был известен массовому читателю в советские времена и доступен по сей день.

В то время как большинство других текстов, составивших это издание, были так или иначе удалены с книжных полок (по причинам, которые требуют отдельного разговора) и уже в новейшие времена стали для широкого читателя малодоступными. Например, последнее издание повести «Evgenia Ivanovna» относится к 1999 году, роман «Дорога на Океан» не переиздавался с 1987 года, роман «Соть» — с 1985-го.

Восполнению данных и непростительных пробелов служит наше издание.

Актуальность и значимость Л. Леонова, как одного из крупнейших писателей прошлого века, становится всё более очевидной.

Одно (из многих других) доказательств того — внесение произведений Л. Леонова в университетский курс обучения (см. «История русской литературы XX века», М.: Юрайт, 2013 — учебник рекомендован Министерством образования и науки и является первым изданием, полностью соответствующим Федеральному государственному стандарту).

Таким образом, данное собрание даёт возможность для серьезного ознакомления с его произведениями как для учащихся, так и вообще для всякого читателя, еще не потерявшего веру в русское слово и желающего открыть заново — или впервые — одного из крупнейших писателей России.

**Запись на бересте.** Поэма. — Впервые опубликована в журнале «30 дней», 1926, № 1.

Поэму предваряло редакционное вступление, где, в частности, было сказано: «Леонид Леонов один из наиболее удачливых и богатых художников нашего времени. Вряд ли кто либо еще из писателей получил за последние годы такое единодушное признание, какое встретил на первых же своих шагах Леонов».

Поэма примечательна тем, что здесь Л. Леонов впервые осуществляет своеобразную «явку с повинной», намекая на то, что в годы Гражданской войны он успел послужить не только в Красной Армии, но и в Белой (Л. Леонов в 1920 году находился в Архангельске, был призван в армию и окончил школу прапорщиков, став белым офицером, — подробнее об этом см. во вступительной статье к данному изданию или в книге: Захар Прилепин. «Подельник эпохи». М.: «Астрель», 2012).

«Из города, где ежечасно /свирепей становилось время / на север, ещё не красный, / мы сговорились бежать», — пишет Л. Леонов в поэме «Запись на бересте».

В действительности, ранней весной в 1918 году Л. Леонов уехал из Москвы к отцу в Архангельск с целью переждать большевистский переворот.

Откровенно антибольшевистские взгляды Л. Леонова отразились в его многочисленных публикациях в газете «Северное утро». Редактором газеты был его отец — М. Л. Леонов, с приходом в Архангельск «союзников» (английских и французских воинских подразделений) возглавивший Общество помощи воинам Северного фронта.

«Когда же мы пришли на север, — пишет Л. Леонов в поэме, — нас послали на фронт, а на фронте / думали спасти Россию / штыками чужих солдат».

Смысл такой «игры» Л. Леонова с собственной, мягко говоря, неблагонадежной биографией понять достаточно трудно. Очевидно, что кому-нибудь могло прийти в голову расшифровать эти несложные намеки и поинтересоваться, чем именно Л. Леонов занимался в течение 1920 года.

Тем не менее схожая тематика (быт белогвардейцев Северного фронта, или существование бывшего белогвардейца в Советской России) так или иначе будет последовательно отражена в повестях Л. Леонова «Белая ночь» и «Evgenia Ivanovna», в романах «Соть», «Скутаревский» и «Дорога на Океан», в пьесах «Метель», «Половчанские сады» и «Волк».

Таким образом, поэма «Запись на бересте» стала первым шагом к одной из самых важнейших тем в творчестве Л. Леонова.

После первой журнальной публикации поэма больше не переиздавалась.

## ПОВЕСТИ

**Провинциальная история.** — Впервые с подзаголовком «Повесть» повесть опубликована в журнале «Новый мир», 1928, № 1. Вошла в том IV Собрания сочинений (М.: ЗИФ, 1930), а также в «Избранные произведения» (М.: ГИХЛ, 1932; М.: «Советский писатель», 1934).

Следующая публикация — спустя 35 лет, в составе Собрания сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература, 1969–1972.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература. 1981–1984.

**Белая ночь.** — Впервые повесть опубликована в журнале «Новый мир», 1928, № 12. Вошла в том IV Собрания сочинений (М.: ЗИФ, 1930), отдельным изданием выпущена в 1932 г. (М.: Журн.-газ. Объединение), включена в сборники: «Избранные

произведения» (М.: ГИХЛ, 1932; М., «Советский писатель», 1934).

Повесть задумана зимой 1927/28 г.; начата 13 июля и закончена в октябре 1928 г.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература. 1981—1984.

«Белая ночь» была достаточно поверхностно истолкована критикой как повесть о распаде белого движения.

Нам думается, что все обстоит чуть сложнее.

Действие повести, как мы видим, происходит в выдуманном городе Няндорске. Главный герой — поручик Пальчиков, «новый господин Няндорска», начальник контрразведки.

В городе недавно застрелен английский полковник.

Поручика Пальчикова вызывает высокое белогвардейское начальство:

«— Да, кстати... мы имеем секретное предписание от английского командования насчет сугубых репрессий. Это по поводу убитого полковника... Вы уж распорядитесь там, голубчик!

— На какое количество вы рассчитывали, ваше превосходительство?... — сухо осведомился поручик.

— Ну, десяток там, два десятка... я не знаю, — с видимой досадой нахмурилось начальство.

— Я не располагаю таким количеством арестованных, — двигая затекшими пальцами в сапоге, сообщил поручик. Начальство явно сердилось.

— Надо найти... Что-о? Надо найти, говорю. Разве в России люди перевелись, чёрт возьми! <...>

— Трупы прикажете доставить в английское посольство? — спросил он наконец, с лицом, серым, как оберточная бумага.

Начальство дрогнуло и опустило глаза.

— Взашей мне вас, что ли, гнать, поручик?..»

Пальчиков, как долгое время объяснялось критикой, — символ агонии белого движения.

Между тем персонаж этот, при спокойном рассмотрении, вызывает скорее симпатию, раздражая разве что своей нарочитой фамилией. Это человек гумилёвского склада, сын империи, профессиональный солдат, участвовавший в Первой мировой и, как и Николай Гумилёв, служивший в конной разведке, умница и эстет, смертельно уставший и растоптанный всем тем, что случилось в его стране.

«Все чаще нападала хандра на поручика, все неотвязней давил незримый перст в затылок, все настойчивей мытарил призраком великой России, которую, как печаль и бремя, положил в сердце своём», — вот портрет героя, данный Л. Леоновым.

«В этом тошном месиве вина и скуки он один из немногих вел трезвую и размеренную жизнь; приятели бежали его подчеркнутого аскетизма, а он любил жизнь больше и с большими основаниями, чем любой из них. Он и недуг-то свой принял как издевку той самой жизни, которую боготворил.

То случилось в великую войну, — Пальчиков был юнцом, носил на груди иконку — благословение матери. Тогда еще кипели патриотические страсти, не разбавленные покуда ни предательством, ни разочарованием, и ему тоже захотелось стать героем. На зыбком влечении этом он вырастил юношеское свое мирозерцание; покинув политехникум, он на войне искал встреч с гибелью, чтоб, насмеявшись над ней, ее позором укрепить свою собственную волю. Судьба подарила ему эту возможность: конная разведка, в которой участвовал и прапорщик, наткнулась на газовую волну. Отряд ускакал, а кобыла Пальчикова застряла копытом в мостовине. В лихую эту минуту, когда уже гаснул мир, Пальчиков и открыл под мостом неприятельского телефониста; тот пристально наблюдал прапорщикову суматоху, прикрытый резиновой харей со слюдяными глазками — противогазом. Произошла беззвучная и беспримерная схватка. <...>

В тишине смерти плелся он домой, и музыка переутомления сладостно гремела в его ушах. Мир разверзся перед ним, обнажая свои красоты, именно тем и обольстительные, что были им собственноручно вырваны у смерти. А через установленные сроки на его растрескавшихся губах явились первые язвы».

Жизнелюбец Пальчиков «отяжелел и на ноги, и на любовный порыв»; что, кстати, происходит со всеми жизнелюбцами в сочинениях Л. Леонова.

Остается у поручика только одно — та самая печаль, то самое русское бремя, что «положил в сердце своем». Но финальная издевка судьбы — оказаться на том месте, из которого в русские герои уже не попадают, а только во «всероссийские коменданты».

«Он ездил отказываться от назначения, ссылаясь на неопытность в делах **секретной психологии** и на недобрую боль в затылке; просил о переводе на фронт, но высокое начальство посмеялось его доводам».

В минуту ссоры у Пальчикова спрашивают:

«— За что ратует начальник няндорской контрразведки?»

«— Имя России вас удовлетворит, ротмистр?» — отвечает Пальчиков, сам уже понимая, что Россия на каком-то перепутье потеряна им, и неизвестно кем подобрана.

«— Я имею в виду Россию не для вас, а для народа», — добавляет поручик чуть ниже.

«— Да в народе смеются про это, поручик!» — отвечают ему. — «Я двадцать три года в армии, и я ни разу не слышал, чтобы солдаты говорили между собой о России... Россию черт сочинил, когда он служил в херувимах, вот что-с!»

Пальчиков в повести (а на самом деле сам Л. Леонов) вспоминает, что местные жители встречали крестным ходом Белую армию, «...они англичанам вопили «Welcome!», они и красных встретят красными флагами... Вот она широта души...»

Критика в первую очередь обратила внимание на данные в повести портреты белогвардейцев, погрязших в разврате и наркомании. Вот Пальчиков размышляет о них: «...он взглянул в тусклые глаза тучного Мишки, в квадратное сердитое лицо Краге, на парикмахерский завиток Ситникова и понял, что поражение этих людей принесет стране меньший вред, чем их победа».

Гнилые, но еще не мертвые: так оценил своих соратников по белому делу Пальчиков. Этого критике показалось достаточным.

Тем временем Пальчиков прощался с той Россией, что была в его сердце: «Кончалась белая ночь; неистовые розовые светопады за окном слепили. Поручик закрыл глаза и мысленно проследил свою жизнь <...> Как на параде, истекая вышнею благодатью, перед ним проходила империя, и впереди ее почему-то шли мохнатоголовые гренадеры, которых в солнечный день однажды Пальчиков ребенком видел из окна; потом двигались металлической лентой кирасиры, и медные орлы их готовы были лететь и когтить врагов династии и самодержавия... Потом краски посерели, и в серое вмешалась кровь...».

В этом слышится истинная трагедия. Повесть «Белая ночь» не только и не столько о распаде белой идеи, сколько об исходе империи, — по крайней мере, в прежнем ее виде.

**Саранча.** — Впервые повесть опубликована под заглавием «Саранча» в журнале «Туркменоведение» (Ашхабад), 1930, № 8–9, 11. В том же году под названием «Саранчуки» опубликована в журнале «Красная новь», № 9–10.

Первое отдельное издание: «Саранчуки», М. — Л.: ГИХЛ, 1931.

Начиная с «Избранного» (1946) публикуется под названием «Саранча».

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература. 1981–1984.

«Саранча» стала еще одной повестью Л. Леонова, прочитанной, судя по всему, не очень внимательно, и потому крайне благосклонно принятой советской критикой.

Согласно сюжету повести, на Туркменистан обрушивается саранчовая напасть, миллиарды особей этой прожорливой твари уничтожают поля и сады республики.

В «Саранче» появляется тема воды, которая в полной мере проявится вскоре в романе Л. Леонова «Дорога на Океан».

Один из героев повести говорит: «Взгляни на эту величественную громаду и сообрази, на какую мелочь разменяла бы ее прежняя история, кабы не мы... — и обводил рукой пространства пустыни, подступившей к самому каналу. — Но пробуждение это требует умного хирургического вмешательства. И пусть это будет Транскаракумский канал. И пусть здесь будут ловить рыбу, в этих песках. И пусть здесь родится необыкновенная прохлада. Это будет тоже часть прямой, ведущей к социализму. А что — ты слышишь? — водой уже пахнет!»

Против величественных большевистских замыслов по неизвестным причинам восстает сама природа. И вопрос в том, является ли природная напасть попушением Божиим или наказанием Божиим за то, что люди, вознамерившиеся перестроить мир, недостойны того, потому что руки их окровавлены недавней войной?

Об этом кричат муллы по аулам.

«— Вот летит саранча. Что написано у нее на крыле? Они отвечали сами, ибо никто, кроме них, не понимал небесного писанья: Гостя бога и — смерть за смерть».

И далее муллы цитируют Коран: «— Дом насилия будет разрушен, хотя бы он был домом Милосердного; кровь злодея будет испита, хотя бы она текла из сердца Милосердного».

Несмотря на то что муллы (как, впрочем, и православные священники) в леоновской прозе никогда не являются носителями истины, в «Саранче» Леонов спокойно замечает по поводу пророчества о разрушении дома насилия: «Никто не разумел, кощунство ли отчаянья или мудрость злобы копошится в их расслабленных устах».

И что мы будем делать, если это все-таки мудрость — хоть и злобы? — таким вопросом должны были задаться читатели повести.

Большевики справляются с саранчовой напастью, что собственно отвечает не только художественному замыслу, но и исторической правде события.

Однако удивительно, что почти никто из читателей повести ни тогда, ни потом не вспомнил несколько строк из главы девятой Апокалипсиса:

«И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.

И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих».

Л. Леонов забавлялся достаточно жестоко в своих текстах. Он в отличие от многих своих современников Апокалипсис читал.

**Соть.** Роман. 1 Первое отдельное издание: «Соть», М. — Л.: ГИХЛ, 1931.

Роман «Соть» входил во все собрания сочинений, в большинство сборников избранных произведений. Кроме того, около 20 раз переиздавался при жизни писателя: после первого отдельного издания роман «Соть» дважды выходил в 1931-м, дважды в 1932-м, далее в 1934, 1935, 1965, 1968, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982 (дважды; второй раз в сборнике из двух романов: «Соть», «Барсуки»), 1983, 1984, 1985 годах.

Роман написан в течение года: на наборном экземпляре машинописи стоит дата: «Декабрь 1928 — ноябрь 1929».

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература. 1981—1984.

**Скутаревский.** Роман. — Первое отдельное издание: «Федерация», М.: 1932.

Роман « » входил во второе, третье, четвертое и пятое собрания сочинений писателя; отдельные издания: в 1933 (дважды), 1934, 1935, 1967, 1975, 1978 годах.

Роман задуман в 1930 году. Написан в период с февраля 1931 года по июль 1932 года.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература. 1981—1984.

## СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПИСЬ НА БЕРЕСТЕ. <i>Поэма</i> .....	7
---------------------------------------	---

### ПОВЕСТИ

Белая ночь .....	19
Провинциальная история .....	64
Саранча .....	114
СОТЬ. <i>Роман</i> .....	175
СКУТАРЕВСКИЙ. <i>Роман</i> .....	479
Примечания .....	806



Леонид Максимович Леонов

*Собрание сочинений в шести томах*

ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор *О. Хвилько*  
Художественный редактор *А. Балашова*  
Технический редактор *О. Стоскова*  
Корректоры *Г. Кузьминова, Л. Кузьмина*  
Компьютерная верстка *О. Борисова*

Подписано в печать 23.08.13 г.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 42,84. Уч.-изд. л. 42,56.

Книжный Клуб Книговек.  
127206, Москва, Чукин тупик, 9.  
[www.terra.su](http://www.terra.su)

Отпечатано BALTO print  
[www.balto.lt](http://www.balto.lt)  
[www.baltoprint.ru](http://www.baltoprint.ru)

Литературное  
приложение

**ОГОНЁК**

[www.terra.su](http://www.terra.su)

ISBN 978-5-4224-0729-3



9 785422 407293